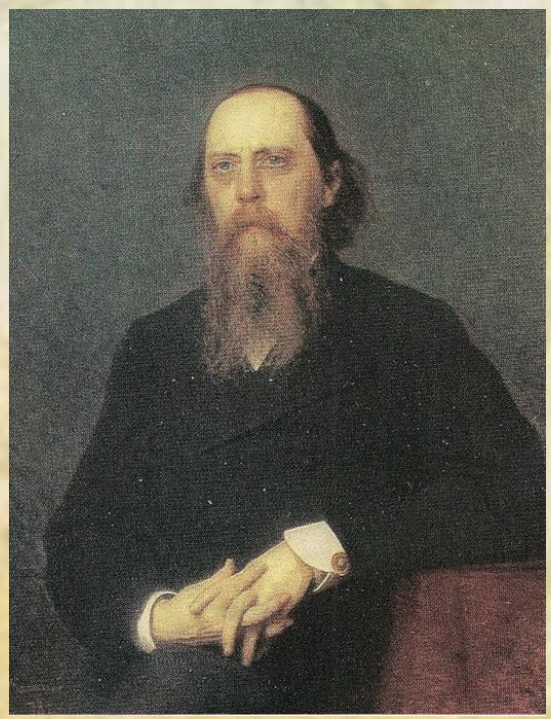


Михаил Евграфович САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

ПОШЕХОНСКАЯ СТАРИНА

Житие Никанора Затрапезного, пошехонского дворянина[1]

Введение

Я, Никанор Затрапезный, принадлежу к старинному пошехонскому дворянскому роду. Но предки мои были люди смирные и уклончивые. В пограничных городах и крепостях не сидели, побед и одолений не одерживали, кресты целовали по чистой совести, кому прикажут, беспрекословно. Вообще не покрыли себя ни славою, ни позором. Но зато ни один из них не был бит кнутом, ни одному не выщипали по волоску бороды, не урезали языка и не вырвали ноздрей. Это были настоящие поместные дворяне, которые забились в самую глушь Пошехонья, без шума сбирали дани с кабальных людей и скромно плодились. Иногда их распложалось множество, и они становились в ряды захудалых; но, по временам, словно мор настигал Затрапезных, и в руках одной какой-нибудь пощаженной отрасли сосредоточивались имения и маетности остальных. Тогда Затрапезные вновь расцветали и играли в своем месте видную роль.

Дед мой, гвардии сержант Порфирий Затрапезный, был одним из взысканных фортуною и владел значительными поместьями. Но так как от него родилось много детей – сын и девять дочерей, то отец мой Василий Порфирыч, за выделом сестер, вновь спустился на степень дворянина средней руки. Это заставило его подумать о выгодном браке, и, будучи уже сорока лет, он женился на пятнадцатилетней купеческой дочери, Анне Павловне Глуховой, в чаянии получить за нею богатое приданое.

Но расчет на богатое приданое не оправдался: по купеческому обыкновению, его обманули, а он, в свою очередь, выказал при этом непростительную слабость характера. Напрасно сестры уговаривали его не ехать в церковь для венчания, покуда не отдадут договоренной суммы полностью; он доверился льстивым обещаниям и обвенчался. Вышел так называемый неравный брак, который впоследствии сделался источником бесконечных укоров и семейных сцен самого грубого свойства.

Брак этот был неровен во всех отношениях. Отец был, по тогдашнему времени, порядочно образован; мать – круглая невежда: отец вовсе не имел практического смысла и

---

[1] Прошу читателя не принимать Пошехонья буквально. Я разумею под этим названием вообще местность, аборигены которой, по меткому выражению русских присловий, в трех соснах заблудиться способны. Прошу также не смешивать мою личность с личностью Затрапезного, от имени которого ведется рассказ. Автобиографического элемента в моем настоящем труде очень мало; он представляет собой, просто-напросто, свод жизненных наблюдений, где чужое перемешано с своим, а в то же время дано место и вымыслу. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

любил разводить на бобах, мать, напротив того, необыкновенно цепко хваталась за деловую сторону жизни, никогда вслух не загадывала и действовала молча и наверняка; наконец, отец женился уже почти стариком и притом никогда не обладал хорошим здоровьем, тогда как мать долгое время сохраняла свежесть, силу и красоту. Понятно, какое должно было оказаться, при таких условиях, совместное житье.

Тем не менее, благодаря необыкновенным приобретательным способностям матери, семья наша начала быстро богатеть, так что в ту минуту, когда я увидал свет, Затрапезные считались чуть не самыми богатыми помещиками в нашей местности. О матери моей все соседи в один голос говорили, что бог послал в ней Василию Порфирычу не жену, а клад. Сам отец, видя возрастание семейного благосостояния, примирился с неудачным браком, и хотя жил с женой несогласно, но в конце концов, вполне подчинился ей. Я, по крайней мере, не помню, чтобы он когда-нибудь и чем-нибудь проявил в доме свою самостоятельность.

Затем, приступая к пересказу моего прошлого, я считаю не лишним предупредить читателя, что в настоящем труде он не найдет сплошного изложения всех событий моего жития, а только ряд эпизодов, имеющих между собою связь, но в то же время представляющих и отдельное целое. Главным образом я предпринял мой труд для того, чтоб восстановить характеристические черты так называемого доброго старого времени, память о котором, благодаря резкой черте, проведенной упразднением крепостного права, все больше и больше сглаживается. Поэтому я и в форме ведения моего рассказа не намерен стесняться. Иногда буду вести его лично от себя, иногда – в третьем лице, как будет для меня удобнее.

I. Гнездо

Детство и молодые годы мои были свидетелями самого разгара крепостного права. Оно проникало не только в отношения между поместным дворянством и подневольною массою – к ним, в тесном смысле, и прилагался этот термин – но и во все вообще формы общежития, одинаково втягивая все сословия (привилегированные и непривилегированные) в омут унизительного бесправия, всевозможных изворотов лукавства и страха перед перспективою быть ежечасно раздавленным. С недоумением спрашиваешь себя: как могли жить люди, не имея ни в настоящем, ни в будущем иных воспоминаний и перспектив, кроме мучительного бесправия, бесконечных терзаний поруганного и ниоткуда не защищенного существования? – и, к удивлению, отвечаешь: однако же жили! И, что еще удивительнее: об руку с этим сплошным мучительством шло и так называемое пошехонское «раздолье», к которому и поныне не без тихой грусти обращают свои взоры старички. И крепостное право, и пошехонское раздолье были связаны такими неразрывными узами, что когда рушилось первое, то, вслед за ним, в судорогах покончило свое постыдное существование и другое.

И то и другое одновременно заколотили в гроб и снесли на погост, а какое иное право и какое иное раздолье выросли на этой общей могиле – это вопрос особый. Говорят, однако ж, что выросло нечто не особенно важное.

Ибо хотя старая злоба дня и исчезла, но некоторые признаки убеждают, что, издыхая, она отравила своим ядом новую злобу дня и что, несмотря на изменившиеся формы общественных отношений, сущность их еще остается нетронутою. Конечно, свидетели и

современники старых порядков могут, до известной степени, и в одном упразднении форм усматривать существенный прогресс, но молодые поколения, видя, что исконные жизненные основы стоят, по-прежнему, незыблемо, нелегко примиряются с одним изменением форм и обнаруживают нетерпение, которое получает тем более мучительный характер, что в него уже в значительной мере входит элемент сознательности…

Местность, в которой я родился и в которой протекло мое детство, даже в захолустной пошехонской стороне считалась захолустьем. Как будто она самой природой предназначена была для мистерий крепостного права. Совсем где-то в углу, среди болот и лесов, вследствие чего жители ее, по-простонародному, назывались «заугольниками» и «лягушатниками». Тем не меньше, по части помещиков и здесь было людно (селений, в которых жили так называемые экономические крестьяне, почти совсем не было). Исстари более сильные люди захватывали местности по берегам больших рек, куда их влекла ценность угодий: лесов, лугов и проч. Мелкая сошка забивалась в глушь, где природа представляла, относительно, очень мало льгот, но зато никакой глаз туда не заглядывал, и, следовательно, крепостные мистерии могли совершаться вполне беспрепятственно. Мужицкая спина с избытком вознаграждала за отсутствие ценных угодий. Во все стороны от нашей усадьбы было разбросано достаточное количество дворянских гнезд, и в некоторых из них, отдельными подгнездками, ютилось по нескольку помещичьих семей. Это были семьи, по преимуществу захудалые, и потому около них замечалось особенное крепостное оживление. Часто четыре-пять мелкопоместных усадьб стояли обок или через дорогу; поэтому круговое посещение соседей соседями вошло почти в ежедневный обиход. Появилось раздолье, хлебосольство, веселая жизнь. Каждый день где-нибудь гости, а где гости – там вино, песни, угощенье. На все это требовались ежели не деньги, то даровой припас. Поэтому, ради удовлетворения целям раздолья, неустанно выжимался последний мужицкий сок, и мужики, разумеется, не сидели сложа руки, а кишели как муравьи в окрестных полях. Вследствие этого оживлялся и сельский пейзаж.

Равнина, покрытая хвойным лесом и болотами, – таков был общий вид нашего захолустья. Всякий сколько-нибудь предусмотрительный помещик-абориген захватил столько земли, что не в состоянии был ее обработать, несмотря на крайнюю растяжимость крепостного труда. Леса горели, гнили на корню и загромождались валежником и буреломом; болота заражали окрестность миазмами, дороги не просыхали в самые сильные летние жары; деревни ютились около самых помещичьих усадьб, а особняком проскакивали редко на расстоянии пяти-шести верст друг от друга. Только около мелких усадьб прорывались светленькие прогалины, только тут всю землю старались обработать под пашню и луга. Зато непосильною барщиной мелкопоместный крестьянин до того изнурялся, что даже; по наружному виду можно было сразу отличить его в толпе других крестьян. Он был и испуганнее, и тощее, и слабосильнее, и малорослее. Одним словом, в общей массе измученных людей был самым измученным. У многих мелкопоместных мужик работал на себя только по праздникам, а в будни – в ночное время. Так что летняя страда этих людей просто-напросто превращалась в сплошную каторгу.

Леса, как я уже сказал выше, стояли нетронутыми, и лишь у немногих помещиков представляли не то чтобы доходную статью, а скорее средство добыть большую сумму денег (этот порядок вещей, впрочем, сохранился и доселе). Вблизи от нашей усадьбы было устроено два стеклянных завода, которые, в немного лет, бестолку истребили громадную площадь лесов. Но на болота никто еще не простирал алчной руки, и они тянулись без

перерыва на многие десятки верст. Зимой по ним пролагали дороги, а летом объезжали, что удлиняло расстояния почти вдвое. А так как, несмотря на объезды, все-таки приходилось захватить хоть краешек болота, то в таких местах настилались бесконечные мостовники, память о которых не изгладилась во мне и доднесь. В самое жаркое лето воздух был насыщен влажными испарениями и наполнен тучами насекомых, которые не давали покою ни людям, ни скотине.

Текучей воды было мало. Только одна река Перла, да и та не важная, и еще две речонки: Юла и Вопля[2]. Последние еле-еле брели среди топких болот, по местам образуя стоячие бочаги, а по местам и совсем пропадая под густой пеленой водяной заросли. Там и сям виднелись небольшие озерки, в которых водилась немудреная рыбешка, но к которым в летнее время невозможно было ни подъехать, ни подойти.

По вечерам над болотами поднимался густой туман, который всю окрестность окутывал сизою клубящеюся пеленой. Однако ж на вредное влияние болотных испарений, в гигиеническом отношении, никто не жаловался, да и вообще, сколько мне помнится, повальные болезни в нашем краю составляли редкое исключение.

И леса и болота изобиловали птицей и зверем, но по части ружейной охоты было скудно, и тонкой красной дичи, вроде вальдшнепов и дупелей, я положительно не припомню. Помню только больших кряковных уток, которыми, от времени до времени, чуть не задаром, оделял всю округу единственный в этой местности ружейный охотник, экономический крестьянин Лука. Псовых охотников (конечно, помещиков), впрочем, было достаточно, и так как от охоты этого рода очень часто страдали озими, то они служили источником беспрерывных раздоров и даже тяжб между соседями.

Помещичьи усадьбы того времени (я говорю о помещиках средней руки) не отличались ни изяществом, ни удобствами. Обыкновенно они устраивались среди деревни, чтоб было сподручнее наблюдать за крестьянами; сверх того место для постройки выбиралось непременно в лощинке, чтоб было теплее зимой. Дома почти у всех были одного типа: одноэтажные, продолговатые, на манер длинных комодов; ни стены, ни крыши не красились, окна имели старинную форму, при которой нижние рамы поднимались вверх и подпирались подставками. В шести-семи комнатах такого четырехугольника, с колеблющимися полами и нештукатуреными стенами, ютилась дворянская семья, иногда очень многочисленная, с целым штатом дворовых людей, преимущественно девок, и с наезжавшими, от времени до времени, гостями. О парках и садах не было и в помине; впереди дома раскидывался крохотный палисадник, обсаженный стрижеными акациями и наполненный, по части цветов, барскою спесью, царскими кудрями и буро-желтыми бураками. Сбоку, поближе к скотным дворам, выкапывался небольшой пруд, который служил скотским водопоем и поражал своей неопрятностью и вонью. Сзади дома устраивался незатейливый огород с ягодными кустами и наиболее ценными овощами: репой, русскими бобами, сахарным горохом и проч., которые, еще на моей памяти, подавались в небогатых домах после обеда в виде десерта. Разумеется, у помещиков более зажиточных (между прочим, и у нас) усадьбы были обширнее, но общий тип для всех существовал один и тот же. Не о красоте, не о комфорте и даже не о просторе тогда думали, а о том, чтоб иметь теплый угол и в нем достаточную степень сытости.

Только одна усадьба сохранилась в моей памяти, как исключение из общего правила. Она стояла на высоком берегу реки Перлы, и из большого каменного господского дома, утопавшего в зелени обширного парка, открывался единственный в нашем захолустье красивый вид на поёмные луга и на дальние села. Владелец этой усадьбы (называлась она, как и следует, «Отрадой») был выродившийся и совсем расслабленный представитель старинного барского рода, который по зимам жил в Москве, а на лето приезжал в усадьбу, но с соседями не якшался (таково уж исконное свойство пошехонского дворянства, что бедный дворянин от богатого никогда ничего не видит, кроме пренебрежения и притеснения). Об

[2] Само собой разумеется, названия эти вымышленные. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

отраднинских цветниках, оранжереях и прочей роскоши ходили между обитателями нашего захолустья почти фантастические рассказы.

Были там пруды с каскадами, гротами и чугунными мостами, были беседки с гипсовыми статуями, был конский завод с манежем и обширным обгороженным кругом, на котором происходили скачки и бега, был свой театр, оркестр, певчие. И всем этим выродившийся аристократ пользовался сам-друг с второстепенной французской актрисой, Селиной Архиповной Бульмиш, которая особенных талантов по драматической части не предъявила, но зато безошибочно могла отличить la grande cochonnerie от la petite cochonnerie[3]. Сам-друг с него, он слушал домашнюю музыку, созерцал лошадиную случку, наслаждался конскими ристалищами, ел фрукты и нюхал цветы. С течением времени он женился на Селине, и, по смерти его, имение перешло к ней.

Не знаю, жива ли она теперь, но после смерти мужа она долгое время каждое лето появлялась в Отраде, в сопровождении француза с крутыми бедрами и дугообразными, словно писанными бровями. Жила она, как и при покойном муже, изолированно, с соседями не знакомилась и преимущественно занималась тем, что придумывала вместе с крутобедрым французом какую-нибудь новую еду, которую они и проглатывали с глазу на глаз. Но и ее, и крутобедрого француза крестьяне любили за то, что они вели себя по-дворянски. Не шильничали, сами по грибы в лес не ходили, а другим собирать в своих лесах не препятствовали. И на деньги были чивы, за все платили без торга; принесут им лукошко ягод или грибов, спросят двугривенный – слова не скажут, отдадут, точно двугривенный и не деньги. А девке так и ленту, сверх того, подарят. И когда объявлено было крестьянское освобождение, то и с уставной грамотой Селина первая в уезде покончила, без жалоб, без гвалта, без судоговорения: что следует, отдала, да и себя не обидела. Дворовых тоже не забыла: молодых распустила, не выжидая срока, старикам – выстроила избы, отвела огороды и назначила пенсию.

В сентябре, с отъездом господ, соседние помещики наезжали в Отраду и за ничтожную мзду садовнику и его подручным запасались там семенами, корнями и прививками. Таким образом появились в нашем уезде первые георгины, шток-розы и проч., а матушка даже некоторые куртины в нашем саду распланировала на манер отраднинских.

Что касается до усадьбы, в которой я родился и почти безвыездно прожил до десятилетнего возраста (называлась она «Малиновец»), то она, не отличаясь ни красотой, ни удобствами, уже представляла некоторые претензии на то и другое. Господский дом был трехэтажный (третьим этажом считался большой мезонин), просторный и теплый. В нижнем этаже, каменном, помещались мастерские, кладовые и некоторые дворовые семьи; остальные два этажа занимала господская семья и комнатная прислуга, которой было множество.

Кроме того, было несколько флигелей, в которых помещались застольная, приказчик, ключник, кучера, садовники и другая прислуга, которая в горницах не служила. При доме был разбит большой сад, вдоль и поперек разделенный дорожками на равные куртинки, в которых были насажены вишневые деревья.

Дорожки были окаймлены кустами мелкой сирени и цветочными рабатками, наполненными большим количеством роз, из которых гнали воду и варили варенье. Так как в

---

[3] большой разврат от маленького.

то время существовала мода подстригать деревья (мода эта проникла в Пошехонье… из Версаля!), то тени в саду почти не существовало, и весь он раскинулся на солнечном припеке, так что и гулять в нем охоты не было. Еще в большем размере были разведены огороды и фруктовый сад с оранжереями, теплицами и грунтовыми сараями. Обилие фруктов и в особенности ягод было такое, что с конца июня до половины августа господский дом положительно превращался в фабрику, в которой с утра до вечера производилась ягодная эксплуатация. Даже в парадных комнатах все столы были нагружены ворохами ягод, вокруг которых сидели группами сенные девушки, чистили, отбирали ягоду по сортам, и едва успевали справиться с одной грудой, как на смену ей появлялась другая. Нынче одна эта операция стоила бы больших денег. В это же время в тени громадной старой липы, под личным надзором матушки, на разложенных, в виде четырехугольников, кирпичах, варилось варенье, для которого выбиралась самая лучшая ягода и самый крупный фрукт. Остальное утилизировалось для наливок, настоек, водиц и проч. Замечательно, что в свежем виде ягоды и фрукты даже господами употреблялись умеренно, как будто опасались, что вот-вот недостанет впрок.

А «хамкам» и совсем ничего не давали (я помню, как матушка беспокоилась во время сбора ягод, что вот-вот подлянки ее объедят); разве уж когда, что называется, ягод обору нет, но и тут непременно дождутся, что она, от долговременного стояния на погребе, начнет плесневеть. Эта масса лакомства привлекала в комнаты такие несметные полчища мух, что они положительно отравляли существование. Для чего требовалась такая масса заготовок – этого я никогда не мог понять. Можно назвать это явление особым термином: «алчностью будущего».

Благодаря ей, хоть целая гора съедобного материала лежит перед глазами человека, а все ему кажется мало. Утроба человеческая ограниченна, а жадное воображение приписывает ей размеры несокрушимые, и в то же время рисуются в будущем грозные перспективы. В самом расходовании заготовленных припасов, в течение года, наблюдалась экономия, почти скупость. Думалось, что хотя «час» еще и не наступил, но непременно наступит, и тогда разверзнется таинственная прорва, в которую придется валить, валить и валить. От времени до времени производилась ревизия погребов и кладовых, и всегда оказывалось порченного запаса почти наполовину. Но даже и это не убеждало: жаль было и испорченного. Его подваривали, подправляли, и только уже совсем негодное решались отдать в застольную, где, после такой подачки, несколько дней сряду «валялись животами». Строгое было время, хотя нельзя сказать, чтобы особенно умное.

И вот, когда все было наварено, насолено, настояно и наквашено, когда, вдобавок к летнему запасу, присоединялся запас мороженой домашней птицы, когда болота застывали и устанавливался санный путь – тогда начиналось пошехонское раздолье, то раздолье, о котором нынче знают только по устным преданиям и рассказам.

К этому предмету я возвращусь впоследствии, а теперь познакомлю читателя с первыми шагами моими на жизненном пути и той обстановкой, которая делала из нашего дома нечто типичное. Думаю, что многие из моих сверстников, вышедших из рядов оседлого дворянства (в отличие от дворянства служебного, кочующего) и видевших описываемые времена, найдут в моем рассказе черты и образы, от которых на них повеет чем-то знакомым. Ибо общий уклад пошехонской дворянской жизни был везде одинаков, и разницу обусловливали лишь некоторые частные особенности, зависевшие от интимных качеств тех или других личностей. Но и тут главное отличие заключалось в том, что одни жили «в свое удовольствие», то есть слаще ели, буйнее пили и проводили время в безусловной праздности; другие, напротив, сжимались, ели с осторожностью, усчитывали себя, ухичивали, скопидомствовали. Первые обыкновенно страдали тоской по предводительстве, достигнув которого разорялись в прах; вторые держались в стороне от почестей, подстерегали разорявшихся, издалека опутывая их, и, при помощи темных оборотов, оказывались, в конце концов, людьми не только состоятельными, но даже богатыми.

II. Мое рождение и раннее детство. – Воспитание физическое

Родился я, судя по рассказам, самым обыкновенным пошехонским образом.

В то время барыни наши (по-нынешнему, представительницы правящих классов) не ездили, в предвидении родов, ни в столицы, ни даже в губернские города, а довольствовались местными, подручными средствами. При помощи этих средств увидели свет все мои братья и сестры; не составил исключения и я.

Недели за три перед тем, как матушке приходилось родить, послали в город за бабушкой-повитухой, Ульяной Ивановной, которая привезла с собой мыльца от раки преподобного (в городском соборе почивали мощи) да банку моренковской мази. В этом состоял весь ее родовспомогательный снаряд, ежели не считать усердия, опытности и «легкой руки». В крайнем случае, во время родов, отворяли в церкви царские двери, а дом несколько раз обходили кругом с иконой. Помощь Ульяны Ивановны обходилась баснословно дешево. А именно: все время, покуда она жила в доме (иногда месяца два-три), ее кормили и поили за барским столом; кровать ее ставили в той же комнате, где спала роженица, и следовательно, ее кровью питали приписанных к этой комнате клопов; затем, по благополучном разрешении, ей уплачивали деньгами десять рублей на ассигнации и посылали зимой в ее городской дом воз или два разной провизии, разумеется, со всячинкой. Иногда, сверх того, отпускали к ней на полгода или на год в безвозмездное услужение дворовую девку, которую она, впрочем, обязана была, в течение этого времени, кормить, поить, обувать и одевать на собственный счет.

Тем не менее, когда в ней больше уж не нуждались, то и этот ничтожный расход не проходил ей даром. Так, по крайней мере, практиковалось в нашем доме. Обыкновенно ее называли «подлянкой и прорвой», до следующих родов, когда она вновь превращалась в «голубушку Ульяну Ивановну».

– Это ты подлянке индюшек-то послать собралась? – негодовала матушка на ключницу, видя приготовленных к отправке в сенях пару или две замороженных индеек: – будет с нее, и старыми курами прорву себе заткнет.

Добрая была эта Ульяна Ивановна, бойкая, веселая, словоохотливая. И хоть я узнал ее, уже будучи осьми лет, когда родные мои были с ней в ссоре (думали, что услуг от нее не потребуется), но она так тепло меня приласкала и так приветливо назвала умницей и погладила по головке, что я невольно расчувствовался. В нашем семействе не было в обычае по головке гладить, – может быть, поэтому ласка чужого человека так живо на меня и подействовала.

И не на меня одного она производила приятное впечатление, а на всех восемь наших девушек – по числу матушкиных родов – бывших у нее в услужении. Все они отзывались об ней с восторгом и возвращались тучные (одна даже с приплодом). Щи у нее ели такие, что не продуешь, в кашу лили масло коровье, а не льняное. Называла она всех именами ласкательными, а не ругательными, и никогда ни на кого господам не пожаловалась.

Жила она в собственном ветхом домике на краю города, одиноко, и питалась плодами своей профессии. Был у нее и муж, но в то время, как я зазнал ее, он уж лет десять как пропадал без вести. Впрочем, кажется, она знала, что он куда-то услан, и по этому случаю в каждый большой праздник возила в тюрьму калачи.

– Благой у меня был муж, – говорила она, – не было промеж нас согласия. Портным ремеслом занимался и хорошие деньги заработывал, а в дом копеечки щербатой никогда не принес – все в кабак. Были у нас и дети, да так и перемерли ангельские душеньки, и все не настоящей смертью, а либо с лавки свалится, либо кипятком себя ошпарит. Мое дело такое,

что все в уезде да в уезде, а муж – день в кабаке, ночь – либо в канаве, либо на съезжей.

Прислуга тоже с бору да с сосёнки. Присмотреть-то за деточками и некому. А наконец, возвращаюсь я однажды с родов домой, а меня прислуга встречает: «Ведь Прохор-то Семеныч – это муж-то мой! – уж с неделю дома не бывал!» Не бывал да не бывал, да так с тех пор словно в воду и канул. Осталась я одна – поначалу жутко сделалось; думаю: ну, теперь пропала! А вышло, напротив того, еще лучше прежнего зажила.

И вот, как раз в такое время, когда в нашем доме за Ульяной Ивановной окончательно утвердилась кличка «подлянки», матушка (она уж лет пять не рожала), сверх ожидания, сделалась в девятый раз тяжела, и так как годы ее были уже серьезные, то она задумала ехать родить в Москву. Пришлось звать Ульяну Ивановну для сопровождения. Послали в город меня – тут-то я с нею и познакомился. И добрая женщина не только не попомнила зла, но когда, по приезде в Москву, был призван ученый акушер и явился «с щипцами, ножами и долотами», то Ульяна Ивановна просто не допустила его до роженицы и с помощью мыльца в девятый раз вызволила свою пациентку и поставила на ноги.

Но эта послуга обошлась уж родным моим «в копеечку». Повитушке, вместо красной, дали беленькую деньгами, да один воз провизии послали по первопутке, а другой к масленице. А девка в услужение – сама по себе.

Итак, появление мое на свет обошлось дешево и благополучно. Столь же благополучно совершилось и крещение. В это время у нас в доме гостил мещанин – богомол Дмитрий Никоныч Бархатов, которого в уезде считали за прозорливого.

Между прочим, и по моему поводу, на вопрос матушки, что у нее родится, сын или дочь, он запел петухом и сказал: «Петушок, петушок, востёр ноготок!» А когда его спросили, скоро ли совершатся роды, то он начал черпать ложечкой мед – дело было за чаем, который он пил с медом, потому что сахар скоромный – и, остановившись на седьмой ложке, молвил: «Вот теперь в самый раз!» «Так по его и случилось: как раз на седьмой день маменька распросталась», – рассказывала мне впоследствии Ульяна Ивановна.

Кроме того он предсказал и будущую судьбу мою, – что я многих супостатов покорю и буду девичьим разгонником. Вследствие этого, когда матушка бывала на меня сердита, то, давая шлепка, всегда приговаривала: «А вот я тебя высеку, супостатов покоритель!»

Вот этого-то Дмитрия Никоныча и пригласили быть моим восприемником вместе с одною из тетенек-сестриц, о которых речь будет впереди.

Кстати скажу: не раз я видал впоследствии моего крестного отца, идущего, с посохом в руках, в толпе народа за крестным ходом. Он одевался в своеобразный костюм, вроде поповского подрясника, подпоясывался широким, вышитым шерстями, поясом и ходил с распущенными по плечам волосами. Но познакомиться мне с ним не удалось, потому что родители мои уже разошлись с ним и называли его шалыганом. Вообще, по мере того, как семейство мое богатело, старые фавориты незаметно исчезали из нашего дома. Но, сверх того, надо сказать правду, что Бархатов, несмотря на прозорливость и звание «богомола», чересчур часто заглядывал в девичью, а матушка этого недолюбливала и неукоснительно блюла за нравственностью «подлянок».

Кормилица у меня была своя крепостная крестьянка, Домна, к которой я впоследствии любил бегать украдкой в деревню. Она готовила для меня яичницу и потчевала сливками; и тем и другим я с жадностью насыщался, потому что дома нас держали впроголодь. В кормилицы бабы шли охотно, потому что это, во-первых, освобождало их на время от барщины, во-вторых, исправная выкормка барчонка или барышни обыкновенно сопровождалась отпуском на волю кого-нибудь из кормилкиных детей. Впрочем, отпускали исключительно девочек, так как увольнение мальчика (будущего

тяглеца) считалось убыточным; девка же, и по достижении совершенных лет, продавалась на вывод не дороже пятидесяти рублей ассигнациями. Моей кормилице не повезло в этом случае.

Дом ее был из бедных, и «вольную» ее дочь Дашутку не удалось выдать замуж насторону за вольного человека. Поэтому она вошла в семью своего же однодеревенца и таким образом закрепостилась вновь.

Нянек я помню очень смутно. Они менялись почти беспрерывно, потому что матушка была вообще гневлива и сверх того держалась своеобразной системы, в силу которой крепостные, не изнывавшие с утра до ночи на работе, считались дармоедами.

– Зажирела в няньках, ишь мясищи-то нагуляла! – говорила она и, не откладывая дела в долгий ящик, определяла няньку в прачки, в ткачихи или засаживала за пяльцы и пряжу.

Замечательно, что между многочисленными няньками, которые пестовали мое детство, не было ни одной сказочницы. Вообще весь наш домашний обиход стоял на вполне реальной почве, и сказочный элемент отсутствовал в нем.

Детскому воображению приходилось искать пищи самостоятельно, создавать свой собственный сказочный мир, не имевший никакого соприкосновения с народной жизнью и ее преданиями, но зато наполненный всевозможными фантасмагориями, содержанием для которых служило богатство, а еще более – генеральство.

Последнее представлялось высшим жизненным идеалом, так как все в доме говорили о генералах, даже об отставных, не только с почтением, но и с боязнью.

Я помню, однажды отец получил от предводителя письмо с приглашением на выборы, и на конверте было написано: «его превосходительству» (отец в молодости служил в Петербурге и дослужился до коллежского советника, но многие из его бывших товарищей пошли далеко и занимали видные места).

Догадкам и удивлению конца не было. Отец с неделю носил конверт в кармане и всем показывал.

– А кто знает – взяли да в превосходительные и произвели, – говорил он. – Бывали же прежде такие случаи – отчего ж не случиться и теперь? Сижу я в своем Малиновце, ничего не знаю, а там, может быть, кто-нибудь из старых товарищей взял да и шепнул. Вот при Павле Петровиче такой казус был: встретился государю кто-то из самых простых и на вопрос: «Как вас зовут?» – отвечал: «Евграф такой-то!» А государь недослышал и переспросил: «Граф такой-то?» – «Ев-Граф такой-то», – повторил спрашиваемый. «Царское слово свято! – сказал тогда государь, – поздравляю вас графом!» И пошел с тех пор граф Евграф щеголять, Так-то, может быть, и со мной. Сижу, ничего не знаю, а там: «Быть по сему» – и дело с концом.

Впрочем, я не могу сказать, чтобы фактическая сторона моих детских воспоминаний была особенно богата. Тем не менее, так как у меня было много старших сестер и братьев, которые уже учились в то время, когда я ничего не делал, а только прислушивался и приглядывался, то память моя все-таки сохранила некоторые достаточно яркие впечатления. Припоминается беспрерывный детский плач, раздававшийся за классным столом; припоминается целая свита гувернанток, следовавших одна за другой и с непонятною для нынешнего времени жестокостью сыпавших колотушками направо и налево.

Помнится родительское равнодушие. Как во сне проходят передо мной и Каролина Карловна, и Генриетта Карловна, и Марья Андреевна, и француженка Даламберша, которая ничему учить не могла, но пила ерофеич и ездила верхом по-мужски. Все они бесчеловечно дрались, а Марью Андреевну (дочь московского немца-сапожника) даже строгая наша мать называла фурией. Так что во все время ее пребывания уши у детей постоянно бывали покрыты болячками.

Внешней обстановкой моего детства, в смысле гигиены, опрятности и питания, я похвалиться не могу. Хотя в нашем доме достаточно было комнат, больших, светлых и с обильным содержанием воздуха, но это были комнаты парадные; дети же постоянно теснились: днем – в небольшой классной комнате, а ночью – в общей детской, тоже

маленькой, с низким потолком и в зимнее время вдобавок жарко натопленной. Тут было поставлено четыре-пять детских кроватей, а на полу, на войлоках, спали няньки. Само собой разумеется, не было недостатка ни в клопах, ни в тараканах, ни в блохах. Эти насекомые были как бы домашними друзьями. Когда уже чересчур донимали, то кровати выносили и обваривали кипятком, а тараканов по зимам морозили.

Летом мы еще сколько-нибудь оживлялись под влиянием свежего воздуха, но зимой нас положительно закупоривали в четырех стенах. Ни единой струи свежего воздуха не доходило до нас, потому что форточек в доме не водилось, и комнатная атмосфера освежалась только при помощи топки печей. Катанье в санях не было в обычае, и только по воскресеньям нас вывозили в закрытом возке к обедне в церковь, отстоявшую от дома саженях в пятидесяти, но и тут закутывали до того, что трудно было дышать. Это называлось неженным воспитанием. Очень возможно, что вследствие таких бессмысленных гигиенических условий, все мы, впоследствии, оказались хилыми, болезненными и не особенно устойчивыми в борьбе с жизненными случайностями. Печально существование, в котором жизненный процесс равносилен непрерывающейся невзгоде, но еще печальнее жизнь, в которой сами живущие как бы не принимают никакого участия. С больною душой, с тоскующим сердцем, с неокрепшим организмом, человек всецело погружается в призрачный мир им самим созданных фантасмагорий, а жизнь проходит мимо, не прикасаясь к нему ни одной из своих реальных услад. Что такое блаженство? В чем состоит душевное равновесие? почему оно наполняет жизнь отрадой? в силу какого злого волшебства мир живых, полный чудес, для него одного превратился в пустыню? – вот вопросы, которые ежеминутна мечутся перед ним и на которые он тщетно будет искать ответа…

Об опрятности не было и помина. Детские комнаты, как я уже сейчас упомянул, были переполнены насекомыми и нередко оставались по нескольку дней неметенными, потому что ничей глаз туда не заглядывал; одежда на детях была плохая и чаще всего перешивалась из разного старья или переходила от старших к младшим; белье переменялось редко. Прибавьте к этому прислугу, одетую в какую-то вонючую, заплатанную рвань, распространявшую запах, и вы получите ту невзрачную обстановку, среди которой копошились с утра до вечера дворянские дети.

То же можно сказать и о питании; оно было очень скудное. В семействе нашем царствовала не то чтобы скупость, а какое-то упорное скопидомство.

Всегда казалось мало, и всего было жаль. Грош прикладывался к грошу, и когда образовывался гривенник, то помыслы устремлялись к целковому. «Ты думаешь, как состояния-то наживаются?» – эта фраза раздавалась во всех углах с утра до вечера, оживляла все сердца, давала тон и содержание всему обиходу. Это было своего рода исповедание веры, которому все безусловно подчинялись. Даже дворовые, насчет которых собственно и происходил процесс прижимания гроша к грошу, и те внимали афоризмам стяжания не только без ненависти, но даже с каким-то благоговением.

Утром нам обыкновенно давали по чашке чая, приправленного молоком, непременно снятым (синеватым), несмотря на то, что на скотном дворе стояло более трехсот коров. К чаю полагался крохотный ломоть домашнего белого хлеба; затем завтрака не было, так что с осьми часов до

двух (время обеда) дети буквально оставались без пищи. За обедом подавались кушанья, в которых главную роль играли вчерашние остатки. Иногда чувствовался и запах лежалого. В особенности ненавистны нам были соленые полотки из домашней живности, которыми, в летнее время, из опасения, чтоб совсем не испортились, нас кормили чуть не ежедневно. Кушанье раздавала детям матушка, но при этом (за исключением любимцев) оделяла такими микроскопическими порциями, что сенные девушки, которых семьи содержались на месячине[4], нередко из жалости приносили под фартуками ватрушек и лепешек и тайком давали нам поесть. Как сейчас помню процедуру приказыванья кушанья. В девичьей, на обеденном столе, красовались вчерашние остатки, не исключая похлебки, и матушкою, совместно с поваром, обсуждался вопрос, что и как «подправить» к предстоящему обеду. Затем, если вчерашних остатков оказывалось недостаточно, то прибавлялась свежая провизия, которой предстояла завтра та же участь, то есть быть подправленною на завтрашний обед. Таким образом дело шло изо дня в день, так что совсем свежий обед готовился лишь по большим праздникам да в те дни, когда наезжали гости. На случай нечаянных приездов несколько кушаньев получше изготовлялось особо и хранилось на погребе. Приедет нечаянный гость – бегут на погреб и несут оттуда какое-нибудь заливное или легко разогреваемое: вот, дескать, мы каждый день так едим!

Но даже мы, не избалованные сытным и вкусным столом, приходили в недоумение при виде пирога, который, по воскресеньям, подавался на закуску попу с причтом. Начинка этого пирога представляла смешение всевозможных отбросков, накоплявшихся в течение недели, и наполняла столовую своеобразным запахом лежалой солонины. Пирог этот так и назывался «поповским», да и посуда к закуске подавалась особенная, поповская: серые, прыщеватые тарелки, ножи с сточенными лезвиями, поломанные вилки и стаканы и рюмки зеленого стекла. Впрочем, надо сказать правду, что и поп у нас был совсем особенный, таковский, как тогда выражались.

Однако ж при матушке еда все-таки была сноснее; но когда она уезжала, на более или менее продолжительное время, в Москву или в другие вотчины и домовничать оставался отец, тогда наступало сущее бедствие. Обыкновенно в таких случаях отцу оставлялась сторублевая ассигнация на все про все, а затем призывался церковный староста, которому наказывалось, чтобы, в случае ежели оставленных барину денег будет недостаточно, то давать ему заимообразно из церковных сумм. Отец не был жаден, но, желая угодить матушке, старался из всех сил сохранить доверенную ему ассигнацию в целости. Поэтому он доводил экономию до самых безобразных размеров. Даже соседи это знали и никогда к нам, в отсутствие матушки, не ездили.

Результаты таких экономических усилий почти всегда сопровождались блестящим успехом: отцу удавалось возвратить оставленный капитал

---

[4] Существовало два способа продовольствовать дворовых людей.

Одним (исключительно, впрочем, семейным и служившим во дворе, а не в горнице) дозволяли держать корову и пару овец на барском корму, отводили крошечный огород под овощи и отсыпали на каждую душу известную пропорцию муки и круп. Это и называлось месячиной. Других кормили в застольной.

Первые считали себя, относительно, счастливыми. Я еще помню месячину; но так как этот способ продовольствия считался менее выгодным, то с течением времени он был в нашем доме окончательно упразднен, и все дворовые были поверстаны в застольную. Я помню ропот и даже слезы по этому поводу. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

неприкосновенным, ибо ежели и случался неотложный расход, то он скорее решался занять малость из церковных сумм, нежели разменять сторублевку. Тем не менее, хотя мы и голодали, но у нас оставалось утешение: при отце мы могли роптать, тогда как при матушке малейшее слово неудовольствия сопровождалось немедленным и жестоким возмездием.

Как ни вредно отражалось на детских организмах недостаточное питание, но в нравственном смысле еще более вредное влияние оказывал самый способ распределения пищи. В этом отношении господствовало совершенное неравенство и пристрастие. Дети в нашей семье (впрочем, тут я разумею, по преимуществу, матушку, которая давала тон всему семейству) разделялись на две категории: на любимых и постылых, и так как высшее счастие жизни полагалось в еде, то и преимущества любимых над постылыми проявлялись главным образом за обедом.

Матушка, раздавая кушанье, выбирала для любимчика кусок и побольше, и посвежее, а для постылого – непременно какую-нибудь разогретую и выветрившуюся чурку. Иногда, оделив любимчиков, она говорила постылым: «А вы сами возьмите!» И тогда происходило постыдное зрелище борьбы, которой предавались голодные постылые.

Матушка исподлобья взглядывала, наклонившись над тарелкой и выжидая, что будет. Постылый, в большинстве случаев, чувствуя устремленный на него ее пристальный взгляд и сознавая, что это предоставление свободы в выборе куска есть не что иное, как игра в кошку и мышку, самоотверженно брал самый дурной кусок.

– Что ж ты получше куска не выбрал? вон сбоку, смотри, жирный какой! – заговаривала матушка притворно ласковым голосом, обращаясь к несчастному постылому, у которого глаза были полны слез.

– Я, маменька, сыт-с! – отвечал постылый, стараясь быть развязным и нервно хихикая.

– То-то сыт! а губы зачем надул? смотри ты у меня! я ведь насквозь тебя, тихоня, вижу!

Но иногда постылому приходила несчастная мысль побравировать, и он начинал тыкать вилкой по блюду, выбирая кусок получше. Как вдруг раздавался окрик:

– Ты что это разыгрался, мерзавец! Ишь новую моду завел, вилкой по блюду тыкать! Подавай сюда тарелку!

И постылому накладывалась на тарелку уже действительно совсем подожженная и не имевшая ни малейшей питательности щепка.

Вообще, весь процесс насыщения сопровождался тоскливыми заглядываниями в тарелки любимчиков и очень часто разрешался долго сдерживаемыми слезами.

А за слезами неизбежно следовали шлепки по затылку, приказания продолжать обед стоя, лишение блюда, и непременно любимого, и т. д.

То же самое происходило и с лакомством. Зимой нам давали полакомиться очень редко, но летом ягод и фруктов было такое изобилие, что и детей ежедневно оделяли ими. Обыкновенно, для вида, всех вообще оделяли поровну, но любимчикам клали особо в потаенное место двойную порцию фруктов и ягод и, конечно, посвежее, чем постылым. Происходило шушуканье между матушкой и любимчиками, и постылые легко догадывались, что их настигла обида…

Существовал и еще прием, который чувствительно отзывался на постылых.

Обыкновенно матушка сама собирала фрукты, то есть персики, абрикосы, шпанские вишни, сливы и т. п. Уходя в оранжерею, она очень часто брала с собой кого-нибудь из любимчиков и давала ему там фрукты прямо с дерева.

Можете себе представить, какие картины рисовало воображение постылых, покуда происходила процедура сбора фруктов и в воротах сада показывалась процессия с лотками, горшками и мисками, наполненными массою спелых персиков, вишен и проч.! И в этой процессии, следом за матушкой, резвясь и играя, возвращался любимчик…

Да, мне и теперь становится неловко, когда я вспоминаю об этих дележах, тем больше, что разделение на любимых и постылых не остановилось на рубеже детства, но прошло, впоследствии, через всю жизнь и отразилось в очень существенных несправедливостях…

– Но вы описываете не действительность, а какой-то вымышленный ад! – могут сказать

мне. Что описываемое мною похоже на ад – об этом я не спорю, но в то же время утверждаю, что этот ад не вымышлен мной. Это «пошехонская старина» – и ничего больше, и, воспроизводя ее, я могу, положа руку на сердце, подписаться: с подлинным верно.

Я не отрицаю, впрочем, что встречалась и тогда другого рода действительность, мягкая и даже сочувственная. Я и ее впоследствии не обойду. В настоящем «житии» найдется место для всего разнообразия стихий и фактов, из которых составлялся порядок вещей, называемый «стариною».

III. Воспитание нравственное

Вообще весь тон воспитательной обстановки был необыкновенно суровый и, что всего хуже, в высшей степени низменный. Но нравственно-педагогический элемент был даже ниже физического. Начну с взаимных отношений родителей.

Как я уже упоминал, отец мой женился сорока лет на девушке, еще не вышедшей из ребяческого состояния. Это был первый и главный исходный пункт будущих несогласий. Затем отец принадлежал к старинному дворянскому роду (Затрапезный – шутка сказать!), а мать была, по рождению, купчиха, при выдаче которой замуж вдобавок не отдали полностью договоренного приданого.

Ни в характерах, ни в воспитании, ни в привычках супругов не было ничего общего, и так как матушка была из Москвы привезена в деревню, в совершенно чуждую ей семью, то в первое время после женитьбы положение ее было до крайности беспомощное и приниженное. И ей с необыкновенною грубостью и даже жестокостью давали чувствовать эту приниженность.

В особенности донимали ее на первых порах золовки, которые все жили неподалеку от отцовской родовой усадьбы и которые встретили молодую хозяйку в высшей степени враждебно. А так как все они были «чудихи», то приставания их имели удивительно нелепые и досадные формы. Примутся, например, без всякой причины, хохотать между собой, и при этом искоса взглядывают на матушку. Или, при появлении ее, шепчут: «Купчиха! купчиха! купчиха!» – и при этом опять так и покатываются со смеха. Или обращаются к отцу с вопросом: «А скоро ли вы, братец, имение на приданое молодой хозяюшки купите?» Так что даже отец, несмотря на свою вялость, по временам гневался и кричал: «Язвы вы, язвы! как у вас язык не отсохнет!» Что же касается матушки, то она, натурально, возненавидела золовок и впоследствии доказала не без жестокости, что память у нее относительно обид не короткая.

Впрочем, в то время как я начал себя помнить, роли уже переменились.

Командиршею в доме была матушка; золовки были доведены до безмолвия и играли роль приживалок. Отец тоже стушевался; однако ж сознавал свою приниженность и отплачивал за нее тем, что при всяком случае осыпал матушку бессильною бранью и укоризнами. В течение целого дня они почти никогда не видались; отец сидел безвыходно в своем кабинете и перечитывал старые газеты; мать, в своей спальне, писала деловые письма, считала деньги, совещалась с должностными людьми и т. д. Сходились только за обедом и вечерним чаем, и тут начинался чистый погром. К несчастью, свидетелями этих сцен были и дети. Инициатива брани шла всегда от отца, который, как человек слабохарактерный, не мог выдержать и первый, без всякой наглядной причины, начинал семейную баталию. Раздавалась брань, припоминалось прошлое, слышались намеки, непристойные слова. Матушка почти всегда выслушивала молча, только верхняя губа у нее сильно дрожала. Все притихало: люди ходили на цыпочках, дети опускали глаза в тарелки; одни гувернантки не смущались.

Они открыто принимали сторону матушки и как будто про себя (но так, чтобы матушка слышала) шептали: «Страдалица!»

Такие сцены повторялись почти каждый день. Мы ничего не понимали в них, но видели, что сила на стороне матушки и что в то же время она чем-то кровно обидела отца. Но вообще мы хладнокровно выслушивали возмутительные выражения семейной свары, и

она не вызывала в нас никакого чувства, кроме безотчетного страха перед матерью и полного безучастия к отцу, который не только кому-нибудь из нас, но даже себе никакой защиты дать не мог. Скажу больше: мы только по имени были детьми наших родителей, и сердца наши оставались вполне равнодушными ко всему, что касалось их взаимных отношений.

Да оно и не могло быть иначе, потому что отношения к нам родителей были совсем неестественные. Ни отец, ни мать не занимались детьми, почти не знали их. Отец – потому что был устранен от всякого деятельного участия в семейном обиходе; мать – потому что всецело была погружена в процесс благоприобретения. Она являлась между нами только тогда, когда, по жалобе гувернанток, ей приходилось карать. Являлась гневная, неумолимая, с закушенною нижней губою, решительная на руку, злая. Родительской ласки мы не знали, ежели не считать лаской те безнравственные подачки, которые кидались любимчикам, на зависть постылым. Был, впрочем, и еще один вид родительской ласки, о котором стоит упомянуть. Когда матушка занималась «делами», то всегда затворялась в своей спальне. Тут она выслушивала старост и бурмистров, принимала оброчную сумму, запродавала хлеб, тальки, полотна и прочие произведения; тут же происходило и ежедневное подсчитыванье денежной кассы. Матушка не любила производить свои денежные операции при свидетелях, но любимчики составляли в этом случае исключение.

Заметив, что матушка «затворилась», они тихонько бродили около ее спальни, и материнское сердце, почуяв их робкие шаги, растворялось.

– Кто там? – раздавался голос из спальни.

– Это я, маменька, Гриша…

– Ну, войди. Войди, посмотри, как мать-старуха хлопочет. Вон сколько денег Максимушка (бурмистр из ближней вотчины) матери привез. А мы их в ящик уложим, а потом, вместе с другими, в дело пустим. Посиди, дружок, посмотри, поучись. Только сиди смирно, не мешай.

Гриша садился и застывал на месте. Он был бесконечно счастлив, ибо понимал, что маменькино сердце раскрылось и маменька любит его.

Разумеется, любимчик передавал о слышанном и виденном прочим братьям и сестрам, и тогда между детьми происходили своеобразные собеседования.

– И куда она такую прорву деньжищ копит! – восклицал кто-нибудь из постылых.

– Все для них вот, для любимчиков этих, для Гришки да для Надьки! – отзывался другой постылый.

– Ты бы, Гришка, сказал матери: вы, маменька, не все для нас копите, у вас и другие дети есть…

– Да, – скажет он! И т. д. и т. д.

Таковы были единственные выражения, в которых родительская ласка исчерпывалась вполне.

Таким образом, к отцу мы, дети, были совершенно равнодушны, как и все вообще домочадцы, за исключением, быть может, старых слуг, помнивших еще холостые отцовские годы; матушку, напротив, боялись как огня, потому что она являлась последнею карательною инстанцией и притом не смягчала, а, наоборот, всегда усиливала меру наказания.

Вообще телесные наказания во всех видах и формах являлись главным педагогическим приемом. К сечению прибегали не часто, но колотушки, как более сподручные, сыпались со всех сторон, так что «постылым» совсем житья не было. Я, лично, рос отдельно от большинства братьев и сестер (старше меня было три брата и четыре сестры, причем между мною и моей предшественницей-сестрой было три года разницы) и потому менее других участвовал в общей оргии битья, но, впрочем, когда и для меня подоспела пора ученья, то, на мое несчастье, приехала вышедшая из института старшая сестра, которая дралась с таким ожесточением, как будто мстила за прежде вытерпенные побои. Благодаря этому педагогическому приему, во время классов раздавались неумолкающие детские стоны, зато внеклассное время дети сидели смирно, не шевелясь, и весь дом погружался в такую тишину,

как будто вымирал. Словом сказать, это был подлинный детский мартиролог, и в настоящее время, когда я пишу эти строки и когда многое в отношениях между родителями и детьми настолько изменилось, что малейшая боль, ощущаемая ребенком, заставляет тоскливо сжиматься родительские сердца, подобное мучительство покажется чудовищным вымыслом. Но сами созидатели этого мартиролога отнюдь не сознавали себя извергами – да и в глазах посторонних не слыли за таковых. Просто говорилось: «С детьми без этого нельзя». И допускалось в этом смысле только одно ограничение: как бы не застукать совсем! Но кто может сказать, сколько «не до конца застуканных» безвременно снесено на кладбище? Кто может определить, скольким из этих юных страстотерпцев была застукана и изуродована вся последующая жизнь?

Но ежели несправедливые и суровые наказания ожесточали детские сердца, то поступки и разговоры, которых дети были свидетелями, развращали их. К сожалению, старшие даже на короткое время не считали нужным сдерживаться перед нами и без малейшего стеснения выворачивали ту интимную подкладку, которая давала ключ к уразумению целого жизненного строя.

Нормальные отношения помещиков того времени к окружающей крепостной среде определялись словом «гневаться». Это было как бы естественное право, которое нынче совсем пришло в забвение. Нынче, всякий так называемый «господин» отлично понимает, что, гневается ли он или нет, результат все один и тот же; «наплевать!»; но при крепостном праве выражение это было обильно и содержанием и практическими последствиями. Господа «гневались», прислуга имела свойство «прогневлять». Это был, так сказать, волшебный круг, в котором обязательно вращались все тогдашние несложные отношения. По крайней мере, всякий раз, когда нам, детям, приходилось сталкиваться с прислугой, всякий раз мы видели испуганные лица и слышали одно и то же шушуканье: «барыня изволят гневаться», «барин гневаются»…

За обедом прежде всего гневались на повара. Повар у нас был старый (были и молодые, но их отпускали по оброку), полуслепой и довольно нечистоплотный. Ежели кушанье оказывалось чересчур посоленным, то его призывали и объявляли, что недосол на столе, а пересол на спине; если в супе отыскивали таракана – повара опять призывали и заставляли таракана разжевать. Иногда матушка не доискивалась куска, который утром, заказывая обед, собственными глазами видела – опять повара за бока: куда девал кусок? любовнице отдал? Словом сказать, редкий обед проходил, чтобы несчастный старик чем-нибудь да не прогневил господ.

Кроме повара, гневались и на лакеев, прислуживавших за столом. Мотивы были самые разнообразные: не так ступил, не так подал, не так взглянул.

«Что фордыбакой-то смотришь, или уже намеднешнюю баню позабыл?» – «Что словно во сне веревки вьешь – или по-намеднишнему напомнить надо?» – Такие вопросы и ссылки на недавнее прошлое сыпались беспрерывно. Драться во время еды было неудобно; поэтому отец, как человек набожный, нередко прибегал к наложению эпитимии. Прогневается на какого-нибудь «не так ступившего» верзилу, да и поставит его возле себя на колени, а не то так прикажет до конца обеда земные поклоны отбивать.

Однако не всегда же домашние встречи ознаменовывались семейными

сварами, не всегда господа гневались, а прислуга прогневляла. От времени до времени выпадали дни, когда воюющие стороны встречались мирно, и свара уступала место обыкновенному разговору. Увы! разговоры эти своим пошлым содержанием и формой засоряли детские мозги едва ли не хуже, нежели самая жестокая брань. Обыкновенно они вращались или около средств наживы и сопряженных с нею разнообразнейших форм объегоривания, или около половых проказ родных и соседей.

– Ты знаешь ли, как он состояние-то приобрел? – вопрошал один (или одна), и тут же объяснял все подробности стяжания, в которых торжествующую сторону представлял человек, пользовавшийся кличкой не то «шельмы», не то «умницы», а угнетенную сторону – «простофиля» и «дурак».

Или:

– Ты что глаза-то вытаращил? – обращалась иногда матушка к кому-нибудь из детей, – чай, думаешь, скоро отец с матерью умрут, так мы, дескать, живо спустим, что они хребтом, да потом, да кровью нажили! Успокойся, мерзавец! Умрем, все вам оставим, ничего в могилу с собой не унесем!

А иногда к этому прибавлялась и угроза:

– А хочешь, я тебя, балбес, в Суздаль-монастырь сошлю? да, возьму и сошлю! И никто меня за это не осудит, потому что я мать: что хочу, то над детьми и делаю! Сиди там да и жди, пока мать с отцом умрут, да имение свое тебе, шельмецу, предоставят.

Что касается до оценки действий родных и соседей, то она почти исключительно исчерпывалась фразами:

– И лег и встал у своей любезной!

Или:

– Любовники-то настоящие бросили, так она за попа принялась…

И все это говорилось без малейшей тени негодования, без малейшей попытки скрыть гнусный смысл слов, как будто речь шла о самом обыденном факте. В слове «шельма» слышалась не укоризна, а скорее что-то ласкательное, вроде «молодца». Напротив, «простофиля» не только не встречал ни в ком сочувствия, но возбуждал нелепое злорадство, которое и формулировалось в своеобразном афоризме: «Так и надо учить дураков!»

Но судачением соседей дело ограничивалось очень редко; в большинстве случаев оно перерождалось в взаимную семейную перестрелку. Начинали с соседей, а потом постепенно переходили к самим себе. Возникали бурные сцены, сыпались упреки, выступали на сцену откровения…

Впрочем, виноват: кроме таких разговоров, иногда (преимущественно по праздникам) возникали и богословские споры. Так, например, я помню, в преображеньев день (наш престольный праздник), по поводу слов тропаря: Показавый учеником своим славу твою, яко же можаху, – спорили о том, что такое «жеможаха»? сияние, что ли, особенное? А однажды помещица-соседка, из самых почетных в уезде, интересовалась узнать: что это за «жезаны» такие? И когда отец заметил ей: «Как же вы, сударыня, богу молитесь, а не понимаете, что тут не одно, а три слова: же, за, ны… «за нас» то есть… – то она очень развязно отвечала:

– Толкуй, троеслов! Еще неизвестно, чья молитва богу угоднее. Я вот и одним словом молюсь, а моя молитва доходит, а ты и тремя словами молишься, ан бог-то тебя не слышит, и проч., и проч.

Разговоры старших, конечно, полагались в основу и наших детских интимных бесед, любимою темою для которых служили маменькины благоприобретения и наши предположения, кому что по смерти ее достанется.

Об отцовском имении мы не поминали, потому что оно, сравнительно, представляло небольшую часть общего достояния и притом всецело предназначалось старшему брату Порфирию (я в детстве его почти не знал, потому что он в это время воспитывался в московском университетском пансионе, а оттуда прямо поступил на службу); прочие же дети должны были ждать награды от матушки. В этом пункте матушка вынуждена была уступить отцу, хотя Порфирий и не был из числа любимчиков. Тем не менее, не все из нас находили

это распоряжение справедливым и не совсем охотно отдавались на «милость» матушки.

– Малиновец-то ведь золотое дно, даром что в нем только триста шестьдесят одна душа! – претендовал брат Степан, самый постылый из всех, – в прошлом году одного хлеба на десять тысяч продали, да пустоша в кортому отдавали, да масло, да яйца, да тальки. Лесу-то сколько, лесу! Там она даст или не даст, а тут свое, законное. Нельзя из родового законной части не выделить. Вон Заболотье – и велика Федора, да дура – что в нем!

– Ну нет, и Заболотье недурно, – резонно возражал ему любимчик Гриша, – а притом папенькино желанье такое, чтоб Малиновец в целом составе перешел к старшему в роде Затрапезных. Надо же уважить старика.

– Что отец! только слава, что отец! Вот мне, небось, Малиновца не подумал оставить, а ведь и я чем не Затрапезный? Вот увидите: отвалит она мне вологодскую деревнюшку в сто душ, и скажет: пей, ешь и веселись! И манже, и буар, и сортир – все тут!

– А мне в Меленках деревнюшку выбросит! – задумчиво отзывалась сестра Вера, – с таким приданым кто меня замуж возьмет?

– Нет, меленковская деревнюшка – Любке, а с тебя и в Ветлужском уезде сорока душ будет!

– А, может, вдруг расщедрится – скажет: и меленковскую, и ветлужскую деревни Любке отдать! ведь это уж в своем роде кус!

– Кому-то она Бубново с деревнями отдаст! вот это так кус! Намеднись мы ехали мимо: скирдов-то, скирдов-то наставлено! Кучер Алёмпий говорит: «Точно Украина!»

– Разумеется, Бубново – Гришке! Недаром он матери на нас шпионит. Тебе, что ли, Гришка-шпион?

– Я всем буду доволен, что милость маменьки назначит мне, – кротко отвечает Гришка, потупив глазки.

– Намеднись, мы в Веркой считали, что она доходов с имений получает. Считали-считали, до пятидесяти тысяч насчитали… ей-богу!

– И куда она экую прорву деньжищ копит!

– Намеднись Петр Дормидонтов из города приезжал. Заперлись, завещанье писали. Я было у двери подслушать хотел, да только и успел услышать: «а его за неповиновение…» В это время слышу: потихоньку кресло отодвигают – я как дам стрекача, только пятки засверкали! Да что ж, впрочем, подслушивай не подслушивай, а его – это непременно означает меня! Ушлет она меня к тотемским чудотворцам, как пить даст!

– Кому-то она Заболотье отделит! – беспокоится сестра Софья.

– Тебе, Сонька, тебе, кроткая девочка… дожидайся! – острит Степан.

– Да ведь не унесет же она его, в самом деле, в могилу!

– Нет, господа! этого дела нельзя оставлять! надо у Петра Дормидонтыча досконально выпытать!

– Я и то спрашивал: что, мол, кому, и как? Смеется, каналья: «Все, говорит, вам, Степан Васильич! Ни братцам, ни сестрицам ничего – все вам!»

И т. д.

Иногда Степка-балбес поднимался на хитрости. Доставал у дворовых ладонки с бессмысленными заговорами и подолгу носил их, в чаяньи приворожить сердце маменьки. А один раз поймал лягушку, подрезал ей лапки и еще живую зарыл в муравейник. И потом всем показывал беленькую косточку, уверяя, что она принадлежит той самой лягушке, которую объели муравьи.

– Мне этот секрет Венька-портной открыл. «Сделайте, говорит: вот увидите, что маменька совсем другие к вам будут!» А что ежели она вдруг… «Степа, – скажет, – поди ко мне, сын мой любезный! вот тебе Бубново с деревнями…» Да деньжищ малую толику отсыплет: катайся, каналья, как сыр в масле.

– Дожидайся! – огорчался Гриша, слушая эти похвальбы, и даже принимался плакать с досады, как будто у него и в самом деле отнимали Бубново.

Матушка, благодаря наушникам, знала об этих детских разговорах и хоть не часто (у

ней было слишком мало на это досуга), но временами обрушивалась на брата Степана.

– Ты опять, балбес бесчувственный, над матерью надругаешься! – кричала она на него, – мало тебе, постылому сыну, намеднишней потасовки! – И вслед за этими словами происходила новая жестокая потасовка, которая даже у малочувствительного «балбеса» извлекала из глаз потоки слез.

Вообще, нужно сказать, что система шпионства и наушничества была в полном ходу в нашем доме. Наушничала прислуга, в особенности должностная; наушничали дети. И не только любимчики; но и постылые, желавшие хоть на несколько часов выслужиться.

– Марья Андреевна! он вас кобылой назвал! – слышалось во время классов, и, разумеется, донос не оставался без последствий для «виноватого». Марья Андреевна, истинно адскою хищностью, впивалась в его уши и острыми ногтями до крови ковыряла ушную мочку, приговаривая:

– Это тебе за кобылу! это тебе за кобылу! Гриша! поди сюда, поцелуй меня, добрый мальчик! Вот так. И вперед мне говори, коли что дурное про меня будут братцы или сестрицы болтать.

Выше я упоминал о формах, в которых обрушивался барский гнев на прогневлявшую господ прислугу, но все сказанное по этому поводу касается исключительно мужского персонала, который подвертывался под руку сравнительно довольно редко. Несравненно в более горьком положении была женская прислуга и в особенности сенные девушки, которые на тогдашнем циническом языке назывались «девками»[5].

«Девка» была существо не только безответное, но и дешевое, что в значительной степени увеличивало ее безответность. Об «девке» говорили: «дешевле пареной репы», или «по грошу пара» – и соответственно с этим ценили ее услуги. Дворовым человеком до известной степени дорожили.

Во-первых, в большинстве случаев, это был мастеровой или искусник, которого не так-то легко заменить. Во-вторых, если за ним и не водилось ремесла, то он знал барские привычки, умел подавать брюки, обладал сноровкой, разговором и т. д. В-третьих, дворового человека можно было отдать в солдаты, в зачет будущих наборов, и квитанцию с выгодою продать. Ничего подобного «девки» не представляли. Из них был повод дорожить только ключницей, барыниной горничной, да, может быть, какой-нибудь особенно искусной мастерицей, обученной в Москве на Кузнецком Мосту. Все прочие составляли безразличную массу, каждый член которой мог быть без труда заменен другим. Все пряли, все вязали чулки, вышивали в пяльцах, плели кружева. И из-за взрослых всегда выглядывал на смену контингент подростков.

Поэтому их худо кормили, одевали в затрапез и мало давали спать, изнуряя почти непрерывной работой[6]. И было их у всех помещиков великое множество.

В нашем доме их тоже было не меньше тридцати штук. Все они занимались разного рода шитьем и плетеньем, покуда светло, а с наступлением сумерек их загоняли в небольшую девичью, где они пряли, при свете сального огарка, часов до одиннадцати ночи. Тут же они обедали, ужинали и спали на полу, вповалку, на войлоках.

Вследствие непосильной работы и худого питания, девушки очень часто недомогали и все имели уныло-заспанный вид и землистый цвет лица. Красивых не было. Многие были

---

[5] Выражение это напоминает мне довольно оригинальный случай. В половине семидесятых годов мне привелось провести зиму в одной из так называемых stations d'hiver <зимних станций> на берегу Средиземного моря. Узнав, что в городе имеется пансион, содержимый русской старушкой-барыней из Бронниц, я, конечно, поспешил туда.

И как же я был обрадован, когда, на мой вопрос о прислуге, милая старушка ответила: «Да кличьте девку – вот и прислуга!» Так на меня и пахнуло словно из печки. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

[6] Разумеется, встречались помещичьи дома, где и дворовым девкам жилось изрядно, но в большей части случаев тут примешивался гаремный оттенок. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

удивительно терпеливы, кротки и горячо верили, что смерть возместит им те радости и услады, в которых так сурово отказала жизнь. В последние дни страстной недели, под влиянием ежедневных служб, эта вера в особенности оживлялась, так что вся девичья наполнялась тихими, сосредоточенными вздохами. Наступавший затем Светлый праздник был едва ли не единственным днем, когда лица рабов и рабынь расцветали и крепостное право как бы упразднялось.

Но что было всего циничнее и возмутительнее – это необыкновенно настойчивое выслеживание «девок».

У большинства помещиков было принято за правило не допускать браков между дворовыми людьми. Говорилось прямо: раз вышла девка замуж – она уж не слуга; ей впору детей родить, а не господам служить. А иные к этому цинично прибавляли: на них, кобыл, и жеребцов не напасешься! С девки всегда спрашивалось больше, нежели с замужней женщины: и лишняя талька пряжи, и лишний вершок кружева и т. д. Поэтому был прямой расчет, чтобы девичье целомудрие не нарушалось.

Процедура выслеживанья была омерзительна до последней степени.

Устраивали засады, подстерегали по ночам, рылись в грязном белье и проч. И когда, наконец, улики были налицо, начинался целый ад. Иногда, не дождавшись разрешения от бремени, виновную (как тогда говорили: «с кузовом») выдавали за крестьянина дальней деревни, непременно за бедного и притом вдовца с большим семейством. Словом сказать, трагедии самые несомненные совершались на каждом шагу, и никто и не подозревал, что это трагедия, а говорили резонно, что с «подлянками» иначе поступать нельзя.

И мы, дети, были свидетелями этих трагедий и глядели на них не только без ужаса, но совершенно равнодушными глазами. Кажется, и мы не прочь были думать, что с «подлянками» иначе нельзя…

Были, впрочем, и либеральные помещики. Эти не выслеживали девичьих беременностей, но замуж выходить все-таки не позволяли, так что, сколько бы ни было у «девки» детей, ее продолжали считать «девкою» до смерти, а дети ее отдавались в дальные деревни, в дети крестьянам. И все это хитросплетение допускалось ради лишней тальки пряжи, ради лишнего вершка кружева.

Люди позднейшего времени скажут мне, что все это было и быльем поросло, и, что, стало быть, вспоминать об этом не особенно полезно. Знаю я и сам, что фабула этой были действительно поросла быльем; но почему же, однако, она и до сих пор так ярко выступает перед глазами от времени до времени? Не потому ли, что, кроме фабулы, в этом трагическом прошлом было нечто еще, что далеко не поросло быльем, а продолжает и доднесь тяготеть над жизнью? Фабула исчезла, но в характерах образовалась известная складка, в жизнь проникли известные привычки… Спрашивается: исчезли ли, вместе с фабулой, эти привычки, эта складка?

В заключение не могу не упомянуть здесь и еще об одном существенном недостатке, которым страдало наше нравственное воспитание. Я разумею здесь совершенное отсутствие общения с природой.

Бывают счастливые дети, которые с пеленок ощущают на себе прикосновение тех бесконечно разнообразных сокровищ, которые мать-природа на всяком месте расточает перед каждым, имеющим очи, чтоб видеть, и уши, чтоб слышать. Мне было уже за тридцать лет, когда я прочитал «Детские годы Багрова-внука» и, признаюсь откровенно, прочитал почти с завистью. Правда, что природа, лелеявшая детство Багрова, была богаче и светом, и теплом, и разнообразием содержания, нежели бедная природа нашего серого захолустья, но ведь для того, чтоб и богатая природа осияла душу ребенка своим светом, необходимо, чтоб с самых ранних лет создалось то стихийное общение, которое, захватив человека в колыбели, наполняет все его существо, и проходит потом через всю его жизнь. Если этого общения не существует, если между ребенком и природой нет никакой непосредственной и живой связи, которая помогла бы первому заинтересоваться великою тайной вселенской жизни, то и самые яркие и разнообразные картины не разбудят его равнодушия.

Напротив того, при наличности общения, ежели дети не закупорены наглухо от вторжения воздуха и света, то и скудная природа может пролить радость и умиление в детские сердца.

Что касается до нас, то мы знакомились с природой случайно и урывками – только во время переездов на долгих в Москву или из одного имения в другое. Остальное время все кругом нас было темно и безмолвно. Ни о какой охоте никто и понятия не имел, даже ружья, кажется, в целом доме не было. Раза два-три в год матушка позволяла себе нечто вроде partie de plaisir[7] и отправлялась всей семьей в лес по грибы или в соседнюю деревню, где был большой пруд, и происходила ловля карасей.

Караси были диковинные и по вкусу, и по величине, но ловля эта имела характер чисто хозяйственный и с природой не имела ничего общего. А кроме того, мы даже в смысле лакомства чересчур мало пользовались плодами ее, потому что почти все наловленное немедленно солилось, вялилось и сушилось впрок, и потом неизвестно куда исчезало. Затем, ни зверей, ни птиц в живом виде в нашем доме не водилось; вообще, ничего сверхштатного, что потребовало бы лишнего куска на прокорм. И зверей и птиц мы знали только в соленом, вареном и жареном виде. Исключение составлял рыжий Васька-кот, которого, впрочем, очень кстати плохо кормили, чтобы он усерднее ловил мышей. Да еще я помню двух собак, Плутонку и Трезорку, которых держали на цепи около застольной, а в дом не пускали.

Вообще, в нашем доме избегалось все, что могло давать пищу воображению и любознательности. Не допускалось ни одного слова лишнего, все были на счету. Даже предрассудки и приметы были в пренебрежении, но не вследствие свободомыслия, а потому что следование им требовало возни и бесплодной траты времени. Так что ежели, например, староста докладывал, что хорошо бы с понедельника рожь жать начать, да день-то тяжелый, то матушка ему неизменно отвечала: «Начинай-ко, начинай! там что будет, а коли, чего доброго, с понедельника рожь сыпаться начнет, так кто нам за убытки заплатит?» Только черта боялись; об нем говорили: «Кто его знает, ни то он есть, ни то его нет – а ну, как есть?!» Да о домовом достоверно знали, что он живет на чердаке. Эти два предрассудка допускались, потому что от них никакое дело не страдало.

Религиозный элемент тоже сведен был на степень простой обрядности.

Ходили к обедне аккуратно каждое воскресенье, а накануне больших праздников служили в доме всенощные и молебны с водосвятием, причем строго следили, чтобы дети усердно крестились и клали земные поклоны. Отец каждое утро запирался в кабинете и, выйдя оттуда, раздавал нам по кусочку зачерствелой просвиры. Но во всем этом царствовала полная машинальность, и не чувствовалось ничего, что напоминало бы возглас: «Горе имеем сердца!»

Колени пригибались, лбы стукались об пол, но сердца оставались немы. Только в Светлый праздник дом своей тишиной несколько напоминал об умиротворении и умилении сердец…

Попы в то время находились в полном повиновении у помещиков, и обхождение с ними было полупрезрительное. Церковь, как и все остальное, была крепостная, и поп при ней – крепостной. Захочет помещик – у попа будет хлеб; не захочет – поп без хлеба насидится. Наш поп был полуграмотный, выслужившийся из дьячков; это был домовитый и честный старик, который пахал, косил, жал и молотил наряду со всеми крестьянами. Обыкновенно он вел трезвую жизнь, но в большие праздники напивался до безобразия. Обращались с ним нехорошо (даже в глаза называли Ванькой). Я помню, что нередко, во время чтения Евангелия, отец через всю церковь поправлял его ошибки. Помню также ежегодно повторявшийся скандал на вечерне Светлого праздника. Поп порывался затворить царские врата, а отец не допускал его, так что дело доходило между ними до борьбы. А по окончании службы поп выходил на амвон, становился на колени и кланялся отцу в ноги,

[7] Пикник

прося прощения. Разумеется, соответственно с таким обращением соразмерялась и плата за требы. За всенощную платили двугривенный, за молебен с водосвятием – гривенник. Самые монеты, назначавшиеся в вознаграждение причту, выбирались до того слепые, что даже «пятнышек» не было видно.

Тем не менее, несмотря на почти совершенное отсутствие религиозной подготовки, я помню, что когда я в первый раз прочитал Евангелие, то оно произвело на меня потрясающее действие. Но об этом я расскажу впоследствии, когда пойдет речь об учении.

IV. День в помещичьей усадьбе

Июль в начале; шестой час утра. Окно в девичьей поднято, и в комнату со двора врывается свежая струя воздуха. Рои мух так и кишат в воздухе, и в особенности скучиваются под потолком, откуда слышится неистовое гудение.

Женская прислуга уже встала, убрала с полу войлоки, собралась около стола и завтракает. На этот раз на столе стоит чашка с толокном, и деревянные ложки усиленно работают. Через десять минут завтрак кончен; девицы скрываются в рабочую комнату, где расставлены пяльцы и подушки для кружев. В девичьей остается одна денщица, обыкновенно из подростков, которая убирает посуду, метет комнату и принимается вязать чулок, чутко прислушиваясь, не раздадутся ли в барыниной спальне шаги Анны Павловны Затрапезной.

Рабочий день начался, но работа покуда идет вяло. До тех пор, пока не заслышится грозный барынин голос, у некоторых девушек слипаются глаза, другие ведут праздные разговоры. И иглы, и коклюшки двигаются медленно.

Хотя время еще раннее, но в рабочей комнате солнечные лучи уже начинают исподволь нагревать воздух. Впереди предвидится жаркий и душный день. Беседа идет о том, какое барыня сделает распоряжение. Хорошо, ежели пошлют в лес за грибами или за ягодами, или нарядят в сад ягоды обирать; но беда, ежели на целый день за пяльцы да за коклюшки засадят – хоть умирай от жары и духоты.

– Сказывают, во ржах солдат беглый притаился, – сообщают друг другу девушки, – намеднись Дашутка, с села, в лес по грибы ходила, так он как прыснет из-за ржей, да на нее. Хлеб с ней был, молочка малость – отнял и отпустил.

– Смотри, не созорничал ли?

– Нет, говорит, ничего не сделал; только что взяла с собой поесть, то отнял. Да и солдат-то, слышь, здешний, из Великановской усадьбы Сережка-фалетур.

– А в Лому медведь проявился. Вот коли туда пошлют, да он в гости к себе позовет!

– Меня он в один глоток съест! – отзывается карлица Полька.

Это – несчастная и вечно больная девушка, лет двадцати пяти, ростом аршин с четвертью, с кошачьими глазами и выпятившимся клином животом.

Однако ж ее заставляют работать наравне с большими, только пяльцы устроили низенькие и дали низенькую скамеечку.

– А правда ли, – повествует одна из собеседниц, – в Москалеве одну бабу медведь в берлогу увел да целую зиму у себя там и держал?

– Как же! в кухарках она у него жила! – смеются другие.

В эту минуту в рабочую комнату, как угорелая, вбегает денщица и шепотом возглашает:

– Барыня! барыня идет!

Девичий гомон мгновенно стихает: головы наклоняются к работе; иглы проворно мелькают, коклюшки стучат. В дверях показывается заспанная фигура барыни, нечесаной, немытой, в засаленной блузе. Она зевает и крестит рот; иногда так постоит и уйдет, но в иной день заглянет и в работы. В последнем случае редко проходит, чтобы не раздалось, для начала дня, двух-трех пощечин. В особенности достается подросткам, которые еще учатся и очень часто портят работу.

На этот раз, однако ж, все обходится благополучно. Анна Павловна, постояв несколько секунд, грузными шагами направляется в девичью, где, заложив руки за спину, ее ожидает старик-повар в рваной куртке и засаленном переднике. Тут же, в глубине комнаты, притулилась ключница. Барыня садится на ларь к столу, на котором разложены на блюдах остатки «вчерашнего», и между прочим в кастрюльке вчерашняя похлебка. Сбоку лежит немного свежей провизии: солонина, гусиный полоток, телячья головка, коровье масло, яйца, несколько кусков сахару, пшеничная мука и т. п. Барыня начинает приказывать.

– Супец-то у нас, кажется, уж третий день? – спрашивает она, заглядывая в кастрюлю.

– Да, уж третий денек-с. Прокис-с.

– Ну, так и быть, сегодня новый завари. Говядина-то есть ли?

– Говядину последнюю извели.

– Как? кусочек, кажется, остался? Еще ты говорил: старому барину на котлетки будет.

– Третьего дня они две котлетки и скушали.

– И куда такая пропасть выходит говядины? Покупаешь-покупаешь, а как ни спросишь – все нет да нет… Делать нечего, курицу зарежь… Или лучше вот что: щец с солониной свари, а курица-то пускай походит… Да за говядиной в Мялово сегодня же пошлите, чтобы пуда два… Ты смотри у меня, старый хрыч… Говядинка-то нынче кусается… четыре рублика (ассигнациями) за пуд… Поберегай, не швыряй зря. Ну, горячее готово; на холодное что?

– Вчерашнего галантиру малость осталось, да тоже одно звание…

Анна Павловна рассматривает остатки галантира. Клейкая масса расползлась по блюду, и из нее торчат обрывки мозгов и телячьей головки.

– А ты сумей подправить; на то ты повар. Старый-то галантир в формочки влей, а из новой головки свежего галантирцу сделай.

Барыня откладывает в сторону телячью голову и продолжает:

– Соусу вчерашнего тоже, кажется, не осталось… или нет, стой! печенка, что ли, вчера была?

– Печенка-с.

– Сама собственными глазами видела, что два куска на блюде осталось! Куда они девались?

– Не знаю-с.

Барыня вскакивает и приближается к самому лицу повара.

– Сказывай! куда печенку девал?

– Виноват-с.

– Куда девал? сказывай!

– Собака съела… не досмотрел-с.

– Собака! Василисушке своей любезной скормил! Хоть роди да подай мне вчерашнюю печенку!

– Воля ваша-с.

Повар стоит и смотрит барыне в глаза. Анна Павловна с минуту колеблется, но наконец примиряется с совершившимся фактом.

– Ну, так соусу у нас нынче не будет, – решает она. – Так и скажу всем: старый хрен любовнице соус скормил. Вот ужо барин за это тебя на поклоны поставит.

Очередь доходит до жаркого. Перед барыней лежит на блюде баранья нога, до такой степени исскобленная, что даже намека на мякоть нет.

– Ну, на нет и суда нет. Вчера Андрюшка из Москалева зайца привез; видно, его придется изжарить…

– Позвольте, сударыня, вам посоветовать. На погребе уж пять дней жареная телячья нога, на случай приезда гостей, лежит, так вот ее бы сегодня подать. А заяц и повисеть может.

Анна Павловна облизывает указательный палец и показывает повару шиш.

– На-тко!

– Помилуйте, сударыня, от телятины-то уж запашок пошел.

– Как, запашок! на льду стоит всего пятый день, и уж запашок! Льду, что ли, у тебя нет? – строго обращается барыня к ключнице.

– Лед есть, да сами изволите знать, какая на дворе жарынь, – оправдывается ключница.

– Жарынь да теплынь… только и слов от вас! Вот я тебя, старая псовка, за индейками ходить пошлю, так ты и будешь знать, как барское добро гноить! Ну, ин быть так: телячью ногу разогреть на сегодняшнее жаркое. Так оно и будет: посидим без соуса, зато телятинки побольше поедим. А на случай гостей, новую ногу зажарить. Ах, уж, эти мне гости! обопьют, объедят, да тебя же и обругают! Да еще хамов да хамок с собой навезут – всех-то напои, всех-то накорми! А что добра на лошадей ихних изойдет! Приедут шестериком… И сена-то им, и овса-то!

– Это уж известно…

– Да ты смотри, Тимошка, старую баранью ногу все-таки не бросай. Еще найдутся обрезочки, на винегрет пригодятся. А хлебенного (пирожного) ничего от вчерашнего не осталось?

– Ничего-с.

– Ну, бабу из клубники сделай. И то сказать, без пути на погребе ягода плесневеет. Сахарцу кусочка три возьми да яичек парочку… Ну-ну, не ворчи! будет с тебя!

Анна Павловна велит отрубить кусок солонины, отделяет два яйца, три куска сахару, проводит пальцем черту на комке масла и долго спорит из-за лишнего золотника, который выпрашивает повар.

По уходе повара она направляется к медному тазу, над которым утвержден медный же рукомойник с подвижным стержнем. Ключница стоит сзади, покуда барыня умывается. Мыло, которое она при этом употребляет, пахнет прокислым; полотенце простое, из домашнего холста.

– Что? Как оказалось? Липка тяжела? – спрашивает барыня.

– Не могу еще наверно сказать, – отвечает ключница, – должно быть, по видимостям, что так.

– Уж если… уж если она… ну, за самого что ни на есть нищего ее отдам! С Прошкой связалась, что ли?

– Видали их вместе. Да что, сударыня, вчерась беглого солдата во ржах заприметили.

При словах: «беглый солдат» Анна Павловна бледнеет. Она прекращает умыванье и с мокрым лицом обращается к ключнице:

– Солдат? где? когда? отчего мне не доложили?

– Да тут недалечко, во ржах. Сельская Дашутка по грибы в Лисьи Ямы шла, так он ее ограбил, хлеб, слышь, отнял. Дашутка-то его признала. Бывший великановский Сережка-фалетур… помните, еще старосту ихнего убить грозился.

– Что ж ты мне не доложила? Кругом беглые солдаты бродят, все знают, я одна ведать не ведаю…

Барыня с простертыми дланями подступает к ключнице.

– Что же мне докладывать – это старостино дело! Я и то ему говорила: доложи, говорю, барыне. А он: что зря барыне докладывать! Стало быть, обеспокоить вас поопасился.

– Беспокоить! беспокоить, ах, нежности какие! А ежели солдат усадьбу сожжет – кто тогда отвечать будет? Сказать старосте, чтоб непременно его изловить! чтоб к вечеру же был представлен! Взять Дашутку и все поле осмотреть, где она его видела.

– Народ на сенокосе, – кто же ловить будет?

– Сегодня брат на брата работают. Своих, которые на барщине, не трогать, а которые на себя сенокосничают – пусть уж не прогневаются. Зачем беглых разводят!

Анна Павловна наскоро вытирается полотенцем и, слегка успокоенная, вновь начинает беседу с Акулиной.

– Куда сегодня кобыл-то наряжать? или дома оставить? – спрашивает она.

– Малина, сказывают, поспевать начала, – Ну, так в лес за малиной. Вот в Лисьи-Ямы и пошли: пускай солдата по дороге ловят.

– Пообедавши идти?

– Дай им по ломтю хлеба с солью да фунта три толокна на всех – будет с них. Воротятся ужо, ужинать будут… успеют налопаться! Да за Липкой следи… ты мне ответишь, ежели что…

Покуда в девичьей происходят эти сцены, Василий Порфирыч Затрапезный заперся в кабинете и возится с просвирами. Он совершает проскомидию, как настоящий иерей: шепчет положенные молитвы, воздевает руки, кладет земные поклоны. Но это не мешает ему от времени до времени посматривать в окна, не прошел ли кто по двору и чего-нибудь не пронес ли. В особенности зорко следит его глаз за воротами, которые ведут в плодовитый сад. Теперь время ягодное, как раз кто-нибудь проползет.

– Куда, куда, шельмец, пробираешься? – раздается через открытое окно его окрик на мальчишку, который больше, чем положено, приблизился к тыну, защищающему сад от хищников. – Вот я тебя! чей ты? сказывай, чей?

Но мальчишка, при первом же окрике, исчез, словно сквозь землю провалился.

Барин делает полуоборот, чтоб снова стать на молитву, как взор его встречает жену старшего садовника, которая выходит из садовых ворот. Руки у нее заложены под фартук: значит, наверное, что-нибудь несет. Барин уж готов испустить крик, но садовница вовремя заметила его в окне и высвобождает руки из-под фартука; оказывается, что они пусты.

Василий Порфирыч слывет в околотке умным и образованным. Он знает по-французски и по-немецки, хотя многое перезабыл. У него есть библиотека, в которой на первом плане красуется старый немецкий «Conversations-Lexicon»[8], целая серия академических календарей, Брюсов календарь, «Часы благоговения» и, наконец, «Тайны природы» Эккартсгаузена.

Последние составляют его любимое чтение, и знакомство с этой книгой в особенности ставится ему в заслугу. Сверх того, он слывет набожным человеком, заправляет всеми церковными службами, знает, когда нужно класть земные поклоны и умиляться сердцем, и усердно подтягивает дьячку за обедней.

Бьет восемь, на дворе начинает чувствоваться зной. Дети собрались в столовой, разместились на определенных местах и пьют чай. Перед каждым стоит чашка жидкого чая, предварительно подслащенного и подбеленного снятым молоком, и тоненький ломоть белого хлеба. Разумеется, у любимчиков и чай послаще, и молоко погуще. За столом председательствует гувернантка, Марья Андреевна, и уже спозаранку выискивает, кого бы ей наказать.

– У меня, Марья Андреевна, совсем сахару нет, – объявляет Степка-балбес, несмотря на то, что вперед знает, что голос его будет голосом, вопиющим в пустыне.

– В таком случае оставайся совсем без чаю, – холодно отрезывает Марья Андреевна.

– Да вы попробуйте! вы не за тем к нам наняты, чтоб оставлять без чая, а за тем, чтоб выслушивать нас! – протестует Степан сквозь слезы.

– А! так я «нанята»! еще грубить смеет!.. без чаю!

– Без чаю да без чаю! только вы и знаете! А я вот возьму да и выпью!

– Не смеешь! Если б ты попросил прощения, я, может быть, простила бы, а теперь…

---

8 Словарь разговорных слов

без чаю!

Степан отодвигает чашку и смиряется.

– Позвольте хоть хлеб съесть! – просит он.

– Хлеб… можешь!

Таким образом, день только что начался, а жертва уж найдена.

Выпивши чай, дети скрываются в классную и садятся за ученье. Им и в летние жары не дается отдыха.

Анна Павловна, между тем, в той же замасленной блузе, нечесаная, сидит в своей спальне и тоже кушает чай. Она любит пить чай одна, потому что кладет сахару вдоволь, и при этом ей подается горшочек с густыми топлеными сливками, на поверхности которых запеклась румяная пенка. Комната еще не выметена, горничная взбивает пуховики, в воздухе летают перья, пух; мухи не дают покоя; но барыня привыкла к духоте, ей и теперь не душно, хотя на лбу и на открытой груди выступили капли пота. Перестилая постель, горничная рапортует:

– Что Липка с кузовком – это верно; и про солдата правду говорили:

Сережка от Великановых. Кирюшка-столяр вчера ночью именины справлял, пьян напился и Марфу-кухарку напоил. Песни пели, барыню толстомясой честили…

– Где водку взяли? кто принес? откуда? сейчас же пойди, призови обоих: и Кирюшку и Марфушку!

Горничная удаляется; Анна Павловна остается одна и предается размышлениям. Все-то живут в спокое да в холе, она одна целый день как в котле кипит. За всем-то она присмотри! всем-то припаси, обо всем-то подумай! Еще восемь часов только, а уж какую пропасть она дел приделала! И кушанье заказала, и насчет девок распоряжение сделала, всех выслушала, всем ответ дала! Даже хамкам – и тем не в пример вольнее! Вот хоть бы Акулька-ключница – чем ей не житье! Сбегала на погреб, в кладовую, что следует – выдала, что следует – приняла… Потом опять сбегала. Или девки опять… Убежали теперь в лес по малину, дерут там песни, да аукаются, или с солдатом амурничают… и горюшка мало! В лесу им прохладненько, ни ветерок не венет, ни мушка не тронет… словно в раю! А устанут – сядут и отдохнут! Хлебца поедят, толоконца разведут… сытехоньки! А она целый день все на ногах да на ногах. И туда пойди, и там побывай, и того выслушай, и тем распорядись! И все одна, все одна. У других хоть муж помога – вон у Александры Федоровны – а у нее только слава, что муж! Сидит запершись в кабинете или бродит по коридору да по ляжкам себя хлопает! Глядитко-те, солдат беглый проявился, а им никому и горя нет! А что, ежели он в усадьбу заберется да подожжет или убьет… ведь на то он солдат! Или опять Кирюшка-подлец! Пьян напиться изволил! И где они вино достают? Беспременно это раскрыть надо.

Сидит Анна Павловна и все больше и больше проникается сожалением к самой себе и, наконец, начинает даже рассуждать вслух.

– И добро бы я кого-нибудь обидела, – говорит она, – кого бы нибудь обокрала, наказала бы занапрасно или изувечила, убила… ничего за мной этакого нет! За что только бог забыл меня – ума приложить не могу!

Родителей я, кажется, завсегда чтила, а кто чтит родителей – тому это в заслугу ставится. Только мне одной – пшик вместо награды! Что чти, что не чти – все одно! Получила я от них, как замуж выдавали, грош медный, а теперь смотри, какое именьище взбодрила! А все как? – все шеей, да грудью, да хребтом! Сюда забежишь, там хвостом вильнешь… в опекунском-то совете со сторожами табак нюхивала! перед каким-нибудь ледащим приказным чуть не вприсядку плясала: «Только справочку, голубчик, достань!» Вот как я именья-то приобретала! И кому все это я припасаю! Кто меня за мои труды отблагодарит! Так, прахом, все хлопоты пойдут… после смерти и помянуть-то никто не вздумает! И умру я одна-одинешенька, и похоронят меня… гроба-то, пожалуй, настоящего не сделают, так, колоду какую-нибудь… Намеднись спрашиваю Степку: рад будешь, Степка, ежели я умру?.. Смеется… Так-то и все. Иной, пожалуй, и скажет: я, маменька, плакать буду… а кто его знает, что У него на душе!..

Неизвестно, куда бы завели Анну Павловну эти горькие мысли, если бы не воротилась горничная и не доложила, что Кирюшка с Марфушкой дожидаются в девичьей.

Через минуту в девичьей происходит обмен мыслей.

Прежде всего Анна Павловна начинает иронизировать.

– Так вот вы как, Кирилл Филатыч! винцо покушиваете? – говорит она, держась, впрочем, в некотором отдалении от обвиняемого.

Но Кирюшка не из робких. Он принадлежит к числу «закоснелых» и знает, что барыня давно уж готовит его под красную шапку.

– Пил-с, – спокойно отвечает он, как будто это так и быть должно.

– Именины изволили справлять?

– Так точно, был именинник.

– И Марфе Васильевне поднесли?

– И ей поднес. Тетка она мне…

– А где, позвольте узнать, вы вина достали?

– Стало быть, сорока на хвосте принесла.

Лицо Анны Павловны мгновенно зеленеет; губы дрожат, грудь тяжело дышит, руки трясутся. В один прыжок она подскакивает к Кирюшке.

– Не извольте драться, сударыня! – твердо предупреждает последний, отстраняя барынины руки.

– Сказывай, подлец, где вино взял? – кричит она на весь дом.

– Где взял, там его уж нет.

С минуту Анна Павловна стоит словно ошеломленная. Кирюшка, напротив, не только не изъявляет намерения попросить прощения, но продолжает смотреть ей прямо в глаза.

– Хорошо, я с тобой справлюсь! – наконец изрекает барыня. – Иди с моих глаз долой! А с тобой, – обращается она к Марфе: – расправа короткая! Сейчас же сбирайся на скотную, индеек пасти! Там тебе вольготнее будет с именинниками винцо распивать…

Аудиенция кончена. Деловой день в самом разгаре, весь дом приходит в обычный порядок. Василий Порфирыч роздал детям по микроскопическому кусочку просфоры, напился чаю и засел в кабинет. Дети зубрят уроки. Анна Павловна тоже удалилась в спальню, забыв, что голова у нее осталась нечесаною.

Она запирает дверь на ключ, присаживается к большому письменному столу и придвигает денежный ящик, который постоянно стоит на столе, против изголовья барыниной постели, так чтоб всегда иметь его в глазах. В денежном ящике, кроме денег, хранится и деловая корреспонденция, которая содержится Анной Павловной в большом порядке. Переписка с каждой вотчиной завязана в особенную пачку; такие же особые пачки посвящены переписке с судами, с опекунским советом, с старшими детьми и т. д.

Прежде всего Анна Павловна пересчитывает кассу и убеждается, что вся сумма налицо. Потом начинает развязывать пачки с перепискою. Проверяется, не забыто ли что, не требуется ли на что-нибудь ответ или приказ. Все это занимает много времени и выполняется без задержки. В этом отношении Анна Павловна смело может поставить себя в образец. У нее день очищается днем, и независимо от громадной памяти, сохраняющей всякую мелочь, на всякое распоряжение имеется оправдательный документ. И старосты и приказчики знают это и никогда не осмеливаются опровергать то, что она утверждает. Весь ход тяжебных дел, которых у нее достаточно, она помнит так твердо, что даже поверенный ее сутяжных тайн, Петр Дормидонтыч Могильцев, приказный из местного уездного суда, ни разу не решался продать ее противной стороне, зная, что она чутьем угадает предательство.

Вообще Могильцев не столько руководит ее в делах, сколько выслушивает ее внушения, облекает их в законную форму и указывает, где, кому и в каком размере следует вручить взятку. В последнем отношении она слепо ему повинуется, сознавая, что в тяжебных делах лучше переложить, чем не доложить.

На этот раз дел оказывается достаточно, так как имеются в виду «оказии» и в Москву, и в одну из вотчин.

Анна Павловна берет лист серо-желтой бумаги и разрезывает его на четвертушки. Бумагу она жалеет и всю корреспонденцию ведет по возможности на лоскутках. Избегает она и почтовых расходов, предпочитая отправлять письма с оказией. И тут, как везде, наблюдается самая строгая экономия.

Перо ее быстро бегает по четвертушке. Лишних слов не допускается; всякая мысль выражена в приказательной форме, кратко и определенно, так, чтобы все нужное уместилось на лицевой стороне четвертушки.

Затем письмо складывается на манер узелка и в свое время отправляется по назначению, незапечатанное. Сургуч, как вещь покупная, употребляется только в крайних случаях. Ухитряются даже свой собственный сургуч приготовлять, вырезывая сургучные печати из получаемых писем и перетапливая их; но ведь и его не наготовишься, если зря тратить.

– Состояния-то и все так составляются, – проповедует Анна Павловна, – тут копеечку сбережешь, в другом месте урвешь – смотришь, и гривенничек!

А Василий Порфирыч идет даже дальше; он не только вырезывает сургучные печати, но и самые конверты сберегает: может быть, внутренняя чистая сторона еще пригодится коротенькое письмецо написать.

Наконец все нужные дела прикончены. Анна Павловна припоминает, что она еще что-то хотела сделать, да не сделала, и, наконец, догадывается, что до сих пор сидит нечесаная. Но в эту минуту за дверьми раздается голос садовника:

– Скоро ли персики обирать будете? Сегодня паданцев два горшка набрал.

При этом напоминании мелькнувшая на мгновение мысль о необходимости причесаться – вновь оставляет Анну Павловну.

– Фу, ты пропасть! – восклицает она, – то туда, то сюда! вздохнуть не дадут! Ступай, Сергеич; сейчас, следом же за тобой иду.

Садовником Анна Павловна дорожит и обращается с ним мягче, чем с другими дворовыми. Во-первых, он хранитель всей барской сласти, а во-вторых, она его купила и заплатила довольно дорого. Поэтому ей не расчет, ради минутного каприза, «ухлопать» затраченный капитал.

Выше уже было упомянуто, что Анна Павловна, отправляясь в оранжереи для сбора фруктов, почти всегда берет с собой кого-нибудь из любимчиков.

Так поступает она и теперь.

– Ну, что, Марья Андреевна, как сегодня у вас Гриша? – спрашивает она, входя в класс.

Дети шумно отодвигают табуретки и наперерыв друг перед другом спешат подойти к маменькиной ручке.

– Сегодня мы похвастаться не можем, – жеманится Марья Андреевна, – из катехизиса – слабо, а из «Поэзии»[9] – даже очень…

– Ну, вот видишь, а я иду в ранжереи и тебя хотела взять. А теперь…

– О нет! – поправляется Марья Андреевна, видя, что аттестация ее не понравилась Анне Павловне, – я надеюсь, что мы исправимся. Гриша! ведь к вечеру скажешь мне свой урок из «Поэзии»?

– Скажу-с, – весь красный и с глазами, полными слез, бормочет Гриша.

– В таком случае можешь отправиться с мамашей.

Гриша бросает на мамашу умоляющий взгляд.

– Что ж, ежели Марья Андреевна… встань и поцелуй у нее ручку! скажи: merci, Марья Андреевна, что вы так милостивы… вот так.

И через две минуты балбесы и постылые уже видят в окно, как Гриша, подскакивая на одной ножке, спешит за маменькой через красный двор в обетованную землю.

Оранжереи довольно обширны. Два корпуса и в каждом несколько отделений, по

---

[9] Был особый предмет преподавания, «Поэзией» называемый. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

сортам фруктов: персики, абрикосы, сливы, ренклоды (по-тогдашнему «венгерки»). Теплица и грунтовые сараи стоят особняком.

Сверх того, при оранжерее имеется обширное и плотно обгороженное подстриженными елями пространство, называемое «выставкой» и наполненное рядами горшков, тоже с фруктами всех сортов. Рамы в оранжереях сняты, и воздух пропитан теплым, душистым паром созревающих плодов. От этого пара занимается дух. А солнце так и обливает сверху лучами, словно огнем. Сердце Анны Павловны играет: фруктов уродилось множество, и все отличные. Садовник подает ей два горшка с паданцами, которые она пересчитывает и перекладывает в другие порожние горшки. Фруктам в Малиновце ведется строгий счет. Как только персики начнут выходить в «косточку», так их тщательно пересчитывают, и затем уже всякий плод, хотя бы и не успевший дозреть, должен быть сохранен садовником и подан барыне для учета. При этом, конечно, допускается и урон, но самый незначительный.

Отделив помятые паданцы, Анна Павловна дает один персик Грише, который не ест его, а в один миг всасывает в себя и выплевывает косточку.

– Ах, маменька, как вкусно! – восклицает он в упоении, целуя у маменьки ручку, – как эти персики называются?

– Это персик ранжевый, а вот по отделениям пойдем, там и других персичков поедим. Кто меня любит – и я тех люблю, а кто не любит, – и я тех не люблю.

– Ах, маменька! вас все любят!

– Я знаю, что ты добрый мальчик, и готов за всех заступаться. Но не увлекайся, мой друг! впоследствии, ой-ой как можешь раскаяться!

К шпалерам с задней стороны приставляются лестницы, и садовник с двумя помощниками влезают наверх, где персики зрелее, чем внизу. Начинается сбор.

Анна Павловна, сопровождаемая ключницей и горничной, с горшками в руках переходит из отделения в отделение; совсем спелые фрукты кладет особо; посырее (для варенья) – особо. Работа идет медленно, зато фруктов набирается масса.

– Вот эти белобокие с кваском, а эти, с крапинками, я в Отраде прививочков достала да развела! – поучает Анна Павловна Гришу.

Сбор кончился. Несколько лотков и горшков нагружено верхом румяными, сочными и ароматическими плодами. Процессия из пяти человек возвращается восвояси, и у каждого под мышками и на голове драгоценная ноша. Но Анна Павловна не спешит; она заглядывает и в малинник, и в гряды клубники, и в смородину. Все уже созревает, а клубника даже к концу приходит.

– Малину-то хоть завтра обирай! – говорит она, всплескивая руками.

– Сегодня бы надо, а вы в лес девок угнали! – отвечает садовник.

– Как мы со всей этой прорвой управимся? – тоскует она. – И обирать, и чистить, и варить, и солить.

– Бог милостив, сударыня; девок побольше нагоните – разом очистят.

– Хорошо тебе, старый хрен, говорить: у тебя одно дело, а я целый день и туда и сюда! Нет, сил моих нет! Брошу все и уеду в Хотьков, богу молиться!

– Ах, маменька! – восклицает Гриша, и две слезинки навертываются на его глазах.

Но Анна Павловна уже вступила в колею чувствительности и продолжает роптать. Непременно она бросит все и уедет в Хотьков. Построит себе келейку, огородец разведет, коровушку купит и будет жить да поживать.

Смирнехонько, тихохонько; ни она никого не тронет, ни ее никто не тронет. А то на-тко! такая прорва всего уродилась, что и в два месяца вряд справиться, а у ней всего недели две впереди. А кроме того, сколько еще других дел – и везде она поспевай, все к ней за приказаниями бегут! Нет, будет с нее! надо и об душе подумать. Уедет она в Хотьков…

Все это она объясняет вслух и с удовольствием убеждается, что даже купленный садовник Сергеич сочувствует ей. Но в самом разгаре сетований в воротах сада показывается запыхавшаяся девчонка и объявляет, что барин «гневаются», потому что два часа уж

пробило, а обед еще не подан.

Анна Павловна ускоряет шаг, потому что Василий Порфирыч на этот счет очень пунктуален. Он ест всего один раз в сутки и требует, чтоб обед был подан ровно в два часа. По-настоящему, следовало бы ожидать с его стороны целой бури (так как четверть часа уже перешло за положенный срок), но при виде массы благоухающих плодов сердце старого барина растворяется. Он стоит на балконе и издали крестит приближающуюся процессию; наконец сходит на крыльцо и встречает жену там. Да, это все она завела! Когда он был холостой, у него был крохотный сад, с несколькими десятками ягодных кустов, между которыми были рассажены яблони самых незатейливых сортов. Теперь – «заведение» господ Затрапезных чуть не первое в уезде, и он совершенно законно гордится им. Поэтому он не только не встречает Анну Павловну словами «купчиха», «ведьма», «черт» и проч., но, напротив, ласково крестит ее и прикладывается щекой к ее щеке.

– Этакую ты, матушка, махину набрала! – говорит он, похлопывая себя по ляжкам, – ну, и урожай же нынче! Так и быть, я перед чаем полакомлюсь, и мне уделите персичек… вон хоть этот!

Он выбирает самый помятый персик, из числа паданцев, и бережно кладет его на порожний поддонник, – Да возьми получше персик, – убеждает его Анна Павловна, – этот до вчера наполовину сгниет!

– Нет, нет, нет, будет с меня! А ежели и попортится, так я порченое местечко вырежу… Хорошие-то и на варенье пригодятся.

Обед, сверх обыкновения, проходит благополучно. И повару и прислуге как-то удается не прогневить господ; даже Степан-балбес ускользает от наказания, хотя отсутствие соуса вызывает с его стороны ироническое замечание: «Соус-то нынче, видно, курица украла». – Легкомысленное это изречение сопровождается не наказанием, а сравнительно мягкой угрозой:

– Только рук сегодня марать не хочется, – говорит Анна Павловна, – а уж когда-нибудь я тебя, балбес, за такие слова отшлепаю!

И только.

После обеда Василий Порфирыч ложится отдохнуть до шести часов вечера; дети бегут в сад, но ненадолго: через час они опять засядут за книжки и будут учиться до шести часов. Сама Анна Павловна удаляется в спальню и усталая грузно валится на постель. Но нынешний день уж такой выдался, что, видно, ей и отдохнуть не придется. Не прошло часу, как чуткое ее ухо уже заслышало шум, и она, как встрепанная, вынырнула из пуховиков. От села шла целая толпа народа, впереди которой вели связанного человека. Это был пойманный беглый солдат. Анна Павловна проворно выскочила на девичье крыльцо.

Солдат изможден и озлоблен. На нем пестрядинные, до клочьев истрепанные портки и почти истлевшая рубашка, из-за которой виднеется черное, как голенище, тело. Бледное лицо блестит крупными каплями пота; впалые глаза беспокойно бегают; связанные сзади в локтях руки бессильно сжимаются в кулаки. Он идет, понуждаемый толчками, и кричит:

– Я – казенный человек – не смеете вы меня бить… Я сам, коли захочу, до начальства дойду… Не смеете вы! и без вас есть кому меня бить!

Но провожатые, озлобленные, что у них пропала, благодаря беглецу, лучшая часть дня для сенокоса, не убеждаются его воплями и продолжают награждать его тумаками.

– Добро, добро! – раздается в толпе, – ужо барыня тебя на все четыре стороны пустит, а теперь пошевеливайся-ко, поспевай!

Барыня между тем уже вышла на крыльцо и ждет. Все наличные домочадцы высыпали на двор; даже дети выглядывают из окна девичьей. Вдали, по направлению к конюшням, бежит девчонка с приказанием нести скорее колодки.

– Ну-ка, иди, казенный человек! – по обыкновению начинает иронизировать Анна Павловна. – Фу ты, какой франт! да никак и впрямь это великановский Сережка… извините, не знаю, как вас по отчеству звать… Поверните-ка его… вот так! как раз по последней моде одет!

– Я казенный человек! – продолжает бессмысленно орать солдат, – не смеете вы меня…

– Знаем мы, что ты казенный человек, затем и сторожу к тебе приставили, что казенное добро беречь велено. Ужо оденем мы тебя как следует в колодки, нарядим подводу, да и отправим в город по холодку. А оттуда тебя в полк… да скрозь строй… да розочками, да палочками… как это в песне у вас поется?

– «Пройдись, пройдись, молодец, скрозь зеленые леса!» – отвечает из толпы голос отставного солдата.

– Слышишь? Ну, вот, мы так и сделаем: нарядим тебя, милой дружок, в колодки, да вечерком по холодку…

– Я казен… – начинает опять солдат, но голос его внезапно прерывается. Напоминание о «скрозь строе», по-видимому, вносит в его сердце некоторое смущение. Быть может, он уже имеет довольно основательное понятие об этом угощении, и повторение его (в усиленной пропорции за вторичный побег) не представляет в будущем ничего особенно лестного.

– Матушка ты моя! заступница! – не кричит, а как-то безобразно мычит он, рухнувшись на колени, – смилуйся ты над солдатом! Ведь я… ведь мне… ах, господи! да что же это будет! Матушка! да ты посмотри! ты на спину-то мою посмотри! вот они, скулы-то мои… Ах ты, господи милосливый!

Но Анна Павловна не раз уже была участницей подобных сцен и знает, что они представляют собой одну формальность, в конце которой стоит неизбежная развязка.

– Не властна я, голубчик, и не проси! – резонно говорит она, – кабы ты сам ко мне не пожаловал, и я бы тебя не ловила. И жил бы ты поживал тихохонько да смирнехонько в другом месте… вот хоть бы ты у экономических… Тебе бы там и хлебца, и молочка, и яишенки… Они люди вольные, сами себе господа, что хотят, то и делают! А я, мой друг, не властна! я себя помню и знаю, что я тоже слуга! И ты слуга, и я слуга, только ты неверный слуга, а я – верная!

– Матушка! да взгляни ты…

– Нет, ты пойми, что ты сделал! Ведь ты, легко сказать, с царской службы бежал! С царской! Что ежели вы все разбежитесь, а тут вдруг француз или турок… глядь-поглядь, а солдатушки-то у нас в бегах! С кем мы тогда навстречу лиходеям нашим пойдем?

– Заступница!

– Нет-нет-нет… Или, опять то возьми: видишь, сколько мужичков тебя ловить согнали, а ведь они через это целый день работы потеряли! А время теперь горячее, сенокос! Целый день ловили тебя, а вечером еще подводу под тебя нарядить надо, да двоих провожатых… Опять у мужичков целые сутки пропали, а не то так и двои! Какое ты, подлец ты этакой, право имел всю эту кутерьму затевать! – вдруг разражается она гневно. – Эй, что там копаются! забить ему руки-ноги в колодки! Ишь, мерзавец! на спину его взгляни! Да коли ты казенный человек – стало быть, и спина у тебя казенная, – вот и вся недолга!

Подбегают два конюха, валят солдата на землю и начинают набивать ему колодки на руки и на ноги! Колодки рассохлись и мучительно сжимают солдату кости.

– Колодки! колодки забивают! – раздаются из окон детские голоса.

– Ишь печальник нашелся! – продолжает поучать Анна Павловна, – уж не на все ли четыре стороны тебя отпустить? Сделай милость, воруй, голубчик, поджигай, грабь! Вот ужо в городе тебе покажут… Скажите на

милость! целое утро словно в котле кипела, только что отдохнуть собралась – не тут-то было! солдата нелегкая принесла, с ним валандаться изволь! Прочь с моих глаз… поганец! Уведите его да накормите, а не то еще издохнет, чего доброго! А часам к девяти приготовить подводу – и с богом!

Сделавши это распоряжение, Анна Павловна возвращается восвояси, в надежде хоть на короткое время юркнуть в пуховики; но часы уже показывают половину шестого; через полчаса воротятся из лесу «девки», а там чай, потом староста… Не до спанья!

– Брысь, пострелята! Еще ученье не кончилось, а они на-тко куда забрались! вот я вас! – кричит она на детей, все еще скучившихся у окна в девичьей и смотрящих, как солдата, едва ступающего в колодках, ведут по направлению к застольной.

Она уходит в спальню и садится к окну. Ей предстоит целых полчаса праздных, но на этот раз ее выручает кот Васька. Он тихо-тихо подкрадывается по двору за какой-то добычей и затем в один прыжок настигает ее. В зубах у него замерла крохотная птица.

– Ишь ведь, мерзавец, все птиц ловит – нет чтобы мышь! – ропщет Анна Павловна. – От мышей спасенья нет, и в анбарах, и в погребе, и в кладовых тучами ходят, а он все птиц да птиц. Нет, надо другого кота завести!

Несмотря, однако ж, на негодование, которое возбуждает в ней Васька своим поведением, она не без интереса смотрит на игру, которую кот заводит с изловленной птицей. Он несет свою жертву в зубах на край дороги и выпускает ее изо рта. Птица еще жива, но уже совсем безнадежно кивает головкой и еле-еле шевелит помятыми крылышками. Васька то отбежит в сторону и начинает умывать себе морду лапкой, то опять подскочит к своей жертве, как только она сделает какое-нибудь движение. Куснет ее слегка за крыло и опять отбежит. Маневр этот повторяется несколько раз сряду, пока Васька, как бы из опасения, чтоб птица в самом деле не издохла, не решается перекусить ей горло. Начинается процесс ощипыванья.

– Ах, злец! ах, подлец! – шепчет Анна Павловна, – ишь ведь что делает… мучитель! А что вы думаете, ведь и из людей такие же подлецы бывают! То подскочит, то отбежит; то куснет, то отдохнуть даст. Я помню, один палатский секретарь со мной вот этак же играл. «Вы, говорит, полагаете, что ваше дело правое, сударыня?» – Правое, говорю. – «Так вы не беспокойтесь; коли ваше дело правое, мы его в вашу пользу и решим. Наведайтесь через недельку!» А через недельку опять: «Так вы думаете…» Трет да мнет. Водил он меня, водил, сколько деньжищ из меня в ту пору вызудил… Я было к столоначальнику: что, мол, это за игра такая? А он в ответ: «Да уж потерпите; это у него характер такой!.. не может без того, чтоб спервоначалу не измучить, а потом вдруг возьмет да в одночасье и решит ваше дело». И точно: решил… в пользу противной стороны! Я к нему: – что же вы, Иван Иваныч, со мной сделали? А он только хохочет… наглец! «Успокойтесь, сударыня, говорит, я такое решение написал, что сенат беспременно его отменит!» Так вот какие люди бывают! Свяжут тебя по рукам, по ногам да и бьют, сколько вздумается!

Наконец Васька ощипал птицу и съел. Вдали показываются девушки с лукошками в руках. Они поют песни, а некоторые, не подозревая, что глаз барыни уже заприметил их, черпают в лукошках и едят ягоды.

– Ишь жрут! – ворчит Анна Павловна, – кто бы это такая? Аришка долговязая – так и есть! А вон и другая! так и уписывает за обе щеки, так и уписывает… беспременно это Наташка… Вот я вас ужо… ошпарю!

Через десять минут девичья полна, и производится прием ягоды.

Принесено немного; кто принес пол-лукошка, а кто и совсем на донышке.

Только карлица Полька принесла полное лукошко.

– Что так, красавицы! Всего-навсе только десять часов по лесу бродили, а какую пропасть принесли?

– Совсем еще ягоды мало поспело, – оправдываются девушки.

– Так. А Полька отчего же полное лукошко набрала?

– Стало быть, ей посчастливилось.

– Так, так. А ну-тко, открой хайло, дохни на меня, долговязая!

Аришка подходит к барыне и дышит ей в лицо.

– Что-то малинкой попахивает! Ну-тко, а ты, Наташка! Подходи, голубушка, подходи!

Наташка делает то же, что и Аришка.

– Чудо! Для господ ягода не поспела, а от них малиной так и разит!

– Ей-богу, сударыня…

– Не божитесь. Сама из окна видела. Видела собственными глазами, как вы, идучи по мосту, в хайло себе ягоды пихали! Вы думаете, что барыня далеко, ан она – вот она! Вот вам за это! вот вам! Завтра целый день за пяльцами сидеть!

Раздается треск пощечин. Затем малина ссыпается в одно лукошко и сдается на погреб, а часть отделяется для детей, которые уже отучились и бегают по длинной террасе, выстроенной вдоль всей лицевой стороны дома.

Бьет семь часов. Детей оделили лакомством; Василию Порфирычу тоже поставили на чайный стол давешний персик и немножко малины на блюдечке. В столовой кипит самовар; начинается чаепитие тем же порядком, как и утром, с тою разницей, что при этом присутствуют и барин с барыней. Анна Павловна осведомляется, хорошо ли учились дети.

– Сегодня у нас счастливый день выдался, – аттестует Марья Андреевна, – даже Степан Васильевич – и тот хорошо уроки отвечал.

– Ну, пей чай! – обращается Анна Павловна к балбесу, – пейте чай все… живо! Надо вас за прилежание побаловать; сходите с ними, голубушка Марья Андреевна, погуляйте по селу! Пускай деревенским воздухом подышат!

Анна Павловна и Василий Порфирыч остаются с глазу на глаз. Он медленно проглатывает малинку за малинкой и приговаривает: «Новая новинка – в первый раз в нынешнем году! раненько поспела!» Потом так же медленно берется за персик, вырезывает загнивший бок и, разрезав остальное на четыре части, не торопясь кушает их одну за другой, приговаривая: «Вот хоть и подгнил маленько, а сколько еще хорошего места осталось!»

У Анны Павловны сердце так и кипит, видя, как он копается.

Старик, очевидно, в духе и собирается покалякать о том, о сем, а больше ни о чем. Но Анну Павловну так и подмывает уйти. Она не любит празднословия мужа, да ей и некогда. Того гляди, староста придет, надо доклад принять, на завтра распоряжение сделать. Поэтому она сидит как на иголках и в ту минуту, как Василий Порфирыч произносит:

– Разно бывает: иной год на малину урожай, иной – на клубнику. А иногда яблоков уродится столько, что обору нет… как богу угодно…

Она грузно встает с кресла, чтоб удалиться.

– Что, уж и поговорить-то со мной не хочешь! – обижается старик: – ах, дьявол! именно дьявол!

– Некогда мне тебя слушать! – равнодушно отвечает Анна Павловна, уходя, – у меня делов по горло, не время с тобой на бобах разводить!

– Черт! дьявол! – гремит ей вслед Василий Порфирыч, но сейчас же стихает и обращается уже к лакею Коняшке, который стоит за его стулом в ожидании приказаний.

– Так-то, брат! – говорит он ему, – прошлого года рожь хорошо родилась, а нынче рожь похуже, зато на овес урожай. Конечно, овес не рожь, а все-таки лучше, что хоть что-нибудь есть, нежели ничего. Так ли я говорю?

– Точно так, сударь.

Василий Порфирыч сам заваривает чай в особливом чайнике и начинает пить, переговариваясь с Коняшкой, за отсутствием других собеседников, дети тем временем, сгруппировавшись около гувернантки, степенно и чинно бредут по поселку. Поселок пустынен, рабочий день еще не кончился; за молодыми барами издали следует толпа деревенских ребятишек.

Дети перекидываются замечаниями.

– Вон Антипка какую избу взбодрил, а теперь она пустая стоит! – рассказывает Степан, – бедный был и пил здорово да икону откуда-то добыл – с тех пор и пошел

разживаться. И пить перестал, и деньги проявились. Шире да шире, четверку лошадей завел, одна другой лучше, коров, овец, избу эту самую выстроил… Наконец на оброк выпросился, торговать стал… Мать только дивилась: откуда на Антипку пошло-поехало? Вот и скажи ей кто-то: такая, мол, у Антипки икона есть, которая ему счастье приносит. Она взяла да и отняла. Антипка-то в ту пору в ногах валялся, деньги предлагал, а она одно твердит: «Тебе все равно, какой иконе богу ни молиться»… Так и не отдала. С тех пор Антипка опять захудал. Стал пить, тосковать, день ото дню хуже да хуже… Теперь хороший-то дом пустует, а он с семейством сзади в хибарке живет. С нынешнего года опять на барщину посадили, а с неделю тому назад уж и на конюшне наказывали…

– А вот Катькина изба, – отзывается Любочка, – я вчера ее из-за садовой решетки видела, с сенокоса идет: черная, худая. «Что, Катька, спрашиваю: сладко за мужиком жить?» – «Ничего, говорит, буду-таки за вашу маменьку бога молить. По смерть ласки ее не забуду!»

– Изба-то у ней… посмотрите! бревна живого нет!

– И поделом ей, – решает Сонечка, – ежели бы все девушки…

В таких разговорах проходит вся прогулка. Нет ни одной избы, которая не вызвала бы замечания, потому что за всякой числится какая-нибудь история. Дети не сочувствуют мужичку и признают за ним только право терпеть обиду, а не роптать на нее. Напротив, поступки мамаши, по отношению к крестьянам, встречают их безусловное одобрение. Они называют ее «молодцом», говорят, что у ней «губа не дура» и что, если бы не она, сидели бы они теперь при отцовских трехстах шестидесяти душах. Даже голос постылого «балбеса» сливается в общем хвалебном хоре – до такой степени все поражены цифрою три тысячи душ, которыми теперь владеют Затрапезные.

– Этакую махинищу соорудила! – восторженно восклицает Степан.

– И мы должны вечно ее за это благодарить! – отзывается Гриша.

– Что бы мы без нее были! – продолжает восторгаться балбес, – так, какие-то Затрапезные! «Сколько у вас душ, господин Затрапезный?» – «Триста шестьдесят-с…» Ах, ты!

– Вот теперь вы правильно рассуждаете, – одобряет детей Марья Андреевна, – я и маменьке про ваши добрые чувства расскажу. Ваша маменька – мученица. Папенька у вас старый, ничего не делает, а она с утра до вечера об вас думает, чтоб вам лучше было, чтоб будущее ваше было обеспечено. И, может быть, скоро бог увенчает ее старания новым успехом. Я слышала, что продается Никитское, и маменька уже начала по этому поводу переговоры.

Известие это производит фурор. Дети прыгают, бьют в ладоши, визжат.

– Ведь в Никитском-то с деревнями пятьсот душ! – восклицает Степан. – Ай да мамахен!

– Четыреста восемьдесят три, – поправляет брата Гриша, которому уже нечто известно об этих переговорах, но который, покуда, еще никому не выдавал своего секрета.

Солнце уже догорело; в дом проникают сумерки, а в девичьей даже порядочно темно. Девушки сошлись около стола и хлебают пустые щи. Тут же, на ларе, поджавши ноги, присела Анна Павловна и беседует с старостой Федотом. Федоту уже лет под семьдесят, но он еще бодр, и ежели верить мужичкам, то рука у него порядочно-таки тяжела. Он чинно стоит перед барыней, опершись на клюку, и неторопливо отвечает на ее вопросы. Анна Павловна любит старосту; она знает, что он не потатчик и что клюка в его руках не бездействует.

Сверх того, она знает, что он из немногих, которые сознают себя воистину крепостными, не только за страх, но и за совесть. В хозяйственных распоряжениях она уважает его опытность и нередко изменяет свои распоряжения, согласно с его советами. Короче сказать, это два существа, которые вполне сошлись сердцами и между которыми очень редко встречаются недоумения.

– Что, кончили в Шилове? – спрашивает Анна Павловна.

– Остатний стог дометывали, как я уходил. Наказал без того не расходиться, чтобы не

кончить.

– Хорошо сено-то?

– Сено нынче за редкость: сухое, звонкое… Не слишним только много его, а уж уборка такая – из годов вон!

– Боюсь, достанет ли до весны?

– Как сказать, сударыня… как будем кормить… Ежели зря будем скотине корм бросать – мало будет, а ежели с расчетом, так достанет.

Коровам-то можно и яровой соломки подавывать, благо нынче урожай на овес хорош. Упреждал я вас в ту пору с пустошами погодить, не все в кортому сдавать…

– Ну, уж прости Христа ради! Как-нибудь обойдемся… На завтра какое распоряжение сделаешь?

– Мужиков-то в Владыкино бы косить надо нарядить, а баб беспременно в Игумново рожь жать послать.

– Жать! что больно рано?

– Год ноне ранний. Все сразу. Прежде об эту пору еще и звания малины не бывало, а нонче все малинники усыпаны спелой ягодой.

– А мне мои фрелины на донышке в лукошках принесли.

– Не знаю; нужно бы по целому, да и то не убрать…

– Слышите? – обращается Анна Павловна к девицам. – Стало быть, мужикам завтра – косить, а бабам – жать? все, что ли?

Староста мнется, словно не решается говорить.

– Еще что-нибудь есть? – встревоженно спрашивает барыня.

– Есть дельце… да нужно бы его промеж себя рассудить…

Анна Павловна заранее бледнеет и чуть не бегом направляется в спальню.

– Что там еще? сказывай! говори!

– Да мертвое тело на нашей земле проявилось, – шепотом докладывает Федот.

– Вот так денек выбрался! Давеча беглый солдат, теперь мертвое тело…

Кто видел? где? когда?

– Да Антон мяловский видел. «Иду я, говорит, – уж солнышко книзу пошло – лесом около великановской межи, а «он» на березовом суку и висит».

– Висельник?

– Стало быть, висельник.

– А другие знают об этом?

– Зачем другим сказывать! Я Антону строго-настрого наказывал, чтоб никому ни гугу. Да не угодно ли самим Антона расспросить. Я на всякий случай его с собой захватил…

– Не нужно. Так вот что сделай. Ты говоришь, что мертвое тело в лесу около великановской межи висит, а лес тут одинаковый, что у нас, что у Великановых. Так возьми сейчас Антошку, да еще на подмогу ему Михайлу сельского, да сейчас же втроем этого висельника с нашей березы снимите да и перевесьте за великановскую межу, на ихнюю березу. А завтра, чуть свет, опять сходите, и ежели окажутся следы ног, то всё как следует сделайте, чтоб не было заметно. Да и днем посматривайте: пожалуй, великановские заметят да и опять на нашу березу перенесут. Да смотри у меня: ежели кто-нибудь проведает – ты в ответе! Устал ты, поди, старик, день-то маявшись – ну, да уж нечего делать, постарайся!

– Ничего, сударыня, день работали, и ночку поработаем! С устатку-то любехонько!

Доклад кончен; ключница подает старосте рюмку водки и кусок хлеба с солью. Анна Павловна несколько времени стоит у окна спальни и вперяет взор в сгустившиеся сумерки. Через полчаса она убеждается, что приказ ее отчасти уже выполнен и что с села пробираются три тени по направлению к великановской меже.

Наконец в столовой раздается лязганье тарелок и ложек. Докладывают, что ужин готов. Ужин представляет собой повторение обеда, за исключением пирожного, которое не подается. Анна Павловна зорко следит за каждым блюдом и замечает, сколько уцелело кусков. К великому ее удовольствию, телятины хватит на весь завтрашний день, щец тоже

порядочно осталось, но с галантиром придется проститься. Ну, да ведь и то сказать – третий день галантир да галантир! можно и полоточком полакомиться, покуда не испортились.

Рабочий день кончился. Дети целуют у родителей ручки и проворно взбегают на мезонин в детскую. Но в девичьей еще слышно движение. Девушки, словно заколдованные, сидят в темноте и не ложатся спать, покуда голос Анны Павловны не снимет с них чары.

– Ложитесь! – кричит она им, проходя в спальню. На сон грядущий она отпирает денежный ящик и удостоверяется, все ли в нем лежит в том порядке, в котором она всегда привыкла укладывать. Потом она припоминает, не забыла ли чего.

– Никак я сегодня не причесывалась? – спрашивает она горничную.

– Не причесывались и есть…

– Вот так оказия! А впрочем, и то сказать, целый день туда да сюда… Поневоле замотаешься! как бы и завтра не забыть! Напомни…

Она снимает с себя блузу, чехол и исчезает в пуховиках. Но тут ее настигает еще одно воспоминание:

– Ах, да ведь я и лба-то сегодня не перекрестила… ах, грех какой!

Ну, на этот раз бог простит! Сашка! подтыч одеяло-то…, плотнее… вот так!

Через четверть часа весь дом спит мертвым сном.

Так проходит летний день в господской усадьбе. Зимой, под влиянием внешних условий, картина видоизменяется, но, в сущности, крепостная страда не облегчается, а, напротив, даже усиливается. Краски сгущаются, мрак и духота доходят до крайних пределов.

Кто поверит, что было время, когда вся эта смесь алчности, лжи, произвола и бессмысленной жестокости, с одной стороны, и придавленности, доведенной до поругания человеческого образа, – с другой, называлась… жизнью?!

V. Первые шаги на пути к просвещению

Как начали ученье старшие братья и сестры – я не помню. В то время, когда наша домашняя школа была уже в полном ходу, между мною и непосредственно предшествовавшей мне сестрой было разницы четыре года, так что волей-неволей пришлось воспитывать меня особо.

Дети в нашей семье разделялись на три группы. Старшие брат и сестра составляли первую группу и были уже отданы в казенные заведения. Вторую группу составляли два брата и три сестры-погодки, и хотя старшему брату, Степану, было уже четырнадцать лет в то время, когда сестре Софье минуло только девять, но и первый и последняя учились у одних и тех же гувернанток. Несомненно, что предметы преподавания были у них разные, но как ухитрялись согласовать эту разноголосицу за одним и тем же классным столом – решительно не понимаю.

Брат Степан был чем-то вроде изгоя в нашем обществе. С ним не только обращались сурово, но даже не торопились отдать в заведение (старшего брата отдали в московский университетский пансион по двенадцатому году), чтоб не платить лишних денег за его воспитание. К счастью, у него были отличные способности, так что когда матушка наконец решилась везти его в Москву, то он выдержал экзамен в четвертый класс того же пансиона. С ним вместе отдали в один из московских институтов и двух сестер постарше: Верочку и Любочку.

Затем, через год, тем же порядком исчезли из дома Григорий и Софья.

Осталась дома третья группа или, собственно говоря, двое одиночек: я да младший брат Николай, который был совсем еще мал и на которого матушка, с отъездом Гриши, перенесла всю свою нежность. Что же касается до меня лично, то я, не будучи «постылым», не состоял и в числе любимчиков, а был, как говорится, ни в тех, ни в сех. Вообще я прожил детство как-то незаметно и не любил попадаться на глаза, так что когда матушка случайно встречала меня, то и она словно недоумевала, каким образом я очутился у ней на дороге.

Я помню, что, когда уехали последние старшие дети, отъезд этот произвел на меня

гнетущее впечатление. Дом вдруг словно помертвел. Прежде хоть плач слышался, а иногда и детская возня; мелькали детские лица, происходили судбища, расправы – и вдруг все разом опустело, замолчало и, что еще хуже, наполнилось какими-то таинственными шепотами. Даже для обеда не раздвигали стола, потому что собиралось всего пять человек: отец, мать, две тетки и я.

Несколько дней сряду я ходил по опустелым комнатам, где прежде ютились братья и сестры, и заглядывал во все углы. И долго мне чудилось, что кто-то меня зовет, и я озирался кругом, в надежде встретить знакомое лицо. Но это было своего рода марево, которое только увеличивало тоску одиночества.

Становилось жутко в этих замолчавших комнатах, потому что безмолвие распространилось не только на детские помещения, но и на весь дом. Не говоря об отце, который продолжал вести свою обычную замкнутую жизнь, даже матушка как-то угомонилась с отъездом детей и, затворившись в спальне, или щелкала на счетах и писала, или раскладывала гранпасьянс.

Тем не менее, так как я был дворянский сын, и притом мне минуло уже семь лет, то волей-неволей приходилось подумать о моем ученье.

Но я рос один, а для одного матушке изъяниться не хотелось. Поэтому она решилась не нанимать гувернантки, а, в ожидании выхода из института старшей сестры, начать мое обучение с помощью домашних средств.

Считаю, впрочем, не лишним оговориться. Болтать по-французски и по-немецки я выучился довольно рано, около старших братьев и сестер, и, помнится, гувернантки, в дни именин и рождений родителей, заставляли меня говорить поздравительные стихи; одни из этих стихов и теперь сохранились в моей памяти. Вот они:

On dit assez communement
Qu'en parlent de ce que l'on aime,
Toujours on parle eloquemment.
Je n'approuve point ce systeme.
Car moi qui voudrai en ce jour
Vous prouver ma reconnaissance,
Mon coeur est tout brulant d'amour,
Et ma bouche est sans eloquence.[10]

Но ни читать, ни писать ни по-каковски, даже по-русски, я не умел.

И вот, вскоре после отъезда старших детей, часов в десять утра, отслужили молебен и приказали мне идти в классную. Там меня ждал наш крепостной живописец Павел, которому и поручили обучить меня азбуке.

Как сейчас вижу я перед собой этого Павла. То был высокий, худой и, кажется, чахоточный человек, с бледным, осунувшимся лицом и светлыми, желтоватыми волосами на голове. Ступал он бережно, говорил чуть слышно, никогда никому не прекословил и отличался чрезвычайною набожностью.

Обучался он живописи в Суздале, потом ходил некоторое время по оброку и работал по монастырям; наконец, матушка рассудила, что в четырех-пяти церквах, которые находились в разных ее имениях, и своей работы достаточно.

Вследствие этого Павел был взят в дом, где постоянно писал образа, а по временам ему поручали писать и домашние портреты, которые он, впрочем, потрафлял очень неудачно. Отец любил его чрезвычайно, частенько захаживал к нему в мастерскую и руководил его

---

10 Существует мнение, что о том, кого любят, говорят всегда красноречиво. Я считаю это неверным, потому что хотел бы сегодня выразить вам свою благодарность, но сердце мое пылает любовью, а уста лишены красноречия.

работами. Матушка тоже его «не трогала».

Жена его, происхождением из мещанок (решилась закрепоститься ради Павла), была тоже добрая, кроткая и хворая женщина. И ее «не трогали» и не угнетали работой, но так как она умела печь белый хлеб, то определили пекаршей при доме и просвирней при церкви. Вообще, им жилось легче, чем другим; даже когда месячина была нарушена, за ними сохранили ее и отвели им особую комнату в нижнем этаже дома.

Павел явился в класс приодетый: в желтом фризовом сюртуке и в белом галстуке на шее. В руках у него была азбука и красная «указка». Учил он меня по-старинному: «азами». На первой странице «азы» были напечатаны крупным шрифтом, и каждая буква была снабжена соответствующей картинкой: Аз – арбуз, Буки – барин, Веди – Вавило, и т. д. На следующих страницах буквы были напечатаны все более и более мелким шрифтом; за буквами следовали склады, одногласные, двугласные, трехгласные, потом слова и наконец целые изречения нравоучительного свойства. Этим азбука оканчивалась, а вместе с ней оканчивалась и Павлова «наука».

Азбуку я усвоил быстро; отчетливо произносил склады даже в таком роде, как мря, нря, цря, чря и т. д., а недели через три уже бойко читал нравоучения.

Павел доложил матушке, что я готов, и я в ее присутствии с честью выдержал свой первый экзамен. Матушка осталась довольна, но затем последовал вопрос:

– А дальше как?

– Дальше уж как угодно.

– Да ведь писать, чай, надо?

Оказалось, что Павел хоть и знал гражданскую печать, но писать по-гражданскому не разумел. Он мог писать лишь полууставом, насколько это требовалось для надписей к образам…

Весь этот день я был радостен и горд. Не сидел, по обыкновению, притаившись в углу, а бегал по комнатам и громко выкрикивал: «мря, нря, цря, чря!» За обедом матушка давала мне лакомые куски, отец погладил по голове, а тетеньки-сестрицы, гостившие в то время у нас, подарили целую тарелку с яблоками, турецкими рожками и пряниками. Обыкновенно, они делывали это только в дни именин.

Но матушка задумалась. Она мечтала, что приставит ко мне Павла, даст книгу в руки, и ученье пойдет само собой, – и вдруг, на первом же шагу, расчеты ее рушились…

Тем не менее, как женщина изобретательная, она нашлась и тут.

Вспомнила, что от старших детей остались книжки, тетрадки, а в том числе и прописи, и немедленно перебрала весь учебный хлам. Отыскав прописи, она сама разлиновала тетрадку и, усадив меня за стол в смежной комнате с своей спальней, указала, насколько могла, как следует держать в руках перо.

– Видишь, вот палки… с них и копируй! Сначала по палкам выучись, а потом и дальше пойдешь, – сказала она, уходя.

Я помню, что этот первый опыт писания самоучкой был очень для меня мучителен. Перо вертелось между пальцами, а по временам и вовсе выскользало из них; чернил зачерпывалось больше, чем нужно; не прошло четверти часа, как разлинованная четвертушка уже была усеяна кляксами; даже верхняя часть моего тела как-то неестественно выгнулась от напряжения. Сверх того, я слышал поблизости шорох, который производила матушка, продолжая рыться в учебных программах, и – при одной мысли, что вот-вот она сейчас нагрянет и увидит мои проказы, у меня душа уходила в пятки.

Целый час я проработал таким образом, стараясь утвердить пальцы и вывести хоть что-нибудь похожее на палку, изображенную в лежавшей передо мною прописи; но пальцы от чрезмерных усилий все меньше и меньше овладевали пером. Наконец матушка вышла из

своего убежища, взглянула на мою работу и, сверх ожидания, не рассердилась, а только сказала:

– Вот так огород нагородил! Ну, ничего, и всегда так начинают. Вот она, палочка-то! кажется, мудрено ли ее черкнуть, а выходит, что привычка да и привычка нужна! Главное, старайся не тискать перо между пальцами, держи руку вольно, да и сам сиди вольнее, не изгибайся. Ну, ничего, ничего, не конфузься! Бог милостив! ступай побегай!

Недели с три каждый день я, не разгибая спины, мучился часа по два сряду, покуда наконец не достиг кой-каких результатов. Перо вертелось уже не так сильно; рука почти не ерзала по столу; клякс становилось меньше; ряд палок уже не представлял собою расшатавшейся изгороди, а шел довольно ровно. Словом сказать, я уже начал мечтать о копировании палок с закругленными концами.

Как и прочих братьев, матушка предположила поместить меня в московский университетский пансион, состоявший из осьми классов и одного приготовительного. Требования для поступавших в приготовительный класс были самые ограниченные. Из закона божия – Ветхий завет до «царей» и знание главнейших молитв; из русского языка – правильно читать и писать элементарные понятия о частях речи; из арифметики – первые четыре правила.

Ни географии, ни истории, ни иностранных языков при испытании не требовалось. В голове матушки мелькнула мысль, не отдать ли меня в приготовительный класс? Для этого следовало только пригласить из соседнего села Рябова священника, который в течение времени, оставшегося до приемных экзаменов, конечно, успеет приготовить меня. Но когда она вспомнила, что при таком обороте дела ей придется платить за меня в течение девяти лет по шестисот рублей ассигнациями в год, то испугалась. Высчитавши, что платежи эти составят, в общей сложности, круглую сумму в пять тысяч четыреста рублей, она гневно щелкнула счетами и даже с негодованием отодвинула их от себя.

– Держи карман! – крикнула она, – и без того семь балбесов на шее сидят, каждый год за них с лишком четыре тысячи рубликов вынь да положь, а тут еще осьмой явится!

Руководясь этим соображением, она решилась до времени ничего окончательного не предпринимать, а ограничиться, в ожидании приезда старшей сестры, приглашением рябовского священника. А там – что будет.

– Вот тебе книжка, – сказала она мне однажды, кладя на стол «Сто двадцать четыре истории из Ветхого завета», – завтра рябовский поп придет, я с ним переговорю. Он с тобой займется, а ты все-таки и сам просматривай книжки, по которым старшие учились. Может быть, и пригодятся.

Рябовский священник приехал. Довольно долго он совещался с матушкой, и результатом этого совещания было следующее: три раза в неделю он будет наезжать к нам (Рябово отстояло от нас в шести верстах) и посвящать мне по два часа. Плата за ученье была условлена в таком размере: деньгами восемь рублей в месяц, да два пуда муки, да в дни уроков обедать за господским столом.

Опять отслужили молебен и принялись уже за настоящую науку.

Отец Василий следовал в обучении той же методе, как и все педагоги того времени. В конце урока он задавал две-три странички из Ветхого завета, два-три параграфа из краткой русской грамматики и, по приезде через день, «спрашивал» заданное. Толковать приходилось только арифметические правила.

Оказалось, впрочем, что я многое уже знал, прислушиваясь, в классные часы, к ученью старших братьев и сестер, а молитвы и заповеди с малолетства заставляли меня учить наизусть. Поэтому двух часов, в продолжение которых, по условию, батюшка должен был «просидеть» со мною, было даже чересчур много, так что последний час обыкновенно посвящался разговорам.

Преимущественно шли расспросы о том, сколько у отца Василия в приходе душ, деревень, как последние называются, сколько он получает за требы, за славленые в Рождество Христово, на святой и в престольные праздники, часто ли служат сорокоусты, как

делятся доходы между священником, дьяконом и причетниками, и т. п. Почему все это меня интересовало, объяснить не могу, но, вероятно, тут оказывало свое действие общее скопидомческое направление семьи.

Отец Василий был доволен своим приходом: он получал с него до пятисот рублей в год и, кроме того, обработывал свою часть церковной земли. На эти средства в то время можно было прожить хорошо, тем больше, что у него было всего двое детей сыновей, из которых старший уже кончал курс в семинарии.

Но были в уезде и лучшие приходы, и он не без зависти указывал мне на них.

– Вон у Николы-на-Вопле, отец Семен одних свадеб до пятидесяти в прошлом году повенчал. Сочти-ко, ежели по пяти рублей за свадьбу, сколько тут денег будет! Приход у него тысяча двести душ в одном клину, да всё экономические. Народ исправный, вольный; да и земли у причта, кроме указной, жертвованной много; озеро рыбное есть, щуки вот экие водятся.

Волостной голова, писарь, сельский старшина – всё приятели. Это чтоб он сам в поле с сохой выехал – ни в жизнь никогда! Шепнет старшине накануне, а на другой день к вечеру готово. Разве что по чарочке обнесет, так и вино у него не купленное, а откупщиково положение, потому у Николы кабак. Конечно, иной раз и он с косой позабавиться выйдет, два-три прокоса сделает, для примера, да и домой. А сверх того пчел водит, лошадьми торгует, деньги под проценты дает. В прошлом году пятую дочь замуж выдал, одними деньгами пятьсот рублей в приданое дал, да корову, да разного тряпья женского. Да в губернию съездил, там рублей двести истряс, чтоб зятя в город в священники определили. Вот он, отец Семен, как живет!

– Зато у вас помещиков восемь семейств в приходе считается! – возразил я.

– Что помещики! помещики-помещики, а какой в них прок? Твоя маменька и богатая, а много ли она на попа расщедрится. За всенощную двугривенный, а не то и весь пятиалтынный. А поп между тем отягощается, часа полтора на ногах стоит. Придет усталый с работы, – целый день либо пахал, либо косил, а тут опять полтора часа стой да пой! Нет, я от своих помещиков подальше.

Первое дело, прибыток от них пустой, а, во-вторых, он же тебя, жеребцом или шалыганом обозвать норовит.

Таким образом я мало-помалу узнал подробности церковно-служительского быта того времени. Как обучались в семинариях, как доставались священнические и дьяконские места, как происходило посвящение в попы, что представлял собой благочинный, духовное правление, консистория и т. д.

– Чтоб место-то получить, надо либо на отцово место проситься или в дом к старому попу, у которого дочь-невеста, войти, – повествовал отец Василий. – В консистории и списки приходам ведутся, в которых у попов-стариков невесты есть. Мой-то отец причетником был, он бы хоть сейчас мне место предоставил, так я из первеньких в семинарии курс кончил, в причетники-то идти не хотелось. Года четыре я по губернии шатался, все невесты искал. Что я тут нужды натерпелся – этого и в сказках не сказать. У самого грош в кармане, а везде, что ни шаг, деньги подавай. Народ все завистливый, жадный. Заплатишь в консистории, что требуется, поедешь к невесте, ан либо она с изъяном, либо приход такой, что и старики-то еле-еле около него пропитываются. Наконец, уж бог в Рябово привел. Ничего, живем с женой согласно, не нуждаемся.

– Сыну, что ли, вы место свое передать хотите?

– Покуда еще намерения такого не имею. Я еще и сам, слава богу… Разве лет через

десять что будет. Да старший-то сын у меня и пристрастия к духовному званию не имеет, хочет по гражданской части идти. Урок, вишь, у какого-то начальника нашел, так тот его обнадеживает.

– А меньшой сын?

– Меньшой – в монахи ладит. Не всякому монахом быть лестно, однако, ежели кто может вместить, так и там не без пользы. Коли через академию пройдет, так либо в профессора, а не то так в ректоры в семинарию попадет. А бывает, что и в архиереи, яко велбуд сквозь игольное ушко, проскочит.

– Вот кабы к нам в губернию!

– Что ж, милости просим! буду сынка с колокольным звоном встречать!

– А правда ли, батюшка, что когда посвящают в архиереи, то они отца с матерью проклинают?

– Ну, уж и проклинают! Так, малую толику… всех партикулярных вообще…

На одном из подобных собеседований нас застала однажды матушка и порядочно-таки рассердилась на отца Василия. Но когда последний объяснил, что я уж почти всю науку произошел, а вслед затем неожиданно предложил, не угодно ли, мол, по-латыни немножко барчука подучить, то гнев ее смягчился.

– Ах, вот это бесподобно! – воскликнула она, – по программе хоть в приготовительный класс и не требуется, а все-таки…

– А мы его в первый класс подготовим; пожалуй, и в других предметах дальше пойдем. Например, дроби и все такое…

– Бесподобно! бесподобно!

Отец Василий надеялся на меня и, нужно сказать правду, не ошибся в своих ожиданиях. Я действительно был прилежен. Кроме урочных занятий, которые мне почти никаких усилий не стоили, я, по собственному почину, перечитывал оставшиеся после старших детей учебники и скоро почти знал наизусть «Краткую всеобщую историю» Кайданова, «Краткую географию» Иванского и проч. Даже в синтаксис заглядывал и не чуждался риторики. Все это, конечно, усвоивалось мною беспорядочно, без всякой системы, тем не менее запас фактов накоплялся, и я не раз удивлял родителей, рассказывая за обедом такие исторические эпизоды, о которых они и понятия не имели. Только арифметика давалась плохо, потому что тут я сам себе помочь не мог, а отец Василий по части дробей тоже был не особенно силен. Зато латынь пошла отлично, и я через три-четыре недели так отчетливо склонял «mensa», что отец Василий в восторге хлопал меня по лбу ладонью и восклицал:

– Башка!

Замечу здесь мимоходом: несмотря на обилие книг и тетрадей, которые я перечитал, я не имел ни малейшего понятия о существовании русской литературы. По части русского языка у нас были только учебники, то есть грамматика, синтаксис и риторика. Ни хрестоматии, ни даже басен Крылова не существовало, так что я, в буквальном смысле слова, почти до самого поступления в казенное заведение не знал ни одного русского стиха, кроме тех немногих обрывков, без начала и конца, которые были помещены в учебнике риторики, в качестве примеров фигур и тропов…

Матушка видела мою ретивость и радовалась. В голове ее зрела коварная мысль, что я и без посторонней помощи, руководствуясь только программой, сумею приготовить себя, года в два, к одному из средних классов пансиона. И мысль, что я один из всех детей почти ничего не буду стоить подготовкою, даже сделала ее нежною.

Таким образом прошел целый год, в продолжение которого я всех поражал своими успехами. Но не были ли эти успехи только кажущимися – это еще вопрос. Настоящего руководителя у меня не было, системы в усвоении знаний – тоже. В этом последнем отношении, как я сейчас упомянул, вместо всякой системы, у меня была программа для поступления в пансион. Матушка дала мне ее, сказав:

– Вот, смотри! Тут все написано, в какой класс что требуется. Так и приготовляйся.

Так я и приготовлялся; но, будучи предоставлен самому себе, переходил от одного предмета к другому, смотря по тому, что меня в данную минуту интересовало. Я быстро усвоивал, но усвоиваемое накоплялось без связи, в форме одиночных фактов, не вытекавших один из другого. Само собою разумеется, что такого рода работа, как бы она по наружности ни казалась успешною, не представляла устойчивых элементов, из которых могла бы выработаться способность к логическому мышлению. К концу года у меня образовалось такое смешение в голове, что я с невольным страхом заглядывал в программу, не имея возможности определить, в состоянии ли я выдержать серьезное испытание в другой класс, кроме приготовительного. Я чувствовал, что мне недостает чего-то среднего, какого-то связующего звена, и что благодаря этому недостатку самое умеренное требование объяснения, самый легкий вопрос в сторону от текста учебника поставит меня в тупик.

В этом смысле ученье мое шло даже хуже, нежели ученье старших братьев и сестер. Тех мучили, но в ученье их все-таки присутствовала хоть какая-нибудь последовательность, а кроме того, их было пятеро, и они имели возможность проверять друг друга. Эта проверка установлялась сама собою, по естественному ходу вещей, и несомненно помогала им. Меня не мучили, но зато и помощи я ниоткуда не имел.

Вообще одиночество и отсутствие надзора предоставляли мне сравнительно большую сумму свободы, нежели старшим детям, но эта свобода не привела за собой ничего похожего на самостоятельность. По наружности, я делал все, что хотел, но в действительности надо мной тяготела та же невидимая сила, которая тяготела над всеми домочадцами и которой я, в свою очередь, подчинялся безусловно. Этой силой была не чья-нибудь рука, непосредственно придавливающая человека, но вообще весь домашний уклад. Весь он так плотно сложился и до того пропитал атмосферу, что невозможно было, при такой силе давления, выработать что-нибудь свое. Предстояло жить, как живут все, дышать, как все дышат, идти по той же стезе, по какой все идут. Только внезапное появление сильного и горячего луча может при подобных условиях разбудить человеческую совесть и разорвать цепи той вековечной неволи, в которой обязательно вращалась целая масса людей, начиная с всевластных господ и кончая каким-нибудь постылым Кирюшкой, которого не нынче-завтра ожидала «красная шапка».

Таким животворным лучом было для меня Евангелие.

Роясь в учебниках, я отыскал «Чтение из четырех евангелистов»; а так как книга эта была в числе учебных руководств и знакомство с ней требовалось для экзаменов, то я принялся и за нее наравне с другими учебниками.

Выказывал ли я до тех пор задатки религиозности – это вопрос, на который я могу ответить скорее отрицательно, нежели утвердительно.

Я понимаю, что религиозность самая горячая может быть доступна не только начетчикам и богословам, но и людям, не имеющим ясного понятия о значении слова: «религия». Я понимаю, что самый неразвитый, задавленный ярмом простолюдин имеет полное право называть себя религиозным, несмотря на то, что приносит в храм, вместо формулированной молитвы, только измученное сердце, слезы и переполненную вздохами грудь. Эти слезы и воздыхания представляют собой бессловную молитву, которая облегчает его душу и просветляет его существо. Под наитием ее, он искренно и горячо верит. Он верит, что в мире есть нечто высшее, нежели дикий произвол, которому он от рождения отдан в жертву по воле рокового, ничем не объяснимого колдовства; что есть в мире Правда и что в недрах ее кроется Чудо, которое придет к нему на помощь и изведет его из тьмы. Пускай каждый новый день удостоверяет его, что колдовству нет конца; пускай вериги рабства с каждым часом все глубже и глубже впиваются в его изможденное тело, – он верит, что злосчастие его не бессрочно и что наступит минута, когда Правда осияет его, наравне с другими алчущими и жаждущими. И вера его будет жить до тех пор, пока в глазах не иссякнет источник слез и не замрет в груди последний вздох. Да! колдовство рушится, цепи рабства падут, явится свет, которого не победит тьма! Ежели не жизнь, то смерть совершит это чудо. Недаром у подножия храма, в котором он молится, находится сельское кладбище,

где сложили кости его отцы. И они молились тою же бессловной молитвой, и они верили в то же Чудо. И Чудо совершилось: пришла смерть и возвестила им свободу. В свою очередь, она придет и к нему, верующему сыну веровавших отцов, и, свободному, даст крылья, чтобы лететь в царство свободы, навстречу свободным отцам…

В этом горячем душевном настроении замыкается весь смысл, вся сила молитвы; но – увы! – ничего подобного я лично за собою не помнил. Я знал очень много молитв, отчетливо произносил их в урочные часы, молился и стоя, и на коленях, но не чувствовал себя ни умиленным, ни умиротворенным. Я поступал в этом случае, как поступали все в нашем доме, то есть совершал известный обряд. Все в доме усердно молились, но главное значение молитвы полагалось не в сердечном просветлении, а в тех вещественных результатах, которые она, по общему корыстному убеждению, приносила за собою. Говорили: будешь молиться – и дастся тебе все, о чем просишь; не будешь молиться – насидишься безо всего. Самое Евангелие вовсе не считалось краеугольным камнем, на котором создался храм, в котором крестились и клали земные поклоны, – а немногим чем выше всякой другой книги церковно-служебного круга. Большинство даже разумело под этим словом известный церковно-служебный момент. Говорилось: «Мы пришли к обедне, когда еще Евангелие не отошло»; или: «Это случилось, когда звонили ко второму Евангелию», и т. д. Внутреннее содержание книги оставалось закрытым и для наиболее культурных людей. И не потому, чтобы это содержание представляло собой обличение, а просто вследствие общей низменности жизненного строя, который весь сосредоточивался около запросов утробы…

Когда я в первый раз познакомился с Евангелием, это чтение пробудило во мне тревожное чувство. Мне было не по себе. Прежде всего меня поразили не столько новые мысли, сколько новые слова, которых я никогда ни от кого не слыхал. И только повторительное, все более и более страстное чтение объяснило мне действительный смысл этих новых слов и сняло темную завесу с того мира, который скрывался за ними.

Все это очень кстати случилось как раз во время великого поста, и хотя великопостные дни, в смысле крепостной страды и заведенных порядков, ничем не отличались в нашем доме от обыкновенных дней, кроме того, что господа кушали «грибное», но все-таки как будто становилось посмирнее. Ради говельщиков-крестьян (господа и вся дворня говели на страстной неделе, а отец с тетками, сверх того, на первой и на четвертой), в церкви каждый день совершались службы, а это, в свою очередь, тоже напоминало ежели не о покаянии, то о сдержанности. Даже матушка, как бы сознавая потребность тишины, сидела, затворившись в спальне, и только в крайних случаях выходила из нее творить суд и расправу.

Для меня эти дни принесли полный жизненный переворот. Я не говорю ни о той восторженности, которая переполнила мое сердце, ни о тех совсем новых образах, которые вереницами проходили перед моим умственным взором, – все это было в порядке вещей, но в то же время играло второстепенную роль.

Главное, что я почерпнул из чтения Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко порабощал меня. При содействии этих новых элементов я приобрел более или менее твердое основание для оценки как собственных действий, так и явлений и поступков, совершавшихся в окружавшей меня среде. Словом сказать, я уже вышел из состояния прозябания и начал сознавать себя человеком. Мало того: право на это сознание я переносил и на других. Доселе я ничего не знал ни об алчущих, ни о жаждущих и обремененных, а видел только людские особи, сложившиеся под влиянием несокрушимого порядка вещей; теперь эти униженные и оскорбленные встали передо мной, осиянные светом, и громко вопияли против прирожденной несправедливости, которая ничего не дала им, кроме оков, и настойчиво требовали восстановления попранного права на участие в жизни. То «свое», которое внезапно заговорило во мне, напоминало мне, что и другие обладают таким же, равносильным «своим». И возбужденная мысль невольно переносилась к конкретной действительности, в девичью, в застольную, где задыхались десятки поруганных и

замученных человеческих существ.

Я не хочу сказать этим, что сердце мое сделалось очагом любви к человечеству, но несомненно, что с этих пор обращение мое с домашней прислугой глубоко изменилось и что подлая крепостная номенклатура, которая дотоле оскверняла мой язык, исчезла навсегда. Я даже могу с уверенностью утверждать, что момент этот имел несомненное влияние на весь позднейший склад моего миросозерцания.

В этом признании человеческого образа там, где, по силе общеустановившегося убеждения, существовал только поруганный образ раба, состоял главный и существенный результат, вынесенный мною из тех попыток самообучения, которым я предавался в течение года.

* * *

Весной (мне был уж девятый год) приехала из Москвы сестра, и я поступил в ее распоряжение. Она привезла из института множество тетрадок и принялась за меня очень строго. Надежды матушки, что под ее руководством я буду в состоянии, в течение года, приготовиться ко второму или третьему классу пансиона и что, следовательно, за меня не придется платить лишних денег, – оживились. Но я не считаю себя вправе сказать, что педагогические приемы сестры были толковее, нежели те, которые я выработал для себя сам. Один только прием был для меня вполне ощутителен, а именно тот, что отныне знания усвоивались мною не столько при помощи толкований и объяснений, сколько при помощи побоев и телесных истязаний. Одним словом, для меня возобновилась та же ученическая страда, которая тяготела и над старшими братьями и сестрами.

VI. Дети. – По поводу предыдущего

И вот теперь, когда со всех сторон меня обступило старчество, я вспоминаю детские годы, и сердце мое невольно сжимается всякий раз, как я вижу детей. Пускай, впрочем, читатель не пугается: я не поведу его по этому поводу в область отвлеченностей и обобщений. Не стану, например, доказывать, что отношусь тревожно к детскому вопросу, потому что с разрешением его тесно связано благополучие или злополучие страны; не буду ссылаться на то, что мы с школьной скамьи научились провидеть в детях устроителей грядущих исторических судеб. Нет, я просто, без околичностей, говорю: мне жаль детей, не ради каких-нибудь социалистических обобщений, а ради их самих.

Тем не менее, прошу читателя не думать, что я считаю отвлеченности и обобщения пустопорожнею фразой. Нет, я верил и теперь верю и их живоносную силу; я всегда был убежден и теперь не потерял убеждения, что только с их помощью человеческая жизнь может получить правильные и прочные устои.

Формулированию этой истины была посвящена лучшая часть моей жизненной деятельности, всего моего существа. «Не погрязайте в подробностях настоящего, – говорил и писал я, – но воспитывайте в себе идеалы будущего; ибо это своего рода солнечные лучи, без оживотворяющего действия которых земной шар обратился бы в камень. Не давайте окаменеть и сердцам вашим, вглядывайтесь часто и пристально в светящиеся точки, которые мерцают в перспективах будущего. Только недальнозорким умам эти точки кажутся беспочвенными и оторванными от действительности; в сущности же они представляют собой не отрицание прошлого и настоящего, а результат всего лучшего и человечного, завещанного первым и вырабатывающегося в последнем.

Разница заключается только в том, что, создавая идеалы будущего, просветленная мысль отсекает все злые и темные стороны, под игом которых изнывало и изнывает человечество».

К сожалению, уветы мои были голосом вопиющего в пустыне. Конечно, прорывались минуты, когда мне казалось, что общество вступает на стезю верований, – и сердце мое

оживлялось. Но это было лишь кратковременное марево, которое немедленно же сменялось самою суровою действительностью.

Умами снова овладевала «злоба дня», общество снова погружалось в бессодержательную суматоху; мрак сгущался и бессрочно одолевал робкие лучи света, на мгновение озарившие жизнь. И, – кто знает, – может быть, недалеко время, когда самые скромные ссылки на идеалы будут возбуждать только ничем не стесняющийся смех…

Но возвращаюсь к детям. Если дать веру общепризнанному мнению, то нет возраста более счастливого, нежели детский. Детство беспечно и не смущается мыслью о будущем. Ежели у него есть горе, то это горе детское; слезы – тоже детские; тревоги – мимолетные, которые даже формулировать с полною определенностью нельзя. Посмотрите на Гришу или Маню – их личики еще не обсохли от слез, как уже снова расцвели улыбкой. Посмотрите, как дети беззаботно и весело резвятся, всецело погруженные в свои насущные радости и даже не подозревая, что в окружающем их мире гнездится какое-то злое начало, которое подтачивает миллионы существований. Жизнь их течет, свободная и спокойная, в одних и тех же рамках, сегодня как вчера, но самое однообразие этих рамок не утомляет, потому что содержанием для них служит непрерывное душевное ликование. Все действия детей свидетельствуют о невозмутимом душевном равновесии, благодаря которому они мгновенно забывают о чуть заметных горестях, встречающихся на их пути. Нужно только следить, чтобы развитие детей шло правильно; нужно оградить их от материальных опасностей и зачатков нравственных увлечений, которые могут повредить им в будущем. Эту задачу возьмет на себя разумная педагогика и выполнит ее так, что дети и не почувствуют тяготеющей над ними ферулы.

Так гласит общепризнанное мнение. Так долгое время думал и я, забывая о своем личном прошлом. Внешность оказывала на меня подкупающее действие. Беспечно резвиться, пребывать в неведении зла, ничего не провидеть даже в собственном будущем, всем существом отдаваться наслаждению насущной минутой – разве возможно представить себе более завидный удел? О, дети, дети! Какую благодарную, восприимчивую почву представляют их сердца для руководительства! Скажут им: нужно любить папеньку с маменькой – они любят; прикинут сюда тетенек, дяденек, сестриц, братцев и даже православных христиан – они и их помянут в молитвах своих. Таковы несложные детские обязанности относительно присных и ближних, а рядом с ними преподаются и житейские правила, столь же простые и удобные для воспринятая. Резвиться, но не шуметь, за обедом сидеть прямо и не вмешиваться в разговоры старших; смотреть весело вообще и в особенности при гостях, и т. д. Какой родитель, не исключая самого заурядного, затруднится внедрить эти элементарные правила в восприимчивое детское сердце? И какое детское сердце не понесется навстречу таким небременительным правилам? А когда ребенок вступит в отроческий возраст и родителям покажется недосужно или затруднительно заниматься его воспитанием, то на место их появится разумная педагогика и напишет на порученной ей tabula rasa[11] свои письмена. Она научит почитать старших, избегать общества неблаговоспитанных людей, вести себя скромно, не увлекаться вредными идеями и т. д. При помощи этих новых правил, сфера «воспитания» постепенно расширится, доведет до надлежащей мягкости восковое детское сердце и в то же время не дозволит червю сомнений заползти в тайники детской души.

Сомнения! – разве совместима речь о сомнениях с мыслью о вечно ликующих детях? Сомнения – ведь это отрава человеческого существования. Благодаря им человек впервые получает понятие о несправедливостях и тяготах жизни; с их вторжением он начинает сравнивать, анализировать не только свои собственные действия, но и поступки других. И горе, глубокое, неизбывное горе западает в его душу; за горем следует ропот, а отсюда только один шаг до озлобления…

---

11 дощечке

О, нет! ничего подобного, конечно, не допустят разумные педагоги. Они сохранят детскую душу во всем ее неведении, во всей непочатости и оградят ее от злых вторжений. Мало того: они употребят все усилия, чтобы продлить детский возраст до крайних пределов, до той минуты, когда сама собой вторгнется всеразрушающая сила жизни и скажет: отныне начинается пора зрелости, пора искупления непочатости и неведения!

* * *

Повторяю: так долгое время думал я, вслед за общепризнанным мнением о привилегиях детского возраста. Но чем больше я углублялся в детский вопрос, чем чаще припоминалось мне мое личное прошлое и прошлое моей семьи, тем больше раскрывалась передо мной фальшь моих воззрений.

Прежде всего мне представилась мысль о необычайной интенсивной силе злополучия, разлитого в человеческом обществе. Злополучие так цепко хватается за все живущее, что только очень редкие индивидуумы ускользают от него, но и они, в большинстве случаев, пользуются незавидной репутацией простодушных людей. Куда вы ни оглянитесь, везде увидите присутствие злосчастия и массу людей, задыхающихся под игом его. Формы злосчастия разнообразны, разнообразна также степень сознательности, с которою переносит человек настигающее его иго, но обязательность последнего одинакова для всех. Неправильность и шаткость устоев, на которых зиждется общественный строй, – вот где кроется источник этой обязательности, и потому она не может миновать ни одного общественного слоя, ни одного возраста человеческой жизни. Пронизывая общество сверху донизу, она не оставляет вне своего влияния и детей.

Говорят: посмотрите, как дети беспечно и весело резвятся, – и отсюда делают посылку к их счастью. Но ведь резвость, в сущности, только свидетельствует о потребности движения, свойственной молодому, ненадломленному организму. Это явление чисто физического порядка, которое не имеет ни малейшего влияния на будущие судьбы ребенка и которое, следовательно, можно совершенно свободно исключить из счета элементов, совокупность которых делает завидным детский удел.

Затем вглядитесь пристальнее в волнующуюся перед вами детскую среду, и вы без труда убедитесь, что не все дети резвятся, и что, во всяком случае, не все резвятся одинаково. Одни резвятся смело и искренно, как бы сознавая свое право на резвость; другие – резвятся робко, урывками, как будто возможность резвиться составляет для них нечто вроде милости; третьи, наконец, угрюмо прячутся в сторону и издали наблюдают за играми сверстников, так что даже когда их случайно заставляют резвиться, то они делают это вяло и неумело. Но этого мало: вы убедитесь, что существует на свете целая масса детей, забытых, приниженных, оброшенных с самых пеленок.

Я знаю, что, в глазах многих, выводы, полученные мною из наблюдений над детьми, покажутся жестокими. На это я отвечаю, что ищу не утешительных (во что бы ни стало) выводов, а правды. И, во имя этой правды, иду даже далее и утверждаю, что из всех жребиев, выпавших на долю живых существ, нет жребия более злосчастного, нежели тот, который достался на долю детей.

Дети ничего не знают о качествах экспериментов, которые над ними совершаются, – такова общая формула детского существования. Они не выработали ничего своего, что могло бы дать отпор попыткам извратить их природу. Колея, по которой им предстоит идти, проложена произвольно и всего чаще представляет собой дело случая.

Не все родители обязательно опытны и разумны; не все педагоги настолько проницательны, чтоб угадать природу ребенка, вверенного их воспитанию. По большей части ли в этом деле господствует полное смешение, которое способно извратить даже наиболее счастливо одарённую детскую природу. Но, кроме случайности, детей преследует еще «система». Система представляет собой плод временного общественного настроения и на все живущее накладывает свою тяжелую руку. Она вырабатывает массу

разнообразнейших жизненных формул, по большей части искусственных и удовлетворяющих исключительно взглядам и требованиям минуты. Дети в этом смысле составляют самую легкую добычу, которою она овладевает вполне безнаказанно, в полной уверенности, что восковое детское сердце всякую педагогическую затею примет без противодействия.

Припомните: разве история не была многократно свидетельницей мрачных и жестоких эпох, когда общество, гонимое паникой, перестает верить в освежающую силу знания и ищет спасения в невежестве? Когда мысль человеческая осуждается на бездействие, а действительное знание заменяется массою бесполезностей, которые отдают жизнь в жертву неосмысленности; когда идеалы меркнут, а на верования и убеждения налагается безусловный запрет?..

Где ручательство, что подобные эпохи не могут повториться и впредь?

Мучительно жить в такие эпохи, но у людей, уже вступивших на арену зрелой деятельности, есть, по крайней мере, то преимущество, что они сохраняют за собой право бороться и погибать. Это право избавит их от душевной пустоты и наполнит их сердца сознанием выполненного долга – долга не только перед самим собой, но и перед человечеством.

Это последнее сознание в особенности важно, ибо оно составляет не только преимущество, но и утешение. Для убежденной и верующей мысли представление о человечестве является отнюдь не отдаленным и индифферентным, как об этом гласит недальновидная «злоба дня». Нет, между первым и последнею существует неразрывная цепь, каждое звено которой обладает передаточною силой, доведенной до крайних пределов чуткости. С помощью этой цепи борьба настоящего неизбежно откликнется в тех глубинах, в которых таятся будущие судьбы человечества, и заронит в них плодотворное семя. Не все лучи света погибнут в перипетиях борьбы, но часть их прорежет мрак и даст исходную точку для грядущего обновления. Эта мысль заставляет усиленнее биться сердца поборников правды и укрепляет силы, необходимые для совершения подвига. Ибо это воистину сладчайший из подвигов, и сознание, что он выполнен бодро и без колебаний, воистину может пролить утешение в поруганные и измученные сердца.

Никаким подобным преимуществом не пользуются дети. Они чужды всякого участия в личном жизнестроительстве; они слепо следуют указаниям случайной руки и не знают, что эта рука сделает с ними. Поведет ли она их к торжеству или к гибели; укрепит ли их настолько, чтобы они могли выдержать напор неизбежных сомнений, или отдаст их в жертву последним? Даже приобретая знания, нередко ценою мучительных усилий, они не отдают себе отчета в том, действительно ли это знания, а небесполезности…

Как я упомянул выше, действительное назначение детей, как оно представлялось до сих пор, – это играть роль animae vilis[12] для производства всякого рода воспитательных опытов.

Начните с родителей. Папаша желает, чтоб Сережа шел по гражданской части; мамаша настаивает, чтоб он был офицером. Папаша говорит, что назначение человека – творить суд и расправу. Мамаша утверждает, что есть назначение еще более высокое – защищать отечество против врагов.

– А вот убьют его у тебя при первой же войне! – угрожает папаша.

– Не беспокойся, не убьют! Мы его тогда домой выпросим! – возражает мамаша.

Неумные эти разговоры, с незначительными видоизменениями, возобновляются беспрерывно в присутствии самого Сережи, который чутко вслушивается и колеблется, к какой стороне пристать. Но родители у него не промах. Они смекают, что настоять на своем они не могут иначе, как при содействии самого Сережи; и знают, как добиться этого содействия. Пускай он, хоть не понимаючи, скажет: «Ах, папаша! как бы мне хотелось быть

12 низшего организма

прокурором, как дядя Коля!», или: «Ах, мамаша! когда я сделаюсь большой, у меня непременно будут на плечах такие же густые эполеты, как у дяди Паши, и такие же душистые усы!» Эти наивные пожелания наверное возымеют свое действие на родительские решения.

– Вот видишь, он сам свое призвание чувствует! – молвит папаша.

– Ах, Serge, Serge! а что ты вчера говорил! об эполетах-то и позабыл? – укорит Сережу мамаша.

И вот, чтобы получить Сережино содействие, с обеих сторон употребляется давление. Со стороны папаши оно заключается в том, что он от времени до времени награждает Сережу тычками и говорит:

– Вот погоди ты у меня, офицер!

Со стороны мамаши давление имеет более привлекательные формы. Она прикармливает Сережу конфетками и пирожками, приговаривая:

– Будешь, Сережа, офицером? да?

В конце концов мамаша побеждает; Сережа надевает офицерский мундир и, счастливый, самодовольный, мчится в собственной пролетке и на собственном рысаке по Невскому.

Но очарование в наш расчетливый век проходит быстро. Через три-четыре года Сережа начинает задумываться и склоняется к мысли, что папаша был прав.

Да, в наши дни истинное назначение человека именно в том состоит, чтоб творить суд и расправу. Большинство Сережиных сверстников уже с успехом предается этой профессии. Митя Потанчиков – товарищ прокурора; Федя Стригунов – член окружного суда, а Макар Полудин даже начеку быть вице-губернатором. А он, Сережа, все еще субалтерн-офицер. Он не может пожаловаться, что служба его идет туго и что начальство равнодушно к нему, но есть что-то в самой избранной им карьере, что делает его жребий не вполне удовлетворительным. Внешние враги примолкли, слухи о близкой войне оказываются несостоятельными – следовательно, не предвидится и случая для покрытия себя славою. Притом же, слава славой, а что, ежели убьют?

– Ah, sacrrrrebleu![13]

Остаются враги внутренние, но борьба с ними даже в отличие не вменяется. Как субалтерн-офицер, он не играет в этом деле никакой самостоятельной роли, а лишь следует указаниям того же Мити Потанчикова.

– Я с «ним» покуда разговаривать буду, – говорит Митя, – а ты тем временем постереги входы и выходы, И как только я дам знак – сейчас хлоп!

Сереже становится горько. Потребность творить суд и расправу так широко развилась в обществе, что начинает подтачивать и его существование. Помилуйте! какой же он офицер! и здоровье у него далеко не офицерское, да и совсем он не так храбр, чтобы лететь навстречу смерти, ради стяжания лавров. Нет, надо как-нибудь это дело поправить! И вот он больше и больше избегает собеседований с мамашей и чаще и чаще совещается с папашей…

В одно прекрасное утро Сережа является домой в штатском платье. Мамаша падает в обморок, восклицая:

– Но я надеюсь, что ты, по крайней мере, будешь камер-юнкером!

– Мамаша! простите ли вы меня? – умоляет он, падая на колени.

Я знаю, что страдания и неудачи, описанные в сейчас приведенном примере, настолько

---

[13] Ах, черррт возьми!

малозначительны, что не могут считаться особенно убедительными. Но ведь дело не в силе страданий, а в том, что они падают на голову неожиданно, что творцом их является слепой случай, не признающий никакой надобности вникать в природу воспитываемого и не встречающий со стороны последнего ни малейшего противодействия.

Гораздо более злостными оказываются последствия, которые влечет за собой «система». В этом случае детская жизнь подтачивается в самом корне, подтачивается безвозвратно и неисправимо, потому что на помощь системе являются мастера своего дела – педагоги, которые служат ей не только за страх, но и за совесть.

В согласность ее требованиям, они ломают природу ребенка, погружают его душу в мрак, и ежели не всегда с полною откровенностью ратуют в пользу полного водворения невежества, то потому только, что у них есть подходящее средство обойти эту слишком крайнюю меру общественного спасения и заменить ее другою, не столь резко возмущающею человеческую совесть, но столь же действительною. Средство это, как я уже сказал выше, заключается в замене действительного знания массою бесполезностей, которыми издревле торгует педагогика.

Спрашивается: что могут дети противопоставить этим попыткам искалечить их жизнь? Увы! подавленные игом фатализма, они не только не дают никакого отпора, но сами идут навстречу своему злополучию и безропотно принимают удары, сыплющиеся на них со всех сторон. Бедные, злосчастные дети!

И вот, погруженные в невежество, с полными руками бесполезностей, с единственным идеалом в душе: творить суд и расправу – они постепенно достигают возмужалости и наконец являются на арену деятельности. Нет у них мерила ни для оценки поступков, ни для различения добра от зла. Сердца их поражены преждевременною дряблостью, умы не согреты стремлением к добру и человечности; понятие о Правде отсутствует. Успех или неуспех в уловлении насущных потребностей минуты – вот что становится предметом их вожделений, вот что помогает им изо дня в день влачить бесплодную жизнь.

В детском возрасте «система» пользовалась неведением детей, чтоб довести их умы до ограниченности. Теперь, по мере возмужалости, та же система является единственною руководительницею всех их помыслов и поступков. Покорно следуя указаниям детской традиции, они все глубже и глубже погружаются в мрачные извилины случайного общественного настроения и становятся послушным орудием его жестоких велений. Возмужалые, они продолжают оставаться детьми, с тем же неведением, с тем же отсутствием силы противодействия, которое могло бы помочь им разобраться в путанице преходящих явлений.

Бедные, злополучные дети! вот что готовит вам в будущем слепая случайность, и вот тот удел, который общепризнанное мнение называет счастливым!

Возражения против изложенного выше, впрочем, очень возможны. Мне скажут, например, что я обличаю такие явления, на которых лежит обязательная печать фатализма. Нельзя же, в самом деле, вооружить ведением детей, коль скоро их возраст самою природою осужден на неведение. Нельзя возложить на них заботу об устройстве будущих их судеб, коль скоро они не обладают необходимым для этого умственным развитием.

Все это я отлично знаю и охотно со всем соглашаюсь. Но и за всем тем тщетно стараюсь понять, где же тут элементы, на основании которых можно было бы вывести заключение о счастливых преимуществах детского возраста?

Правда, что дети не сознают, куда их ведут и что с ними делается, и это освобождает их от массы сердечных мук, которые истерзали бы их, если бы они обладали сознательностью. Но что же значит это временное облегчение в виду тех угроз, которыми чревато их будущее?

Вот почему я продолжаю утверждать, что, в абсолютном смысле, нет возраста более злополучного, нежели детский, и что общепризнанное мнение глубоко заблуждается, поддерживая противное. По моему мнению, это заблуждение вредное, потому что оно отуманивает общество и мешает ему взглянуть трезво на детский вопрос.

Затем, я вовсе не отрицаю существенной помощи, которую может оказать детям

педагогика, но не могу примириться с тем педагогическим произволом, который, нагромождая систему на систему, ставит последние в зависимость от случайных настроений минуты. Педагогика должна быть прежде всего независимою; ее назначение – воспитывать в нарождающихся отпрысках человечества идеалы будущего, а не подчинять их смуте настоящего. Ибо, повторяю: бывают эпохи, когда общество, гонимое паникой, отвращается от знания и ищет спасения в невежестве. Ужели подобная задача, поставленная прямо или под каким бы то ни было прикрытием, может приличествовать педагогике?

VII. Портретная галерея. – Тетеньки-сестрицы

Бьет четыре часа. Дети собрались на балконе, выходящем на красный двор, и вглядываются вдаль по направлению к церкви и к длинному-длинному мостовнику, ведущему от церкви вплоть до пригорка, на котором стоит деревенька Ильинка.

Цель их пребывания на балконе двоякая. Во-первых, их распустили сегодня раньше обыкновенного, потому что завтра, 6 августа, главный престольный праздник в нашей церкви и накануне будут служить в доме особенно торжественную всенощную. В шесть часов из церкви, при колокольном звоне, понесут в дом местные образа, и хотя до этой минуты еще далеко, но детские сердца нетерпеливы, и детям уже кажется, что около церкви происходит какое-то приготовительное движение.

Во-вторых, с минуты на минуту ждут тетенек-сестриц (прислуга называет их «барышнями»), которые накануне преображеньева дня приезжают в Малиновец и с этих пор гостят в нем всю зиму, вплоть до конца апреля, когда возвращаются в свое собственное гнездо «Уголок», в тридцати пяти верстах от нашей усадьбы. Три подводы с тетенькиным скарбом: сундуками, пуховиками, подушками и проч., еще вчера пришли вместе с горничной Липкой, которая уже приготовила их комнату, расставила в двух киотах образа, выварила клопов из кроватей и постлала постели.

Действительно, в половине пятого у околицы на выезде Ильинки показывается желтая четвероместная карета, которую трусцой спускает с пригорка четверка старых, совсем белых лошадей. Затем карета въезжает на мостовник и медленно ползет по нем до самой церкви.

– Тетеньки! Тетеньки! – раздается на балконе.

– Барышни едут! – откликаются голоса в девичьей и в коридорах.

А брат Степан, у которого в руках подзорная трубка, следит за каретой и сообщает:

– Тетенька Марья Порфирьевна капор сняла, чепчик надевает… Смотрите! смотрите! вынула румяны… румянится! Сколько они пряников, черносливу, изюму везут… страсть! А завтра дадут нам по пятачку на пряники… И вдруг расщедрятся, да по гривеннику… Они по гривеннику да мать по гривеннику… на торгу пряников, рожков накупим! Смотрите! да, никак, старик Силантий на козлах… еще не умер! Ишь ползут старушенции! Да стегни же ты, старый хрен, правую-то пристяжную! видишь, совсем не везет!

По обыкновению, речь Степана не отличается связностью, но он без умолку продолжает болтать все время, покуда карета ползет да ползет по мостовнику. Наконец она у церкви поворачивает вправо и рысцой катится по направлению к дому. Дети крестятся и спешат на парадное крыльцо.

Там уже стоит старик отец и ждет сестриц. Матушка на крыльцо не выходит и встречает сестриц в раскрытых дверях лакейской. Этот обряд встречи установился с тех пор, как власть в доме от тетенек перешла безраздельно к матушке.

Тетеньки-сестрицы – старушки. Они погодки: одной шестьдесят два, другой шестьдесят три года. Обе маленького роста. Старшая, Марья Порфирьевна, еще молодится. Она употребляет белила и румяны, сурмит брови, носит белый чепчик, из-под которого выглядывают завитки из сырцового шелка, и выпавшие зубы заменяет восковыми. Ходит с прической, кокетничает с образами, посылая им воздушные поцелуи, и беспрестанно дует налево, отгоняя от себя нечистого. Вообще это проказливая старуха, которая причиняет не мало досады сестре и слывет в семье малоумною. Младшая сестра, Ольга Порфирьевна,

смотрит гораздо солиднее и слывет умною. Косметиков она не употребляет, но зубы у нее почти сплошь восковые, и как она ими орудует – никто этого понять не может. Молится она истово, как следует солидной старушке, и хотя знает, что с левого бока ее сторожит дьявол, но, во избежание соблазна, дует на него лишь тогда, когда предполагает, что никто этого не видит. Сверх того, она умеет читать и писать, тогда как Марья Порфирьевна совершенно безграмотна. Мы называем их тетеньками, отец и матушка – сестрицами; отсюда общая кличка: тетеньки-сестрицы.

Наконец карета у крыльца. Тетеньки вылезают из нее и кланяются отцу, касаясь рукой до земли, а отец в это время крестит их; потом они ловят его руку, а он ловит их руки, так что никакого целования из этого взаимного ловления не выходит, а происходит клеванье носами, которое кажется нам, детям, очень смешным.

Потом тетеньки целуют всех нас и торопливо суют нам в руки по прянику

– Откушать! с дорожки! – предлагает отец, очень хорошо зная, что кушанье давно убрано и снесено на погреб.

– И, братец! сытехоньки! У Рождества кормили – так на постоялом людских щец похлебали! – отвечает Ольга Порфирьевна, которая тоже отлично понимает (церемония эта, в одном и том же виде, повторяется каждый год), что если бы она и приняла братнино предложение, то из этого ничего бы не вышло.

Сестрицы, в сопровождении отца, поднимаются по лестнице, бледнея при одной мысли о предстоящей встрече с матушкой. И действительно, забежав вперед, мы довольно явственно слышим, как последняя сквозь зубы, но довольно внятно произносит:

– Притащились… дармоедки!

Происходит обряд целования, который заключается в том, что обе стороны в молчании прикладываются друг к другу щеками.

Затем матушка отходит к стороне и пропускает тетенек, которые взбираются по крутой и темной лестнице наверх в мезонин, где находится отведенная им комната. За ними следует их неизменная спутница Аннушка, старая-старая девушка, которая самих тетенек зазнала еще детьми.

Комната тетенек, так называемая боковушка, об одно окно, узкая и длинная, как коридор. Даже летом в ней царствует постоянный полумрак. По обеим сторонам окна поставлены киоты с образами и висящими перед ними лампадами. Несколько поодаль, у стены, стоят две кровати, друг к другу изголовьями; еще поодаль – большая изразцовая печка; за печкой, на пространстве полутора аршин, у самой двери, ютится Аннушка с своим сундуком, войлоком для спанья и затрапезной, плоской, как блин, и отливающей глянцем подушкой.

Через несколько минут тетеньки-сестрицы уже вступают во владение своим помещением и сейчас же запирают дверь на крючок. Им нужно отдохнуть с полчаса, чтобы потом, прибравшись и прибодрившись, идти навстречу образам.

Оставлю, однако ж, на время тетенек, чтоб дать короткое описание, как праздновался наш престольный праздник.

Дети опять скучились на балконе и на этот раз убеждаются, что около церкви действительно происходит движение. Вот прошел дьячок и громадным ключом отпер церковную дверь. Следом за ним прошел пономарь и церковный староста, сопровождаемый несколькими мужичками с села. Все они понесут образа и будут присутствовать в «горнице» при всенощной. Около шести часов проходит в церковь священник, и из церкви выбегает пономарь и становится у веревки, протянутой к языку главного колокола. Колокол этот весит

всего десять пудов, и сколько отец ни настаивает, чтоб купили новый, но матушка, под всякими предлогами, уклоняется от исполнения его желания. Точно так же остаются невыполненными просьбы отца, чтобы обедня в престольный праздник служилась соборне, или, по крайней мере, хоть приглашали бы дьякона.

Вообще, матушка не любит отцовской усадьбы и нередко мечтает, что, со смертью мужа, устроит себе новое гнездо в одном из собственных имений.

Ровно в шесть часов, по знаку из дома, ударяет наш жалкий колокол; у церковной ограды появляется толпа народа; раздается трезвон; и вслед за ним в дверях церкви показывается процессия с образами, предшествуемая священником в облачении.

Всенощная идет в образной комнате и длится более часа; за всенощной следует молебен с водосвятием и тремя-четырьмя акафистами, тоже продолжительный, так что все вместе кончается, когда уже на землю спустились сумерки. В образной слушают всенощную господа, в соседней комнате, в коридоре и в девичьей – дворовые; в палисаднике прислушивается к богослужению небольшая толпа, преимущественно ребятишки, которым не нашлось места в горнице. Все молятся с особенным усердием, потому что завтра главный престольный праздник, которого ждут целый год. При пении праздничного тропаря отец становится на колени и кладет земные поклоны; за ним, с шумом, то же самое делает и прочий молящийся люд.

Наконец отошел и молебен. Процессия с образами тем же порядком обратно направляется в церковь. Комнаты наполнены кадильным дымом; молящиеся расходятся бесшумно; чай и вслед за ним ужин проходят в той специальной тишине, которая обыкновенно предшествует большому празднику, а часов с десяти огни везде потушены, и только в господских спальнях да в образной тускло мерцают лампады.

В день праздника с раннего утра светит солнышко, но в воздухе уже начинает чувствоваться приближение осени. В доме поднимается обычная праздничная суматоха. Прихорашиваются, чистятся. Дети встали спозаранку и стоят у окон в праздничных казакинчиках и белых панталонцах. Сенные девушки, в новых холстинковых платьях, наполняют шумом и ветром девичью и коридор; мужская прислуга, в синих суконных сюртуках, с белыми платками на шеях, ждет в лакейской удара колокола; два лакея в ливреях стоят у входных дверей, выжидая появления господ. Чаю в этот день до обедни не пьют даже дети, и так как все приказания отданы еще накануне, то делать решительно нечего.

Отец, в длиннополом сюртуке аглицкого сукна, в белом шейном платке и в козловых сапогах, беспокойно бродит взад и вперед по коридору, покрикивая:

«Бегите на конную! лошадей! проворнее!» Даже матушка прифрантилась; на ней надет коричневый казимировый капот, обшитый домашними кружевами; наголову накинута тюлевая вышитая косынка. В этом наряде она и теперь еще хоть куда.

Она стоит, в ожидании экипажа, в комнате, смежной с спальней, и смотрит в окно на раскинутые перед церковью белые шатры с разным крестьянским лакомством и на вереницу разряженных богомольцев, которая тянется мимо дома по дороге в церковь.

– Никак Архип-то с утра пьян! – обращается она к ключнице, которая на всякий случай стоит возле нее, – смотри, какие мыслете выделывает!

– И то пьян! – подтверждает ключница.

– Ну, теперь пойдут сряду три дня дебоширствовать! того и гляди, деревню сожгут! И зачем только эти праздники сделаны! Ты смотри у меня! чтоб во дворе было спокойно! по очереди «гулять» отпускай: сперва одну очередь, потом другую, а наконец и остальных. Будет с них и по одному дню… налопаются винища! Да девки чтоб отнюдь пьяные не возвращались!

Матушка волнуется, потому что в престольный праздник она чувствует себя бессильною. Сряду три дня идет по деревням гульба, в которой принимает деятельное участие сам староста Федот. Он не является по вечерам за приказаниями, хотя матушка машинально всякий день спрашивает, пришел ли Федотка-пьяница, и всякий раз получает один и тот же ответ, что староста «не годится». А между тем овсы еще наполовину не

сжатые в поле стоят, того гляди, сыпаться начнут, сенокос тоже не весь убран…

– Вот уж подлинно наказанье! – ропщет она, – ишь ведь, и погода, как нарочно, сухая да светлая – жать бы да жать! И кому это вздумалось на спас-преображенье престольный праздник назначить! Ну что бы на рождество богородицы или на покров! Любехонько бы.

Наконец, раздается первый удар колокола, и к крыльцу подъезжает старая-старая долгушка-трясучка, влекомая маленькой саврасой лошадкой, у которой верхняя губа побелела от старости. Это экипаж отца, который и усаживается в нем вместе с сестрицами, поспешая к «Часам». Вскоре после этого бешеная шестерня караковых жеребцов мчит к тому же крыльцу четвероместную коляску, в которую, с первым ударом трезвона, садится матушка с детьми и с двумя ливрейными лакеями на запятках. Пристяжные завиваются, дышловые грызутся и гогочут, едва сдерживаемые сильною рукою кучера Алемпия; матушка трусит и крестится, но не может отказать себе в удовольствии проехаться в этот день на стоялых жеребцах, которые в один миг домчат ее до церкви.

Утро проходит томительно. Прежде всего происходит обряд поздравления.

В лакейской собралась домашняя мужская прислуга и именитейшие из дворовых.

Отец, с полштофом в одной руке и рюмкой в другой, принимает поздравления и по очереди подносит по рюмке водки поздравляющим. Это один из укоренившихся дедовских обычаев, который матушка давно старается упразднить, но безуспешно. В девичьей стоит самовар, и девушек поят чаем.

Потом пьют чай сами господа (а в том числе и тетеньки, которым в другие дни посылают чай «на верх»), и в это же время детей наделяют деньгами: матушка каждому дает по гривеннику, тетеньки – по светленькому пятачку. Около полудня приходят «попы», и происходит славление, после которого подается та самая поповская закуска, о которой упоминалось уже в одной из первых глав.

Изредка приезжает к престольному празднику кто-нибудь из соседей, но матушка, вообще не отличающаяся гостеприимством, в этот день просто ненавидит гостей, и говорит про них: «гость не вовремя хуже татарина».

В особенности тоскливо детям. Им надоело даже смотреть на белеющие перед церковью шатры и на снующую около них толпу крестьянских девушек и парней. Они уходят до обеда в сад, но в праздничных костюмчиках им и порезвиться нельзя, потому что, того и гляди, упадешь и измараешь «хорошее» платье. Поэтому они ходят чинно, избегая всякого шума, чтобы неосторожным движением не навлечь на себя гнева пристально следящей за ними гувернантки и не лишиться послеобеденного гулянья. Последнее случается, впрочем, довольно редко, потому, что и гувернантка в такой большой праздник признает для себя обязательным быть снисходительной.

Наконец, отошел и обед. В этот день он готовился в изобилии и из свежей провизии; и хотя матушка, по обыкновению, сама накладывает кушанье на тарелки детей, но на этот раз оделяет всех поровну, так что дети все сыты. Шумно встают они, по окончании обеда, из-за стола и хоть сейчас готовы бежать, чтобы растратить на торгу подаренные им капиталы, но и тут приходится ждать маменькиного позволения, а иногда она довольно долго не догадывается дать его.

Но вот вожделенный миг настал, и дети чинно, не смея прибавить шагу, идут к церкви, сопровождаемые вдогонку наставлениями матушки:

– Смотрите же, не пачкайте платьицев! – да к шести часам чтоб быть домой!

У шатров толпится народ. В двух из них разложены лакомства, в третьем идет торг

ситцами, лентами, нитками, иголками и т. д. Мы направляемся прямо к шатру старого Аггея, который исстари посещает наш праздник и охотно нам уступает, зная, что дома не очень-то нас балуют.

Главные лакомства: мятый, мокрый чернослив, белый изюм, тоже мятый и влажный, пряники медовые, изображающие лошадей, коров и петухов, с налепленным по местам сусальным золотом, цареградские рожки, орехи, изобилующие свищами, мелкий крыжовник, который щелкает на зубах, и т. д. Мы с жадностью набрасываемся на сласти, и так как нас пятеро и в совокупности мы обладаем довольно значительною суммою, то в течение пяти минут в наших руках оказывается масса всякой всячины. С какою жадностью мы пожирали эту всякую всячину! Теперь, при одном воспоминании о том, что проскакивало в этот знаменательный день в мой желудок, мне становится не по себе.

В село нас гулять в этот день не пускают: боятся, чтоб картины мужицкой гульбы не повлияли вредно на детские сердца. Но до нас доносятся песни, и издали мы видим, как по улице разряженные девушки и парни водят хороводы, а мальчишки играют в бабки. Мы сравниваем наше подневольное житье с временною свободою, которою пользуется гуляющее простонародье, и завидуем. Во всяком случае, мы не понимаем, почему нас не пускают в село.

Не для того, разумеется, мы рвемся туда, чтобы участвовать в крестьянских увеселениях – упаси боже Затрапезных от такого общения! – а просто хоть посмотреть.

Настоящая гульба, впрочем, идет не на улице, а в избах, где не сходит со столов всякого рода угощение, подкрепляемое водкой и домашней брагой. В особенности чествуют старосту Федота, которого под руки, совсем пьяного, водят из дома в дом. Вообще все поголовно пьяны, даже пастух распустил сельское стадо, которое забрело на господский красный двор, и конюха то и дело убирают скотину на конный двор.

Вечером матушка сидит, запершись в своей комнате. С села доносится до нее густой гул, и она боится выйти, зная, что не в силах будет поручиться за себя. Отпущенные на праздник девушки постепенно возвращаются домой… веселые. Но их сейчас же убирают по чуланам и укладывают спать. Матушка чутьем угадывает эту процедуру, и, ой-ой как колотится у нее в груди всевластное помещичье сердце!

Наконец часам к одиннадцати ночи гул смолкает, и матушка посылает на село посмотреть, везде ли потушены огни. По получении известия, что все в порядке, что было столько-то драк, но никто не изувечен, она, измученная, кидается в постель.

Первый день праздника кончился; завтра гульба возобновится, но уже по деревням. По крайней мере, хоть за глазами, и барское сердце будет меньше болеть.

Извиняюсь перед читателем за длинное отступление и возвращаюсь к тетенькам-сестрицам.

Они были старше отца и до самой его женитьбы жили вместе с ним, пользуясь в Малиновце правами полных хозяек. Хотя Марья Порфирьевна имела собственную усадьбу «Уголок», в тридцати пяти верстах от нас, но дом в ней был так неуютен и ветх, что жить там, в особенности зимой, было совсем невозможно. Во всяком случае, имение отца и обеих сестер составляло нечто нераздельное, находившееся под общим управлением, как было при дедушке Порфирье Григорьиче. Доходы – впрочем, очень ограниченные – со всех имений получал отец, выдавая сестрицам по малости на самое необходимое. Брат и сестры жили дружно; последние даже благоговели перед младшим братом и здоровались с ним не иначе, как кланяясь до земли и целуя его руку.

У Ольги Порфирьевны никогда не было женихов, и вообще за нею не числилось никаких амурных историй. Она была дурна собой и росла строго, как бы заранее осудив себя на всегдашнее девство. Что касается до Марьи Порфирьевны, то она была миловиднее сестры, и, кажется, молодость ее прошла не столь безмятежно, как сестрина. По крайней мере, матушка от времени до времени, желая особенно больно кольнуть сестриц, припоминала при всех про какого-то драгунского офицера. Старушки при этом бледнели, а Марья Порфирьевна потихоньку произносила: тьфу! тьфу! – словно отрицаясь от

наваждения. Даже старик отец не выдерживал и выговаривал матушке:

– И как тебе, сударыня, не стыдно!

Теперь, когда Марья Порфирьевна перешагнула уже за вторую половину седьмого десятилетия жизни, конечно, не могло быть речи о драгунских офицерах, но даже мы, дети, знали, что у старушки над самым изголовьем постели висел образок Иосифа Прекрасного, которому она особенно усердно молилась и в память которого, 31 марта, одевалась в белое коленкоровое платье и тщательнее, нежели в обыкновенные дни, взбивала свои сырцового шелка кудри.

Таким образом спокойно и властно поживали тетеньки в Малиновце, как вдруг отец, уже будучи сорока лет, вздумал жениться. С тех пор значение сестер начало быстро падать. Хотя матушке было только пятнадцать лет, когда она вышла замуж, но молодость как-то необыкновенно скоро соскочила с нее.

Ходило в семье предание, что поначалу она была веселая и разбитная молодка, называла горничных подружками, любила играть с ними песни, побегать в горелки и ходить веселой гурьбой в лес по ягоды. Часто ездила в гости и к себе зазывала гостей, и вообще не отказывала себе в удовольствиях. Очень возможно, что она и навсегда удержалась бы на этой стезе, если б не золовки. Они с самого начала вознамерились сделать из нее нечто вроде семейной потехи и всячески язвили ее колкостями, в особенности допекая по поводу недоданного приданого. Однако же отец, как человек слабохарактерный, не поддержал их. На первых порах он даже держал сторону молодой жены и защищал ее от золовок, и как ни коротко было время их супружеского согласия, но этого было достаточно, чтобы матушка решилась дать золовкам серьезный отпор.

Года через четыре после свадьбы в ее жизни совершился крутой переворот. Из молодухи она как-то внезапно сделалась «барыней», перестала звать сенных девушек подруженьками, и слово «девка» впервые слетело с ее языка, слетело самоуверенно, грозно и бесповоротно.

Борьба с золовками началась, разумеется, с тех пустяков, которыми так богат низменный домашний быт. В одно прекрасное утро матушка призвала к себе повара и сама заказала ему обед, так что когда сестрица Ольга Порфирьевна узнала об этом, то совершившийся факт уже был налицо. За обедом матушка сама разливала суп, что тоже до тех пор составляло одну из прерогатив Ольги Порфирьевны. Последняя угадала, что это только первые уколы, за которыми последуют и другие. И точно: вечером матушка в первый раз принимала старосту, выслушивала его доклад и отдавала приказания.

– Да что ты, мать моя, белены, что ли, объелась! – не выдержала Ольга Порфирьевна.

А тетенька Марья Порфирьевна, не понимая, что в доме произошло нечто весьма серьезное, хохотала и дразнилась:

– Ах, купчиха! ах, богатея! Покажи-ка сундуки, в которых приданое из Москвы привезла!

– Может, другой кто белены объелся, – спокойно ответила матушка Ольге Порфирьевне, – только я знаю, что я здесь хозяйка, а не нахлебница. У вас есть «Уголок», в котором вы и можете хозяйничать. Я у вас не гащивала и куска вашего не едала, а вы, по моей милости, здесь круглый год сыты.

Поэтому, ежели желаете и впредь жить у брата, то живите смирно. А ваших слов, Марья Порфирьевна, я не забуду…

Этим сразу старинные порядки были покончены. Тетеньки пошептались с братцем, но без успеха. Все дворовые почувствовали, что над ними тяготеет не прежняя сутолока, а настоящая хозяйская рука, покамест молодая и неопытная, но обещающая в будущем распорядок и властность. И хотя молодая «барыня» еще продолжала играть песни с девушками, но забава эта повторялась все реже и реже, а наконец девичья совсем смолкла, и веселые игры заменились целодневным вышиванием в пяльцах и перебиранием коклюшек.

Тетеньки, однако ж, серьезно обиделись, и на другой же день в «Уголок» был послан нарочный с приказанием приготовить что нужно для принятия хозяек. А через неделю их

уже не стало в нашем доме.

Проводы, разумеется, были самые родственные. Все домочадцы высыпали на крыльцо; сестрицы честь честью перецеловались, братец перекрестил отъезжавших и сказал: напрасно – а сестрице Марье Порфирьевне даже пригрозил, вымолвив: «Это все ты, смутьянка!» Затем желтый рыдван покатился.

Увы! сестрицы не обладали даром предвидения. Они уезжали, когда лето было в самом разгаре, и забыли, что осенью и зимой «Уголок» представляет очень плохую защиту от стужи и непогод.

Действительно, не успел наступить сентябрь, как от Ольги Порфирьевны пришло к отцу покаянное письмо с просьбой пустить на зиму в Малиновец. К этому времени матушка настолько уже властвовала в доме, что отец не решился отвечать без ее согласия.

– Пустишь, что ли, сударыня? – спросил он нерешительно.

– Пускай живут! Отведу им наверху боковушку – там и будут зиму зимовать, – ответила матушка. – Только чур, ни в какие распоряжения не вмешиваться, а с мая месяца чтоб на все лето отправлялись в свой «Уголок». Не хочу я их видеть летом – мешают. Прыгают, егозят, в хозяйстве ничего не смыслят. А я хочу, чтоб у нас все в порядке было. Что мы получали, покуда сестрицы твои хозяйничали? грош медный! А я хочу…

Матушка уже начинала мечтать. В ее молодой голове толпились хозяйственные планы, которые должны были установить экономическое положение Малиновца на прочном основании. К тому же у нее в это время уже было двое детей, и надо было подумать об них. Разумеется, в основе ее планов лежала та же рутина, как и в прочих соседних хозяйствах, но ничего другого и перенять было неоткуда. Она желала добиться хоть одного: чтобы в хозяйстве существовал вес, счет и мера.

В этом отношении малиновецкая экономия представляла верх беспорядочности. Зерно без меры принималось с гумна и без меры же ссыпалось в амбары.

– Никто не украдет! все будут сыты! – говорили сестрицы и докладывали братцу, что молотьба кончилась и сусеки, слава богу, доверху полны зерном.

Очень возможно, что действительно воровства не существовало, но всякий брал без счета, сколько нужно или сколько хотел. Особенно одолевали дворовые, которые плодились, как грибы, и все, за исключением одиночек, состояли на месячине. К концу года оставалась в амбарах самая малость, которую почти задаром продавали местным прасолам, так что деньги считались в доме редкостью.

В таком же беспорядочном виде велось хозяйство и на конном и скотном дворах. Несмотря на изобилие сенокосов, сена почти никогда недоставало, и к весне скотина выгонялась в поле чуть живая. Молочного хозяйства и в заводе не было. Каждое утро посылали на скотную за молоком для господ и были вполне довольны, если круглый год хватало достаточно масла на стол. Это было счастливое время, о котором впоследствии долго вздыхала дворня.

Матушка во всех отраслях хозяйства ввела меру, вес и счет.

Она самолично простаивала целые дни при молотьбе и веянии и заставляла при себе мерять вывеянное зерно и при себе же мерою ссыпать в амбары. Кроме того, завела книгу, в которую записывала приход и расход, и раза два в год проверяла наличность. Она уже не говорила, что у нее сусеки наполнены верхом, а прямо заявляла, что умолот дал столько-то четвертей, из которых, по ее соображениям, столько-то должно поступить в продажу.

Затем она обратила внимание на месячину. Сразу уничтожить ее она не решалась, так как обычай этот существовал повсеместно, но сделала в ней очень значительные сокращения. Самое главное сокращение заключалось в том, что некоторые дворовые семьи держали на барском корму по две и по три коровы и по нескольку овец, и она сразу сократила число первых до одной, а число последних до пары, а лишних, без дальних разговоров, взяла на господский скотный двор.

Словом сказать, везде завелись новые и дотоле неслыханные порядки.

Дворня до того была поражена, что в течение двух-трех дней чувствовалось между

дворовыми нечто вроде волнения. Сам отец не одобрял этих новшеств. Он привык, чтобы кругом было тихо и смирно, чтобы никто не жаловался и не роптал, а теперь пошли ежедневные судбища, разбирательства, учеты. В особенности же сетовал он на то, что матушка сменила прежних старосту и ключницу. Он даже попробовал заступиться за них, но, по обыкновению, сделал это нерешительно и вяло, так что молодой хозяйке почти не стоило никакого труда устоять на своем.

В результате этих усилий оказалось, что года через два Малиновец уже начал давать доход.

Но годы шли, и вместе с ними росла наша семья.

После двенадцати лет брака, во второй половине двадцатых годов, она уже считала восемь человек детей (я только что родился), и матушка начала серьезно задумываться, как ей справиться с этой оравой. В доме завелись гувернантки; старшей сестре уже минуло одиннадцать лет, старшему брату – десять; надо было везти их в Москву, поместить в казенные заведения и воспитывать на свой счет. В предвидении этого и чтобы получить возможность сводить концы с концами, матушка с каждым годом больше и больше расширяла хозяйство в Малиновце, поднимала новые пашни, расчищала луга, словом сказать, извлекала из крепостного труда все, что он мог дать. Но ведь и крепостной труд не бесконечно растяжим, и триста шестьдесят душ отцовских все-таки оставались теми же триста шестьюдесятью душами, сколько ни налегали на них.

Как бы то ни было, но с этих пор матушкой овладела та страсть к скопидомству, которая не покинула ее даже впоследствии, когда наша семья могла считать себя уже вполне обеспеченною. Благодаря этой страсти, все куски были на счету, все лишние рты сделались ненавистными. В особенности возненавидела она тетенек-сестриц, видя в них нечто вроде хронической язвы, подтачивавшей благосостояние семьи.

Тетеньки окончательно примолкли. По установившемуся обычаю, они появлялись в Малиновце накануне преображеньева дня и исчезали в «Уголок» в конце апреля, как только сливали реки и устанавливался мало-мальски сносный путь. Но и там и тут существование их было самое жалкое.

Господский дом в «Уголке» почти совсем развалился, а средств поправить его не было. Крыша протекала; стены в комнатах были испещрены следами водяных потоков; половицы колебались; из окон и даже из стен проникал ветер. Владелицы никогда прежде не заглядывали в усадьбу; им и в голову не приходило, что они будут вынуждены жить в такой руине, как вдруг их постигла невзгода.

Хозяйство в «Уголке» велось так же беспорядочно, как и в Малиновце во время их управления, а с прибытием владелиц, элемент безалаберности еще более усилился.

Они были не только лишены всякого хозяйственного смысла, но сверх того, были чудихи и отличались тою назойливостью, которая даже самых усердных слуг выводила из терпения. В особенности проказлива была Марья Порфирьевна, которой, собственно, и принадлежал «Уголок».

Переезжая на лето к себе, она чувствовала себя свободною и как бы спешила вознаградить себя за те стеснения, которые преследовали ее во время зимы. Целые дни она придумывала проказу за проказой. То мазала жеваным хлебом кресты на стенах и окнах, то выбирала что ни на есть еле живую половицу и скакала по ней, рискуя провалиться, то ставила среди комнаты аналой и ходила вокруг него с зажженной свечой, воображая себя невестой и посылая воздушные поцелуи Иосифу Прекрасному. Однажды даже нарисовала углем усы благоверной княгине Ольге, а преподобному Нестору вывела на лбу рога. И сестра и прислуга неотступно следили за нею, опасаясь, чтобы она не сожгла усадьбы или чтобы с ней самой чего-нибудь не случилось.

Именьице было крохотное, всего сорок душ, но сестрицы и эту ограниченную хозяйственную силу не стеснялись сокращать почти наполовину. В самую страдную пору они рассылали пешком крестьян по церквам и монастырям, с кутьею и поминальными книжками или с подводами, нагруженными провизией, которая предназначалась разным

богомолам, пользовавшимся их почитанием. По временам, прослышав, что в таком-то городе или селе (хотя бы даже за сто и более верст) должен быть крестный ход или принесут икону, они собирались и сами на богомолье. Закладывалась известная всему околотку желтая карета, и сестры на неделю и на две пропадали, переезжая с богомолья на богомолье.

Эти поездки могли бы, в хозяйственном смысле, считаться полезными, потому что хоть в это время можно было бы управиться с работами, но своеобычные старухи и заочно не угомонялись, беспрерывно требуя присылки подвод с провизией, так что, не будучи в собственном смысле слова жестокими, они до такой степени в короткое время изнурили крестьян, что последние считались самыми бедными в целом уезде.

Ни отец, ни матушка, в течение более десяти лет, никогда не заглядывали в «Уголок». Матушка любила и поесть и попить в людях, а сестрицам угощать было нечем. Благодаря своей безалаберности, они сами жили впроголодь, питаясь молоком, ягодами и хлебом, и если б не возможность прожить зиму в Малиновце, то неизвестно, как бы они извернулись. К счастью, у Ольги Порфирьевны были две дальние деревушки, около тридцати душ, которые платили небольшой оброк. Эта ничтожная сумма, размененная на двугривенные и пятиалтынные, и выручала их.

Зиму они проводили в Малиновце в полном смысле слова затворницами.

Однажды вступив во владение «боковушкой», они выходили из нее только к обеду да в праздники к обедне. В мезонине у нас никто не жил, кроме сестриц да еще детей, которые приходили в свои детские только для спанья. Прочие комнаты стояли пустые и разделялись на две половины длинным темным коридором, в который вела снизу крутая темная лестница. Днем у всех было своего дела по горло, и потому наверх редко кто ходил, так что к темноте, наполнявшей коридор, присоединялась еще удручающая тишина. Малейший шорох заставлял сестриц вздрагивать и посылать Аннушку поглядеть, нет ли кого. Но в особенности их пугало, что коридор обоими концами упирался в чердаки, которые, как известно, составляют любимое местопребывание нечистой силы.

Марья Порфирьевна пыталась ограждать себя от последней тем, что мазала на дверях чердаков кресты, но матушка, узнав об этом, приказала вымыть двери и пригрозила сестрицам выпроводить их из Малиновца.

С утра до вечера они сидели одни в своем заключении. У Ольги Порфирьевны хоть занятие было. Она умела вышивать шелками и делала из разноцветной фольги нечто вроде окладов к образам. Но Марья Порфирьевна ничего не умела и занималась только тем, что бегала взад и вперед по длинной комнате, производя искусственный ветер и намеренно мешая сестре работать.

Кормили тетенек более чем скупо. Утром посылали наверх по чашке холодного чаю без сахара, с тоненьким ломтиком белого хлеба; за обедом им первым подавали кушанье, предоставляя право выбирать самые худые куски.

Помню, как робко они входили в столовую за четверть часа до обеда, чтобы не заставить ждать себя, и становились к окну. Когда появлялась матушка, они приближались к ней, но она почти всегда с беспощадною жестокостью отвечала им, говоря:

– Ну, еще целоваться вздумали! не бог знает сколько времени не видались!

В течение всего обеда они сидели, потупив глаза в тарелки и безмолвствовали. Ели только суп и пирожное, так как остальное кушанье было не по зубам.

Присутствие матушки приводило их в оцепенение, и что бы ни говорилось за столом, какие бы ни происходили бурные сцены, они ни одним движением не выказывали, что принимают в происходящем какое-нибудь участие. Молча садились они за обед, молча подходили после обеда к отцу и к матушке и отправлялись наверх, чтоб не сходить оттуда до завтрашнего обеда.

Чем они были сыты – это составляло загадку, над разрешением которой никто не задумывался. Даже отец не интересовался этим вопросом и, по-видимому, был очень доволен, что его не беспокоят. По временам Аннушка, завтракавшая и обедавшая в девичьей, вместе с женской прислугой, отливала в небольшую чашку людских щец, толокна или

кулаги и, крадучись, относила под фартуком эту подачку «барышням». Но однажды матушка узнала об этом и строго-настрого запретила:

– Они дворянки, – сказала она язвительно, – а дворянкам не пристало холопские щи есть. Я купчиха – и то не ем.

Вообще сестрицы сделались чем-то вроде живых мумий; забытые, брошенные в тесную конуру, лишенные притока свежего воздуха, они даже перестали сознавать свою беспомощность и в безмолвном отупении жили, как в гробу, в своем обязательном убежище. Но и за это жалкое убежище они цеплялись всею силой своих костенеющих рук. В нем, по крайней мере, было тепло… Что, ежели рассердится сестрица Анна Павловна и скажет: мне и без вас есть кого поить-кормить! куда они тогда денутся?

Даже Марья Порфирьевна притихала и съеживалась, когда ей напоминали о возможности подобной катастрофы. Вообще она до того боялась матушки, что при упоминовении ее имени бросалась на постель и прятала лицо в подушки.

Увы! предчувствие не обмануло сестриц. Минуты, когда ворота малиновецкой усадьбы заперлись перед ними навсегда, были сочтены.

Матушка в это время уже могла считать себя богатою. В самом начале тридцатых годов она успела приобрести значительное имение, верстах в сорока от Малиновца и всего в пяти верстах от «Уголка». Это было большое торговое село Заболотье, заключавшее в себе с деревнями более трех тысяч душ.

Принадлежало оно троим владельцам, и часть одного из них, около тысячи двухсот душ, продавалась в опекунском совете с аукциона. Прослышав о предстоящей продаже, матушка решила рискнуть своим небольшим приданным капиталом и поехала в Москву. Успех превзошел самые смелые ожидания. На аукцион никто не явился, кроме подставного лица, и имение осталось за матушкой, «с переводом долга» и с самой небольшой приплатой из приданных денег.

Имение было малоземельное, но оброк с крестьян получался исправно. А по тогдашнему времени это только и было нужно. Операция была настолько выгодна, что сразу дала матушке лишних пятнадцать тысяч чистого годового дохода, не считая уплаты процентов и погашения. Сверх того, летом из Заболотья наряжалась в Малиновец так называемая помочь, которая в три-четыре дня оканчивала почти все жнитво и значительную часть сенокоса.

Вследствие этого, и Малиновец начал давать все более и более серьезный доход. Благосостоянию семьи было положено прочное основание.

Но тут именно и случилось нечто в высшей степени прискорбное для сестриц. Матушка, никогда не любившая Малиновца, начала, с покупкой нового имения, положительно скучать в родовом отцовском гнезде. В Заболотье был тоже господский дом, хотя тесный и плохо устроенный, но матушка была неприхотлива. Ей нравилась оживленная улица села, с постоянно открытыми лавками, в которых, по ее выражению, только птичьего молока нельзя было достать, и с еженедельным торгом, на который съезжались толпы народа из соседних деревень; нравилась заболотская пятиглавая церковь с пятисотпудовым колоколом; нравилась новая кипучая деятельность, которую представляло оброчное имение. Оброки собирались по мелочам, так что надо было наблюдать да и наблюдать, записывать да и записывать. Да и один ли оброк? ежели к такому имению да приложить руки, так и других полезных статей не мало найдется. Обложить торговцев сбором, свои лавки построить, постоялый двор, трактир… Одно горе, имение чересполосное; мужики остальных двух частей, при заглазном управлении, совсем извольничались и, пожалуй, не скоро пойдут на затеи новой помещицы. Но ведь и это представляло пищу для деятельности. Пойдут

разговоры, совещания; иное уладится само собой, а иное и до суда дойдет. Обо всем надо подумать, переговорить. Матушка и об тяжбе начала помышлять без особенного страха.

Первые три года она только урывками наезжала в Заболотье. Пробудет месяц-другой и опять воротится в Малиновец. Но мысль ее все больше и больше склонялась к тому, чтобы из Заболотья сделать зимнюю резиденцию. Зимой в Малиновце решительно нечего было делать. Шла только молотьба (иногда до самой масленицы), но для наблюдения за ней был под рукой староста Федот, которому можно было безусловно доверить барское дело. Господский дом оказывался слишком обширным и опустелым (почти все дети уж были размещены по казенным заведениям в Москве), и отопление такой махины требовало слишком много дров. Оставалось убедить отца, но ведь матушке было не привыкать стать к домашним сценам. Побурлит старик, а она все-таки на своем поставит. А о том, что где-то наверху, в боковушке, словно мыши, скребутся сестрицы, она забыла и думать.

Участь тетенек-сестриц была решена. Условлено было, что сейчас после покрова, когда по первым умолотам уже можно будет судить об общем урожае озимого и ярового, семья переедет в Заболотье. Часть дворовых переведут туда же, а часть разместится в Малиновце по флигелям, и затем господский дом заколотят.

Сверх ожидания, отец принял это решение без особенных возражений. Его соблазняло, что при заболотской церкви состоят три попа и два дьякона, что там каждый день служат обедню, а в праздничные дни даже две, раннюю и позднюю, из которых последнюю – соборне.

Матушка сама известила сестриц об этом решении. «Нам это необходимо для устройства имений наших, – писала она, – а вы и не увидите, как зиму без милых сердцу проведете. Ухитите ваш домичек соломкой, да жердочками сверху обрешетите – и будет у вас и тепленько, и уютненько. А соскучитесь одни – в Заболотье чайку попить милости просим. Всего пять верст – мигом лошадушки домчат…»

В половине декабря уголковский староста Осип явился в Заболотье и просил доложить о себе матушке.

– Барышня Ольга Порфирьевна у нас плоха, – доложил он ей.

– Что с нею?

– Да стужа в домишке-то… простудилась, стало быть.

– Я ведь писала, чтобы дом соломой снаружи ухитить…

– Что солома! бревна сгнили… Стужа лютее, чем на дворе.

– А я тут при чем? что ты ко мне пристал? Я разве причинна, что дом у вас сгнил?

– Я не к тому… так, доложить пришел… Как бы потом в ответе не быть…

– Лежит она, что ли?

– Пока еще бродит… кашель дюже одолел. Так бьет, так бьет, что ни на что не похоже… на бок жалуется…

– Что ж я-то могу?.. Бог милостив, отходится. За доктором, коли что, пошлите.

С тем староста и ушел. Матушка, впрочем, несколько раз порывалась велеть заложить лошадей, чтоб съездить к сестрицам; но, в конце концов, махнула рукой и успокоилась.

На святках староста опять приехал и объявил, что Ольга Порфирьевна уж кончается. Я в это время учился в Москве, но на зимнюю вакацию меня выпросили в Заболотье. Матушка в несколько минут собралась и вместе с отцом и со мной поехала в Уголок.

Домишко был действительно жалкий. Он стоял на юру, окутанный промерзлой соломой и не защищенный даже рощицей. Когда мы из крытого возка перешли в переднюю, нас обдало морозом. Встретила нас тетенька Марья Порфирьевна, укутанная в толстый ваточный капот, в капоре и в валеных сапогах. Лицо ее осунулось и выражало младенческое отупение. Завидев нас, она машинально замахала руками, словно говорила: тише! тише! Сзади стояла старая Аннушка и плакала.

Ольга Порфирьевна уже скончалась, но ее еще не успели снять с постели.

Миниатюрная головка ее, сморщенная, с обострившимися чертами лица, с закрытыми глазами, беспомощно высовывалась из-под груды всякого тряпья, наваленного ради тепла;

у изголовья, на стуле, стоял непочатый стакан малинового настоя. В углу, у образов, священник, в ветхой рясе, служил панихиду.

Матушка заплакала. Отец, в шубе и больших меховых сапогах, закрывал рукою рот и нос, чтобы не глотнуть морозного воздуха.

Когда кончилась панихида, матушка сунула священнику в руку полтинник и сказала: «Уж вы, батюшка, постарайтесь!» Затем все на минуту присели, дали Аннушке и старосте надлежащие наставления, поклонились покойнице и стали поспешно сбираться домой. Марью Порфирьевну тоже взяли с собой в Заболотье.

Через три дня Ольгу Порфирьевну схоронили на бедном погосте, к которому Уголок был приходом. Похороны, впрочем, произошли честь честью.

Матушка выписала из города средненький, но очень приличный гробик, средненький, но тоже очень приличный покров и пригласила из Заболотья старшего священника, который и служил заупокойную литургию соборне. Мало того: она заказала два сорокоуста и внесла в приходскую церковь сто рублей вклада на вечные времена для поминовения души усопшей рабы божией Ольги.

Спустя месяц тетеньку Марью Порфирьевну, вместе с Аннушкой, поместили в ближайший женский монастырь. Матушка сама ездила хлопотать и купила в монастырской ограде особую келью, чтобы старушке жилось уютненько и тепленько.

Словом сказать, устроили дело так, чтоб и душа покойной, глядючи с небеси, радовалась, да и перед людьми было не стыдно…

VIII. Тетенька Анфиса Порфирьевна

Тетенька Анфиса Порфирьевна была младшая из сестер отца (в описываемое время ей было немногим больше пятидесяти лет) и жила от нас недалеко.

Я не помню, впрочем, чтоб до покупки Заболотья мы когда-нибудь езжали к ней, да и не помню, чтобы и она у нас бывала, так что я совсем ее не знал. Уже в семье дедушки Порфирия Васильича, когда она еще была «в девках», ее не любили и называли варваркой; впоследствии же, когда она вышла замуж и стала жить на своей воле, репутация эта за ней окончательно утвердилась. Рассказывали почти чудовищные факты из ее помещичьей практики и нечто совсем фантастическое об ее семейной жизни. Говорили, например, что она, еще будучи в девушках, защипала до смерти данную ей в услужение девчонку; что она находится замужем за покойником и т. д. Отец избегал разговоров об ней, но матушка, которая вообще любила позлословить, называла ее не иначе, как тиранкой и распутницей. Вообще и родные, и помещики-соседи чуждались Савельцевых (фамилия тетеньки по мужу), так что они жили совершенно одни, всеми оброшенные.

Рассказы эти передавались без малейших прикрас и утаек, во всеуслышание, при детях, и, разумеется, сильно действовали на детское воображение. Я, например, отроду не видавши тетеньки, представлял себе ее чем-то вроде скелета (такую женщину я на картинке в книжке видел), в серо-пепельном хитоне, с простертыми вперед руками, концы которых были вооружены, острыми когтями вместо пальцев, с зияющими впадинами вместо глаз и с вьющимися на голове змеями вместо волос.

Но с покупкой Заболотья обстоятельства изменились. Дело в том, что тетенькино

имение, Овсецово, лежало как раз на полпути от Малиновца к Заболотью. А так как пряжка в сорок с лишком верст для непривычных лошадей была утомительна, то необходимость заставляла кормить на половине дороги.

Обыкновенно, мы делали привал на постоялом дворе, стоявшем на берегу реки Вопли, наискосок от Овсецова; но матушка, с своей обычной расчетливостью, решила, что чем изъяниться на постоялом дворе[14], выгоднее будет часа два-три посидеть у сестрицы, которая, конечно, будет рада возобновлению родственных отношений и постарается удоволить дорогую гостью.

И вот, однажды – это было летом – матушка собралась в Заболотье и меня взяла с собой. Это был наш первый (впрочем, и последний) визит к Савельцевым. Я помню, любопытство так сильно волновало меня, что мне буквально не сиделось на месте. Воображение работало, рисуя заранее уже созданный образ фурии, грозно выступающей нам навстречу. Матушка тоже беспрестанно колебалась и переговаривалась с горничной Агашей.

– Заезжать, что ли?

– Это как вам, сударыня, будет угодно.

– Еще не примет, пожалуй!

– Как не принять… помилуйте! даже с радостью.

Матушка задумалась на минуту в нерешимости и потом продолжала:

– Чай, и Фомку своего покажет!

– Может, и посовестится. А впрочем, сказывают, он завсе с барыней за одним столом обедает…

– Ну ладно, едем!

Через короткое время, однако ж, решимость оставляла матушку, и разговор возобновлялся на противоположную тему.

– Нет уж, что срамиться, – говорила она и, обращаясь к кучеру, прибавляла: – Ступай на постоялый двор!

Поэтому сердце мое сильно забилось, когда, при повороте в Овсецово, матушка крикнула кучеру:

– В Овсецово!

Экипаж своротил с большой дороги и покатился мягким проселком по направлению к небольшому господскому дому, стоявшему в глубине двора, обнесенного тыном и обсаженного березками.

Действительно, нас ожидало нечто не совсем обыкновенное. Двор был пустынен; решетчатые ворота заперты; за тыном не слышалось ни звука. Солнце палило так, что даже собака, привязанная у амбара, не залаяла, услышав нас, а только лениво повернула морду в нашу сторону.

Казалось, само забвение поселилось здесь и покрыло своим пологом все живущее. Через две-три минуты, однако ж, из-за угла дома вынырнула человеческая фигура в затрапезном сюртуке, остановилась, приложила руку к глазам и на окрик наш: «Анфиса Порфирьевна дома?» – мгновенно скрылась.

Потом с девичьего крыльца выбежала женщина в рваном сарафане и тоже скрылась. Наконец сквозь решетчатые ворота мы увидели начавшееся в доме движение, беготню. Отворилось парадное крыльцо, и из него выбежал босоногий подросток в нанковом казакине, который и отворил нам ворота.

---

[14] О том, как велик был этот изъян, можно судить по следующему расчету: пуд сена лошадям (овес был свой) – 20 коп; завтрак кучеру и лакею – 30 коп ; самовар и кринка молока – 30 коп. Господа кушали свое, домашнее, и я как сейчас вижу синюю бумагу, в которой была завязана жареная курица, несколько пшеничных колобушек с запеченными яйцами и половина ситного хлеба. Горничная питалась остатками от барской трапезы. За «постоялое» платилось только в ненастье (около 20 коп.); в вёдро же матушка располагалась отдохнуть в огороде. Итого, восемьдесят копеек, и в крайнем случае рубль на ассигнации. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

Тетенька уже стояла на крыльце, когда мы подъехали. Это была преждевременно одряхлевшая, костлявая и почти беззубая старуха, с морщинистым лицом и седыми космами на голове, развевавшимися по ветру.

Моему настроенному воображению представилось, что в этих космах шевелятся змеи. К довершению всего, на ней был надет старый-старый ситцевый балахон серо-пепельного цвета, точь-в-точь как на картинке.

– Ах, родные мои! ах, благодетели! вспомнила-таки про старуху, сударушка! – дребезжащим голосом приветствовала она нас, протягивая руки, чтобы обнять матушку, – чай, на полпути в Заболотье… все-таки дешевле, чем на постоялом кормиться… Слышала, сударушка, слышала! Купила ты како с соком… Ну, да и молодец же ты! Легко ли дело, сама-одна какое дело сварганила! Милости просим в горницы! Спасибо, сударка, что хоть ненароком да вспомнила.

Покуда тетенька беспорядочно и не без иронии произносила свое приветствие, я со страхом ждал своей очереди.

– И мальца с собой привезла… ну, обрадовала! Это который? – обратилась она ко мне и, взяв меня за плечи, поцеловала тонкими, запекшимися губами.

– Осьмой… да дома еще остался…

– Девятый… ай да молодец брат Василий! Седьмой десяток, а поди еще как проказничает! Того гляди, и десятый недалеко… Ну, дай тебе бог, сударыня, дай бог! Постой-ка, постой, душенька, дай посмотреть, на кого ты похож! Ну, так и есть, на братца Василия Порфирьича, точка в точку вылитый в него!

Она поворачивала меня к свету и осматривала со всех сторон. Я должен сказать, что такого рода балагурство было мне не в диковинку.

И в нашем доме, и у соседей к женской чести относились не особенно осторожно. Соседи и соседки клепали друг на друга почти шутя. Была ли хоть искра правдоподобия в этих поклепах – об этом никто не думал. Они составляли как бы круговую поруку и в то же время были единственным общедоступным предметом собеседований, которому и в гостях, и у семейного очага с одинаковой страстью посвящали свои досуги и кавалеры и дамы, в особенности же последние. Я лично почти не понимал, в чем заключается суть этого балагурства, но слова уже настолько прислушались, что я не поражался ими.

Матушка, однако ж, поняла, что попала в ловушку и что ей не ускользнуть от подлых намеков в продолжение всех двух-трех часов, покуда будут кормиться лошади. Поэтому она, еще не входя в комнаты, начала уже торопиться и приказала, чтоб лошадей не откладывали. Но тетенька и слышать не хотела о скором отъезде дорогих родных.

– Ах-ах-ах! да, никак, ты на меня обиделась, сударка! – воскликнула она, – и не думай уезжать, – не пущу! ведь я, мой друг, ежели и сказала что, так спроста!.. Так вот… Проста я, куда как проста нынче стала! Иногда чего и на уме нет, а я все говорю, все говорю! Изволь-ка, изволь-ка в горницы идти – без хлеба-соли не отпущу, и не думай! А ты, малец, – обратилась она ко мне, – погуляй, ягодок в огороде пощипли, покуда мы с маменькой побеседуем! Ах, родные мои! ах, благодетели! сколько лет, сколько зим!

Делать нечего, пришлось оставаться. Я, разумеется, с радостью поспешил воспользоваться данным мне отпуском и в несколько прыжков уж очутился на дворе.

Двор был пустынен по-прежнему. Обнесенный кругом частоколом, он придавал усадьбе характер острога. С одного краю, в некотором отдалении от дома, виднелись хозяйственные постройки: конюшни, скотный двор, людские и проч., но и там не слышно было никакого движения, потому что скот был в стаде, а дворовые на барщине. Только вдали, за службами бежал, по направлению к полю во всю прыть мальчишка, которого, вероятно, послали на сенокос за прислугой.

В детстве я очень любил все, что относилось до хозяйства, а потому и в настоящем случае прежде всего отправился к службам. Требовалось сравнить, все ли тут так же прочно, солидно и просторно, как у нас, в Малиновце; как устроены стойла для лошадей, много ли стоит жеребцов, которых в стадо не гоняют, а держат постоянно на сухом корму; обширен ли

скотный двор, похожа ли савельцевская кухарка в застольной на нашу кухарку Василису и т. п.

Сверх того, я видел, что у ворот конного двора стоит наша коляска с поднятым фордеком, и около нее сидит наш кучер Алемпий, пускает дым из трубки-носогрейки и разговаривает с сгорбленным стариком в синем, вылинявшем от употребления, крашенинном сюртуке. Наверное, думалось мне, они ведут речь о лошадях, и Алемпий хвалится нашим небольшим конским заводом, который и меня всегда интересовал. Но по мере того, как я приближался к службам, до слуха моего доносились сдерживаемые стоны, которые сразу восстановили в моем воображении всю последовательность рассказов из тетенькиной крепостной практики. Через несколько секунд я был уже на месте.

Действительность, представившаяся моим глазам, была поистине ужасна. Я с детства привык к грубым формам помещичьего произвола, который выражался в нашем доме в форме сквернословия, пощечин, зуботычин и т. д., привык до того, что они почти не трогали меня. Но до истязания у нас не доходило. Тут же я увидал картину такого возмутительного свойства, что на минуту остановился, как вкопанный, не веря глазам своим.

У конюшни, на куче навоза, привязанная локтями к столбу, стояла девочка лет двенадцати и рвалась во все стороны. Был уже час второй дня, солнце так и обливало несчастную своими лучами. Рои мух поднимались из навозной жижи, вились над ее головой и облепляли ее воспаленное, улитое слезами и слюною лицо. По местам образовались уже небольшие раны, из которых сочилась сукровица. Девочка терзалась, а тут же, в двух шагах от нее, преспокойно гуторили два старика, как будто ничего необыкновенного в их глазах не происходило.

Я сам стоял в нерешимости перед смутным ожиданием ответственности за непрошеное вмешательство, – до такой степени крепостная дисциплина смиряла даже в детях человеческие порывы. Однако ж сердце мое не выдержало; я тихонько подкрался к столбу и протянул руки, чтобы развязать веревки.

– Не тронь… тетенька забранит… хуже будет! – остановила меня девочка, – вот лицо фартуком оботри… Барин!.. миленький!

И в то же время сзади меня раздался старческий голос:

– Не суйся не в свое дело, пащенок! И тебя к столбу тетенька привяжет!

Это говорил Алемпиев собеседник. При этих словах во мне совершилось нечто постыдное – я мгновенно забыл о девочке и с поднятыми кулаками, с словами: «Молчать, подлый халуй!» – бросился к старику.

Я не помню, чтобы со мной случался когда-либо такой припадок гнева и чтобы он выражался в таких формах, но очевидно, что крепостная практика уже свила по мне прочное гнездо и ожидала только случая, чтобы всплыть наружу.

Старик, в свою очередь, замахнулся на меня, и кто знает, что бы тут произошло, если бы Алемпий не вступился за меня.

– Что вы! что вы, сударь! – успокоивал он меня, – ведь это барин… Маменька гневаться будут…

А остервенившийся старик в то же время кричал:

– Я не халуй, а твой дядя, вот я кто! Я тебя…

Не дослушав дальнейших угроз, я опрометью побежал в дом. Дорогой мне казалось, что передо мной встало привидение и преследовало меня по пятам.

В зале уж накрывали на стол; в гостиной добрые родственницы дружелюбно беседовали.

Беспорядочно, прерывая рассказ слезами, я передал мои жалобы матушке, упомянув и о несчастной девочке, привязанной к столбу, и о каком-то лакее, осмелившемся назвать себя моим дядей, но, к удивлению, матушка выслушала мой рассказ морщась, а тетенька совершенно равнодушно сказала:

– Это он, видно, моего «покойничка» видел! – И затем, обращаясь ко мне, прибавила: – А тебе, мой друг, не следовало не в свое дело вмешиваться. В чужой монастырь с своим

уставом не ходят. Девчонка провинилась, и я ее наказала. Она моя, и я что хочу, то с ней и делаю. Так-то.

А матушка прибавила:

– Разумеется. Ты у тетеньки в гостях и, стало быть, должен вести себя прилично. Не след тебе по конюшням бегать. Сидел бы с нами или в саду бы погулял – ничего бы и не было. И вперед этого никогда не делай. Тетенька слишком добра, а я на ее месте поставила бы тебя на коленки, и дело с концом. И я бы не заступилась, а сказала бы: за дело!

К счастию, тетенька не только не поставила меня на коленки, но на этот раз решилась быть доброю, кликнула девку и приказала отпустить наказанную.

– Признаться сказать, я и забыла про Наташку, – сказала она. – Не следовало бы девчонку баловать, ну да уж для дорогих гостей, так и быть – пускай за племянничка бога молит. Ах, трудно мне с ними, сестрица, справляться! Народ все сорванец – долго ли до греха!

– Долго ли! – подтвердила и матушка. – Ну, а твой «покойничек», сестрица… жив и здоров?

– Что ему, псу несытому, делается! ест да пьет, ест да пьет! Только что он мне одними взятками стоит… ах, распостылый! Весь земский суд, по его милости, на свой счет содержу… смерти на него нет! Умер бы – и дело бы с концом!

– А не буйствует он?

– Нет, смирился. Насчет этого пожаловаться не могу, благородно себя ведет. Ну, да ведь, мать моя, со мною немного поговорит. Я сейчас локти к лопаткам, да и к исправнику… Проявился, мол, бродяга, мужем моим себя называет… Делайте с ним, что хотите, а он мне не надобен!

– А отвечать не боишься?

– Отвечать-то? Да тут все в ответе – и не разберешь! Я и то иногда подумываю: один конец! возьму да сошлю его в Сибирь… Он ведь по ревизии в дворовых у меня числится, и будь хошь исправник, хошь разисправник, а должен будет сделать по-моему! В ту пору у нас, случилось, столяр Потапка помер, так его под именем болярина Савельцева схоронили, а моего-то сокола, чтоб солдатства миновать, дворовым человеком Потапом Семеновым окрестили. Стало быть, я теперь что хочу, то с ним и делаю! Ах, да проста я нынче стала, куда проста! Подумаю, подумаю: ну, непременно, как свят бог, его, поганца, сошлю! а потом и жалко станет! Легко ли дело! Невступно двадцать лет подьячие около меня кормятся, словно мушиный рой так и жужжат… В раззор разорили, хоть по миру ступай! И хозяйство не мило, потому, что ни продам, что ни получу, все на них, каторжных, уходит! Да не хочется ли тебе посмотреть на чудушку-то моего?..

– Нет, что уж! Христос с ним… А хорошенькое у тебя, сестрица, именьице, кругленькое… Ехала я мимо озимого… ах, хороша родилась рожь! Будешь с хлебцем нынешний год!

Дальнейший разговор свернул на хозяйственные темы, которые, вероятно, служили ему содержанием и тогда, когда я своим неожиданным появлением прервал его. Я узнал, что у тетеньки своих сорок душ, да мужниных восемьдесят она как-то сумела на свое имя перевести. Имение мужа выгоднее, потому что там люди поголовно поверстаны в дворовые, работают на барщине ежедневно, а она своих крестьян не успела в дворовые перечислить, предводитель попрепятствовал, пригрозил дело завести. И земли у нее довольно, и лесок есть; всем было бы хорошо, кабы не донимали подьячие.

– А все из-за него, из-за постылого! Разорил меня, подлый человек, не берет его смерть, да и вся недолга! – беспрестанно прибавляла тетенька, прерывая свой рассказ.

Наконец, около половины третьего, нас позвали обедать. Войдя в залу, мы застали там громадного роста малого, лет под тридцать, широкоплечего, с угреватым широким лицом, маленькими, чуть-чуть видными глазами и густою гривой волос на голове. Он был одет в светло-зеленый казинетовый казакин, наглухо застегнутый на крючки, сквозь которые была продернута серебряная цепочка с часами, которые он беспрестанно вынимал. На заплывшем

лице его написано было тупое самодовольство и неизреченная животненная плотоядность. Он ловко расшаркнулся перед матушкой и подошел ей к ручке.

– А это мой Фомушка! – рекомендовала его тетенька, – только он один и помогает мне. Не знаю, как бы я и справилась без него с здешней вольницей!

Матушка чуть-чуть сконфузилась, но не отняла руки и даже поцеловала Фомушку в лоб, как этого требовал тогдашний этикет.

– Сестрица ржи наши хвалит, – обратилась тетенька к Фомушке, – поблагодари ее! – Фомушка снова расшаркался. – Вот бы тебе, сударка, такого же Фомушку найти! Уж такой слуга! такой слуга! на редкость!

Я не помню, как прошел обед; помню только, что кушанья были сытные и изготовленные из свежей провизии. Так как Савельцевы жили всеми оброшенные и никогда не ждали гостей, то у них не хранилось на погребе парадных блюд, захватанных лакейскими пальцами, и обед всякий день готовился незатейливый, но свежий.

Тетенька, по-видимому, была не скупа и усердно, даже с некоторою назойливостью, нас потчевала.

– Кушай, кушай! – понуждала она меня, – ишь ведь ты какой худой! в Малиновце-то, видно, не слишком подкармливают. Знаю я ваши обычаи! Кушай на здоровье! будешь больше кушать, и наука пойдет спорее…

И затем, обращаясь к матушке, продолжала: – А ты, сударыня, что по сторонам смотришь… кушай! Заехала, так не накормивши не отпущу! Знаю я, как ты дома из третьёводнишних остатков соусы выкраиваешь… слышала! Я хоть и в углу сижу, а все знаю, что на свете делается! Вот я нагряну когда-нибудь к вам, посмотрю, как вы там живете… богатеи! Что? испугалась!

Матушка действительно несколько изменилась в лице при одной перспективе будущего визита Анфисы Порфирьевны. Тут только, по-видимому, она окончательно убедилась, какую сделала ошибку, заехавши в Овсецово.

– Ну, ну… не пугайся! небось, не приеду! Куда мне, оглашенной, к большим барам ездить… проживу и одна! – шутила тетенька, видя матушкино смущение, – живем мы здесь с Фомушкой в уголку, тихохонько, смирнехонько, никого нам не надобно! Гостей не зовем, и сами в гости не ездим… некуда! А коли ненароком вспомнят добрые люди, милости просим! Вот только жеманниц смерть не люблю, прошу извинить.

Но в особенности понуждала она Фомушку:

– Ешь, Фомушка, ешь! Вишь ты, какой кряж вырос! есть куда хлеб-соль класть! Ешь!

На что Фомушка неизменно, слегка поглаживая себя по животу, отвечал:

– Наелся-с; невмоготу-с!

И таинственным урчанием подтверждал свой ответ.

– Ешьте, сударики, ешьте! – не умолкала тетенька. – Ты бы, сестрица, небось, на постоялом курицу черствую глодала, так уж, по крайности, хоть то у тебя в барышах, что приедешь ужо вечером в Заболотье, – ан курица-то на ужин пригодится!..

Тетушка задержала нас до пятого часа. Напрасно отпрашивалась матушка, ссылаясь, что лошади давно уже стоят у крыльца; напрасно указывала она на черную полосу, выглянувшую на краю горизонта и обещавшую черную тучу прямо навстречу нам. Анфиса Порфирьевна упорно стояла на своем. После обеда, который подавался чрезвычайно медлительно, последовал кофей; потом надо было по-родственному побеседовать, – наелись, напились, да сейчас уж и ехать! – потом посидеть на дорожку, потом богу помолиться, перецеловаться…

– И куда только ты торопишься! – уговаривала тетенька, – успеешь еще насидеться в своем ненаглядном Заболотье! А знаешь ли что! кабы мое было это Заболотье, уж я бы… Не посмотрела бы я, что там мужики в синих кафтанах ходят, а бабы в штофных телогреях… я бы… Вот землицы там мало, не у чего людей занять, – ну, да я бы нашла занятие… А, впрочем, что мне тебя учить, ученого учить – только портить. Догадаешься и сама. Малиновец-то, покуда братец с сестрицами распоряжались, грош давал, а теперь – золотое

дно! Умница ты, это всякий скажет! Намеднись, Аггей приезжал, яйца скупал, тальки, полотна, – спрашиваю его: «Куда отсюда поедешь?» – «К министеру», – говорит. Это он тебя министером называет. Да и подлинно – министер! Легко ли дело! Какую махинищу купила задаром. Чай, оброки-то уж набавила?

– Нет еще покуда!

– Набавляй, сударка, набавляй! нечего на них, на синекафтанников, смотреть! Чем больше их стрижешь, тем больше они обрастают! Набавляй!

Насилу мы убрались. Версты две ехала матушка молча, словно боялась, что тетенька услышит ее речи, но наконец разговорилась.

– Фомку видела? – спросила она Агашу.

– Как же, сударыня! В девичью перед обедом приходил, посидел.

– Какова халда! За одним столом с холопом обедать меня усадила! Да еще что!.. Вот, говорит, кабы и тебе такого же Фомушку… Нет уж, Анфиса Порфирьевна, покорно прошу извинить! калачом меня к себе вперед не заманите…

– Мне что, сударыня, сказывали. Сидит будто этот Фомка за столом с барыней, а старого барина, покойника-то, у Фомки за стулом с тарелкой заставят стоять.

– Неужто?

– Истинную правду говорю. А то начнут комедии представлять. Поставят старого барина на колени и заставят «барыню» петь. Он: «Сударыня-барыня, пожалуйте ручку!» – а она: «Прочь, прочь, отойди, ручки недостойный!» Да рукой-то в зубы… А Фомка качается на стуле, разливается, хохочет…

– Вот так змея!

– Нехорошо у них; даже мне, рабе, страшно показалось. Ходит этот Фомка по двору, скверными словами ругается, кричит… А что, сударыня, слышала я, будто он ихний сын?

– Сын ли, другой ли кто – не разберешь. Только уж слуга покорная! По ночам в Заболотье буду ездить, чтоб не заглядывать к этой ведьме. Ну, а ты какую еще там девчонку у столба видел, сказывай! – обратилась матушка ко мне.

Я рассказал, Агаша, с своей стороны, подтвердила мой рассказ.

– Прибежала она в девичью, как полоумная, схватила корку хлеба… места живого на лице нет!

– Есть же на свете… – молвила матушка, выслушав меня, и, не докончив фразы, задумалась.

Может быть, в памяти ее мелькнуло нечто подходящее из ее собственной помещичьей практики. То есть не в точном смысле истязание, но нечто такое, что грубыми своими формами тоже нередко переходило в бесчеловечность.

Но, помолчав немного, матушка слегка зевнула, перекрестила рот и успокоилась. Вероятно, ей вспомнилась мудрая пословица: не нами началось, не нами и кончится… И достаточно.

Целых шесть верст мы ехали волоком, зыбучими песками между двух стен высоких сосен. По лесу гулко разносился треск, производимый колесами нашего грузного экипажа. Лошади, преследуемые целой тучей оводов, шли шагом, таща коляску в упор, так что на переезд этих шести верст потребовалось больше часа. Узкая полоса неба, видневшаяся сквозь лесную чащу, блестела яркою синевою, хотя вдали уже погромыхивал гром. Несмотря на то, что было около шести часов, в воздухе стояла невыносимая духота от зноя и пыли, вздымаемой копытами лошадей.

Но когда мы выехали из лесу, картина изменилась. Туча уже расползлась и, черная, грозная, медленно двигалась прямо на нас. В воздухе почуялась свежесть; по дороге вились крутящиеся ветерки, которые обыкновенно предшествуют грозе. Между тем до Заболотья оставалось еще не меньше двенадцати верст. Правда, что дорога тут шла твердым грунтом (за исключением двух-трех небольших болотцев с проложенными по ним изорудованными гатями), но в старину помещики берегли лошадей и ездили медленно, не больше семи верст в час, так что на переезд предстояло не менее полутора часа. Матушка серьезно

обеспокоилась.

– Погоняй! погоняй! – крикнула она кучеру.

– Все равно не миновать, – отвечал тот равнодушно.

– Нет, погоняй, погоняй!

Подняли у коляски фордек, и лошади побежали рысью. Мы миновали несколько деревень, и матушка неоднократно покушалась остановиться, чтоб переждать грозу. Но всякий раз надежда: авось пройдет! – ободряла ее.

Сколько брани вылилось тут на голову тетеньки Анфисы Порфирьевны – этого ни в сказках сказать, ни пером описать.

Но, как ни усердствовал Алемпий, мы не миновали своей участи. Сначала раздались страшные удары грома, как будто прямо над нашими головами, сопровождаемые молнией, а за две версты от Заболотья разразился настоящий ливень.

– Погоняй! – кричала матушка в безотчетном страхе.

На этот раз лошадей погнали вскачь, и минут через десять мы уже были в Заболотье. Оно предстало перед нами в виде беспорядочной черной кучи, задернутой дождевой сетью.

Тетенькины слова сбылись: жареная курица пригодилась на ужин. Мы уже успели настолько проголодаться, что я даже не знаю, досталось ли что Агаше, кроме черного хлеба.

Здесь, я полагаю, будет уместно рассказать тетенькину историю, чтобы объяснить те загадочности, которыми полна была ее жизнь. Причем не лишним считаю напомнить, что все описываемое ниже происходило еще в первой четверти нынешнего столетия, даже почти в самом начале его.

Как я упомянул выше, Анфиса Порфирьевна была младшая из дочерей дедушки Порфирия Васильича и бабушки Надежды Гавриловны. В семье она была нелюбима за свою необыкновенную злобность, так что ее называли не иначе как «Фиска-змея». Под этим названием известна она была и во всем околотке.

Благодаря этой репутации она просидела в девках до тридцати лет, несмотря на то, что отец и мать, чтоб сбыть ее с рук, сулили за ней приданое, сравнительно, более ценное, нежели за другими дочерьми. А именно то самое Овсецово, с которым я только что познакомил читателя.

Но в зрелых летах бог послал ей судьбу в лице штабс-капитана Николая Абрамыча Савельцева.

Усадьба Савельцевых, Щучья-Заводь, находилась на берегу реки Вопли, как раз напротив Овсецова. Имение было небольшое, всего восемьдесят душ, и управлял им старик Абрам Семеныч Савельцев, единственный сын которого служил в полку. Старик был скуп, вел уединенную жизнь, ни сам ни к кому не ездил, ни к себе не принимал. Жестоким его нельзя было назвать, но он был необыкновенно изобретателен на выдумки по части отягощения крестьян (про него говорили, что он не мучит, а тигосит). Хотя земли у него было немного, всего десятин пятьсот (тут и леску, и болотца, и песочку), но он как-то ухитрялся отыскивать «занятия», так что крестьяне его почти не сходили с барщины. Зато земля была отлично обработана, и от осьмидесяти душ старик жил без нужды и даже, по слухам, успел скопить хороший капиталец.

Пользуясь бесконтрольностью помещичьей власти, чтоб «тигосить» крестьян, Абрам Семеныч в то же время был до омерзительности мелочен и блудлив. Воровал по ночам у крестьян в огородах овощи, загонял крестьянских кур, заставлял своих подручных украдкой стричь крестьянских овец, выдаивать коров и т. д. Случалось, что крестьяне ловили его с поличным, а ночью даже слегка бивали, но он на это не претендовал. Иногда, когда уж приставали чересчур вплотную, возвращал похищенное: «Ну, на! жри! заткни глотку!» – а назавтра опять принимался за прежнее. Полегоньку скапливал он сокровище, ничем не брезгуя и не обижаясь, что соседи гнушались им.

Но мало-помалу от мелочей он перешел и к крупным затеям.

Воспользовавшись одною из народных переписей, он всех крестьян перечислил в дворовые. Затем отобрал у них избы, скот и землю, выстроил обок с усадьбой просторную

казарму и поселил в ней новоиспеченных дворовых. Все это совершилось исподтишка и так внезапно, что никто и не ахнул. Крестьяне вздумали было жаловаться и даже отказывались работать, но очень скоро были усмирены простыми полицейскими мерами. Соседи не то иронически, не то с завистью говорили: «Вот так молодец! какую штуку удрал!» Но никто пальцем об палец не ударил, чтоб помочь крестьянам, ссылаясь на то, что подобные операции законом не воспрещались.

С тех пор в Щучьей-Заводи началась настоящая каторга. Всё время дворовых, весь день, с утра до ночи, безраздельно принадлежал барину. Даже в праздник старик находил занятие около усадьбы, но зато кормил и одевал их – как? это вопрос особый – и заставлял по воскресеньям ходить к обедне.

На последнем он в особенности настаивал, желая себя выказать в глазах начальства христианином и благопопечительным помещиком.

Хозяйство Савельцевых окончательно процвело. Обездолив крестьян, старик обработывал уж значительное количество земли, и доходы его росли с каждым годом. Смотря на него, и соседи стали задумываться, а многие начали даже ездить к нему под предлогом поучиться, а в сущности – в надежде занять денег. Но Абрам Семеныч, несмотря на предлагаемый высокий процент, наотрез всем отказывал.

– Какие, братик-сударик, у нищего деньги! – не говорил, а словно хныкал он, – сам еле-еле душу спасаю, да сына вот в полку содержу. И мужичков своих вынужден был в дворовые поверстать, а почему? – потому что нужда заставила, жить туго приходилось. Разве я не понимаю, что им, бедненьким, несладко, в казарме запершись, сидеть, да ничего не поделаешь. Своя рубашка к телу ближе. Теперь у меня и ржица залишняя есть, и овсеца найдется. Продам, – вот на чай с сахаром и будет… Дворянин-с; без чаю тоже стыдно! Так-то, братик-сударик!

В довершение Савельцев был сластолюбив и содержал у себя целый гарем, во главе которого состояла дебелая, кровь с молоком, лет под тридцать, экономка Улита, мужняя жена, которую старик оттягал у собственного мужика. Улита домовничала в Щучьей-Заводи и имела на барина огромное влияние. Носились слухи, что и стариковы деньги, в виде ломбардных билетов, на имя неизвестного, переходят к ней. Тем не менее вольной он ей не давал – боялся, что она бросит его, – а выпустил на волю двоих ее сыновей-подростков и поместил их в учение в Москву. С сыном он жил не в ладах и помогал ему очень скупо. С своей стороны и сын отвечал ему полной холодностью и в особенности точил зубы на Улиту.

– Придет и мое времечко, я из нее кровь выпью, жилы повытяну! – грозился он заранее.

Николай Савельцев пользовался в полку нехорошею репутацией. Он принадлежал к той породе людей, про которых говорят: звери! Был без меры жесток с солдатами, и, что всего важнее, жестокость его не имела «воспитательного» характера, а проявлялась совсем беспричинно. В то время в военной среде жестокое обращение не представлялось чем-нибудь ненормальным; ручные побои, палка, шпицрутены так и сыпались градом, но требовалось, чтоб эти карательно-воспитательные меры предпринимались с толком, и «за дело». Савельцев же увечил без пути. Сверх того, он не имел понятия об офицерской чести. Напивался пьян и в пьяном виде дебоширствовал; заведуя ротным хозяйством, людей содержал дурно и был нечист на руку. Встречались, конечно, и другие, которые в этом смысле не клали охулки на руку, но опять-таки они делали это умненько, с толком (такой образ действия в старину назывался «благоразумной экономией»), а не без пути, как Савельцев.

Однажды зимой молодой Савельцев приехал в побывку к отцу в Щучью-Заводь. Осмотрелся с недельку и затем, узнавши, что по соседству, в семье Затрапезных, имеется девица-невеста, которой предназначено в приданое Овсецово, явился и в Малиновец.

Несмотря на зазорную репутацию, предшествовавшую молодому соседу, и дедушка и бабушка приняли его радушно. Они чутьем догадались, что он приехал свататься, но, вероятно, надеялись, что Фиска-змея не даст себя в обиду, и не особенно тревожились доходившими до них слухами о свирепом нраве жениха. Дедушка даже счел приличным

предупредить молодого человека.

– Ты смотри в оба! – сказал он, – ты, сказывают, лих, да и она у нас нИщечко!

На что Савельцев совершенно добродушно ответил:

– Не беспокойтесь! будет шелковая!

А бабушка, с своей стороны, в том же духе предупреждала Фисочку:

– Смотри, Фиска! Ты лиха, а твой Николушка еще того лише. Как бы он под пьяную руку тебя не зарубил!

Но и Фисочка спокойно ответила:

– Ничего, матушка, я на себя надеюсь! упИтается! по струнке ходить будет!

Затем, поговоривши о том, кто кого лише и кто кого прежде поедом съест, молодых обручили, а месяца через полтора и повенчали. Савельцев увез жену в полк, и начали молодые жить да поживать.

Года четыре, до самой смерти отца, водил Николай Абрамыч жену за полком; и как ни злонравна была сама по себе Анфиса Порфирьевна, но тут она впервые узнала, до чего сможет доходить настоящая человеческая свирепость.

Муж ее оказался не истязателем, а палачом в полном смысле этого слова. С утра пьяный и разъяренный, он способен был убить, засечь, зарыть живою в могилу.

В качестве особы женского пола, она ждала совсем не того. Она думала, что дело ограничится щипками, тычками и бранью, на которые она и сама сумела бы ответить. Но вышло нечто посерьезнее: в перспективе ежеминутно мелькало увечье, а чего доброго, и смерть. К тому же до Савельцева дошло, что жена его еще в девушках имела любовную историю и даже будто бы родила сына. Это послужило исходным пунктом для определения его будущих отношений к жене. Ни один шаг не проходил ей даром, ни одного дня не проходило без того, чтобы муж не бил ее смертельным боем.

Случалось даже, что он призывал денщика Семена, коренастого и сильного инородца, и приказывал бить нагайкой полуобнаженную женщину. Не раз Анфиса Порфирьевна, окровавленная, выбегала по ночам (когда, по преимуществу, производились экзекуции над нею) на улицу, крича караул, но ротный штаб, во главе которого стоял Савельцев, квартировал в глухой деревне, и на крики ее никто не обращал внимания. Ей сделалось страшно. Впереди не виделось ни помощи, ни конца мучениям; она смирилась.

Разумеется, смирилась наружно, запечатлевая в своей памяти всякую нанесенную обиду и смутно на что-то надеясь. Мало-помалу в ее сердце скопилась такая громадная жажда мести, которая, независимо от мужниных истязаний, вконец измучила ее. С одной стороны, она сознавала зыбкость своих надежд; с другой, воображение так живо рисовало картины пыток и истязаний, которые она обещала себе осуществить над мужем, как только случай развяжет ей руки, что она забывала ужасную действительность и всем существом своим переносилась в вожделенное будущее. Кто знает, что может случиться! Муж может заболеть; пьянство его может кончиться параличом, который прикует его к одру, недвижимого, беспомощного. Не раз ведь бывало, что с ним случались припадки вроде столбняка, из которых, впрочем, выносливая его натура постоянно выходила победительницею. Но, может быть, наступит минута, когда припадки разрешатся чем-нибудь и более серьезным. И вот тогда…

Во всяком случае, Савельцев был прав, удостоверяя дедушку, что Фиска будет шелковая. Она уж и не пыталась бороться с мужем, а только старалась не попадаться ему на глаза, всячески угождая ему при случайных встречах и почти безвыходно проводя время на кухне. Этим она, по крайней мере, достигала того, что постепенно и муж начал забывать о ней. В доме сделалось тише, и сцены смертного боя повторялись реже. Быть может, впрочем, Савельцев сам струсил, потому что слухи об его обращении с женою дошли до полкового начальства, и ему угрожало отнятие роты, а пожалуй, и исключение из службы.

Анфиса Порфирьевна слегка оживилась. Но по мере того, как участь ее смягчалась, сердце все больше и больше разгоралось ненавистью. Сидя за обедом против мужа, она не спускала с него глаз и все думала и думала.

– Что ты на меня глаза таращишь, ведьма проклятая? – кричал на нее муж, уловив ее загадочный взгляд.

– Гляжу на тебя, ненаглядного, – отвечала она, тихо посмеиваясь.

Не раз она решалась «обкормить» мужа, но, как и все злонравные люди, трусила последствий такого поступка. Ведь у всех ее жизнь была на виду, и, разумеется, в случае внезапной смерти Савельцева, подозрения прежде всего пали бы на нее.

– Из-за него, из-за постылого, еще на каторгу, пожалуй, попадешь! – говорила она себе, – нет, нет! придет мой час, придет! Всякую нагайку, всякую плюху – все на нем, злодее, вымещу!

В таком положении стояло дело, когда наступил конец скитаниям за полком. Разлад между отцом и сыном становился все глубже и глубже. Старик и прежде мало давал сыну денег, а под конец и вовсе прекратил всякую денежную помощь, ссылаясь на недостатки. Сыну, собственно говоря, не было особенной нужды в этой помощи, потому что ротное хозяйство не только с избытком обеспечивало его существование, но и давало возможность делать сбережения.

Но он был жаден и негодовал на отца.

– Восемьдесят душ – это восемьдесят хрИбтов-с! – говаривал он, – ежели их умеючи нагайкой пошевелить, так тут только огребай! А он, видите ли, не может родному детищу уделить! Знаю я, знаю, куда мои кровные денежки уплывают… Улита Савишна у старика постельничает, так вот ей… Ну, да мое времечко придет. Я из нее все до последней копеечки выколочу!

Наконец старик умер, и время Николая Савельцева пришло. Улита сейчас же послала гонца по месту квартирования полка, в одну из дальних замосковных губерний; но замечено было, что она наказала гонцу, проездом через Москву, немедленно прислать в Щучью-Заводь ее старшего сына, которому было в то время уже лет осьмнадцать.

Сын действительно сейчас же приехал, пробыл у матери менее суток и исчез обратно в Москву. Этот эпизод, разумеется, послужил подтверждением слухов о капиталах покойного Савельцева, будто бы переданных Улите.

Николай Абрамыч тотчас же взял отпуск и, как ураган, налетел на Щучью-Заводь, в сопровождении своего наперсника, денщика Семена. Выскочив из брички, он приказал встретившей его на крыльце Улите подать самовар и тотчас же распорядился, чтоб созвали людей.

– А с тобой, красавица, я разделаюсь! – прибавил он, обращаясь к бывшей домоправительнице отца.

Улита стояла ни жива ни мертва. Она чуяла, что ее ждет что-то зловещее. За две недели, прошедшие со времени смерти старого барина, она из дебелой и цветущей барской барыни превратилась в обрюзглую бабу. Лицо осунулось, щеки впали, глаза потухли, руки и ноги тряслись. По-видимому, она не поняла приказания насчет самовара, и не двигалась…

– Что стала? Самовар! Живо! я тебя научу поворачиваться! – зарычал Савельцев, изрыгая целый поток непечатных ругательств, и затем вырвал из рук денщика нагайку и хлестнул ею по груди Улиты.

– Это тебе задаточек! – крикнул он ей вдогонку.

Чай Николай Абрамыч пил с ромом, по особой, как он выражался, савельцевской, системе. Сначала нальет три четверти стакана чаю, а остальное дольет ромом; затем, отпивая глоток за глотком, он подливал такое же количество рому, так что под конец оказывался уже голый ямайский напиток. Напившись такого чаю, Савельцев обыкновенно впадал в полное бешенство. Созвавши дворовых, он потребовал, чтоб ему указали, куда покойный отец прятал деньги. Но никто ничего не отвечал. Даже те, которые нимало не сомневались, что стариковы деньги перешли к Улите, не указали на нее. Тогда обшарили весь дом и все сундуки у дворовых людей, даже навоз на конном дворе перерыли, но денег не нашли, кроме двухсот рублей, которые старик отложил в особый пакет с надписью: «На помин души».

– Сказывайте добром, где деньги? – рычал разъяренный Савельцев, грозя нагайкой.

Дворовые, бледные, как смерть, стояли перед ним и безмолвствовали.

– Что молчите? сказывайте, куда покойник, царство ему небесное, прятал деньги? – настаивал помещик.

Дворовые продолжали молчать. Улита, понимая, что это только прелюдия и что, в сущности, дальнейшее развитие надвигающейся трагедии, беспощадное и неумолимое, всецело обрушится на нее, пошатывалась на месте, словно обезумевшая.

– Не знаете?.. и кому он деньги передавал, тоже не знаете? – продолжал домогаться Савельцев – Ладно, я вам ужо развяжу языки, а теперь я с дороги устал, отдохнуть хочу!

Он, шатаясь, пошел сквозь толпу народа к крыльцу, раздавая направо и налево удары нагайкой, и наконец, стоя уже на крыльце, обратился к Улите:

– А ты, сударка, будь в надежде. Завтра тебе суд будет, а покуда ступай в холодную!

На другой день, ранним утром, началась казнь. На дворе стояла уже глубокая осень, и Улиту, почти окостеневшую от ночи, проведенной в «холодной», поставили перед крыльцом, на одном из приступков которого сидел барин, на этот раз еще трезвый, и курил трубку. В виду крыльца, на мокрой траве, была разостлана рогожа.

– Где отцовы деньги? – допрашивал Улиту Савельцев, – сказывай! прощу!

– Не видала денег! что хотите делайте… не видала! – чуть слышно, стуча зубами, отвечала Улита.

– Так не видала? Нагайками ее! двести! триста! – крикнул Савельцев денщику, постепенно свирепея.

Улиту раздели и, обнаженную, в виду собранного народа, разложили на рогоже. Семен засучил рукава. Раздался первый взмах нагайки, за которым последовал раздирающий душу крик.

Коренастый инородец, постепенно озлобляясь, сыпал удар за ударом мерно, медленно, отсчитывая: раз-два… Савельцев безучастно выкуривал трубку за трубкой, пошучивая:

– Ишь мяса-то нагуляла! Вот я тебе косточки-то попарю… сахарница!

Или:

– Полумесяцем, Семен! полумесяцем разрисовывай! рубец возле рубца укладывай… вот так! Скажет, подлая, скажет! до смерти запорю!

Но не дошло и до пятидесяти нагаек, как Улита совсем замолчала.

Улита лежала как пласт на рогоже, даже тело ее не вздрагивало, когда нагайка, свистя, опускалась ей на спину.

В толпе послышался чей-то одиночный стон. Староста, стоявший неподалеку от барина, испугался.

– Как бы не тово, Николай Абрамыч! как бы в ответе за нее не быть! – заикаясь от страха, предупреждал он.

– А? что? – крикнул на него Савельцев: – или и тебе того же хочется? У меня расправа короткая! Будет и тебе… всем будет! Кто там еще закричал?.. запорю! И в ответе не буду! У меня, брат, собственная казна есть! Хребтом в полку наживал… Сыпну денежками – всем рты замажу!

Однако ж, когда отсчитано было еще несколько ударов, он одумался и спросил: «Сколько?»

– Семьдесят, – ответил палач-денщик.

– Ну, до трехсот далеконько. А впрочем, будет с нее на нынешний день! У нас в полку так велось: как скоро солдатик не выдержит положенное число палок – в больницу его на поправку. Там подправят, спину заживят, и опять в манеж… покуда свою порцию сполна не получит!

Улиту, в одной рубашке, снесли обратно в чулан и заперли на ключ, который барин взял к себе. Вечером он не утерпел и пошел в холодную, чтобы произвести новый допрос Улите, но нашел ее уже мертвою. В ту же ночь призвали попа, обвертели замученную женщину в рогожу и свезли на погост.

Нет сомнения, что Савельцев не остановился бы на одной этой казни, но на другое утро, за чаем, староста доложил, что за ночь половина дворни разбежалась.

– А ты что меня не предупредил? Заодно с ними? а? – вскричал барин. – Палок!

Разъяренный, кинулся он в казарму, но увидел, что и оставшиеся налицо дворовые как будто опомнились и смотрели мрачно. Савельцев заметался, как раненый зверь, но вынужден был отступить.

– Ладно, за мною не пропадет! – посулил он, не будучи в состоянии вполне сдержать себя.

Наскоро велел он запрячь бричку и покатил в город, чтоб отрекомендоваться властям, просить о вводе во владение и в то же время понюхать, чем пахнет вчерашняя кровавая расправа. Там он узнал, что бежавшие дворовые уже предупредили его и донесли.

Исправник принял его, однако же, радушно и только полушутя прибавил:

– Крутеньки-таки вы, Николай Абрамыч: то же бы самое да на другой манер… келейно бы…

Но, впрочем, обнадежил, посоветовал съездить к уездному стряпчему и к лекарю, и в заключение сказал:

– Только нам придется погостить у вас по этому случаю! уж не взыщите.

– Помилуйте! почту за честь, – ответил Савельцев, подавая исправнику руку, в глубине ладони которой была спрятана крупная ассигнация.

Исправник слегка стеснился и даже вздохнул, но принял…

В то время дела такого рода считались между приказною челядью лакомым кусом. В Щучью-Заводь приехало целое временное отделение земского суда, под председательством самого исправника. Началось следствие. Улиту вырыли из могилы, осмотрели рубцы на теле и нашли, что наказание не выходило из ряду обыкновенных и что поломов костей и увечий не оказалось.

Затем, так как наступил уже «адмиральский час», господа чиновники отправились к помещику хлеба-соли откушать. Все тут, от председателя до последнего писца, ели и пили, требуя, кто чего хотел, а после обеда написали протокол, в котором значилось, что раба божия Иулита умерла от апоплексии, хотя же и была перед тем наказана на теле, но слегка, отечески.

Всю ночь после того пировали чиновники в господском доме, округляя и облаживая дело, а Савельцев то и дело исчезал справляться в кису, где хранились его кровные денежки. Бежавших дворовых водворили и убедили нового помещика не только простить их за побег, но и всей дворне отпустить ведро водки.

В результате ввод во владение стоил Савельцеву половины сбережений, сделанных в полку. Зато он показал себя во всем блеске.

Дело, однако ж, получило большую огласку не только в нашем околотке, но и в губернии. Поэтому оно кончилось и не так скоро, и не так благополучно, как о том мечтал Савельцев. Месяца через четыре он был уже вынужден наведаться в губернский город, а невдолге после того на Щучью-Заводь произошел новый чиновничий наезд. Приехал следователь из губернии. Улиту опять вырыли, но тело ее уже подверглось разложению. Снова не нашли ни поломов, ни увечий, а из допросов убедились, что покойница была перед

смертью пьяна и умерла от апоплексии. Савельцев и на этот раз вышел обеленный, но, по завершению дополнительного следствия, привезенной из полка капитанской кисе последовал скорый и немилостивый конец.

В разных перипетиях прошло целых четыре года. Дело переходило из инстанции в инстанцию и служило яблоком раздора между судебной и административной властями.

Сложилось два мнения: одно утверждало, что поступок Савельцева представляет собою один из видов превышения помещичьей власти; другое – что дело это заключает в себе преступление, подведомое общим уголовным судам.

Первое мнение одержало верх.

Все это время Савельцев находился на свободе. Но он вскоре вынужден был заложить Щучью-Заводь, а потом, с великодушного согласия Анфисы Порфирьевны, и Овсецово. С женою он совсем примирился, так как понял, что она не менее злонравна, нежели он, но в то же время гораздо умнее его и умеет хоронить концы. Даже свирепого инородца-денщика, в угоду ей, отослал.

Раз навсегда он сказал себе, что крупные злодейства – не женского ума дело, что женщины не имеют такого широкого взгляда на дело, но что в истязаниях и мучительствах они, пожалуй, будут повиртуознее мужчин.

Чувствуя себя связанным беспрерывным чиновничьим надзором, он лично вынужден был сдерживать себя, но ничего не имел против того, когда жена, становясь на молитву, ставила рядом с собой горничную и за каждым словом щипала ее, или когда она приказывала щекотать провинившуюся «девку» до пены у рта, или гонять на корде, как лошадь, подстегивая сзади арапником.

Подобные истязания возобновлялись в Овсецове (супруги из страха переехали на жительство туда) почти ежедневно и сходили с рук совершенно безнаказанно. По-видимому, факт кровавой расправы с Улитой был до того уже возмутителен, что подавлял собой дальнейшие мелочи и отвлекал внимание от них.

Тем не менее, тетенька не забывала прежних обид и по-прежнему продолжала загадочно посматривать на мужа, теперь уже положительно предчувствуя, что час ее наступит скоро.

Сравнительно в усадьбе Савельцевых установилась тишина. И дворовые и крестьяне прислушивались к слухам о фазисах, через которые проходило Улитино дело, но прислушивались безмолвно, терпели и не жаловались на новые притеснения. Вероятно, они понимали, что ежели будут мозолить начальству глаза, то этим только заслужат репутацию беспокойных и дадут повод для оправдания подобных неистовств.

Наконец через четыре-пять лет дело кончилось, и кончилось совсем неожиданно. Переходя из инстанции в инстанцию, оно, за разногласиями и переменами в составе администрации, дошло до высших сфер. Там, несмотря на то, что последняя губернская инстанция решила ограничиться внушением Савельцеву быть впредь в поступках своих осмотрительнее, взглянули на дело иначе. Из Петербурга пришла резолюция: отставного капитана Савельцева, как недостойного дворянского звания, лишить чинов и дворянства и отдать без срока в солдаты в дальние батальоны. Приговор был безапелляционный.

Разумеется, уездная администрация и тут оказалась благосклонною. Не сразу исполнила решение, но тайно предупредила осужденного и дала ему срок, чтоб сообразиться.

Целую ночь Савельцев совещался с женою, обдумывая, как ему поступить.

Перспектива солдатства, как зияющая бездна, наводила на него панический ужас. Он слишком живо помнил солдатскую жизнь и свои собственные подвиги над солдатиками – и дрожал как лист при этих воспоминаниях.

Шпицрутены, шпицрутены, шпицрутены… Увечья от руки фельдфебеля, увечья от любого из субалтерн-офицеров, увечья от ротного командира.

Перевернешься – бьют, не довернешься – бьют: вот правило. А сверх того бесконечный путь по этапу в какую-нибудь из сибирских крепостей, с партией арестантов, с мешком за

плечами, в сопровождении конвоя… И, может быть, кандалы! Нет, он не в силах начать такую жизнь! Ему уж под сорок; от постоянного пьянства организм его почти разрушился – где ему! И что всего страшнее – между новыми товарищами-солдатами может найтись свидетель его прежних варварств – тогда что? Нет, нет, нет… лучше руки на себя наложить.

Но Анфиса Порфирьевна была изобретательна и ловко воспользовалась его отчаянием.

– Скажись мертвым! – посоветовала она, сумев отыскать в своем дребезжащем голосе ласковые ноты.

Он взглянул на нее с недоумением, но в то же время инстинктивно дрогнул.

– Что смотришь! скажись мертвым – только и всего! – повторила она. – Ублаготворим полицейских, устроим с пустым гробом похороны – вот и будешь потихоньку жить да поживать у себя в Щучьей-Заводи. А я здесь хозяйничать буду.

– А с именем как?

– С именьем надо уж проститься. На мое имя придется купчую крепость совершить…

Он смотрел на нее со страхом и думал крепкую думу.

– Убьешь ты меня! – наконец вымолвил он.

– Вот тебе на! Прошлое, что ли, вспомнил! Так я, мой друг, давно уж все забыла. Ведь ты мой муж; чай, в церкви обвенчаны… Был ты виноват передо мною, крепко виноват – это точно; но в последнее время, слава богу, жили мы мирнехонько… Ни ты меня, ни я тебя… Не я ли тебе Овсецово заложить позволила… а? забыл? И вперед так будет. Коли какая случится нужда – прикажу, и будет исполнено. Ну-ка, ну-ка, думай скорее!

– Убьешь, убьешь ты меня! – повторял он бессознательно.

Но думать было некогда, да и исхода другого не предстояло. На другой день, ранним утром, муж и жена отправились в ближайший губернский город, где живо совершили купчую крепость, которая навсегда передала Щучью-Заводь в собственность Анфисы Порфирьевны. А по приезде домой, как только наступила ночь, переправили Николая Абрамыча на жительство в его бывшую усадьбу.

Тут же, совсем кстати, умер старый дворовый Потап Матвеев, так что и в пустом гробе надобности не оказалось. Потапа хоронили в барском гробе, пригласили благочинного, нескольких соседних попов и дали знать под рукою исправнику, так что когда последний приехал в Овсецово, то застал уже похороны. Хоронили болярина Николая с почестями и церемониями, подобающими родовитому дворянину.

Донесено было, что приговор над отставным капитаном Савельцевым не мог быть приведен в исполнение, так как осужденный волею божией помре. Покойный «болярин» остался в своем родовом гнезде и отныне начал влачить жалкое существование под именем дворового Потапа Матвеева.

На другой же день, Анфиса Порфирьевна облекла его в синий затрапез, оставшийся после Потапа, отвела угол в казарме и велела нарядить на барщину, наряду с прочими дворовыми. Когда же ей доложили, что барин стоит на крыльце и просит доложить о себе, она резко ответила:

– Не надо. Пусть трудится: бог труды любит. Скажите ему, поганцу, что от его нагаек у меня и до сих пор спину ломит. И не сметь звать его барином. Какой он барин! Он – столяр Потапка, и больше ничего.

Происшествие это случилось у всех на знати. И странное дело! – тем же самым соседям, которые по поводу Улитиных истязаний кричали: «Каторги на него, изверга, мало!» – вдруг стало обидно за Николая Абрамыча.

– Ежели из-за каждой холопки да в солдаты – что ж это будет! – говорили одни.

– Нет, вы вот об чем подумайте! Теперича эта история разошлась везде, по всем уголкам… Всякий мужичонко намотал ее себе на ус… Какого же ждать повиновения! – прибавляли другие.

Словом сказать, пошли в ход такие вольные речи, что предводитель насилу мог унять недовольных.

Прошло немного времени, и Николай Абрамыч совсем погрузился в добровольно

принятый им образ столяра Потапа. Вместе с другими он выполнял барщинскую страду, вместе с другими ел прокислое молоко, мякинный хлеб и пустые щи.

Тем не менее программу истязаний, которую рисовало воображение тетеньки, ей удалось выполнить только отчасти.

Однажды вздумала она погонять мужа на корде, но, во-первых, полуразрушенный человек уже в самом начале наказания оказался неспособным получить свою порцию сполна, а, во-вторых, на другой день он исчез.

Оказалось, что, с отчаяния, он ушел в город и объявился там. Разумеется, его даже не выслушали и водворили обратно в местожительство; но вслед за тем предводитель вызвал Анфису Порфирьевну и предупредил ее, чтобы она оставила мужа в покое, так как, в случае повторения истязаний, он вынужден будет ходатайствовать о взятии имения ее в опеку.

Потапа переселили в Овсецово, отвели особую каморку во флигеле и стали держать во дворе вместо шута. Вскоре Анфиса Порфирьевна выписала Фомушку, и предоставила ему глумиться над мужем сколько душе угодно.

Фомушка упал словно снег на голову. Это была вполне таинственная личность, об которой никто до тех пор не слыхал. Говорили шепотом, что он тот самый сын, которого барыня прижила еще в девушках, но другие утверждали, что это барынин любовник. Однако ж, судя по тому, что она не выказывала ни малейшей ревности в виду его подвигов в девичьей, скорее можно было назвать справедливым первое предположение.

Это был халуй в полном смысле этого слова, нахальный, дерзкий на руку и не в меру сластолюбивый. Любил щеголять и мучился тем, что неоднократно пытался попасть в общую помещичью семью, но каждый раз, даже у мелкопоместных, встречал суровый отпор. Ленивый и ничего не смыслящий в хозяйстве, он управлял имением крайне плохо и вел праздную жизнь, забавляясь над «покойником», которого заставлял плясать, петь песни и т. д.

Тетенька души в нем не чаяла и втайне обдумывала, каким бы образом передать ему имение. Но так как, по тогдашнему времени, тут встречались неодолимые препятствия (Фомушка был записан в мещане), то приходилось обеспечить дорогого сердцу человека заемными письмами. И действительно, документы были написаны заранее, но она не отдавала ему их в руки, а спрятала в бюро, указав только на ящик, в котором они были положены.

– Вот где – смотри! А ключ – вот он, в кошельке, особняком от других ключей! Когда буду умирать – не плошай!

– Где уж тогда! во все глаза на меня смотреть будут! Вы бы мне, маменька, теперь отдали.

– Шалишь! – знаю я вашу братью! Почувствуешь, что документ в руках – «покорно благодарю!» не скажешь, стречка дашь! Нет уж, пускай так! береженого и бог бережет. Чего бояться! Чай, не вдруг умру!

Таким образом шли годы. Николай Абрамыч успел состариться. На барщину его уж не гоняли; изредка, по просьбе Фомушки, Анфиса Порфирьевна даже давала ему кусок с барского стола и рюмку водки. Тогда он был счастлив, называл жену «благодетельницей» и благодарил, касаясь рукой земли. Целые дни бродил он с клюкой по двору, в неизменном синем затрапезе, которому, казалось, износу не было. Наблюдал, чтобы определенные барыней наказания выполнялись с точностью, и по временам наушничал. От времени до времени, впрочем, замечали, что он начинает забываться, бормочет нескладицу и не узнает людей. Он сам, по-видимому, сознавал, что конец недалеко, так что однажды, когда Анфиса Порфирьевна, отдав обычную дань (она все чаще трусила, чтобы дело не всплыло наружу)

чиновникам, укорила его: «Смерти на тебя, постылого, нет!» – он смиренно отвечал:

– Скоро, благодетельница, скоро! Савельцев уж умер и Потапка скоро умрет!

Соседи позабыли об этой истории и только изредка рассказывали наезжим гостям, как о диковинке, о помещике-покойнике, живущем в Овсецове, на глазах у властей. Иногда Николай Абрамыч даже захаживал к ближайшим соседям, которые были попроще (этот околоток был сплошь населен мелкопоместными). Придет, побродит по двору, увидит отворенное окошко, подойдет и постучит клюкою. На этот стук подходил к окну сосед и разговаривал с стариком, а иногда и высылал ему рюмку водки с ломтем черного хлеба. Но в дома его не впускали.

Наконец пришла и желанная смерть. Для обеих сторон она была вожделенным разрешением. Савельцев с месяц лежал на печи, томимый неизвестным недугом и не получая врачебной помощи, так как Анфиса Порфирьевна наотрез отказала позвать лекаря. Умер он тихо, испустив глубокий вздох, как будто радуясь, что жизненные узы внезапно упали с его плеч. С своей стороны, и тетенька не печалилась; смерть мужа освобождала от обязанности платить ежегодную дань чиновникам.

Похоронили Николая Абрамыча на том же погосте, где был схоронен и столяр Потап. На скромном кресте, который был поставлен над его могилой, было написано:

«Здесь лежит тело раба божия Потапа Матвеева».

Конец тетеньки Анфисы Порфирьевны был трагический. Однажды, когда она укладывалась на ночь спать, любимая ее ключница (это, впрочем, не мешало тетеньке истязать ее наравне с прочими), которая всегда присутствовала при этом обряде, отворила дверь спальни и кликнула:

– Что стали! идите!

По этому клику в спальню ворвалась толпа сенных девушек и в несколько мгновений задушила барыню подушками.

Так как это случилось ночью, то Фомушка ничего не слыхал, а потому и не успел воспользоваться хранившимися в бюро документами.

Затем Овсецово, вместе с благоприобретенною Щучьею-Заводью, досталось по наследству отцу, как единственному представителю рода Затрапезных в мужском колене.

По этому случаю матушка несколько дней выжила в Овсецове, присутствуя при следствии и угождая приказных.

Фомушка хотя и заявил ей о существовании заемных писем, которые покойница будто бы предназначила ему, но матушка совершенно равнодушно ответила:

– А где они? покажи!

И затем указала ему путь на все четыре стороны.

IX. Заболотье

В Заболотье матушка держала себя совсем иначе, нежели в Малиновце. Она заметно себя сдерживала. Не приказывала, не горячилась, а только «рекомендовала», никого не звала презрительными уменьшительными именами (Агашу, несмотря на то, что она была из Малиновца, так и называла Агашей, да еще прибавляла: «милая») и совсем забывала, что на свете существует ручная расправа. Можно было подумать, что она чего-то боится, чувствует, что живет «на людях», и даже как бы сознает, что ей, еще так недавно небогатой дворянке, не совсем по зубам такой большой лакомый кус.

Заболотье было очень обширное село, считавшее не менее полутора тысяч душ, а с деревнями, к нему приписанными, числилось с лишком три тысячи душ мужского пола. Оно принадлежало троим владельцам, из которых матушка и князь Г. владели равными частями (приблизительно по тысяче двести душ каждый), а граф З. – меньшею частью, около шестисот душ (впоследствии матушка, впрочем, скупила эту часть). В селе было до десяти улиц, носивших особые наименования; посредине раскинулась торговая площадь, обставленная торговыми помещениями, но в особенности село гордилось своими двумя

обширными церквами, из которых одна, с пятисотпудовым колоколом, стояла на площади, а другая, осенявшая сельское кладбище, была выстроена несколько поодаль от села. Не меньшую гордость крестьян составляло и несколько каменных домов, выделявшихся по местам из ряда обыкновенных изб, большею частью ветхих и черных. Это были жилища богатеев, которые все село держали в своих руках.

Школы в селе не было, но большинство крестьян было грамотное или, лучше сказать, полуграмотное, так как между крестьянами преобладал трактирный промысел. Умели написать на клочке загаженной бумаги: «силетка адна, чаю порц: адна ище порц.: румка вотки две румки три румки вичина» и т. д. Далее этого местное просвещение не шло.

В старину Заболотье находилось в полном составе в одних руках у князя Г., но по смерти его оно распалось между троими сыновьями. Старшие два взяли по равной части, а младшему уделили половинную часть и вдобавок дали другое имение в дальней губернии.

Наследственные разделы происходили в то время очень своеобразно и без всякой предусмотрительности. Делили не землю и даже не деревни, а дворы.

Сначала шли дворы богатых крестьян, потом средних и, наконец, бедных, хотя бы эти дворы находились в отдалении друг от друга. Случалось, например, что три двора, выстроенные рядом, принадлежали троим владельцам, состояли каждый на своем положении, платили разные оброки, и жильцы их не могли родниться между собой иначе, как с помощью особой процедуры, которая была обязательна для всех вообще разнопоместных крестьян. Правда, что подобные разделы большею частью происходили в оброчных имениях, в которых для помещика было безразлично, как и где устроилась та или другая платежная единица; но случалось, что такая же путаница допускалась и в имениях издельных, в особенности при выделе седьмых и четырнадцатых частей.

Подобному же разделу подверглось и Заболотье. Земельная чересполосица была чрезвычайная, но для матушки было всего важнее то, что она постоянно чувствовала себя стесненною в своих распоряжениях. Всюду ее преследовал соседский глаз и невольно заставлял сдерживаться. Несмотря на свою громадную память, она очень немногих из своих крестьян – преимущественно из богатых – знала в лицо. Так что когда мы в первое время, в свободные часы, гуляли по улицам Заболотья, – надо же было познакомиться с купленным имением, – то за нами обыкновенно следовала толпа мальчишек, и кричала:

«Затрапезные! затрапезные!» – делая таким образом из родовитой дворянской фамилии каламбур. Матушка, конечно, знала, что между этими мальчишками есть и «свои», но ничего не могла поделать. Нередко встречались и взрослые, которые проходили мимо и не ломали шапок. И среди них, быть может, немало «своих», но как их угадать? Словом сказать, уколы для помещичьего самолюбия встречались на каждом шагу, хотя я должен сказать, что матушку не столько огорчали эти уколы, сколько бестолковая земельная чересполосица, которая мешала приняться вплотную за управление.

Торговая площадь не была разделена, и доходы с нее делились пропорционально между совладельцами. Каждый год, с общего согласия, установлялась такса с возов, лавок, трактиров и кабака, причем торговать в улицах и в собственных усадьбах хотя и дозволялось, но под условием особенного и усиленного налога. При этих совещаниях матушке принадлежали две пятых голоса, а остальные три пятых – прочим совладельцам. Очевидно, она всегда оставалась в меньшинстве.

Это волновало ее до чрезвычайности. Почему-то она представляла себе, что торговая площадь, ежели приложить к ней руки, сделается чем-то вроде золотого дна. Попыталась было она выстроить на своей усадебной земле собственный корпус лавок, фасом на площадь, но и тут встретила отпор.

– Этак ты, пожалуй, весь торг к себе в усадьбу переведешь, – грубо говорили ей соседние бурмистры, и хотя она начала по этому поводу дело в суде, но проиграла его, потому что вмешательство князя Г. пересилило ее скромные денежные приношения.

Но этого мало: даже собственные крестьяне некоторое время не допускали ее лично до распоряжений по торговой площади. До перехода в ее владение они точно так же, как и

крестьяне других частей, ежегодно посылали выборных, которые сообща и установляли на весь год площадный обиход. Сохранения этого порядка они домогались и теперь, так что матушке немалых усилий стоило, чтобы одержать победу над крестьянской вольницей и осуществить свое помещичье право.

Во всяком случае, как только осмотрелась матушка в Заболотье, так тотчас же начала дело о размежевании, которое и вел однажды уже упомянутый Петр Дормидонтыч Могильцев. Но увы! – скажу здесь в скобках – ни она, ни наследники ее не увидели окончания этого дела, и только крестьянская реформа положила конец земельной сумятице, соединив крестьян в одну волость, с общим управлением, и дав им возможность устроиться между собою по собственному разумению.

Только в усадьбе матушка была вполне дома. У прочих совладельцев усадеб не было, а в части, ею купленной, оказалась довольно обширная площадь земли особняка (с лишком десять десятин) с домом, большою рощей, пространным палисадником, выходившим на площадь (обок с ним она и проектировала свой гостиный двор). Дом был старый и неудобный, и как ни ухичивала его матушка, все старания ее остались безуспешными. Летом в нем жить еще можно было, но зиму, которую мы однажды провели в Заболотье (см. гл. VII), пришлось очень жутко от холода, так что под конец мы вынуждены были переселиться в контору и там, в двух комнатах, всей семьей теснились в продолжение двух месяцев. Роща была запущена; в ней не существовало ни аллей, ни дорожек, и соседство ее даже было неприятно, потому что верхушки берез были усеяны вороньими и Грачевыми гнездами, и эти птицы с утра до ночи поднимали такой неслыханный гвалт, что совершенно заглушали человеческие голоса. Палисадник был тоже запущен. Быть может, когда-нибудь в нем были устроены клумбы с цветами, о чем свидетельствовали земляные горбы, рассеянные по местам, но на моей памяти в нем росла только трава, и матушка не считала нужным восстановлять прежние затеи.

Вообще усадьба была заброшена, и все показывало, что владельцы наезжали туда лишь на короткое время. Не было ни прислуги, ни дворовых людей, ни птицы, ни скота. С приездом матушки отворялось крыльцо, комнаты кой-как выметались, а как только она садилась в экипаж, в обратный путь, крыльцо опять на ее глазах запиралось на ключ. Случалось даже, в особенности зимой, что матушка и совсем не заглядывала в дом, а останавливалась в конторе, так как вообще была неприхотлива.

Заболотье славилось своими торгами, и каждую неделю по вторникам в нем собирался базар. Зимой базары бывали очень людные, но летом очень часто случалось, что съезжались лишь несколько телег. В старину торговые пункты устанавливались как-то своеобразно, и я теперь даже не могу объяснить, почему, например, Заболотье, стоявшее в стороне от большой дороги и притом в лощине, сделалось значительным торговым местечком.

В околотке существовало семь таких торговых пунктов, по числу дней в неделе, и торговцы ежедневно переезжали из одного в другое. Торговали преимущественно холстами и кожами, но в лавках можно было найти всякий крестьянский товар. В особенности же бойко шел трактирный торг, так что, например, в Заболотье существовало не меньше десяти трактиров.

Я уже упомянул, что в селе считалось достаточное число богатеев – они-то и сообщали селу характер зажиточности и даже щегольства. Некоторые из них делали обороты на десятки тысяч, а иные даже имели лавки в Москве.

Но большинство крестьян было бедное, существовало впроголодь, ютилось в ветхих, еле живых клетушках и всецело находилось под пятой у богатеев.

Однако ж, даже самая, что называется, гольтепа вытягивалась в струну, чтобы форснуть, и пуще глаза хранила синие кафтаны для мужчин и штофные телогреи для женщин. В праздник трудно было даже отличить богатого от бедного.

Главным занятием сельчан был трактирный промысел. Большинство молодых людей почти с отроческих лет покидало родной кров и нанималось в услужение по трактирам в городах и преимущественно в Москве.

Нередко случалось мне впоследствии: зайдешь в какой-нибудь из московских трактиров и непременно услышишь:

– Никанор Васильич! с приездом-с! пожалуйте ручку!

Оказывалось, что это говорил заболотский крестьянин, видевший меня еще ребенком и каким-то родом спознавший и теперь.

В побывку домой приходили отчасти летом в сенокос, отчасти в рождественский мясоед, когда играются свадьбы. Дома оставались только старики и женский пол. Трактирная сутолока изнуряла и развращала молодых людей. Редко можно было встретить между ними красивых и сильных; большинство было испитое, слабосильное, худосочное. В особенности поражали испорченные зубы («от чаев, да от сахаров, да от трубочек!» – говорили старики), так что это нередко даже служило препятствием при отправлении рекрутской повинности. Но промысел установился так прочно, что поправить дело не было возможности. Иначе остановились бы оброки.

То же самое происходило и в деревнях, но в меньших размерах. Все-таки там молодежь была посерее и посолиднее и не уходила поголовно вразброд, а старики даже любили землю; кроме своей, кортомили у сельчан их земельные участки и усердно работали. Там и народ был рослее, не так тщедушен. Но деревни были у села в загоне; в площадных доходах, например, не принимали участия; деревенские крестьяне почти никогда не выбирались в вотчинные должности и даже в церкви по праздникам стояли позади, оттесняемые щеголеватым сельским людом.

Зато сельские женщины в большинстве были красивы. Свободные от тяжелых крестьянских работ, дебелые, рослые, они скорее напоминали собой городских мещанок, нежели сельских обывательниц. Лица их, впрочем, значительно портило употребление белил и румян, а так же совсем черные зубы, в подражание городским купчихам, у которых в то время была такая мода. О целомудрии заболотских женщин ходили неодобрительные слухи, объясняемые, впрочем, постоянным отсутствием мужей и любострастных стариков, тоже проведших молодость среди трактирной сутолоки и потому не особенно щекотливых в нравственном смысле. Нередко между отцами и сыновьями доходило до громких ссор, кончавшихся, однако ж, всегда одинаково: молодого человека призывали в вотчинную контору и в присутствии отца стегали.

Праздники происходили в Заболотье особенно нарядно. С первым ударом большого колокола в селе начиналось движение и по площади проходили целые вереницы разряженных прихожан по направлению к церкви. Я любил смотреть на это зрелище и всегда подбегал к решетке, отделявшей наш палисадник от площади. Сперва шли старики и вообще мужской пол, в синих праздничных кафтанах; за ними, поодаль, следовали женщины, в малиновых шелковых сарафанах и телогреях. Около них шныряли подростки. В церкви этот люд располагался так: мужской пол занимал правую сторону, женский – левую.

Мальчишки забиралась вперед, а девочек загоняли назад.

Служба по праздникам совершалась с особенным благочинием. Бывало две обедни: ранняя в кладбищенской церкви, поздняя – в сельской, которую крестьяне называли собором. Тут обедня служилась соборне двумя священниками и дьяконом. Ризы и вся

церковная утварь блестели золотом, местные образа сияли в богатых сребро-позлащенных окладах. На правом клиросе пели не особенно стройно, так как туда забирались богатеи, которым нельзя было отказать, но на левом пение не оставляло желать ничего лучшего. Священники поражали своим благообразием и сытостью, что очень редко можно было встретить в церквах, где прихожанами были барщинские крестьяне. Двое из них произносили возгласы жеманно, «по-московски»[15], так что трудно было понять, и это особенно нравилось крестьянам. Дьякон хотя и не был особенно голосист, но, при некоторой натуге, выкрикивал многолетие довольно прилично. Обедня длилась не меньше полутора часа.

Священников было трое, и всё «ученые», кончившие курс в семинариях, не так как в Малиновце, где отец Иван вышел в попы из причетников. Кроме того, было два дьякона и шестеро причетников. Всему причту была отведена под усадьбы, возле церкви, особая слобода, которая так и называлась «Поповское». Жили они чисто и зажиточно, никакой земледельческой работой лично не занимались; некоторые держали работников, а большинство отдавало свои земельные участки в кортому крестьянам. Доход с прихожан вполне обеспечивал их; к тому же у церкви был и довольно значительный капитал, проценты с которого тоже делились между священно-церковнослужителями.

Этого было настолько достаточно, что пособия от казны заболотскому причту не полагалось, как, например, малиновецкому.

Тем не менее попы часто между собой сварились и завидовали друг другу, так как приходы никак нельзя было поделить с математическою точностью.

Обыкновенно и тут следовали той же методе, какая существовала при разделе имений вообще. Делили сначала богатые дворы, потом средние и, наконец, бедные, распространяя этот порядок не только на село, но и на деревни, так что во всякой деревне у каждого попа были свои прихожане. А так как деревни были по большей части мелкие, то иногда приходилось из-за одного или двоих прихожан идти пешком за семь или более верст. Несмотря, однако ж, на все старания поравнять приходы, случалось, что один богатей давал за славление четвертак, а соответствующий, в приходе другого попа, за то же самое давал двугривенный. Вот это-то и служило яблоком раздора.

Вообще я должен сказать, что алчность между заболотским церковным людом, несмотря на относительную обеспеченность, была развита гораздо сильнее, нежели в Малиновце. Причетники, впрочем, и в Заболотье были довольно бедны и постоянно подозревали попов в утайке общих доходов, особливо во время славления. Плату, например, за свадьбу нельзя было утаить, потому что размер ее уславливался зараньше и гласно; но при славлении монету клали в руку священнику, который и опускал ее прямо в карман. Это мучительно терзало причетнические сердца. Поп мог отлучиться на минуту и переложить деньги в сапог – мало ли на какие хитрости можно подняться! Однажды был такой случай, что, выйдя из деревни, причетники и дьякон, давно подозревавшие попа в утайках, прямо потребовали, чтобы последний выворотил карманы. И когда в карманах, по их мнению, оказалось маловато, то они, не много задумываясь, повалили попа на землю, сняли с него сапоги и произвели тщательный обыск. К сожалению, они оказались правы и в наказание отняли у священника найденную в сапогах сумму. Разумеется, виноватый не жаловался.

---

15 Как на пример подобного жеманного произношения, укажу на проповедь Иоанна Златоустого, читаемую в светлую заутреню. Слова: «где твоя, аде, победа?» произносились так: «ихте твоя, атте, попетта»… И непременно нараспев. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

С точки зрения местоположения, Заболотье не представляло ничего замечательного. Расположенное в низине, оно при продолжительном ненастье превращалось в болото, и улицы его принимали вид канав, переполненных грязью. Только на выезде местность повышалась и пересекалась глубоким оврагом, который был разделен на мелкие клочки и эксплуатировался под огороды. В огородах этих, впрочем, ничего не сажалось, кроме капустной рассады, которая, по-видимому, славилась в околотке, так как для покупки ее в Заболотье приезжали издалека. Доход с огородов, как в других местах доход с полосы, засеянной льном, предоставляли крестьянским девушкам, которые, с помощью этих денег справляли свои наряды.

На меня лично Заболотье производило неприятное и даже гнетущее впечатление. Я привык к людной, полной чаше, какую представлял собою Малиновец. Меня занимали и хозяйственные работы, и беспрестанное мелькание людей около застольной, конюшен и скотного двора. Всякий уголок в саду был мне знаком, что-нибудь напоминал; не только всякого дворового я знал в лицо, но и всякого мужика. Я любил говорить, расспрашивать. Крепостное право, тяжелое и грубое в своих формах, сближало меня с подневольною массой. Это может показаться странным, но я и теперь еще сознаю, что крепостное право играло громадную роль в моей жизни и что, только пережив все его фазисы, я мог прийти к полному, сознательному и страстному отрицанию его.

Заболотье, напротив, представлялось в моих глазах чем-то вроде скучной пустыни, в которой и пищи для детской любознательности нельзя было отыскать.

В будни и небазарные дни село словно замирало; люди скрывались по домам, – только изредка проходил кто-нибудь мимо палисадника в контору по делу, да на противоположном крае площади, в какой-нибудь из редких открытых лавок, можно было видеть сидельцев, играющих в шашки. День проходил в несносной праздности, которая под конец переходила даже в утомление. К несчастию, и с Агашей я редко мог перемолвить слово, потому что она постоянно обязана была сидеть возле матушкиной комнаты и ожидать приказаний. Очень часто заходил к ней и я, но не смел говорить громко, чтоб не помешать матушке.

Скажу больше: даже в зрелых летах, изредка наезжая в Заболотье, я не мог свыкнуться с его бесхозяйственною жизнью.

Вот все, что я имел сказать о Заболотье. Если написанная картина вышла суха и недостаточно образна, – прошу извинить. Мне кажется, впрочем, что все-таки она не будет лишнею для возможно полной характеристики «пошехонской старины».

Итак, матушка чувствовала как бы инстинктивную потребность сдерживать себя в новокупленном гнезде более, нежели в Малиновце. Но заболотское дело настолько было ей по душе, что она смотрела тут и веселее и бодрее.

Обычным ее собеседником был приказный местного уездного суда, Петр Дормидонтович Могильцев.

Еще накануне приезда матушки за ним посылали в город пароконную подводу, которая на другой день и привозила его. Могильцев был сын дьячка и родился в селе, отстоявшем от Заболотья в семи верстах. Приход был настолько бедный, что отец не в состоянии был содержать сына в семинарии; поэтому Петр, еще мальчиком, прямо из уездного училища определился в уездный суд писцом. Четырнадцать лет он тянул лямку, прежде нежели стяжал вожделенный чин коллежского регистратора, но и после того продолжал числиться тем же писцом, питая лишь смутную надежду на должность

столоначальника, хотя, с точки зрения кляузы, способности его не оставляли желать ничего лучшего. В описываемое время ему было уже под тридцать, но он не унывал, сказав себе заранее, что министром ему не бывать. Службой в суде он дорожил не ради получаемого нищенского жалованья, а ради того, что она давала ему известное общественное положение и ставила его в сношения с клиентами. Главный источник жизненных средств он почерпал не на службе, а в частных занятиях, которые сыпались на него со всех сторон. Все помещики, не только своего уезда, но и соседних, знали его как затейливого борзописца и доверяли ему ходатайство по делам, так что квартира его представляла собой нечто вроде канцелярии, в которой, под его эгидою, работало двое писцов.

В Заболотье он, еще до появления матушки, имел постоянные дела. И вотчинные власти, и богатые крестьяне обращались к нему за советом в своих затруднениях, хотя знали, что совесть у него и направо и налево глядит и что он готов одновременно служить и вашим и нашим. Он очень часто наезжал в Заболотье и все его закоулки знал, как свои пять пальцев. Знал положение каждого сколько-нибудь незаурядного крестьянина, а о земельной неурядице, опутывавшей совладельцев, имел гораздо более ясное представление, нежели сами владельцы и их вотчинные поверенные.

Вообще это был необыкновенно деятельный и увертливый человек, проникший в самую глубь кляузы, ни в чем не сомневавшийся и никакого вопроса не оставлявший без немедленного ответа. Спросит, бывало, матушка:

– Ты мне скажи, как по закону…

– По закону так-то и так-то.

– Да и они ведь (то есть противная сторона) то же самое «по закону» говорят, только по-ихнему выходит, что закон-то не на нашей стороне.

– А в таком случае можно и другой закон подвести. Один закон не подходит, – другой подойдет. В «Полном Собрании» можно порыться, сенатский указ подыскать. Да вы, сударыня, не беспокойтесь, предоставьте мне.

Матушка задумывалась. Долго она не могла привыкнуть к этим быстрым и внезапным ответам, но наконец убедилась, что ежели существуют разные законы, да вдобавок к ним еще сенатские указы издаются, то, стало быть, это-то и составляет суть тяжебного процесса. Кто кого «перепишет», у кого больше законов найдется, тот и прав.

– Ну, положим, – говорила она, – найдешь ты другой закон, а они тебе третий встречу отыщут.

– И на третий закон можно объясненьице написать или и так устроить, что прошенье с третьим-то законом с надписью возвратят. Был бы царь в голове, да перо, да чернила, а прочее само собой придет. Главное дело, торопиться не надо, а вести дело потихоньку, чтобы только сроки не пропускать. Увидит противник, что дело тянется без конца, а со временем, пожалуй, и самому дороже будет стоить – ну, и спутается. Тогда из него хоть веревки вей. Либо срок пропустит, либо на сделку пойдет.

Словом сказать, Могильцев не ходил за словом в карман, и матушке, с течением времени, это даже понравилось. Но старик бурмистр, Герасим Терентьич, почти всегда присутствовавший при этих совещаниях, никак не мог примириться с изворотами Могильцева и очень нередко в заключение говорил:

– Ну, уж и душа у тебя, Дормидонтыч!.. подлинно можно сказать: расколота надвое!

Но Могильцев только хихикал в ответ.

Тем не менее матушка зорко следила за каждым его шагом, потому что репутация «перемётной сумы» утвердилась за ним едва ли даже не прочнее, нежели репутация искусного дельца.

Поэтому мне не раз случалось слышать, как матушка, едва ставши с постели, уже спрашивала Агашу:

– Сутяга встал?

– Давно уж. В конторе сидит.

– Никуда не ходил?

– Кажется, никуда…

– Кажется! тебе все «кажется»! Нет чтобы посмотреть! Поди в контору, спроси, не видал ли кто?

Увы! отдавая свой приказ, матушка с болью сознавала, что если в Заболотье и можно было соследить за Могильцевым, то в городе руки у него были совершенно развязаны.

Я не следил, конечно, за сущностью этих дел, да и впоследствии узнал об них только то, что большая часть была ведена бесплодно и стоила матушке не малых расходов. Впрочем, сущность эта и не нужна здесь, потому что я упоминаю о делах только потому, что они определяли характер дня, который мы проводили в Заболотье. Расскажу этот день по порядку.

Матушка, как и всегда, вставала рано, но делала свой туалет несколько тщательнее, нежели в Малиновце. Хозяйственных распоряжений никаких не предстояло, даже обед созидался как-то само собой. Обыкновенно перед приездом господ отыскивали в одном из трактиров немудрящего повара или даже приехавшего в побывку трактирного полового и брали в усадьбу на время пребывания барыни. Затем, без ведома матушки, являлась и провизия, как я узнал после, задаром приобретаемая на счет лавочников. Матушка не была в этом отношении спесива и не допытывалась, откуда и на какие средства появлялся на столе обед.

Кстати здесь сказать об одном обычае, державшемся в Заболотье довольно долго. А именно: на другой день после приезда матушке докладывали, что пришли мужички на поклон. Когда она выходила в зал, то там уж стояла толпа человек в пятнадцать, из которых каждый держал в руках кулек. Это были гостинцы, которыми ей били челом заболотские торговцы. Гостинцы состояли из пряников и орехов всевозможных сортов, изюма, чернослива, стручков и крестьянских конфект. Но впереди непременно фигурировал громадный, к сожалению, худо пропеченный, пряник, с вытисненными на верхней корке коньками, человечками и проч., украшенными сусальным золотом.

Матушка садилась в кресло и милостиво говорила:

– Напрасно трудились. Куда мне такой ворох!

– Помилуйте, сударыня, нам это за радость! Сами не скушаете, деточкам свезете! – отвечали мужички и один за другим клали гостинцы на круглый обеденный стол. Затем перекидывались еще несколькими словами; матушка осведомлялась, как идут торги; торговцы жаловались на худые времена и уверяли, что в старину торговали не в пример лучше. Иногда кто-нибудь посмелее прибавлял:

– Вот, сударыня, кабы вы остальные части купили, дело-то пошло бы у нас по-хорошему. И площадь в настоящий вид бы пришла, и гостиный двор настоящий бы выстроили! А то какой в наших лавчонках торг… только маета одна!

– Именно только маета! – поддерживали хором и прочие.

Матушке очень нравились такие разговоры, и она, быть может, серьезно в это время думала:

«Вот оно! И все добрые так говорят! все ко мне льнут! Может, и графские мужички по секрету загадывают: «Ах, хорошо, кабы Анна Павловна нас купила! все бы у нас пошло тогда по-хорошему!» Ну, нет, дружки, погодите! дайте Анне Павловне прежде с силами собраться! Вот ежели соберется она с силами…»

Через четверть часа прием кончался; матушка давала мне по горсточке орехов и пряников и спешила за работу.

Но продолжаю рассказ матушкина дня.

Работала она в спальне, которая была устроена совершенно так же, как и в Малиновце. Около осьми часов утра в спальню подавался чай, и матушка принимала вотчинных начальников: бурмистра и земского, человека грамотного, служившего в конторе писарем. Последнюю должность обыкновенно занимал один из причетников, нанимавшийся на общественный счет. Впрочем, и бурмистру жалованье уплачивалось от общества, так что на матушку никаких расходов по управлению не падало.

Старого бурмистра матушка очень любила: по мнению ее, это был единственный в Заболотье человек, на совесть которого можно было вполне положиться. Называла она его не иначе как «Герасимушкой», никогда не заставляла стоять перед собой и пила вместе с ним чай. Действительно, это был честный и бравый старик. В то время ему было уже за шестьдесят лет, и матушка не шутя боялась, что вот-вот он умрет.

– Что я тогда? Куда без него поспела? – загодя печаловалась она, – я здесь без него как в дремучем лесу. Хоть бы десять годков еще послужил!

Я как сейчас его перед собой вижу. Высокий, прямой, с опрокинутой назад головой, в старой поярковой шляпе грешневиком, с клюкою в руках, выступает он, бывало, твердой и сановитой походкой, из ворот, выходивших на площадь, по направлению к конторе, и вся его фигура сияет честностью и сразу внушает доверие. Встретившись со мной, он возьмет меня за руку и спросит ласково:

– Что, грачи-то наши, видно, надоели? Ничего, поживи у нас, присматривайся. Может, мамынька Заболотье-то под твою державу отдаст – вот и хорошо будет, как в знакомом месте придется жить. Тогда, небось, и грачи любы будут.

С матушкой он тоже обходился по душе, без церемоний.

– Слушайся меня, сударыня, пока жив! – говорил он ей, – умру; так и захотелось бы с Гарасимом посоветоваться – ан, его нет!

– Я и то слушаюсь, – шутя отвечала матушка.

– То-то; я дурного не посоветую. Вот в Поздеевой пустоши клочок-то, об котором намеднись я говорил, – в старину он наш был, а теперь им графские крестьяне уж десять лет владеют. А земля там хорошая, трава во какая растет!

– Что же вы зевали, в свое время не жаловались?

– Кому жаловаться и кто бы за нас заступился? А нынче, слышь ты, уж и давность прошла. Ты правды ищешь, а они тебе: нельзя, давность прошла – это на правду-то!

– Ну, погоди, погоди! Может быть, и оттягаем!

– Дай-то бог! Пошли тебе царица небесная!.. И т. д. и т. д.

Разговоры подобного рода возобновлялись часто и по поводу не одной Поздеевки, но всегда келейно, чтобы не вынести из избы сору и не обнаружить матушкиных замыслов. Но нельзя было их скрыть от Могильцева, без которого никакое дело не могло обойтись, и потому нередко противная сторона довольно подробно узнавала о планах и предположениях матушки.

Обыкновенно доклад вотчинных властей был непродолжителен и преимущественно состоял в приеме оброчной суммы, которая в Заболотье собиралась круглый год и по мелочам. Матушка щелкала счетами, справлялась в окладной книге и отмечала поступление. Затем подбирала синие ассигнации к синим, красные к красным и, отослав земского, запирала сумму в денежный ящик, который переезжал вместе с нею из именья в именье.

Часов с десяти стол устилался планами генерального межевания, и начиналось настоящее дело. В совещаниях главную роль играл Могильцев, но и Гарасимушка почти всегда при них присутствовал. Двери в спальню затворялись плотно, и в соседней комнате

слышался только глухой гул… Меня матушка отсылала гулять.

– Ступай, голубчик, погуляй! – говорила она ласково, – по палисадничку поброди, по рощице. Если увидишь баб-грибниц – гони!

Это было самое скучное для меня время. Книг мы с собой не брали; в контору ходить я не решался; конюшни и каретный сарай запирались на замок, и кучер Алемпий, пользуясь полной свободой, либо благодушествовал в трактире, где его даром поили чаем, либо присутствовал в конторе при судбищах. Единственный лакей, которого мы брали из Малиновца, был по горло занят и беспрерывно шмыгал, с посудой, ножами и проч., из кухни в дом и обратно. Я бродил без цели и под конец начинал чувствовать голод, потому что и здесь, как в Малиновце, до обеда есть не давали. В Малиновце я тайком забрался бы в кухню или на погреб и там чем-нибудь раздобылся бы; но здешний повар был мне незнаком, и просить было совестно. Одним слогом, праздность одолевала меня и располагала к нездоровым мечтам. Единственное развлечение состояло в том, что иногда попадался в траве упавший из гнезда вороненок, и я гонялся за ним, но боялся взять в руки: неравно ущипнет. Боялся я тоже лягушек, которых в роще было множество, и притом крупные: а что ежели она прыгнет да в лицо вопьется! Вообще мы были воспитаны в таком отчуждении от всего живого, что всяких пустяков боялись. Эта боязнь осталась за мной и в зрелом возрасте; мышь, лягушка, ящерица и до сих пор одним своим видом производят на мои нервы довольно сильное раздражение.

Наконец, до слуха моего доходило, что меня кличут. Матушка выходила к обеду к двум часам. Обед подавался из свежей провизии, но, изготовленный неумелыми руками, очень неаппетитно. Начатый прежде разговор продолжался и за обедом, но я, конечно, участия в нем не принимал. Иногда матушка была весела, и это означало, что Могильцев ухитрился придумать какую-нибудь «штучку».

– Вот-то глаза вытаращит! – говорила она оживленно, – да постой! и у меня в голове штучка в том же роде вертится; только надо ее обдумать. Ужо, может быть, и расскажу.

– Случается, сударыня, такую бумажку напишешь, что и к делу она совсем не подходит, – смотришь, ан польза! – хвалился, с своей стороны, Могильцев. – Ведь противник-то как в лесу бродит. Читает и думает: «Это недаром! наверное, он куда-нибудь далеко крючок закинул». – И начнет паутину кругом себя путать. Путает-путает, да в собственной путанице и застрянет. А мы в это время и еще загадку ему загадаем.

– Бесподобно!

Но бывало, что матушка садилась за стол недовольная. Очевидно, Могильцев на чем-нибудь не согласился с нею, или она, с свойственной ей мнительностью, заподозрела его. Тогда обед проходил молча. Напрасно Могильцев уверял:

– Да будьте без сомнения, доверьтесь мне, сударыня! сами после увидите…

– Я и теперь вижу, – резко возражала матушка, – вижу я, что ты богослов, да не однослов… А ты что фордыбачишь! – придиралась она и ко мне, – что надулся, не ешь! Здесь, голубчик, суфлеев да кремов не полагается. Ешь, что дают, а не то и из-за стола прогоню.

Затем все молчали, и обед живо приходил к концу.

После обеда матушка удалялась в спальню, а Могильцев – в свою комнату, и в доме наступало сонное царство. Агаша продолжала сидеть на низенькой скамеечке у дверей матушкиной комнаты и тоже дремала. Я, по-прежнему, оставался один и решительно не знал, что с собой делать. «Чем лучше быть: генералом или архиереем?» – мелькало у меня в голове; но вопрос этот уже бесчисленное множество раз разрешался мною то в том, то в другом смысле, а потом и он перестал интересовать. Скука, скука, скука! Во сто раз веселее

вон тем сельским мальчишкам, которые играют в бабки среди опустелой площади, не зная, что значит на свете одиночество…

Понятно, с каким нетерпением я отсчитывал интервалы (обед, вечерний чай, ужин), которые отделяли утро от ночи.

Вечер снова посвящался делам. Около вечернего чая являлся повар за приказаниями насчет завтрашнего обеда. Но матушка, зная, что в Заболотье она, в кулинарном отношении, зависит от случайности, неизменно давала один и тот же ответ:

– Что мне приказывать, голубчик! Чем бог пошлет, тем и покормишь! Будем сыты – слава богу!

– Говядинки сегодня не достали, так не угодно ли щи с солониной приказать. Солонина хорошая.

– Ну, щец с солониной свари.

– А на жареное – молодых тетеревей принесли…

– Ну, вот и будет с нас. Щец похлебаем, жарковца поедим. И сытехоньки.

Замечательно, что хотя Уголок (бывшая усадьба тетенек-сестриц) находился всего в пяти верстах от Заболотья и там домашнее хозяйство шло своим чередом, но матушка никогда не посылала туда за провизией, под тем предлогом, что разновременными требованиями она может произвести путаницу в отчетности. Поэтому зерно и молочные скопы продавались на месте прасолам, а живность зимой полностью перевозилась в Малиновец.

Довольно часто по вечерам матушку приглашали богатые крестьяне чайку испить, заедочков покушать. В этих случаях я был ее неизменным спутником.

Матушка, так сказать, по природе льнула к капиталу и потому была очень ласкова с заболотскими богатеями. Некоторым она даже давала деньги для оборотов, конечно, за высокие проценты. С течением времени, когда она окончательно оперилась, это составило тоже значительную статью дохода.

Церемониал приема в крестьянских домах был очень сложен.

Встречали матушку всем домом у ворот (при первом посещении хозяин стоял впереди с хлебом-солью); затем пропускали ее вперед и усаживали под образа. Но из хозяев никто, даже старики, не садились, как ни настаивала матушка.

– Не купленные ноги-то – и постоим! – слышалось в ответ.

Комната, в которой нас принимали, была, конечно, самая просторная в доме; ее заранее мыли и чистили и перед образами затепляли лампады. Стол, накрытый пестрою ярославскою скатертью, был уставлен тарелками с заедочками. Так назывались лавочные лакомства, о которых я говорил выше. Затем подавалось белое вино в рюмках, иногда даже водка, и чай. Беспрестанно слышалось:

– Не обессудьте!

– Не обидьте!

– Приневольтесь!

Разговор шел деловой: о торгах, о подрядах, о ценах на товары.

Некоторые из крестьян поставляли в казну полотна, кожи, солдатское сукно и проч. и рассказывали, на какие нужно подниматься фортели, чтоб подряд исправно сошел с рук. Время проходило довольно оживленно, только душно в комнате было, потому что вся семья хозяйская считала долгом присутствовать при приеме. Даже на улице скоплялась перед окнами значительная толпа любопытных.

К десяти часам мы уже были дома, и я ложился спать, утомленный, почти расслабленный.

Так длилось три-четыре дня (матушка редко приезжала на более продолжительный срок); наконец, после раннего обеда, к крыльцу подъезжала пароконная телега, в которую усаживали Могильцева, а на другой день, с рассветом, покидали Заболотье и мы, – Что, нравится тебе в Заболотье? весело? – спрашивала меня матушка. – Ах, маменька! –

восклицал я в ответ, стараясь изобразить на лице восхищение[16].

X. Тетенька Сластена

Так звали тетеньку Раису Порфирьевну Ахлопину за ее гостеприимство и любовь к лакомому куску. Жила она от нас далеко, в Р., с лишком в полутораста вёрстах, вследствие чего мы очень редко видались. Старушка, однако ж, не забывала нас и ко дню ангелов и рождений аккуратно присылала братцу и сестрице поздравительные письма. Разумеется, ей отвечали тем же.

Раичку выдали замуж очень рано, невступно шестнадцати лет, за Р-ского городничего. Девушка она была смирная, добрая, покорная и довольно красивая, но, еще будучи отроковицей, уже любила покушать. Суженому ее стукнуло уже под пятьдесят лет, и вместо правой ноги, которую оторвало ядром в походе под турка, он ходил на деревяшке, действуя ею, впрочем, очень проворно. За всем тем, партия эта считалась завидною, благодаря служебному положению майора. Р. был большой торговый город на судоходной реке, которая летом загромождалась барками, обыкновенно остававшимися там и на зимовку. Много было в Р. значительных капиталистов, достаточное количество раскольников, а главное, вместе с судами приходила целая громада рабочего люда с паспортами и без паспортов. Словом сказать, круглый год в городе царствовала та хлопотливая неурядица, около которой можно было греть руки, зная наперед, что тут черт ногу сломит, прежде чем до чего-нибудь доищется.

По-видимому, этой сладкой уверенностью согревалось и майорское сердце.

С утра до вечера, зимой и летом, Петр Спиридоныч ковылял, постукивая деревяшкой, по базару, гостиному двору, набережной, заходил к толстосумам, искал, нюхал и, конечно, доискивался и донюхивался. Лет через десять деятельного городничества, когда он задумал жениться на Раичке, у него был уже очень хороший капитал, хотя по службе он не слыл притязательным. Ласков он был и брал не зря, а за дело. Купцы дарили его даже «за любовь», за то, что он крестил у них детей, за то, что он не забывал именин, а часто и запросто заходил чаю откушать. Каждомесячно посылали ему «положение» (не за страх, а за совесть), и ежели встречалась нужда, то за нее дарили особо. Но не по условию, а столько, сколько бог на душу положит, чтоб не обидно было.

И он никогда не имел повода обижаться и даже убедился, что ласка действует гораздо сильнее, нежели грубое вымогательство. Только с рабочим людом он обходился несколько проще, ну, да ведь на то он и рабочий люд, чтобы с ним недолго «разговаривать». – Есть пачпорт? – вот тебе такса, вынимай четвертак! – Нет пачпорта – плати целковый-рубль, а не то и острог недалеко! – И опять-таки без вымогательства, а «по правилу».

---

16 Кстати, приведу здесь любопытный факт, которому не нашлось места в рассказе. В числе крестьян Заболотской вотчины, перешедших в собственность матушки, был один, по фамилии Бодрецов, которого называли «барином». Действительно, у него было собственных пятьдесят душ крестьян, купленных на имя прежнего владельца. Помещик не вмешивался в его управление, несмотря на то, что на «барина» постоянно приходили жалобы. На жалобах этих помещик писал: «Сии крестьяне суть собственность Бодрецова, а собственность для меня священна». Когда имение было куплено матушкой, она с крестьянами Бодрецова поступила на законном основании, то есть осуществила свое помещичье право на них de facto. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

Лет через двадцать после женитьбы он умер, оплакиваемый гражданами, оставив жене значительный капитал (под конец его считали в четырехстах тысячах ассигнациями) и дочку пяти лет. Раиса Порфирьевна за ничтожную сумму купила на выгоне десятин десять земли, возле самой городской черты, и устроилась там. Выстроила просторный дом, развела огород и фруктовый сад, наполнила холостые постройки домашним скотом и всякой птицей и зажила, как в деревне. Усадьба была почти идеальная, потому что соединяла сельские удобства с городскими. Базар под руками, церквей не перечесть, знакомых сколько угодно, а когда Леночка начала подрастать, то и в учителях недостатка не было.

Откормив Леночку в меру пышной русской красавицы, она берегла ее дома до осьмнадцати лет и тогда только решила выдать замуж за поручика Красавина, человека смирного и тоже достаточного. Но молодых от себя не отпустила, а поселила вместе с собой. Всем было там хорошо; всякая комната имела свой аппетитный характер и внушала аппетитные мысли, так что не только домашние с утра до вечера кушали, лакомились и добрели, но и всякий пришлый человек чувствовал себя расположенным хоть чего-нибудь да отведать.

Прислуга собралась веселая, бойкая, какая бывает только у действительно добрых господ. В передней то и дело раздавался звонок и слышались голоса:

– Дома?

– Пожалуйте! только что кушать сели.

Входил гость, за ним прибывал другой, и никогда не случалось, чтобы кому-нибудь чего-нибудь недостало. Всего было вдоволь: индейка так индейка, гусь так гусь. Кушайте на здоровье, а ежели мало, так и цыпленочка можно велеть зажарить. В четверть часа готов будет. Не то что в Малиновце, где один гусиный полоток на всю семью мелкими кусочками изрежут, да еще норовят, как бы и на другой день осталось.

Но через год случилось несчастье. Леночка умерла родами, оставив на руках пятидесятилетней матери новорожденную дочь Сашеньку. А недолго спустя после смерти жены скончался и поручик Красавин.

Это было великое горе, и тетенька долгое время не осушала глаз.

Вспомнилось, что ей уж пятьдесят лет, что скоро наступит старость, а может быть, и смерть – на кого она оставит Сашеньку? Правда, что она до сих пор не знала ни малейшей хворости, но ведь бог в смерти и животе волен.

Здорова, здорова – и вдруг больна. Шея-то у нее вон какая короткая, долго ли до греха! Списывалась было она с сестрицей Ольгой Порфирьевной, приглашала к себе на житье, но, во-первых, Ольга Порфирьевна была еще старше ее, во-вторых, она в то время хозяйствовала в Малиновце и, главное, никак не соглашалась оставить сестрицу Машу. А жить с Марьей Порфирьевной тетенька не желала, зная ее проказливость и чудачества, благодаря которым ее благоустроенный дом мог бы в один месяц перевернуться вверх дном. Других сестер Раиса Порфирьевна тоже не жаловала, да и разбрелись они по дальним губерниям, так что и не отыщешь, пожалуй. Что же касается до мужниной родни, то ее хоть и много было, но покойный майор никогда не жил с нею в ладах и даже, умирая, предостерегал от нее жену.

– Смотри, после моей смерти братцы, пожалуй, наедут, – говорил он, – услуги предлагать будут, так ты их от себя гони!

Наконец, тяжелое горе отошло-таки на задний план, и тетенька всею силою старческой нежности привязалась к Сашеньке. Лелеяла ее, холила, запрещала прислуге ходить мимо ее комнаты, когда она спала, и исподволь подкармливала. Главною ее мечтой, об осуществлении которой она ежедневно молилась, было дожить до того времени, когда Сашеньке минет шестнадцать лет.

– Выдам ее за хорошего человека замуж и умру, – говорила она себе, но втайне прибавляла, – а может быть, бог пошлет, и поживу еще с ними.

С своей стороны, и Сашенька отвечала бабушке такой же горячей привязанностью. И старая и малая не надышались друг на друга, так что бабушка, по делам оставшегося от

покойного зятя имения, даже советовалась с внучкой, и когда ей замечали, что Сашенька еще мала, не смыслит, то старушка уверенно отвечала:

– Она-то не смыслит! да вы ее о чем угодно спросите, она на все ответ даст! И обед заказать, и по саду распорядиться… вот она у меня какова!

Одним словом, это был один из тех редких домов, где всем жилось привольно: и господам, и прислуге. Все любили друг друга и в особенности лелеяли Сашеньку, признавая ее хозяйкой, не только наравне с бабушкой, но даже, пожалуй, повыше. И чем дольше жили, тем жизнь становилась приятнее.

Гнездо окончательно устроилось, сад разросся и был преисполнен всякою сластью, коровы давали молока не в пример прочим, даже четыре овцы, которых бабушка завела в угоду внучке, ягнились два раза в год и приносили не по одному, а по два ягненка зараз.

– Вот и день сошел! да еще как сошел-то – и не заметили! Тихо, мирно! – говаривала бабушка, отпуская внучку спать. – Молись, Сашенька, проси милости, чтобы и завтрашний день был такой же!

Именно только повторение одного и того же дня и требовалось.

Я уже сказал выше, что наше семейство почти совсем не виделось с Ахлопиными. Но однажды, когда я приехал в Малиновец на каникулы из Москвы, где я только что начал ученье, матушка вспомнила, что 28-го июня предстоят именины Раисы Порфирьевны. Самой ехать в Р. ей было недосужно, поэтому она решилась послать кого-нибудь из детей. К счастью, выбор пал на меня.

Ехал я на своих, целых два дня с половиной, один без прислуги, только в сопровождении кучера Алемпия. Останавливались через каждые тридцать верст в деревенских избах, потому что с проселка на столбовой тракт выезжали только верст за сорок от Р. Наконец за два дня до семейного праздника достигли мы цели путешествия. Был уже седьмой час вечера, когда наша бричка, миновав пыльный город, остановилась перед крыльцом ахлопинского дома, но солнце еще стояло довольно высоко. Дом был одноэтажный, с мезонином, один из тех форменных домов, которые сплошь и рядом встречались в помещичьих усадьбах; разница заключалась только в том, что помещичьи дома были большею частью некрашеные, почернелые от старости и недостатка ремонта, а тут даже снаружи все глядело светло и чисто, точно сейчас ремонтированное. С одной стороны дома расположены были хозяйственные постройки; с другой, из-за выкрашенного тына, выглядывал сад, кругом обсаженный липами, которые начинали уже зацветать. В воздухе чувствовался наступающий вечер с его прохладой; липа далеко распространяла сладкое благоухание. Меня сразу обняло чувство отрады и покоя, особливо после продолжительного пути и душного города, который только что обдал нас вонью и пылью.

Нас встретила молодая горничная, никогда меня не видавшая, но как будто почуявшая, что я здесь буду желанным гостем.

– Пожалуйте! пожалуйте! – звонко приглашала она, – они в баньку ушли, сейчас воротятся, а потом чай будут кушать. Как об вас доложить?

Я назвал себя.

– Ах ты, господи! Затрапезные! А барыня точно чуяли. Еще давеча утром только и говорили: «Вот кабы братец Василий Порфирьич вспомнил!» Пожалуйте! пожалуйте! Сейчас придут! сейчас!

Она живо скрылась, сдав меня на руки старику слуге, который, узнав, что приехал молодой Затрапезный, тоже чему-то обрадовался и заспешил.

– Пожалуйте, пожалуйте, – говорил он, – тетенька еще давеча словно чуяли: «Вот, мол, кабы братец Василий Порфирьич обо дне ангела моего вспомнил!»

Он провел меня через длинную, в четыре окна, залу в гостиную и затем в небольшую столовую, где другая горничная накрывала стол для чая и тоже обрадовалась и подтвердила, что сердце тетеньки «чуяло».

Не прошло и десяти минут, как я уже стоял лицом к лицу с тетенькой и кузиной.

Тетенька, толстенькая, небольшого роста старушка, еще бодро несла свой седьмой

десяток лет. Лицо ее, круглое, пухлое, с щеками, покрытыми старческим румянцем, лоснилось после бани; глаза порядочно-таки заплыли, но еще живо светились в своих щелочках; губы, сочные и розовые, улыбались, на подбородке играла ямочка, зубы были все целы. На голове ее был белый старушечий чепчик, несколько влажный после мытья; на плечах свободно висел темненький шерстяной капот, без всякого намека на талию. Была ли она когда-нибудь красива – этого нельзя было угадать, но, во всяком случае, и теперь смотреть на нее было очень приятно.

Сашенька была в полном смысле двенадцатилетняя русская красотка. Коли хотите, она напоминала собой бабушку, но так, как напоминает развертывающаяся розовая распуколка свою соседку, облетающую розу. Белое, с чуть-чуть заметною желтизною, как у густых сливок, лицо, румянец во всю щеку, алые губы, ямочка посреди подбородка, большие черные глаза, густая прядь черных волос на голове – все обещало, что в недалеком будущем она развернется в настоящую красавицу. Как и у бабушки, на голове ее был чепчик, несколько, впрочем, пофасонистее, а одета она была в такой же темный шерстяной капот без талии.

– Никаша? – угадывала тетенька, пристально вглядываясь в меня.

– Он самый-с.

– Ах, милый! ах, родной! да какой же ты большой! – восклицала она, обнимая меня своими коротенькими руками, – да никак ты уж в ученье, что на тебе мундирчик надет! А вот и Сашенька моя. Ишь ведь старушкой оделась, а все оттого, что уж очень навстречу спешила… Поцелуйтесь, родные! племянница ведь она твоя… Поиграйте вместе, побегайте ужо, дядюшка с племянницей.

Мы поцеловались, и мне показалось даже, что Сашенька сделала книксен.

– Ах, дяденька, мне так давно хотелось познакомиться с вами! – сказала она, – и какой на вас мундирчик славный!

– Как же! дам я ему у тетки родной в мундире ходить! – подхватила тетенька, – ужо по саду бегать будете, в земле вываляетесь – на что мундирчик похож будет! Вот я тебе кацавейку старую дам, и ходи в ней на здоровье! а в праздник к обедне, коли захочешь, во всем парате в церковь поедешь!

Мне шел тогда двенадцатый год. Это самый несносный возраст в детстве, тот возраст, когда мальчик начинает воображать себя взрослым. Он становится очень чуток ко всякой шутке, будь она самая безобидная; старается говорить басом, щегольнуть, неохотно принимает участие в играх, серьезничает, надувается. Вообще, как говорится, кобенится. Кобенился и я. На этом основании я на последней станции переменил свою куртку на мундир; на этом же основании двукратное упоминовение о мундире – как будто я им хвастаюсь! – и в особенности обещание заменить его кацавейкой задели меня за живое.

– Я своим мундиром горжусь! – ответил я; но, вероятно, выражение моего лица было при этом настолько глупо, что тетенька угадала нанесенную мне обиду и расхохоталась.

– Вздор! вздор, голубчик! – шутила она, – мундирчик твой мы уважаем, а все-таки спрячем, а тебе кацавейку дадим! Бегай в ней, веселись… что надуваться-то! Да вот еще что! не хочешь ли в баньку сходить с дорожки? мы только что отмылись… Ах, хорошо в баньке! Старуха Акуля живо тебя вымоет, а мы с чаем подождем!

– Сходите, дяденька, в баньку! – с своей стороны, умильным голоском, упрашивала меня Сашенька.

Это была вторая обида. Позволить себя, взрослого юношу, мыть женщине… это уж ни на что не похоже!

– Покорно благодарю, тетушка! я в баню идти не желаю! – сказал я холодно и даже с примесью гадливости в голосе.

– Ах, да ты, верно, старой Акули застыдился! так ведь ей, голубчик, за семьдесят! И

мастерица уж она мыть! еще папеньку твоего мывала, когда в Малиновце жила. Вздор, сударь, вздор! Иди-ка в баньку и мойся! в чужой монастырь с своим уставом не ходят! Настюша! скажи Акулине, да проведи его в баню!

Словом сказать, меня и в баньке вымыли, и в тот же вечер облачили в кацавейку.

– Вот и прекрасно! и свободно тебе, и не простудишься после баньки! – воскликнула тетенька, увидев меня в новом костюме. – Кушай-ка чай на здоровье, а потом клубнички со сливочками поедим. Нет худа без добра: покуда ты мылся, а мы и ягодок успели набрать. Мало их еще, только что поспевать начали, мы сами в первый раз едим.

Чай был вкусный, сдобные булки – удивительно вкусные, сливки – еще того вкуснее. Я убирал за обе щеки, а тетенька, смотря на меня, тихо радовалась. Затем пришла очередь и для клубники; тетенька разделила набранное на две части: мне и Сашеньке, а себе взяла только одну ягодку.

– Разговеюсь, и будет с меня! в другой раз я, пожалуй, и побольше вас съем, – молвила она.

Чай кончился к осьми часам. Солнце было уж на исходе. Мы хотели идти в сад, но тетенька отсоветовала: неравно роса будет, после бани и простудиться не в редкость.

– Лучше сядем, да на солнышко посмотрим, чисто ли оно, батюшко, сядет!

Солнце садилось великолепно. Наполовину его уж не было видно, и на краю запада разлилась широкая золотая полоса. Небо было совсем чистое, синее; только немногие облака, легкие и перистые, плыли вразброд, тоже пронизанные золотом. Тетенька сидела в креслах прямо против исчезающего светила, крестилась и старческим голоском напевала: «Свете тихий…»

– Кабы не Сашенька – кажется бы… – молвила она, но, не докончив, продолжала: – Хороший день будет завтра, ведреный; косить уж около дворов начали – работа в ведрышко спорее пойдет. Что говорить! Потрудятся мужички, умаются, день-то деньской косою махавши, да потом и порадуются, что из ихнего отягощения, по крайности, хоть прок вышел. Травы нынче отличные, яровые тоже хорошо уродились. И сенца и соломки – всего вдоволь будет. Мужичок-то и вздохнет. Вот мы и не сеем и не жнем, а нам хорошо живется, – пусть и трудящимся будет хорошо.

В десять часов подали ужин, и в заключение на столе опять явилось… блюдо клубники!

– Это еще что! – изумилась тетенька, – ведь таким манером вы меня в праздник без ягод оставите! Приедут гости, и потчевать нечем будет.

– Это, сударыня, Иван Михайлыч прислали!

– Ах, кум дорогой! Все-то он так! Сосед это наш, – обратилась тетенька ко мне, – тут же о бок живет, тоже садами занимается. Служил он у покойного Петра Спиридоныча в частных приставах, – ну, и скопил праведными трудами копеечку про черный день. Да, хорошо при покойном было, тихо, смирно, ни кляуз, ни жалоб – ничего такого! Ходит, бывало, сердечный друг, по городу, деревяжкой постукивает, и всякому-то он ласковое слово скажет. Постучится в окно к какому-нибудь куму – у всего города он детей крестил, – спросит:

«Самовар на столе?» – «Готов, сударь». Взойдет, выпьет стакан и опять пошел постукивать. И представь себе, как хорошо у нас выходило: 28-го я именинница, а 29-го – он. Так два дня сряду, бывало, и идет у нас пир горой.

Тетенька умилилась и отерла слезинку.

– Впрочем, и теперь пожаловаться не могу, – продолжала она, – кругом живет народ тихий, благонравный, на бога не ропщет, смотрит весело, словно и огорчений на свете нет. Ах, да и не люблю я этих… задумчивых! Я и прислугу держу веселую; люблю, чтоб около меня с довольными лицами ходили, разговаривали, песни пели. А ежели кто недоволен мной, того я силком не держу. Хоть и крепостные они мои, а я все-таки помню, что человеку

иногда трудно себя переломить. Каждый божий день те же да те же комнаты, да с посудой возись – хоть кому шею намозолит! Понимаю я это, мой друг, и ценю, когда прислуга с веселием труд свой приемлет. Вот только Акуля с Родивоном – из мужской прислуги он один в доме и есть, а прочие всё девушки – всё что-то про себя мурлыкают. Ну, да это уж от старости. Подумай, ведь Акуле-то уж годов восемьдесят. Нянчила она меня еще вот эконькую и до сих пор про Малиновец вспоминает. Ах, да и хорошо было там при маменьке Надежде Гавриловне!

Когда дошла очередь до блюда с клубникой, тетенька расфилософствовалась.

– Вот, – говорила она, – как бог-то премудро устроил. Нет чтобы в саду все разом поспело, а всякой ягоде, всякому фрукту свой черед определен. К Петрову дню – клубника, к Казанской – малина, к Ильину дню – вишенье, ко Второму спасу – яблоки, груши, сливы. А в промежутках – смородина, крыжовник. На целых два месяца лакомства хватит. Глядя на это, и мы в своих делах стараемся подражать. У меня во дворе четыре коровушки, и никогда не бывало, чтобы все разом телились. Одна в Филипповки телится, другая – великим постом, третья – в Петровки, а остатняя – в Спожинки. Круглый год у нас и молочко, и сливочки, и маслице – все свое. А к празднику и свой теленочек есть. Вот послезавтра увидишь, какого мы бычка ко дню моего ангела выпоили! Сама сегодня утром ходила глядеть на него: лежит, глаза закрывши, не шевельнется. Жаль бедненького, а приходится резать. Ну, да ведь и то сказать: не человек, а скотина!

В заключение старушка встала из-за стола и сказала:

– А теперь и баиньки пора. Покушали, поговорили – и в постельку. Ты, дружок, с дорожки-то покрепче усни, и будить тебя не велю.

Мы простились по-старинному. Тетенька сперва подавала ручку для поцелуя, потом целовала в губы и наконец опять подавала ручку. В заключение крестила и отпускала.

Мне отвели комнату в стороне, с окном, выходившим в сад. В комнате все смотрело уютно, чисто, свежо. Сквозь открытое окно врывались благоухания летней теплой ночи.

На кровати, не внушавшей ни малейших опасений в смысле насекомых, было постлано два пышно взбитых пуховика, накрытых чистым бельем. Раздеть меня пришла молоденькая девушка. В течение вечера я уже успел победить в себе напускную важность и не без удовольствия отдал себя в распоряжение Насти.

– Понравилось вам у нас, барин? – спросила она у меня.

– Очень.

– Это еще что! погодите, что в Раисин день будет! Стол-то тогда в большой зале накроют, да и там не все господа разместятся, в гостиную многие перейдут. Двух поваров из города позовем, да кухарка наша будет помогать. Барыня-то и не садятся за стол, а все ходят, гостей угощают. Так разве чего-нибудь промеж разговоров покушают.

– А много вас, девушек, в доме у тетеньки?

– Четыре. Феклуша – за барышней ходит, шьет, а мы три за столом служим, комнаты убираем. За старой барыней няня ходит. Она и спит у барыни в спальной, на полу, на войлочке. С детства, значит, такую привычку взяла. Ну, теперь почивайте, Христос с вами! да не просыпайтесь рано, а когда вздумается.

Она уложила меня в постель, накрыла одеялом, потом заперла окно и ушла.

Едва приложил я голову к подушке, как уже почувствовал, что меня раскачивает во все стороны, точно в лодке. Пуховики были так мягки, что я лежал как бы распростертый в воздухе. Одно мгновение – и я всем существом окунулся в ту нежащую мглу, которая называется детским сном.

Я проснулся утром, около десяти часов, то есть проспавши около полусуток. Проснулся совсем свежий, без малейшей усталости. Настя, как оказалось, уже неоднократно прислушивалась у дверей и пришла как раз вовремя, чтобы подать мне одеться и умыться.

– Господа уж откушали чай, в саду гуляют, – сказала она, – сейчас будут кофе пить, а вам самовар готов. И чайку, и кофейку напьетесь.

Но я, как только проснулся, вспомнил про наших лошадей и про Алемпия, и потому прежде, чем идти в столовую, побежал к конюшням. Алемпий, по обыкновению, сидел на столбике у конюшни и покуривал из носогрейки. Мне показалось, что он за ночь сделался как будто толще.

– Ну, что, Алемпий, лошади отдохнули? – спросил я.

– Что им делается! конюшни здесь просторные, сено душистое, овес чистый… Три дня постоят – и не удержишь.

– Ну, а ты… выспался? хорошо тебе?

– Вы спросите, кому здесь не хорошо-то? Корм здесь вольный, раза четыре в день едят. А захочешь еще поесть – ешь, сделай милость! Опять и свобода дана. Я еще когда встал; и лошадей успел убрать, и в город с Акимом, здешним кучером, сходил, все закоулки обегал. Большой здесь город, народу на базаре, барок на реке – страсть! Аким-то, признаться, мне рюмочку в трактире поднес, потому у тетеньки насчет этого строго.

Целый день прошел в удовольствиях. Сперва чай пили, потом кофе, потом завтракали, обедали, после обеда десерт подавали, потом простоквашу с молодою сметаной, потом опять пили чай, наконец ужинали. В особенности мне понравилась за обедом «няня», которую я два раза накладывал на тарелку. И у нас, в Малиновце, по временам готовили это кушанье, но оно было куда не так вкусно. Ели исправно, губы у всех были масленые, даже глаза искрились.

А тетушка между тем все понуждала и понуждала:

– Ешьте, дружки, Христос с вами. Кушанье у нас легкое, здоровое; коли и лишнее скушаете – худа не будет! Маслицем деревянным животик помажем – и как рукой снимет!

В промежутках между едами мы с Сашей бегали по саду, ловили друг друга, перегонялись, хотя, признаюсь, однообразие этих игр скоро меня утомило. Саша заметила это.

– Вам, братец, скучно со мной? – спросила она грустно.

– Нет, ничего! А вот вам как? всегда вы одни да одни!

Она рассказала мне, что ей совсем не скучно, а ежели и случится соскучиться, то она уходит к соседским детям, которые и у нее бывают в гостях; что она, впрочем, по будням и, учится, и только теперь, по случаю моего приезда, бабушка уволила ее от уроков.

– Ну, перестанемте бегать, коли вам скучно, давайте так говорить, – сказала она в заключение, – у вас в заведении трудно? большие уроки задают?

Я охотно стад рассказывать и, разумеется, дал волю воображению.

– Я, Сашенька, Цицерона уже прочитал, а в следующем классе за Юлия Цезаря примусь.

– Какой такой Цицерон?

– Римский сенатор. Он спас римскую республику от Каталины. Ах, если б вы знали, какая это прелесть, его речь против Каталины! «Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra!»[17] – продекламировал я восторженно.

– А мне говорили, что Рим гуси спасли?

– Гуси сами собой, а Цицерон сам собой… А из математики мы логарифмы проходить станем. Вот трудно-то будет!

– Зато ученым сделаетесь.

– Я, сестрица, хочу профессором быть.

– Вы какие науки больше любите?

– Я больше всего русский язык люблю. У нас сочинения задают, переложения, особливо из Карамзина. Это наш лучший русский писатель. «Звон вечевого колокола

[17] До каких же пор, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением!

раздался, и вздрогнули сердца новгородцев» – вот он как писал! Другой бы сказал: «Раздался звон вечевого колокола, и сердца новгородцев вздрогнули», а он знал, на каких словах ударение сделать!

Разговаривая таким образом, мы скоро сблизились на «ты», так что под конец она не без волнения спросила меня:

– А ты долго у нас погостишь?

– Утром после Петрова дня встану пораньше, соберусь – и ау, сестрица!

– Господи, хоть бы недельку погостил!

– Нельзя, голубушка, маменька строго-настрого приказала. Если не ворочусь, как сказано, никуда вперед не отпустит. И не просись.

Саша пожаловалась на меня бабушке, но старушка, потужив вместе с внучкой по случаю моего скорого отъезда, в заключение, однако ж, похвалила меня.

– Слушайся папеньку с маменькой, – сказала она, – родительское сердце, оно памятливое. Иногда и причины настоящей нет, а оно все об детище болит да на мысли наводит. Не случилось ли чего, здоров ли, не сломался ли экипаж, лихие люди в дороге не обидели ли? Хоть про себя скажу. Далеко ли отсюда до города, а отпустишь, бывало покойницу Леночку к знакомым вечером повеселиться: «Я, маменька, в одиннадцать часов возвращусь», – а я уж с десяти часов сяду у окна да и сижу. Посидишь, вздремнешь, проснешься, опять вздремнешь – смотришь, ан уж и полночь близко. Что такое? Здорова ли? Не случилось ли чего? Послать спросить совестно: осудят; скажут: вот беспокойная старуха, дочери повеселиться не даст. Да до часу, до двух и промаячишься. Так-то вот. Нет уж, голубчик, поезжай: коли папенька с маменькой ждут, так и разговаривать нечего.

Вечером, конечно, служили всенощную и наполнили дом запахом ладана.

Тетенька напоила чаем и накормила причт и нас, но сама не пила, не ела и сидела сосредоточенная, готовясь к наступающему празднику. Даже говорить избегала, а только изредка перекидывалась коротенькими фразами. Горничные тоже вели себя степенно, ступали тихо, говорили шепотом. Тотчас после ухода причта, меня уложили спать, и дом раньше обыкновенного затих.

На другой день, с осьми часов, мы отправились к обедне в ближайшую городскую церковь и, разумеется, приехали к «часам». По возвращении домой началось именинное торжество, на котором присутствовали именитейшие лица города. Погода была отличная, и именинный обед состоялся в саду. Все сошло, как по маслу; пили и ели вдоволь, а теленок, о котором меня заранее предупреждала тетенька, оказался в полном смысле слова изумительным.

Я не стану описывать остальное время, проведенное у тетеньки, но помню, что мне ужасно не хотелось ехать. Наутро после Петрова дня меня собрали, снабдили всякого рода съестным и гостинцами, благословили и отправили.

Приехавши в Малиновец, я подробно рассказывал братьям (Степа уже перешел в последний класс, а Гриша тоже выдержал экзамен с отличием) о разливанном море, в котором я купался четыре дня, и роздал им привезенные гостинцы.

– А мы, брат, здесь полотками питались, – грустно молвил Степа, – да, впрочем, вчера последний прикончили. Finis polotcoviorum![18]

После этого я уже не видал тетеньки Раисы Порфирьевны, но она жила еще долго. Выкормив Сашеньку в меру взрослой девицы, выдала ее замуж за «хорошего» человека, но не отпустила от себя, а приняла зятя в дом. Таким образом мечты ее осуществились вполне.

Были ли в ее жизни горести, кроме тех, которые временно причинила смерть ее мужа и дочери, – я не знаю. Во всяком случае, старость ее можно было уподобить тихому сиянию вечерней зари, когда солнце уже окончательно скрылось за пределы горизонта и на западе светится чуть-чуть видный отблеск его лучей, а вдали плавают облака, преобразующие

---

[18] Конец полоткам!

соленья, варенья, моченья и всякие гарниры, – тоже игравшие в ее жизни немаловажную роль. Прозвище «сластены» осталось за ней до конца.

Я не раз впоследствии проезжал мимо Р., но как-то всегда забывал заглянуть в ахлопинскую усадьбу. Слышал, однако ж, что усадьба стоит и поныне в полной неприкосновенности, как при жизни старушки; только за садовым тыном уже не так тихо, как во времена оно, а слышится немолчное щебетание молодых и свежих голосов. Это щебечут внуки и внучки Сашеньки (и она, в свою очередь, овдовела), дети двоих ее сыновей, которые сами устроились в Петербурге, а детей покинули на руки бабушке. Один из этих сыновей состоит на службе, идет ходко и ко всякому празднику чего-нибудь ждет. Другой пока еще либеральничает, но тоже начинает косить глазами направо и налево, так что не мудрено, что невдолге и он начнет томиться с приближением праздников.

Сашенька унаследовала от бабушки роль баловницы. И сама кушает, и деточек прикармливает. Всем она приготовила обеспеченный кусок и живет среди своих птенчиков безболезненно, мирно и нимало не тяготясь шестидесятилетнею старостью, которая совершенно незаметно, без малейших предостережений, подкралась к ней.

Помнит ли она обо мне – я не думаю. По крайней мере, сыновья ее не сочли нужным познакомиться со мной. Да и не мудрено: ведь я прихожусь им четвероюродным дедушкой, а в этой степени родства самая память об узах невольно исчезает. Притом же оба они вполне проникли в суть современной жизни. Один – тайный советник; другой хоть и опоздал, но тоже на хорошей дороге стоит. А я ни во что не проник, живу словно в муромском лесу и чувствую, как постепенно, одно за другим, падают звенья, которые связывали меня с жизнью.

Так, «писачка»…

О, «писачки» российские! с каждым годом вы плодитесь и множитесь и наполняете землю отечественную стихами и прозою; но когда же вы в меру человеческого возраста вырастете?

XI. Братец Федос

Кроме описанных выше четырех теток, у меня было еще пять, которые жили в дальних губерниях и с которыми наша семья не поддерживала почти никаких сношений. С сыном одной из них, Поликсены Порфирьевны, выданной замуж в Оренбургскую губернию за башкирца Половникова, я познакомился довольно оригинальным образом.

Однажды, – это было в конце октября, глубокою осенью, – семья наша сидела за вечерним чаем, как из девичьей опрометью прибежала девушка и доложила матушке:

– Барыня! вас мужчина в девичьей спрашивает.

– Какой еще мужчина?

– Не знаю-с. Доложи, говорит, что Федос пришел…

– Пропасти на вас, бестолковых, нет! Ступай, спроси: кто? зачем?

Девушка побежала, но матушка, по обыкновению, не вытерпела, встала из-за стола и пошла вслед за нею.

В девичьей, освещенной едва мерцающим светом сального огарка, сидел на ларе мужчина в дубленом полушубке.

– Кто таков? откуда? зачем? – бросила ему матушка и, обращаясь к сидевшим за прялками девушкам, прибавила: – Да снимите же со свечки! не видать ничего!

Мужчина встал. Это был молодой человек лет двадцати пяти, среднего роста, здоровый, плотный. Лицо широкое, с выдающимися скулами, голова острижена в скобку, волоса обхватывал черный ремень. От сапогов вся девичья провоняла ворванью.

– Федос Половников, Василия Порфирьича племянник, Поликсены Порфирьевны сын.

– Пачпорт!

Федос порылся за пазухой и подал бумагу. В бумаге значилось, что предъявитель сего – дворянин Оренбургской губернии, Федос Николаев Половников и проч. Подписана она была белебеевским уездным предводителем дворянства.

– А я почем знаю! – крикнула матушка, прочитав бумагу: – на лбу-то у тебя не написано, что ты племянник! Может быть, пачпорт-то у тебя фальшивый? Может, ты беглый солдат. Убил кого-нибудь, а пачпорт украл!

– Никак нет-с. Я Федос Николаев Половников, Василия Порфирьича племянник. Верно-с.

– А зачем бы ты сюда пожаловал, позволь тебя спросить? Есть у тебя своя деревнюшка, и жил бы в ней с матерью со своей!

– Матушка прошлой весной померла, а отец еще до нее помер. Матушкину деревню за долги продали, а после отца только ружье осталось. Ни кола у меня, ни двора. Вот и надумал я: пойду к родным, да и на людей посмотреть захотелось. И матушка, умирая, говорила: «Ступай, Федос, в Малиновец, к братцу Василью Порфирьичу – он тебя не оставит».

– Это за две-то тысячи верст пришел киселя есть… прошу покорно! племянничек сыскался! Ни в жизнь не поверю. И именье, вишь, промотал… А коли ты промотал, так я-то чем причинна? Он промотал, а я изволь с ним валандаться! Отошлю я тебя в земский суд – там разберут, племянник ты или солдат беглый.

– Это как вам угодно.

Произнося свои угрозы, матушка была, однако ж, в недоумении. Племянник ли Федос или беглый солдат – в сущности, ей было все равно; но если он вправду племянник, то как же не принять его? Прогонишь его – он, пожалуй, в канаве замерзнет; в земский суд отправить его – назад оттуда пришлют… А дело между тем разгласится, соседи будут говорить: вот Анна Павловна какова, мужнину племяннику в угле отказала.

– И ведь в какое время, непутевый, пришел! – сказала она уже мягче, – две недели сряду дождик льет, все дороги затопил, за сеном в поле проехать нельзя, а он шлепает да шлепает по грязи. И хоть бы написал, предупредил… Ну, ин скидавай полушубок-то, сиди здесь, покуда я муженьку не отрапортую.

Но когда она возвратилась в столовую, сердце у нее опять раскипелось.

– С племянничком поздравляю! – обратилась она к отцу, – Поликсены Порфирьевны сынок, Федос Николаич… Нечего сказать, наплодила-таки покойница свекровушка, Надежда Гавриловна, царство небесное, родственничков!

Отец, который при всякой неожиданности всегда терялся, пришел при этом известии еще в большее раздражение, нежели матушка.

– Какой еще Федос? – кричал он, – гнать его отсюда! гнать! Никакого Федоса у меня в родне нет! Не племянник он, а беглый солдат! Гоните его!

– Постой, погоди! – опять смягчилась матушка: – криком делу не поможешь, а надо его чередом расспросить, как и что. Позови-ка его сюда! – приказала она лакею.

Через минуту в столовую вошел белокурый малый, в белой рубашке навыпуск, грубого холста и сильно заношенной, в штанах из полосатой пестряди, засунутых в сапоги. Он был подпоясан тоненьким шнурком, на котором висел роговой гребень. С приходом его в комнате распространился отвратительный запах ворвани.

– Сними! сними сапожищи-то! ишь навонял! – крикнул на него отец.

Федос безмолвно вышел и возвратился уже босой. Он стал у двери и, казалось, покорно ждал, куда его определят.

– Ну-тка, покажи опять паспорт… Надо приметы сверить, – начала матушка.

Федос сунул руку в карман и подал бумагу. Матушка читала вслух:

– «Рост два аршина пять вершков» – кажется, так; «лицо чистое» – так; «глаза голубые, волосы на голове белокурые, усы и бороду бреет, нос и рот обыкновенные; особая примета: на груди возле левого соска родимое пятно величиною с гривенник»… Конька! возьми свечу! посмотри!

Лакей Конон, прислуживавший за столом, подошел к Федосу со свечой, раздвинул прореху на рубашке и ответил:

– Верно-с!

– Ну, ежели верно, так, значит, ты самый и есть. Однако ж, этого мало; на свете белокурых да с голубыми глазами хоть пруд пруди. Коли ты Поликсены Порфирьевны сынок, сказывай, какова она была из себя?

Федос и это требование выполнил отчетливо, без запинки.

– Так, что ли? – обратилась матушка к отцу, – говори, сударь! ты сестрицу свою должен починить, а я и в глаза ее не видала.

– Не знаю! Не знаю! – бормотал отец, по обыкновению уклоняясь от определенного ответа. Видно было, однако ж, что рассказ новообретенного родственника был согласен с действительностью.

– Ну, ладно. Положим, что ты наш племянничек, зачем же ты к нам пожаловал? разве мало у тебя родных? Одних теток сколько! Отчего ты к ним не пошел?

– Да так матушка, умираючи, говорила…

– А ежели мы тебя не примем?

– Как вам угодно, только я на первый раз порешил у вас основаться.

– Решил! он решил!.. ах ты, распостылый! – крикнула матушка, вся дрожа от волнения, и, закусив губу, подошла близко к Федосу. – Ты спроси прежде, как дядя с теткой решат… Он решил! Ступай с моих глаз долой, жди в девичьей, пока я надумаю, как с тобой поступить!

По уходе Федоса матушка некоторое время сидела, покачиваясь на стуле, и обдумывала.

– Не знаю, где и спать-то его положить, – молвила она наконец, – и не придумаю! Ежели внизу, где прежде шорник Степан жил, так там с самой осени не топлено. Ну, ин ведите его к Василисе в застольную. Не велика фря, ночь и на лавке проспит. Полушубок у него есть, чтоб накрыться, а войлок и подушчонку, из стареньких, отсюда дайте. Да уж не курит ли он, спаси бог! чтоб и не думал!

Приказание это было исполнено уж прислугой.

Ночь матушка провела тревожно. Беспрестанно будила дежурную горничную, спавшую на полу у дверей ее спальни, посылая ее в застольную, и наказывала, чтоб Василиса отнюдь не позволяла Федосу курить.

– Ну, что Федоска? спит? – спрашивала она возвратившуюся девушку.

– Спит-с.

– Не курит?

– Василиса говорит: трубочку на крыльце выкурил.

– То-то, «трубочку»! А я что приказывала?

Наутро матушка едва проснулась, как уже обратилась с вопросом:

– Встал?

– Еще до свету в ригу молотить ушел.

Известие это смягчило матушку. Ушел молотить – стало быть, не хочет даром хлеб

есть, – мелькнуло у нее в голове. И вслед за тем велела истопить в нижнем этаже комнату, поставить кровать, стол и табуретку и устроить там Федоса. Кушанье матушка решила посылать ему с барского стола.

– А коли благородно себя держать будет – и с собой обедать посадим!

Весь этот день Федос работал наравне с прочими барщинными. Молотильщик он оказался отличный, шел в голове цепи, стучал цепом не спеша, ровно, плавно, и прямо, и накрест. Когда же стемнело, его позвали к матушке.

– Что это тебе молотить вздумалось? – спросила она его ласково.

– Что ж так-то сидеть! Я всю дорогу шел, работал. День или два идешь, а потом остановишься, спросишь, нет ли работы где. Где попашешь, где покосишь, пожнешь. С недельку на одном месте поработаешь, меня в это время кормят и на дорогу хлебца дадут, а иной раз и гривенничек. И опять в два-три дня я свободно верст пятьдесят уйду. Да я, тетенька, и другую работу делать могу: и лапоть сплету, и игрушку для детей из дерева вырежу, и на охоту схожу, дичинки добуду.

– Вот ты какой! Ну, поживи у нас! Я тебе велела внизу комнатку вытопить. Там тебе и тепленько и уютненько будет. Обедать сверху носить будут, а потом, может, и поближе сойдемся. Да ты не нудь себя. Не все работай, и посиди. Я слышала, ты табак куришь?

– Курю, тетенька! да вы не беспокойтесь, у меня на табак деньги найдутся!

Федос полез в карман и вынул оттуда пригоршню медных и мелких серебряных монет.

– Что ж, можно изредка и покурить, только будь осторожен, мой друг, не зарони! Ну, ступай покуда, Христос с тобой!

С тех пор Федос поселился внизу вместе с собакой Трезоркой, которую как-то необыкновенно быстро приучил к себе. Горничные со смехом рассказывали, что он с собакой из одной посудины и пьет и ест, что он ее в самое рыло целует, поноску носить выучил и т. д.

– И накурено же у него табачищем в каморке – не продохнешь! даже Трезорка чихает, – говорили они, – а нагажено, напакощено – страсть!

С своей стороны, он на помещенье не жаловался, а только пенял на еду.

– Скажите тетеньке, – поручал он горничным, – мне бы хлеба да щец побольше, а разносолов не надобно.

Справедливость требует сказать, что просьба его была уважена.

Вскоре он раздобылся где-то ружьем и другим охотничьим припасом и принес матушке две пары тетеревей.

– Ну, спасибо тебе, вот мы и с жарковцем! – поблагодарила его матушка, – и сами поедим, и ты с нами покушаешь. Эй, кто там! снесите-ка повару одного тетерева, пускай сегодня к обеду зажарит, а прочих на погреб отдайте… Спасибо, дружок!

Мы, дети, сильно заинтересовались Федосом. Частенько бегал я через девичье крыльцо, без шапки, в одной куртке, к нему в комнату, рискуя быть наказанным. Но долго не решался взойти. Придешь, приотворишь дверь, заглянешь и опять убежишь. Но однажды он удержал меня.

– Ты что же ко мне только заглядываешь, а не зайдешь? Небось, не укушу.

Я стоял перед ним смущенный и безмолвствовал.

– Что встал? зайди! – пригласил он, – посмотри, какого я коня тебе борзого вырезал! Хоть сто верст на нем скачи – не упарится!

Он показал мне деревянного конька грубой работы, у которого под животом вырезано было четырехугольное отверстие, и по сторонам его фигурные столбики, долженствующие изображать ноги. Потом позвал Трезорку и стал проделывать с ним фокусы.

– Шершь! – крикнул он, кидая в угол корку хлеба.

Трезорка кинулся со всех ног, но, достигнув цели, не взял корки в зубы, а остановился как вкопанный и поднял ногу.

– Это он стойку делает. Хоть два часа простоит, не двинется. Пиль, аппорт! – снова крикнул он.

Трезорка схватил корку и принес ее Федосу.

– Теперь давай ее сюда! – сказал Федос, отнимая корку и кладя ее Трезорке на нос. – Слушай команду, аз, буки, глаголь, добро…

Федос отвернулся от Трезорки, как будто забыл о нем. Минуты две он сидел молча, так что у Трезорки потоками полились слюни с брыластых губ.

– Есть! – скомандовал Федос неожиданно. Трезор мигом подкинул корку вверх и на лету проглотил ее.

– Вот пес! – хвалился Федос, – необразованный был, даже лаять путем не умел, а я его грамоте выучил. На охоту со мной уже два раза ходил. Видел ты, сколько я глухарей твоей мамаше перетаскал?

– Они у нас, братец, на погребе лежат.

– И будут лежать, пока не протухнут. Это уж такой обычай у вас.

– А вам, братец, весело здесь?

– Какое веселье! Живу – и будет с меня. Давеча молотил, теперь – отдыхаю. Ашать (по-башкирски: «есть») вот мало дают – это скверно. Ну, да теперь зима, а у нас в Башкирии в это время все голодают. Зимой хлеб с мякиной башкир ест, да так отощает, что страсть! А наступит весна, ожеребятся кобылы, начнет башкир кумыс пить – в месяц его так разнесет, и не узнаешь!

– Неужто… от кумыса?

– Да, кобылье молоко квашеное так называется… Я и вас бы научил, как его делать, да вы, поди, брезговать будете. Скажете: кобылятина! А надо бы вам – видишь, ты испитой какой! И вам есть плохо дают… Куда только она, маменька твоя, бережет! Добро бы деньги, а то… еду!

Он ощупал меня и продолжал:

– Кости да кожа! И погулять вас не пускают, все в комнатах держат. Хочешь, я тебе лыжи сделаю. Вот снег нападет, все по очереди кататься будете.

– Да маменька… Братец, попросите маменьку!

– Послушает она меня… держи карман! Однако, ступай, брат, наверх – неравно хватятся! Когда-нибудь в праздник, после обеда, я сам к вам заберусь, покуда старики спят.

Словом сказать, чем дольше он жил, тем больше весь дом привыкал к нему. Дворня полюбила его, потому что он хоть и «барин», а все равно, что свой брат; матушка была довольна, потому что племянник оказался трезвый и работящий. Беспрерывно оказывался у него какой-нибудь новый талант: то лошадь подкует на диво, то печку исправит, ежели дымит, то стекло в окне вставит. Сначала матушка боялась, чтобы нравственность в девичьей не испортилась, но и тут все обстояло благополучно. От времени до времени он, однако ж, исчезал. Уйдет, и дня два-три его не видать. Тогда у матушки опять разыгрывалось воображение.

– Ну, помяните мое слово, что он беглый солдат! – ежеминутно беспокоилась она.

Надо сказать, что она, тотчас после приезда Федоса, написала к белебеевскому предводителю дворянства письмо, в котором спрашивала, действительно ли им был выдан вид Федосу Половникову; но прошло уже более полутора месяца, а ответа получено не было. Молчание это служило источником великих тревог, которые при всяком случае возобновлялись.

– Где побывал? – спрашивала она, когда Федос возвращался из своих временных отлучек.

– Мужичок тут один, верстах в десяти, помочь помолотить просил.

– Мужичок? не бабочка ли?

– А может, и бабочка. Все нынче, и мужики и бабы, по холодку в полушубках ходят – не разберешь!

Матушке становилось досадно. Все ж таки родной – мог бы и своим послужить! Чего ему! и теплехонько, и сытёхонько здесь… кажется, на что лучше! А он, на-тко, пошел, за десять верст, к чужому мужику на помочь!

Но Федос, сделавши экскурсию, засиживался дома, и досада проходила. К тому же и из Белебея бумага пришла, из которой было видно, что Федос есть действительный, заправский Федос, тетеньки Поликсены Порфирьевны сын, так что и с этой стороны сомнения не было.

Замечательно, что среди общих симпатий, которые стяжал к себе Половников, один отец относился к нему не только равнодушно, но почти гадливо. Случайно встречаясь с ним, Федос подходил к нему «к ручке», но отец проворно прятал руки за спину и холодно произносил: – «Ну, будь здоров! проходи, проходи!» Заочно он называл его не иначе, как «кобылятником», уверял, что он поганый, потому что сырое кобылье мясо жрет, и нетерпеливо спрашивал матушку:

– Долго ли этот кобылятник наш дом поганить будет! Посуду-то, посуду-то после него на стол подавать не смейте! Ведь он, поганец, с собакой из одной чашки ест!

Может быть, благодаря этому инстинктивному отвращению отца, предположению о том, чтобы Федос от времени до времени приходил обедать наверх, не суждено было осуществиться. Но к вечернему чаю его изредка приглашали. Он приходил в том же виде, как и в первое свое появление в Малиновце, только рубашку надевал чистую. Обращался он исключительно к матушке.

– Вот бы вам, тетушка, в нашу сторону перебраться, да там бы усадьбу выстроить, – соблазнял он.

– А что?

– Земля у нас черная-черная, на сажень глубины. Как подымут целину, так даже лоснится. Лес – дубовый, рек много, а по берегам всё луга поемные – трава во какая растет, словно тростник тучная!

– Манна с неба не падает ли?

– Нет, я верно говорю, не хвастаюсь. Именно на редкость земля в нашей стороне.

– Кто же на ней живет? помещики, что ли?

– Нет, башкиры. Башкиро-мещеряцкое войско такое есть; как завладели спервоначалу землёй, так и теперь она считается ихняя. Границ нет, межеванья отроду не бывало; сколько глазом не окинешь – все башкирам принадлежит. В последнее, впрочем, время и помещики, которые поумнее, заглядывать в ту сторону стали. Сколько уж участков к ним отошло; поселят крестьян, да хозяйство и разводят.

– Ведь землю-то, чай, купить надо?

– Самые пустяки стоит. Кантонному начальнику по гривеннику за десятину заплатить, да обществу, за приговор, ведер десять водки выпоить – сколько угодно отмеряют!

– Ах, прах побери, да и совсем!

Матушка даже повернулась на стуле при одной мысли, как бы оно хорошо вышло. Некоторое время она молчала; вероятно, в голове ее уже роились мечты. Купить земли – да побольше – да крестьян без земли на своз душ пятьсот, тоже недорого, от сорока до пятидесяти рублей за душу, да и поселить их там. Земля-то новая – сколько она приплода даст! Лошадей развести, овец…

– У нас от одних лошадей хороший доход получить можно, – продолжал соблазнять Федос, – содержание-то их почти ничего не стоит – и зиму и лето в степи; зимой из-под снега корм добывают… А в Мензелинске, между прочим, ярмарка бывает: издалека туда приезжают, хорошие цены дают. Опять овчины, шерсть…

– Да замолчи ты, сделай милость!

– Как угодно, а я бы вам это дело чудесно подстроил.

Но матушка отрезвлялась так же быстро, как и увлекалась.

Мечты рассеялись, и через несколько минут она уж всецело принадлежала действительности.

– Нет, голубчик, – сказала она, – нам от своего места бежать не приходится. Там дело наладишь – здесь в упадок придет; здесь будешь хозяйствовать – там толку не добьешься. Нет ничего хуже, как заглазно распоряжаться, а переезжать с места на место этакую махинищу верст – и денег не напасешься.

Однако, во всяком случае, рассказ Федоса настолько заинтересовал матушку, что она и потом, при всяком новом свидании с ним, говорила:

– А ну-ка, расскажи про сторону про свою, расскажи!

Повторяю: Федос настолько пришелся по нраву матушке, что она ему даже суконный казакин и шаровары приказала сшить.

– Нехорошо все в рубашке ходить; вот и тело у тебя через прореху видно, – сказала она, – гости могут приехать – осудят, скажут: племянника родного в посконной рубахе водят. А кроме того, и в церковь в праздник выйти… Все же в казакинчике лучше.

Федос не противоречил и надел казакин, хотя и неохотно. Мне, впрочем, и самому показалось, что рубашка шла ему больше к лицу.

– Скажи Христа ради, зачем ты свое место бросил? – добивалась иногда от него матушка.

– Да так… и не у чего, да и не все же на одном месте сидеть; захотелось и на людей посмотреть.

– Все же надо себя к одному какому-нибудь месту определить. Положим, теперь ты у нас приютился, да ведь не станешь же ты здесь век вековать. Вот мы по зимам в Москве собираемся жить. Дом топить не будем, ставни заколотим – с кем ты тут останешься?

– Уйду!

– Да куда ты уйдешь, непутевый ты человек?!

– Паспорт у меня есть, свет не клином сошелся. Уйду.

– Заладил одно: уйду да уйду. Пить, есть надо. Вот о чем говорят.

– Найду. Без еды не останусь.

– В приказчики, что ли, нанялся бы. Ты сельские работы знаешь, – это нечего говорить, положиться на тебя можно. Любой помещик с удовольствием возьмет.

– Не по рылу мне с помещиками вожжаться.

Словом сказать, на все подобные вопросы Федос возражал загадочно, что приводило матушку в немалое смущение. Иногда ей представлялось: да не бунтовщик ли он? Хотя в то время не только о нигилистах, но и о чиновниках ведомства государственных имуществ (впоследствии их называли помещики «эмиссарами Пугачева») не было слышно.

«И не разберешь его, что за человек такой! – думалось ей, – бродит без надобности: взял да – и пошел – разве между людьми так водится? Наверное, заразу какую-нибудь разносит!»

По этому случаю она позвала на совет даже старосту Федота.

– Что? как у нас? все благополучно? – спросила матушка.

– Все, кажется, слава богу, – ответил Федот, втайне, однако ж, недоумевая, не случилось ли чего-нибудь, о чем матушка узнала прежде него, – Что мнешься! Федос как?

– Ничего, сударыня, и Федос Николаич… Только чудо это! барин, а как себя беспокоит!

– Ну, и пускай беспокоится – это его дело. Не шушукается ли он – вот я о чем говорю.

– С кем, сударыня, у нас шушукаться!.. Нет, слава богу, кажется, ничего!

– То-то «ничего»! ты у меня смотри! Ты первый будешь в ответе, ежели что случится!

После этого совещания матушка окончательно успокоилась и становилась все более и более благосклонною к Федосу. Однажды даже предложила ему гривенничек.

– Вот тебе гривенничек! – сказала она, – это на табак. Когда свой выйдет, купи свеженького.

Но Федос отказался.

– Благодарю покорно, – ответил он, – я на той неделе у мужичка три дня проработал, так он полтинник дал. Целый запас у меня теперь табаку, надолго станет.

– Полтинник! вот как! Ну, и слава богу, что добрые люди не оставляют тебя.

Матушка слегка обиделась; ей показалось, что в словах Федоса заключается темный намек на ее скупость.

«Полтинник! Это чтоб я полтинник ему дала – за что, про что! – думалось ей, – на вас, бродяг, не напасешься полтинников-то! Сыт, одет, чего еще нужно!»

В одно из воскресений Федос исполнил свое обещание и забрался после обеда к нам, детям. И отец и мать отдыхали в спальнях. Мы чуть слышно расхаживали по большой зале и говорили шепотом, боясь разбудить гувернантку, которая сидела в углу в креслах и тоже дремала.

– Вот и я, братцы, к вам пришел! – приветствовал он нас, – а вы всё в клетке да в клетке, словно острожные, сидите… Эх, голубчики, плохо ваше дело! Что носы повесили? давайте играть!

Мы молча указали на гувернантку.

– Ничего, пускай ведьма проснется! а станет разговаривать, мы ей рот зажмем! Во что же мы играть будем? в лошадки? Ну, быть так! Только я, братцы, по-дворянски не умею, а по-крестьянски научу вас играть. Вот вам веревки.

Он вынул из кармана два пучка веревок и стал их развязывать.

– Я по-дворянски ничего не умею делать – сердце не лежит! – говорит он, – то ли дело к мужичку придешь… «Здравствуйте!» – Здравствуй! – «А как тебя величать?» – Еремой. – «Ну, будь здоров, Ерема!» Точно век вместе жили! Станешь к нему на работу – и он рядом с тобой, и косит, и молотит, всякую работу сообща делает; сядешь обедать – и он тут же, те же щи, тот же хлеб… Да вы, поди, и не знаете, какой такой мужик есть… так, думаете, скотина! Ан нет, братцы, он не скотина! помните это: человек он! У бога есть книга такая, так мужик в ней страстотерпцем записан… Давайте же по-крестьянски в лошади играть. Вот я, мужик, вышел в поле лошадей ловить, вот у меня и кормушка с овсом в руках (он устроил из подола рубашки подобие кормушки), – а вы, лошади, во стаде пасетесь. Бегите от меня теперь, а я к вам подходить стану… Сначала вы не поддавайтесь. В бок шарахайтесь; шарахнитесь – и остановитесь… А потом, как я с кормушкой поближе встану, вы помаленьку на овес и подходите… Овес-то, братцы, лаком; когда-когда его мужичий коняга видит!

Мы пустились вскачь в угол, Федос за нами. Поднялся визг, гвалт; гувернантка вскочила, как встрепанная, и смотрела во все глаза.

– Что такое, что такое! – кричала она. – Дети! по местам, сию минуту! Herr[19] Федос! как вы здесь находитесь?

– По щучьему веленью, по моему хотенью… Ах, Марья Андреевна! красавица! позвольте остаться, с детьми поиграть!

Слово «красавица» и смиренный вид, который принял Федос, видимо смягчили Марью Андреевну.

– Это не я… но Анна Павловна…

– Что Анна Павловна! Анна Павловна теперь сны веселые видит… Красавица! хотите, я для вас колесом через всю залу пройдусь?

И прошелся.

– Хотите, вприсядку спляшу?

И сплясал, да так сплясал, что суровая Марья Андреевна за бока держалась от смеха и прерывисто всхлипывала:

– О, Herr Федос! Herr Федос!

Наконец вызвался басом октаву взять и действительно загудел так, словно у него разом

---

[19] Господин

все мокроты поднялись и в горле заклокотали.

– О, Herr Федос! Herr Федос! – заливалась Марья Андреевна.

Затем мы возобновили игру в лошади. И пахали, и боронили, и представляли, как подвода парой везет заседателя… Шум поднялся такой, что наконец матушка проснулась и застигла нас врасплох.

– Это что такое! сейчас по местам! – послышался в дверях грозный окрик.

Ну, и была же у нас тут история!..

Прошла масленица, молотьба кончилась, наступил полный отдых. Жалко зазвенел наш девятипудовый колокол, призывая говельщиков.

Батюшка с тетеньками-сестрицами каждый день ездили в церковь, готовясь к причастию. Только сенные девушки продолжали работать, так что Федос не выдержал и сказал одной из них:

– Посмотрю я на вас – настоящая у вас каторга! И первую неделю поста отдохнуть не дадут.

Разумеется, слова эти были переданы матушке и возбудили целую бурю.

– Так и есть! Так я и знала, что он бунтовщик! – сказала она и, призвав Федоса, прикрикнула на него: – Ты что давеча Аришке про каторгу говорил? Хочешь, я тебя, как бунтовщика, в земский суд представлю!

– Представьте! – отвечал он безучастно.

– То-то «представьте»! Там не посмотрят на то, что ты барин, – так-то отшпарят, что люба с два! Племянничек нашелся!.. Милости просим! Ты бы чем бунтовать, лучше бы в церковь ходил да богу молился.

Этому совету Федос последовал и на второй неделе очень прилежно говел.

Наступила ростепель. Весна была ранняя, а Святая – поздняя, в половине апреля. Солнце грело по-весеннему; на дорогах появились лужи; вершины пригорков стали обнажаться; наконец, прилетели скворцы и населили на конном дворе все скворешницы. И в доме сделалось светлее и веселее, словно и в законопаченные кругом комнаты заглянула весна. Так бы, кажется, и улетел далеко-далеко на волю!

Федос становился задумчив. Со времени объяснения по поводу «каторги» он замолчал. Несколько раз матушка, у которой сердце было отходчиво, посылала звать его чай пить, но он приказывал отвечать, что ему «мочи нет», и не приходил.

– Ну, ежели гневаться на меня изволит, пускай куксится, – сердилась матушка, – была бы честь приложена, а от убытка бог избавил!

Впрочем, в Светлый праздник, у заутрени, он честь-честью похристосовался со всеми, а после поздней обедни даже разговелся вместе с нами.

К концу апреля поля уже настолько обсохли, что в яровом показались первые сохи. С дорог тоже мало-помалу слила вода.

Матушка надеялась, что Федос в первой сохе выедет в поле, а ей, напротив, совершенно неожиданно доложили, что он ночью исчез и пожитки свои унес, только казакин оставил.

– Чай, мужичок какой-нибудь на помочь попахать зазвал! – негодовала матушка: – вот ужо воротится, я ему отпою!

Но прошло три дня, прошла неделя, другая – Федос не возвращался.

Федос исчез, исчез без следа, без признака; словно дым растаял.

Выел ли он кому очи? или так, бесплодно скитаясь по свету, потонул в воздушной пучине?

XII. Поездки в Москву

Поездки эти я подразделяю на летние и зимние, потому что и те и другие оставили во мне различные впечатления. Первые были приятны; последние ничего, кроме скуки и утомления, не представляли.

Летом, до поступления в казенное заведение, я совсем в Москве не бывал, но, чтобы не возвращаться к этому предмету, забегу несколько вперед и расскажу мою первую поездку в «сердце России», для определения в шестиклассный дворянский институт, только что переименованный из университетского пансиона.

Это было в начале августа, и матушка сама собралась вместе со мною.

Вообще, во всех важных делах она надеялась только на собственную находчивость. Институтское начальство ей было знакомо, так как все мои старшие братья воспитывались в университетском пансионе; поэтому ей думалось, что ежели я и окажусь в каком-нибудь предмете послабее, то, при помощи ее просьб, ко мне будут снисходительны. Сверх того, она была уверена, что если будет лично присутствовать при экзамене (а это допускалось), то и я не посмею отвечать худо…

Стоял прекрасный, полуосенний августовский день. Я встал спозаранку и целое утро пробегал по саду, прощаясь со всеми уголками и по временам опускаясь на колени, целуя землю. Была ли это действительная, искренняя экзальтация, или только напускное подражание каким-нибудь примерам, вычитанным из случайно попадавших под руку книжек, – решить не берусь.

Скорее, впрочем, склоняюсь в пользу последнего предположения, потому что не помню, чтоб во мне происходило в то время какое-нибудь душевное движение.

Впоследствии то же самое явление не раз повторялось, когда я, уже продолжая воспитание в Петербурге, езжал домой на каникулы. Обыкновенно сговаривалось три-четыре воспитанника из москвичей; все вместе брали места в одном и том же дилижансе и всегда приказывали остановиться, не доезжая Всесвятского, на горе, с которой открывался вид на Москву. Мы вылезали из экипажа, становились на колени и целовали землю…

Мы выехали из Малиновца около часа пополудни. До Москвы считалось сто тридцать пять верст (зимний путь сокращался верст на пятнадцать), и так как путешествие, по обыкновению, совершалось «на своих», то предстояло провести в дороге не меньше двух дней с половиной. До первой станции (Гришково), тридцать верст, надо было доехать засветло.

Я уже в самом начале этой хроники описал местность, окружавшую Малиновец. Невеселое было это место, даже мрачное; но все-таки, когда мы проехали несколько верст, мне показалось, что я вырвался из заключения на простор. Ядреный воздух, напоенный запахом хвойных деревьев, охватывал со всех сторон; дышалось легко и свободно; коляска на старинных круглых рессорах тихо укачивала. Ехали легкой рысцой, не больше шести верст в час, при каждой гати, при каждой песчаной полосе пускали лошадей шагом. От времени до времени Конон-лакей соскакивал с козел, шел пешком за коляской, собирал белые грибы, которые по обеим сторонам дороги росли во множестве.

Матушка дремала; Агаша, ее неизменная спутница, сидя против меня, тоже клевала носом. Перед матушкой, на свободном месте передней скамейки, стояло большое лукошко, наполненное большими поздними персиками (венусами), которые были переложены смородинным и липовым листом. Они предназначались в подарок дедушке.

– Ты что не спишь? – спрашивала меня матушка, просыпаясь. – Агашка! ты хоть бы на колени лукошко-то взяла… ишь его раскачивает!

– Да оно, сударыня, веревками к козлам привязано.

– Наказание с этими персиками! Привезешь – скажут: кисель привезла! не привезешь – зачем не привезла?

– Да вы бы, маменька, в Москве купили, – догадался я.

– Это по два-то рубля за десяток платить! На-тко!.. Алемпий! много ли до дубровы осталось?

– Да верст с пяток еще будет.

– Пошевеливал бы ты, что ли. Часа уж два, поди, едем, а все конца-краю лесу нет!

– Вот сейчас выедем, – уж видко! потом веселее – в горку пойдет.

– Ах, что-то будет! что-то будет? выдержишь ли ты? – обращалась матушка снова ко

мне, – смотри ты у меня, не осрамись!

– Постараюсь, маменька.

От меня матушка опять обращалась к лукошку и приподнимала верхний пласт листьев.

– Ничего, сверху еще хороши. Ты, Агашка, смотри: как приедем в Гришково, сейчас же персики перебери!

Я и сам с нетерпением ждал дубровы, потому что оттуда шла повёртка на большую дорогу. Скоро мы выехали из леса, и дорога пошла полями, в гору.

Вдали виднелась дуброва, или, попросту, чистая березовая роща, расстилавшаяся на значительное пространство. Вся она была охвачена золотом солнечных лучей и, колеблемая ветром, шевелилась, как живая. Алемпий свистнул, лошади побежали крупною рысью и минут через двадцать домчали нас до дубровы. Рядом с нею, сквозь деревья, виднелась низина, по которой была проложена столбовая дорога.

– Вот когда сущее мучение начнется! – молвил Алемпий, доехав до повёртки и осторожно спуская экипаж по косогору. – Конон! иди вперед, смотри, все ли мостовины-то целы!

Да, это было мучение. Мостовник, только изредка пересекаемый небольшими полосами грунтовой дороги, тянулся более шести верст. Мостовины посередине сгнили и образовали выбоины, в которые с маху ударялись колеса экипажа. Случалось, что пристяжная ступала на один конец плохо утвержденной мостовины и тяжестью своей приподнимала другой конец. По обеим сторонам расстилалось тонкое, кочковатое болото, по которому изредка рассеяны были кривые и низкорослые деревца; по местам болото превращалось в ржавые бочаги, покрытые крупной осокой, белыми водяными лилиями и еще каким-то растением с белыми головками, пушистыми, как хлопчатая бумага. Матушка держалась за край дверцы и шептала:

– Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его! Помяни, господи… Тише, тише! Куда сломя голову скачешь! Агашка! да держи же персики! ах, чтоб тебя! Помяни, господи…

Агашка обеими руками держалась то за дверцу, то за лукошко; меня подбрасывало так, что я серьезно опасался быть вышвырнутым из экипажа.

Приехали мы в Гришково, когда уж солнце закатывалось, и остановились у старого Кузьмы, о котором я еще прежде от матушки слыхивал, как об умном и честном старике. Собственно говоря, он не держал постоялого двора, а была у него изба чуть-чуть просторнее обыкновенной крестьянской, да особо от нее, через сенцы, была пристроена стряпущая. Вообще помещение было не особенно приютное, но помещики нашего околотка, проезжая в Москву, всегда останавливались у Кузьмы и любили его.

Я познакомился с ним, когда уж ему подходило под восемьдесят. Это был худой, совершенно лысый и недужный старик, который ходил сгорбившись и упираясь руками в колени; но за всем тем он продолжал единолично распоряжаться в доме и держал многочисленную семью в большой дисциплине.

Хозяйство у него было исправное; двор крытый, обширный, пропитанный запахом навоза. Вырезанное посредине двора отверстие служило единственным источником света и свежего воздуха, так что с боков было совсем темно. На каждом шагу встречались клетушки со всяким крестьянским добром и закуты, куда зимой на целый день, а летом на ночь, запирался домашний скот.

Он встретил нас у ворот, держа одну руку над глазами и стараясь рассмотреть, кого бог послал.

– Здоров ли, старик? – приветствовала его матушка.

– Никак Анна Павловна! Милости просим, сударыня! Ты-то здорова ли, а мое какое здоровье! знобит всего, на печке лежу. Похожу-похожу по двору, на улицу загляну и опять на печь лягу. А я тебя словно чуял, и дело до тебя есть. В Москву, что ли, собрались?

– В Москву еду, сына в ученье везу.

– В ученье! ну, дай ему бог! Уж которого ты в ученье отдаешь, пошли тебе царица

небесная! И дочек и сынов – всех к делу пристроила!

И, обратившись ко мне, он погладил меня по голове и прибавил:

– Потешь, милый, мамыньку, учись! Вот она как о вас старается! И наукам учит, и именья для вас припасает. Сама не допьет, не доест – все для вас да для вас! Чай, не мало денег на деток в год-то, сударыня, истрясешь?

– И не говори!

Как только мы добрались до горницы, так сейчас же началась поверка персиков. Оказалось, что нижний ряд уж настолько побит, что пустил сок.

Матушка пожертвовала один персик мне, а остальные разложила на доске и покрыла полотенцем от мух.

– За сыном родным столько уходу нет, сколько за ними! – сказала она в сердцах, – возьму да вышвырну все за окошко!

Когда мы сидели за чаем, к нам опять пришел Кузьма.

– А я хочу с тобой, сударыня, про одно дело поговорить, – начал он, садясь на лавку.

– Говори!

– Имение здесь, в пятнадцати верстах, продается. Большачиха-барыня (Большакова) продает… Ах, хорошо имение!

– Не к рукам мне, старик.

– Отчего не к рукам! От Малиновца и пятидесяти верст не будет. А имение-то какое! Триста душ, земли довольно, лесу одного больше пятисот десятин; опять река, пойма, мельница водяная… Дом господский, всякое заведение, сады, ранжереи…

– Ну, вот видишь: и тут заведение, и в Малиновце заведение… И тут запашка, и там запашка… А их ведь надо поддерживать! Жить тут придется.

– Так-то так, да именье-то больно уж хорошо.

– А что барыня просит?

– По шестисот (ассигнациями) за душу думает взять, а за полтысячи отдаст.

– Вот и это. Полтораста тысяч – шутка ли эко место денег отдать! Положим, однако, что с деньгами оборот еще можно сделать, а главное, не к рукам мне. Нужно сначала около себя округлить; я в Заболотье-то еще словно на тычке живу. Куда ни выйдешь, все на чужую землю ступишь.

– Известно, тебе виднее. Умна ты, сударыня; вся округа ваша не надивуется, как ты себя хорошо устроить сумела!

– Погоди еще говорить! рано пташечка запела, как бы кошечка не съела!

– Тебя не съест, у тебя надёжа хорошая. Хорошо ты одумала, что мужичком занялась. Крестьянин – он не выдаст. Хоть из-под земли, да на оброк денег достанет. За крестьянами-то у тебя все равно, что в ламбарте денежки лежат.

– Ну, тоже со всячинкой. Нет, не к рукам мне твое именье. Куплю ли, нет ли – в другом месте. Однако прощай, старик! завтра чуть свет вставать надо.

На этом разговор кончился. Матушка легла спать в горнице, а меня услала в коляску, где я крепко проспал до утра, несмотря на острый запах конского помета и на то, что в самую полночь, гремя бубенцами, во двор с грохотом въехал целый извозчичий обоз.

Когда меня разбудили, лошади уже были запряжены, и мы тотчас же выехали. Солнце еще не взошло, но в деревне царствовало суетливое движение, в котором преимущественно принимало участие женское население. Свежий, почти холодный воздух, насыщенный гарью и дымом от топящихся печей, насквозь прохватывал меня со сна. На деревенской улице стоял столб пыли от

прогонявшегося стада.

Хотя я до тех пор не выезжал из деревни, но, собственно говоря, жил не в деревне, а в усадьбе, и потому казалось бы, что картина пробуждения деревни, никогда мною не виденная, должна была бы заинтересовать меня. Тем не менее не могу не сознаться, что на первый раз она встретила меня совсем безучастным. Вероятно, это лежит уже в самой природе человека, что сразу овладевают его вниманием и быстро запечатлеваются в памяти только яркие и пестрые картины. Здесь же все было серо и одноцветно. Нужно частое повторение подобных серых картин, чтобы подействовать на человека путем, так сказать, духовной ассимиляции. Когда серое небо, серая даль, серая окрестность настолько приглядятся человеку, что он почувствует себя со всех сторон охваченным ими, только тогда они всецело завладеют его мыслью и найдут прочный доступ к его сердцу. Яркие картины потонут в изгибах памяти, серые – сделаются вечно присущими, исполненными живого интереса, достолюбезными. Весь этот процесс ассимиляции я незаметно пережил впоследствии, но повторяю: с первого раза деревня, в ее будничном виде, прошла мимо меня, не произведя никакого впечатления.

Главная остановка нам предстояла в Сергиевском посаде, где я тоже до тех пор не бывал. Посад стоял как раз на половине дороги, и матушка всегда оставалась там дольше, нежели на других привалах. Теперь она спешила туда к вечерне. Она не была особенно богомольна, но любила торжественность монастырской службы, великолепие облачений и в особенности согласное, несколько заунывное пение, которым отличался монастырский хор. Я тоже, с своей стороны, горел нетерпением увидеть знаменитую обитель, о которой у нас чуть не ежедневно упоминали в разговорах. По словам матушки, которая часто говорила: «Вот уйду к Троице, выстрою себе домичек» и т. д., – монастырь и окружающий его посад представлялись мне местом успокоения, куда не проникают ни нужда, ни болезнь, ни скорбь, где человек, освобожденный от житейских забот, сосредоточивается – разумеется, в хорошеньком домике, выкрашенном в светло-серую краску и весело смотрящем на улицу своими тремя окнами, – исключительно в самом себе, в сознании блаженного безмятежия…

Мы не доехали трех верст до посада, как уже разнесся удар монастырского колокола, призывавший к вечерне. Звуки доносились до нас глухо, точно треск, и не больше как через пять минут из одиночных ударов перешли в трезвон.

– Говорила, что опоздаем! – пеняла матушка кучеру, но тут же прибавила: – Ну, да к вечерне не беда если и не попадем. Поди, и монахи-то на валу гуляют, только разве кто по усердию… Напьемся на постоялом чайку, почистимся – к шести часам как раз к всенощной поспеем!

Но еще далеко до шести часов мы уже были внутри монастырской ограды.

Дорога, которая вела от монастырских ворот к церкви, была пустынна. Это была широкая аллея, с обеих сторон обсаженная громадными липами, из-за стволов которых выглядывали разные монастырские постройки: академия, крохотные церкви, с лежащими в них под спудом мощами, колодцы с целебной водой и т. д. По местам встречались надгробные памятники, а на половине дороги аллея прервалась, и мы увидели большой Успенский собор. Но по мере того, как время приближалось к всенощной, аллея наполнялась нищими и калеками, которые усаживались по обеим сторонам с тарелками и чашками в руках и тоскливо голосили. Никогда я не видел столько физических уродств, столько выставленных наружу гноящихся язв, как здесь. Я был до такой степени ошеломлен и этим зрелищем, и нестройным хором старческих голосов, что бегом устремился вперед, так что матушка, державшая в руках небольшой мешок с медными деньгами, предназначенными для раздачи милостыни, едва успела догнать меня.

– Ты что, белены объелся, ускакал! – выговаривала она мне, – я и милостыню раздать не успела… Ну, да и то сказать, Христос с ними! Не напасешься на них, дармоедов.

Она перекрестилась и спрятала мешочек в большой ридикюль.

В ожидании всенощной мы успели перебывать везде: и в церквушках, где всем мощам поклонились (причем матушка, уходя, клала на тарелку самую мелкую монету и спешила

скорее отретироваться), и в просвирной, где накупили просвир и сделали на исподней корке последних именные заздравные надписи, и на валу (так назывался бульвар, окружавший монастырскую стену).

Там мы встретили щеголеватых монахов, в шелковых рясах и с разноцветными четками, которые они торопливо перебирали. Монахи были большею частью молодые, красивые, видные и, казалось, полные сознанием довольства, среди которого они жили. Агаша, которая сопровождала нас, даже заметила:

– Ишь раскормили! один к одному!

– Что им делается! пьют да едят, едят да пьют! Ко всенощной да к обедне сходить – вот и вся обуза! – присовокупила, с своей стороны, матушка.

Наместником в то время был молодой, красивый и щеголеватый архимандрит. Говорили о нем, что он из древнего княжеского рода, но правда ли это – не знаю. Но что был он великий щеголь – вот это правда, и от него печать щегольства и даже светскости перешла и на простых монахов.

Но если первое впечатление, произведенное на меня монастырем, было не особенно приятно, то всенощная служба скоро примирила меня с ним. Переход от наружного света делал храм несколько мрачным, но это было только на первых шагах. Чем больше мы подвигались, тем становилось светлее от множества зажженных лампад и свеч; наконец, когда дошли до раки преподобного, нас охватило целое море света. Пело два хора: на правом клиросе молодые монахи, на левом – старцы. Я в первый раз услышал толковое церковное пение, в первый раз понял…

Но в особенности понравилось мне пение старцев. Заунывное, полное старческой скорби, оно до боли волновало сердце…

Матушка плакала и тоненьким голоском подпевала: «Ангельский собор удивися»; я тоже чувствовал на глазах слезы. Одна Агаша, стоя сзади, оставалась безучастной; вероятно, думала: «А про персики-то ведь я и позабыла!»

Между тем у раки беспрерывно шли молебны. До слуха моего долетали слова Евангелия! «Иго бо мое благо, и бремя мое легко есть»… Обыкновенно молебен служили для десяти – двенадцати богомольцев разом и последние, целуя крест, клали гробовому иеромонаху в руку, сколько кто мог. Едва успевали кончить один молебен, как уже раздавалось новое приглашение: «Кому угодно молебен в путь шествующим? пожалуйте!» – и опять набиралась компания желающих. Настала очередь и для нас. Матушка просила отслужить молебен для нас одних и заплатила за это целый полтинник; затем купила скляночку розового масла и ваты «от раки» и стала сбираться домой.

Был девятый час, когда мы вышли из монастыря, и на улицах уже царствовали сумерки. По возвращении на постоялый двор, матушка, в ожидании чая, прилегла на лавку, где были постланы подушки, снятые с сиденья коляски.

От скуки я взял свечку и подошел к стене, которая была сплошь испещрена стихами и прозою. Стихи были и обыкновенные помещицкие:

Все на свете сем пустое,
Богатство, слава и чины!
Было бы винцо простое
Да кусочек ветчины!

– и анакреонтические:

Настя в пяльцах что-то шила,
Я же думал: как мила!
Вдруг иголку уронила
И, искавши, не нашла.
Знать, иголочка пропала!

Так, вздохнувши, я сказал:
Вот куда она попала,
И на сердце указал.

Проза, с своей стороны, гласила:

«Спрасити здешнию хазяйку, каков есть Митрей Михальцоф…»

Но в самый разгар моих литературных упражнений матушка вскочила, как ужаленная. Я взглянул инстинктивно на стену и тоже обомлел: мне показалось, что она шевелится, как живая. Тараканы и клопы повылезли из щелей и, торопясь и перегоняя друг друга, спускались по направлению к полу.

Некоторые взбирались на потолок и сыпались оттуда градом на стол, на лавки, на пол…

– Ты что там подлости на стенах читаешь! – крикнула на меня матушка, – мать живьем чуть не съели, а он вон что делает! Агашка! Агашка! Да растолкай ты ее! ишь, шутовка, дрыхнет! Ах, эти хамки! теперь ее живую сожри, она и не услышит!

Матушка хотела сейчас же закладывать лошадей и ехать дальше, с тем чтобы путь до Москвы сделать не в две, а в три станции, но было уж так темно, что Алемпий воспротивился.

– Раньше трех часов утра и думать выезжать нельзя, – сказал он: – и лошади порядком не отдохнули; да и по дороге пошаливают. Под Троицей, того гляди, чемоданы отрежут, а под Рахмановым и вовсе, пожалуй, ограбят. Там, сказывают, под мостом целая шайка поджидает проезжих. Долго ли до греха!

Матушка взглянула на заветный денежный ящик, на лукошко с персиками, и сдалась.

Решено было, что она со мной перейдет в коляску, и там мы будем ожидать утра.

– Поднимите фордек; может быть, хоть чуточку уснем, – прибавила она, – ты, Агашка, здесь оставайся, персики береги. Да вы, смотрите, поворачивайтесь! Чуть забрезжит свет, сейчас закладывать!

Я уж не помню, как мы выехали. Несколько часов сряду я проспал скрюченный и проснулся уже верст за десять за Сергиевским посадом, чувствуя боль во всем теле.

В то время о шоссе между Москвой и Сергиевским посадом и в помине не было. Дорога представляла собой широкую канаву, вырытую между двух валов, обсаженную двумя рядами берез, в виде бульвара. Бульвар этот предназначался для пешеходов, которым было, действительно, удобно идти. Зато сама дорога, благодаря глинистой почве, до такой степени наполнялась в дождливое время грязью, что образовывала почти непроездимую трясину. Тем не менее проезжих было всегда множество. Кроме Сергиевского посада, этот же тракт шел вплоть до Архангельска, через Ростов, Ярославль, Вологду. Движение было беспрерывное, и в сухое время путешествие это считалось одним из самых приятных по оживлению.

Мне и до сих пор памятна эта дорога с вереницами пешеходов, из которых одни шли с котомками за плечьми и палками в руках, другие в стороне отдыхали или закусывали. Экипажи встречались на каждом шагу, то щеголеватые, мчавшиеся во весь опор, то скромные, едва ползущие на «своих», как наш. Но в особенности памятны села и деревни, встречавшиеся не очень часто, но зато громадные, сплошь обстроенные длинными двухэтажными домами (в каменном нижнем этаже помещались хозяева и проезжий серый люд), в которых день и ночь, зимой и летом, кишели толпы народа. Даже московско-петербургское шоссе казалось менее оживленным, нежели эта дорога, которую я впоследствии, будучи школьником, изучил почти шаг за шагом.

Вечером, после привала, сделанного в Братовщине, часу в восьмом, Москва была уже рукой подать. Верстах в трех полосатые верстовые столбы сменились высеченными из дикого камня пирамидами, и навстречу понесся тот специфический запах, которым в старое

время отличались ближайшие окрестности Москвы.

– Москвой запахло! – молвил Алемпий на козлах.

– Да, Москвой… – повторила матушка, проворно зажимая нос.

– Город… без того нельзя! сколько тут простого народа живет! – вставила свое слово и Агаша, простодушно связывая присутствие неприятного запаха с скоплением простонародья.

Но вот уж и совсем близко; бульвар по сторонам дороги пресекся, вдали мелькнул шлагбаум, и перед глазами нашими развернулась громадная масса церквей и домов…

Вот она, Москва – золотые маковки!

По зимам семейство наше начало ездить в Москву за год до моего поступления в заведение. Вышла из института старшая сестра, Надежда, и надо было приискивать ей жениха. Странные приемы, которые употреблялись с этой целью, наше житье в Москве и тамошние родные (со стороны матушки) – все это составит содержание последующих глав.

Зимние поездки, как я уже сказал в начале главы, были скучны и неприятны. Нас затискивали (пассажиров было пятеро: отец, матушка, сестра, я и маленький брат Коля) в запряженный гусем возок, как сельдей в бочонок, и при этом закутывали так, что дышать было трудно. Прибавьте к этому еще гору подушек, и легко поймете, какое мученье было ехать в такой тесноте в продолжение четырех-пяти часов. Сзади ехали две девушки в кибитке на целой груде клади, так что бедные пассажирки, при малейшем ухабе, стукались головами о беседку кибитки. Остальная прислуга с громоздкою кладью отправлялась накануне на подводах.

Клопами и другими насекомыми ночлеги изобиловали даже более, нежели летом, и от них уже нельзя было избавиться, потому что в экипаже спать зимой было неудобно. К счастию, зимний путь был короче, и мы имели всего три остановки.

У Троицы-Сергия, как и всегда, отстаивали всенощную и служили молебен.

Но молились не столько о благополучном путешествии, сколько о ниспослании сестрице жениха.

XIII. Московская родня. – Дедушка Павел Борисыч

Как сейчас я его перед собой вижу. Тучный, приземистый и совершенно лысый старик, он сидит у окна своего небольшого деревянного домика, в одном из переулков, окружающих Арбат. С одной стороны у него столик, на котором лежит вчерашний нумер «Московских ведомостей»; с другой, на подоконнике, лежит круглая табакерка, с березинским табаком, и кожаная хлопушка, которою он бьет мух. У ног его сидит его друг и собеседник, жирный кот Васька, и умывается.

Дедушке уж за семьдесят, но он скрывает свои года, потому что боится умереть. По этой же причине, он не любит, когда его называют дедушкой, а требует, чтоб мы, внуки и внучки, звали его папенькой, так как он всех нас заочно крестил. Голова у него большая; лицо широкое, обрюзглое, испещренное красными пятнами; нижняя губа отвисла, борода обрита, под подбородком висит другой подбородок, большой, морщинистый, вроде мешка. Одет он неизменно в один и тот же ситцевый, стеганный на вате, халат, который скорее можно назвать капотом. Благодаря этому капоту, его издали можно скорее принять за бабу, нежели за мужчину. Еще рано, всего седьмой час в исходе, но дедушка уж напился чаю и глядит в окно, от времени до времени утирая нос ладонью.

Переулок глухой, и редко-редко когда по мостовой продребезжит легковой извозчик –

калибер[20]. Дедушка следит за ним и припоминает, что такому извозчику намеднись Ипат, его доверенный, из Охотного ряда до Арбата гривенник дал.

– И вся-то цена пятачок, а он гривенник… эхма! – ворчит он: – то-то, чужих денег не жалко!

Но если редки проезжие, то в переулок довольно часто заглядывают разносчики с лотками и разной посудиной на головах. Дедушка знает, когда какой из них приходит, и всякому или махнет рукой («не надо!»), или приотворит окно и кликнет. Например:

– Рыба!

При этом слове кот Васька мгновенно вскакивает на подоконник и ждет, пока рыбник подойдет к кирпичному тротуару и уставит лохань с рыбой на столбике. Во время этой процедуры Васька уже успел соскочить на тротуар и умильно глядит прищуренными глазами на рыбника.

– Почем пара окуней? – спрашивает дедушка.

– Двадцать копеечек.

– Всегда было пятнадцать, а теперь двадцать стало.

– В мясоед оно точно что дешевле, а теперь пост. Опять и рыба какая! Извольте-ка взглянуть.

– Рыба как рыба! Ты говори дело.

Начинается торг: бьются-бьются, наконец кончают на семнадцати копейках. Дедушка грузно встает с кресла и идет в спальню за деньгами. В это время рыбак бросает Ваське крошечную рыбешку. Васька усаживается на все четыре лапки, хватает рыбу и, беспрестанно встряхиваясь, разрывает ее зубами.

– Ишь, плут! – произносит дедушка, любуясь на кота, – с утра уж знает, когда рыбак должен пройти! Настась! а Настась!

Является Настасья, дедушкина «краля», краснощекая и крутобедрая девица лет двадцати двух. Она еще не успела порядком одеться, и темно-русые волосы рассыпались у нее по плечам.

– Что нужно?

– Ничего не нужно; на тебя посмотреть захотелось.

– Вот новости выдумали! Говорите дело: что нужно?

– Возьми рыбу, на кухню отдай.

Настасья с сердцем берет рыбу и удаляется. Дедушка следит за нею глазами.

– Ишь хвостом завиляла… узорешительница![21] – бормочет он.

Разносчики следуют один за другим.

Вот лоточник с вареной патокой; идет и припевает:

Патока и с инбирем,
Варил дядя Семион,
Бабушка Ненила
Кушала, хвалила,

---

20 «Калиберами» назывались извозчичьи дрожки с длинным сиденьем, на котором один пассажир садился верхом, а другой – боком к нему; рессоры были тоненькие, почти сплюснутые. Пролеток в то время еще не существовало. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

21 Анастасия, имя греческое, означает: «Узорешительница». Из старинного месяцеслова. (Прим. М, Е. Салтыкова-Щедрина.)

А дедушка Елизар
Все пальчики облизал…

Вот лоточник с вареной грушей, от которой пахнет кожаным выростком.

Вот и еще с гречневиками, покрытыми грязной холстиной. Лоточник, если его позовут, остановится, обмакнет гречневик в конопляное масло, поваляет между ладонями, чтобы масло лучше впиталось, и презентует покупателю. Словом сказать, чего хочешь, того просишь. Дедушка то крыжовничку фунтик купит, то селедку переславскую, а иногда только поговорит и отпустит, ничего не купивши. В промежутках убьет хлопушкой муху, но так как рука у него дрожит от старости, то часто он делает промахи и очень сердится.

– Нет этой твари хитрее! – разговаривает он сам с собою. – Ты думаешь, наверняка к ней прицелился – ан она вон где! Настась! а Настась!

– Что еще? – слышится издалека.

– Не идет! Мухи, слышь, одолели!

– Ну, и пущай вас едят.

– Ишь ведь… эхма! Васька! украл, шельмец, рыбку у рыбака, съел и дрыхнет, точно и не его дело! А знаешь ли ты, отецкий сын, что за воровство полагается?

Васька лежит, растянувшись на боку, жмурит глаза и тихо мурлычет. Он даже оправдываться в взводимом на него обвинении не хочет. Дедушка отрывает у копченой селедки плавательное перо и бросает его коту. Но Васька не обращает никакого внимания на подачку.

– Тварь, а поди, какое рассуждение имеет! Понимает, отецкий сын, что в перышке от селедки толку мало. Настась! а Настась!

– Ну вас!

– Скоро ли Ипат придет?

– Я почем знаю! Отстаньте, вам говорят!

– Д я с тобой поиграть хотел.

– Играйте с котом… будет с вас. У меня свои игральщики есть!

Дедушка смерть не любит, когда Настасья ему об игральщиках напоминает.

Он сознаёт, что в этом отношении за ним накопилась неоплатная недоимка, и сердится.

– Шельма ты! уж когда-нибудь я тебя… – грозится он.

– Легко ли дело! очень я вас испугалась! А вы отвяжитесь, не приставайте!

Но дедушке уж не до Настасьи. На нос к нему села муха, и он тихо-тихо приближает ладонь, чтоб прихлопнуть ее. Но увы! и тут его ждет неудача: он успел только хлопнуть себя по лицу, но мухи не убил.

К восьми часам является из Охотного ряда Ипат с целой грудой постной провизии. Тут и огурцы, и лук, и соленая судачина, и икра, и т. д.

Ипат – рослый и коренастый мужик, в пестрядинной рубахе навыпуск, с громадной лохматой головой и отвислым животом, который он поминутно чешет.

Он дедушкин ровесник, служил у него в приказчиках, когда еще дела были, потом остался у него жить и пользуется его полным доверием. Идет доклад.

Дедушка подробно расспрашивает, что и почем куплено; оказывается, что за весь ворох заплачено не больше синей ассигнации.

По уходе Ипата, дедушка принимается за «Московские ведомости» и не покидает газеты до самого обеда, читая ее подряд от доски до доски. Во «внутренних известиях» пишут, что такого-то числа преосвященный Агафангел служил литургию, а затем со всех городских колоколен производился целодневный звон. Во «внешних известиях» из Парижа

пишут, что герцогиня Орлеанская разрешилась от бремени дочерью Клементиной. В отделе объявлений дедушка, по старой привычке, больше всего интересуется вызовами к торгам.

Все это давно известно и переизвестно дедушке; ему даже кажется, что и принцесса Орлеанская во второй раз, на одной неделе, разрешается от бремени, тем не менее он и сегодня, и завтра будет читать с одинаковым вниманием и, окончив чтение, зевнет, перекрестит рот и велит отнести газету к генералу Любягину.

Ровно в двенадцать часов дедушка садится за обед. Он обедает один в небольшой столовой, выходящей во двор. Настасья тоже обедает одна в своей комнате рядом со столовой. Происходят переговоры.

– Настась! а Настась! Никак осетрина-то сыровата?

– Ешьте-ка! Нечего привередничать!

– Ты бы сбегала, у повара спросила?

– И спрашивать нечего. Так это вы…

В это время по переулку раздается гром проезжающего экипажа. Настасья стремглав выбегает в залу к окну.

– Кто проехал?

– Офицер. Да молодчик какой!

– А ты и рада!

– Что ж, на вас, что ли, целый день смотреть… есть резон!

– Язва ты, язва!

После обеда дедушка часа два отдыхает; потом ему подают колоду старых замасленных карт, и начинается игра. Дома дедушка играет исключительно в дураки и любит, чтоб ему поддавались. Постоянным партнером ему служит лакей Пахом, с которым старик плутует без всяких стеснений. Подваливает ему непарные тройки и пятки, выбирает из колоды козырей и в конце концов, конечно, побеждает. От удовольствия у него даже живот колышется. Но иногда в игре принимает участие Настасья и уже не позволяет плутовать. Дедушка, оставшись раз или два дураком, прекращает игру и удаляется в спальню, где записывает дневной расход и проверяет кассу.

– Настасья! – кричит он снова, выходя в столовую, где уже кипит самовар.

– Она у ворот сидит, – отвечает Пахом.

– Чего еще не видала! Зови сюда.

Но проходит пять – десять минут, а Настасьи нет. Пахом тоже задержался у ворот. Всем скучно с дедушкой, всем кажется, что он что-то старое-старое говорит. Наконец Настасья выплывает в столовую и молча заваривает чай.

– Что же ты молчишь?

– А что говорить-то!

– Кого видела? С кем амурничала?

– Отвяжитесь вы от меня. Как собаку на цепи держат, да еще упрекают.

– Хочешь крыжовнику?

– Ешьте сами!

Дедушке скучно. Он берет в руку хлопушку, но на дворе уже сумерки, и вести с мухами войну неудобно. Он праздно сидит у окна и наблюдает, как сумерки постепенно сгущаются. Проходит по двору кучер.

– Егор! овса лошадям задавал? – кричит дедушка.

– Иду.

– То-то. Пристяжная словно бы худеть стала. Ты смотри: ежели что, так ведь я…

– Отчего ей худеть! Кажется, я…

– Ну, ступай.

На кухонном крыльце появляется Ипат, зевает и чешет брюхо.

– Ипат! поди сюда! К арбузам давеча не приценялся?

– Арбузов привозных еще нет, а здешние дороги: полтина за штуку.

– Натко!

– Пятиалтынного жалко! ах, эти деньги проклятые! – раздается из Настасьиной комнаты.

– А слива черная почем?

– Сливы недороги, гривенник за сотню.

– А помнишь, в коронацию? за двадцать копеек сотню отдавали – только бери… Ну, ступай! завтра возьми сотенку… да ты поторгуйся! Эхма! любишь ты зря деньги бросать!

Бьет девять часов; дедушка уходит в спальню, снимает халат и ложится спать. День кончен.

Больше десяти лет сидит сиднем дедушка в своем домике, никуда не выезжает и не выходит. Только два раза в год ему закладывают дрожки, и он отправляется в Опекунский совет за получением процентов. Нельзя сказать, что причина этой неподвижности лежит в болезни, но он обрюзг, отвык от людей и обленился.

Изо дня в день его жизнь идет в одном и том же порядке, и он перестал даже тяготиться этим однообразием. Два раза (об этом дальше) матушке удалось убедить его съездить к нам на лето в деревню; но, проживши в Малиновце не больше двух месяцев, он уже начинал скучать и отпрашиваться в Москву, хотя в это время года одиночество его усугублялось тем, что все родные разъезжались по деревням, и его посещал только отставной генерал Любягин, родственник по жене (единственный генерал в нашей семье), да чиновник опекунского совета Клюквин, который занимался его немногосложными делами и один из всех окружающих знал в точности, сколько хранится у него капитала в ломбарде. Зимой, когда в Москву наезжали сын и обе дочери, в маленьком домике становилось люднее, и вечерами по временам даже собирались «гости».

Кроме того, во время учебного семестра, покуда родные еще не съезжались из деревень, дедушка по очереди брал в праздничные дни одного из внуков, но последние охотнее сидели с Настасьей, нежели с ним, так что присутствие их нимало не нарушало его всегдашнего одиночества.

Дедушка происходил из купеческого рода, но в 1812 году сделал значительное пожертвование в пользу армии и за это получил чин коллежского асессора, а вместе с тем и право на потомственное дворянство. Тем не менее купеческая складка и купеческие привычки остались за ним до смерти. Он не любил вспоминать о своем происхождении и никогда не видался и даже не переписывался с родной сестрой, которая была замужем за купцом, впоследствии пришедшим в упадок и переписавшимся в мещане. Говорили, будто дедушка был когда-то миллионером, но что несколько неудачных подрядов, один за другим, пошатнули его состояние настолько, что оно сделалось довольно умеренным. К счастью, он вовремя остановился, ликвидировал дела и зажил тою старозаветною, глухою жизнию, которая до конца осталась его уделом. Но и за всем тем дедушка считался «при хорошем капитале», благодаря таинственности, в которую он облекал свои дела. Поэтому члены семьи раболепно прислуживались и смотрели ему в глаза, стороной выпытывая, много ли у него денег, и с нетерпением выжидая минуту, когда он наконец решится написать завещание. Но старик упорно не делал завещания, потому что был убежден, что вслед за завещанием должна неминуемо последовать смерть.

Дедушкина семья состояла из четырех человек, двоих сыновей и двух дочерей. Но все они смотрели врозь, так что здесь повторялось то же явление, что и в отцовской семье. Только мотивы были иные (дедушкин мешок) и формы лицемернее, потому что старый дед не терпел семейных дрязг. Вообще говоря, несмотря на многочисленность родни, представление о действительно родственных отношениях было совершенно чуждо моему детству. При личных свиданиях происходили целования; за глаза, во всякую свободную минуту, не уставая, сплетничали и обносили друг друга. Исключение составляли тетеньки-сестрицы, но они уже были так придавлены, что поневоле жили смирно.

Старшего дядю, Александра, я не помню: он умер, когда мы еще не начали ездить в Москву. Но из семейных разговоров знаю, что он был человек скромный, хотя простоватый,

и что дедушка его не любил. Вообще в своей семье он был, как говорится, не ко двору, и даже эпитет «простоватый», которым охотно награждали дядю, быть может, означал не столько умственную бедность, сколько отсутствие хищнических наклонностей. А так как «не любить» на нашем семейном языке значило «обидеть», «обделить», то крутой старик, сообразно с этим толкованием, и поступил с старшим сыном. Купил ему небольшой домик для житья, отсчитал сорок тысяч (ассигнациями) и взял с него форменную бумагу, что он родительским благословением доволен и дальнейших претензий на наследство после отца предъявлять не дерзнет.

Александр Павлыч скромно жил в своем маленьком домике с мещанской девицей Аннушкой, которую страстно любил и от которой имел сына. Родных он чуждался; к отцу ездил только по большим праздникам, причем дедушка неизменно дарил ему красную ассигнацию; с сестрами совсем не виделся и только с младшим братом, Григорием, поддерживал кой-какие сношения, но и то как будто исподтишка. Приедет рано утром, когда никого нет, переговорит, о чем нужно, и исчезнет надолго. Очевидно, он инстинктивно боялся брата, как и все вообще члены нашей семьи.

Дядина «сударка» служила предметом общего негодования, точно так же как тощий капитал Александра Павлыча – предметом общих любостяжательных вожделений. У нас ее называли не иначе как к-ой, а сына ее в-м, нимало не стесняясь присутствием детей. Капитал дядин считали пропащим, и, разумеется, в особенности волновалась по этому поводу матушка. Не раз пыталась она сойтись с братом, звала его в Малиновец и даже заискивала в Аннушке, но попытки эти никакого успеха не имели. Нередко за обедом у нас происходили такого рода разговоры.

– Тихоня-тихоня, а подцепил себе б-ку, и живет да поживает! – говорила матушка, – ни отца, ни родных, никого знать не хочет.

– Получил капитал, и любо! – отзывался отец.

– Помяните мое слово, что он и дом и деньги, все своей б… передаст! Да, плакали папенькины денежки!

Или:

– Настька (дедушкина «краля») намеднись сказывала. Ходила она к нему в гости: сидят вдвоем, целуются да милуются. Да, плакали наши денежки!

Положим, что дом-то еще можно оттягать: родительское благословение… Ну, а капитал… фьюить!

– И дом ежели можно оттягать, так не ты оттягаешь, а Гришка-кровопивец. Все ему достанется: и после старика и после брата.

Матушка при этом предсказании бледнела. Она и сама только наружно тешила себя надеждой, а внутренно была убеждена, что останется ни при чем и все дедушкино имение перейдет брату Григорию, так как его руку держит и Настька-краля, и Клюквин, и даже генерал Любягин. Да и сам Гришка постоянно живет в Москве, готовый, как ястреб, во всякое время налететь на стариково сокровище.

Предчувствия ее насчет капитала Александра Павлыча сбылись: ни одного обола не досталось ей из него. С капиталом этим случилась ловкая штука.

Александр Павлыч заранее сделал домашнее завещание, которым отказал все свое имущество Аннушке и ее сыну. Хранил он это в величайшей тайне (впрочем, дядя Григорий, конечно, не имел на этот счет ни малейших сомнений), и всё, казалось, было устроено так, чтобы дядина семья была обеспечена. Но когда дядя умер, лукавый смутил Аннушку. Желала ли она заслужить расположение Григория Павлыча (он один из всей семьи присутствовал на похоронах и вел себя так «благородно», что ни одним словом не упомянул об имуществе покойного), или в самом деле не знала, к кому обратиться; как бы то ни было, но, схоронивши сожителя, она пришла к «братцу» посоветоваться. «Братец» благосклонно ее выслушал и в заключение полюбопытствовал взглянуть на завещание. Затем взял завещание в руки, рассмотрел, убедился в его правильности и… положил его в свой карман.

Аннушка так и ахнула.

– Было завещание, а теперь где оно, – сентенциозно присовокупил «братец».

– Да ведь тут свидетели подписались! я их найду, сошлюсь на них! – возражала Аннушка, ударившись в слезы.

– И свидетели были, и все-таки завещания нет! Было завещание, да покойный брат сам его уничтожил, вот тебе и сказ! – пояснил «братец».

Одним словом, Аннушка, сколько ни хлопотала, осталась ни при чем.

Справедливость требует, однако, сказать, что Григорий Павлыч дал ей на бедность сто рублей, а сына определил в ученье к сапожному мастеру.

– Ты будешь работу работать, – благосклонно сказал он Аннушке, – а сын твой, как выйдет из ученья, тоже хлеб станет добывать; вот вы и будете вдвоем смирнехонько жить да поживать. В труде да в согласии – чего лучше!

В нашей семье известие о том, как Григорий Павлыч «объегорил» Анютку, произвело настоящий фурор.

– Нет, вы представьте себе эту потеху, – восторгалась матушка, – приходит она к нему, как к путному… ах, дура, дура!

– На то и живут на свете дураки, чтоб их учить! – откликался отец.

– Нет, да вы представьте себе эту картину, стоит она перед ним, вытаращивши глаза, покуда он в карман завещание кладет, и думает, что во сне ей мерещится… ах, прах побери да и совсем!

– А все-таки не тебе капитал достался, а Гришка слопал… И стариков капитал он же слопает.

– А она-то, простофиля, чай, думала: буду на свой капитал жить да поживать, и вдруг, в одну секунду… То-то, чай, обалдела!

Даже брат Степан, и тот в восторге воскликнул:

– Вот так каша с маслом!

И матушка не только, не забранила его, но вслед за ним повторила:

– Именно каша, только без масла! Поперхнулась, поди, б…ка этой кашей! Ах, да представьте вы себе…

И по крайней мере недели две сряду за нашим обедом только и слышались восклицания: «Вот так штука! вот так каша! вот так сюрприз!»

Вообще, дядя Григорий Павлыч слыл в семействе «звездою». Все его боялись, начиная со старика деда и кончая женою и детьми. Всегда у него была наготове каверза, и он на практике нередко доказывал, что ни перед чем не отступит. Дедушка в его присутствии притихал, никогда ему не противоречил и даже избегал сложных разговоров, точно опасался, что вырвется какое-нибудь слово, за которое Григорий Павлыч уцепится, чтоб произвести нападение на стариков карман. И действительно, не раз случалось, что любезный сынок, воспользовавшись случайно оброненным словом, втягивал отца в разные предприятия, в качестве дольщика, и потом, получив более или менее крупную сумму, не упоминал ни о деньгах, ни о «доле». Затем матушка и тетенька Арина Павловна бескорыстно лебезили перед ним, говорили ему «вы», называли «братцем» (он же говорил просто: «сестра Анна», «сестра Арина») и посылали ему из деревни всякие запасы, хотя у него и своих девать было некуда. Что касается отца, то он был серьезно убежден, что Гришка – колдун, что он может у кого угодно выманить деньги и когда-нибудь всю родню разорит. Брат Степан дал ему прозвище: «Гришка Отрепьев», за что хотя и получил от матушки щелчок в лоб, но, видимо, только для приличия, без гнева, так что прозвище даже вошло в общее употребление.

Самая внешность Григория Павлыча имела в себе нечто отталкивающее.

Сложен он был плотно, и всегда красное лицо его казалось налитым кровью.

Отдутые, словно обожженные губы, мясистый нос, мутные, ничего не выражающие глаза, навощенные фиксатуаром виски, кок посредине лба – все производило самое неприятное впечатление. Голос у него был хриплый; говорил он с расстановкой, так сказать, безапелляционно. Редко присаживался, почти постоянно ходил взад и вперед по комнате, как маятник, по временам прислоняясь к стене или к окну и складывая ноги ножницами. Одним словом, при самом поверхностном взгляде на этого человека невольно западало в голову, что это воистину стальная душа, ко всему безучастная.

– От него пощады не жди! – говорила матушка, – отец не отец, сестра не сестра – он не посмотрит, всех за грош продаст!

И продаст даже помимо предвзятости, просто потому, что таково было свойство его природы.

Женат он был на бедной пензенской дворянке, которую взял «за красоту».

По-видимому, она когда-то была действительно миловидна, но в описываемое время от бывшей красоты не осталось и следа, и лицо ее выражало только придавленность и испуг. Тем не менее дядя до известной степени дорожил ею, потому что она говорила по-французски и могла не осрамить его в обществе.

Детей у него было четверо и всё сыновья – дядя любил мудреные имена, и потому сыновья назывались: Ревокат, Феогност, Селевк и Помпей – были тоже придавлены и испуганы, по крайней мере в присутствии отца, у которого на лице, казалось, было написано: «А вот я тебя сейчас прокляну!» Когда я зазнал их, это были уже взрослые юноши, из которых двое посещали университет, а остальные кончали гимназию. Учились они отлично, но впоследствии все-таки ничего из них не вышло.

Когда-то Григорий Павлыч служил в Москве надворным судьею, но, достигнув чина статского советника (почти генерал), вышел в отставку. В описываемую пору он торговал деньгами, или, говоря попросту, занимался ростовщичеством. Жил он привольно и по зимам давал званые обеды и вечера, на которые охотно приезжали московские «генералы», разумеется, второго сорта, из числа обладавших Станиславом второй степени, которому в то время была присвоена звезда (но без ленты). Звезда, хотя бы и не особенно доброкачественная, считалась непременным условием генеральства, и я помню действительного статского советника А., который терпел от того, что имел только Анну на шее, вследствие чего ему подавали на званых обедах кушанье после других генералов. Тщетно он волновался и кипятился по этому поводу, даже доказывал, что Анны вторыя «по-настоящему» выше, нежели Станислава вторыя, – обеденный этикет был неумолим.

За Григорием Павлычем следовали две сестры: матушка и тетенька Арина Павловна Федуляева, в то время уже вдова, обремененная большим семейством.

Последняя ничем не была замечательна, кроме того, что раболепнее других смотрела в глаза отцу, как будто каждую минуту ждала, что вот-вот он отопрет денежный ящик и скажет: «Бери, сколько хочешь!»

Все наличные члены семьи держали при дворе дедушки представителей, так что старик не имел платной прислуги (кроме Ипата, который жил, так сказать, «на веру»), но зато был окружен соглядатаями. На прислуге лежало наблюдение за дедушкиным здоровьем и за всем происходившим в его доме, а также доведение о результатах наблюдений до сведения подлежащих господ. «В случае чего, сейчас же гонца слать!» – таков был общий лозунг. Матушка не была особенно удачлива в этом отношении: ей досталось на долю поставить отцу повара и людскую кухарку, которые только стороной могли узнавать о происходившем. Дядя Григорий Павлыч был более счастлив: он приставил к дедушке камердинера Пахома, который имел доступ в спальню и, следовательно, мог отчасти наблюсти, куда старик прячет деньги. Но всего благосклоннее была судьба к тетеньке Арине Павловне: она дала ей возможность предоставить дедушке «кралю», ту самую Настасью, с которою я уже познакомил читателя.

Я помню, что когда умерла старая дедушкина «краля», то в нашем доме произошла

целая революция. Нарочный гонец привез эту скорбную весть в Малиновец, и застал всех врасплох. Началась беготня, суета. Матушка едва не захворала. Но времени терять было некогда, и она занялась выбором по деревням самых красивых девушек, которые должны были пленить старика. Но ей не посчастливилось. Покуда в Малиновце разыскивали девиц, мыли, скоблили и обряжали, тетенька Арина Павловна уже выполнила трудную миссию так быстро и ловко, что все соперничающие стороны остались за флагом. Настасья была водворена, и привезенную малиновецкую красавицу даже не пустили на глаза дедушке.

Предполагаемый дедушкин капитал составлял центр тяжести, к которому тяготело все потомство, не исключая и нас, внуков. Все относились к старику как-то загадочно, потому что никто, повторяю, не знал достоверно размеров сокровища, которым он обладал. Поэтому наперсница Настасья и чиновник Клюквин служили предметом всевозможных ласкательств.

Всякому хотелось узнать тайну; всякий подозревал друг друга, а главное, всякий желал овладеть кубышкой врасплох, в полную собственность, так чтоб другим ничего не досталось. Это клало своеобразную печать на семейные отношения. Снаружи все смотрело дружелюбно и даже слащаво; внутри кипела вражда. По-видимому, дядя Григорий Павлыч был счастливее сестер и даже знал более или менее точно цифру капитала, потому что Клюквин был ему приятель.

Наконец, однако ж, матушка была обрадована. Дедушка писал ей, что согласен прогостить полтора или два летних месяца в Малиновце, а Настасья с тем же посланным наказывала, чтобы к 10-му июня выслали за стариком экипаж и лошадей.

Надежды матушки оживились. В доме поднялась суета, чистка, мытье.

Выбрали для дедушки на парадной половине дома большую и уютную комнату; обок с нею, в диванной, поставили перегородку и за нею устроили спальню для Настасьи. На дворе, у девичьего крыльца, проветривались перины, подушки, одеяла, и появились две кровати: одна, двухспальная под орех, предназначалась для дедушки; другая, попроще, для Настасьи. Их осматривали до малейшей щелки и ошпаривали кипятком всякую нечисть. Стены в обеих комнатах и мебель тоже тщательно вычистили. Приготовив все, заперли комнаты на ключ и подоткнули двери снизу войлоком, чтоб какой-нибудь праздношатающийся клопик не мог заползти в заповедную область.

Даже для дедушкина камердинера Пахома отвели нечто вроде собственного угла, в чулане, и поставили туда кровать. Для услуг Настасье предназначили особую девушку.

Это была серьезная победа в глазах матушки, потому что, не дальше как за год перед тем, дед вовсе было склонился на сторону дяди Григория Павлыча, даже купил пополам с ним имение под Москвой и отправился туда на лето. Но любимый сын не сумел воздержаться от грубых выходок. Он не только не уступил старику, хоть бы по наружности, главенства, но всячески и на каждом шагу ограничивал его. Наконец, произошел такой случай. Дедушка приказал с утра наловить в пруде карасей для завтрака, а дядя, увидев рабочих, идущих с неводом, отменил приказание и послал людей на сенокос.

Подали завтрак – карасей нет. Дедушка смолчал, но после завтрака сейчас же велел запрягать лошадей и, как ни упрашивал его Григорий Павлыч, уехал в половине лета в Москву. После этого на всю зиму между отцом и сыном установились холодные отношения.

– Карасей пожалел для родного отца! – негодовала матушка, когда до нее дошла весть об этом происшествии. – Да и карасей-то не своих, а собственных папенькиных! Да я бы не только карасей, а все: и ягоды, и фрукты, и печеночки, и соченьков с творожком…[22] словом, все бы – только, папенька, кушайте на здоровье!

Семья наша торжествовала. Даже мы, дети, радовались приезду дедушки, потому что при нем обязательно предполагалась хорошая еда и нас неудобно было держать впроголодь.

---

22 Особого рода кушанье, вроде сдобных блинов, сложенных вдвое и начиненных творогом. В детстве сочни казались мне чрезвычайно вкусными, но в настоящее время едва ли найдется желудок, способный их переварить. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

– Теперь мать только распоясывайся! – весело говорил брат Степан, – теперь, брат, о полотках позабудь – баста! Вот они, пути провидения! Приехал дорогой гость, а у нас полотки в опалу попали. Огурцы промозглые, солонина с душком – все полетит в застольную! Не миновать, милый друг, и на Волгу за рыбой посылать, а рыбка-то кусается! Дед – он пожрать любит – это я знаю! И сам хорошо ест, и другие чтоб хорошо ели – вот у него как!

Вообще, Степан, как наиболее голодный, радовался больше других; у него были планы даже насчет Настасьи.

– Надо помогать матери, – болтал он без умолку, – надо стариково наследство добывать! Подловлю я эту Настьку, как пить дам! Вот ужо пойдем в лес по малину, я ее и припру! Скажу: «Настасья! нам судьбы не миновать, будем жить в любви!» То да сё… «с большим, дескать, удовольствием!» Ну, а тогда наше дело в шляпе! Ликуй, Анна Павловна! лей слезы, Гришка Отрепьев!

Словом сказать, малиновецкий дом оживился. Сенные девушки – и те ходили с веселыми лицами, в надежде, что при старом барине их не будут томить работой. Одно горе: дедушка любил полакомиться, а к приезду его еще не будет ни ягод, ни фруктов спелых.

– Ну, как-нибудь вареньицем до ягод пробьемся! – тужила матушка, – слава богу, что хоть огурчиков свеженьких в парнике вывести догадались. И словно меня свыше кто надоумил: прикажи да прикажи садовнику, чтоб огурцы ранние были! Ан и понадобились.

И вот, в половине июня (мы, дети, уже собрались в это время в деревню из заведений на каникулы), часу в седьмом вечера, на дороге, ведущей в Москву, показалась из-за леса знакомая четвероместная коляска, а через несколько минут она была уже у крыльца. Разумеется, все домочадцы высыпали навстречу. Но дедушка был утомлен; он грузно вылез из экипажа, наскоро поздоровался с отцом, на ходу подал матушке и внучатам руку для целования и молча прошел в отведенную ему комнату, откуда и не выходил до утра следующего дня.

Матушка частенько подходила к дверям заповедных комнат, прислушивалась, но войти не осмеливалась. В доме мгновенно все стихло, даже в отдаленных комнатах ходили на цыпочках и говорили шепотом. Наконец часов около девяти вышла от дедушки Настасья и сообщила, что старик напился чаю и лег спать.

Нельзя сказать, чтобы Настасья отличалась красотой. Лицо у нее было широкое, плоское, ничего не выражающее, глаза небольшие и мутные; челюсти и скулы выдались, как у калмычки. Но румяные щеки, высокий рост, могучая спина и крутые бедра подкупали. Впрочем, дед был непривередлив по части женской красоты, и прежнюю его кралю, как я слышал, можно было даже назвать почти безобразною. Тем не менее и она имела на старика громадное влияние, так как последний, по-видимому, красоты не понимал, а ценил только женщину, в тесном смысле слова.

Матушка тотчас же увела Настасью в свою спальню, где стоял самовар, особый от общего, и разного рода лакомства. Она тщательно заперла дверь, чтоб никто не помешал взаимным дружеским излияниям. Мы, дети, не шевелясь, столпились в дверях соседней комнаты, как будто чего-то выжидая, хотя, конечно, и сами не могли бы сказать, чего именно. Даже строгая Марья Андреевна (она продолжала жить у нас ради младшего брата Николая) и та стояла сзади в выжидательном положении, совершенно позабыв, что ей, по обязанности гувернантки, следовало бы гнать нас. Брат Степан, однако ж, не вытерпел, подкрался к двери спальни и стал подслушивать. Его больше всего на свете – хотя вполне

бескорыстно – интересовал вопрос о наследствах вообще, а в том числе и вопрос о наследстве после старика.

– Чай сбираются пить… мать вареньем потчует! – едва доходил до нас через комнату его шепот.

– Тсс… о наследстве говорят! – наконец почти громко возвестил он, – сыну моему, Гришке Отрепьеву, сто тысяч; дочери моей Анне, за ее ко мне любовь…

Но матушка уже догадалась, что Степка-балбес подслушивает. Дверь спальни с шумом отворилась; мы моментально исчезли, и Степан получил возмездие, впрочем, довольно умеренное, так как при дорогой гостье настоящим образом драться было совестно.

– Ничего, – утешал себя Степан, – так, легонького шлепка дала. Не больно. Небось, при Настьке боится… Только вот чуть носа мне не расквасила, как дверь отворяла. Ну, да меня, брат, шлепками не удивишь!

Когда мы сидели за ужином, матушка беспрерывно выбегала из-за стола, чтобы справиться у Настасьи, (ей поставили особый прибор в диванной), всего ли ей дали.

– Ты требуй! – говорила она, – чего только вздумается, всего требуй! Ты папеньку покоишь, а я тебя должна успокоить.

В заключение, когда настало время спать, матушка при себе велела горничной уложить «кралю» на ночь и довольно долго сидела у ней на кровати, разговаривая шепотом.

С следующего утра начался ряд дней, настолько похожих друг на друга и по внешней форме, и по внутреннему содержанию, что описать один из них – значит дать читателю понятие о всем времени, проведенном в Малиновце старым дедом. Это я и попытаюсь сделать.

Утро; часы в спальне едва показывают шесть, а самовар уж кипит в столовой, и дедушка, в стеганом халате, сидит на балконе, выходящем из гостиной в сад. Перед ним стоит столик, на котором поставлена большая чашка с только что принесенным чаем. Против него, в холстинковой блузе, расположилась матушка. Она уж поздоровалась с «кралей», расспросила ее, покойно ли спать было, не кусали ли клопики, и, получив в ответ, что словно в рай попала, приказала подать ей чаю, сама налила сливочек с румяными пенками и отправилась потчевать отца.

– Папенька! с лимончиком или со сливочками?

– С лимоном. Прежде, как свою корову держали, пивал со сливками, а нынче безо всего пью. Лимоны-то, поди, кусаются?

– Я, папенька, ящиком в Москве купила; за сотню двадцать пять рубликов отдала.

– Легко ли дело! А коли десятками покупать – и все три рубля отдашь. Сказывают, в Петербурге лимоны дешевы. У нас икра дешева, а в Петербурге – апельсины, лимоны. А в теплых землях, чу, и совсем они ни по чём.

– Правду пословица говорит: за морем телушка полушка, да рубль перевоз. Зато там хлеб дорог.

– Да, хлеб. Без хлеба тоже худо. Хлеб, я тебе скажу, такое дело: нынче ему урожай, а в будущем году семян не соберешь. Либо град, либо засуха, либо что. Нынче он шесть рублей четверть, а в будущем году тридцать рублей за четверть отдашь! Поэтому которые хозяева с расчетом живут, те в урожайные года хлеба не продают, а дождутся голодухи да весь запас и спустят втридорога.

– Я, папенька, в третьем году, как бескормица была, и по сорока рублей за четверть мужичкам продавала.

– Ну вот. И давали, потому мужику есть надобно, а запасу у него нет.

Расчетливый хозяин тут его и пристигнет. Вынь да положь.

– Хорошо, папенька, коли у кого деньги свободные на прожиток есть. А кто в деньгах нуждается, поневоле будет и в дешевое время хлеб продавать.

– Об том-то я и говорю, Коли с расчетом хозяин живет – с деньгами будет, а без расчета – никогда из нужды не выйдет.

Дедушка на минуту умолкает, шумно дует в блюдечко и пьет чай.

– Во время француза, – продолжает он, возвращаясь к лимонам (как и все незанятые люди, он любит кругом да около ходить), – как из Москвы бегали, я во Владимирской губернии у одного помещика в усадьбе флигелек снял, так он в ранжерее свои лимоны выводил. На целый год хватало.

– Тсс…

– Лимоны-то у него были, а хлеб плохо родился. Весь навоз на сады да на огороды изводил. Арбузы по пуду бывали. Вот ты и суди.

– Нынче, папенька, такие помещики уж редко встречаются.

– Нет, и нынче, особливо, которые в предводители охотятся. Годков пять поколобродит: апельсины, лимоны… а спустя время, смотришь, имение-то с аукциона продают. И у вас, поди, ранжереи водятся?

– Грешный человек, папенька. Люблю полакомиться.

– Ну, вот видишь. И все мы любим; и я люблю, и ты любишь. Как с этим быть!

Дедушка обращается лицом к саду и вдыхает душистый воздух.

– А хорошо здесь пахнет, сладко! – говорит он, – Это, папенька, сирень цветет. Очень от нее дух приятный.

– Не дешево, чай, развести стоило?

– Ах, что говорить! Тоже не плошь того помещика! Чем бы хлеба больше сеять, а я сады развожу.

– Ну, ты не прогадаешь. Ежели с умом жить, можно и на хозяйство и на сады уделить. На хозяйство часть, на сады – часточку. Без чего нельзя, так нельзя.

– Жалко вот, что к приезду вашему ни фрукты, ни ягоды не поспели. Полакомиться вам, папенька, нечем.

– И без лакомства проживу, Все в свое время. В Москве, впрочем, уж показалась земляница шпанская; только в лавках, а лоточники еще не продают. В теплицах, слышь, раннюю выводят.

– Дорога, чай?

– Ну, уж само собой.

Дедушка зевает, крестит рот и поглядывает в гостиную, где лакей расставляет ломберный стол для предстоящей карточной игры.

– Папенька! в карточки? – предлагает матушка.

Дедушка, молча встает с кресла и направляется в комнаты. Он страстно любит карты и готов с утра до вечера играть «ни по чем». Матушка, впрочем, этому очень рада, потому что иначе было бы очень трудно занять старика.

Устраивается вист; партию дедушки составляют: Марья Андреевна, брат Степан и матушка, которая, впрочем, очень часто уходит, оставляя вместо себя Гришу или меня. Мы все, с молодых ногтей, привыкли к картам и так страстно любим играть, что готовы ради карт пожертвовать гуляньем. Даже маленький Коля – и тот безотходно стоит сбоку у кого-нибудь из игроков и следит за игрой. Поэтому приезд деда составляет для нас сущий праздник, который, впрочем, отчасти смущается тем, что дедушке непременно надобно поддаваться. Ежели он проигрывает и даже если ему сдают дурные карты, то он обижается, молча оставляет игру и уходит к себе в комнату. Матушка знает это и, сдавая, очень ловко подбрасывает ему козырей, а старик в это время притворяется, что глядит в сторону.

Вист, робер за робером, без перерыва длится до девяти часов. Дедушка играет молча, медленно выбрасывая на стол карты, и после каждой игры тщательно записывает выигрыш. Проигрыша у него не бывает, разве что на брата Степана найдет озорной стих, и он начнет взаправду играть. Но матушка так на него взглянет, что охота колобродить мгновенно улетучивается, и в результате старик остается бессменным победителем. Покуда мы играем, и отец выходит из кабинета, но остается в гостиной недолго. И тесть и зять относятся друг к другу нельзя сказать, чтоб враждебно, но равнодушно; по-видимому, не находят предмета для разговора. Поэтому карты оказывают обоим большую услугу, освобождая от обязанности занимать друг друга.

Ровно в девять часов в той же гостиной подают завтрак. Нынче завтрак обязателен и представляет подобие обеда, а во время оно завтракать давали почти исключительно при гостях, причем ограничивались тем, что ставили на стол поднос, уставленный закусками и эфемерной едой, вроде сочней, печенки и т. п. Матушка усердно потчует деда и ревниво смотрит, чтобы дети не помногу брали. В то же время она накладывает на тарелку целую гору всякой всячины и исчезает с нею из комнаты.

– Это она Настьке понесла, – шепчет Степан, завистливо следя за движениями матушки, – неужто эта шельма экую прорву уплетет!

Между тем дедушка, наскоро поевши, уже посматривает на ломберный стол.

Игра возобновляется и тем же порядком длится до самого обеда, который подают, сообразуясь с привычками старика, ровно в двенадцать часов.

За обедом дедушка сидит в кресле возле хозяйки. Матушка сама кладет ему на тарелку лучший кусок и затем выбирает такой же кусок и откладывает к сторонке, делая глазами движение, означающее, что этот кусок заповедный и предназначается Настасье. Происходит общий разговор, в котором принимает участие и отец.

– Летом оттого тепло, – поучает дедушка: – что солнце на небе долго стоит; оно и греет. А зимой встанет оно в девять часов, а к трем, смотри, его уже и поминай как звали. Ну, и нет от него сугреву.

– Даже и летом, – подтверждает отец, – ежели долгое время ненастье стоит, тоже становится холоднее. Иногда и в июле зарядит дождь, так хоть ваточный сюртук надевай.

– Солнца нет – оттого и воздух холодает.

– Это, батюшка, справедливо.

– Или опять: войди ты в лес – прохладно; выдь из лесу в поле – пот с тебя градом льет. Нужды нет, что в поле ветром тебя обдувает, а все-таки жарко.

– И ветер-то, батюшка, от солнышка теплый.

– Да, солнцем его прожаривает. Я в двенадцатом году, во Владимирской губернии, в Юрьевском уезде, жил, так там и в ту пору лесов мало было.

Такая жарынь все лето стояла, что только тем и спасались, что на погребицах с утра до вечера сидели.

– Да, чудны дела господни! Все-то господь в премудрости своей к наилучшему сотворил. Летом, когда всякий злак на пользу человеку растет, – он тепло дал. А зимой, когда нужно, чтобы землица отдохнула, – он снежком ее прикрыл.

– А француз в ту пору этого не рассчитал. Пришел к нам летом, думал, что конца теплу не будет, ан возвращаться-то пришлось зимой. Вот его морозом и пристигло.

– И все оттого что зимой солнышко короткое время светит. Постоит на небе часов пять – и нет его.

– Оттого. Много в ту пору француз русским напакостил. Города разорил, Москву сжег. Думал, что и бога-то нет, ан бог-от вот он. Насилу ноги уплел.

– Даже песню в то время певали, как он бежал-то от нас, – припоминает матушка.

Бонапарту не до пляски,
Растерял свои подвязки,
И кричит: пардон!

– И ништо ему. Легко ли дело, сколько времени колобродил! Только и слов у всех было на языке: Бонапарт да Бонапарт!

– А из себя какой был мизерный! так, каплюшка – плюнуть да растереть!

– Мала птичка, да ноготок востер. У меня до француза в Москве целая усадьба на Полянке была, и дом каменный, и сад, и заведения всякие, ягоды, фрукты, все свое. Только птичьего молока не было. А воротился из Юрьева, смотрю – одни закопченные стены стоят. Так, ни за нюх табаку спалили. Вот он, пакостник, что наделал!

Дедушка вздыхает; настает минута общего молчания.

– Или опять, – вновь начинает старик, переходя к другому сюжету, – видим мы, что река назад не течет, а отчего? Оттого, что она в возвышенном месте начинается, а потом все вниз, все вниз течет. Назад-то ворочаться ей и неспособно. Коли на дороге пригорочек встретится, она его обойдет, а сама все вниз, все вниз…

– И тут господни пути. Однако в песне поется: «На горах станут воды»…

– Это, стало быть, про колодцы. Вот в Мытищах, например: место высокое, а вся Москва из тамошних колодцев водой продовольствуется.

– Да и вода-то какая! чистая-чистая… словно слеза! – подтверждает матушка.

– И вода хороша, и довольно ее. Сегодня препорция наплывет, а завтра опять такая же препорция. Было время, что и москворецкой водой хвалились: и мягка и светла. А пошли фабрики да заводы строить – ну, и смутили.

Подают жареную телятину, матушка потчует:

– Теленочек-то, папенька, поенный! для вас нарочно приготовила. Любовинки прикажете?

– Что потчуешь! все мне да мне – ты и Василия Порфирыча не обижай.

– Он здесь хозяин, и сам, что ему любо, выберет, а вы уж позвольте. Знаю я, что вы до любовинки охотник. Вот, кажется, хороший кусочек?

Новое молчание, в продолжение которого раздается стук ножей и вилок.

– Вот хоть бы насчет телят, – говорит дедушка, – и телята бывают разные. Иной пьет много, другой – мало. А иногда и так бывает: выпьет теленок целую прорву, а все кожа да кости.

– Скотницы, папенька, в этом частенько причинны бывают.

– Скотницы – сами собой, а иной раз и в самом теленке фальшь. Такая болезнь бывает, ненаедом называется. И у лошадей она бывает. У меня, помню, мерин был: кормили его, кормили – все шкелет шкелетом. Так и продали на живодерню.

– У нас в вотчине мужичок этой болезнью страдал, так всю семью по миру пустил.

– И пустишь!

– Не дай бог как эти болезни привяжутся, – замечает отец, который в последнее время стал сильно недомогать.

– Да, болезни ни для кого не сладки и тоже бывают разные. У меня купец знакомый был, так у него никакой особливой болезни не было, а только все тосковал. Щемит сердце, да и вся недолга. И доктора лечили, и попы отчитывали, и к угодникам возили – ничего не помогло…

– Может быть, с глазу, или сила в нем… нечистая… – догадывается матушка.

– Может быть.

– У нас, на селе, одна женщина есть, тоже все на тоску жалуется. А в церкви, как только «иже херувимы» или причастный стих запоют, сейчас выкликать начнет. Что с ней ни делали: и попа отчитывать призывали, и староста сколько раз стегал – она все свое. И представьте, как начнет выкликать, живот у нее вот как раздует. Гора горой.

– Нечистый, стало быть, вон из утробы просится, – шутит дедушка.

– Уж и не знаю. Бились мы, бились с ней, так и отступились. Ни на барщину не гоняют, ни на свою работу не ходит; сидит дома белоручкой.

К концу обеда дедушка слегка совеет и даже начинает дремать. Но вот пирожное съедено, стулья с шумом отодвигаются. Дедушка, выполнивши обряд послеобеденного целованья (матушка и все дети подходят к его руке), отправляется в свою комнату и укладывается на отдых.

Покуда старик спит, матушка ни на минуту не остается бездеятельною.

Она усаживается с Настасьей в гостиную (поближе к дедушкиной комнате) и ведет с ней оживленную беседу, которая доходит и до нашего слуха.

– Сказывай, сударка, как это вы надумали к нам ехать? – предлагает вопрос матушка.

– Я упросила; ему бы ни в жизнь в голову не пришло. Который, говорю, год вас ждут, а вы все не едете.

– Ну, спасибо, спасибо тебе, голубка!

– Только Григорий Павлыч очень уж рассердился, как узнал! Приехал из подмосковной, кричит: «Не смейте к Затрапезным ездить! запрещаю!» Даже подсвечником замахнулся; еще немного – и лоб старику раскроил бы!

– Это отцу-то родному! Что ж папенька?

– Ничего. «Ну, убей меня! – говорит, – убей».

– Ишь ведь родительское-то сердце! сын на убивство идет, а старичок тихо да кротко: «Ну, что ж, убей меня! убей!» От сына и муку и поруганье – все принять готов!

– Мы от страху ни живы, ни мертвы стоим, а он-то куражится, он-то куражится! «Я, говорит, это Анютке припомню!» Уж ругал он, ругал вас, сударыня, то есть самыми рассквернымисловами ругал!..

– Ну, брань на вороту не виснет, лишь бы…

Матушка однако ж задумывается на минуту. Брань брата, действительно, не очень ее трогает, но угроз его она боится. Увы! несмотря на теперешнюю победу, ее ни на минуту не покидает мысль, что как бы она ни старалась и какое бы расположение ни выказывал ей отец, все усилия ее окажутся тщетными, все победы мнимыми и стариково сокровище неминуемо перейдет к непочтительному, но дорогому сыну.

– И как только он уехал, сейчас же Павел Борисыч сели письмо к вам писать…

– Спасибо тебе! спасибо! Ну, а насчет того…

Матушка боится произнести слово: «завещание», но Настасья угадывает его.

– Это насчет завещанья, что ли? – говорит она, – уж и не знаю…

Призывали они Клюквина в тот вечер, как у них с Григорьем Павлычем перепалка была, и шептались с ним в кабинете…

– Ну?

– Должно быть, про завещанье.

– Ах, кабы!

– А вы бы, сударыня, их попросили!

– Ах, что ты! Да он меня так турнет, так турнет! Вот кабы ты…

– И то заговаривала, да сама не рада была. Чуть из дома не выгнал.

– Ах, папенька, папенька! всем-то он хорош, только вот…

– А вы, сударыня, не очень себя тревожьте! Бог милостив, вдруг вздумает, возьмет да и напишет. Да неужто ж без завещания вам ничего не достанется? Не бессудная, чай, земля?

– То-то что… И земля не бессудная, да и я, и сестра Ариша – обе мы отделенные. И бумагу с нас папенька взял.

– Вы бы не давали бумаги.

– Как бы я не дала! Мне в ту пору пятнадцать лет только что минуло, и я не понимала, что и за бумага такая. А не дала бы я бумаги, он бы сказал: «Ну, и нет тебе ничего! сиди в девках!» И то обещал шестьдесят тысяч, а дал тридцать. Пытал меня Василий Порфирыч с золовушками за это тиранить.

– Ах, грех какой!

– Да, близок локоть, да не укусишь. По крайней мере, капитал-то у старичка как велик?

– И насчет капитала они скрывают. Только и посейчас все еще копят. Нет-нет да и свезут в Совет. Скупы они очень сделались. День ото дня скупее. Сказывал намеднись Григорья Павлыча лакей, будто около миллиона денег найдется.

– Этот откуда узнал?

– Барыня ихняя, слышь, за столом разговаривала. Григорий-то Павлыч дома не обедал, так она язык и распустила. «Верно, говорит, знаю, что у старика миллион есть!»

Слово «миллион» повергает матушку в еще большую задумчивость. Она долгое время молча смотрит в окно и барабанит рукой по столу, но в голове у нее, очевидно, царит одно слово: «миллион!»

– Да ты постарайся! – произносит она, наконец, – просто приди к нему и скажи: «Я вас утешаю, и вы меня утешьте!»

– А что в самом деле! и то скажу!

– Так и скажи. А уж я тебя, ежели… ну, просто озолочу! Помни мое слово! Только бы мне…

– Что вы, сударыня! разве я из интереса…

– Говорю тебе: озолочу! постарайся!

Однообразно и бесконечно тянется этот разговор, все кружась около одной и той же темы. Перерыв ему полагает лишь какое-нибудь внешнее событие: либо ключница покажется в дверях и вызовет матушку для распоряжений, либо Настасье почудится, что дедушка зевнул, и она потихоньку выплывет из комнаты, чтобы прислушаться у дверей стариковой спальни.

В три часа дедушка опять в гостиной. Мы, дети, смирно сидим на стульях около стен и ждем, что сейчас начнется игра.

– Папенька! в карточки, покуда десерт подают? – предлагает матушка.

– Довольно, – отказывается на этот раз дедушка, к великому нашему огорчению.

– Так уж вы меня, папенька, извините, я пойду, распоряжусь…

– Ступай.

Дедушка некоторое время сидит молча и зевает. Наконец обращается к нам:

– Ну что, учитесь?

– Учимся, папенька.

– Ты, Степан, в котором классе?

– Я, папенька, в старший нынче перешел; в будущем году в университет поступлю.

– Учишься-то ты хорошо, да ведешь себя плохо, озоруешь. Мать на тебя жалуется.

– Я, папенька, кажется…

– Тебе «кажется», а она, стало быть, достоверно знает, что говорит. Родителей следует почитать. Чти отца своего и матерь, сказано в заповеди. Ной-то выпивши нагой лежал, и все-таки, как Хам над ним посмеялся, так бог проклял его. И пошел от него хамов род. Которые люди от Сима и Иафета пошли, те в почете, а которые от Хама, те в пренебрежении. Вот ты и мотай себе на ус. Ну, а вы как учитесь? – обращается он к нам.

– Мы – слава богу, папенька.

– Слава богу – лучше всего, учитесь. А отучитесь, на службу поступите, жалованье будете получать. Не всё у отца с матерью на шее висеть. Ну-тко, а в которой губернии Переславль?

– Во Владимирской, папенька.

– Два Переславля! один во Владимирской, другой – в Полтавской.

Мне хочется возразить, что в Полтавской Переяславль, но, зная, что дедушка не любит возражений, я воздерживаюсь.

– А Спассков целых три, – прибавляет дедушка, – на экзамене, поди, спросят, так надо знать. А ну-тко, Григорий, прочти: «И в духа святаго…»

Гриша читает.

– Так. А папа римский иначе читать велит: «иже от отца и сына исходящего». Вот и толкуй с ним.

Приносят десерт. Ежели лето в разгаре, то ставят целые груды ягод, фруктов, сахарного гороха, бобов и т. д. Матушка выбирает что получше и потчует дедушку; затем откладывает лакомства на особые тарелки и отсылает к Настасье. Детям дает немного, да и то преимущественно гороху и бобов.

– Вы свои! успеете полакомиться! – приговаривает матушка, раскладывая лакомство по тарелкам, и при этом непременно обделяет брата Степана.

Дедушка кушает с видимым удовольствием и от времени до времени прерывает процесс еды замечаниями вроде:

– Ягоды разные бывают. Иная и крупна, да сладости в ней нет; другая и поменьше, а сладка.

– Это как годом, – подтверждает матушка.

– То-то я и говорю. Иной раз дождей много… И т. д.

А в заключение непременно похвалит:

– Хороши у вас фрукты. Похаять нельзя.

– А коли нравятся, так и еще бы покушали!

– Будет.

Тем не менее, матушка откладывает на тарелку несколько персиков и абрикосов и уносит их в дедушкину спальню, на случай, если б старик пожелал на ночь покушать.

– А нам по персичку да по абрикосику! – шепотом завидует брат Степан. – Ну, да ведь я и слямзить сумею.

С этими словами он развязно подходит к столу, берет персик и кладет в карман. Дедушка недоумело смотрит на него, но молчит.

В начале шестого подают чай, ежели время вёдреное, то дедушка пьет его на балконе. Гостиная выходит на запад, и старик любит понежиться на солнышке. Но в сад он, сколько мне помнится, ни разу не сходил и даже в экипаже не прогуливался. Вообще сидел сиднем, как и в Москве.

Время между чаем и ужином самое томительное. Матушка целый день провела на ногах и, видимо, устала. Поэтому, чтоб занять старика, она устраивает нечто вроде домашнего концерта. Марья Андреевна садится за старое фортепьяно и разыгрывает варьяции Черни. Гришу заставляют петь: «Я пойду-пойду косить…» Дедушка слушает благосклонно и выражает удовольствие.

– Изрядно, – хвалит он Гришу, – только зачем тужишься и губы оттопыриваешь?

– Ну, папенька, он еще молоденек. И взыскать строго нельзя, – оправдывает матушка своего любимца. – Гриша! спой еще… как это… «на пиру», что ли… помнишь?

Гриша поет:

Не дивитесь, друзья,
Что не раз
Между вас
На пиру веселом я
Призадумывался…

– Ладно, – поощряет дедушка, – выучишься – хорошо будешь петь. Вот я смолоду одного архиерейского певчего знал – так он эту же самую песню пел… ну, пел! Начнет тихо-тихо, точно за две версты, а потом шибче да шибче – и вдруг октавой как раскатится, так даже присядут все.

– Дарованье, значит, бог ему дал.

– Да, без дарованья в ихнем деле нельзя. Хошь старайся, хошь расстарайся, а коли нет дарованья – ничего не выйдет.

Репертуар домашних развлечений быстро исчерпывается. Матушка все нетерпеливее и нетерпеливее посматривает на часы, но они показывают только семь. До ужина остается еще добрых полтора часа.

– Папенька! в дурачки? – предлагает она.

– В дураки – изволь.

Дедушка садится играть с Гришей, который ласковее других и тверже знает матушкину инструкцию, как следует играть со стариком.

Наконец вожделенный час ужина настает. В залу является и отец, но он не ужинает вместе с другими, а пьет чай. Ужин представляет собою повторение обеда, начиная супом и кончая пирожным. Кушанье подается разогретое, подправленное; только дедушке к сторонке откладывается свежий кусок.

Разговор ведется вяло; всем скучно, все устали, всем надоело. Даже мы, дети, чувствуем, что масса дневных пустяков начинает давить нас.

– Другие любят ужинать, – заговаривает отец, – а я так не могу.

– Мм… – отзывается дедушка и глядит на своего собеседника такими глазами, словно в первый раз его видит.

– Я говорю: иные любят ужинать… – хочет объяснить отец.

– Любят… – машинально повторяет за ним дедушка.

Бьет девять часов. Свершилось. Дедушкин день кончен.

Матушка, дождавшись, покуда старика кладут спать, и простившись с Настасьей, спешит в свою спальню. Там она наскоро раздевается и совсем разбитая бросается в постель. В сонной голове ее мелькает «миллион»; губы бессознательно лепечут: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его»…

Чтобы дать читателю еще более ясное представление о дедушкиной семье, я считаю нелишним заглянуть на один из вечерков, на которые он, по зимам, созывал от времени до времени родных.

Обыкновенно дня за два Настасья объезжала родных и объявляла, что папенька Павел Борисыч тогда-то просит чаю откушать. Разумеется, об отказе не могло быть и речи. На зов являлись не только главы семей, но и подростки, и в назначенный день, около шести часов, у подъезда дома дедушки уже стояла порядочная вереница экипажей.

В комнатах натоплено, форточек в окнах нет, да и ставни закрыты, так что никакого намека на вентиляцию не существует. Кроме того, ради гостей, накурили какими-то порошками, что еще более увеличивает спертость воздуха.

Дедушка уже вышел в гостиную, сел на диван и ждет. На нем длиннополый сюртук «аглицкого сукна»; на шее повязан белый галстух. На столе перед диваном горят две восковые свечи; сзади дивана, по обеим сторонам продольного зеркала, зажжены два бра, в каждом по две свечи; в зале на стене горит лампа, заправленная постным маслом. Лакей Пахом расставляет на переддиванном столе десерт: пастилу, мармелад, изюм, моченые яблоки и т. п.

Съезжаются все почти одновременно. Всё свои: мы, Федуляевы, дядя Григорий Павлыч, генерал Любягин. Из посторонних на вечерках присутствует только чиновник Клюквин. Начинается с того, что родные, кроме отца и Любягина, подходят к старику и целуют ему руку. Затем старшие чинно рассаживаются в креслах по бокам стола. Две девушки-невесты: сестра Надежда и Саша Федуляева пристроиваются у окна, а мелкота бесшумно ютится в зале.

Там поставлен особый десерт, который дети почти мгновенно уничтожают.

Только дядя Григорий, как маятник, ходит взад и вперед по комнате, да Клюквин прислонился к косяку двери и все время стоит в наклоненном положении, точно ждет, что его сейчас позовут.

Познакомлю здесь читателя с теми из присутствующих, о которых доселе мне пришлось говорить только мимоходом.

Любягин – что называется, военная косточка. Это старик лет шестидесяти пяти, бодрый, живой и такой крепыш, что, кажется, износу ему не будет. Те, которые давно его знают, не замечают в его наружности ни малейших перемен.

Он острижен под гребенку; и волосы и зубы у него целы, щеки румяные, и только глаза несколько напоминают о старчестве. Он самый близкий человек дедушке и неизменный его собеседник. Оба усердно читают «Московские ведомости» и передают друг другу вынесенные из этого чтения впечатления.

Обоих интересуют одни и те же предметы, обоих связывают одни и те же воспоминания. Может быть, дедушку подкупает еще и то, что Любягин не имеет ни малейших поползновений на его сокровище. У него у самого есть небольшой капитал, и он скромно довольствуется доходами с него, откладывая каждую лишнюю копейку для единственного сына. Этот сын уже обзавелся семейством и стоит на хорошей дороге. Командует гарнизонным батальоном где-то в дальней губернии и не только не требует помощи от отца, но сам копит. И дети его точно так же будут копить – в этом нет никакого сомнения, так что старик Любягин может умереть спокойно. Главное дело, чтоб деньги

были, а коли они есть, то все остальное пойдет хорошо – вот кодекс мудрости, который царствует во всей семье и которому следует и Любягин.

Тетенька Арина Павловна слывет в своей семье простофилей.

Действительно, она очень недалека, но это не мешает ей относиться к дедушкиному сокровищу с тем же завистливым оком, как и прочие члены семьи.

В этом отношении и умные и глупые – все одинаково сходились сердцами. Она несколько моложе матушки, но на вид старообразнее; это рыхлая, расплывшаяся женщина, с круглым, ничего не выражающим лицом и тупо смотрящими глазами.

Рот у нее всегда раскрыт, вследствие чего Григорий Павлыч без церемонии называет ее: «Балахня стоит рот распахня». Но у нее есть и добродетель: она страстно любит своих детей и ради них готова идти на самое рискованное дело. Однажды она даже осмелилась: бросилась перед дедушкой на колени и сказала: «Папенька! что же вы медлите, распоряжения не делаете? Неужто внучат своих обидите?» За эту выходку старик целый год не пускал ее на глаза.

Наконец, Федот Гаврилыч Клюквин представляет собой тип приказной строки. Это еще не старый человек, но смотрит уже стариком. Лицо его, сухое, подернутое желтизной, имеет постоянно просительное выражение; глаза мутные, слезящиеся, волоса на голове редкие, с прогалинами, словно источенными молью. Говорит надтреснутым тенорком, словно хныкает, и не ходит, а бесшумно скользит по комнате. Он хранитель дедушкиной тайны, но, кажется, не совсем верный. По крайней мере, матушка, видя, как он дружит с дядей Григорием Павлычем, не без основания подозревала, что последнему известно многое, что не только для нее, но и для дедушкиной «крали» оставалось скрытым. По-видимому, и дедушка подозревал его неверность, но махнул на нее рукою. У нас он бывал редко, только в большие праздники, хотя матушка и заманивала его. Платил ли ему что-нибудь дедушка за его послуги – неизвестно; но многие из родных полагали, что в их отношениях скрывалась какая-то тайна, в которую никто проникнуть не мог.

Когда все пристроились по местам, разносят чай, и начинается собеседование. Первою темою служит погода; все жалуются на холода. Январь в половине, а как стала 1-го ноября зима, так ни одной оттепели не было, и стужа день ото дня все больше и больше свирепеет.

– Это я замечал, – говорит дедушка, – ежели на Кузьму-Демьяна в санях поехали, быть суровой зиме.

– У меня сегодня утром градусник на солнце двадцать пять градусов показывал, – сообщает дядя Григорий Павлыч. – Из деревни сено привезли, так мужик замерз совсем, насилу отходили.

– Такая-то зима, на моих памятях, только раз и была: как француз на Москве кутил да мутил.

– Тогда, папенька, бог знал, что морозы нужны, а нынче так, без всякой причины, – замечает тетенька Арина Павловна.

– Ты бы богу-то посоветовала: не нужно, мол.

– Да разве не обидно, папенька! На дворе морозы, а снегу мало. Из деревни пишут: как бы озими не вымерзли!

– Так ты и скажи богу: у меня, мол, озими вымерзнут. Авось, он образумится.

Все улыбаются.

– А сын мне пишет, – начинает Любягин, – у них зима теплая стоит.

– И все так: где холодно, а где тепло. Что, как сынок? здоров? все благополучно?

– Слава богу. По осени инспектор у них был, все нашел в исправности.

– Слава богу – лучше всего. Чай, инспектора-то эти в копеечку ему достаются!

– Есть тот грех. Когда я командовал, так, бывало, приедет инспектор, и ест и пьет, все на мой счет. А презент само собой.

– Наколотит в загорбок – и уедет.

– Вот по гражданской части этого нет, – говорит дядя.

– Там хуже. У военных, по крайности, спокойно. Приедет начальник, посмотрит, возьмет, что следует, и не слыхать о нем. А у гражданских, пришлют ревизора, так он взять возьмет, а потом все-таки наябедничает. Федот Гаврилыч, ты как насчет ревизоров полагаешь?

Клюквина слегка коробит; он на своих боках испытал, что значит ревизор. Однажды его чуть со службы, по милости ревизора, не выгнали, да бог спас.

– Самый это народ внимания не стоящий, – отвечает он, принимая совсем наклонное положение.

– Что, небось, узнал в ту пору, как кузькину мать зовут! – смеется дедушка, а за ним и все присутствующие.

Разговор незаметно переходит к взяткам.

– В мое время в комиссариате взятки брали – вот так брали! – говорит дедушка. – Француз на носу, войско без сапог, а им и горя мало. Принимают всякую гниль.

– И прежде взятки брали, и теперь берут, – утверждает Любягин.

– И на предбудущее время будут брать.

– Потому – люди, а не святые.

– Иной и рад бы не брать, ан у него дети пить-есть просят.

– Что и говорить!

– В низших местах берут заседатели, исправники, судьи – этим взятки не крупные дают. В средних местах берут председатели палат, губернаторы – к ним уж с малостью не подходи. А в верхних местах берут сенаторы – тем целый куш подавай. Не нами это началось, не нами и кончится. И которые люди полагают, что взятки когда-нибудь прекратятся, те полагают это от легкомыслия.

Выговоривши эту тираду, дедушка шумно нюхает табак и вздыхает.

Разносят чай во второй раз. Дядя останавливается перед сестрой Надеждой и шутит с нею.

– Ты что ж, стрекоза, замуж нейдешь?

– Ах, дяденька! – стыдится сестра.

– Ничего, «ах дяденька»! Всякой девице замуж хочется, это я верно знаю.

– Не добро быти человеку единому, – поясняет дедушка.

– А уж моей Сашеньке как бы замуж надо! Так надо! так надо! – наивно отзывается тетенька Федуляева.

– Что так приспичило? – грубо шутит дяденька.

– Не приспичило, а вообще…

– Ничего, успеет. Вот погодите, ужо я сам этим делом займусь, мигом обеим вам женихов найду. Тебе, Надежда, покрупнее, потому что ты сама вишь какая выросла; тебе, Александра, середненького. Ты что ж, Анна, об дочери не хлопочешь?

– Судьба, значит, ей еще не открылась, – отвечает матушка и, опасаясь, чтобы разговор не принял скабрезного характера, спешит перейти к другому предмету. – Ни у кого я такого вкусного чаю не пивала, как у вас, папенька! – обращается она к старику. – У кого вы берете?

– Не знаю, Ипат в Охотном ряду покупает. Ничего чай, можно пить.

– Дорог?

– Десять рублей за фунт. С цветком.

– Архиереи, говорят, до чаю охотники. И толк знают.

– Им, признаться, и делать другого нечего. Пьют да пьют чай с утра до вечера.

– Мне наш окружный генерал чаем однажды похвастался, – сообщает Любягин, – ему один батальонный командир цибик в презент прислал. Так поверите ли, седой весь!

– Сверху седой, а внизу, поди, черный.

– Уж это само собой, мешать надо.

– И тут, как везде, дело мастера боится. Не смешаешь, будешь один цветок пить, голова ошалеет. А от черного, от одного, вкусу настоящего нет. Терпок, – язык, десны вяжет. Словно зверобой пьешь.

– А то бывает копорский чай.

– Есть и копорский, только он не настоящий. Настоящий чай в Китае растет. Страна такая есть за Сибирью.

– Сын у меня около тамошних мест в пограничном городе службу начал, – говорит Любягин, – так он сказывал, что пречудной эти китайцы народ. Мужчины у них волосы в косы заплетают, длинные-предлинные, точно девки у нас.

– Стало быть, мода у них такая.

– И по всей границе стена у них выстроена. Чтоб ни они ни к кому, ни к ним никто.

– Своим умом хотят жить. Что ж, это, пожалуй, надежнее. Мы вот и прытки: прыг да прыг, а толку от этого прыганья мало.

Чай отпили. Дети высыпают из залы и подходят благодарить дедушку.

– Лакомства-то вам дали ли? – осведомляется старик.

– Дали, папенька.

– Ну, ступайте, ешьте. А вы что ж? – обращается он к присутствующим, – полакомиться?

Матушка первая подходит к столу, кладет на тарелку моченое яблоко и подает его отцу.

– Папенька, яблочка мочененького?

– Съем.

– Нигде таких моченых яблоков, как в Москве, не найдешь. Только здесь ими и полакомишься. Я уж как ни старалась и рецепты доставала, никак не дойду.

– В квасах их мочат; духи кладут.

– А почем, папенька, покупали?

– Дороги. По сорока копеек десяток.

– Деньги хорошие; зато уж и яблоки!

Матушка хочет распространиться насчет квасов, медов и прочих произведений московского гения, но дядя об чем-то вдруг вспомнил и круто поворачивает разговор в другую сторону.

– А я давеча в лавке у Егорова слышал, что во французского короля опять стреляли, – возвещает он.

– И я слышал, – подтверждает Клюквин.

– Не знаю, читал я сегодня газеты, ничего там не пишут.

– Писать не велено, даже разговаривать строго-настрого запрещено. Чтобы ни-ни. А Егорову, слышь, дворецкий главнокомандующего сказывал. И что этим французам нужно? Был у них настоящий король – другого взяли. Теперь и этого не хотят.

– Пустой народ. Цирульники да портные.

– Цирульники, а республики хотят. И что такое республика? Спроси их, – они и сами хорошенько не скажут. Так, руки зудят. Соберутся в кучу и галдят. Точь-в-точь у нас на станции ямщики, как жеребий кидать начнут, кому ехать. Ну, слыханное ли дело без начальства жить!

– Вон у нас Цынский (обер-полициймейстер) только месяц болен был, так студенты Москву чуть с ума не свели! И на улицах, и в театрах чуделесят да и шабаш! На Тверском бульваре ям нарыли, чтоб липки сажать, а они ночью их опять землей закидали. Вот тебе и республика! Коли который человек с умом – никогда бунтовать не станет. А вот шематоны да фордыбаки…

– Хорошие-то французы, впрочем, не одобряют. Я от Егорова к Сихлерше[23] забежал, так она так-таки прямо и говорит: «Поверите ли, мне даже француженкой называться стыдно! Я бы, говорит, и веру свою давно переменила, да жду, что дальше будет».

– Что ж, милости просим! чего ждать!

– Как это они веру, папенька, переменяют? – допытывается тетенька Федуляева, – неужто их…

– Так, возьмут, разденут, да в чем мать родила и окунают, – смеется дедушка.

– Чай, стыдно?

– Стыдись не стыдись, а коли назвался груздем, так полезай в кузов.

В таких разговорах проходит до половины девятого. Наконец мужчины начинают посматривать на часы, и между присутствующими происходит движение.

Все одновременно снимаются с мест и прощаются.

Этим исчерпываются мои воспоминания о дедушке. Воспоминания однообразные и малосодержательные, как и сама его жизнь. Но эта малосодержательность, по-видимому, служила ему на пользу, а не во вред.

Вместе с исправным физическим питанием и умственной и нравственной невозмутимостью, она способствовала долголетию: дедушка умер, когда ему уже исполнилось девяносто лет. Завещания он, конечно, не сделал, так что дядя Григорий Павлыч беспрепятственно овладел его сокровищем.

XIV. Житье в Москве

Москва того времени была центром, к которому тяготело все неслужащее поместное русское дворянство. Игроки находили там клубы, кутилы дневали и ночевали в трактирах и у цыган, богомольные люди радовались обилию церквей; наконец, дворянские дочери сыскивали себе женихов. Натурально, что матушка, у которой любимая дочь была на выданье, должна была убедиться, что как-никак, а поездки в Москву на зимние месяцы не миновать.

Семья наша выезжала из деревни по первопутке. Климатические условия в то время, сколько помнится, были постояннее, нежели нынче, и обыкновенно в половине ноября зима устанавливалась окончательно. Снимались мы целым домом, с большим количеством прислуги, с запасом мороженой провизии и даже с собственными дровами. Для всего этого требовалась целая вереница подвод, которые отправлялись заранее. Уезжая, в господском доме приказывали заколотить оба крыльца, закрыть ставни, а остающуюся прислугу, с ключницей во главе, размещали как попало по флигелям.

В Москве у матушки был свой крепостной фактотум, крестьянин Силантий Стрелков, который заведовал всеми ее делами: наблюдал за крестьянами и дворовыми, ходившими по оброку, взыскивал с них дани, ходил по присутственным местам за справками, вносил деньги в Опекунский совет, покупал для деревни провизию и проч. Это был честный и довольно зажиточный человек, ремеслом шорник, и даже имел собственную шорную мастерскую. Но жизнь его была, как говорится, чисто сибирная, потому что матушка не давала ему ни отдыху, ни сроку. С утра до вечера слонялся он по городу, разыскивая недоимщиков и выполняя разнообразнейшие комиссии. Когда матушка на короткое время приезжала в Москву, то останавливалась на постоялом дворе у Сухаревой, и тогда Стрелков только и делал, что приходил к ней или уходил от нее. Даже обед приносили ей от него и, разумеется, безвозмездно. Когда же мы стали ездить а Москву по зимам, то для него настал уже сущий ад.

Матушка была нетерпелива и ежеминутно хотела знать положение дел, так что Стрелков являлся каждый вечер и докладывал. За все эти послуги ему никакого

[23] Известный в то время магазин мод (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

определенного жалованья не полагалось, разве изредка матушка подарит синенькую или ситцу на платье его жене. Разумеется, эти скудные подачки не окупали даже расхода на извозчиков. Поэтому Стрелков, постоянно отрываемый от собственного дела, никогда настоящим образом опериться не мог и впоследствии кончил тем, что должен был объявить себя несостоятельным.

Перед нами, детьми, он не стеснялся и часто горько жаловался на матушку.

Стрелков заранее нанимал для нас меблированную квартиру, непременно в одном из арбатских переулков поближе к дедушке. В то время больших домов, с несколькими квартирами, в Москве почти не было, а переулки были сплошь застроены небольшими деревянными домами, принадлежавшими дворянам средней руки (об них только и идет речь в настоящем рассказе, потому что так называемая грибоедовская Москва, в которой преимущественно фигурировал высший московский круг, мне совершенно неизвестна, хотя, несомненно, что в нравственном и умственном смысле она очень мало разнилась от Москвы, описываемой мною). Некоторые из владельцев почему-нибудь оставались на зиму в деревнях и отдавали свои дома желающим, со всей обстановкой. Это были особнячки, из которых редкий заключал в себе более семи-восьми комнат. В числе последних только две-три «чистых» комнаты были довольно просторны; остальные можно было, в полном смысле слова, назвать клетушками. Парадное крыльцо выходило в тесный и загроможденный службами двор, в который въезжали с улицы через деревянные ворота. Об роскошной и даже просто удобной обстановке нечего было и думать, да и мы – тоже дворяне средней руки не претендовали на удобства. Мебель большею частью была сборная, старая, покрытая засиженной кожей или рваной волосяной материей.

В этом крохотном помещении, в спертой, насыщенной миазмами атмосфере (о вентиляции не было и помина, и воздух освежался только во время топки печей), ютилась дворянская семья, часто довольно многочисленная. Спали везде – и на диванах, и вповалку на полу, потому что кроватей при доме сдавалось мало, а какие были, те назначались для старших. Прислуга и дневала и ночевала на ларях, в таких миниатюрных конурках, что можно было только дивиться, каким образом такая масса народа там размещается. «Зиму как-нибудь потеснимся; в Москве и бог простит», – утешали себя наезжие, забывая, что и в деревне, на полном просторе, большинство не умело устроиться.

Прибавьте к этому целые вороха тряпья, которое привозили из деревни и в течение зимы накупали в Москве и которое, за неимением шкафов, висело на гвоздиках по стенам и валялось разбросанное по столам и постелям, и вы получите приблизительно верное понятие о среднедворянском домашнем очаге того времени.

– Хорошо еще, что у нас малых детей нет, а то бы спасенья от них не было! – говорила матушка. – Намеднись я у Забровских была, там их штук шесть мал мала меньше собралось – мученье! так между ног и шныряют! кто в трубу трубит, кто в дуду дудит, кто на пищалке пищит!

Понятно, что в таком столпотворении разобраться было нелегко и недели две после приезда все ходили, как потерянные. Искали и не находили; находили и опять теряли. Для взрослых помещичьих дочерей – и в том числе для сестры Надежды – это было чистое мученье. Они рвались выезжать, мечтали порхать на балах, в театрах, а их держали взаперти, в вонючих каморках, и кормили мороженою домашнею провизией.

– Да когда же наконец? – слышались с утра до вечера сестрицыны жалобы. – Хоть бы в театр съездили.

– Нельзя в театр, надо сперва визиты сделать; коли дома скучно, ступай к дедушке.

– Вот еще! что я там забыла!

– Ну, жди.

Единственные выезды, которые допускались до визитов, – это в модные магазины. В магазине Майкова, в гостином дворе, закупались материи, в магазине Сихлер заказывались платья, уборы, шляпки. Ввиду матримониальных целей, ради которых делался переезд в Москву, денег на наряды для сестры не жалели.

Наконец все кое-как улаживается. К подъезду подают возок, четвернею навынос, в который садится матушка с сестрой – и очень редко отец (все знакомые сразу угадывали, что он «никакой роли» в доме не играет).

Начинаются визиты. В начале первой зимы у семьи нашей знакомств было мало, так что если б не три-четыре семейства из своих же соседей по именью, тоже переезжавших на зиму в Москву «повеселиться», то, пожалуй, и ездить было бы некуда; но впоследствии, с помощью дяди, круг знакомств значительно разросся, и визитация приняла обширные размеры.

Когда все визиты были сделаны, несколько дней сидели по утрам дома и ждали отдачи. Случалось, что визитов не отдавали, и это служило темой для продолжительных и горьких комментариев. Но случалось и так, что кто-нибудь приезжал первый – тогда на всех лицах появлялось удовольствие.

Из новых знакомств преимущественно делались такие, где бывали приглашенные вечера, разумеется, с танцами, и верхом благополучия считалось, когда можно было сказать:

– У нас все вечера разобраны, даже в театр съездить некогда.

Или:

– Ах, эта Балкина! пристает, приезжай, к ней по середам. Помилуйте, говорю, Марья Сергевна! мы и без того по середам в два дома приглашены! – так нет же! пристала: приезжай да приезжай! Пренеотвязчивая.

Словом сказать, машина была пущена в ход, и «веселье» вступало в свои права на целую зиму.

Утро в нашем семействе начинал отец. Он ежедневно ходил к ранней обедне, которую предпочитал поздней, а по праздникам ходил и к заутрене.

Еще накануне с вечера он выпрашивал у матушки два медных пятака на свечку и на просвиру, причем матушка нередко говаривала:

– И на что тебе каждый день свечку брать! Раз-другой в неделю взял – и будет!

Замечание это, разумеется, полагало начало бурной домашней сцене, что, впрочем, не мешало ему повторяться и впредь в той же силе.

Возвращается отец около осьми часов, и в это же время начинает просыпаться весь дом. Со всех сторон слышатся вопли:

– Сашка! Анютка! где вы запропастились? куда вас черт унес! – кричит матушка.

– Ариша! где моя кофта? – взывает сестра своей фрейлине.

– Марфа! долго ли же мне не мыться? – жалуется Коля.

– Ах, хамки проклятые! да убирайте же в зале! наслякощено, нахламощено. Где Конон? Чего смотрит? Степан где? Мы за чай, а они пыль столбом поднимать!

Поднимается беготня. Девушки снуют взад и вперед, обремененные кофтами, юбками, умывальниками и проч. По временам раздается грохот разбиваемой посуды.

– Бейте шибче! – слышится голос отца из кабинета, – что разбили?

– Ничего, сударь!

– Как ничего! сказывайте, кто разбил? Что? – допрашивает матушка.

И так далее.

Наконец, кой-как шум угомоняется. Семейство сбирается в зале около самовара. Сестра, еще не умытая, выходит к чаю в кофте нараспашку и в юбке.

К чаю подают деревенские замороженные сливки, которые каким-то способом умеют оттаивать.

– Вот белый хлеб в Москве так хорош! – хвалит матушка, разрезая пятикопеечный калач на кусочки, – только и кусается же! Что, каково нынче на дворе? – обращается она к прислуживающему лакею.

– Сегодня, кажется, еще лютее вчерашнего мороз.

– Ах, прах побери! всех кучеров переморозили. Что Алемпий? как?

– Гусиным жиром и уши, и нос, и щеки мазали. Очень уж шибко захватило.

– А он бы больше дрыхнул на козлах. Сидит да носом клюет. Нет чтобы снегом

потереть лицо. Как мы сегодня к Урсиловым поедем, и не придумаю!

– Ах, маменька, непременно надо ехать! Я уж мазурку обещала! – настаивает сестра.

– Знаю, что надо… Этот там будет… предмет-то твой…

– Какой же это предмет… старик!

– Ну, что за старик! Кабы он… да я бы, кажется, обеими руками перекрестилась! А какая это Соловкина – халда: так вчера и вьется около него, так и юлит. Из кожи для своей горбуши Верки лезет! Всех захапать готова.

– Мне, маменька, какое платье сегодня готовить?

– А барежевое диконькое… нечего очень-то рядиться! Не бог знает какое «паре» (pare), простой вечерок… Признаться сказать, скучненько-таки у Урсиловых. Ужинать-то дадут ли? Вон вчера у Соловкиных даже закуски не подали. Приехали домой голодные.

– По-моему, уж совсем лучше ужинать не подавать, чем намеднись у Голубовицких сосиски с кислой капустой!

– Что ж, сосиски, ежели они…

– Ну, нет! я и не притронулась. Да, чтоб не забыть; меня, маменька, вчера Обрящин спрашивал, можно ли ему к нам приехать? Я… позволила…

– Пускай ездит. Признаться сказать, не нравится мне твой Обрящин. Так, фордыбака. Ни наследственного, ни приобретенного, ничего у него нет. Ну, да для счета и он сойдет.

Начинают судачить вплотную. Перебирают по очереди всех знакомых и не обретают ни одного достойного. Наконец, отдавши долг темпераменту, расходятся по углам до часа.

В час или выезжают, или ожидают визитов. В последнем случае сестра выходит в гостиную, держа в одной руке французскую книжку, а в другой – ломоть черного хлеба (завтрака в нашем доме не полагается), и садится, поджавши ноги, на диван. Она слегка нащипывает себе щеки, чтобы они казались румяными.

Чу, кто-то приехал.

Входит Конон и возглашает:

– Петр Павлыч Обрящин!

Сестра поспешно прячет хлеб в ящик стола и оправляется.

– А! мсьё Обрящин! садитесь! Maman сейчас придет.

Обрящин – молодой человек, ничем особенно не выдающийся. Он тоже принадлежит к среднему дворянству, а состояние имеет очень умеренное. Но так как он служит в канцелярии московского главнокомандующего (так назывался нынешний генерал-губернатор), то это открывает ему доступ в семейные дома. Как на завидную партию никто на него не смотрит, но для счета, как говорит матушка, и он пользуется званием «жениха». Многие даже заискивают в нем, потому что он, в качестве чиновника канцелярии, имеет доступ на балы у главнокомандующего; а балы эти, в глазах дворян средней руки, представляются чем-то недосягаемым. Одет чистенько, танцует все танцы и крошечку болтает по-французски.

– Мсьё Обрящин! – восклицает, в свою очередь, матушка, появляясь в дверях, – вот обрадовали!

Начинается светский разговор.

– Не правда ли, как вчера у Соловкиных было приятно! – говорит матушка, – и какая эта Прасковья Михайловна милая! Как умеет занять гостей, оживить!

– Помилуйте! дает вечера, а в квартире повернуться негде! – отвечает Обрящин.

– Мы, приезжие, и все так живем. И рады бы попросторнее квартирку найти, да нет их. Но Верочка Соловкина – это очарование!

– Горбатое!

– Ах, какой вы критикан, сейчас заметите! Правда, что у нее как будто горбик, но зато личико, коса… ах, какая коса!

– От цирульника Остроумова с Горохового-Поля. Волосы покупает у цирульника, а наряды шьет в Хамовниках у мадам Курышкиной.

– Однако попасться к вам на язычок… А я так слышала, что Верочка и вы…

Матушка грозит Обрящину пальчиком и шаловливо приговаривает:

– Мовёшка!

– Увольте, ради Христа! – отрекается молодой человек, – что называется, ни кожи…

– Ах, оставьте! с вами просто опасно! Скажите лучше, давно вы были у нашего доброго главнокомандующего?

– Не далее как на прошлой неделе, он вечерок давал. Были только свои… Потанцевали, потом сервировали ужин… Кстати: объясните, отчего Соловкина только через раз дает ужинать?

– А вы и это заметили… Злой вы! Ну, зато в следующий раз покушаете. А на балах у главнокомандующего вы тоже бываете? Я слышала, это волшебство!

– Особенной роскоши нет, напротив, все очень просто… Но эта простота!.. В том-то весь и секрет настоящих вельмож, что с первого взгляда видно, что люди каждый день такой «простотой» пользуются!

– И нам князь Колюшпанский обещал приглашение достать…

– Но отчего же вы не обратились ко мне? я бы давно с величайшей готовностью… Помилуйте! я сам сколько раз слышал, как князь[24] говорил: всякий дворянин может войти в мой дом, как в свой собственный…

– Ну, всякий не всякий…

– Конечно, не всякий – это только façon de parler…[25] Но вы… разве тут может быть какое-нибудь сомнение!

– Благодарю вас. Так вы постараетесь?

– Непременно-с.

Поболтавши еще минут пять, Обрящин откланивается. На смену является Прасковья Михайловна Соловкина с дочерью, те самые, которых косточки так тщательно сейчас вымыли.

– Ах, Прасковья Михайловна! Вера Владимировна! вот обрадовали!

– Верочка! quelle charmante surprise![26]

– Не говорите! И то хотела до завтра отложить… не могу! Так я вас полюбила, Анна Павловна, так полюбила! Давно ли, кажется, мы знакомы, а так к вам и тянет!

– И нас взаимно. Знаете ли, есть что-то такое… сродство, что ли, называется… Иногда и не слыхивали люди друг о дружке – и вдруг…

– Вот именно это самое.

Дамы целуются; девицы удаляются в зал, обнявшись ходят взад и вперед и шушукаются. Соловкина – разбитная дама, слегка смахивающая на торговку; Верочка, действительно, с горбиком, но лицо у нее приятное. Семейство это принадлежит к числу тех, которые, как говорится, последнюю копейку готовы ребром поставить, лишь бы себя показать и на людей посмотреть.

– А у нас сейчас мсьё Обрящин был, – возвещает матушка, – ах, какой милый!

– Не знаю… не люблю я его! – отвечает Соловкина, предчувствуя, что шла речь о ее вчерашнем вечере.

– Что так?

– Да наглый. Втерся к нам уж и сама не знаю как… ест, пьет…

– А он об вас с таким участием… Между нами: Верочка, кажется, очень ему нравится…

– Далеко кулику до Петрова дня!

---

24 Подразумевается князь Дмитрий Владимирович Голицын, тогдашний московский главнокомандующий. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

25 слова

26 Какой прекрасный сюрприз!

– Но почему ж бы?..

– Да так.

– Он нам обещал приглашение на первый бал к главнокомандующему достать.

– Будете ждать, долго не дождетесь. Он в прошлом году целую зиму нас так-то водил.

– Да ведь он туда вхож?

– В лакейской дежурит.

– Ах, что вы! будто уж и в лакейской! А впрочем, не он, так другой достанет. А какое на Верочке платье вчера прелестное было! где вы заказываете?

– Там же, где и все. Бальные – у Сихлерши, попроще – у Делавос…

– А я слышала, в Хамовниках, портниха Курышкина есть…

Соловкина слегка зеленеет, но старается казаться равнодушною.

– Не знаю, не слыхала такой, – говорит она сквозь зубы.

– Не говорите, Прасковья Михайловна! и между русскими бывают… преловкие! Конечно, против француженки…

– Я у русских не заказываю.

– В Петербурге Соловьева – даже гремит.

– Не знаю, не знаю, не знаю.

Соловкина окончательно зеленеет и сокращает визит.

– Итак, до свидания, – говорит она, поднимаясь. – До пятницы.

– Ваши гости. Да что ж вы так скоро? посидели бы!

– И рада бы, да не могу… Аншантё! До пятницы. Дочку привозите. Мсьё Обрящин будет! – в заключение язвит гостья на прощанье.

За Соловкиными следуют Голубовицкие, за Голубовицкими – Мирзохановы и т. д. Все остаются по нескольку минут, и со всеми ведется светский разговор одинакового пошиба. Около трех часов, если визиты перемежились, матушка кричит в переднюю:

– Не принимать никого! обедать!

Но иногда случается, что, вследствие этой поспешности, приходится отказать интересному кавалеру; тогда происходят сцены раскаянья, что слишком рано поспешили закрыть утро.

– Это все ты! – укоряет матушка отца, – обедать да обедать! Кто нынче в три часа обедает!

И затем, обращаясь заочно к интересующему гостю, продолжает:

– И лукавый его в эту пору принес! Кто в четвертом часу с визитами ездит! Лови его теперь! Рыскает по Москве, Христа славит.

Обед представлял собой подобие малиновецкого и почти сплошь готовился из деревенской провизии. Даже капусту кислую привозили из деревни и щи варили, в большинстве случаев, с мерзлой бараниной или с домашней птицей.

Говядину покупали редко и тоже мерзлую. Дурной был обед, тяжелый, малопитательный. Впрочем, так как сестра, и без того наклонная к тучности, постоянно жаловалась, что у ней после такого обеда не стягивается корсет, то для нее готовили одно или два блюда полегче. За обедом повторялись те же сцены и велся тот же разговор, что и в Малиновце, а отобедавши все ложились спать, в том числе и сестра, которая была убеждена, что послеобеденный сон на весь вечер дает ей хороший цвет лица.

Этого «хорошего цвета лица» она добивалась страстно и жертвовала ради него даже удобствами жизни. Обкладывала лицо творогом, привязывала к щекам сырое говяжье мясо и, обвязанная тряпками, еле дыша, ходила по целым часам.

С шести часов матушка и сестра начинали приготовляться к вечернему выезду. Утренняя беготня возобновлялась с новой силой. Битых три часа сестра не отходит от зеркала, отделывая лицо, шнуруясь и примеряя платье за платьем. Беспрерывно из ее спальни в спальню матушки перебегает горничная за приказаниями.

– Барышня спрашивают, какую им ленту надеть?

– Барышня спрашивают, надевать ли локоны, или гладко причесаться?

– Барышня спрашивают, для большого или малого декольте им шею мыть?

– Шпилек, булавок несите! – раздается по коридору, – оглохли!

Когда туалет кончен, происходит получасовое оглядыванье себя перед зеркалом, принятие различных поз, приседание и проч. Если вечер, на который едут, принадлежит к числу «паре», то из парикмахерской является подмастерье и убирает сестрицыну голову.

– Шипси! – командует подмастерье (Ивашка из крепостных), подражая хозяину-французу.

– Пропасти на вас нет! – кричит из своего угла отец, которого покой беспрерывно возмущается общей беготнёю.

– Ну, батюшка, не прогневайся! – откликается ему матушка.

Наконец вдруг, словно по манию волшебства, все утихло. Уехали. Девушки в последний раз стрелой пробежали из лакейской по коридору и словно в воду канули. Отец выходит в зал и одиноко пьет чай.

– Что, как на дворе? – спрашивает он камердинера Степана, который прислуживает за столом.

– Вызвездило. Мороз лютый ночью будет.

– Ну, зима нынче. Того гляди, всех людей поморозят, ездивши по гостям.

Отец вздыхает. Одиночество, как ни привыкай к нему, все-таки не весело. Всегда он один, а если не один, то скучает установившимся домашним обиходом. Он стар и болен, а все другие здоровы… как-то глупо здоровы.

Бегают, суетятся, болтают, сами не знают зачем и о чем. А теперь вот притихли все, если бы не Степан – никого, пожалуй, и не докликался бы. Умри – и не догадаются.

– И зачем только жениться было! – мысленно восклицает он, забывая, что у него от этого брака уж куча детей.

Вспоминается ему, как он покойно и тихо жил с сестрицами, как никто тогда не шумел, не гамел, и всякий делал свое дело не торопясь. А главное, воля его была для всех законом, и притом приятным законом. И нужно же было… Отец пользуется отсутствием матушки, чтоб высказаться.

«Близок локоть, да не укусишь», – мелькает в его уме пословица. – Степка! – обращается он к слуге: – помнишь, как я холостой был?

– Как, сударь, не помнить!

– Хорошо тогда было! а?

– Уж так-то хорошо, так хорошо, что, кажется, кабы…

– Тихо, смирно, всего вдоволь. Эхма! правду пословица говорит: от добра добра не ищут. А я искал. За это бог меня и наказал.

– Это точно, что…

Бьет десять. Старик допивает последнюю чашку и начинает чувствовать, что глаза у него тяжелеют. Пора и на боковую. Завтра у Власия главный престольный праздник, надо к заутрене поспеть.

– Узнавал, будут ли певчие? – спрашивает отец.

– Узнавал-с. Сказали, что певчие за поздней обедней будут петь, а за заутреней и за ранней обедней дьячки.

– Ну, и дьячков послушаем. А дьякон свой или наемный будет служить?

– Дьякона из Чудова монастыря пригласили. А свой за второго пойдет.

– Какой это чудовской дьякон? рыжеватый, что ли?

– Не могу знать-с.

– Должно быть, он.

Отец встает из-за стола и старческими шагами направляется в свою комнату. Комната эта неудобна; она находится возле лакейской и довольно холодна, так что старик постоянно зябнет. Он медленно раздевается и, удостоверившись, что выданные ему на заутреню два медных пятака лежат в целости около настольного зевала, ложится спать.

– В четыре часа меня разбудить, – наказывает он Степану, – а девкам скажи, чтобы не

гамели.

Между часом и двумя ночи матушка с сестрой возвращаются домой.

Дни проходят за днями, одинаковые и по форме, и по содержанию. К концу, впрочем, сезон заметно оживляется. С рождества в Благородном собрании начинаются балы и периодически чередуются вплоть до самого поста.

Из них самым важным считается утренний бал в субботу на масленице. Для девиц-невест это нечто вроде экзамена. При дневном свете притиранья сейчас же скажутся, так что девушка поневоле является украшенная теми дарами, какие даны ей от природы. Да и наряд необходимо иметь совсем свежий, а не подправленный из старенького.

Билеты для входа в Собрание давались двоякие: для членов и для гостей.

Хотя последние стоили всего пять рублей ассигнациями, но матушка и тут ухитрялась, в большинстве случаев, проходить даром. Так как дядя был исстари членом Собрания и его пропускали в зал беспрепятственно, то он передавал свой билет матушке, а сам входил без билета. Но был однажды случай, что матушку чуть-чуть не изловили с этой проделкой, и если бы не вмешательство дяди, то вышел бы изрядный скандал.

– Мать-то! мать-то вчера обмишулилась! – в восторге рассказывал брат Степан, – явилась с дядиным билетом, а ее цап-царап! Кабы не дядя, ночевать бы ей с сестрой на съезжей!

Тем не менее, несмотря на ежедневные выезды и массу денег, потраченных на покупку нарядов, о женихах для сестры было не слышно.

– И куда они запропастились! – роптала матушка. – Вот говорили: в Москве женихи! женихи в Москве! а на поверку выходит пшик – только и всего.

Целую прорву деньжищ зря разбросали, лошадей, ездивши по магазинам, измучили, и хоть бы те один!

Матушка, впрочем, уже догадывалась, что в Москве не путем выездов добываются женихи, и что существуют другие дороги, не столь блестящие, но более верные. В скором времени она и прибегла к этим путям, но с этим предметом я предпочитаю подробнее познакомить читателя в следующей главе.

Матушка званых вечеров не давала, ссылаясь на тесноту помещения. Да и действительно, было бы странно видеть танцующие пары в миниатюрной квартирке, в которой и «свои» едва размещались. Впрочем, однажды она расщедрилась и дала, как говорится, пир на весь мир. В эту зиму нам случайно попалась квартира с довольно просторной залой, и дядя воспользовался этим, чтобы уговорить матушку повеселить дочь. Затеяли бал.

Мебель ссудил дядя из своей квартиры, посуду напрокат взяли, позвали кухмистера Гарихмусова, накупили конфект, фруктов и разослали приглашения.

Бал вышел наславу. Приехало целых четыре штатских генерала, которых и усадили вместе за карты (говорили, что они так вчетвером и ездили по домам на балы); дядя пригласил целую кучу молодых людей; между танцующими мелькнули даже два гвардейца, о которых матушка так-таки и не допыталась узнать, кто они таковы. Веселились до пяти часов утра, и потом долго-долго вспоминали об этом бале, приурочивая к нему разные семейные события.

Воскресные и праздничные дни тоже вносили некоторое разнообразие в жизнь нашей семьи. В эти дни матушка с сестрой выезжали к обедне, а накануне больших праздников и ко

всенощной, и непременно в одну из модных московских церквей.

Модными церквами в то время считались: Старое-Вознесенье, Никола Явленный и Успенье-на-Могильцах. В первой привлекал богомольцев шикарный протопоп, который, ходя во время всенощной с кадилом по церковной трапезе, расчищал себе дорогу, восклицая: place, mesdames![27]

Заслышав этот возглас, дамочки поспешно расступались, а девицы положительно млели. С помощью этой немудрой французской фразы ловкий протопоп успел устроить свою карьеру и прославить храм, в котором был настоятелем. Церковь была постоянно полна народа, а изворотливый настоятель приглашался с требами во все лучшие дома и ходил в шелковых рясах. У Николы Явленного настоятелем был протопоп, прославившийся своими проповедями. Говорили, что он соперничал в этом отношении с митрополитом Филаретом, что последний завидовал ему и даже принуждал постричься, так как он был вдов. И действительно, в конце концов он перешел в монашество, быстро прошел все степени иерархии и был назначен куда-то далеко епархиальным архиереем. Что касается до церкви Успенья-на-Могильцах, то она славилась своими певчими. Помнится, что там по праздникам певал крепостной хор Ровинского.

Матримониальные цели и тут стояли на первом плане. На сестру надевали богатый куний салоп с большой собольей пелериной, спускавшейся на плечи. Покрыт был салоп, как сейчас помню, бледно-лиловым атласом.

Выезды к обедне представлялись тоже своего рода экзаменом, потому что происходили при дневном свете. Сестра могла только слегка подсурмить брови и, едучи в церковь, усерднее обыкновенного нащипывала себе щеки. Стояли в церкви чинно, в известные моменты плавно опускались на колени и усердно молились. Казалось, что вся Москва смотрит.

Разумеется, по окончании службы, встречаются со знакомыми, и начинается болтовня.

– Ах, какую он сегодня проповедь сказал! еще крошечку – и я разрыдалась бы! – слышится в одном месте.

– Как это? как он выразился? «И всегда и везде – он повсюду с нами!» Ах, какая это святая правда! – раздается в другом.

– А вы заметили, ma chere, гусара, который подле правого крылоса стоял? – шушукаются между собой девицы, – это гвардеец. Из Петербурга, князь Телепнев-Оболдуй. Двенадцать тысяч душ, ma chere! две-над-цать!

– Joli![28]

– И всё в Тульской, да в Орловской, да в Курской губерниях! Вообще, где хлеб…

– Вот кабы… – потихоньку шепчет матушка, прислушавшись к разговору и любовно посматривая на дочку-любимку.

Начинается разъезд, который иногда длится полчаса. Усевшись в возок, матушка упрекает сестрицу:

– Какая ты, однако ж, Наденька, рохля! Смотрит на тебя генерал этот… как бишь? – а ты хоть бы глазом на него повела.

– Вот еще! стану я… старик!

– Нечего: старик! женихов-то не непочатой угол; раз-другой, и обчелся. Привередничать-то бросить надо, не век на шее у матери сидеть.

– Не пойду я за старика.

– А не пойдешь, так сиди в девках. Ты знаешь ли, старик-то что значит? Молодой-то пожил с тобой – и пропал по гостям, да по клубам, да по цыганам. А старик дома сидеть будет, не надышится на тебя! И наряды и уборы… всем на свете для молодой жены

---

[27] Дорогу, сударыни!

[28] Мило!

пожертвовать готов!

– Как папенька, например…

– Ну что папеньку трогать! Папенька сам по себе. Я правду ей говорю, а она: «папенька»…

И т. д.

Возвратясь домой, некоторое время прикидываются умиротворенными, но за чаем, который по праздникам пьют после обедни, опять начинают судачить. Отец, как ни придавлен домашней дисциплиной, но и тот наконец не выдерживает.

– Как это у вас языки не отсохнут! – кричит он, – с утра до вечера только и дела, что сквернословят!

При этом упреке сестрица с шумом встает из-за стола, усаживается к окну и начинает смотреть на улицу, как проезжают кавалеры, которые по праздникам обыкновенно беснуются с визитами. Смотрение в окно составляет любимое занятие, которому она готова посвятить целые часы.

– Что в окно глазеешь? женихов высматриваешь? – язвит отец, который недолюбливает старшую дочь именно потому, что матушка балует ее.

– И буду смотреть! Вам что за дело! – огрызается сестрица.

– Вот как отцу она отвечает!

– А вы не троньте меня, и я вас не трону!

– Ах, ты…

– Сидели бы у себя в углу!..

– Надин! Финиссё![29] – вступается матушка, не желая, чтобы подобные сцены происходили «деван лё жан»[30].

В воскресенье, последний день масленицы, ровно в полночь, цикл московских увеселений круто обрывался. В этот день у главнокомандующего назначался «folle journee»[31]; но так как попасть в княжеские палаты для дворян средней руки было трудно, то последние заранее узнавали, не будет ли таких же folles journees у знакомых. Семья, которой не удавалось заручиться последним масленичным увеселением, почитала себя несчастливою. Целый день ей приходилось проводить дома в полном одиночестве, слоняясь без дела из угла в угол и утешая себя разве тем, что воскресенье, собственно говоря, уже начало поста, так как в церквах в этот день кладут поклоны и читают «господи, владыко живота».

В чистый понедельник великий пост сразу вступал в свои права. На всех перекрестках раздавался звон колоколов, которые как-то особенно уныло перекликались между собой; улицы к часу ночи почти мгновенно затихали, даже разносчики появлялись редко, да и то особенные, свойственные посту; в домах слышался запах конопляного масла. Словом сказать, все как бы говорило: нечего заживаться в Москве! все, что она могла дать, уже

---

29 Перестаньте!

30 в присутствии посторонних

31 веселый вечер

взято!

В понедельник же, с раннего утра, матушка начинает торопиться сборами.

Ей хочется выехать, не позже среды – после раннего обеда, чтоб успеть хоть на кончике застать у Троицы-Сергия мефимоны. С часу на час ожидают из деревни подвод; Стрелкова командируют в Охотный ряд за запасами для деревни, и к полудню он уже является в больших санях, нагруженных мукой, крупой и мерзлой рыбой. В нашем доме в великий пост не подается на стол скоромного, а отец кушает исключительно грибное и только в благовещенье да в вербное воскресенье позволяет себе рыбу. Те же хлопоты, которые сопровождали приезд в Москву, начинаются и теперь. Беспрерывно слышится хлопанье наружными дверями, в комнатах настужено, не метено, на полах отпечатлелись следы сапогов, подбитых гвоздями; и матушка и сестра целые дни ходят неодетые. Один отец остается равнодушен к общей кутерьме и ходит исправно в церковь ко всем службам.

– Подводы приехали! – докладывают матушке.

Наконец все прибрано и уложено. В среду утром служат напутственный молебен. В передней спозаранку толчется Стрелков, которому матушка отдает последние приказания. Наскоро обедают и спешат выехать, оставив часть дворни и подвод для очистки квартиры и отправки остальных вещей.

Но дорога до Троицы ужасна, особливо если масленица поздняя. Она представляет собой целое море ухабов, которые в оттепель до половины наполняются водой. Приходится ехать шагом, а так как путешествие совершается на своих лошадях, которых жалеют, то первую остановку делают в Больших Мытищах, отъехавши едва пятнадцать верст от Москвы. Такого же размера станции делаются и на следующий день, так что к Троице поспевают только в пятницу около полудня, избитые, замученные.

У Троицы вынимаются чемоданы и повторяются те же сцены, как и в Москве перед выездами на вечера. На мефимоны съезжается «вся Москва», и ударить себя лицом в грязь было бы непростительно. Одеваются в особые «дорожные» платья, очень щеголеватые, и на отдохнувших лошадях отправляются в возке (четверней в ряд, по-дорожному) в монастырь. Церковь битком набита, едва можно пробраться, при содействии Конона, который идет впереди, бесстрашно пуская в ход локти. Под сводами храма раздается: «Помощник и Покровитель…» Отец молитвенно складывает руки; у матушки от умиления слезы на глазах.

А вот и Голубовицкие, и Гурины, и Соловкины – все! Даже мсьё Обрящин тут – est-ce possible![32] Так что едва произнесено последнее слово «отпуска», как уже по всей церкви раздаются восклицания:

– Вы! какими судьбами?

– В деревню! пора!

– Парники набивать время!

– У нас еще молотьба не кончена!

– А у нас скотный двор сгорел. Пугнуть надо.

– Но как сегодня пели! я и не знала, где я: на небесах или на земле!..

От Троицы дорога идет ровнее, а с последней станции даже очень порядочная. Снег уже настолько осел, что местами можно по насту проехать. Лошадей перепрягают «гусем», и они бегут веселее, словно понимают, что надолго избавились от московской суеты и многочасных дежурств у подъездов по ночам. Переезжая кратчайшим путем через озеро, путники замечают, что оно уже начинает синеть. Наконец!.. Последнюю «чужую» деревню

[32] возможно ли это!

проехали… Вот промелькнула Тараканиха, самая дальняя наша пустошь, вот Столбы, вот Светлички, а вот и Малиновец!

Отец вылезает у подъезда из возка, крестится на церковь и спрашивает, были ли службы на первой неделе. Матушка тоже крестится и произносит:

– Ну, слава богу, дома!

Только сестрица недовольна и сердито цедит сквозь зубы:

– Опять этот Малиновец… ах, противный! Господи! Да когда же наконец! когда же!..

XV. Сестрицыны женихи. – Стриженый

Сестрица Надина была старшею в нашей семье. Ее нельзя было назвать красивою; справедливее говоря, она была даже дурна собою. Рыхлая, с старообразным лицом, лишенным живых красок, с мягким, мясистым носом, словно смятый башмак, выступавшим вперед, и большими серыми глазами, смотревшими неласково, она не могла производить впечатления на мужчин.

Только рост у нее был хороший, и она гордилась этим, но матушка справедливо ей замечала: «На одном росте, матушка, недалеко уедешь». Матушка страстно любила своего первенца-дочь, и отсутствие красоты очень ее заботило. В особенности вредило сестре сравнение с матушкой, которая, несмотря на то, что ей шло уж под сорок и что хозяйственная сутолока наложила на нее свою руку, все еще сохранила следы замечательной красоты. Сестра знала это и страдала. Иногда она даже очень грубо выражала матушке свое нетерпение по этому поводу.

– Вы всё около меня торчите! – говорила она, – не вам выходить замуж, а мне.

– Не могу же я оставить тебя одну, – оправдывалась матушка.

– Попробуйте!

Зато сестру одевали как куколку и приготовляли богатое приданое.

Старались делать последнее так, чтоб все знали, что в таком-то доме есть богатая невеста. Кроме того, матушка во всеуслышанье объявляла, что за дочерью триста незаложенных душ и надежды в будущем.

– Умрем, ничего с собою не унесем, – говорила она, – пока с нее довольно, а потом, если зять будет ласков, то и еще наградим.

Как уж я сказал выше, матушка очень скоро убедилась, что на балах да на вечерах любимица ее жениха себе не добудет и что успеха в этом смысле можно достигнуть только с помощью экстраординарных средств. К ним она и прибегла.

И вот наш дом наполнился свахами. Между ними на первом плане выступала Авдотья Гавриловна Мутовкина, старуха лет шестидесяти, которая еще матушку в свое время высватала. На нее матушка особенно надеялась, хотя она более вращалась в купеческой среде и, по преклонности лет, уж не обладала надлежащим проворством. Были и сваты, хотя для мужчин это ремесло считалось несколько зазорным. Из числа последних мне в особенности памятен сват Родивоныч, низенький, плюгавенький старик, с большим сизым носом, из которого вылезал целый пук жестких волос. Он сватал все, что угодно: и имения, и дома, и вещи, и женихов, а кроме того, и поручения всевозможные (а в том числе и зазорные) исполнял. С первого же взгляда на его лицо было очевидно, что у него постоянного занятия нет, что, впрочем, он и сам подтверждал, говоря:

– Настоящей жизни не имею; так кой около чего колочусь! Вы покличете, другой покличет, а я и вот он-он! С месяц назад, один купец говорит:

«Слетай, Родивоныч, за меня пешком к Троице помолиться; пообещал я, да недосуг…» Что ж, отчего не сходить – сходил! Без обману все шестьдесят верст на своих на двоих отрапортовал!

Или:

– А однажды вот какое истинное происшествие со мной было. Зазвал меня один купец вместе купаться, да и заставил нырять. Вцепился в меня посередь реки, взял за волосы да и

пригибает. Раз окунул, другой, третий… у меня даже зеленые круги в глазах пошли… Спасибо, однако, синюю бумажку потом выкинул!

Матушка так и покатывалась со смеху, слушая эти рассказы, и я даже думаю, что его принимали у нас не столько для «дела», сколько ради «истинных происшествий», с ним случавшихся.

Но, помимо свах и сватов, Стрелкову и некоторым из Заболотских богатеев, имевшим в Москве торговые дела, тоже приказано было высматривать, и если окажется подходящий человек, то немедленно доложить.

От времени до времени, с раннего утра у нас проходила целая процессия матримониальных дел мастериц.

– Савастьяновна в девичьей дожидается, – докладывает горничная.

– Зови.

Входит тоненькая, обшарпанная старуха, рябая, с попорченным оспою глазом. Одета бедно; на голове повойник, на плечах старый, порыжелый драдедамовый платок.

Матушка затворяется с нею в спальне; сестрица потихоньку подкрадывается к двери и прикладывает ухо.

Начинается фантастическое бесстыжее хвастовство, в котором есть только одно смягчающее обстоятельство: невозможность определить, преднамеренно ли лгут собеседники или каким-то волшебным процессом сами убеждаются в действительности того, о чем говорят.

– Опять с шишиморой пришла? – начинает матушка.

– Вот уж нет! Это точно, что в прошлый раз… виновата, сударыня, промахнулась!.. Ну, а теперь такого-то размолодчика присмотрела… на редкость! И из себя картина, и имение есть… Словом сказать…

– Кто таков?

– Перепетуев майор. Может, слыхали?

– Нет, отроду такой фамилии не слыхивала. Из сдаточных, должно быть.

– Помилуйте, посмела ли бы я! Старинная, слышь, фамилия, настоящая дворянская. Еще когда Перепетуевы в Чухломе имениями владели. И он: зимой в Москву приезжает, а летом в имениях распоряжается.

– Стар?

– Нельзя сказать. Немолод – да и не перестарок, лет сорок пять, не больше.

– Не надо. Все пятьдесят – это верно.

– Помилуйте! что же такое! Он еще в силах!

Сваха шепчет что-то по секрету, но матушка стоит на своем.

– Не надо, не надо, не надо.

Савастьяновна уходит; следом за ней является Мутовкина. Она гораздо представительнее своей предшественницы; одета в платье из настоящего терно, на голове тюлевый чепчик с желтыми шелковыми лентами, на плечах новый драдедамовый платок. Памятуя старинную связь, Мутовкина не церемонится с матушкой и говорит ей «ты».

– Дай посижу, устала, – начинает она, – легко ли место, пол-Москвы сегодня обегала.

– Что новенького? – нетерпеливо спрашивает матушка.

– Что новенького! Нет ничего! Пропали женихи, да и только!

– Неужто ж Москва клином сошлась, женихов не стало?

– Есть, да не под кадрель вам. Даже полковник один есть, только вдовый, шестеро детей, да и зашибает.

– Такого не надо.

– Знаю, что не надо, и не хвастаюсь.

Матушка задумывается. Ее серьезно тревожит, что, пожалуй, так и пройдет зима без всякого результата. Уж мясоед на дворе, везде только и разговору, что о предстоящих свадьбах, а наша невеста сидит словно заколдованная. В воображении матушки рисуется некрасивая фигура любимицы-дочери, и беспокойство ее растет.

– Видно, что плохо стараешься, – укоряет она Мутовкину. – Бьемся, бьемся, на одни наряды сколько денег ухлопали – и все нет ничего! Стадами по Москве саврасы гогочут – и хоть бы один!

– Обождать нужно. Добрые люди не одну зиму, а и две, и три в Москве живут, да с пустом уезжают. А ты без году неделю приехала, и уж вынь тебе да положь!

– Да неужто и на примете никого нет?

– Сказывали намеднись, да боюсь соврать…

– Кто таков? говори!

– Сказывали, будто на днях из Ростова помещика ждут. Богатый, сколько лет предводителем служил. С тем будто и едет, чтоб беспременно жениться.

Вдовец он, – с детьми, вишь, сладить не может.

– Ну, это еще улита едет, когда-то будет. А дети у него взрослые?

– Сын женатый, старшая дочь тоже замужем.

– Старик?

– Немолод. А впрочем, в силах. Даже под судом за эти дела находился.

– За какие «за эти» дела?

– А вот, за эти самые. Крепостных девиц, слышь, беспокоил, а исправник на него и донес.

– Вот, видишь, ты язва какая! за кого сватать берешься!

– Ах, мать моя, да ведь и все помещики на один манер. Это только Василий Порфирыч твой…

– Не надо! За старого моя Надёха (в сердцах матушка позволяет себе награждать сестрицу не совсем ласковыми именами и эпитетами) не пойдет. А тут еще с детьми возжайся… не надо!

– А мой совет таков: старый-то муж лучше. Любить будет. Он и детей для молодой жены проклянет, и именье на жену перепишет.

Но матушка не верит загадываньям. Она встает с места и начинает в волнении ходить по комнате.

– Двадцать лет тетёхе, а она все в девках сидит! – ропщет она. – В эти годы я уж троих ребят принесла! Что ж, будет, что ли, у тебя жених? или ты только так: шалды-балды, и нет ничего! – приступает она к свахе.

– В кармане не ношу.

– А ты коли взялась хлопотать, так хлопочи!

Разговор оживляется и чем дальше, тем становится крупнее. Укоризны так и сыплются с обеих сторон.

– Что вы, собаки, грызетесь! – слышится наконец голос отца из кабинета, – помолиться покойно не дадите!

За Мутовкиной следует сваха с Плющихи; за нею – сваха из-под Новодевичьего. Действующие лица меняются, но процессия остается одинаковою и по форме и по содержанию и длится до тех пор, пока не подадут обед или матушка сама не уедет из дома.

Повторяю: подобные сцены возобновляются изо дня в день. В этой заглохшей среде, где и смолоду люди не особенно ясно сознают, что нравственно и что безнравственно, в зрелых летах совсем утрачивается всякая чуткость на этот счет. «Житейское дело» – вот ответ, которым определяются и оправдываются все действия, все речи, все помышления.

Язык во рту свой, не купленный, а мозги настолько прокоптились, что сделались уже неспособными для восприятия иных впечатлений, кроме неопрятных…

И вот однажды является Стрелков и, кончив доклад о текущих делах, таинственно заявляет:

– Есть у меня, сударыня, на примете…

– Кто таков? Не мни!

– Очень человек обстоятельный. По провиантской части в Москве начальником служит. Уж и теперь вроде как генерал, а к Святой, говорят, беспременно настоящим генералом будет!

– Стар?

– Не то чтобы… в поре мужчина. Лет сорока пяти, должно быть. Года середине.

– Старенек.

– Нынче, сударыня, молодые-то не очень на невест льстятся.

– Холостой? вдовец?

– Вдовый-с, только детей не имеют.

– Экономка, смотри, есть?

– Экономка… – заминается Стрелков.

– Есть ли экономка, русским языком тебе говорят?

– Помилуйте! они ее рассчитают. Коли женятся, зачем же им экономка понадобится?

– То-то, чтоб этого не было. Ты у меня в ответе.

Мысль об экономке слегка обеспокоивает матушку; но, помолчав с минуту, она продолжает допрос.

– Есть имение? капитал?

– Имения нет, почему что при должности ихней никак нельзя себя обнаружить. А капитал, беспременно есть.

– На лбу, что ли, ты у него прочел?

– Что вы, сударыня! при такой должности да капитала не иметь! Все продовольствие: и мука, и крупа, и горох, окромя всего прочего, все в ихних руках состоит! Известно, они и насчет капитала опаску имеют. Узнают, спросят, где взял, чем нажил? – и службы, храни бог, решат…

– Все-таки… Вернее надо узнать. Иной с три короба тебе наговорит: капитал да капитал, а на поверку выйдет пшик.

– Можно, сударыня, так сделать: перед свадьбой чтобы они билеты показали. Чтобы без обману, налицо.

– Разве что так…

– Очень они Надежду Васильевну взять за себя охотятся. В церкви, у Николы Явленного, они их видели. Так понравились, так понравились!

– Да ты через кого узнал? сам, что ли, от него слышал?

– Мне наш мужичок, Лука Архипыч Мереколов, сказывал. Он небольшую партию гороху ставил, а барин-то и узнал, что он наш… Очень, говорит, у вас барышня хороша.

– А фамилия как?

– Федор Платоныч Стриженый прозывается.

Матушка задумывается, как это выйдет: «Надежда Васильевна Стриженая»! – словно бы неловко… Ишь его угораздило, какую фамилию выдумал! захочет ли еще ее «краля» с такой фамилией век вековать.

– Ладно, – говорит она, – приходи ужо, а я между тем переговорю. А впрочем, постой! не зашибает ли он?

– Помилуйте, сударыня, зачем же! Рюмка, две рюмки перед обедом да за чаем пуншт…

– То-то, рюмка, две рюмки… Иной при людях еще наблюдает себя, а приедет домой да и натИнькается… Ну, с богом!

С уходом Стрелкова матушка удаляется в сестрицыну комнату и добрый час убеждает ее, что в фамилии «Стриженая» ничего зазорного нет; что Стриженые исстари населяют

Пензенскую губернию, где будто бы один из них даже служил предводителем.

Наконец, сестрица сдается; решает устроить смотрины, то есть условиться через Стрелкова с женихом насчет дня и пригласить его вечером запросто на чашку чая.

* * *

Пятый час в начале; только что отобедали, а сестрица уж затворилась в своей комнате и повертывается перед трюмо. В восемь часов ждут жениха; не успеешь и наглядеться на себя, как он нагрянет.

Сестрица заранее обдумала свой туалет. Она будет одета просто, как будто никто ни о чем ее не предупредил, и она всегда дома так ходит.

Розовое тарлатановое платье с высоким лифом, перехваченное на талии пунцовою лентой, – вот и все. В волосах вплетена нитка жемчуга, на груди – брошь с брильянтами; лента заколота пряжкой тоже с брильянтиками. Главное, чтоб было просто. Но недаром пословица говорит, что простота хуже воровства; сестрица отлично понимает смысл этой пословицы и беспрестанно крестится, чтоб обдуманная ею простота удалась.

Ее очень заботит, что утром у нее, на самой середине лба, вскочил прыщ. – Противный! – восклицает она, чуть не плача и прикладывая палец к прыщу. Но последний от беспрестанных подавливаний еще более багровеет. К счастью, матушка, как женщина опытная, сейчас же нашлась, как помочь делу.

– Надень фероньерку, и дело с концом! – сказала она, – как раз звездочка по середине лба придется.

И точно: надела сестрица фероньерку, и вместо прыща на лбу вырос довольно крупный бриллиант.

К семи часам вычистили зал и гостиную, стерли с мебели пыль, на стенах зажгли бра с восковыми свечами; в гостиной на столе перед диваном поставили жирандоль и во всех комнатах накурили монашками. В заключение раскрыли в зале рояль, на пюпитр положили ноты и зажгли по обе стороны свечи, как будто сейчас играли. Когда все было готово, в гостиную явилась матушка, прифранченная, но тоже слегка, как будто она всегда так дома ходит. Ради гостя, и отец надел «хороший» сюртук, но он, очевидно, не принимал деятельного участия в общем ожидании и выполнял только необходимую формальность. Да и матушка не надеялась, что он сумеет занять гостя, и потому пригласила дядю, который, в качестве ростовщика, со всяким народом водился и на все руки был мастер.

– Знаю я этого Стриженого, – сообщает дядя, – в прошлом году у него нехватка казенных денег случилась, а ему дали знать, что ревизор из Петербурга едет. Так он ко мне приезжал.

– Как же мне сказывали, что у него большие деньги в ломбарте лежат? – тревожится матушка, – кабы свой капитал был, он бы вынул денежки из Совета да и пополнил бы нехватку.

– Есть у него деньги, и даже не маленькие, только он их в ломбарте не держит – процент мал, – а по Москве под залоги распускает. Купец Погуляев и сейчас ему полтораста тысяч должен – это я верно знаю. Тому, другому перехватить даст – хороший процент получит.

– А что, если начальство проведает, да под суд его за такие дела отдаст?

– То-то что и он этого опасается. Да и вообще у оборотливого человека руки на службе связаны. Я полагаю, что он и жениться задумал с тем, чтобы службу бросить, купить имение да оборотами заняться. Получит к Святой генерала и раскланяется.

– Вот кабы он именье-то на имя Наденьки купил. Да кабы в хлебной губернии…

– Может быть, и купит, только закладную на свое имя с нее возьмет.

– Ну, это уж что!.. А вот что, братец, я хотела спросить. Выгодно это, деньги под залоги давать?

– Хлопот много. Не женское это дело; кабы ты мне свой капитал поручила, я бы тебе

его пристроил.

Дядя смотрит на матушку в упор таким загадочным взором, что ей кажется, что вот-вот он с нее снимет последнюю рубашку. В уме ее мелькает предсказание отца, что Гришка не только стариков капитал слопает, но всю семью разорит. Припомнивши эту угрозу, она опускает глаза и старается не смотреть на дядю.

– Нет уж! какой у меня капитал! – смиренно говорит она, – какой и был, весь на покупку имений извела!

– Оброки получаешь; вот бы по частям и отдавала. И все с небольшого начинают.

– Какие у меня оброки! Недоимки одни. Вон их целая книга исписана, пожалуй, считай! нет уж, я так как-нибудь…

– Как знаешь! Мне твоих денег не нужно.

Разговор становился щекотливым; матушка боится, как бы дядя не обиделся и не уехал. К счастью, в передней слышится движение, которое и полагает предел неприятной сцене.

Жених приехал.

Входит рослый мужчина, довольно неуклюже сложенный. Он в мундире военного министерства с серебряными петлицами на высоком и туго застегнутом воротнике; посредине груди блестит ряд пуговиц из белой латуни; сзади трясутся коротенькие фалдочки. Нельзя сказать, чтоб жених был красив.

Скорее всего его можно принять за сдаточного, хотя он действительно принадлежит к старинному дворянскому роду Стриженых, который в изобилии водится в Пензенской губернии. Несмотря на то, что Стрелков заявил, что Стриженому сорок лет, но на вид ему добрых пятьдесят пять. Лицо у него топорное, солдатское, старого типа; на голове накладка, которую он зачесывает остатками волос сзади и с боков; под узенькими влажными глазами образовались мешки; сизые жилки, расползшиеся на выдавшихся скулах и на мясистом носу, свидетельствуют о старческом расширении вен; гладко выбритый подбородок украшен небольшим зобом. Словом сказать, произведенное им на матушку впечатление далеко не в его пользу. И стар, да, пожалуй, и пьющий, сразу подумалось ей.

– Федор Платонов Стриженый! – рекомендуется он, останавливаясь перед матушкой и щелкая шпорами.

– Милости просим, Федор Платоныч! Вот мой муж… а вот это брат мой.

– С братцем вашим мы уже знакомы…

Мужчины пожимают друг другу руки.

Гостя усаживают на диван рядом с хозяйкой.

– Мы, кажется, по Николе Явленному несколько знакомы, – любезно начинает матушка разговор.

– Поблизости от этой церкви живу, так, признаться сказать, по праздникам к обедне туда хожу.

– А какие там проповеди протопоп говорит! Ах, какие это проповеди!

– Как вам сказать, сударыня… не нравятся мне они… «Блюдите» да «памятуйте» – и без него всем известно! А иногда и вольнёнько поговаривает!

– Чтой-то я как будто не замечала…

– Намеднись о мздоимцах начал… Такую чепуху городит, уши вянут! И, между прочим, все вздор. Разве допустит начальство, чтоб были мздоимцы!

– Ну, тоже со всячинкой.

– Не смею спорить-с. Вы, Василий Порфирыч, как полагаете?

– Един бог без греха, – скромно отвечает отец.

– Вот это – святая истина! Именно один бог! И священнику знать это больше других нужно, а не палить из пушек по воробьям.

– Ну, а вы как? службой своей довольны? – вступает в общий разговор дядя.

– Слава богу-с! Обиды от начальства не вижу, а для подчиненного только это и дорого.

– И как еще дорого! именно только это и дорого! – умиляется матушка. – Мне сын из Петербурга пишет: «Начальство меня, маменька, любит, а с этим я могу смело смотреть будущему в глаза!»

– Именно так-с. Только, доложу вам, скучненька моя служба. Мука да крупа, да горох-с…

– Нет, что ж, что и горох… Смотря по тому, какого качества и почем, – резонно замечает дядя.

– Справедливо-с! А все-таки… Будет с меня, похлопотал. Вот, если к Святой получу чин, можно будет и другим делом заняться. Достатки у меня есть, опытность тоже…

– Это так; можно и другое дело найти. Капитал кому угодно занятие даст. Всяко его оборотить можно. Имение, например… Если на свое имя приобрести неудобно, можно иначе сделать… ну, на имя супруги, что ли…

– Вдов, сударыня. Был у меня ангел-хранитель, да улетел!

– Что же такое! не век одному вековать. Может, и в другой раз бог судьбу пошлет!

– Коли пошлет бог… отчего ж! Я от судьбы не прочь!

– От сумы да от тюрьмы не отказывайся, говорит пословица; так же точно и от судьбы! – шутит дядя.

Все смеются.

– Имения, я вам скажу, очень дело выгодное! – продолжает соблазнять матушка, – пятнадцать – двадцать процентов шутя капитал принесет. А денежки все равно как в ломбарте лежат.

Беседа начинает затрогивать чувствительную струну матушки, и она заискивающими глазами смотрит на жениха. Но в эту минуту, совсем не ко времени, в гостиную появляется сестрица.

Она входит, слегка подпрыгивая, как будто ничего не знает. Как будто и освещение, и благоухание монашек, – все это каждый день так бывает.

Понятно, что из груди ее вылетает крик изумления при виде нового лица.

– Ах!

– Иди, иди, дочурка! – ободряет ее матушка, – здесь всё добрые люди сидят, не съедят! Федор Платоныч! дочка моя! Прошу любить да жаловать!

– Помилуйте! это я должен просить их о благосклонном внимании! – любезно отвечает Стриженый, щелкнув шпорами.

– А я вас, мсьё, у Николы Явленного видела, – наивничает сестрица.

– У Николы Явленного-с? видели-с? – притворяется удивленным жених, любезно хихикая.

– Да, помните, еще батюшка проповедь говорил… о мздоимцах… Папаша! что такое за слово: «мздоимцы»?

– Мздоимцы – это люди, которые готовы с живого и с мертвого кожу содрать, – без околичностей объясняет отец, – вроде, например, как Иуда.

При этом толковании матушка изменяется в лице, жених таращит глаза, и на носу его еще ярче выступает расширение вен; дядя сквозь зубы бормочет: «Попал пальцем в небо!»

– И охота тебе, Наденька… – начинает матушка. Но не успела она докончить фразу, как жених уже встал с дивана и быстрыми шагами удаляется по направлению к передней. Общее изумление.

– Вот тебе на, убежал! – восклицает матушка, – обиделся! Однако как же это… даже не простился! А все ты! – укоряет она отца, – Иуда да Иуда… Сам ты Иуда! Да и ты, дочка любезная, нашла разговор! Ищи сама себе женихов, коли так!

– Да постойте, не ругайтесь! может, ему до ветру занадобилось, – цинически успокоивает дядя.

Матушка уже встает, чтобы заглянуть в переднюю, но в эту минуту жених снова

появляется в дверях гостиной. В руках у него большая коробка конфект.

– Барышне-с! – презентует он коробку сестрице, – от Педотти; сам выбирал-с.

– Какой вы, однако ж, баловник! Еще ничего не видя, а уж… Сейчас видно, что дамский кавалер! Наденька! что ж ты! Благодари!

– Мерси, мсьё.

– Помилуйте-с! за счастье себе почитаю… По моему мнению, конфекты только для барышень и приготовляются. Конфекты, духи, помада… вот барышня и вся тут!

– Это справедливо. Дети ведь еще, так пускай сладеньким пользуются. Горького-то и впереди испытать успеют.

– Зачем же-с? Можно и без горького жизнь прожить!

– Да так…

– Позвольте вам доложить: если барышня приличную партию себе найдет, то и впереди… отчего же-с!

– Ну, дай бог! дай бог!

– А вы, мсьё, бываете у главнокомандующего?

– Всенепременно-с. На всех торжественных приемах обязываюсь присутствовать в качестве начальника отдельной части.

– А на балах?

– И на балы приглашения получаю.

– Говорят, это что-то волшебное!

– Не знаю-с. Конечно, светло… ну и угощенье… Да я, признаться сказать, балов недолюбливаю.

– Дома оставаться предпочитаете?

– Да, дома. Надену халат и сижу. Трубку покурю, на гитаре поиграю. А скучно сделается, в трактир пойду. Встречу приятелей, поговорим, закусим, машину послушаем… И не увидим, как вечер пройдет.

– Вот женитесь; молодая жена в трактир-то не пустит.

– Неизвестно-с. Покойница моя тоже спервоначалу говорила: «Не пущу!», а потом только и слов бывало: «Что все дома торчишь! шел бы в трактир!»

Матушка морщится; не нравится ей признание жениха. В халате ходит, на гитаре играет, по трактирам шляется… И так-таки прямо все и выкладывает, как будто иначе и быть не должно. К счастью, входит с подносом Конон и начинает разносить чай. При этом ложки и вообще все чайное серебро (сливочник, сахарница и проч.) подаются украшенные вензелем сестрицы: это, дескать, приданое! Ах, жалко, что самовар серебряный не догадались подать – это бы еще больше в нос бросилось!

– Чайку! – потчует матушка.

– Признаться сказать, я дома уж два пуншика выпил. Да боюсь, что горло на морозе, чего доброго, захватило. Извозчик попался: едет не едет.

– А вы разве своих лошадей не держите?

– Не держу-с. Целый день, знаете, в разъездах, не напасешься своих лошадей! То ли дело извозчик: взял и поехал!

Час от часу не легче. Пунш пьет, лошадей не держит. Но матушка все еще крепится.

– Вы с чем чай пьете? с лимончиком? со сливочками?

– С ромом-с! Нынче коньяк какой-то выдумали, только я его не употребляю: горелым пахнет. Точно головешку из печки пронесли. То ли дело ром!

– Знатоки говорят, что хороший ром клопами должен пахнуть, – замечает дядя.

– Многие это говорят, однако я не замечал. Клоп я вам доложу, совсем особенный запах имеет. Раздавишь его…

– Ах, мсьё! – брезгливо восклицает сестрица.

– Виноват. Забылся-с.

Жених отыскивает на подносе графинчик с ромом и, отливши из него в стакан, без церемонии ставит на стол возле себя.

Разговор делается общим. Отец рассказывает, что в газетах пишут о какой-то необычной комете, которую ожидают в предстоящем лете; дядя сообщает, что во французского короля опять стреляли.

– Точно в тетерева-с! – цинично восклицает Стриженый. – Шальной эти французы народишко… мерзавцы-с!

– Не понимаю, как другие государи в это дело не вступятся! – удивляется дядя.

– Как вступиться! Он ведь и сам ненастоящий!

Поднимается спор, законный или незаконный король Людвиг-Филипп. Дядя утверждает, что уже если раз сидит на троне – стало быть, законный; Стриженый возражает: – Ну нет-с, молода, во Саксонии не была!

– Кабы он на прародительском троне сидел, ну, тогда точно, что… А то и я, пожалуй, велю трон у себя в квартире поставить да сяду – стало быть, и я буду король?

Рассуждение это поражает всех своею резонностью, но затем беседующие догадываются, что разговор принимает слишком вольный характер, и переходят к другим предметам.

– Вот вы сказали, что своих лошадей не держите; однако ж, если вы женитесь, неужто ж и супругу на извозчиках ездить заставите? – начинает матушка, которая не может переварить мысли, как это человек свататься приехал, а своих лошадей не держит! Деньги-то, полно, у него есть ли?

– Вперед не загадываю-с. Но, вероятно, если женюсь и выйду в отставку… Лошадей, сударыня, недолго завести, а вот жену подыскать – это потруднее будет. Иная девица, посмотреть на нее, и ловкая, а как поразберешь хорошенько, и тут, и там – везде с изъянцем.

Матушка решительно начинает тревожиться и искоса посматривает на сестрицу.

– Потому что жена, доложу вам, должна быть во всех статьях… чтобы всё было в исправности… – продолжает Стриженый.

– Ах, Федор Платоныч!

– Виноват. Забылся-с.

Разговаривая, жених подливает да подливает из графинчика, так что рому осталось уж на донышке. На носу у него повисла крупная капля пота, весь лоб усеян перлами. В довершение всего он вынимает из кармана бумажный клетчатый платок и протирает им влажные глаза.

Матушка с тоской смотрит на графинчик и говорит себе: «Целый стакан давеча влили, а он уж почти все слопал!» И, воспользовавшись минутой, когда Стриженый отвернул лицо в сторону, отодвигает графинчик подальше. Жених, впрочем, замечает этот маневр, но на этот раз, к удовольствию матушки, не настаивает.

– Хочу я вас спросить, сударыня, – обращается он к сестрице, – в зале я фортепьяно видел – это вы изволите музыкой заниматься?

– Да, я играю.

– Она у Фильда[33] уроки берет. Дорогонек этот Фильд, по золотенькому за час платим, но зато… Да вы охотник до музыки?

– Помилуйте! за наслажденье почту!

– Наденька! сыграй нам те варьяции… «Не шей ты мне, матушка»… помнишь!

Сестра встает; а за нею все присутствующие переходят в зал. Раздается «тема», за которою следует обычная вариационная путаница. Стриженый слегка припевает.

– Поздравляю! проворно ваша дочка играет! – хвалит он, – а главное, свое, русское… Мужчины, конечно, еще проворнее играют, ну, да у них пальцы длиннее!

Кончая пьесу, сестрица рассыпается в трели.

---

33 Знаменитый в то время композитор-пианист, родом англичанин, поселившийся и состарившийся в Москве. Под конец жизни он давал уроки только у себя на дому и одинаково к ученикам и ученицам выходил в халате. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

– Вот, вот, вот! именно оно самое! – восклицает жених и, подходя к концертантке, поздравляет ее: – Осчастливьте, позвольте ручку поцеловать!

Сестрица вопросительно смотрит на матушку.

– Что ж, дай руку! – соглашается матушка.

– Да кстати позвольте и еще попросить сыграть… тоже свое что-нибудь, родное…

Сестрица снова садится и играет варьяции на тему: «Ехал казак за Дунай»…

Стриженый в восторге, хотя определительно нельзя сказать, что более приводит его в восхищение, музыка или стук посуды, раздающийся из гостиной.

Бьет десять часов. Ужина не будет, но закуску приготовили.

Икра, семга, колбаса – купленные; грибы, рыжики – свои, деревенские.

– Милости просим закусить, Федор Платоныч! водочки! – приглашает матушка.

– Не откажусь-с.

Жених подходит к судку с водкой, несколько секунд как бы раздумывает и, наконец, сряду выпивает три рюмки, приговаривая:

– Первая – колом, вторая – соколом, третья – мелкими пташечками! Для сварения желудка-с. Будьте здоровы, господа! Барышня! – обращается он к сестрице, – осчастливьте! соорудите бутербродец с икрой вашими прекрасными ручками!

– Что ж, если Федору Платонычу это сделает удовольствие… – разрешает матушка.

Стриженый мгновенно проглатывает тартинку и снова направляется к водке.

– Не будет ли? – предваряет его матушка.

– Виноват. Забылся-с.

Говоря это, он имеет вид человека, который нес кусок в рот, и у него по дороге отняли его.

– Прекрасная икра! превосходная! – поправляется он, – может быть, впрочем, оттого она так вкусна, что оне своими ручками резали. А где, сударыня, покупаете?

– Не знаю, в лавке где-нибудь человек купил.

– Почем-с?

– Рублик за фунт. Дорога.

– Дорогонько-с. Я восемь гривен плачу на монетном дворе. Очень хороша икра.

– Сёмужки, Федор Платоныч?

– Не откажусь-с. Да-с, так вы, Василий Порфирыч, изволили говорить, что в газетах комету предвещают?

– Да, пишут.

– Это к набору-с. Всегда так бывает: как комета – непременно набор.

Жених косится на водку и наконец не выдерживает… Матушка, впрочем, уж не препятствует ему, и он вновь проглатывает две рюмки.

Все замечают, что он слегка осовел. Беспрерывно вытирает платком глаза и распяливает их пальцами, чтоб лучше видеть. Разговор заминается; матушка спешит сократить «вечерок», тем более, что часы уж показывают одиннадцатый в исходе.

– Кто там! – кличет она прислугу, – уберите водку!

Приказание это служит сигналом. Стриженый щелкает шпорами и, сопровождаемый гостеприимными хозяевами, ретируется в переднюю.

– И напредки милости просим, коли не скучно показалось, – любезно прощается матушка.

– Почту за счастье-с.

Жених уехал… Матушка, усталая, обескураженная, грузно опускается на диван.

– Не годится, – отрезывает она. Но дядя держится другого мнения.

– По-моему, надо повременить, – говорит он. – Пускай ездит, а там видно будет. Иногда даже самые горькие пьяницы остепеняются.

– По трактирам шляется, лошадей не держит, в первый раз в дом приехал, а целый графин рому да пять рюмок водки вылакал! – перечисляет матушка.

– Как знаешь, а по-моему, все-таки осмотреться надо. Капитал у него хороший – это я

верно знаю! – стоит на своем дядя.

– Того гляди, под суд попадет… Ты что скажешь? – обращается матушка к сестрице.

– Мне что ж… Как вы…

– Говори! не мне замуж выходить, а тебе… Как ты его находишь? хорош? худ?

Сестрица задумалась. Очевидно, внутри у нее происходит довольно сложный процесс. Она понимает, что Стриженый ей не пара, но в то же время в голове ее мелькает мысль, что это первый «серьезный» жених, на которого она могла бы более или менее верно рассчитывать. Встречала она, конечно, на вечерах молодых людей, которые говорили ей любезности, но всё это было только мимоходом и ничего «настоящего» не обещало впереди; тогда как Стриженый был настоящий, заправский жених… Он мог доставить ей самостоятельность, устроить «дом», в котором она назначила бы приемные дни, вечера… В ожидании такого жениха, она заранее приготовилась «влюбиться»…

Конечно, она не «влюбилась» в Стриженого… Фи! одна накладка на голове чего стоит!.. но есть что-то в этом первом неудачном сватовстве, отчего у нее невольно щемит сердце и волнуется кровь. Не в Стриженом дело, а в том, что настала ее пора…

– Ах, какая я несчастная! – вырывается из ее груди вопль.

С этим восклицанием она вся в слезах выбегает из комнаты.

XVI. Продолжение матримониальной хроники. – Еспер Клещевинов. – Недолгий сестрицын роман. – Женихи-мелкота.

С Клещевиновым сестра познакомилась уже в конце сезона, на вечере у дяди, и сразу влюбилась в него. Но что всего важнее, она была убеждена, что и он в нее влюблен. Очень возможно, что дело это и сладилось бы, если бы матушка наотрез не отказала в своем согласии.

Это была темная личность, о которой ходили самые разноречивые слухи.

Одни говорили, что Клещевинов появился в Москве неизвестно откуда, точно с неба свалился; другие свидетельствовали, что знали его в Тамбовской губернии, что он спустил три больших состояния и теперь живет карточной игрою.

Но все сходились в одном: что он игрок и мот, а этих качеств матушка ни под каким видом в сестрицыном женихе не допускала. Летом он, ради игры, посещал ярмарки, зимой промышлял игрою в Москве. И в одиночку действовал, и втайне; но не в клубе, – он не хотел подвергать себя риску быть забаллотированному, – а в частных домах. Иногда в его руках сосредоточивалась большая масса денег и вдруг как-то внезапно исчезала, и он сам на время стушевывался. Играл он нечисто, а многие даже прямо называли его шулером. Но это не мешало ему иметь доступ в лучшие московские дома, потому что он был щеголь, прекрасно одевался, держал отличный экипаж, сыпал деньгами, и на пальцах его рук, тонких и безукоризненно белых, всегда блестело несколько перстней с ценными бриллиантами. Находились скептики, которые утверждали, что камни эти фальшивые, но он охотно снимал перстни с пальцев и кому угодно давал любоваться ими. Оказывалось, что камни настоящие, только чересчур уже часто менялись. Как бы то ни было, щегольство и щедрость настолько подкупали в его пользу, что злые языки поневоле умолкали. Но, кроме того, злоязычников воздерживало и то, что он мог постоять за себя и без церемоний объявлял, что в двадцати шагах попадает из пистолета в туза.

В заключение, несмотря на свои сорок лет, он обладал замечательно красивой наружностью (глаза у него были совсем «волшебные»). Матери семейств избегали и боялись его, но девицы при его появлении расцветали.

– Заползет в дом эта язва – ничем ты ее не вытравишь! – говаривала про него матушка, бледнея при мысли, что язва эта, чего доброго, начнет

точить жизнь ее любимицы.

Я не умею объяснить, что именно обратило его внимание на сестрицу.

Наружность ее была непривлекательна, да и богатою партией она назваться не могла. Триста душ – этого только-только достаточно было, чтоб не прослыть бесприданницей даже в том среднем кругу, в котором мы вращались; ему же, при его расточительных инстинктах, достало бы этого куша только на один глоток. Очень возможно, впрочем, что им руководили в этом случае более сложные соображения. Во-первых, хотя он был везде принят, но репутация его все-таки была настолько сомнительна, что при появлении его в обществе солидные люди начинали перешептываться. Легчайший способ заставить принять себя на равной ноге представляла женитьба, и именно женитьба на девушке из обстоятельного семейства, к числу которых принадлежало и наше. Подобный брак прикрыл бы его прошлое, а может быть, обеспечил бы от злоязычия и будущие подвиги, от которых он отнюдь не намеревался отказаться. Во-вторых, он знал, что матушка страстно любит старшую дочь, и рассчитывал, что дело не ограничится первоначально заявленным приданым и что он успеет постепенно выманить вдвое и втрое. В-третьих, наконец, быть может, он просто разыгрывал из себя одну из «загадочных натур», которых в то время, под влиянием не остывшего еще байронизма, расплодилось очень много. А эпитет этот, в переложении на русские нравы, обнимал и оправдывал целый цикл всякого рода зазорностей: и шулерство, и фальшивые заемные письма и нетрудные победы над женскими сердцами, чересчур неразборчиво воспламенявшимися при слове «любовь».

Рассказывали даже, что он уж не одну девушку соблазнил, а они, несмотря на предупреждения, продолжали таять под лучами его волшебных глаз.

Как бы то ни было, но на вечере у дяди матушка, с свойственною ей проницательностью, сразу заметила, что ее Надёха «начинает шалеть». Две кадрили подряд танцовала с Клещевиновым, мазурку тоже отдала ему. Матушка хотела уехать пораньше, но сестрица так решительно этому воспротивилась, что оставалось только ретироваться.

Возвращаясь в возке домой, сестрица потихоньку напевала:

– Ес-пер! Ес-пер!

– Ошалела?! – грубо прервала ее матушка.

– Ах, maman, какие у вас слова противные! – кротко огрызнулась сестра.

Да, это была кротость; своеобразная, но все-таки кротость. В восклицании ее скорее чувствовалась гадливость, нежели обычное грубиянство.

Как будто ее внезапно коснулось что-то новое, и выражение матушки вспугнуло это «новое» и грубо возвратило ее к неприятной действительности. За минуту перед тем отворилась перед ней дверь в залитой светом чертог, она уже устремилась вперед, чтобы проникнуть туда, и вдруг дверь захлопнулась, и она опять очутилась в потемках.

Но матушка не поняла чувства, охватившего ее детище, и с прежнею резкостью продолжала:

– Смотри! ежели я что замечу… худо будет! Была любимкою, а сделаешься постылою! Помни это.

– Очень мне нужно!

Между матерью и дочерью сразу пробежала черная кошка. Приехавши домой, сестрица прямо скрылась в свою комнату, наскоро разделась и, не простившись с матушкой, легла в постель, положив под подушку перчатку с правой руки, к которой «он» прикасался.

– Лоб-то на ночь перекрестила ли? – крикнула ей матушка через дверь.

Матушка тоже лежит в постели, но ей не спится. Два противоположных чувства борются в ней: с одной стороны, укоренившаяся любовь к дочери, с другой – утомление, исподволь подготовлявшееся, благодаря вечным заботам об дочери и той строптивости, с которою последняя принимала эти заботы. «Ни одного-то дня не проходит без историй! – мысленно восклицает матушка, – и всё из-за женихов, из-за проклятых. До того обнаглела Надёха, что рада всякому встречному на шею повеситься! Оно, слова нет, пора ей замуж,

пора, – да чем же мать виновата, что бог красоты ей не дал! У другой нет красоты, так дарованье какое-нибудь есть, а у ней… Что ж, что она у Фильда уроки берет, – только деньгам перевод. Трень да брень. А сколько она в одну зиму деньжищ на ее наряды ухлопала – содержанье всего дома столько не стоит!»

Матушка смыкает глаза, но сквозь прозрачную дремоту ей чудится, что «язва» уж заползла в дом и начинает точить не только дочь, но и ее самое.

– Он и меня, как свят бог, оплетет! – полубессознательно мелькает в ее голове, – «маменька» да «маменька!» да «пожалуйте ручку!» – ну, и растаешь, ради любимого детища! Триста душ… эка невидаль! Да ему языком слизнуть, только их и видели! Сначала триста душ спустит, потом еще столько же вызудит, потом еще и еще… И Облепиха, и Лисьи-Ямы, и Новоселье – все в эту прорву уйдет! Пустит и жену, и всю семью по миру, а сам будет с ярмарки на ярмарку переезжать… Да еще не от живой ли жены он жениться-то затеял!

Слышала она, будто у него в Харькове жена есть, и он ей деньгами рот замазывает, чтобы молчала… Ай да дочка! вот так обрадовала! Хорош будет сюрприз. Мы их тут вокруг налоя обвертим, а настоящая жена возьмет да в суд подаст.

При этом предположении матушка приподнимается на постели и начинает прислушиваться. Но она проснулась только наполовину, и обступившая ее вереница сонных призраков не оставляет своей работы. Матушке чудится, что «Надёха» сбежала.

«Скатертью дорога!» – мелькает у нее в голове, но тут же рядом закрадывается и другая мысль: «А брильянты? чай, и брильянты с собой унесла!»

В невыразимом волнении она встает с постели, направляется к двери соседней комнаты, где спит ее дочь, и прикладывает ухо к замку. Но за дверью никакого движенья не слышно. Наконец матушка приходит в себя и начинает креститься.

– Тьфу, тьфу, лукавый! – шепчет она, вновь закутываясь в одеяло и усиленно сжимая веки глаз, чтоб заставить себя заснуть.

Но сон не приходит. Воображение матушки до того взволновано представлением об опасности, которая грозит ее любимке, что «язва» так и мечется перед ее глазами, зияющая, разъедающая. Что делать? какое принять решение? – беспрестанно спрашивает она себя и мучительно сознает, что бывают случаи, когда решения даются не так-то легко, как до сих пор представлялось ей, бесконтрольной властительнице судеб всей семьи. Что если одного ее слова достаточно, чтоб «распорядиться» с такими безответными личностями, как Степка-балбес, или Сонька-калмычка, то в той же семье могут совсем неожиданно проявиться другие личности, которые, пожалуй, дадут и отпор.

И что всего обиднее, она сама создала этот отпор, сама дала ему силу своим непростительным баловством и потворством!

«Это за ласки за мои!» – мелькает в ее голове.

Однако предпринять что-нибудь все-таки надо. Матушка рассчитывает, сколько еще осталось до конца зимнего сезона. Оказывается, что, со включением масленицы, предстоит прожить в Москве с небольшим три недели.

Она меня с ума в эти три недели сведет! Будет кутить да мутить.

Небось, и знакомых-то всех ему назвала, где и по каким дням бываем, да и к нам в дом, пожалуй, пригласила… Теперь куда мы, туда и он… какова потеха! Сраму-то, сраму одного по Москве сколько! Иная добрая мать и принимать перестанет; скажет: у меня не въезжий дом, чтобы любовные свидания назначать!

Или ее, за добра-ума, теперь же в Малиновец увезти? – вдруг возникает вопрос, но на первый раз он не задерживается в мозгу и уступает место другим предположениям.

Не возобновить ли переговоры с Стриженым, благо решительное слово еще не было произнесено. Спосылать к нему Стрелкова – он явится. Старенек он – да ведь ей, «дылде», такого и нужно… Вот разве что он пьянчужка…

– Держи карман! пойдет она теперь за Стриженого! – шепчет она, – ишь ведь, сразу так и врезалась! И что эти девки в таких шематонах находят!

Нет, чтобы в обстоятельного человека влюбиться, – непременно что ни на есть

мерзавца или картежника выберут! А впрочем… как же она за Стриженого не пойдет, коли я прикажу? Скажу: извольте одеваться, к венцу ехать – и поедет! А своей волей не поедет, так силком окручу! Я – мать: что хочу, то и сделаю. И никто меня за это не охает. Напротив, все скажут: «Хорошо сделали, что вовремя спохватились!» Я и в монастырь упрячу, ни у кого позволенья не спрошу!

Матушка дальше и дальше развивает проект относительно брака с Стриженым; однако ж, по размышлении, это решение оказывается не вполне состоятельным.

А что, ежели она сбежит! Заберет брильянты, да и была такова! И зачем я их ей отдала! Хранила бы у себя, а для выездов и выдавала бы… Сбежит она, да на другой день и приедет с муженьком прощенья просить! Да еще хорошо, коли он кругом налоя обведет, а то и так…

При этом предположении она цепенеет от страха. Что, ежели в самом деле… Ай да дочка! утешит! Придет с обтрепанным подолом, как последняя…

В зале бьют часы. Матушка прислушивается и насчитывает пять. В то же время за стеной слышится осторожный шорох. Это Василий Порфирыч проснулся и собирается к заутрене.

– Святоша! – сердито шепчет матушка, – шляется по заутреням – и горюшка ему мало!

С этими словами мысли ее начинают путаться, и она впадает в тяжелое забытье.

Поздним утром обе – и матушка и сестрица – являются к чаю бледные, с измятыми лицами. Матушка сердита; сестрица притворяется веселою. Вообще, у нее недоброе сердце, и она любит делать назло.

– Ес-пер! Ес-пер! – напевает она потихоньку.

– Не пой, Христа ради! дай чаю напиться.

– Я, маменька, кажется, ничего…

– А коли ничего, так и помолчи на четверть часа. Можно хоть раз матери уступить.

Матушка сдерживается. Ей хотелось бы прикрикнуть, но она понимает, что впереди еще много разговору будет и что для этого ей необходимо сохранить присутствие духа. На время воюющие стороны умолкают.

– Ах, да! давно хочу я тебя спросить, где у тебя брильянты? – начинает матушка, как будто ей только сейчас этот вопрос взбрел на ум.

– Где? в шифоньерке спрятаны! – резко отрезывает сестрица.

– То-то в шифоньерке. Целы ли? долго ли до греха! Приезжаешь ты по ночам, бросаешь зря… Отдала бы, за добра ума, их мне на сохранение, а я тебе, когда понадобится, выдавать буду.

– Ах, да возьмите! Тоже… брильянты! разве такие брильянты бывают?

– Чего ж тебе! рожна, что ли? каких еще надо брильянтов! Фермуарчик, брошка, три браслета, трое серег, две фероньерки, пряжка, крестик… – перечисляет матушка.

– Фермуарчик! крестик! – дразнится сестрица, – еще что не забыли ли? Колье обещали – где оно?

– И колье сделаем, когда замуж выходить будешь. Вот Мутовкина обещала…

– Не пойду я за ваших женихов! гнилые да старые… Берите ваши брильянты! любуйтесь ими!

Сестрица с сердцем выбегает, хлопнув дверью. Через минуту она появляется вновь и швыряет на стол несколько баульчиков и ящичков.

– Вот вам! все тут! не беспокойтесь! ни одного не украла!

Матушка осторожно открывает помещения, поворачивает каждую вещь к свету и любуется игрою бриллиантов. «Не тебе бы, дылде, носить их!» – произносит она мысленно и, собравши баулы, уносит их в свою комнату, где и запирает в шкап. Но на сердце у нее так наболело, что, добившись бриллиантов, она уже не считает нужным сдерживать себя.

– Ты долго думаешь матерью командовать? – спрашивает она сестрицу, входя в ее комнату.

Сестрица не отвечает и продолжает одеваться. Матушка слышит, как она напевает:

– Ес-пер! Ес-пер!

– Замолчи… наглая!

– Если вы ругаться сюда пришли, так гораздо бы лучше у себя в комнате сидели!

– Цыц, змея! Сказывай: пригласила, что ли, ты к нам своего шематона?

– Он не шематон.

– Говори: пригласила ты его?

– Поедет он к нам! еще к кому!

– Ах, ты…

Матушка поднимает руку. Сестрица несколько секунд смотрит на нее вызывающими глазами и вдруг начинает пошатываться. Сейчас с ней сделается истерика.

Сестрица умеет и в обморок падать, и истерику представлять. Матушка знает, что она не взаправду падает, а только «умеет», и все-таки до страху боится истерических упражнений. Поэтому рука ее застывает на воздухе.

– Ладно, после с тобой справлюсь. Посмотрю, что от тебя дальше будет, – говорит она и, уходя, обращается к сестрицыной горничной: – Сашка! смотри у меня! ежели ты записочки будешь переносить или другое что, я тебя… Не посмотрю, что ты кузнечиха (то есть обучавшаяся в модном магазине на Кузнецком мосту), – в вологодскую деревню за самого что ни на есть бедного мужика замуж отдам!

Как на грех, в это утро у нас в доме ожидают визитов. Не то, чтобы это был назначенный приемный день, а так уже завелось, что по пятницам приезжают знакомые, за которыми числится «должок» по визитам.

В два часа и матушка и сестрица сидят в гостиной; последняя протянула ноги на стул; в руках у нее французская книжка, на коленях – ломоть черного хлеба. Изредка она взглядывает на матушку и старается угадать по ее лицу, не сделала ли она «распоряжения». Но на этот раз матушка промахнулась или, лучше сказать, просто не догадалась.

– Что черный хлеб ешь? голодна, что ли?

– Завтракать не даете – что же есть? Во всех порядочных домах завтрак подают, только у нас…

– Заведения такого нет, оттого и не подают.

– Куска жалко! Ах, что за дом! Комнаты крошечные, куда не обернешься, везде грязь, вонь… фу!

Сестрица встает и начинает в волненье ходить взад и вперед по комнате.

– Тошнота! – восклицает она, – уж когда-нибудь я…

– Будет!

– Нет, не будет, не будет, не будет. Вы думаете, что ежели я ваша дочь, так и можно меня в хлеву держать?!

Матушка бледнеет, но перемогает себя. Того гляди гости нагрянут – и она боится, что дочка, назло ей, уйдет в свою комнату. Хотя она и сама не чужда «светских разговоров», но все-таки дочь и по-французски умеет, и манерцы у нее настоящие – хоть перед кем угодно не ударит лицом в грязь.

– Еспер Алексеич Клещевинов! – докладывает Конон.

– Скажи, что дома нет! – восклицает в волнении матушка, – или нет, постой! просто скажи: не велено принимать!

Но сестрица, как вкопанная, остановилась перед нею. Лицо у нее злое, угрожающее; зеленоватые глаза так и искрятся.

– Если вы это сделаете, – с трудом произносит она, задыхаясь и протягивая руки, – вот клянусь вам… или убегу от вас, или вот этими самыми руками себя задушу! Проси! – обращается она к Конону.

Матушка ничего не понимает. Губы у нее дрожат, она хочет встать и уйти, и не может. Клещевинов между тем уже стоит в дверях.

Он в щегольском коричневом фраке с светлыми пуговицами; на руках безукоризненно

чистые перчатки beurre frais[34]. Подает сестре руку – в то время это считалось недозволенною фамильярностью – и расшаркивается перед матушкой. Последняя тупо смотрит в пространство, точно перед нею проходит сонное видение.

Как это он прополз… змей подлый! – мерещится ей. Да она и сама хороша! с утра не догадалась распорядиться, чтобы не принимали… Господи!

Да что такое случилось? Бывало и в старину, что девушки влюблялись, но все-таки… А тут в одни сутки точно варом дылду сварило! Всё было тихо, благородно, и вдруг…

– Maman! мсьё, Клещевинов! – напоминает сестрица. – Извините, мсьё, maman вчера так устала, что сегодня совсем больна…

– Нет, я не больна… Милости просим, господин Клещевинов! Как это вам вздумалось к нам? Ехали мимо да и заехали?

Клещевинову неловко. По ледяному тону, с которым матушка произносит свой бесцеремонный вопрос, он догадывается, что она принадлежит к числу тех личностей, которые упорно стоят на однажды принятом решении. А решение это он сразу прочитал на ее лице.

– Я думал… Григорий Павлыч обнадежил меня… – оправдывается он.

– Братцу, конечно, лучше известно… Ну-с, господин Клещевинов, как в карточки поигрываете?

Это уж не в бровь, а прямо в глаз. Клещевинова начинает подергивать, но он усиливается быть хладнокровным.

– Вы, кажется, за игрока меня принимаете? – спрашивает он развязно.

– А то за кого же?

– Надежда Васильевна! Вступитесь хоть вы за меня!

– Maman! вы нездоровы! сами не знаете, что говорите!

У сестрицы побелели губы и лицо исказилось. Еще минута, и с нею, чего доброго, на этот раз случится настоящая истерика. Матушка замечает это и решается смириться.

– И точно как будто мне нездоровится, – говорит она, – не следовало бы и выходить… Прошу извинить, если что ненароком сказалось.

– Ах, что вы! Могу ли я надеяться быть представленным вашему супругу? – переменяет разговор Клещевинов.

– Он у меня затворник. Заперся у себя в кабинете, и не вызовешь его оттуда.

– А какой вчера прелестный балок дал Григорий Павлыч!

– Да, у него помещение хорошее. Вот мы так и рады бы, да негде. Совсем в Москве хороших квартир нет.

– Вы часто изволите, сударыня, выезжать?

– Да как вам сказать… почти все вечера разобраны. Мне-то бы, признаться, уж не к лицу, да вот для нее…

Разговор принимает довольно мирный характер. Затрогиваются по очереди все светские темы: вечера, театры, предстоящие катанья под Новинским, потом катанья, театры, вечера… Но матушка чувствует, что долго сдерживаться ей будет трудно, и потому частенько вмешивает в общую беседу жалобы на нездоровье. Клещевинов убеждается, что время откланяться.

– Не удержались-таки! нагрубили! – бросается сестрица к матушке, едва гость успел скрыться за дверью.

Появление новых гостей не дает разыграться домашней буре. Чередуются Соловкины, Хлопотуновы, Голубовицкие, Покатиловы. Настоящий раут. Девицы, по обыкновению, ходят обнявшись по зале; дамы засели в гостиной и говорят друг другу любезности. Но в массе лицемерных приветствий, которыми наполняется гостиная, матушка отлично различает язвительную нотку.

---

[34] цвета свежего масла

– А мы сейчас мсьё Клещевинова встретили… он от вас, кажется, ехал? – любопытствует госпожа Соловкина.

«Ну, пошла толчея толочь!» – мысленно восклицает матушка и неохотно отвечает: – Да, приезжал…

– Entre nous soit dit[35], ваша Надина, кажется, очень ему понравилась. Вчера все заметили.

– Помилуйте! вчера она в первый раз его видела!

– Ах, не говорите! девушки ведь очень хитры. Может быть, они уж давно друг друга заметили; в театре, в собрании встречались, танцевали, разговаривали друг с другом, а вам и невдомек. Мы, матери, на этот счет просты. Заглядываем бог знает в какую даль, а что у нас под носом делается, не видим. Оттого иногда…

– Не думаю! – холодно обрывает мать.

– Ну, как знаете! Конечно, не мне вам советы давать, а только… Скажите, заметили ли вы, какое вчера на Прасковье Ивановне платье было.

– Да, веселенькая матерьица.

– Нет, я не об том… а как она декольтировалась! даже…

Соловкина нагибается к уху матушки и шепчет.

– Представьте себе!

Да и не одна Соловкина язвит, и Покатилова тоже. У самой дочка с драгуном сбежала, а она туда же злоязычничает! Не успела усесться, как уже начала:

– А у вас сегодня мсьё Клещевинов был! У нас он, конечно, не бывает, но по собранию мы знакомы. Едем мы сейчас в санях, разговариваем, как он вчера ловко с вашей Надин мазурку танцевал – и вдруг он, легок на помине.

«Откуда?» – «От Затрапезных!..» Ну, так и есть!

– Да, он приезжал.

– Ваша Надин решительно вчера царицей бала была. Одета – прелесть! танцует – сама Гюленсор[36] позавидовала бы! Личико оживилось, так счастьем и пышит! Всегда она авантажна, но вчера… Все мужчины кругом столпились, глядят…

– Ну, есть на что!

– Нет, не говорите! это большое, большое счастье иметь такую прелестную дочь! Вот на мою Фенечку не заглядятся – я могу быть спокойна в этом отношении!

Матушка кисло улыбается: ей не по себе. А Покатилова продолжает язвить.

– Только сердитесь на меня или не сердитесь, а я не могу не предупредить вас, – тараторит она, – нехороший господин этот Клещевинов… отчаянный!

– Помилуйте! да мне что за дело! Пускай его качества при нем и остаются!

– Нет, я не про то… Теперь он вам визит сделал, а потом – и не увидите, как вотрется… Эти «отчаянные» – самый этот народ… И слова у них какие-то особенные… К нам он, конечно не приедет, но если бы… Ну, ни за что!

– Ой, примете!

– Ни за что. Заранее приказанье отдам. Конечно, мне вам советовать не приходится, а только… А заметили вы, как вчера Прасковья Ивановна одета была?

– Что ж, одета как одета… – нетерпеливо отвечает матушка, которая, в виду обступившего ее судаченья, начинает убеждаться, что к ближним не мешает от времени до времени быть снисходительною.

– Ну, до свиданья, добрейшая Анна Павловна! А-ревуар[37]. Извините, ежели что-

---

35 Говоря между нами

36 Знаменитая в то время танцовщица. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

37 Исковерканное французское: до свидания

нибудь чересчур откровенно сказалось… И сама знаю, что нехорошо, да что прикажете! никак с собой совладать не могу! Впрочем, вы, как мать, конечно, поймете…

Около трех часов, проводив последних гостей, матушка, по обыкновению, велит отказывать и подавать обедать. Но она так взволнована, что должна сейчас же высказаться.

– Ну, накормили грязью, милые друзья! По горло сытехонька. Сказывай, бесстыжая, где ты с ним познакомилась? – обращается она к сестрице.

– С кем «с ним»?

– С ним, с шематоном с своим?

– Никакого у меня «своего шематона» нет. Говорила уж я вам раз и больше повторять не намерена.

– Посмотрю! посмотрю, что от тебя дальше будет!

– И посмотрите, и увидите!

Обед проходит молчаливо. Даже отец начинает догадываться, что в доме происходит что-то неладное.

– Что такое сделалось? Что вы все утро грызетесь? – любопытствует он, – то целуются да милуются – и лен не делен! – то как собаки грызутся.

– А ты сиди, ворона!.. ходи по заутреням!

Более с отцом не считают нужным объясняться. Впрочем, он, по-видимому, только для проформы спросил, а в сущности его лишь в слабой степени интересует происходящее. Он раз навсегда сказал себе, что в доме царствует невежество и что этого порядка вещей никакие силы небесные изменить не могут, и потому заботится лишь о том, чтобы домашняя сутолока как можно менее затрогивала его лично.

Вечером, у Сунцовых, матушка, как вошла в зал, уже ищет глазами. Так и есть, «Шематон» стоит у самого входа и, сделавши матушке глубокий поклон, напоминает сестрице, что первая кадриль обещана ему.

– Условились! – мысленно восклицает матушка. Она решается не видеть и удаляется в гостиную.

Из залы доносятся звуки кадрили на мотив «Шли наши ребята»; около матушки сменяются дамы одна за другой и поздравляют ее с успехами дочери.

Попадаются и совсем незнакомые, которые тоже говорят о сестрице. Чтоб не слышать пересудов и не сделать какой-нибудь истории, матушка вынуждена беспрерывно переходить с места на место. Хозяйка дома даже сочла нужным извиниться перед нею.

– Представьте себе… Клещевинов! Совсем мы об нем и не думали – вдруг сегодня Обрящин привез его к нам… извините, бога ради!

– Что ж передо мной извиняться! извиняйтесь сами перед собой! – холодно отвечает матушка.

И в голову ее западает давным-давно покинутая мысль:

«Вот если б у меня настоящий муж был, никто бы меня обидеть не смел! А ему и горя мало… замухрышке!»

Ей кажется, что вечер тянется несносно долго. Несколько раз она не выдерживает, подходит к дочери и шепчет: «Не пора ли?» Но сестрица так весела и притом так мило при всех отвечает: «Ах, маменька!» – что нечего и думать о скором отъезде.

«Хоть бы ужинать-то дали! – думает матушка, – а то отпотчуют, по-намеднишнему, бутербродами с колбасой да с мещерским сыром!»

Наконец!!

Сряду три дня матушка ездит с сестрицей по вечерам, и всякий раз «он» тут как тут. Самоуверенный, наглый. Бурные сцены сделались как бы обязательными и разыгрываются, начинаясь в возке и кончаясь дома. Но ни угрозы, ни убеждения – ничто не действует на «взбеленившуюся Надёху». Она точно с цепи сорвалась.

«Не иначе, как они уже давно снюхались!» – убеждается матушка и, чтобы положить

конец домашнему бунту, решается принять героическую меру.

Никого не предупредивши, она шлет в Малиновец письмо с приказанием немедленно отапливать дом и с извещением, что вслед за сим приедет сама.

Проходит еще три дня; сестрица продолжает «блажить», но так как матушка решилась молчать, то в доме царствует относительная тишина. На четвертый день утром она едет проститься с дедушкой и с дядей и объясняет им причину своего внезапного отъезда. Родные одобряют ее. Возвратившись, она перед обедом заходит к отцу и объявляет, что завтра с утра уезжает в Малиновец с дочерью, а за ним и за прочими вышлет лошадей через неделю.

– Вот тебе целый мешок медных денег на церковь, – говорит она в заключение: – а за квартиру рассчитает Силка. Он и провизию для деревни закупит.

После обеда сестрица, по обыкновению, удаляется в свою комнату, чтоб приготовить вечерний туалет. Сегодня балок у Хорошавиных, и «он» непременно там будет. Но матушка в самом начале прерывает ее приготовления, объявляя резко:

– Не надо! Не поедем.

– Это что за новости! – горячится сестрица, но, взглянув на лицо матушки, убеждается, что блажить больше не придется.

– Сбирайте барышню; не всё укладывайте, а только что на неделю понадобится. Завтра утром едем в Малиновец! Сашка, ты останешься здесь и остальное уложишь, а за барышней в деревне Маришка походит.

– Маменька! голубушка! ведь масленица… что ж это такое!

– Будет с меня. Довольно.

Буря не заставила себя ждать и на этот раз сопровождалась несколькими, быть может, и настоящими обмороками. Но матушка уж не боится и совершенно хладнокровно говорит:

– Расшнуруйте барышню. Отдышится.

С вечера уложились и подкормили лошадей, а наутро бог послал снежку, и возок благополучно вынырнул из ворот по направлению к заставе.

Недолгий сестрицын роман кончился.

* * *

Не могу с точностью определить, сколько зим сряду семейство наше ездило в Москву, но, во всяком случае, поездки эти, в матримониальном смысле, не принесли пользы. Женихи, с которыми я сейчас познакомил читателя, были единственными, заслуживавшими название серьезных; хотя же, кроме них, являлись и другие претенденты на руку сестрицы, но они принадлежали к той мелкотравчатой жениховской массе, на которую ни одна добрая мать для своей дочери не рассчитывает. Преимущественно сватались вдовцы и старики. Для них устроивались «смотрины», подобные тем, образчик которых я представил в предыдущей главе; но после непродолжительных переговоров матушка убеждалась, что в сравнении с этими «вдовцами» даже вдовец Стриженый мог почесться верхом приличия, воздержания и светскости.

Приезжал смотреть на сестрицу и возвещенный Мутовкиною ростовский помещик, но тут случилось другого рода препятствие: не жених не понравился невесте, а невеста не понравилась жениху.

Прорывались в общей массе и молодые люди, но это была уже такая мелкота, что матушка выражалась о них не иначе как: «саврас», «щелкопер», «гол как сокол» и т. д. В числе прочих и Обрящин не затруднился сделать предложение сестрице, что матушку даже обидело.

Итак, Москва не удалась. Тем не менее сестрица все-таки нашла себе «судьбу», но уже в провинции. Вспомнила матушка про тетеньку Сластену (см. гл. Х-ю), списалась с нею и

поехала погостить с сестрицей. В это время в Р. прислали нового городничего; затеялось сватовство, и дело, при содействии тетеньки, мигом устроилось.

Семен Гаврилович Головастиков был тоже вдовец и вдобавок не имел одной руки, но сестрица уже не обращала вниманья на то, целый ли у нее будет муж или с изъяном. К тому же, у нее был налицо пример тетеньки; у последней был муж колченогий.

– Городничие-то и все такие бывают, – говорила тетенька, – сначала оно точно как будто неловко кажется, а поживешь – слюбится!

– Слушайся тетку! – прибавляла матушка. – Город этот хороший, доходный; как раз будущий муженек коко с соком наживет. А ты первой дамой будешь!

Сестрица послушалась и была за это вполне вознаграждена. Муж ее одной рукой загребал столько, сколько другому и двумя не загрести, и вдобавок никогда не скрывал от жены, сколько у него за день собралось денег.

Напротив того, придет и покажет: «Вот, душенька, мне сегодня бог послал!» А она за это рожала ему детей и была первой дамой в городе.

Не нахожу нужным скрывать, что она благодарила бога за то, что он спас ее от Клещевинова.

XVII. Крепостная масса

Покончивши с портретною галереею родных и сестрицыных женихов, я считаю нужным возвратиться назад, чтобы дополнить изображение той обстановки, среди которой протекло мое детство в Малиновце. Там скучивалась крепостная масса, там жили соседи-помещики, и с помощью этих двух факторов в результате получалось пресловутое пошехонское раздолье. Стало быть, пройти их молчанием – значило бы пропустить именно то, что сообщало тон всей картине.

Начну с крепостной массы.

Хотя я уже говорил об этом предмете в начале настоящей хроники, но думаю, что не лишнее будет вкратце повторить сказанное, хотя бы в виде предисловия к предстоящей портретной галерее «рабов»[38]…

Крестьянам при крепостном праве дышалось гораздо легче, нежели дворовым. Они жили за глазами и имели начальство, преимущественно назначавшееся из среды одновотчинников, а свой брат, будь он хоть и с норовом, все-таки знает крестьянскую нужду и снизойдет к ней. Он грешен теми же грехами, как и прочие – это главное; затем он имеет между односельцами родню, друзей, что тоже остерегает от чересчур резких проявлений произвола. Даже барщинские крестьяне – и те не до конца претерпевали, потому что имели свое хозяйство, в котором самостоятельно распоряжались, и свои избы, в которых хоть на время могли укрыться от взора помещика и уберечься от случайностей.

Конечно, и тут бывали нередкие исключения. Встречались помещики, которые буквально выжимали из барщинских крестьян последний сок, поголовно томя на господской работе мужиков и баб шесть дней в неделю и предоставляя им управляться с своими

---

38 Материал для этой галереи я беру исключительно в дворовой среде. При этом, конечно, не обещаю, что исчерпаю все разнообразие типов, которыми обиловала малиновецкая дворня, а познакомлю лишь с теми личностями, которые почему-либо прочнее других удержались в моей памяти. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

работами только по праздникам. О таких помещиках так и говорили, что крестьяне у них только по имени крестьяне, а в сущности те же дворовые. Но в большинстве случаев это водилось только между мелкопоместными и сходило с рук лишь до тех пор, покуда мирволил предводитель дворянства. Я знал, например, одного помещика-соседа, за которым числилось не больше семидесяти душ крестьян и который, несмотря на двенадцать человек детей, соблюдал все правила пошехонского гостеприимства.

Правда, что это гостеприимство обходилось не особенно дорого, и материал для него доставляли почти исключительно собственные продукты (даже чай подавался только при гостях); тем не менее гости наезжали в этот дом часто, веселились и уезжали довольные. Но что всего важнее, при таких ничтожных средствах, этот помещик дал детям воспитание не хуже других (в доме его всегда была гувернантка) и впоследствии пристроил их всех очень недурно. Зато он не имел старосты, сам вставал до свету, ходил по деревне и выгонял крестьян на работу. Даже приготовление пищи разрешалось крестьянам, в страдное время, только раз на целую неделю, и именно в воскресенье, когда барщина закрывалась. Поэтому крестьяне жали свой хлеб и косили траву урывками по ночам, а днем дети и подростки сушили сено и вязали снопы. Само собой разумеется, что такая работа не особенно спорилась, тем больше, что помещик не давал засиживаться в подростках и мальчика пятнадцати лет уже сажал на тягло. И никто не называл его мучителем, а напротив, все указывали на него как на образцового хозяина.

Другой случай крестьянского безвременья (настигавший и оброчных) представлялся тогда, когда барин вверялся какому-нибудь излюбленному лакею и поручал ему управление имением. Главный контингент этого рода управляющих доставляли люди до мозга костей развращенные и выслужившиеся при помощи разных зазорных услуг. По одному капризу им ничего не стоило, в самое короткое время, зажиточного крестьянина довести до нищенства, а ради удовлетворения минутным вспышкам любострастия отнять у мужа жену или обесчестить крестьянскую девушку. Жестоки они были неимоверно, но так как в то же время строго блюли барский интерес, то никакие жалобы на них не принимались. Много горя приняли от них крестьяне, но зато и глубоко ненавидели их, так что зачастую приходилось слышать, что там-то или там-то укокошили управителя и что при этом были пущены в ход такие утонченные приемы, которые вовсе несвойственны простодушной крестьянской природе и которые могла вызвать только неудержимая потребность отмщения. При таких известиях вся помещичья среда обыкновенно затихала, но спустя короткое время забывала о случившемся и вновь с легким сердцем принималась за старые подвиги.

За всем тем все-таки повторяю, что крестьянское житье было льготнее, нежели житье дворовых людей.

Что касается до нашей семьи, то у отца, кроме рассеянных в дальних губерниях мелких клочков, душ по двадцати, считалось в Малиновце триста душ крестьян, которые и отбывали господскую барщину. Матушкино имение (благоприобретенное) было гораздо значительнее и заключало в себе около трех тысяч душ, которые все без исключения ходили по оброку. Матушка охотнее покупала оброчные имения, потому что они стоили дешевле и требовали меньше хлопот, а норма оброка между тем никаким регламентациям не подвергалась, и, стало быть, ее можно было при случае и увеличить. Нередко ей предлагали перевести крестьян с оброка на изделье, но она не увлекалась подобными предложениями, понимая, что затеи такого рода могут привести к серьезному переполоху между крестьянами и что, сверх того, заглазное издельное хозяйство, пожалуй, принесет не выгоды, а убытки. Беспокойная от природы, она, конечно, пропала бы от одной думы, если б послушалась благожелательных советов. И я думаю, что, действуя совершенно вопреки указаниям так

называемых «хозяев», она этим самым доказывала очень верный хозяйственный инстинкт. Этим же инстинктом она руководилась и при назначении сельских начальников. Бурмистров избирала из местных крестьян, преимущественно таких, на которых указывала крестьянская молва. Даже малиновецкий староста, Федот Гаврилов, был назначен, так сказать, с молчаливого одобрения крестьян, которое она сумела угадать.

Впрочем, я лично знал только быт оброчных крестьян, да и то довольно поверхностно: Матушка охотно отпускала нас в гости к заболотским богатеям, и потому мы и насмотрелись на их житье. Зато в Малиновце нас не только в гости к крестьянам не отпускали, но в праздники и на поселок ходить запрещали. Считалось неприличным, чтобы дворянские дети приобщались к грубому мужицкому веселью. Я должен, однако ж, сказать, что в этих запрещениях главную роль играли гувернантки.

Как бы то ни было, но фактов, которые доказывали бы, что малиновецких крестьян притесняют работой, до меня не доходило, и я с удовольствием свидетельствую здесь об этом. Напротив, из ежедневных разговоров матушки с старостой Федотом я вынес убеждение, что барщина в Малиновце отбывалась, как общее правило, брат на брата и что случайно забранные у крестьян вперед дни зачитывались им впоследствии. Отступления от этого правила, конечно, бывали, – и разумеется, не в ущерб господскому интересу, – но они составляли исключение и допускались только в таких крайних случаях, как, например, продолжительное ненастье или сухмень.

Вообще мужика берегли, потому что видели в нем тягло, которое производило полезную и для всех наглядную работу. Изнурять эту рабочую силу не представлялось расчета, потому что подобный образ действия сократил бы барщину и внес бы неурядицу в хозяйственные распоряжения. Поэтому главный секрет доброго помещичьего управления заключался в том, чтоб не изнурять мужика, но в то же время и не давать ему «гулять». И матушка настолько прониклась этим хозяйственным афоризмом и так ловко сумела провести его на практике, что и самим крестьянам не приходило в голову усомниться в его справедливости. Они, действительно, не «гуляли», но и на тягости не жаловались.

Что касается дворни, то существование ее в нашем доме представлялось более чем незавидным. Я не боюсь ошибиться, сказав, что это в значительной мере зависело от взгляда, установившегося вообще между помещиками на труд дворовых людей. Труд этот, состоявший преимущественно из мелких домашних послуг, не требовавших ни умственной, ни даже мускульной силы («Палашка! сбегай на погреб за квасом!» «Палашка! подай платок!» и т. д.), считался не только легким, но даже как бы отрицанием действительного труда. Казалось, что люди не работают, а суетятся, «мечутся как угорелые». Отсюда – эпитеты, которыми так охотно награждали дворовых: лежебоки, дармоеды, хлебогады. Сгинет один лежебок – его без труда можно заменить другим, другого – третьим и т. д. Во всякой помещичьей усадьбе этого добра было без счету. Исключение составляли мастера и мастерицы. Ими, конечно, дорожили больше («дай ему плюху, а он тебе целую штуку материи испортит!»), но скорее на словах, чем на деле, так как основные порядки (пища, помещение и проч.) были установлены одни для всех, а следовательно, и они участвовали в общей невзгоде наряду с прочими «дармоедами».

Однако ж и в среде дворовых мужской прислуге жилось все-таки сноснее. Ее было меньше, и она не скучивалась в такой массе в лакейской. Сверх того, она не металась беспрерывно перед глазами, потому что услуги ее не так часто требовались, а в большинстве и работа ее была заглазная (столяры, ткачи и проч.). Вдобавок встречались в ее среде такие личности, которые могли за себя постоять. Это тоже нельзя было не принять в расчет. Всех под красную шапку не отдашь – если люди нужные, без которых в доме нельзя обойтись. Они-то именно и «грубят». Матушка на собственном горьком опыте убедилась в этой истине, и хотя большого труда ей стоило сдерживать себя, но она все-таки сдерживалась. Во всяком случае она настояла на одном: ни для кого не допускала отступлений от заведенных порядков и только старалась избегать личных сношений с грубиянами. В этом заключалась единственная льгота, которою пользовались последние, но льгота немаловажная, потому что

встречи с матушкой, особенно в нравственном смысле, даже на самых равнодушных людей действовали раздражительно.

Но так называемая девичья положительно могла назваться убежищем скорби. По всему дому раздавался оттуда крик и гам, и неслись звуки, свидетельствовавшие о расходившейся барской руке. «Девка» была всегда на глазах, всегда под рукою и притом вполне безответна. Поэтому с ней окончательно не церемонились. Помимо барыни, ее теснили и барынины фаворитки. С утра до вечера она или неподвижно сидела наклоненная над пяльцами, или бегала сломя голову, исполняя барские приказания. Даже праздника у нее не было, потому что и в праздник требовалась услуга. И за всю эту муку она пользовалась названием дармоедки и была единственным существом, к которому, даже из расчета, ни в ком не пробуждалось сострадания.

– У меня полон дом дармоедок, – говаривала матушка, – а что в них проку, только хлеб едят!

И, высказавши этот суровый приговор, она была вполне убеждена, что устами ее говорит сама правда.

Кормили всех вообще дворовых очень скудно и притом давали пищу, которую не всегда можно было назвать годною для употребления. Когда в девичью приносили обед или ужин, то не только там, но и по всему коридору чувствовался отвратительный запах, так что матушка, от природы неприхотливая, приказывала отворять настежь выходные двери, чтобы сколько-нибудь освежить комнаты. Пустые щи, тюря с квасом и льняным маслом, толокно – таковы были обычные menu завтраков и обедов. По праздникам давали размазню на воде, чуть-чуть подправленную гусиным жиром, пироги из ржаной муки, отличавшиеся от простого хлеба только тем, что середка была проложена тонким слоем каши, и снятое молоко. Хлеб отпускался с весу и строго учитывался. Словом сказать, было настолько голодно, что даже безответные девушки и те от времени до времени позволяли себе роптать.

– Извольте, сударыня, попробовать! – говорила какая-нибудь из них побойчее, вбегая в матушкину спальню и принося небольшую деревянную чашку с какою-то мутною и вонючею жидкостью.

Матушка зачерпывала в ложку, пробовала и мгновенно сплевывала.

Несколько дней после этого пища давалась более сносная, но через короткое время опять принимались за старые порядки, и система голода торжествовала.

Но, кроме голода, у женской прислуги был еще бич, от которого хоть отчасти избавлялась мужская прислуга. Я разумею душные и вонючие помещения, в которых скучивались сенные девушки на ночь. И девичья, и прилегавшие к ней темные закоулки представляли ночью в полном смысле слова клоаку. За недостатком ларей, большинство спало вповалку на полу, так что нельзя было пройти через комнату, не наступив на кого-нибудь. Кажется, и дом был просторный, и места для всех вдоволь, но так в этом доме все жестоко сложилось, что на каждом шагу говорило о какой-то преднамеренной системе изнурения.

Но довольно. Любопытствующих отсылаю к началу хроники, где я упоминал и о других невзгодах, настигавших сенных девушек, – невзгодах еще более возмутительных, нежели дурное питание и недостаток простора. Прибавлю здесь, что распоряжения матушки, из которых одно стесняло браки между дворовыми, а другое упраздняло месячину, нанесли очень чувствительный удар всей дворне. Первое низвело дворовых на степень вечно вожделеющих зверей; второе лишило их своего угла и возможности распоряжаться в том крохотном собственном хозяйстве, которым они пользовались при прежних порядках.

XVIII. Аннушка

Собственно говоря, Аннушка была не наша, а принадлежала одной из тетенек-сестриц. Но так как последние большую часть года жили в Малиновце и она всегда их сопровождала, то в нашей семье все смотрели на нее как на «свою».

Это было простодушнейшее существо, с виду несколько строптивое, но внутренно преисполненное доброты и жаления. Качества эти были настолько преобладающими в ней, что из всей детской обстановки ни один образ не уцелел в моей памяти так полно и живо, как ее. Малорослая, приземистая, с лицом цвета сильно обожженного кирпича, формою своей напоминавшим гусиное яйцо и усеянным крупными бородавками, она не казалась, однако, безобразною, благодаря тому выражению убежденности, которое было разлито во всем ее существе. Глаза ее, покрытые старческою влагой, едва выглядывали из-под толстых, как бы опухших век (один глаз даже почти совсем закрылся, так что на его месте видно было только мигающее веко); большой нос, точно цитадель, господствовал над мясистыми щеками, которых не пробороздила еще ни одна морщина; подбородок был украшен приличествующим зобом. Походка у нее была тяжелая, медленная, голос густой и грубый. Летами ее никто не интересовался, так как она, по-видимому, уже смолоду смотрела старухой; известно было, однако ж, что она была ровесницей тетеньке Марье Порфирьевне и вместе с нею росла в Малиновце. Вообще наружностью своей она напоминала почерневшие портреты старых бабушек, которые долгое время украшали стены нашей залы, пока наконец не были вынесены, по приказанию матушки, на чердак.

Подобно отцу, тетеньки-сестрицы не особенно налегали на труд и личность своих крепостных, хотя последние терпели немало от их чудачеств и безалаберности. Поэтому на всех уголковских крестьянах (имение тетенек называлось «Уголком») лежал особый отпечаток: они хотя и чувствовали на себе иго рабства, но несли его без ропота и были, так сказать, рабами по убеждению. Аннушка принадлежала к числу таких убежденных; у нее даже сложился свой рабский кодекс, которого она не скрывала. Кодекс этот был немногосложен и имел в основании своем афоризм, что рабство есть временное испытание, предоставленное лишь избранникам, которых за это ждет вечное блаженство в будущем.

– Христос-то для черняди с небеси сходил, – говорила Аннушка, – чтобы черный народ спасти, и для того благословил его рабством. Сказал: рабы, господам повинуйтеся, и за это сподобитесь венцов небесных.

Но о том, каких венцов сподобятся в будущей жизни господа, – она, конечно, умалчивала.

Доктрина эта в то время была довольно распространенною в крепостной среде и, по-видимому, даже подтверждала крепостное право. Но помещики чутьем угадывали в ней нечто злокачественное (в понятиях пуристов-крепостников самое «рассуждение» о послушании уже представлялось крамольным) и потому если не прямо преследовали адептов ее, то всячески к ним придирались.

Да и в самом деле, разве не обидно было, например, Флору Терентьичу Балаболкину слышать, что он, «столбовой дворянин», на вечные времена осужден в аду раскаленную сковороду лизать, тогда как Мишка-чумичка или Ванька-подлец будут по райским садам гулять, золотые яблоки рвать и вместе с ангелами славословить?!

– И добро бы они «настоящий» рай понимали! – негодуя, прибавляла сестрица Флора Терентьича, Ненила Терентьевна, – а то какой у них рай! им бы только жрать, да сложа ручки сидеть, да песни орать! вот, по-ихнему, рай!

Этому толкованию все смеялись, но в то же время наматывали на ус, что даже и такой грубый рай все-таки предпочтительнее, нежели обязательное лизание раскаленной сковороды.

– И как ведь, канальи, притворяются, – все больше и больше распалялся господин Балаболкин, – «баринушко!» да «кормилец!» да «вы наши отцы, мы – ваши дети» – только и

слов! На конюшню бы вас, мерзавцев, да драть, покуда небо с овчинку не покажется! Да еще что! давеча иду я мимо лакейской, слышу Паладкин голос и остановился. И что ж, вы думаете, он проповедует?

«Христос-то батюшка, – говорит, – что сказал? ежели тебя в ланиту ударят, – подставь другую!» Не вытерпел я, вошел да как гаркну: вот я тебя разом, шельмец, по обеим ланитам вздую, чтоб ты уже и не подставлял!.. Так ведь вот какой закоренелый, даже и тут не очнулся. «Извольте, сударь! мы из вашей воли не выходим».

Такова была несложная теоретическая сущность Аннушкиной доктрины. Но жизнь делала свое дело и не позволяла оставаться исключительно на высотах теоретических воззрений, а требовала применений и к суровой действительности. Возникала целая серия практических ограничений, которые, на помещичьем языке, уже прямо назывались бунтовскими. Хоть и следовало беспрекословно приникать всё и от всякого господина, то сквозь общую ноту послушания все-таки просачивалась мысль, что и господа имеют известные обязанности относительно рабов и что те, которые эти обязанности выполняют, и в будущей жизни облегченье получат. Само собой разумеется, что подобное критическое отношение выражалось более нежели робко, но и его было достаточно, чтобы внушить господам, что мозги хамов все-таки не вполне забиты и что в них происходит какая-то работа. И работа тем более неприятная, что она, стесняя в распоряжениях вообще, в особенности обуздывающим образом действовала на ручную расправу.

– Беда, как этот дух в дворне заведется, – говаривала матушка, – ходят, тихони, на цыпочках, ровно святые! Ни ты ему слово не скажи, ни пальцем его не тронь! «Слушаюсь, вся ваша воля» – только и слов… И ни усмешечки в лице, ни в голосе повышения… привязаться не к чему! А посмотри на него, – всякая жилка у него говорит: «Что же, мол, ты не бьешь, – бей! зато в будущем веке отольются кошке мышкины слезки!» Ну, посмотришь-посмотришь, увидишь, что дело идет своим чередом, – поневоле и остережешься! Потому что расправься-ка с ним, так он расправу-то за награду себе почтет!

– И я, признаться, этих тихонь недолюбливаю, – обыкновенно отзывался на эти сетования отец, – тихи-тихи, а что у них на уме – не угадаешь. Строже с них спрашивать надо!

– Как же ты спросишь, коли у него в порядке все, привязаться не к чему!

– Ну, ты найдешь. Была бы спина, а то будет вина! что говорить об этом!

Аннушка была насквозь пропитана указаниями выработанного ею кодекса и не только не скрывала этого от своих «барышень», но даже и от матушки.

Она родилась в Малиновце и страстно любила не только место своей родины, но и все относившееся к нему, не исключая и господ. К отцу она относилась как к патриарху, «барышням» была бесконечно предана. Вместе с ними она была осуждена на безвыходное заключение, в продолжение целой зимы, наверху в боковушке и, как они же, сходила вниз исключительно в часы еды, да в праздник, чтобы идти в церковь. Только к матушке она, кажется, питала не совсем приязненные чувства, хотя и тут, я уверен, всячески старалась подавлять свою нелюбовь.

В свою очередь, и отец и тетеньки очень дорожили Аннушкой, что не мешало им, впрочем, звать ее то Анюткой, то Анкой-каракатицей. Нередко отец после утреннего чая заходил к сестрицам, усаживался на одном из сундуков и предавался воспоминаниям о прошлом. Аннушка всегда принимала участие в этих интимных беседах, «точно ровня», хотя, яко раба, присутствовала при них стоя. Перед собеседниками воочию восстановлялся

прежний, тихий Малиновец, где всем было хорошо, всего довольно и все были связаны общим желанием мира и любви. Вспоминались покойный дедушка Порфирий Васильич, покойная бабушка Надежда Осиповна, их наставления, поговорки, привычки и даже любимые кушанья. Не забывались и старые слуги, усердные, верные, преданные, и все мастера своего дела. И принять, и подать, и приготовить – на все у них золотые руки были. И не из-под плетки работали, а любя… Весело в ту пору жилось, гульливо, привольно! Сговорятся, бывало, соседи и съедутся в Малиновец запросто. Мужчины, постарше, с борзыми на охоту едут, барыни постарше соберут сенных девушек и заставят песни петь; молодежь в пляс пустится, пыль столбом поднимет.

– Наливки какие были! водки! квасы! – восторгалась тетенька Ольга Порфирьевна, которая в качестве Христовой невесты смолоду около хозяйства ходила.

– Да, и я прежде квас пивал, а нынче не пью, – откликался отец.

– Какой нынче квас! Или опять соленья, варенья, – нынче и секрет-то этот потерян.

– Нынче и овоща такого нет. Помните, братец, какие бывали яблоки?

– Да, помню, как однажды при мне покойник батюшка из сада принес яблоко – вот!

Отец складывал вместе оба кулака, чтоб дать понятие о величине яблока.

– И куда все девалось! – грустно произносил он.

– А помните, как батюшка приятно на гуслях играл! – начинала новую серию воспоминаний тетенька Марья Порфирьевна, – «Звук, унылый фортепьяна», или: «Се ты, души моей присуха»… до слез, бывало, проймет! Ведь и вы, братец, прежде игрывали?

– Да, играл.

– И куда ваши гусельки девались – словно я их давно не вижу?

– На чердак, должно быть, снесли.

– Не иначе, как на чердак… А кому они мешали! Ах, да что про старое вспоминать! Нынче взойдешь в девичью-то – словно в гробу девки сидят. Не токма-что песню спеть, и слово молвить промежду себя боятся. А при покойнице матушке…

– Да, хорошо тогда было! всем было хорошо! а нынче – всем худо стало!

– Забылись – оттого и худо стало, – кратко и круто решала Аннушка.

Решение это всегда сердило отца. Он понимал, что Аннушка не один Малиновец разумеет, а вообще «господ», и считал ее слово кровною обидой.

– Забылись! кто забылся? говори, долгоязычная, коли знаешь! – накидывался он на строптивую рабу.

– Известно, не рабы, а господа забылись, – отвечала она, нимало не смущаясь.

– Ах, ты, долгоязычная язва! Только у тебя и слов на языке, что про господ судачить! Просто выскочила из-под земли ведьма (матушке, вероятно, икалось в эту минуту) и повернула по-своему. А она: «господа забылись»!

– Тьфу, тьфу, тьфу! сгинь-пропади! – отплевывались при слове «ведьма» тетеньки, набожно крестясь.

Отец задумывался. «Словно вихрем все унесло! – мелькало у него в голове. – Спят дорогие покойники на погосте под сению храма, ими воздвигнутого, даже памятников настоящих над могилами их не поставлено.

Пройдет еще годков десять – и те крохотненькие пирамидки из кирпича, которые с самого начала были наскоро сложены, разрушатся сами собой. Только Спас Милостивый и будет охранять обнаженные могильные насыпи».

– Пожалуй, и березку-то самосадочную, которая на батюшкиной могилке выросла, – и ту на дрова изведут.

– Ах, братец! да вы бы…

– Что ж я… стар я, умирать пора!

Просидевши с сестрами час или полтора, отец спускался вниз и затворялся в своем кабинете, а тетеньки, оставшись одни, принимались за работы из фольги[39], в которых они слыли большими мастерицами. Аннушка, в свою очередь, скрывалась за печку, где ей было отведено крохотное пространство, буквально столько, чтобы постелить войлок, на котором она спала. Там царствовали вечные сумерки и ползало и прыгало такое множество насекомых, что даже это вполне обтерпевшееся существо страдало от них. Сидя на обрубке дерева, Аннушка с утра до вечера машинально надвязывала пятки к продырявившимся тетенькиным чулкам и, покачиваясь, дремала. Говорила ли она себе, что жить уж довольно, или, напротив, просила у бога еще хоть крошечку пожить – неизвестно. Вероятнее всего, она и то и другое желание считала грехом – и вследствие этого просто жила.

И не одна она так жила; тетеньки и почище ее, а не лучше жили. Стало быть, ей, рабе, и подавно претендовать на другую жизнь нечего. Христос Спас Милостивый благословил ее рабством – вот это она помнит твердо, и, уж, конечно, никому не удастся подорвать ее убеждение, что в будущем веке она будет сторицею вознаграждена за свои временные страдания. Сильная этим убеждением, она бодро пойдет навстречу безболезненной и мирной кончине, а до тех пор будет сидеть за печкой и «жить». Да и тетеньки, покуда она там покряхтывает и почесывается, будут с уверенностью утверждать, что ежели Аннушка почесывается, то, значит, она «живет».

Во всяком случае, в боковушке все жили в полном согласии. Госпожи «за любовь» приказывали, Аннушка – «за любовь» повиновалась. И если по временам барышни называли свою рабу строптивою, то это относилось не столько к внутренней сущности речей и поступков последней, сколько к их своеобразной форме.

Только один раз согласие было нарушено, и Аннушка вполне сознательно позволила себе быть строптивою. И именно вот по какому случаю. В припадке проказливости, тетеньке Марье Порфирьевне вдруг вздумалось выдать Анку-каракатицу (в то время обе, и барышня и раба, были еще молоды) замуж.

Серьезно ли в ней гнездилось это намерение, или она только шутки шутила, во всяком случае, Аннушка испугалась. Да и было от чего: в женихи ей выбрали самого рослого детину из всей уголковской вотчины. Аннушка бросилась к тетеньке Ольге Порфирьевне, но последней сестрицына мысль показалась настолько забавною, что она и сама не отказалась принять участие в затеянном сватовстве. Недели две-три сряду томили веселые сестрицы несчастную каракатицу и наконец объявили, что через день быть девичнику. И вот, в виду неминучей беды, Аннушка решилась ослушаться. Украдучись, ушла она ночью из Уголка, почти без отдыха отмахала сорок верст и на другой день к обеду была уж в Малиновце. Разумеется, отец (он был еще холостой) принял ее под свое покровительство, написал тетенькам грозное письмо, и затея не состоялась. Но невольно спрашиваешь себя: что сталось бы, если бы и на отца нашел такой же смешливый час, как и на тетеньку Ольгу Порфирьевну?

Но возвращаюсь к миросозерцанию Аннушки. Я не назову ее сознательной пропагандисткой, но поучать она любила. Во время всякой еды в девичьей немолчно гудел ее голос, как будто она вознаграждала себя за то мертвое молчание, на которое была осуждена в боковушке. У матушки всегда раскипалось сердце, когда до слуха ее долетало это гудение, так что, даже не различая явственно Аннушкиных речей, она уж угадывала их смысл.

Речи эти были в высшей степени однообразны и по существу и по форме.

Преследуя исключительно одну и ту же мысль, они давным-давно исчерпали все ее

---

39 Фольгой называлась жесть самой тонкой прокатки, окрашиваемая в разные цвета. Из нее делали преимущественно украшения для местных церковных свечей, венчики для образов, а иногда и целые оклады! (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

содержание, но имели за собой то преимущество, что обращались к такой среде, которая никогда не могла достаточно насытиться ими. «Повинуйтесь! повинуйтесь! повинуйтесь! причастницами света небесного будете!» – твердила она беспрестанно и приводила примеры из Евангелия и житий святых (как на грех, она церковные книги читать могла). А так как и без того в основе установившихся порядков лежало безусловное повиновение, во имя которого только и разрешалось дышать, то всем становилось как будто легче при напоминании, что удручающие вериги рабства не были действием фаталистического озорства, но представляли собой временное испытание, в конце которого, обещалось воссияние в присносущем небесном свете.

Возражательниц не случалось; только Акулина-ключница не упускала случая, чтобы не прикрикнуть на нее:

– Закаркала, ворона, слушать тошно! Повинуйтесь да повинуйтесь! и без тебя знают!

Да еще матушка, подслушавши разговор, откликалась из коридора:

– Ты что, бунтовщица, мутишь! доедай свое, да и отправляйся в боковушку!

– Я не мучу, а добру учу, – возражала Аннушка, – я говорю: ежели господин слово бранное скажет – не ропщи; ежели рану причинит – прими с благодарностью!

– Так по-твоему, значит, господа только и делают, что ругаются да причиняют раны рабам?

– Я не говорю: только и делают, я говорю: если господин раны причинит…

– Ну хорошо: пусть будет по-твоему: если причинит… а дальше что?

– А потом, сударыня, бог рассудит.

– То-то «бог рассудит»! Велю я тебя отодрать на конюшне и увижу, как ты благодарить меня будешь!

– И буду благодарить. В ножки, сударыня, поклонюсь.

Дальнейших последствий стычки эти не имели. Во-первых, не за что было ухватиться, а во-вторых, Аннушку ограждала общая любовь дворовых. Нельзя же было вести ее на конюшню за то, что она учила рабов с благодарностью принимать от господ раны! Если бы в самом-то деле по ее сталось, тогда бы и разговор совсем другой был. Но то-то вот и есть: на словах: «повинуйтесь! да благодарите!» – а на деле… Держи карман! могут они что-нибудь чувствовать… хамы! Легонько его поучишь, а он уже зубы на тебя точит!

– Ешь-ка, ешь! лучше не слушать тебя, срамницу! – заключала матушка, удаляясь восвояси.

Однажды, однако, матушка едва не приняла серьезного решения относительно Аннушки. Был какой-то большой праздник, но так как услуга по дому и в праздник нужна, да, сверх того, матушка в этот день чем-то особенно встревожена была, то, натурально, сенные девушки не гуляли. По обыкновению, Аннушка произнесла за обедом приличное случаю слово, но, как я уже заметил, вступивши однажды на практическую почву, она уже не могла удержаться на высоте теоретических воззрений и незаметно впала в противоречие сама с собою.

– Бог-то как сделал? – учила она, – шесть дней творил, а на седьмой – опочил. Так и все должны. Не только люди, а и звери. И волк, сказывают, в воскресенье скотины не режет, а лежит в болоте и отдыхает. Стало быть, ежели кто господней заповеди не исполняет…

Но ключница даже кончить ей не дала. Под ее надзором состояла вся девичья, и она отвечала перед барыней за порядок и тишину среди «беспорточной команды». Не мудрено поэтому, что она подозрительно отнеслась к Аннушкиной проповеди.

– Ты что ж это! взаправду бунтовать вздумала! – крикнула она на нее, – по-твоему, стало быть, ежели теперича праздник, так и барыниных приказаний исполнять не следует! Сидите, мол, склавши ручки, сам бог так велел! Вот я тебя… погоди!

С этими словами она выбежала из девичьей и нажаловалась матушке.

Произошел целый погром. Матушка требовала, чтоб Аннушку немедленно услали в Уголок, и даже грозилась отправить туда же самих тетенек-сестриц. Но благодаря вмешательству отца дело кончилось криком и угрозами. Он тоже не похвалил Аннушку, но

ограничился тем, что поставил ее в столовой во время обеда на колени. Сверх того, целый месяц ее «за наказание» не пускали в девичью и носили пищу наверх.

Вообще много горя приняла Аннушка от ключницы, хотя нельзя сказать, чтоб последняя была зла по природе или питала предвзятую вражду к долгоязычной каракатице. Едва ли они даже не сходились во взглядах на условия, при которых возможно совместное существование господ и рабов (обе одинаково признавали слепое повиновение главным фактором этих условий), но первая была идеалистка и смягчала свои взгляды на рабство утешениями «от Писания», а вторая, как истая саддукеянка, смотрела на рабство как на фаталистическое ярмо, которое при самом рождении придавило шею, да так и приросло к ней. Поэтому ничего нет мудреного, что Аннушкины проповеди представлялись Акулине праздною болтовней, которая могла только бесполезно раздражать.

Сверх того, положение Акулины в господской усадьбе сложилось несколько иначе, нежели для прочей прислуги. Она была привезенка и не имела никакой кровной связи с Малиновцем и его аборигенами. Матушка высмотрела ее в Заболотье, где она, в качестве бобылки, жила на краю села, существуя ничтожной торговлишкой на площади в базарные дни. Убедившись из расспросов, что это женщина расторопная, что она может понимать с первого слова, да и сама за словом в карман не полезет, матушка без дальних рассуждений взяла ее в Малиновец, где и поставили смотреть за женской прислугой и стеречь господское добро. Эту роль она и исполняла настолько буквально, что и сама себя называла не иначе, как цепною собакой. Ни вражды, ни ненависти ни к кому у нее не было, а был только тот самодовлеющий начальственный лай, от которого вчуже становилось жутко.

– Посадили меня на цепь – я и лаю! – объявляла она, – вы думаете, что мне барского добра жалко, так по мне оно хоть пропадом пропади! А приставлена я его стеречи, и буду скакать на цепи да лаять, пока не издохну!

Одним словом, это был лай, который до такой степени исчерпывал содержание ярма, придавившего шею Акулины, что ни для какого иного душевного движения и места в ней не осталось. Матушка знала это и хвалилась, что нашла для себя в Акулине клад.

Нечто подобное сейчас рассказанному случаю, впрочем, задолго до него, произошло с Аннушкой и в другой раз, а именно, когда вышел первый ограничительный, для помещичьей власти, указ, воспрещавший продавать крепостных людей иначе, как в составе целых семейств. Весть об этом быстро распространилась по селам и деревням, а в конце концов достигла и до малиновецкой девичьей. Впечатление, произведенное ею, было несомненно, хотя выразилось исключительно в шушуканье и потупленных взорах, значение которых было доступно лишь тонкому чутью помещиков («ишь, шельмецы! и глаза потупили, выдать себя не хотят!»). Матушка, натурально, зорко следила за всем происходившим и в особенности внимательно прислушивалась, что будет Анютка брехать. И точно: Аннушка не заставила себя ждать и уже совсем было собралась сказать приличное случаю слово, но едва вымолвила: «Милостив батюшка-царь! и об нас, многострадальных рабах, вспомнил…» – как матушка уже налетела на нее.

– Цыц, язва дологоязычная! – крикнула она. – Смотрите, какая многострадальная выискалась! Да не ты ли, подлая, завсегда проповедуешь: от господ, мол, всякую рану следует с благодарностью принять! – а тут, на-тко, обрадовалась! За что же ты венцы-то небесные будешь получать, ежели господин не смеет, как ему надобно, тебя повернуть? задаром? Вот возьму выдам тебя замуж за Ваську-дурака, да и продам с акциона! получай венцы небесные!

В этот раз Аннушкина выходка не сошла с рук так благополучно. И отец не вступился

за нее, ибо хоть он и признавал теорию благодарного повиновения рабов, но никаких практических осложнений в ней не допускал.

Аннушку постегали…

Не знаю, понимала ли Аннушка, что в ее речах существовало двоегласие, но думаю, что если б матушке могло прийти на мысль затеять когда-нибудь с нею серьезный диспут, то победительницею вышла бы не раба, а госпожа.

Повторяю: Аннушка уже по тому одному не могла не впадать в противоречия с своим кодексом, что на эти противоречия наталкивала ее сама жизнь. Положим, что принять от господина раны следует с благодарностью, но вот беда: вчера выпороли «занапрасно» Аришку, а она девушка хорошая, жаль ее. Или опять: Мирону Степанычу намеднись без зачета лоб забрили – за что про что? Как, ввиду таких фактов, удержаться на высоте теории, как не высказаться? А выскажешься – опять беда! Мотай себе господин на ус, что он, собственно говоря, не выпорол Аришку, а способствовал ей получить небесный венец…

«Вот ведь как они, тихони-то эти, благодарность понимают!»

Как бы то ни было, но Аннушка чувствовала себя вполне свободною только в отсутствии матушки. С тех пор, как последнею овладел дух благоприобретения, случаи подобных отсутствий повторялись довольно часто.

Она уезжала то в Москву, то в новокупленные имения, и поездки ее бывали иногда довольно долгие. С отъездом матушки обыкновенно оживлялся весь дом.

Отец не сидел безвыходно в кабинете, но бродил по дому, толковал со старостой, с ключницей, с поваром, словом сказать, распоряжался; тетеньки-сестрицы сходили к вечернему чаю вниз и часов до десяти беседовали с отцом; дети резвились и бегали по зале; в девичьей затевались песни, сначала робко, потом громче и громче; даже у ключницы Акулины лай стихал в груди. Вслед за тетеньками сходила вниз, по вечерам, и Аннушка.

В девичьей ей отводили место в уголку у стола, на котором горел сальный огарок. Девушки пряли, Аннушка надвязывала чулок и рассказывала.

Темою для этих рассказов преимущественно служило подвижничество мучеников первых времен христианства (любимыми ее героинями были великомученицы Варвара и Екатерина). Говорила она плавно и вразумительно, так что даже мы, барчуки, нередко забегали в девичью и с удовольствием ее слушали. Выходила яркая картина, в которой, с одной стороны, фигурировали немилостивые цари: Нерон, Диоклетиан, Домициан и проч., в каком-то нелепо-кровожадном забытьи твердившие одни и те же слова: «Пожри идолам! пожри идолам!» – с другой, кроткие жертвы их зверских инстинктов, с радостью всходившие на костры и отдававшие себя на растерзание зверям. Впечатление было бы полное, если б Аннушка ограничилась простым изложением фактов, но она не воздерживалась и выводила из них поучения.

– Вот как святые-то приказания царские исполняли! – говорила она, – на костры шли, супротивного слова не молвили, только имя господне славили! А мы что? Легонько нашу сестру господин пошпыняет, а мы уж кричим: немилостивый у нас господин, кровь рабскую пьет!

Разумеется, Акулина подмечала противоречие между фактом и выводом и не оставляла его без критики.

– Дура ты, дура! – возражала она, – ведь ежели бы по-твоему, как ты завсегда говоришь, повиноваться, так святой-то человек должен бы был без разговоров чурбану поклониться – только и всего. А он, вишь ты, что! лучше, говорит, на куски меня изрежь, а я твоему богу не слуга!

Но Аннушка не смущалась этим возражением и, в свою очередь, не лезла за словом в карман.

– Так и следует, – отвечала она, – над телом рабским и царь и господин властны, и всякое телесное истязание раб должен принять от них с благодарностью; а над душою властен только бог.

– Стало быть, и ты будешь права? Тебе госпожа скажет: не болтай лишнего, долгоязычная! а ты ей в ответ: что хотите, сударыня, делайте, хоть шкуру с меня спустите, я всё с благодарностью приму, а молчать не буду!

– Ну, что уж меня к святым приравнивать!

– Нет, ты не увертывайся. Я тебя к святым не приравниваю, а спрашиваю: должна ли ты приказание госпожи выполнить или нет?

Завязывался диспут, и должно сознаться, что в большинстве случаев Аннушка вынуждалась уступить. Конечно, сравнительная слабость ее диалектики отчасти зависела и от особенностей того положения, в котором она находилась, яко раба, и которое препятствовало ей высказаться с полною определенностью, но фактически Акулина все-таки торжествовала.

– То-то вот и есть, – заключала спор последняя, – и без того не сладко на каторге жить, а ты еще словно дятел долбишь: повинуйтесь да повинуйтесь!

Когда рассказы о мучениках истощались, на сцену выступали темы более современные.

Некоторые из них я и теперь помню. Жил в некотором царстве, в некотором государстве господин немилостивый, который десятки лет свирепствовал в своих вотчинах. Много он неповинных душ погубил, и делом, и словом, и помышлением – всячески убивал, и крестьян своих до нитки разорил.

И все ему бог терпел, все ждал, что от него дальше будет, но наконец прогневался. Жена у господина была – с любовником убежала, семь сынов было – все один за другим напрасною смертью сгибли. А тут, на грех, сгорел господский дом и все пожитки, какие в нем были, и золото, и серебро – словом, все пропало. Остался господин одинок, ни семьи, ни приюта – ничего у него нет. И начал он задумываться. Думал да думал, да наконец и решил.

Надел что ни на есть ветхую одежонку, взял в руки посошок и ушел крадучись ночью, чтоб никто не видал. Искали его, искали, даже на крестьян думали, не убили ли, мол, своего барина. И только лет десять спустя узнали, что он в дальний-дальний монастырь скрылся и схиму принял. Тогда все раскрылось: и тиранство господина, и раскаяние его. Узнал батюшка-царь и велел господина, за давним временем, судом не судить, а имение его отписать в казну. Теперь мужички живут хорошо, отдохнули.

Но Акулина и этого бесхитростного рассказа не пропускала без критики.

– Коли послушаешь тебя, что ты за все без ума болтаешь, – заметила она, – так богу-то в это дело и мешаться не след. Пускай, мол, господин рабов истязает, зато они венцов небесных сподобятся!

– Да ведь и человечьему долготерпению предел положен. Не святые, а тоже люди – долго ли до греха! Иной не вытерпит, да своим судом себе правду добыть захочет, а бог его за это наказать должен.

– И накажет. Терпи. Умрешь, тогда и получишь награду.

Героем другого рассказа, тоже сложившегося под давлением крепостного ига, был купец. Жил-был этот купец в некотором царстве, в некотором государстве и владел несметными сокровищами. Только неправедно он эти сокровища нажил: татьбой, да обманом, да грабежом. И всегда как раз наоборот сказочному разбойнику поступал: богатеев не трогал, а грабил только бедный народ, который сам в руки дается. И все ему мало казалось. Принесет домой пригоршню золота и думает: теперь надо другую добывать. И вот, когда он полные сусеки золота и серебра накопил, вдруг напала на него немочь. Начал он пухнуть да гноем наливаться, а под конец и совсем заживо тлеть стал. Пошел от него такой дух тяжкий, что не только домочадцы и друзья, но и слуги все разбежались; остался он один как перст со своими сокровищами. И что ни делал, и лекарей призывал, и к угодникам ездил,

и храмы божий строил – ничего не помогало. И бог-то жертвы его не принимал. Только сидит он однажды у окошка и видит: идет мимо божий странник. Никогда он допрежь того ни одного странника не накормил, не обогрел, а тут вдруг в голову запало: позову да позову. Стали они промежду себя разговаривать, и чем больше купец на своего гостя глядит, тем больше у него сердце любовию к нему разжигается. И начал он помаленьку перед божьим странничком открываться. «Наказал меня бог, говорит, такую болесть наслал на меня, что места себе не найду; и домочадцы и друзья – все меня бросили; живу хуже пса смердящего». – За что же тебя бог наказал? – спрашивает странник. «И сам не ведаю, за что. Кажется, я и к угодникам езжу, и на храмы божии жертвую – и всё мне лёгости нет!» – А встань-ка к свету, я на тебя посмотрю! – Повернул странник к свету купцову голову и с испугу только и мог вымолвить: черна, ах, черна у тебя душа! – И заплакал. И купец, видючи его слезы, тоже заплакал. Стал странник перечислять купцу грехи его – и чего-чего тут не было! А всего больше обид сиротам да рабам. И взял с него в ту пору обет: все неправедно нажитое имение на выкуп да на облегченье рабов обратить. Услышит ежели купец, где господин раба истязает или работой томит, – должен за него выкуп внести; или где ежели господин непосильные дани взыскивает, а рабам платить не из чего – и тут купец должен на помощь рабам прийти. «Вот когда ты таким образом свои сокровища раздашь – бог и пошлет тебе облегчение!» – сказал под конец странник и вдруг исчез, словно в воздухе растаял. Понял тогда купец, что у него в гостях не человек, а ангел божий был. И сейчас же все как следует, по его приказанию, выполнил. Заложил телегу, нагрузил ее золотом и серебром и поехал. Услышит, где раб стонет, – он его вызволит: либо совсем на волю выкупит, либо сердца начальников деньгами умилостивит, заступу для раба найдет. Одну телегу извел, другую нагрузил, и так до последнего сусека. И стало имя купцово по всей округе славно, и все рабы благословляли его и молили бога, чтоб он его от немочи тяжкой избавил. Когда же от неправильно нажитого сокровища уж ничего не осталось, божий человек опять явился, но уже не в странном виде, а в виде светлого облака. И услышал купец голос из облака: «Отпускаются тебе прегрешения твои!» – и вдруг почувствовал такую лёгость, словно в рай попал. И собрались, как прежде, в купцов дом домочадцы и друзья-приятели, и стали поживать мирком да ладком. Сыновья опять торговлей занялись и разжились пуще прежнего, а дочка за генерала замуж вышла. Сам же купец поселился при доме в крошечной сторожке и кончил жизнь в молчании и посте.

– И тут опять… – начинала возражать ключница, но на этот раз девушки даже не давали ей развить свою мысль.

– Отстаньте, Акулина Савостьяновна! что, в самом деле, привязались! – прерывала они ее, – по-вашему, и помогать-то сиротам грех!

– Не грех, а нечего попустому болтать. Эка невидаль, что купец краденое добро отдал!

– Краденое не краденое, а все-таки своего добра жалко!

– Вон в Заболотье богатей Маслобоев живет. На что уж грабитель, а попробуй-ка у него на бедность попросить, да он скорее удавится, а не даст!

Видя отпор, Акулина умолкала, а иногда даже совсем уходила из девичьей, и разговоры возобновлялись свободнее прежнего.

– А правда ли, тетенька, что у Троицы такой схимник живет, который всего только одну просвирку в день кушает? – любопытствует которая-нибудь из слушательниц.

– Есть такой божий человек. Размочит поутру в воде просвирку, скушает – и сыт на весь день. А на первой да на страстной неделе великого поста и во все семь дней один раз покушает. Принесут ему в Светлохристово воскресенье яичко, он его облупит, поцелует и отдаст нищему. Вот, говорит, я и разговелся!

– Вот как угодники-то живут!

– А мы как живем! Нас господа и щами, и толокном, и молоком – всем доволят, а мы ропщем, говорим: немилостивые у нас господа! с голоду морят!

По девичьей проносится громкий вздох. Аннушка продолжает:

– В царство-то небесное не широко растворены ворота, не легко в них попасть. Иной

хоть и раб, а милость божья не покроет его.

Наконец бьет десять; из столовой доносится стук передвигаемых стульев.

Это тетеньки прощаются с отцом, собираясь наверх. Вслед за ними снимается с своего шестка и Аннушка.

– Спать пора! – зевая, решают девушки, забывая, что при матушке они никогда раньше одиннадцати часов не оставляли пряжи. И через полчаса весь дом погружен в глубокий сон.

Но всему есть конец. Наступает конец и для Аннушкиных вольностей. Чу! со стороны села слышится колокольчик, сначала слабо, потом явственнее и явственнее. Это едет матушка. С ее приездом все приходит в старый порядок.

Девичья наполняется исключительно жужжанием веретен; Аннушка, словно заживо замуравленная, усаживается в боковушке за печку и, дремлет.

Нечто вроде подобных собеседований, но в более скромных размерах, возобновлялось и на страстной неделе великого поста. Вся наша семья в эту неделю говела; дети не учились, прислуга пользовалась относительною свободою. Чаще обыкновенного Аннушка сходила вниз, оставляя тетенек одних, и водворялась в девичьей. Темою для ее бесед, конечно, служили страсти господни. И нужно сказать правду, что если бы не она, то злополучные обитательницы девичьей имели бы очень слабое понятие о том, что поется и читается в эти дни в церкви.

Но матушка не давала ей засиживаться. Мысль, что «девки», слушая Аннушку, могут что-то понять, была для нее непереносною. Поэтому, хотя она и не гневалась явно, – в такие великие дни гневаться не полагается, – но, заслышав Аннушкино гудение, приходила в девичью и кротко говорила:

– Не мути ты меня, Христа ради! дай светлого праздника без греха дождаться! Поела и ступай с богом наверх!

Аннушка, конечно, повиновалась.

Несмотря, однако ж, на эти частые столкновения, в общем Аннушка не могла пожаловаться на свою долю. Только под конец жизни судьба послала ей серьезное испытание: матушка и ее и тетенек вытеснила из Малиновца. Но так как я уже рассказал подробности этой катастрофы, то возвращаться к ней не считаю нужным.

Аннушка умерла в глубокой старости, в том самом монастыре, в котором, по смерти сестры, поселилась тетенька Марья Порфирьевна. Ни на какую болезнь она не жаловалась, но, недели за две до смерти, почувствовала, что ей неможется, легла в кухне на печь и не вставала.

– Слава богу, не оставил меня царь небесный своей милостью! – говорила она умирая, – родилась рабой, жизнь прожила рабой у господ, а теперь, ежели сподобит всевышний батюшка умереть – на веки вечные останусь… божьей рабой!

XIX. Мавруша-новоторка

Она была новоторжская мещанка и добровольно закрепостилась. Живописец Павел (мой первый учитель грамоте), скитаясь по оброку, между прочим, работал в Торжке, где и заприметил Маврушу. Они полюбили друг друга, и матушка, почти никогда не допускавшая браков между дворовыми, на этот раз охотно дала разрешение, потому что Павел приводил в дом лишнюю рабу.

Года через два после этого Павла вызвали в Малиновец для домашних работ. Очевидно, он не предвидел этой случайности, и она настолько его поразила, что хотя он и не ослушался барского приказа, но явился один, без жены. Жаль ему было молодую жену с вольной воли навсегда заточить в крепостной ад; думалось: подержат господа месяц-другой и опять по оброку отпустят.

Но матушка рассудила иначе. Работы нашлось много: весь иконостас в малиновецкой церкви предстояло возобновить, так что и срок определить было нельзя. Поэтому Павлу было приказано вытребовать жену к себе. Тщетно молил он отпустить его, предлагая

двойной оброк и даже обязываясь поставить за себя другого живописца; тщетно уверял, что жена у него хворая, к работе непривычная, – матушка слышать ничего не хотела.

– И для хворой здесь работа найдется, – говорила она, – а ежели, ты говоришь, она не привычна к работе, так за это я возьмусь: у меня скорехонько привыкнет.

Мавруша, однако ж, некоторое время упорствовала и не являлась. Тогда ее привели в Малиновец по этапу.

При первом же взгляде на новую рабу матушка убедилась, что Павел был прав. Действительно, это было слабое и малокровное существо, деликатное сложение которого совсем не мирилось с представлением о крепостной каторге.

– Да ведь что же нибудь ты, голубушка, дома делала? – спросила она Маврушу.

– Что делала! хлебы на продажу пекла.

– Ну, и здесь будешь хлебы печь.

И приставили Маврушу для барского стола ситные и белые хлебы печь, да кстати и печенье просвир для церковных служб на нее же возложили.

Мавруша повиновалась, но, по-видимому, она с первого же раза поняла значение шага, который сделала, вышедши замуж за крепостного человека…

Поселили их довольно удобно, особняком. В нижнем этаже господского дома отвели для Павла просторную и светлую комнату, в которой помещалась его мастерская, а рядом с нею, в каморке, он жил с женой. Даже месячину им назначили, несмотря на то, что она уже была уничтожена. И работой не отягощали, потому что труд Павла был незаурядный и ускользал от контроля, а что касается до Мавруши, то матушка, по крайней мере, на первых порах махнула на нее рукой, словно поняла, что существует на свете горе, растравлять которое совесть зазрит.

Павел был кроткий и послушливый человек. В качестве иконописца он твердо знал церковный круг и отличался серьезною набожностью. По праздникам пел на клиросе и читал за обедней апостола. Дворовые любили его настолько, что не завидовали сравнительно льготному житью, которым он пользовался. С таким же сочувствием отнеслись они и к Мавруше, но она дичилась и избегала сближений. Павел, с своей стороны, не настаивал на этих сближениях и исподволь свел ее только с Аннушкой (см. предыдущую главу), так как последняя, по его мнению, могла силою убежденного слова утишить горе добровольной рабы и примирить ее с выпавшим ей на долю жребием.

Я, впрочем, довольно смутно представлял себе Маврушу, потому что она являлась наверх всего два раза в неделю, да и то в сумерки. В первый раз, по пятницам, приходила за мукой, а во второй, по субботам, Павел приносил громадный лоток, уставленный стопками белого хлеба и просвир, а она следовала за ним и сдавала напеченное с веса ключнице. Но за семейными нашими обедами разговор о ней возникал нередко.

– Нечего сказать, нещечко взял за себя Павлушка! – негодовала матушка, постепенно забывая кратковременную симпатию, которую она выказала к новой рабе, – сидят с утра до вечера, друг другом любуются; он образа малюет, она чулок вяжет. И чулок-то не барский, а свой! Не знаю, что от нее дальше будет, а только ежели… ну уж не знаю! не знаю! не знаю!

– Вольная ведь она была, еще не привыкла, – косвенно заступался за Маврушу отец.

– А разве черт ее за рога тянул за крепостного выходить! Нет, нет, нет! По-моему, ежели за крепостного замуж пошла, так должна понимать, что и сама крепостною сделалась.

И хоть бы раз она догадалась! хоть бы раз пришла: позвольте, мол, барыня, мне господскую работу поработать! У меня тоже ведь разум есть; понимаю, какую ей можно работу дать, а какую нельзя. Молотить бы не заставила!

– Хлебы она печет, просвиры…

– Это в неделю-то на три часа и дела всего; и то печку-то, чай, муженек затопит… Да еще что, прокураты, делают! Запрутся, да никого и не пускают к себе. Только Анютка-долгоязычная и бегает к ним.

– Не трогай их, ради Христа! Пускай он иконостас кончит.

– Иконостас – сам по себе, а и она работать должна. На-тко! явилась господский хлеб есть, пальцем об палец ударить не хочет! Даром-то всякий умеет хлеб есть! И самовар с собой привезли – чаи да сахары… дворяне нашлись! Вот я возьму, да самовар-то отниму…

Иногда матушка подсылала ключницу посмотреть; что делают «дворяне», Акулина исполняла барское приказание, но не засиживалась и через несколько минут уже являлась с докладом.

– Ну что?

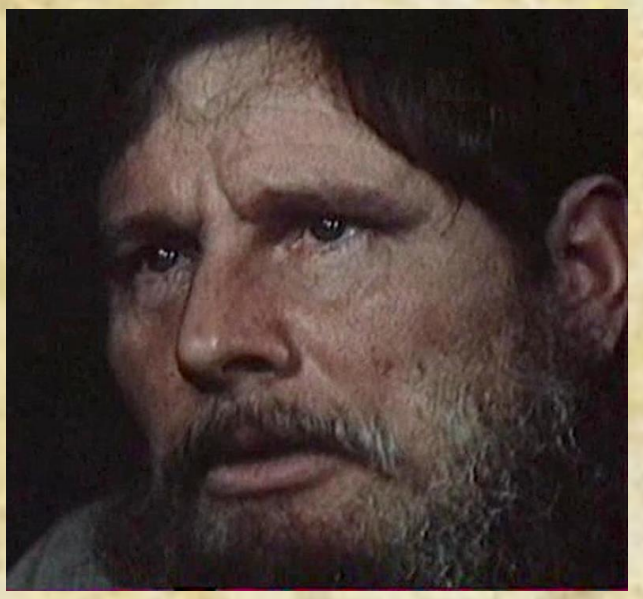
– Ничего. Сидят смирно, промежду себя разговаривают.

– Вот я им дам «разговаривают»! Да ты бы подольше у них побыла, хорошенько бы высмотрела.

– Нечего смотреть. Сидят тихо; он образ пишет, она краску трет.

– Небось, чаем потчевали?

– Не пивала ихнего чаю; не знаю.



– И ты с ними заодно… потатчица!

Но, как я уже сказал, особенных мер относительно Мавруши матушка все-таки не принимала и ограничивалась воркотней. По временам она, впрочем, призывала самого Павла.

– Долго ли твоя дворянка будет сложа ручки сидеть? – приступала она к нему.

– Простите ее, сударыня! – умолял Павел, становясь на колени.

– Нет, ты мне отвечай: долго ли дворянка твоя будет праздновать?

– Не умеет она работу работать. Хлебы вот печет.

– Это в неделю-то три-четыре часа… А ты знаешь ли, как другие работают!

– Знаю, сударыня, да хворая она у меня.

– Вот я эту хворь из нее выбью! Ладно! подожду еще немножко, посмотрю, что от нее будет. Да и ты хорош гусь! чем бы жену уму-разуму учить, а он целуется да милуется… Пошел с моих глаз… тихоня!

Натурально, эти разговоры и сцены в высшей степени удручали Павла.

Хотя до сих пор он не мог пожаловаться, что господа его притесняют, но опасение, что его тихое житие может быть во всякую минуту нарушено, было невыносимо. Он упал духом и притих больше прежнего.

Шли месяцы; матушка все больше и больше входила в роль властной госпожи, а Мавруша продолжала «праздновать» и даже хлебы начала печь спустя рукава.

Павел не раз пытался силою убеждения примирить жену с новым положением (рассказывали, что пробовал и «учить» ее), но все усилия его в этом смысле оказались напрасными. По-видимому, она еще любила мужа, но над этою привязанностью уже господствовало представление о добровольном закрепощении, силу которого она только теперь поняла, и мысль, что замужество ничего не дало ей, кроме рабского ярма, до такой

степени давила ее, что самая искренняя любовь легко могла уступить место равнодушию и даже ненависти. Покамест еще до этого не дошло, но очевидно было, что насильственное водворенье в Малиновце открыло ей глаза.

Подобно Аннушке, она обзавелась своим кодексом, который сложился в ее голове постепенно, по мере того как она погружалась в обстановку рабской жизни. Ей вдруг сделалось ясно, что, отказавшись, ради эфимерного чувства любви, от воли, она в то же время предала божий образ и навлекла на себя «божью клятву», которая не перестанет тяготеть над нею не только в этой, но и в будущей жизни, ежели она каким-нибудь чудом не «выкупится». Стало быть, отныне все заветнейшие мечты ее жизни должны быть устремлены к этому «выкупу», и вопрос заключался лишь в том, каким путем это чудо устроить.

Самым естественным выходом представлялся следующий: нести рабское иго лишь настолько, чтобы уступать исключительно насилию. Отчасти она уже выполнила эту задачу, отказавшись явиться к господам добровольно; теперь точно так же предстоит ей поступить, ежели господа вздумают ее заставлять господскую работу работать. Не станет она работать, не станет. Даже если ее истязать будут, она и истязанья примет, ради изведения души своей из тьмы, в которую погрузила ее «клятва».

Но ежели и этого будет недостаточно, чтобы спасти душу, то она и другой выход найдет. Покуда она еще не загадывала вперед, но решимости у нее хватит…

Была ли вполне откровенна Мавруша с мужем – неизвестно, но, во всяком случае, Павел подозревал, что в уме ее зреет какое-то решение, которое ни для нее, ни для него не предвещает ничего доброго; естественно, что по этому поводу между ними возникали даже ссоры.

– Не стану я господскую работу работать! не поклонюсь господам! – твердила Мавруша, – я вольная!

– Какая же ты вольная, коли за крепостным замужем! Такая же крепостная, как и прочие, – убеждал ее муж.

– Нет, я природная вольная; вольною родилась, вольною и умру! Не стану на господ работать!

– Да ведь печешь же ты хлебы! хоть и легкая это работа, а все-таки господская.

– И хлебы печь не стану. Ты меня в ту пору смутил: попеки да попеки! а я тебя, дура, послушалась. Буду печь одни просвиры для церкви божьей.

– А ежели барыня отстегать тебя велит?

– И пускай. Пускай как хотят тиранят, пускай хоть кожу с живой снимут – я воли своей не отдам!

И действительно, в одну из пятниц ключница доложила матушке, что Мавруша не пришла за мукой.

– Это еще что за моды такие! – вспылила матушка.

– Не знаю. Говорит: не слуга я вашим господам. Я вольная.

– А вот распишу я ей вольную на спине. Привести ее, да и оболтуса-мужа кстати позвать.

Предсказание Павла сбылось: Маврушу высекли. Но на первый раз поступили по-отечески: наказывали не на конюшне, а в девичьей, и сечь заставили самого Павла. Когда экзекуция кончилась, она встала с скамейки, поклонилась мужу в ноги и тихо произнесла:

– Спасибо за науку!

Но хлебов все-таки более не пекла.

С этих пор она затосковала. К прежней сокрушавшей ее боли прибавилась еще новая, которую нанес уже Павел, так легко решившийся исполнить господское приказание. По мнению ее, он обязан был всякую муку принять, но ни в каком случае не прикасаться лозой к ее телу.

– Срамник ты! – сказала она, когда они воротились в свой угол. И Павел понял, что с этой минуты согласной их жизни наступил бесповоротный конец.

Целые дни молча проводила Мавруша в каморке и не только не садилась около мужа во время его работы, но на все его вопросы отвечала нехотя, лишь бы отвязаться. Никакого просвета в будущем не предвиделось; даже представить себе Павел не мог, чем все это кончится. Попытался было он попросить «барина» вступиться за него, но отец, по обыкновению, уклонился.

– Рабы вы, – ответил он, – и должны, яко рабы, господам повиноваться.

– Это так точно, – попробовал возразить Павел, – но ежели такой случай вышел.

– Никакого случая нет, просто с жиру беситесь! А впрочем, я, брат, в эти дела не вмешиваюсь; ничего я не знаю; ступай, проси барыню, коли что…

Матушка между тем каждодневно справлялась, продолжает ли Мавруша стоять на своем, и получала в ответ, что продолжает. Тогда вышло крутое решение: месячины непокорным рабам не выдавать и продовольствовать их, наряду с другими дворовыми, в застольной. Но Мавруша и тут оказала сопротивление и ответила через ключницу, что в застольную добровольно не пойдет.

– Да ведь захочет же она жрать? – удивлялась матушка.

– Не знаю. Говорит: «Ежели насильно меня в застольную сведут, так я все-таки там есть не буду!»

– Врет, лиходейка! Голод не тетка… будет жрать! Ведите в застольную!

Но Мавруша не лгала. Два дня сряду сидела она не евши и в застольную не шла, а на третий день матушка обеспокоилась и призвала Павла.

– Да что она у тебя, порченая, что ли? – спросила она.

– Не знаю, сударыня. Хворая, стало быть.

– Хворые-то смирно сидят, не бунтуют; нет, она не хворая, а просто фордыбака… Дворянку разыгрывает из себя.

– С чего бы, кажется…

– Насквозь я ее мерзавку, вижу! да и тебя, тихоня! Берегись! Не посмотрю, что ты из лет вышел, так-то не в зачет в солдаты отдам, что любо!

– Отпустите нас, сударыня! Я и за себя, и за нее оброк заплачу.

– Ни за что! Даже когда иконостас кончишь, и тогда не пущу! Сгною в Малиновце. Сиди здесь, любуйся на свою женушку милую!

Но всё это был только разговор, а нужно было какой-нибудь практический выход сыскать. Ничего подобного матушка в помещичьей своей практике не встречала и потому находилась в великом смущении. Иногда в ее голове мелькала мысль, не оставить ли Маврушу в покое, как это уж и было допущено на первых порах по водворении последней в господской усадьбе; но она зашла уж так далеко в своих угрозах, что отступить было неудобно. Этак и все, глядя на фордыбаку, скажут: и мы будем склавши ручки сидеть! Нет! надо во что бы ни стало сокрушить упорную лиходейку; надо, чтоб все осязательно поняли, что господская власть не праздное слово.

И тем не менее все-таки пришлось, в конце концов, отступить.

Распоряжения самые суровые следовали одни за другими, и одни же за другими немедленно отменялись. В сущности, матушка была не злонравна, но бесконтрольная помещичья власть приучила ее сыпать угрозами и в то же время притупила в ней способность предусматривать, какие последствия могут иметь эти угрозы. Поэтому, встретившись с таким своенравным сопротивлением, она совсем растерялась.

– Ведите, ведите ее на конюшню! – приказывала она, но через несколько минут одумывалась и говорила: – Ин прах ее побери! не троньте! подожду, что еще будет!

Было даже отдано приказание отлучить жену от мужа и силком водворить Маврушу в застольную; но когда внизу, из Павловой каморки, послышался шум, свидетельствовавший о приступе к выполнению барского приказания, матушка испугалась… «А ну, как она, в самом деле, голодом себя уморит!» – мелькнуло в ее голове.

Все домочадцы с удивлением и страхом следили за этой борьбой ничтожной рабы с всесильной госпожой. Матушка видела это, мучилась, но ничего поделать не могла.

– Ест? – беспрерывно осведомлялась она у ключницы.

– Отказывается покуда.

– Не иначе, как Павлушка потихоньку ей носит. Сказать ему, негодяю, что если он хоть корку хлеба ей передаст, то я – видит бог! – в Сибирь обоих упеку!

Но едва вслед за тем приносили в девичью завтрак или обед, матушка призывала которую-нибудь из девушек (даже перед ними она уже не скрывалась) и говорила:

– Снеси… ну, этой!.. щец, что ли… Да не сказывай, что я велела, а будто бы от себя…

Повторяю, всесильная барыня вынуждена была сознаться, что если она поведет эту борьбу дальше, то ей придется все дела бросить и всю себя посвятить усмирению строптивой рабы.

Как ни горько было это сознание, но здравый смысл говорил, что надо во что бы ни стало покончить с обступившей со всех сторон безалаберщиной. И надо отдать справедливость матушке: она решилась последовать советам здравого смысла. Призвала Павла и сказала:

– Который уж месяц я от вас муку мученскую терплю! Надоело. Живите как знаете. Только ежели дворянка твоя на глаза мне попадется – уж не прогневайся! Прав ли ты, виноват ли… обоих в Сибирь законопачу!

И тут же сделала распоряжение, чтобы Маврушу не трогать, а Павла опять перевести на месячину, но одного, без жены.

– А она пускай как знает, так и живет. Задаром хлебом кормить не буду.

Примирившись с этой развязкой, матушка на несколько дней как будто примолкла. Голос ее реже раздавался по дому, приказания отдавались тихо, без брани. Она поняла, что необходимо, чтоб впечатление, произведенное странным переполохом на дворню, улеглось.

С своей стороны, и Мавруша присмирела или, лучше сказать, совсем как бы перестала существовать. Сидела как узница в своей каморке и молчала, угнетаемая одиночеством и горькими мыслями о погубленной молодости.

Во мне лично, тогда еще почти ребенке, происшествие это возбудило сильное любопытство. Неоднократно я пытался спуститься вниз, в Павлову комнату, чтоб посмотреть на Маврушу, но едва подходил к двери, как меня брала оторопь, и я возвращался назад, не выполнив своего намерения. Зато всякий раз, когда мне случалось быть в саду, я нарочно ходил взад и вперед вдоль фасада дома, замедлял шаги перед окном заповедной каморки и вглядывался в затканные паутиной стекла, скрывавшие от меня ее внутренность. И мне слышалось, словно кто-то там тихо стонет.

Как бы то ни было, но жизнь Павла была погублена. Мавруша не только отшатнулась от него, но даже совсем перестала с ним говорить. Победа, которую она одержала над властной барыней, наводившей трепет на все окружающее, далеко не удовлетворила ее. Собственно говоря, тут и победы не было, а просто надоело барыне возиться с бестолковой рабой, которая упала ей как снег на голову. Положение вещей нимало от этого не изменилось. И до победы Мавруша была раба, и после победы осталась рабою же – только бунтующеюся. Поэтому сомнение ее насчет «божьей клятвы» осталось в прежней силе.

Мавруша тосковала больше и больше. Постепенно ей представился Павел, как главный виновник сокрушившего ее злосчастья. Любовь, постепенно потухая, прошла через все фазисы равнодушия и, наконец, превратилась в положительную ненависть. Мавруша не высказывалась, но всеми поступками, наружным видом, телодвижениями, всем доказывала, что в ее сердце нет к мужу никакого другого чувства, кроме глубокого и непримиримого отвращения.

Аннушка опасалась, как бы она не извела мужа отравой или не «испортила» его; но Павел отрицал возможность подобной развязки и не принимал никаких мер к своему ограждению. Жизнь с ненавидящей женщиной, которую он продолжал любить, до такой степени опостылела ему, что он и сам страстно желал покончить с собою.

– До этого она не дойдет, – говорил он, – а вот я сам руки на себя наложу – это дело статочное.

Но и до этого дело не дошло, а разрешилось гораздо проще.

Ранним осенним утром, было еще темно, как я был разбужен поднявшеюся в доме беготней. Вскочив с постели, полуодетый, я сбежал вниз и от первой встретившейся девушки узнал, что Мавруша повесилась.

Драма кончилась. В виде эпилога я могу, впрочем, прибавить, что за утренним чаем, на мой вопрос: когда будут хоронить Маврушу? – матушка отвечала:

– А вот завтра обернут в рогожу и свезут в болото.

И действительно, на другое утро приехал из земского суда сельский заседатель, разрешил похоронить самоубийцу, и я из окна видел, как Маврушино тело, обернутое в дырявую рогожу, взвалили на роспуски и увезли в болото.

XX. Ванька-Каин

Настоящее его имя было Иван Макаров, но брат Степан с первого же раза прозвал его Ванькой-Каином. Собственно говоря, ни проказливость нрава, ни беззаветное и, правду сказать, довольно-таки утомительное балагурство, которыми отличался Иван, вовсе не согласовались с репутацией, утвердившейся за подлинным Ванькой-Каином, но кличка без размышления сорвалась с языка и без размышления же была принята всеми.

По профессии он был цирульник. Года два назад, по выходе из ученья, его отпустили по оброку; но так как он, в течение всего времени, не заплатил ни копейки, то его вызвали в деревню. И вот однажды утром матушке доложили, что в девичьей дожидается Иван-цирульник.

– А! золото! добро пожаловать! Ты что же, молодчик, оброка не платишь? – приветствовала его матушка.

Но Иван, вместо ответа, развязно подошел к барыне и сказал:

– Позвольте, сударыня, ручку поцеловать.

– Прочь… негодяй! Смотрите, шута разыгрывать вздумал! Сказывай, почему ты оброка не платишь?

– Помилуйте, сударыня, я бы с превеликим моим удовольствием, да, признаться сказать, самому деньги были нужны.

– А вот я тебя сгною в деревне. Я тебе покажу, как шута перед барыней разыгрывать! Посмотрю, как «тебе самому деньги были нужны»!

– Это как вам будет угодно. Я и здесь в превосходном виде проживу.

– Ах ты, хамово отродье! скажите на милость!..

– Мерси бонжур. Что за оплеуха, коли не достала уха! Очень вами за ласку благодарен!

Матушка широко раскрыла глаза от удивления. В этом нескладном потоке шутовских слов она поняла только одно: что перед нею стоит человек, которого при первом же случае надлежит под красную шапку упечь и дальнейшие объяснения с которым могут повлечь лишь к еще более неожиданным репримандам.

– Вон! – крикнула она, делая угрожающий жест и в то же время благоразумно ретируясь.

– Же-ву-фелисит.[40] Не доходя прошедши. Не извольте беспокоиться, получать не желаю.

Словом сказать, он с первого же шага ознаменовал свое водворение в Малиновце настолько характеристично, что никто уж не сомневался насчет предстоявшей ему участи.

Наружный вид он имел, можно сказать, самый нелепый. Долговязый, с узким и коротким туловищем на длинных, тонких ногах, он постоянно покачивался, как будто ноги подкашивались под ним, не будучи в состоянии сдерживать туловища. Маленькая не по росту голова, малокровное и узкое лицо, формой своей напоминавшее лезвие ножа, длинные изжелта-белые волосы, светло-голубые, без всякого блеска (словно пустые) глаза, тонкие, едва окрашенные губы, длинные, как у орангутанга, мотающиеся руки и, наконец, колеблющаяся, неверная походка (точно он не ходил, а шлялся) – все свидетельствовало о каком-то ненормальном состоянии, которое близко граничило с невменяемостью.

Явился он в белой холщовой рубашке навыпуск и, вдобавок, с гармоникой, которую, впрочем, оставил в сенях.

– Как это… как он сказал?.. «Же-ву-фелисит»… а дальше как? – припоминала матушка, возвратившись в девичью и становясь у окна, чтобы поглядеть, куда пойдет балагур. – Как, девки, он сказал?

– «Не доходя прошедши», – подсказала одна из девушек.

– Ишь, шут, выдумал же!

– Видел, что вы замахнулись – ну, и остерег: проходите, мол, мимо, – пояснила ключница Акулина, которая, в силу своего привилегированного положения в доме, не слишком-то стеснялась с матушкой.

– А вот я его ужо! Смотрите! ишь, мерзавец, шляется! Именно не идет, а шляется! Батюшки! да никак он на гармонии играет! Бегите, бегите, отнимите у него гармонию!

Одна из девушек побежала исполнить приказание, а матушка осталась у окна, любопытствуя, что будет дальше. Через несколько секунд, посланная уж поровнялась с балагуром, на бегу выхватила из его рук гармонику и бросилась в сторону. Иван ударился вдогонку, но, по несчастью, ноги у него заплелись, и он с размаху растянулся всем туловищем на землю.

– Смотрите! смотрите! растянулся! ах, туша несуразная! что? почесываешься? отбил печенки, подлец? – вскрикивала матушка, любуясь зрелищем и забывая недавний свой гнев.

Гармонику принесли; но вслед за тем на лестнице раздались шаги. Заслышавши их, матушка поспешно схватила гармонику и буквально бежала из девичьей.

– Это уж не манер! – во все горло бушевал воротившийся балагур, – словно на большой дороге грабят! А я-то, дурак, шел из Москвы и думал, призовет меня барыня и скажет: сыграй мне, Иван, на гармонии штучку!

Наконец девушки всей толпой обступили его и увели. А вслед за тем кучер Алемпий (он исправлял при усадьбе должность заплечного мастера), как говорится, на обе корки

---

[40] я вас поздравляю – франц.

отодрал московского гостя.

В этот же день матушка за обедом говорила:

– Вот и еще готовый солдат явился. Посмотрю немного, и ежели что, так и набора ждать не стану.

Тут же, за обедом, брат Степан окрестил гостя Ванькой-Каином, и кличка эта так всем по вкусу пришлась, что с той же минуты вошла в общий обиход.

Тем не менее, для Степана выдумка его не обошлась даром. Вечером, встретивши своего крестника, он с обычною непринужденностью спросил его:

– А что, Ванька-Каин, хорошо давеча отпарили?

Иван, услышав новое прозвище, сначала изумился, но сейчас же понял, что барчонок – такой же балагур, как и он.

– Ванька-Каин… зачем? к чему? – огрызнулся он. – Меня, сударь, Иваном Макаровым зовут, а вот вас, правда ли, нет ли, папенька с маменькой за все Степкой-балбесом величают!

Ремесло цирульника считалось самым пустым из всех, которым помещичье досужество обучало дворовых для домашнего обихода. Цирульники, ходившие по оброку, очень редко оказывались исправными плательщиками. Это были люди, с юных лет испорченные легким трудом и балагурством с посетителями цирулен; поэтому большинство их почти постоянно слонялось по Москве без мест.

Пьянство не особенно было развито между ними; зато преобладающими чертами являлись: праздность, шутовство и какое-то непреоборимое влечение к исполнению всякого рода зазорных «заказов». Отощалые, оборванные, бродили они, предлагая свои услуги по части «девушек», и не останавливались даже перед перспективою помятых боков, лишь бы угодить своим случайным заказчикам. И что всего замечательнее, – несмотря на то, что «заказы» этого рода оплачивались широко, у этих людей никогда не бывало денег. Или, лучше сказать, они тотчас же самым безалаберным образом растрачивали полученный гонорар в первой полпивной, швыряя направо и налево мелкими ассигнациями.

Вообще помещики смотрели на них как на отпетых, и ежели упорствовали отдавать дворовых мальчиков в ученье к цирульникам, то едва ли не ради того только, чтоб в доме был налицо полный комплект всякого рода ремесл.

В деревне ремесло цирульника еще резче отличалось от прочих. И ткача, и сапожника, и портного можно было держать в постоянном труде, свойственном специальности каждого, тогда как услуга цирульника почти совсем не требовалась. У нас, например, можно было воспользоваться Ванькой-Каином единственно для того, чтобы побрить или постричь отца, но эту деликатную операцию отлично исполнял камердинер Конон, да вряд ли отец и доверил бы себя рукам прощелыги, у которого бог знает что на уме. Поэтому надо было приискать для Ваньки-Каина стороннюю работу, на которой он изнывал бы непрестанно. Матушка, разумеется, и занялась этим, потому что она даже в мыслях не могла допустить, чтобы кто-нибудь из дворовых даром хлеб ел.

Однако задача эта оказалась не совсем легкою. Ни к какой работе Ванька-Каин приспособлен не был.

Ежели в дом его взять, заставить помогать Конону, так смотреть на него противно, да он, пожалуй, еще озорство какое-нибудь сделает; ежели в помощники к пастуху определить, так он и там что-нибудь напакостит: либо стадо распустит, либо коров выдаивать будет. Думала, думала матушка и наконец решила: благо начался сенокос, послать Ваньку-Каина сено косить. И с вечера же, как только явился староста Федот за приказаниями, она сообщила ему о своей затее.

– Вряд ли он и косу в руку взять умеет, – предупреждал Федот, – грех только с ним один.

– Не умеет, так будет уметь. Почаще плеткой вспрыскивай – скорехонько научится.

– То-то что… Ты его плеткой, а он на тебя с косой…

– Ну, бог милостив… с богом!

Но наутро, едва выглянула матушка в окно, как убедилась, что Ванька-Каин

преспокойно шляется по красному двору, размахивая руками.

– Отчего Ванька не на сенокосе? – обратилась она к ключнице.

– Стало быть, не пошел.

– Позвать его, подлеца!

– Лучше бы вы, сударыня, с ним не связывались!

– Нет, нет… позвать его… сейчас позвать!

И через несколько минут в девичьей уже поднялся обычный содом.

– Ты что же, голубчик, на сенокос не идешь? – кричала матушка.

– Позвольте, сударыня! «Здесь стригут и бреют и кровь отворяют», а вы меня с косой посылаете! Разве благородные господа так делают?

– Ах, мерзавец! он еще шутки шутит… Сейчас же к Алемпию сам ступай! Пускай он тебе по-намеднишнему засыплет.

– Однажды шел дождик дважды… Вчера засыпали, сегодня засыплют… Об этом еще подумать надо, сударыня.

Казалось бы, недавняя встреча должна была предостеречь матушку насчет будущих стычек с Ванькой-Каином, но постоянно удачная крепостная практика до такой степени приучила ее к беспрекословному повиновению, что она и на этот раз, словно застигнутая врасплох, стояла перед строптивым рабом с широко раскрытыми глазами, безмолвная и пораженная.

«Как же у других-то? – мелькало в ее голове, – неужто у всех так? в Овсецове у Анфиски… справляется же она как-нибудь?»

Само собою разумеется, что Ивану в конце концов все-таки засыпали, но матушка тем не менее решила до времени с Ванькой-Каином в разговоры не вступать, и как только полевые работы дадут сколько-нибудь досуга, так сейчас же отправить его в рекрутское присутствие.

– А до тех пор отдам себя на волю божию, – говорила она Акулине, – пусть батюшка царь небесный как рассудит, так со мной и поступает! Захочет – защитит меня, не захочет – отдаст на потеху сквернавцу!

– Да еще примут ли его в солдаты-то? – сомневалась Акулина.

– Отчего не принять?

– У него, слышь, передние зубы вышиблены.

– Ну, так я и знала! То-то я вчера смотрю, словно у него дыра во рту. Вот и еще испытание царь небесный за грехи посылает! Ну, что ж! Коли в зачет не примут, так без зачета отдам!

Не знаю, однако ж, успела ли бы выполнить матушка свое решение не встречаться с строптивым рабом, если б не выручил ее кучер Алемпий, выпросив Ваньку-Каина на конюшню.

После этого матушка как будто успокоилась, но спокойствие это было только наружное, и, в сущности, мысль о Ваньке-Каине продолжала преследовать ее.

– Сбегай, посмотри, что подлец делает? – по нескольку раз в день посылала она девчонку на конюшню.

И когда девчонка возвращалась с ответом: «Сидит на приступочке и посвистывает», – то матушка приходила в такое волнение, что губы у нее белели и тряслись.

– Ты что же, сударь, молчишь! – накидывалась она на отца, – твой ведь он! Смотрите на милость! Холоп над барыней измывается, а барин запрется в кабинете да с просвирами возится!

Но у отца был всегда наготове

стереотипный ответ:

– Ничего я не знаю. Ты у меня все имения отняла, ты и распоряжайся!

Дни проходили за днями; Ванька-Каин не только не винился, но, по-видимому, совсем прижился. Он даже приобретал симпатию дворовых. Хотя его редко выпускали с конного двора, но так как он вместе с другими ходил обедать и ужинать в застольную, то до слуха матушки беспрерывно доносился оттуда хохот, который она, не без основания, приписывала присутствию ненавистного балагура.

«Ишь, жеребцы, грохочут! – думалось ей, – наверное это он, Ванька-Каин, их потешает!»

Даже в девичьей слышалось подозрительное хихиканье, которое также не ускользнуло от внимания матушки. Очевидно, и туда успели проникнуть Ивановы шутки и в особенности произвели впечатление на «кузнечих», которым они напомнили золотое время, когда в ушах их немолчно раздавался бесшабашный жаргон прожженных московских мастеровых.

Да и в самом деле, разве можно было не помирать со смеху, когда Ванька-Каин, приплясывая на своих нескладных ногах, пел:

Пироги!
Горячи!
С пылу, с жару,
По грошу за пару!
С лучком, с перцем,
С собачьим сердцем!

Или когда перед собравшейся аудиторией выступали на сцену эпизоды из бесконечной повести о потасовках, которые он претерпел в течение своей многострадальной жизни.

– Пристал ко мне, однажды, купец Завейхвостов, – рассказывал он, – живет, говорит, тут у нас в переулке девица Груша – она в канарейках у князя Унеси ты мое горе состоит – ах, хороша штучка! Так вот что, Иван! коли ты мне ее предоставишь, откуплю я тебя, перво-наперво, у господ, а потом собственное заведение тебе устрою… Вот тебе четвертная на расход! Взял я это деньги, думаю: завсегда я хорошим господам служил, – надо и теперь послужить. Отправился. Прошел, значит, мимо ее квартиры раз, прошел другой, третий – хожу да посвистываю. Вижу, сидит у окна девица, в пяльцах шьет; взглянет на меня и усмехнется. Эге! думаю, никак, ты уж привышная! Подошел к окну, да и говорю напрямки: позвольте мне с вами, Аграфена Максимовна, разговор иметь! – «Извольте», – говорит. Вошел я, значит, в горницу. «Так и так говорю, купец Завейхвостов Терентий Прохорыч желает с вами в любви жить». Ну, разумеется, спервоначалу зажеманилась. «Ах, что вы! да как я! да каким же манером я своего князя оставить могу!» А между прочим: «Приходите, мол, завтра об эту же пору, я вам ответ верный дам». Хорошо; завтра так завтра. Прихожу на другой день, а у нее уж и самовар на столе кипит. «Чайку не угодно ли?» Сели, пьем чай, разговариваем. «Какое положение от Терентия Прохорыча будет? каков он нравом?» Словом сказать, обо всем обстоятельно девица расспрашивает. Только вдруг, слышу я, словно по переулку кто едет.

Ближе да ближе… и вдруг она как вскочит! «А ведь это, говорит, мой князь! спрячьтесь в спальную, я его мигом спроважу». Пихнула она меня в спальную, а следом за тем и «сам» нагрянул. Слышу, спрашивает: «Пришел?» – Пришел! Так у меня сердце и захолонуло: попался, значит. Выволок он меня в ту пору вот за эти самые волосы в горницу, поставил к печке и начал лущить.

Лущит-лущит по щекам, отдохнет и начнет по зубам лущить, потом еще отдохнет и опять по щекам. Да в нос! да в глаза кулаком, кровь так ручьем и льет…

«Я, говорит, твою морду поганую насквозь до самого затылка проломлю!» И вдруг в самые вздохи как звезданет кулаком – ну, думаю, убьет он меня! И убил бы, да уж прохожие начали около дома собираться…

Во время рассказа Ванька-Каин постепенно входил в такой азарт, что даже белесоватые глаза его загорались. Со всех сторон слышались восклицания:

– То-то рыло у тебя сплюснуто!

– То-то трех зубов у него спереди нет! это князь его пожаловал.

– Что ж ты с четвертной-то сделал? оброк, что ли, заплатил?

– Нет, братцы, в ту пору последние моды пришли, я и купил себе манжеты на заячьем меху с отворотами!

– Ха-ха-ха!

Но по мере того, как росла популярность Ивана, и время, в свою очередь, нарастало. Сентябрь уже подходил к половине; главная масса полевых работ отошла; девушки по вечерам собирались в девичьей и сумерничали; вообще весь дом исподволь переходил на зимнее положение. Ванька-Каин догадывался, что для него готовится что-то недоброе, и догадка эта, по-видимому, начинала оказывать на него некоторое действие. Не то чтоб он унялся, но нередко замечали, что он ходит как сонный и только вследствие стороннего подстрекательства начинает шутки шутить.

– Всего меня, братцы, нынче ночью изломало, – жаловался он, – голова как котел, бока болят, ноги ноют…

– Это тебя князь в ту пору в очистку отделал!

– Много у меня князей было. Одну съезжую ежели сосчитать, так иной звезд на небе столько не видал, сколько спина моя лозанов приняла!

На его счастье, у матушки случились дела в Москве. С отъездом барыни опасения Ваньки-Каина настолько угомонились, что к нему возвратилась прежняя проказливость. Каждый вечер приходил он в девичью, ужинал вместе с девушками и шутки шутил.

– Важно! Москвой запахло! – говорил он, когда на стол ставили пустые щи.

Или когда приносили толокно:

– А это, стало быть, бламанжей самого последнего фасона. Кеси-киселя (вероятно, qu' est-ce que c' est que cela[41]) – милости просим откушать! Нет, девушки, раз меня один барин бламанжеем из дехтю угостил – вот так штука была! Чуть было нутро у меня не склеилось, да царской водки полштоф в меня влили – только тем и спасли!

– Ишь врет!

– Я вру? Это пес врет, а не я. Я, красавицы, однажды на паре вилку проглотил. Так и о сю пору она во мне и сидит.

Аннушку-каракатицу эти шутки приводили в непритворное негодование…

Вообще шутовство было противно ее природе, а сверх того Иван отвлекал внимание девичьей от ее поучений.

– Не мути, Христа ради! дай хлеба божьего поесть! – убеждала она наглеца.

– А вам, тетенька, хочется, видно, поговорить, как от господ плюхи с благодарностью следует принимать? – огрызался Ванька-Каин, – так, по-моему, этим добром и без того все здесь по горло сыты! Девушки-красавицы! – обращался он к слушательницам, – расскажу я вам лучше, как я однова ездил на Моховую, слушать музыку духовую… – И рассказывал. И к великому огорчению Аннушки рассказ его не только не мутил девушек, но доставлял им видимое наслаждение.

Наконец матушка воротилась. И едва успела поздороваться с домочадцами и водвориться в спальной, как уже справилась, что делает Ванька-Каин.

Разумеется, ключница доложила, что он отбился от рук и все время сидмя сидел в девичьей.

– Ну, больше сидеть не будет, – решительно молвила матушка и в тот же вечер приказала старосте, чтоб назавтра готовил дальнюю подводу.

В то время обряд отсылки строптивых рабов в рекрутское присутствие совершался

---

41 Что это такое

самым коварным образом. За намеченным субъектом потихоньку следили, чтоб он не бежал или не повредил себе чего-нибудь, а затем в условленный момент внезапно со всех сторон окружали его, набивали на ноги колодки и сдавали с рук на руки отдатчику.

С Иваном поступили еще коварнее. Его разбудили чуть свет, полусонному связали руки и, забивши в колодки ноги, взвалили на телегу. Через неделю отдатчик вернулся и доложил, что рекрута приняли, но не в зачет, так что никакой материальной выгоды от отдачи на этот раз не получилось. Однако матушка даже выговора отдатчику не сделала; она и тому была рада, что крепостная правда восторжествовала…

Прошло несколько лет. Я уже вышел из училища и состоял на службе, как в одно утро мой старый дядька Гаврило вошел ко мне в кабинет и объявил:

– А к нам гость пришел. Взойди! ничего, ступай! – прибавил он, обращаясь к стоявшему за дверью гостю.

Передо мной предстал длинный-длинный, совсем высохший скелет. Долгое время я вглядывался в него, силясь припомнить, где я его видел, и наконец догадался.

– Иван?

– Так точно, вашескородие.

– Однако, брат, отощал ты!

– Извольте смотреть, вашескородие!

С этими словами он раскрыл рот и распялил пальцами губы.

– Извольте смотреть! – продолжал он, – прежде только трех зубов не было, а теперь ни одного почесть нет!

– Да, маловато. Что же ты делаешь? служишь?

– Так точно-с. При полковом лазарете фершалом состою. Только не долго мне уж служить. Ни одного суставчика во мне живого нет; умирать пора.

Он пробыл у нас целый день. Гаврило пытался вызвать его на шутки, но Иван так тоскливо взглянул на него при этом напоминании, что оставалось только вместе с ним мысленно повторить: умирать надо.

XXI. Продолжение портретной галереи домочадцев. – Конон.

Конон не отличался никакими особенными качествами, которые выделяли бы его из общей массы дворовых, но так как в нем эта последняя нашла полное олицетворение своего сокровенного миросозерцания, то я считаю нелишним посвятить ему несколько страниц.

Мужская комнатная прислуга была доведена у нас до минимума, а именно, сколько мне помнится, для всего дома полагалось достаточным не больше двух лакеев, из которых один, Степан, исполнял обязанности камердинера при отце, а другой, Конон, заведывал буфетом. Но, само собой разумеется, эти специальности не мешали обоим исполнять и всякие другие лакейские обязанности. Матушка считала лакеев, даже по сравнению с женской прислугой, дармоедами по преимуществу, и потому нещадно сокращала штат их. Еще я помню время, когда в передней толпилась порядочная масса мужской прислуги; но мало-помалу стая старых слуг редела, и выбывавшие из строя люди не заменялись новыми.

Конон знал твердо, что он природный малиновецкий дворовый. Кроме того, он помнил, что первоначально его обучали портному мастерству, но так как портной из него вышел плохой, то сделали лакеем и приставили к буфету.

А завтра, или вообще когда вздумается, его приставят стадо пасти – он и пастухом будет. В этом заключалось все его миросозерцание, то сокровенное миросозерцание, которое не формулируется, а само собой залегает в тайниках человеческой души, не освещаемой лучом сознания.

Факты представлялись его уму бесповоротными, и причина появления их в той или другой форме, с тем или иным содержанием, никогда не пробуждала его любознательности. Барин в кабинете сидит, барыня приказывает или гневается, барчуки учатся, девушки в пяльцах шьют или коклюшки перебирают, а он, Конон, ножи чистит, на стол накрывает, кушанье подает, зимой печки затопляет, смотрит, как бы слишком рано или слишком поздно трубу не закрыть. Вот и всё.

Ежели, в промежутках этих преходящих явлений, случайно выпадет свободная минута, он пойдет в лакейскую, сядет на ларь, расставит ноги и чуточку подремлет.

– Что ты, Конон, дремлешь? – скажет ему кто-нибудь, – ты бы лучше посмотрел, что сала на столе в буфете накопилось, да вычистил бы.

– И то пойти вычистить, – молвит он, возьмет скребок и через полчаса большую-большую груду сальных оскребков несет в фартуке на девичье крыльцо.

Ежели по дороге увидит этот ворох матушка, то непременно заметит:

– Давно бы пора, лежебок, догадаться! Ишь до чего довел! Смотреть тошно.

На что он также непременно возразит: – Не одно, сударыня, дело!

Это возражение как будто свидетельствовало, что резонирующая способность не совсем еще в нем угасла. Но и она, пожалуй, не была результатом самодеятельной внутренней работы; а слышал он, что другие так говорят, и машинально повторял с чужих слов.

Вообще вся его жизнь представляла собой как бы непрерывное и притом бессвязное сновидение. Даже когда он настоящим манером спал, то видел сны, соответствующие его должности. Либо печку топит, либо за стулом у старого барина, во время обеда, стоит с тарелкой под мышкой, либо комнату метет. По временам случалось, что вдруг среди ночи он вскочит, схватит спросонок кочергу и начнет в холодной печке мешать.

– Это в тебе, Конон, нечистая сила действует, – подтрунит кто-нибудь над ним.

– И то лукавый попутал!

Плана в занятиях своих он не соблюдал и переделывал вразбивку вообще все, что требовалось по лакейской должности. А ежели что и еще сверх того прикажут, то и это сделает. Вообще никакой личной инициативы не знал, ничего, кроме заведенного, так сказать, вошедшего ему в плоть и кровь порядка и действительно случайного стороннего импульса. И никогда не интересовался знать, что из его работы вышло, и все ли у него исправно, как будто выполненная формальным образом лакейская задача сама по себе составляет нечто самостоятельное, не нуждающееся в проверке ее практическими результатами.

– Срам смотреть, какие ты стаканы на стол подаешь! – чуть не каждый день напоминали ему. На что он с убежденным видом неизменно давал один и тот же ответ:

– Кажется, перетираю…

Молчальник он был изумительный. Редко-редко с его языка слетал какой-нибудь неожиданный вопрос вроде: «Прикажете на стол накрывать?», или: «Прикажете сегодня печки топить?» – на что обыкновенно получалось в ответ: «Одурел ты, что ли, об чем спрашиваешь?» В большинстве случаев он или безусловно молчал, или ограничивался односложными ответами, самого первоначального свойства.

– Холодно сегодня? – спросит, например, матушка за утренним чаем.

– Не заметил-с.

– Ишь шкура-то у тебя…

– Известно, зима, а не лето.

Даже из прислуги он ни с кем в разговоры не

вступал, хотя ему почти вся дворня была родня. Иногда, проходя мимо кого-нибудь, вдруг остановится, словно вспомнить о чем-то хочет, но не вспомнит, вымолвит: «Здорово, тетка!» – и продолжает путь дальше. Впрочем, это никого не удивляло, потому что и на остальной дворне в громадном большинстве лежала та же печать молчания, обусловившая своего рода общий modus vivendi, которому все бессознательно подчинялись.

По временам он заходил вечером в девичью (разумеется, в отсутствие матушки, когда больше досуга было), садился где-нибудь с краю на ларе и слушал рассказы Аннушки о подвижниках первых времен христианства. Но производили ли они на него какое-нибудь впечатление и действительно ли он что-нибудь слышал, этого никто определить не мог. Слушает-слушает – и вдруг на самом интересном месте зевнет, перекрестит рот, вымолвит: «Господи Иисусе Христе!» – и уйдет дремать в лакейскую, покуда господа не разойдутся на ночь по своим углам.

Какое-то гнетущее равнодушие было написано на его лице, но в чем заключалась тайна этого равнодушия, это даже ему самому едва ли было известно. Во всяком случае, никто не видал на этом лице луча не только радости, но даже самого заурядного удовольствия. Точно это было не лицо, а застывшая маска. Глядит, моргает, носом шевелит, волосами встряхивает, а какой внутренний процесс скрывается за этими движениями – отгадать невозможно.

Некоторое время он был приставлен в качестве камердинера к старому барину, но отец не мог выносить выражения его лица и самого Конона не иначе звал, как каменным идолом. Что касается до матушки, то она не обижала его и даже в приказаниях была более осторожна, нежели относительно прочей прислуги одного с Кононом сокровенного миросозерцания. Так что можно было подумать, что она как будто его опасается.

– Леший его знает, что у него на уме, – говаривала она, – все равно, как солдат по улице со штыком идет. Кажется, он и смирно идет, а тебе думается: что, ежели ему в голову вступит – возьмет да заколет тебя. Судись, поди, с ним.

Впрочем, она видела, что Конон, по мере разумения, свое дело делает, и понимала, что человек этот не что иное, как машина, которую сбивать с однажды намеченной колеи безнаказанно нельзя, потому что она, пожалуй, и совсем перестанет действовать. Но внутренно он был ей несимпатичен. Как женщина по природе ретивая, она и в прислуге главнее всего ценила ретивость и любила только тех, у кого дело, как говорится, в руках горит. Поэтому, глядя, как Конон, болтая руками и вращая недоумевающими глазами, бродит со щеткой по комнатам, не столько выметая их, сколько поднимая пыль столбом, она выражалась:

– Ишь, олух, бродит! словно во сне веревки вьет! Кажется, так бы взяла да щеткой тебя, да щеткой…

Но что всего больше досадовало матушку – это показывавшаяся по временам на лице Конона улыбка. Не настоящая улыбка, а какое-то подобие, точно на портретах, писанных неискусной рукой крепостного живописца.

– Стало быть, есть у него рассудок, стало быть, он чему-нибудь да смеется! – ворчала она, с любопытством наблюдая, как это загадочное подобие улыбки то мелькнет, то опять пропадет на тонких обесцвеченных губах «олуха».

Можно ли было считать Конона «верным» слугою – этот вопрос никому не приходил в голову. Несомненно, он никогда ничего не украл, никого не продал и даже никому не нагрубил, но все это были качества отрицательные, в которых внутреннее его существо не принимало никакого участия и которых поэтому никто в заслугу ему не ставил. Поручить ему все-таки ничего было нельзя, потому что в таком случае потребовалось бы войти в такие мелкие подробности, предугадать которые заранее совсем невозможно. Ежели же всего до последней мелочи ему вперед не пересказать, то он, при первой же непредвиденности, или совсем станет в тупик, или так напутает, что и мудрецу распутать не под силу. Ничего от себя он придумать не был в состоянии, ни малейшей сообразительностью не обладал. Он был лакей в буквальном смысле этого слова – и ничего больше.

Поэтому его постоянно держали в лакейской, не давая вне ее никакого хода. И матушка, которая очень дорожила усердными и честными слугами, очень верно выражалась об нем, говоря:

– Вот он и честный, да что в нем!

И наружность он имел такую, что, несмотря на несомненно лакейский тип, представительным лакеем его все-таки назвать было нельзя. Среднего роста, узкий в плечах, поджарый, с впалою грудью, он имел очень жалкую фигуру, прислуживая за столом, и едва-едва держался нетвердыми ногами, стоя в ливрее на запятках за возком и рискуя при первом же ухабе растянуться на снегу. В Москве, когда начались выезды, это сделалось в особенности заметным, и сестрица отчасти ему приписывала свои неудачи в поисках за женихами. Ни прислужить по-столичному, ни возвестить, как следует, приезд гостя он не умел, беспощадно перевирал фамилии, перепутывал названия улиц и в довершение всего перенес в московскую квартиру ту же нестерпимую неопрятность, которая отличала его в деревне. Словом сказать, только привычка и крайняя неприхотливость объясняли присутствие в большом городе подобного деревенского увальня, даже среди такой скромной обстановки, какова была наша.

Ходил он в деревне по будням в широком синем затрапезном сюртуке, в серых нанковых штанах и в туфлях на босу ногу. Такова была общая обмундировка мужской прислуги в нашем доме. Но по праздникам надевал синюю суконную пару и выростковые сапоги и гоголем выступал в этой одежде по комнатам, заглядывая мимоходом в зеркала и чаще, чем в будни, посещая девичью. Очевидно, в нем таилась в зародыше слабость к щегольству, но и этот зародыш, подобно всем прочим качествам, тускло мерцавшим в глубинах его существа, как-то не осуществился, так что если кто из девушек замечал:

«Э! да какой ты сегодня франт!» – то он, как и всегда, оставлял замечание без ответа или же отвечал кратко:

– Известно… праздник!

По воскресеньям он аккуратно ходил к обедне. С первым ударом благовеста выйдет из дома и взбирается в одиночку по пригорку, но идет не по дороге, а сбоку по траве, чтобы не запылить сапог. Придет в церковь, станет сначала перед царскими дверьми, поклонится на все четыре стороны и затем приютится на левом клиросе. Там положит руку на перила, чтобы все видели рукав его сюртука, и в этом положении неподвижно стоит до конца службы.

– Ты что ж это, олух, целую обедню лба не перекрестил! – прикрикнет на него матушка, возвратясь из церкви.

– Так словно…

– «Так словно»! смотрите, какой резон выдумал! вот я тебя, «так словно», в будущее воскресенье в церковь не пущу! Сиди дома, любуйся собой… щеголь!

Но никакие вразумления не действовали, и в следующий праздник та же история повторялась с буквальной точностью. Не раз, в виду подобных фактов, матушка заподозривала Конона в затаенной строптивости, но, по размышлении, оставила свои, подозрения и убедилась, что гораздо проще объяснить его поведение тем, что он – «природный олух». Эта кличка была как раз ему впору; она вполне исчерпывала его внутреннее содержание и определяла все поступки.

Конечно, постоянно иметь перед глазами «олуха» было своего рода божеским наказанием, но так как все кругом так жили, все такими же олухами были окружены, то приходилось мириться с этим фактом. Все одно: хоть ты ему говори, хоть нет, – ни слова, ни даже наказания, ничто не подействует, и олух, сам того не понимая, поставит-таки на своем. Хорошо, хоть вина не пьет – и за то спасибо.

– Сказывали мне, что за границей машина такая выдумана, – завидовала нередко матушка, – она и на стол накрывает, и кушанье подает, а господа сядут за стол и кушают! Вот кабы в Москву такую машину привезли, кажется, ничего бы не пожалела, а уж купила бы. И сейчас бы всех этих олухов с глаз долой.

Но машину не привозили, а доморощенный олух мозолил да мозолил глаза властной барыни. И каждый день прикоплял новые слои сала на буфетном столе, каждый день плевал в толченый кирпич, служивший для чищения ножей, и дышал в чашки, из которых «господа» пили чай…

– Пес ты бесчувственный! долго ли я от тебя надругательства буду терпеть! – выговаривала матушка, заставая его в подобных занятиях.

– Это как вам, сударыня, будет угодно.

Конон был холост, но вопрос о том, как он относился к женскому полу, составлял его личную тайну, которою никто не интересовался, как и вообще всем, что касалось его внутренних побуждений. Хранил ли он что-нибудь в глубинах своего существа или там было пустое место – кому какое до этого дело? Известны были, впрочем, два факта: во-первых, что в летописях малиновецкой усадьбы, достаточно-таки обильных сказаниями о последствиях тайных девичьих вожделений, никогда не упоминалось имя Конона в качестве соучастника, и во-вторых, что за всем тем, он, как я сказал выше, любил в праздничные дни, одевшись в суконную пару, заглянуть в девичью, и, стало быть, стремление к прекрасной половине человеческого рода не совсем ему было чуждо.

Во всяком случае, ежели смолоду, и когда притом браки между дворовыми разрешались довольно свободно, он ни разу не выказал желания жениться, то тем менее можно было предположить в нем подобное намерение в таком возрасте, когда он уже считал, по малой мере, пятьдесят лет. Но чего никто не ждал, то именно и случилось.

Однажды утром, одевшись в праздничную пару (хотя были будни), он без доклада явился в матушкину комнату и встал перед ее письменным столом, заложив руки за спину.

– Опомнись! куда пришел? зачем? – удивилась матушка.

– Имею желание в закон вступить, – молвил он, не теряя слов для предварительных объяснений.

– В какой закон? что ты, мелево, мелешь?

– Известно, в закон… как прочие, так и я… жениться позвольте.

– То-то я смотрю, ты в суконную пару вырядился… Что вдруг приспичило?

– Желание имею-с.

– А ты бы на себя в зеркало посмотрел… жених! Кого же ты осчастливить собой задумал?

– Матрена, стало быть, пойдет.

– «Стало быть»… Ишь ведь, олух, словно во сне бредит! Спрашивал ты ее, что ли?

– Никак нет-с. Все равно из господской воли не выйдет.

– Держи карман! Так я за тебя девку силком замуж и выдала!

– Все равно-с. Матрена не пойдет, – Катюшка пойдет!

Матушка даже вскочила: до такой степени ее в одну минуту вывело из себя неизреченное остолопство, с которым Конон, без всякого признака мысли, переходил от одного предположения к другому.

– Уйди! – крикнула она на него. – Эй, девки! кто там? кто его ко мне смел пустить?

Конон молча ретировался. Ни малейшего чувства не отразилось на застывшем лице его, точно он совершил такой же обряд, как чищение ножей, метение комнат и проч. Сделал свое дело – и с плеч долой.

Тем не менее матушка задумалась. Хотя очень часто Конон сердил ее своею бестолковостью, но в то же время он был безответен и никогда ни о чем не просил.

Как-то совестно было отказать в первой просьбе человеку, который с утра до вечера маялся на барской службе, ни одним словом не заявляя, что служба эта ему надоела или трудна. Поэтому она не только не подняла Конона на зубок, как это обыкновенно в подобных случаях делала, но никому не сообщила о случившемся и вообще решила держать себя сдержанно. И я уверен, что если бы Конон возобновил свою просьбу, то несомненно разрешение было бы ему дано.

Но прошла неделя, прошла другая – Конон молчал. Очевидно, намерение жениться

явилось в нем плодом той же путаницы, которая постоянно бродила в его голове. В короткое время эта путаница настолько уже улеглась, что он и сам не помнил, точно ли он собирался жениться или видел это только во сне.

По-прежнему продолжал он двигаться из лакейской в буфет и обратно, не выказывая при этом даже тени неудовольствия. Это нелепое спокойствие до того заинтересовало матушку, что она решилась возобновить прерванную беседу.

– Видно, ты, Конон, уж отдумал жениться? – спросила она его однажды.

– Это как вам угодно.

– Подумай! Тебе уж все пятьдесят стукнуло – не поздно ли о жене думать?

– Известно…

– Задумал жениться, а спросить тебя, пойдет ли за тебя кто из девушек, – ты и сам не ответишь.

– Отчего не пойти – пойдут.

– Кто пойдет? – говори!

– Из господской воли ни одна не выйдет. Которую сами изволите назначить, та и пойдет.

– А ежели я никого не назначу?

– Это как вам угодно.

– Так вот что. Через три месяца мы в Москву на всю зиму поедем, я и тебя с собой взять собралась. Если ты женишься, придется тебя здесь оставить, а самой в Москве без тебя как без рук маяться. Посуди, по-божески ли так будет?

Бледная улыбка скользнула на мгновение на губах Конона, слова матушки «без тебя как без рук», по-видимому, польстили ему. Но через секунду лицо его опять затянулось словно паутиною, и с языка слетел обычный загадочный ответ:

– Известно…

– Ну, ступай! Брось эту блажь, не думай об ней.

На этом и кончились матримониальные поползновения Конона. Но семья наша не успела еще собраться в Москву, как в девичьей случилось происшествие, которое всех заставило смотреть на «олуха» совсем другими глазами. Катюшка оказалась с прибылью, и когда об этом произведено было исследование, то выяснилось, что соучастником в Катюшкином прегрешении был… Конон!

Матушка так и ахнула.

Конон служил в нашем доме с двадцатилетнего возраста (матушка уже застала его лакеем), изо дня в день делая одно и то же лакейское дело и не изменяясь ни внутренно, ни наружно. Даже черные волосы его не седели и густою прядью, словно парик, прилипли к голове, с висками, зачесанными к углам глаз. Эта неизменяемость в значительной степени упрощала отношение к нему. Проходили годы, десятки лет, а Конон был все тот же Конон, которого не совестно было назвать Конькой или Коняшкой, как и в старину, когда ему было двадцать лет, Никому не приходило на мысль, что он стареется, подобно прочим, и что лакейская сутолока, быть может, ему уж не под силу…

Между тем вокруг все старелось и ветшало. Толпа старых слуг редела; одних снесли на погост, другие, лежа на печи, ждали очереди. Умер староста Федот, умер кучер Алемпий, отпросилась умирать в Заболотье ключница Акулина; девчонки, еще так недавно мелькавшие на побегушках, сделались перезрелыми девами…

Наконец скончался и старик отец, достигнув глубокой старости, а вскоре после его смерти в народе пронеслись слухи о предстоящей воле.

Матушка затосковала. Ей тоже шло под шестьдесят, и она чувствовала, что бразды правления готовы выскользнуть из ее слабеющих рук. По временам она догадывалась, что ее обманывают, и сознавала себя бессильною против ухищрений неверных рабов. Но, разумеется, всего более ее смутила молва, что крепостное право уже взяло все, что могло взять, и близится к неминуемому расчету…

– Так, чай, языки по-пустому чешут! И прежде брехали, и теперь то же самое брешут! –

утешала она себя, но в то же время тайный голос подсказывал ей, что на этот раз брехотня похожа на правду.

Не будучи в состоянии угомонить этот тайный голос, она бесцельно бродила по опустелым комнатам, вглядывалась в церковь, под сенью которой раскинулось сельское кладбище, и припоминала. Старик муж в могиле, дети разбрелись во все стороны, старые слуги вымерли, к новым она примениться не может… не пора ли и ей очистить место для других?..

И вдруг навстречу идет Конон и докладывает, что подано кушать. Он так же бодр, как был в незапамятные времена, и с такою же регулярностью продолжает делать свое лакейское дело.

– И ему, поди, семьдесят лет есть, – мелькает у матушки в голове, – а вон он еще какой!

Однако ж очередь и его не минула. Смерть, впрочем, застигла его совершенно случайно. Шел он однажды по лестнице, поскользнулся и переломил ногу. Костоправ попался плохой, срастил ногу небрежно; обнаружилась костоеда, и Конон слег.

Вероятно, боль была очень мучительна, потому что только тут догадались, что и Конон может чувствовать и страдать.

Однажды матушке доложили, что Конон отходит. Она поспешила в каморку, где он лежал, распростертый на войлоке, служившем вместо постели, и наклонилась над ним.

– Что, Конон? тяжко? – спросила она.

– Известно… смерть.

XXII. Бессчастная Матренка

Я не раз упоминал, что когда отец был холост, и даже лет пятнадцать спустя после его женитьбы, покуда матушка была молода, браки между дворовыми совершались беспрепятственно. Еще в моей памяти живы (хотя я был тогда очень мал) девичники, которые весело справлялись в доме накануне свадьбы. Вечером, часов с шести, в зале накрывали большой стол и уставляли его дешевыми сластями и графинами с медовой сытою. В голове стола сажали жениха с невестой, кругом усаживались сенные девушки; но участвовала ли в этом празднике мужская прислуга – не помню. Девушки пели песни и величали нареченных; господа от времени до времени заглядывали в зал и прохаживались кругом стола. Часам к десяти все расходились.

Но чем глубже погружалась матушка в хозяйственные интересы, тем сложнее и придирчивее становились ее требования к труду дворовых. Дворня, в ее понятиях, представлялась чем-то вроде опричины, которая должна быть чужда какому бы то ни было интересу, кроме господского, и браки при таком взгляде являлись невыгодными. Семейный слуга – не слуга, вот афоризм, который она себе выработала и которому решилась следовать неуклонно. Отец называл эту систему системой прекращения рода человеческого и на первых порах противился ей, но матушка, однажды приняв решение, проводила его до конца, и возражения старика мужа на этот раз, как и всегда, остались без последствий.

С тех пор малиновецкая девичья сделалась ареною тайных вожделений и сомнительного свойства историй, совершенно непригодных в доме, в котором было много детей.

С Матренкой, когда она в первый раз оказалась «с прибылью», поступили, сравнительно, довольно милостиво.

– Солдатик беглый в лесу… в ту пору ходили по ягоды… – бессвязно лепетала она, стараясь оправдать свой поступок.

– Не ветром ли надуло? – резко оборвала ее матушка.

Тем не менее, на первый раз она решилась быть снисходительною.

Матренку сослали на скотную и, когда она оправилась, возвратили в девичью.

А приблудного сына окрестили, назвали Макаром (всех приблудных называли этим именем) и отдали в деревню к бездетному мужику «в дети».

– Жаль тебе, Матренка, ребеночка? – спрашивали мы ее.

– Чего жалеть! Там ему, у мужичка, хорошо, – отвечала она тоном, из которого явствовало, что речь идет о глухом факте, которому предстояло только безусловно покориться.

– А будешь ты к нему ходить?

– Разве маменька ваша позволит!

– Да ты украдкой. Вот маменька в Заболотье уедет, ты и сходи…

– Нет уж… что!

Но когда она во второй раз оказалась виноватою, то было решено не допускать никаких послаблений. Она, впрочем, и сама это предчувствовала: до последней крайности скрывала свой грех, словно надеялась, что совершится какое-нибудь чудо. Но в то же время она понимала, что чуда никакого не будет, и бродила задумчивая, сосредоточенная. Примеры были у нее в памяти, примеры настолько жестокие и неумолимые, что при одной мысли о них становилось жутко. В виду этих примеров, она, быть может, нечто обдумывала.

Но за ней уже пристально следили, опасаясь, чтобы она чего-нибудь над собой не сделала, и в то же время не допуская мысли, чтоб виноватая могла ускользнуть от заслуженного наказания. С этой целью матушка заранее написала старосте в отцовскую украинскую деревнюшку, чтоб выслал самого что ни на есть плохого мальчишку-гаденка, лишь бы законные лета имел. Она не забыла, что однажды уж помирволила Матренке, и решилась поступить с неблагодарною со всею неумолимостью.

Матренке осьмнадцать лет. Взяли ее в господский дом еще крохотною, когда она, – лишившись отца и матери, коренных малиновецких дворовых, очутилась круглою сиротой. Тут она, в девичьей, на пустых щах да на толокне и выросла. Это добрая, покорная и ласковая девушка, которую не только товарки, но и господские дети любили. Красивою ее нельзя назвать, но при невысоком уровне красоты среди малиновецкой женской прислуги она может нравиться. Характер у нее веселый, отзывчивый, что очень резко выделяется на общем фоне уныния, господствующем в девичьей. Но уже когда она в первый раз сделалась матерью, веселость с нее как рукой сняло, а теперь, когда ее во второй раз грех попутал, она с первой же минуты, как убедилась, что беды не миновать, совсем упала духом.

И точно, беда надвигалась. Несомненные признаки убедили Матренку, что вина ее всем известна. Товарки взглядывали исподлобья, когда она проходила; ключница Акулина сомнительно покачивала головой; барыня, завидевши ее, никогда не пропускала случая, чтобы не назвать ее «беглой солдаткой». Но никто еще прямо ничего не говорил. Только барчук Степан Васильич однажды остановил ее и с свойственным ему бессердечием крикнул:

– Что, Матренка, опять ветром надуло?

Так-таки в упор и сказал, не посовестился… А она между тем ничего Степану Васильичу дурного не сделала. Напротив, даже жалела его, потому что никто в доме, ни матушка, ни гувернантки, его не жалели и все называли балбесом.

Новый грех напомнил Матренке и о старом грехе. Проснулось чувство матери. Сын у нее был хоть и не «настоящий», а все-таки сын… Где-то он теперь, Макарка бессчастный? лежит, чай, мокрый, в зыбке, да сосет соску из ржаного хлеба… Правда, что Ненила, которой его «в дети» отдали, доброй бабой слыла, да ведь и у добрых людей по чужом ребенке сердце разве болит?

Добра-добра, а все-таки не родная мать. Узнает ли когда-нибудь Макарка, что у него своя, кровная мать была? Или, быть может, она так и умрет, не сказавшись сынку!

Что побудило ее пойти на грех? склонность ли сердечная, или просто молодая кровь

заговорила? Думается, что последнее предположение вернее. В той среде, в которой она жила, в той каторге, которая не давала ни минуты свободной, не существовало даже условий, при которых могла бы развиться настоящая сердечная склонность. Дворня представляла собой сборище подъяремных зверей, которые и вожделели, как звери. Вожделели урывками, озираясь по сторонам, не дозволяя себе лишней ласки и разбегаясь, как только животный инстинкт был удовлетворен. Встретился Ермолай-шорник – инстинкт устремился к нему: но если б, вместо Ермолая, явился ткач Дмитрий – инстинкт не отвернулся бы и от него. Одна разница со зверьми: последние вожделеют безнаказанно, а она, «девка» Матренка, должна за свои вожделения ждать кары.

То ли дело господа! Живут, как вздумается, ни на что им запрета нет. И таиться им не в чем, потому что они в свою пользу закон отмежевали. А рабам нет закона; в беззаконии они родились, в беззаконии и умереть должны, и если по временам пытаются окольным путем войти в заповедную область, осеняемую законом, то господа не находят достаточной казни, которая могла бы искупить дерзновенное посягательство.

Увы! нет для раба иного закона, кроме беззакония. С печатью беззакония он явился на свет; с нею промаячил постылую жизнь и с нею же обязывается сойти в могилу. Только за пределами последней, как уверяет Аннушка, воссияет для него присносущий свет Христов… Ах, Аннушка, Аннушка!

* * *

Наконец все выяснилось. Матренка созналась, что находится в четвертом месяце беременности, но при этом до такой степени была уверена в неизбежности предстоящей казни, что даже слова о пощаде не вымолвила.

– Ну, теперь жди жениха и собирайся в дальний путь! – сказала ей матушка.

Матренку одели в затрапезное платье, вывороченное наизнанку, и сняли с нее передник, чтобы беременность для всех была очевидна (в числе этих «всех» были и господские дети). Вероятно, этим хотели действовать на девичий стыд, забывая, что имели дело с существами, которые от рождения были фаталистически отмечены печатью звериного образа. Сверх того, виноватой запретили показываться на глаза старому барину, от которого вообще скрывали подобного рода происшествия, из опасения, чтобы он не «взбунтовался» и не помешал Немезиде выполнить свое дело.

Чувствовала ли Матренка стыд? На этот вопрос можно скорее ответить отрицательно. Но несомненно, что перспектива, которая, как можно было догадаться из слов матушки, ждала впереди, заставила ее сильно задуматься.

Какого жениха ей готовят? Куда, в какой дальний путь снаряжаться велят?

Ежели, например, в вологодскую деревню, то, сказывают, там мужики исправные, и девушка Наташа, которую туда, тоже за такие дела, замуж выдали, писала, что живет с мужем хорошо, ест досыта и завсе зимой в лисьей шубе ходит. Но матушка в подобных случаях хранила свои распоряжения в такой тайне, что проникнуть в ее намерения было невозможно. Известно было одно: что она не только строга, но и изобретательна.

Жених между тем не являлся, а матушку вызвали в губернский город, где в сотый раз слушалось одно из многих тяжебных дел, которые она вела.

Матренка временно повеселела, дворовые уже не ограничивались шепотом, а открыто выказывали сожаление, и это ободрило ее.

Но вот одним утром пришел в девичью Федот и сообщил Акулине, чтоб Матрена

готовилась: из Украины приехал жених. Распорядиться, за отсутствием матушки, было некому, но общее любопытство было так возбуждено, что Федота упросили показать жениха, когда барин после обеда ляжет отдыхать. Даже мы, дети, высыпали в девичью посмотреть на жениха, узнавши, что его привели.

Жених был так мал ростом, до того глядел мальчишкой, что никак нельзя было дать ему больше пятнадцати лет. На нем был новенький с иголочки азям серого крестьянского сукна, на ногах – новые лапти. Атмосфера господских хором до того отуманила его, что он, как окаменелый, стоял разинув рот у входной двери. Даже Акулина, как ни свыклась с сюрпризами, которые всегда были наготове у матушки, ахнула, взглянув на него.

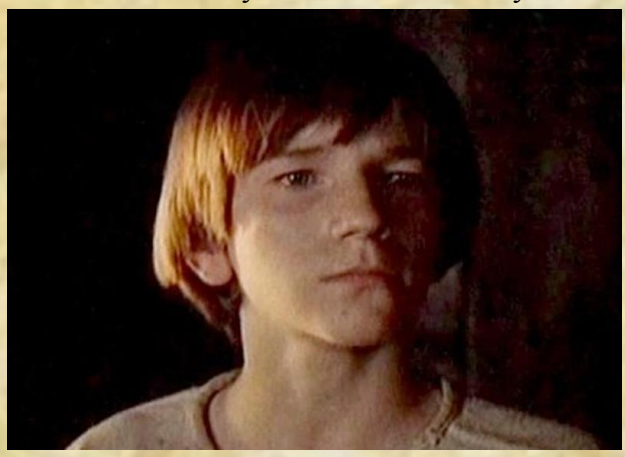
– Тебе который же год? – спросила она его, внезапно проникаясь глубоким состраданием к Матренке.

– Об Рождестве осьмнадцать минуло, – ответил он робко.

– Ну, признаться…

Матрена совсем взволновалась.

– Ни за что в свете я за тебя, гаденка, не пойду! – кричала она, подступая к жениху с кулаками, – так и в церкви попу объявлю: не согласна! А ежели силком выдадут, так я – и до места доехать не успеем – тебя изведу!



Жениха слегка передернуло; он исподлобья взглядывал на Матренкин живот и молчал.

– Слышишь! – продолжала волноваться невеста, – так ты и знай! Лучше добром уезжай отсюда, а уж я что сказала, то сделаю, не пойду я за тебя! не пойду!

– Да и мне неохота, – пробормотал мальчишка мрачно.

– Зачем же ты ехал, постылый?

– Староста велел… оттого…

– Ступай с моих глаз! ступай!

Мальчишка повернулся и вышел. Матренка заплакала. Всего можно было ожидать, но не такого надругательства. Ей не приходило в голову, что это надругательство гораздо мучительнее настигает ничем не повинного мальчишку, нежели ее. Целый день она ругалась и проклинала, беспрерывно ударяя себя животом об стол, с намерением произвести выкидыш. Товарки старались утешить ее.

– Небось, еще выровняется! – говорила Акулина, – годка два пройдет, гренадер будет! Ему еще долго расти!..

– Ихняя сторона – хлебная! – уверяли девушки, – скирдов, скирдов, сказывают, наставлено столько, словно город у околицы выстроен!

– Гусей мужички держат, уток, свиней, перепелок ловят. Убоину круглый год во щах едят.

– Гаденок! гаденок! гаденок! – вопила в ответ Матренка, заливаясь слезами.

На другой день, однако, она как будто притихла. Убеждения и утешения возобновились и начали оказывать действие.

– Слушай-ка ты меня! – уговаривала ее Акулина. – Все равно тебе не миновать замуж за него выходить, так вот что ты сделай: сходи ужо к нему, да и поговори с ним ладком. Каковы у него старики, хорошо ли живут, простят ли тебя, нет ли в доме снох, зятевей. Да и к нему самому подластись. Он только ростом невелик, а мальчишечка – ничего.

– В по-не-ве буду ходить… – всхлипывала в ответ Матренка.

– Что ж, что в поневе! И все бабы так ходят. Будешь баба, по-бабьему и одеваться будешь. Станешь бабью работу работать, по домашеству старикам помогать – вот и обойдется у вас. Неужто ж лучше с утра до вечера, не разгибаючи спины, за пяльцами

сидеть?

– Известно, хуже! – подтверждала вся девичья.

– Эй, послушайся, Матренка! Он ведь тоже человек подневольный; ему и во сне не снилось, что ты забеременела, а он, ни дай, ни вынеси за что, должен чужой грех на себя взять. Может, он и сейчас сидит в застольной да плачет!

– Они меня смертным боем будут бить…

– Ничего, не убьют. Известно, старики поучат сначала, а потом увидят, что ты им не супротивница, – и оставят. Сходи-ка, сходи!

Матренка послушалась. После обеда пошла в застольную, в которой, на ее счастье, никого не было, кроме кухарки. Жених лежал, растянувшись на лавке, и спал.

– Егорушко! – окликнула она его, стараясь отыскать в своем голосе ласковые тоны.

Егорушка встал и недоумевающими глазами уперся в ее живот, точно ничто другое в ней не интересовало его.

– Господи! да никак он все тот же, что и вчера! – мелькнуло в ее голове, но она перемогла себя и продолжала: – Я с тобой, Егорушко, говорить пришла…

– Пришла? – машинально повторил он за нею.

– Пришла прощенья у тебя выпросить. Хоть и не своей волей я за тебя замуж иду, а все-таки кабы не грех мой, ты бы по своей воле невесту за себя взял, на людей смотреть не стыдился бы.

– Неохота мне тебя брать, нечестная ты. Буду у господ милости просить.

– Все одно: барыня что сказала, то беспременно сделает. Лучше уж прости ты меня.

– Не в чем мне тебя прощать; нечестная ты – вот и все. Пропасти на вас, девок, нет: бегаете высуня язык да любовников ищете… Как я тебя с таким горбом старикам своим привезу!

– А люты у тебя старики?

Матренка с тоскою глядела на жениха, ища уловить в его глазах хоть искру сочувствия. Но Егорушка даже не ответил на ее вопрос и угрюмо промолвил:

– Была уж у нас такая – Варварой звали… тоже с кузовом привезли… Не долго выжила.

– Извели?

– Сама догадалась, извелась.

– Стало быть, ты меня не простишь?

– Сказал: не в чем мне тебя прощать. Горький я!..

Егорушка положил голову на стол и заплакал…

– Любить тебя буду, – шептала Матренка, присаживаясь к нему, – беречь буду. Ветру на тебя венуть не дам, всякую твою вину на себя приму; что ни прикажешь, все исполню!

Слезы жениха окончательно разбудили ее. Она поняла, что ради нее этот человек, еще почти ребенок, погибнуть должен, и эта горькая мысль, словно электрический ток, болезненно пронизывала все ее существо.

– Тяжко мне, мочи нет, тяжко! – продолжала она, – как я к твоим старикам такая явлюсь!

Она все ближе теснилась к жениху, пытаясь обнять его, но он, не переменяя положения, грубо оттолкнул ее локтем.

– Не висни! не трогай! – сказал он брезгливо.

– Пореши ты меня! убей! лучше теперь убей, нежели там меня каждый день изводить будут!

Он поднял голову и взглянул на нее. Ей показалось, что он вдруг на несколько лет постарел: до такой степени молодое лицо его исказилось ненавистью и злобой.

– Так неужто ж тебя жалеть… паскуду! – прошипел он и с этими словами встал и вышел из горницы.

Попытка примирения упала сама собой; не о чем было дальше речь вести.

Вывод представлялся во всей жестокой своей наготе: ни той, ни другой стороне не предстояло иного выхода, кроме того, который отравлял оба существования. Над обоими

тяготела загадка, которая для Матренки называлась «виною», а для Егорушки являлась одною из тех неистовых случайностей, которыми до краев переполнено было крепостное право.

Матренка уже не делала дальнейших попыток к сближению с женихом. Она воротилась в дом, когда уже засветили огонь, и молча вместе с другими села за пряжу. По лицу ее товарки сразу увидали, что она «прощенья» не принесла.

– Не смыслит еще он, стариков боится. Ты бы опять… – начала было Акулина, но поняла, что ждать больше нечего, и прибавила: – Вот ведь какой узел вышел, и не сообразишь, как его развязать!

Раздумывая об участи, ожидавшей Матренку, в девичьей шепотом поминали имя Ермолая-шорника, который жил себе припеваючи, точно и не его грех. Это имя, конечно, могло бы разрешить все, но установленные властной рукой порядки не допускали и мысли об естественной развязке. Порядки эти были на руку мужской прислуге и обрушивались всею тяжестью исключительно на девичьей. Несчастное существо, называвшееся «девкой», не только в безмолвии принимало брань и побои, не только изнывало с утра до ночи над непосильной работой, но и единолично выносило на себе все последствия пробудившегося инстинкта.

Матренка, по-видимому, совсем позабыла об Ермолае. Как я уже сказал выше, она пала, как самка зверя, бессознательно, в чаду, которым до боли переполнила ее внезапно взбунтовавшаяся плоть. Встречаясь с ним теперь, когда суровое будущее уже вполне обрисовалось перед нею, она не отворачивалась от него, а вела себя так, как бы он вовсе для нее не существовал. Ей даже не было досадно, когда он, проходя мимо, смеючись, на нее посматривал и нагло посвистывал, словно подманивая на новый грех. Но когда до нее дошло, что Ермолай называет Егорку крестным сынком и вообще вышучивает его, это до такой степени взволновало ее, что однажды она, как разъяренная, бросилась на своего случайного любовника. Но он шутя отвел ее бессильные руки, и ничего из этого порыва не вышло.

Ермолай был такой же бессознательно развращенный человек, как и большинство дворовых мужчин; стало быть, другого и ждать от него было нельзя. В Малиновце он появлялся редко, когда его работа требовалась по дому, а большую часть года ходил по оброку в Москве. Скука деревенской жизни была до того невыносима для московского лодыря, что потребность развлечения возникала сама собой. И он отыскивал эти развлечения, где мог, не справляясь, какие последствия может привести за собой удовлетворение его прихоти.

Всё было проклято в этой среде; все ходило ощупью в мраке безнадежности и отчаянья, который окутывал ее. Одни были развращены до мозга костей, другие придавлены до потери человеческого образа. Только бессознательность и помогала жить в таком чаду.

Время шло. Над Егоркой открыто измывались в застольной и беспрестанно подстрекали Ермолая на новые выходки, так что Федот наконец догадался и отдал жениха на село к мужичку в работники. Матренка, с своей стороны, чувствовала, как с каждым днем в ее сердце все глубже и глубже впивается тоска, и с нетерпением выслушивала сожаления товарок. Не сожаления ей были нужны, а развязка. Не та развязка, которой все ждали, а совсем другая. Одно желание всецело овладело ею: погибнуть, пропасть!

И развязка не заставила себя ждать. В темную ночь, когда на дворе бушевала вьюга, а в девичьей все улеглось по местам, Матренка в одной рубашке, босиком, вышла на крыльцо и

села. Снег хлестал ей в лицо, стужа пронизывала все тело. Но она не шевелилась и бесстрашно глядела в глаза развязке, которую сама придумала. Смерть приходила не вдруг, и процесс ее не был мучителен. Скорее это был сон, который до тех пор убаюкивал виноватую, пока сердце ее не застыло.

Утром на крыльце нашли окоченевший Матренкин труп.

Похоронили виноватую на сельском кладбище, по христианскому обряду, не доводя до полиции и приписав ее смерть простому случаю. Егорку, которого миссия кончилась, в тот же день отправили в украинскую деревню.

Матушка воротилась домой, когда все было кончено.

XXIII. Сатир-скиталец

– Сатирка-то воротился.

Этим известием докончил однажды староста Федот своей вечерний доклад матушке.

– Врешь!

– В сенях дожидается.

– Зови.

В девичью вошел высокий и худой мужчина лет тридцати, до такой степени бледный, что, казалось, ему целый месяц каждый день сряду кровь пускали.

Одет он был в черный демикотоновый балахон, спускавшийся ниже колен и напоминавший покроем поповский подрясник; на ногах были туфли на босу ногу.

– Где побывал? – спросила его матушка.

– И сам не знаю. Где ночь, где день – не спрашивал.

– Бродяга ты; святым прикидываешься. На колокол-то насбирал ли?

– Принес-с. Три беленьких да мелочи рублей с десять.

Сатир вынул из-за пазухи кошель и высыпал на стол деньги.

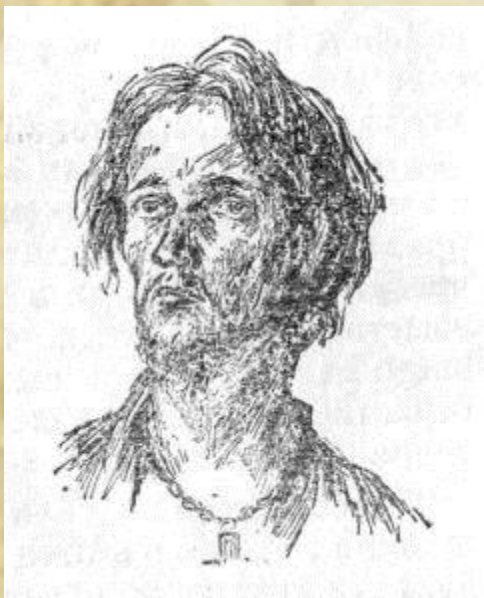
– Маловато. Не по-прежнему.

– Строго нынче, сударыня. Надо дозволенья просить, а приди-ка без паспорта, ан вместо дозволенья, пожалуй, в кутузку посадят. Да, признаться сказать, и обокрали в дороге. Около сотни с лишком, пожалуй, пропало.

– А ты бы больше зевал!

– Ежели в другой раз… – начал было Сатир, но матушка на первом же слове гневно его прервала:

– Не успел воротиться, а уж опять лыжи навострить сбираешься? И не думай! привяжу тебя на веревку… сиди!



– Не беспокойтесь, сударыня, это я только к слову. Нынче я и сам не уйду… Надо подумать, куда себя настоящим манером определить…

– Ладно, думай, а я за тебя передумаю… Ишь думальщик выискался…

«Подумать надо»! Ты прежде узнай, что господа об тебе думают, а потом уж и сам думай. Ступай к барину, снеси деньги. Пускай старосте церковному отдаст.

Сатир уже три раза был в бегах. Походит года два-три, насбирает денег на церковное строенье и воротится. Он и балахон себе сшил такой, чтоб на сборщика походить, и книжку с воззванием к христолюбивым жертвователям завел, а пелену на книжку тетеньки-сестрицы ему сшили. А так как в нашей церкви колокол был мал и плох, то доставляемый им сбор присовокуплялся к общей сумме пожертвований на

покупку нового колокола.

С молодых лет Сатир резко выделялся из общей массы дворовых. В детстве он урывками научился церковную печать разбирать и пристрастился к чтению божественных книг. Кроме этого, он ни к какому другому занятию призвания не чувствовал. Свезли его лет десяти в Москву и отдали в учение к переплетчику; но хозяин без всякого прока возился с ним шесть лет и был рад-радешенек, когда срок контракту кончился. Не сиделось ему за верстаком, все по церквам ходил. Уйдет с утра и пропадает до ночи. На оброк идти он наотрез отказался, а когда возвратился в Малиновец, то и там оказался лишним. Мысли его, казалось, витали везде, но только не около работы, которую ему поручали. Глубокая задумчивость охватывала все его существо, сердце рвалось и тосковало, хотя он и сам не мог определенно объяснить, куда и об чем. А кроме того, и хворь в нем какая-то загадочная таилась, так что он нет-нет да и сляжет. Как ни строга была матушка, но и она, видя, как Сатир, убирая комнаты, вдруг бросит на пол щетку и начнет богу молиться, должна была сознаться, что из этого человека никогда путного лакея не выйдет. Так его и бросили; от работы не увольняли, но и не принуждали.

И в образе жизни он мало походил на своих собратий. Не ел ни мясного, ни даже овощей, потому что последние употреблялись в застольной исключительно в соленом и квашеном виде. Выпросит кринку снятого, совсем синего молока, покрошит хлеба – и сыт; а не дадут молока, и с водой тюри поест. В одежде соблюдал опрятность, ходил медленно, чуть слышно ступая по полу в туфлях, говорил тихо, тоненьким тенором, и праздных слов никогда не употреблял. Набожен был чрезвычайно, и когда в доме случались всенощные, то заметно одушевлялся. Не отрывал глаз от образов, вздыхал и вообще выказывал признаки идеальной страстности, совершенно несвойственной той среде, которая его произвела.

В дворне его считали блаженным. Почти такого же взгляда держались отец и тетеньки-сестрицы. Матушка, хотя внутренно негодовала, что он только лбом об пол стучит, однако терпела.

– Долго ли с тобой маяться? День-деньской ты без дела шатаешься! – говаривала она ему.

– Имею желание богу послужить.

– А ты господам хорошо служи – вот и богу этим послужишь. Бог-то, ты думаешь, примет твою послугу, коли ты о господах не радеешь?

В то время ходили слухи о секте «бегунов», которая переходила из деревни в деревню, взыскуя вышнего града и скрываясь от преследования властей в овинах и подпольях крестьянских домов. Помещики называли эту секту «пакостною», потому что одним из ее догматов было непризнание господской власти. Подозревали, что Сатир находится в общении с «бегунами», а матушка даже положительно утверждала, что он «пакостник». Но это было несправедливо, потому что он не только не скрывался, а, напротив, открыто появлялся среди белого дня в самых людных местах и, держа в руках книжку, выпрашивал подаяние. Случалось, что его лавливали и сажали в кутузку, но дело оканчивалось тем, что местная власть отнимала у него сбор и отпускала.

Бегать он начал с двадцати лет. Первый побег произвел общее изумление.

Его уж оставили в покое: живи как хочешь, – казалось, чего еще нужно! И вот, однако ж, он этим не удовольствовался, скрылся совсем. Впрочем, он сам объяснил загадку, прислав с дороги к отцу письмо, в котором уведомлял, что бежал с тем, чтобы послужить церкви Милостивого Спаса, что в Малиновце.

– Скатертью дорога! – сказала

матушка, – по крайности на глазах не будет, да и с господского хлеба долой!

– А может, и пользу для нашей церкви принесет, – отозвался отец.

– Дожидайся!

Пробывши в безвестной отлучке три года, он воротился домой.

Предсказание отца сбылось: беглец принес в пользу церкви около трехсот рублей. Это всех обрадовало и даже отчасти примирило с ним матушку. Все равно не минешь новый колокол покупать, и если недостанет церковных денег, придется своих собственных добавлять, так вот Сатиров-то сбор и пригодится…

– Да ты бы пачпорт взял, да с ним бы свободно и ходил! – убеждала его барыня.

– Не возьму, сударыня, пачпорта. Не слуга я богу, коли у меня пачпорт в руках! – упорствовал Сатир.

Целую зиму после этого он выжил в Малиновце. Его не тревожили и даже отвели в нижнем этаже господского дома особую каморку, где он и сидел, словно осужденный на одиночное заключение. Там он, покуда было светло, занимался переписыванием «цветничков» (молитвенных сборников), располагая, по-видимому, продавать их в пользу церкви, а вечером, сидя без огня, пел духовные песни, отголоски которых нередко проникали и в господские комнаты.

Отец не без удовольствия прислушивался к этому пению, но матушка при первых же звуках нетерпеливо восклицала: «Ну, завыл… песельник!» К пасхе он выпросил у тетеньки несколько крашеных яиц, вырезал по скорлупе перочинным ножом «Христос Воскресе» и роздал домочадцам.

С наступлением весны он опять исчез. На этот раз хотя уж не удивлялись, но без тревоги не обошлось. Родилось опасение, как бы его в качестве беспаспортного в Сибирь не угнали; чего доброго, таким родом он и совсем для «господ» пропадет.

– Тебе-то что! все равно, без пользы здесь жил! – убеждал матушку отец.

– С пользой или без пользы, а все-таки… – упорствовала матушка, не высказывая своей мысли вполне.

Возвратившись из второго побега, Сатир опять внес в церковь хороший вклад, но прожил дома еще менее прежнего и снова исчез. После этого об нем подали в земский суд явку и затем перестали думать.

Теперь он явился из третьего побега. Через час после объяснения с матушкой, на вопрос ее, куда девался Сатир, доложили, что он в свою каморку ушел.

– Ишь ведь, святоша, так прямо и прет! «Своя комната», вишь, у него есть! точно ему заранее в господском доме квартира припасена! Не давать ему дров, пускай в холодной комнате живет!

Но это были только праздные слова. На дворе стоял сентябрь в конце, и сострадательные души, не спрашиваясь барыни, натаскали в Сатирову каморку щепы и истопили печку.

– Небойсь, опять, Сатир, весной убежишь? – любопытствовали дворовые.

– Нет уж, будет. Надо себя настоящим манером определить, – повторил он тот же загадочный ответ, который только что перед тем дал барыне.

Этот ответ заставил матушку задуматься. Куда еще бродяга загадывает определить себя? Может быть, к делу какому-нибудь… хорошо, кабы так!..

Как же! держи карман! Привык человек шалберничать, так до конца жизни, хоть ты его расказни, – он пальцем о палец не ударит! Нет, верно, у него на уме что-нибудь другое… ужасное! Вон, сказывают, одному такому же втемяшилось в голову, что ежели раб своего господина убьет, так все грехи с него снимутся… и убил! Кто его душу знает, может быть, и Сатир… Беда с этими богомолами! бродят по белу свету, всякого вздору наслушаются – смотришь, ан из него злодей вышел! Он-то себя на каторгу «настоящим манером определит», а господа, между прочим…

Матушка волновалась, а Сатир жил себе втихомолку в каморке, занимаясь своим обычным делом. Чтобы пребывание его в Малиновце было не совсем без пользы для дома,

матушка посылала ему бумагу и приказывала ему тетрадки для детей сшивать и разлиновывать. Но труд был так ничтожен, что не только не удовлетворял барыню, но еще более волновал ее.

– Ничего-то ты не делаешь, как только одурь тебя не возьмет! – упрекала она бродягу, призывая его от времени до времени к себе.

– Неможется мне. Тяжелой работы не в силах работать, – неизменно давал он один и тот же ответ.

– Ты бы хоть в комнатах послужил, Конону бы помог! Кажется, не тяжелая это работа!

– Где уж, сударыня, мне; я и ступить-то в барских хоромах не умею. Вот кабы богу послужить!

Проходили дни и недели в бесплодных переговорах, а Сатир продолжал стоять на своем. Между тем сосчитали церковные деньги; оказалось, что на колокол собрано больше тысячи рублей, из которых добрых две трети внесены были усердием Сатира. Еще рублей двести, и можно было бы купить колокол пудов в тридцать, что для Малиновца считалось очень приличным. Матушке пришло на мысль выполнить это дело немедленно. С этой целью она написала в Москву Стрелкову, чтоб теперь же приобрел колокол, а деньги, ежели недостача будет, попросил бы заводчика отсрочить. Затем призвала Сатира и сказала ему:

– Хвалился ты, что богу послужить желаешь, так вот я тебе службу нашла… Ступай в Москву. Я уж написала Силантью (Стрелкову), чтоб купил колокол, а по первопутке подводу за ним пошлю. А так как, по расчету, рублей двухсот у нас недостает, так ты покуда походи по Москве да посбирай. Между своими мужичками походишь, да Силантий на купцов знакомых укажет, которые к божьей церкви радельны. Шутя недохватку покроешь.

Так все и сделалось. Дня за три до зимнего Николы привезли из Москвы колокол, а с ним вместе явился и Сатир. Он не только с успехом выполнил возложенное на него поручение, но, за уплатой заводчику, на руках у него оказалась даже остача.

Но он пришел уже совсем больной и с большим трудом присутствовал при церемонии поднятия колокола. Вероятно, к прежней хворости прибавилась еще простуда, так как его и теплой одеждой на дорогу не снабдили. Когда торжество кончилось и колокол загудел, он воротился в каморку и окончательно слег.

И дни, и ночи отдавался в нашей образной (как раз над каморкой Сатира) глухой кашель больного, до такой степени тяжкий, словно он от внутренностей освободиться силился. Ухода за ним не было. Отданный в жертву недугу, он мучительно метался на своем одре, в одиночестве разрешая задачу, к какому делу себя настоящим манером определить. Отец едва ли даже знал об его болезни, а матушка рассуждала так: «Ничего! отлежится к весне! этакие-то еще дольше здоровых живут!» Поэтому, хотя дворовые и жалели его, но, ввиду равнодушия господ, боялись выказывать деятельное сочувствие. Изредка кто-нибудь забегал, подбрасывал в печку щепок, приносил пищу и исчезал.

Только тетеньки-сестрицы вспоминали об Сатире и присылали к нему Аннушку с мешочком сухой малины, горсточкой липового цвета и чашечкой меда.

Аннушка раздобывалась горячей водой и поила больного.

– Ну что, Сатирушко, каково? – спрашивала она.

– Кашлять тяжко. Того гляди, сердце соскочит. Чего доброго, на тот свет в рабском виде предстанешь.

– Так что ж, что в рабском – прямее в рай попадешь. И Христос в рабском виде на землю сходил и за рабов пострадал.

– Оно так, да в ту пору рабы другие были, извечные…

– А мы какие же?

– А мы прежде вольные были, а потом сами свою волю продали. Из-за денег господам в кабалу продались. За это вот и судить нас будут.

– Не мы, чай, продались. Наши-то и родители, и дедушки, все спокон веку рабами были.

– Все равно, ежели и в старину отцы продались, мы за их грех отвечать должны. Нет того греха тяжеле, коли кто волю свою продал. Все равно что душу.

– Не пойму я тебя. Как же с этим быть?

– Кругом нас неволя окружила, клещами сжала. Райские двери навеки перед нами закрыла.

Сатир высказывал эти слова с волнением, спеша, точно не доверял самому себе. Очевидно, в этих словах заключалось своего рода миросозерцание, но настолько не установившееся, беспорядочное, что он и сам не был в состоянии свести концы с концами. Едва ли он мог бы даже сказать, что именно оно, а не другой, более простой мотив, вроде, например, укоренившейся в русской жизни страсти к скитальчеству, руководил его действиями.

– Грех, Сатирушка, так говорить: ну, да уж, ради долготерпения твоего, бог тебя простит. Что же ты с собою делать будешь?

– Тяжко мне… видения вижу! Намеднись встал я ночью с ларя, сел, ноги свесил… Смотрю, а вон в том углу Смерть стоит. Череп – голый, ребра с боков выпятились… ровно шкилет. «За мной, что ли?» – говорю… Молчит. Три раза я ее окликнул, и все без ответа… Наконец не побоялся, пошел прямо к ней – смотрю, а ее уж нет. Только беспременно это она приходила.

– А приходила да опять ушла – тем еще лучше; значит, время тебе не пришло… Небось, к весне выправишься. Пойдут светлые дни, солнышко играть будет – и в тебе душа заиграет. Нехорошо тебе здесь, в каморке: темно, сыро; хоть бы господа когда заглянули…

– Ничего, привык. Я, тетенька, знаешь ли, что надумал. Ежели бог меня помилует, уйду, по просухе, в пустынь на Сольбу[42], да там и останусь.

– У господ дозволенья просить надо.

– Дадут. Пользы-то от меня нисколько. А в монастыре-то с меня рабский образ снимут, я в ангельском чине на вышний суд и явлюсь.

– Ну, вот и славно. А покуда я тебе деревянненьким маслицем грудь вытру… Кашель-то, может, и уймется.

Аннушка натирала Сатиру грудь и уходила, оставляя больного в добычу мучительным приступам кашля.

Однажды она явилась к «старому барину» и доложила, что Сатир просит навестить его. Отец, однако, сам собой идти не решился, а сообщил о желании больного матушке, которая сейчас же собралась и спустилась вниз.

Придя в Сатирову каморку, она несколько смутилась; до такой степени ее поразили и страдальческое выражение лица больного, и обстановка, среди которой он умирал.

– Да ты тут в грязи да в вони задохнешься, – молвила она, – дай-ка я в людскую тебя переведу!

– Спасибо, сударыня. Точно, что там посуше будет. Только вот кашель меня долит, покою там от меня никому не будет.

– Ничего; потерпят. Сейчас же пойду и распоряжусь. Ты, я слышала, за старым барином посылал; открыться, что ли, ты ему хотел?

– Богу я послужить желаю… в монастырь бы…

---

42 Сольбинская пустынь, если не ошибаюсь, находится в Кашинском уезде, Тверской губернии. Семья наша езжала туда на богомолье, но так как я был в то время очень мал, то никаких определенных воспоминаний об этом факте не сохранил. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

Матушка на минуту задумалась. Не то, чтобы просьба больного удивила ее, а все-таки… «Стало быть, он так-таки и пропадет!» – мелькало у нее в голове. Однако колебания ее были непродолжительны. Стоило взглянуть на Сатира, чтобы сразу убедиться, что высказанное им желание – последнее.

– В монастырь так в монастырь, – решила она, – доброму желанию господа не помеха. Выздоравливай, а летом, как дорога просохнет, выдадим тебе увольнение – и с богом! Ты в какой монастырь надумал?

– Да на Сольбу хотелось бы…

– И прекрасно. Тихо там, спокойно… словно в раю! И монахи простые, в шелки да в парчи не рядятся, как раз по тебе. С богом, Сатирушко! выздоравливай!

– Спасибо вам, сударыня! пошли вам царица небесная!

– Давно бы ты так сказал! Все-то вот вы таковы: от господ скрываетесь, да на них же и ропщете…

– В ангельском чине на вышний суд явлюсь, и за вас молитвенником буду.

– Вот и хорошо. Лежи-ка, лежи, а я сейчас за тобой пришлю.

Сатира перенесли в застольную и положили на печку. Под влиянием тепла ему стало как будто полегче. В обыкновенное время в застольной находилась только кухарка с помощницей, но во время обедов и ужинов собиралась вся дворня, и шум, который она производила, достаточно-таки тревожил больного.

Однако он крепился, старался не слышать праздного говора и, в свою очередь, сдерживал, сколько мог, кашель, разрывавший его грудь.

Наступил март; солнышко заиграло; с гор полились ручьи; дороги почернели. Сатир продолжал лежать на печи, считал дни и надеялся.

Однажды привиделся ему сон. Стоит будто он в ангельском образе, окутанный светлым облаком; в ушах раздается сладкогласное ангельское славословие, а перед глазами присносущий свет Христов горит… Все земные болести с него как рукой сняло: кашель улегся, грудь дышит легко, все существо устремляется ввысь и ввысь…

– Инок Серапион! – слышится ему голос, исходящий из сияющей глубины.

Так, во сне, и предстал он, в ангельском чине, перед вышний суд божий.

XXIV. Добро пожаловать

– Сергеич в девичьей дожидается, – докладывает матушке ключница Акулина.

– Выпросталась, что ли, Аксинья?

– Стало быть, выпросталась; мальчишечку, слышь, принесла.

Иван Сергеич – главный садовник, и матушка дорожит им. Во-первых, она купила его и заплатила довольно дорого; во-вторых, он может, пожалуй, оставить господ без фруктов и без овощей, и, в-третьих, несмотря на преклонные лета, у него целая куча детей, начиная с двадцатилетнего сына Сеньки, который уж ходит в Москве по оброку, и кончая грудным ребенком.

Поэтому за ним, в виде исключения, оставлена месячина, и Аксинью, его жену, тоже немолодую женщину, редко употребляют на господскую работу, оставляя управляться дома. На Аксинью матушка любила ссылаться в оправдание своей системы безбрачия дворовых.

– Что в ней! – заговорила она, – только слава, что крепостная, а куда ты ее повернешь! Знает таскает ребят, да кормит, да обмывает их – вот и вся от нее польза! Плоха та раба, у которой не господское дело, а свои дети на уме!

– Дети за нее служат, – возражал на это отец, – Сенька уж по оброку ходит, да две девки за пяльцами сидят.

– Дети само по себе, а и она должна бы…

Садовник является одетый по-праздничному, в сюртук темно-синего мохнатого сукна; в руках у него блюдо, на котором лежит пирог из пшеничной муки.

– Долго ли твоя хреновка рожать будет? – встречает его матушка, – срам сказать,

шестой десяток бабе пошел, а она, что ни год, детей таскает!

– Стало быть, так бог…

– Мальчика родила?

– Мальчика. Сергеем назвали. Пришел вас просить, сударыня, не окрестите ли?

– Ладно. А отцом крестным кто будет?

– Да из детей кто-нибудь…

Матушка выбирает меня, и дело улаживается[43]. Дня через три в столовой ставят купель и наполняют тепловатой водою. Приходит поп с причтом, приносят младенца, закутанного в конец новины. Я заглядываю ему в лицо и нахожу, что он очень неавантажен: красный как рак и покрыт сыпью, цветом. В стороне, на столике, положена рубашонка и серебряный крестик на розовой ленточке – подарок крестной матери. Матушка берет новорожденного на руки, становится сзади купели; я становлюсь возле нее, держа в руках свечу. Все время, пока совершается обряд, кума учит меня: «Дунь и плюнь!», «Я пойду вокруг купели, а ты за мной иди!» При погружении младенец немилосердно кричит, что дает повод к разным замечаниям, из которых далеко не все в пользу новорожденного.

Наконец все совершилось. На свете прибавилось больше не только одним рабом, но и христианином. Батюшке заплатили двугривенный и позвали Сергеича из девичьей. Последний, с своей стороны, подносит два полотенца, из которых одно предназначается священнику, другое – матушке.

– Слуга, сударыня, будет вам! – говорит Сергеич, кланяясь матушке в ноги.

– Дай бог! Конон, скажи Акулине, чтоб Сергеичу водки поднесли!

Через несколько часов о Сережке уже никто в доме не упоминает, а затем, чем дальше, тем глубже погружается он в пучину забвения. Известно только, что Аксинья кормит его грудью и раза два приносила в церковь под причастие. Оба раза, проходя мимо крестной матери, она замедляла шаги и освобождала голову младенца от пеленок, стараясь обратить на него внимание «крестной»; но матушка оставалась равнодушною и в расспросы не вступала.

Года через два Сережку уже видят около флигеля, в котором живет Сергеич. В летнее время, по пояс задравши рубашонку, он бродит нетвердыми ногами поблизости крыльца и старается попасть в лужу, которая образовалась вследствие постоянно выливаемых помоев. Он одинок и присмотреть за ним некому, потому что мать уж успела родить другого ребенка и пестует его.

Дети тоже в разброде. Одних господа взяли в «мальчишки» или роздали в Москве в ученье, других, самых маленьких, Аксинья услала в лес по грибы. По временам Сережка пытается всползти наверх по ступеням крыльца, но ушибается и начинает реветь. На крики его, однако ж, никто не является, и он мало-помалу сам собой утихает и опять начинает карабкаться и бродить.

Наконец около обеда является старик Сергеич, берет Сережку на руки и уносит в дом. Он гладит сына по голове и вообще, кажется, любит его. Наверное, он принес из сада в кармане огурец или несколько стручков сахарного гороху и отдаст их Сережке, когда увидит себя вне постороннего наблюдения.

Проходит еще года три; Сережка уж начинает показываться на красном дворе. Сплетясь руками с другими ровесниками мальчишками, он несется вскачь из одного конца в другой, изображая из себя то коренную, то пристяжную, и предается этому удовольствию до тех пор, пока матушка, выведенная из терпенья, не крикнет из окна:

– Вот я вас, пострелята!

Заслышав этот окрик, ребята, в глазах сердитой барыни, пропадают так ловко, что она не может понять, куда они скрылись. Вероятно, тут же где-нибудь притаились – много ли

---

[43] Хотя я был малолетний, но в то время еще не существовало закона, запрещающего лицам, не достигшим совершеннолетия, воспринимать младенцев от купели. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

места маленькому нужно? – и выглядывают.

Около этого же времени Сергеич и Аксинья считают полезным напомнить «крестной» об Сережке. Его одевают в чистую рубашку, дают в руку завязанную в платок тарелку с пшеничной лепешкой и посылают к барыне.

– Это, крестненька, вам! – произносит Сережка заранее затверженную фразу и ставит гостинец на стол.

– Спасибо, голубчик, спасибо! – благодарит матушка, – поди ко мне, я на тебя посмотрю!

Сережка не робок и довольно развязно подходит к «крестной». Матушка рассматривает его, но хорошего находит мало. Лицо широкое, красное, скулы выдались, глаза узенькие, нос как пуговица. Как есть калмык. Да и ростом мал не по летам.

«Придется в портные отдать!» – мелькает в голове у матушки, от взора которой не укрывается, что ноги у крестника короткие и выгнутые колесом, точно сама природа еще в колыбели осудила его на верстаке коротать жизнь.

По осьмому году Сережку взяли в господский дом и определили в мальчики по буфетной части. Конон научил его дышать в стаканы, стоять с тарелкой под мышкой за стулом у кого-нибудь из господ и проч., а сам он собственным инстинктом научился слизывать языком с тарелок остатки соуса. За это его порядком трепали; а так как, сверх того, он бил много посуды и вообще «озорничал», то от времени до времени призывали старика Сергеича и заставляли сечь сына розгами. Вообще, с первых же шагов по лакейской части, он так неблагонадежно зарекомендовал себя, что сразу для всех сделалось ясным, что никогда из него настоящего лакея не выйдет.

Поэтому, не успело ему минуть десяти лет, как Москва уже поглотила его. Отдали его, как заранее решила матушка, в обучение к знакомому портному Велифантьеву, который содержал мастерскую на Солянке. И начал Сережка утюги греть, в трактир за кипятком бегать и получать в нос щелчки.

Всю горькую чашу существования мастерового-ученика он выпил до дна, на собственных боках убеждаясь, что попал в глухой мешок, из которого некуда выбраться, и что, стало быть, самое лучшее, что ему предстояло, – это притупить в себе всякую чувствительность, обтерпеться.

И он, действительно, очень скоро обтерпелся. Колотушки, пощечины, щипки градом сыпались на него со всех сторон, и он, по-видимому, даже не чувствовал боли. Мало того, бродячая жизнь мастерового-ученика до того пришлась ему по сердцу, что он был бесконечно доволен собой, когда в загаженном сером халате расхаживал по тротуару, посвистывая и выделывая ногами зигзаги. Веселонравие неистощимым ключом било в его сердце и поминутно подмывало совершить какое-нибудь удальство, озорство или мистификацию. Удальство проявлялось в том, что он с разбега ударялся головой в спину или в живот случайному прохожему, и, разумеется, тут же получал нещадное избиение. Или набегал на лоток зазевавшегося разносчика, мгновенно слизывал пирог или стопку маковников и мгновенно же исчезал, словно пропадал сквозь землю. Но в особенности любил он всякого рода мистификации. Подметит на тротуаре простофилю и развязно к нему подбежит.

– Вас Иван Андреич к себе зовет!

– Какой Иван Андреич?

– Не знаю. Иду сейчас по Таганке, а он меня остановил: «Увидишь, говорит, господина Простофилина, скажи, что Иван Андреич зовет».

– Я не Простофилин, а Тузов.

– Так точно, он так и сказал, а это я уж от себя…

И начинает простофиля припоминать, какой такой Иван Андреич выказывает желание видеться с ним. Припоминает, припоминает, да, пожалуй, и припомнит.

Бросит нужное дело и пойдет Ивана Андреича разыскивать.

Или остановится на бегу посреди тротуара, закинет голову и начнет в самую высь всматриваться. Идут мимо простофили, видят, что человек, должно быть, что-нибудь достопримечательное высматривает, и тоже останавливаются и закидывают головы. Смотрят, смотрят – ничего не видать.

– Да что ты, леший, там видишь?

– А то же самое, что и ты, домовой, высматриваешь!

Разумеется, трепка.

Вообще, он до того свыкся с мыслью о неизбежности трепок, что уж не уклонялся, а даже как бы напрашивался на них.

Но независимо от озорливости, которая развивалась все больше и больше, в нем начали проявляться и пороки. Стал он попивать, поворовывать и вообще обещал представить из себя образцового ёрника. Разнузданная и беспризорная ученическая среда нещадно точила и развращала молодое сердце, а личная восприимчивость открывала порче беспрепятственный доступ. Действовать на него разумным путем было некому, да и некогда, но так как в воспитательной практике все-таки чувствовалась потребность, то сумма побоев, постепенно увеличиваясь, достигла наконец таких размеров, что Сережка не выходил из синяков. Бил его хозяин, били мастера, били товарищи-ученики. Не было той руки, той плетки, той палки, которая не побывала бы на нем. Но ни одной слезинки не показывалось на его глазах, ни малейшего сокращения мышц не замечалось в лице: стоит как каменный, ни одним мускулом не дрогнет.

Болело ли сердце старика Сергеича о погибающем сыне – я сказать не могу, но во всяком случае ему было небезызвестно, что с Сережкой творится что-то неладное. Может быть, он говорил себе, что в «ихнем» звании всегда так бывает. Бросят человека еще несмысленочком в омут – он и крутится там.

Иной случайно вынырнет, другой так же случайно погибнет – ничего не поделаешь. Ежели идти к барыне, просить ее, она скажет: «Об чем ты просишь? сам посуди, что ж тут поделаешь?.. Пускай уж…»

Ученье между тем шло своим чередом. По шестнадцатому году Сережка уже сидел на верстаке и беспорядочно тыкал иглою в суконные лоскутки, на которых его приучали к настоящей работе. Через год, через два он сделается, пожалуй, заправским портным, а там, благослови господи, и на оброк милости просим. Уйдет Сережка от портного Велифантьева и начнет в Москве из мастерской в мастерскую странствовать.

Сидит он, скорчившись, на верстаке, а в голове у него словно молоты стучат. Опохмелиться бы надобно, да не на что. Вспоминает Сережка, что давеча у хозяина в комнате (через сени) на киоте он медную гривну видел, встает с верстака и, благо хозяина дома нет, исчезает из мастерской. Но главный подмастерье пристально следит за ним, и в то мгновенье, как он притворяет дверь в хозяйскую комнату, вцепляется ему в волоса.

– Ты это что, подлец! воровать собрался?

Трепка.

Искры сыплются из глаз Сережки, но он не возражает. Ему даже кажется, что колотушки до известной степени опохмелили его. Спокойно возвращается он на верстак и как ни в чем не бывало продолжает тыкать иголкой в лоскутки.

И все кругом хохочут, все рады, что в их глазах разыгралось побоище.

Но вот срок условию, заключенному с Велифантьевым, кончился. Из Малиновца получается приказ: обложить Сережку оброком, на первый раз легким, в двадцать рублей

(ассигнациями). Сережка немедленно оставляет мастерскую, в которой получил воспитание, и отправляется на поиски за местом. С неделю он слоняется по Москве, проводя где день, где ночь, и так как у него достаточно приятелей, то наконец ему удается приютиться в одной из больших мастерских, где кишмя кишит целая масса мастеровых. Благодаря этому многолюдству, надзор не так придирчив, и Сережка, разумеется, очень этому рад. Он выпрашивает у хозяина денег на оброк, и на первый раз полностью относит их Стрелкову (доверенный матушки, см. XIV-ю главу): пускай, дескать, барыня знает, каков таков есть Сережка-портной!

Год проходит благополучно. На другой год наступает срок платить оброк – о Сережке ни слуху ни духу. Толкнулся Стрелков к последнему хозяину, у которого он жил, но там сказали, что Сережка несколько недель тому назад ушел к Троице богу молиться и с тех пор не возвращался. Искал, искал его Стрелков по Москве, на извозчиков разорился, но так и не нашел.

– Вот и опять солдатик на очередь выскочил! – молвила матушка, когда до нее дошла весть об исчезновении крестного сынка. – И ждать нечего; без разговоров надо хамово отродье истреблять!

Стрелкову подтвердили стеречь Сережку, и как только появится, не высылая в деревню, представить в Москве в рекрутское присутствие и сдать в солдаты, разумеется, в зачет. Но матушка не ограничилась этим и призвала к допросу старика Сергеича.

– Сказывай, где Сережка? – прикрикнула она на него.

– А я почем знаю!

– Ты отец: должен знать. А коли ты от родного сына отказываешься, так вот что: напиши своему Сеньке, что если он через месяц не представит брата Стрелкову, так я ему самому лоб забрею.

– Вся ваша воля, – начал было Сергеич, но спохватился и резко, но резонно ответил: – Вы, сударыня, только не знай за что народ изводите. Сенька-то, может, и во сне не видал, где брат у него находится… Нечего ему и писать…

И матушка должна была смолкнуть.

В продолжение целых двух лет не могли устеречь Сережку. Самые разнообразные слухи ходили об нем. Одни говорили, что он поступил в шайку воров и промышляет по Москве мелкими кражами; другие утверждали, что он удалился в один из пустынных монастырей и определился там послушником. Были даже такие, которые за верное сообщали, что он перешел в раскол, что его перекрестили в Хапиловском пруду и потом увезли далеко «в Зыряны» (в северной части Пермской губернии), в скиты. Из этих предположений верным оказалось первое: Сережка действительно скрывался в Москве и воровал.

Едва успевши встать на ноги, он уже погибал. Ремесла у него не было, а то немногое, чему он успел научиться у Велифантьева, в течение двух лет праздношатательства окончательно позабылось. Воровство представлялось единственным выходом, чтобы существовать. Существовать, то есть пить, потому что вино, как лекарство, давало его организму те элементы, которых последнему недоставало. Это был своего рода «порочный круг», в котором он вращался, ругаясь и проклиная, но малейшее уклонение от которого производило в нем мучительный переполох. Под влиянием винного угара он оживал; как только угар проходил, так со всех сторон обступал рой серых призраков, наполнявших сердце щемящей тоской. Двадцати лет он уже смотрел застарелым пьяницей; лицо опухло и покрылось красными пятнами; все тело дрожало как в лихорадке.

Постоянного угла у него не было. Днем он бродил по окраинам города, не рискуя проникать в центральные части; с наступлением ночи, уходил за заставу и летом ночевал в канаве, а зимой зарывался в сенной стог. Воровал он в одиночку, потому что настолько уж отупел и одичал, что ни одна шайка его не принимала. Почти ежедневно ловили его в воровстве, но так как кражи были мелкие, и притом русский человек вообще судиться не любит, то дело редко доходило до съезжей и кончалось кулачной расправой. Но побои

настолько превышали размер краж, что все кости у него болели и ныли.

Как бы то ни было, но вино поддерживало в нем жизнь и в то же время приносило за собой забвение жизни. Я не утверждаю, что он сознательно добивался забытья, но оно приходило само собой, а это только и было нужно.

Наконец Стрелков узнал достоверно, что Сережка содержится на съезжей в одной из отдаленных частей города. На этот раз он попался в довольно крупном воровстве, и об нем шло следствие. Задача предстояла трудная; надо было потушить дело и во что бы то ни стало вызволить Сережку. Затем надлежало вытрезвить его и сдать в солдаты, хотя малый рост и кривые ноги делали предприятие крайне сомнительным. Но матушка недаром называла Стрелкова золотым человеком. При помощи знакомств и сравнительно небольших расходов ему удалось исполнить приказание барыни с буквальною точностью.

Сережку подвели под меру и вытянули так ловко, что он в самый раз угодил.

– Лоб! – провозгласил председатель присутствия.

– Лоб! лоб! лоб! – перекатилось, как эхо, по всем камерам до последней, где принятых ожидал цирульник. Свершилось. Сережка перестал существовать в качестве дворового человека и вступил в новую жизнь.

Матушка не без удовольствия получила известие об этой развязке, но, разумеется, еще больше была довольна тем, что известие сопровождалось зачетной рекрутской квитанцией.

Но когда она прятала эту квитанцию в денежный ящик, то ей невольно пришли на память слова, сказанные Сережкой в тот раз, когда он, еще пятилетний мальчишка, явился к ней с пшеничной лепешкой:

– Это, крестненька, вам!

XXV. Смерть Федота

Третий месяц Федот уж не вставал с печи. Хотя ему было за шестьдесят, но перед тем он смотрел еще совсем бодро, и потому никому не приходило в голову, что эту сильную, исполненную труда, жизнь ждет скорая развязка. О причинах своей болезни он отзывался неопределенно: «В нутре будто оборвалось».

– В ту пору воз с сеном плохо навили, – говорил он, – и начал он по дороге на сторону валиться. Мужик-то лошадь под уздцы вел, а я сбоку шел, плечом подпирал. Ну, и случилось.

Из всей малиновецкой вотчины это был единственный человек, к которому матушка была искренно расположена. Старостой его назначили лет двадцать назад, и все время он так разумно и честно распоряжался, что про него без ошибки можно было сказать: вот человек, который воистину верой и правдой служит! Попивал он, правда, но только по большим праздникам, когда и бог простит. Но всего дороже в нем было то, что, соблюдая господский интерес, он и за крестьян заступался. И хотя матушка по временам называла его за это потаковщиком, но внутренно сознавала, что Федотова политика избавляет ее от целой массы мелких неудовольствий.

И Федот, и матушка, как говорится, сердцами сошлись. Каждый вечер старик появлялся в стенах девичьей и подолгу беседовал с барыней. Оба проникли в самую суть сельскохозяйственного дела, оба понимали друг друга. Матушка с неослабевающим вниманием выслушивала старосту, который неторопко и обстоятельно докладывал ей историю целого дня. Потом они общими силами обсуждали каждый отдельный вопрос и почти всегда слаживались. Матушка была дальновиднее, зато Федот брал верх по части

подробностей. А так как в сельском хозяйстве подробности играют наиболее вескую роль, то в большинстве случаев разногласия разрешались в пользу старосты. Даже старый барин нередко заходил в девичью во время этих диспутов и с любопытством в них вслушивался. Наговорившись досыта и проектировавши завтрашний рабочий день (всегда надвое; на случай вёдра и на случай дождя), матушка приказывала подать Федоту рюмку водки и спокойная уходила в свою комнату.

И вдруг этот верный и честный слуга – даже друг – заболел. Заболел безнадежно, как это всегда в крестьянском быту водится. Не любят мужички задаром бока пролеживать, а если который слег, то так и жди неминуемого конца. Хорошо еще, что это случилось глубокою осенью, а если б летом в самый развал страды, – просто хоть пропадай без Федота. Жалко Федота: «друг» он, но друг само по себе, а и о господском интересе нельзя не подумать! Вот и теперь: молотьбе и конца еще не видать, а как она идет – поди, уследи! При Федоте всякое зерно было на счету; без него – того и гляди, десятого зерна не досчитаешься. Особливо бабы. Хитра крепостная баба; не догадаешься, как она мешочек с пушниной унесет. Одна мешочек, другая мешочек – посчитай-ка, ан и многонько выйдет.

Словом сказать, смесь искреннего жаления об умирающем слуге с не менее искренним жалением о господине, которого эта смерть застигала врасплох, в полной силе проявилась тут, как проявлялась вообще во всей крепостной практике. Это было не лицемерие, не предательство, а естественное двоегласие, в котором два течения шли рядом, не производя никакого переполоха в человеческом сознании.

Матушка по целым часам прочитывала Енгалычевский лечебник, отыскивая подходящее средство. Напавши на какой-нибудь недуг, схожий, по ее мнению, с тем, которым страдал Федот, она прибегала к домашней аптеке, советовалась с горничной девушкой, которая считалась специалисткою по всяким болезням и, обе общими силами приготовляли лекарства. Через день, а иногда и чаще, она брала с собой девушку-лекарку, садилась на долгушу-трясучку и, несмотря на осеннюю слякоть, тащилась за две версты в Измалково – деревню, в которой жил Федот. Но ни лекарство ласковой барыни, ни присутствие ее не помогали больному. Лежал он как пласт на печи, исхудалый, как скелет. И живот у него сильно вздулся – должно быть, именно там и крылась причина недуга.

– Напрасно, сударыня, беспокоитесь, – говорил он задавленным голосом, силясь приподняться.

– Лежи, лежи! не говори, коли трудно! – приказывала матушка и садилась к столу, чтобы подробно расспросить домашних и дать необходимые наставления.

– Хорошо ли он спит?

– Где уж! чуточку задремлет и опять стонать примется.

– Ест ли?

– Где уж! чуточку поест – все вон! все вон!

– Ну, так вот что. Сегодня я новых лекарств привезла; вот это – майский бальзам, живот ему чаще натирайте, а на ночь скатайте катышок и внутрь принять дайте. Вот это – гофманские капли, тоже, коли что случится, давайте; это – настойка зверобоя, на ночь полстакана пусть выпьет. А ежели давно он не облегчался, промывательное поставьте. Бог даст, и полегче будет. Я и лекарку у вас оставлю; пускай за больным походит, а завтра утром придет домой и скажет, коли что еще нужно. И опять что-нибудь придумаем.

– Дай-то, господи! пошли вам царица небесная! – хором благодарили Федотовы домочадцы.

– Ну, Федотушка, покуда прощай! никто как бог! – говорила матушка, подходя к

Федоту, – а я за тебя в воскресенье твоему ангелу свечку поставлю! Еще так-то с тобой поживем, что любо!

– Молотьба-то как? – тоскливо бормотал больной, желая хоть этим вопросом отблагодарить барыню за участие.

– Что молотьба! был бы ты здоров, а молотьба своим чередом сойдет… Ну, Христос с тобой! лежи!

– Дай вам бог! пошли царица небесная!

Матушка уезжала, а Федоту усердно терли живот и вливали в рот зверобойную настойку.

Матушку сильно волновал вопрос, кого на места Федота в старосты выбрать. Сына своего, Афоньку, старик не рекомендовал: загаду хозяйского у него нет, да и на вино слаб. А сельский Архип, на которого указывал Федот, не по нраву был матушке. Начнешь с ним говорить – слова в ответ не получишь. И при работах догадки у него нет.

Смотрит прямо, а что по сторонам делается – не видит. Сущий вахлак, никакой самостоятельности от него не жди. А матушка любила, чтоб начальники, которым она доверяет, возражали ей (но, разумеется, чтоб возражали дельно, а не лотошили зря), чтоб они имели глаза не только спереди, но и с боков и сзади. Правда, что у Архипа собственное хозяйство было в исправности, да ведь барское хозяйство не чета крестьянскому. Поручи-ка ему большое колесо – он сразу растеряется.

В господском доме, за обедом, за чаем, когда бы ни собрались господа, только и было речи, что о Федоте. На смерть его смотрели как на бедствие.

– Да, задал Федотушка загадку! – жаловалась матушка, – кажется, и концов не сыщешь, какого он кавардаку наделал!

– На все божья воля, – смиренно отзывался отец.

– Тебе что! Ты заперся у себя в кабинете, и горюшка мало! сидишь да по ляжкам похлопываешь. А я цельный день как в огне горю… Куда я теперь без Федота поспела!

– Ну, найдешь кого-нибудь.

– Ищи ты, а я уж устала искавши. Брошу все, уеду от вас; живите как знаете.

Взглянет матушка в окошко, а на дворе дождь. И опять у ней по Федотушке сердце щемить начнет.

– Льет да поливает! – ропщет она, – который уж день эта канитель идет, а все конца-краю тучам не видать. Намолотили с три пропасти, а вороха невеянные стоят[44]. Кабы Федот – он что-нибудь да придумал бы.

– Что тут придумаешь! Как против воли божьей пойдешь!

– Божья воля сама по себе, а надо и меры принимать. Под лежачий камень и вода не бежит. Вот как зерно-то сопреет, тогда и увидим, как ты о божьей воле разговаривать будешь!

Но всего больше беспокоила перспектива: растащат! разворуют! Давно уж в малиновецкой барщине о расхищении господского добра слухов не было, да ведь это все-таки Федот завел… Он не был строг с крестьянами, но воровство преследовал неумолимо. Взгляд у него на эти дела тонкий был: подойдет и сейчас угадает. Поначалу, как его в старосты определили, только, бывало, и видишь: идет Федот и бабу с мешочком с колосьями или с пушниной на

44 В то время ни молотилок, ни веялок не было; веяли с лопаты на открытом гумне при благоприятном ветре. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

конюшню ведет. Водил, водил, да так-то отучил, что под конец и подозрений ни на кого уж не возникало. А на Архипа (он уже временно замещал Федота) разве можно положиться? Это такой, прости господи, рохля, что из-под носу у него утащат – он и не увидит. И об чем только он думает!

Перед глазами господское дело, а в мыслях: «Что-то, мол, дома у меня делается?» А вот взять да и раскатать этот «дом» по бревнышку – и думай тогда об нем!

– Нужно бы в ригу подослать да посмотреть, что там делается, кого я пошлю? – опять начинает матушка.

– Архип доглядит.

– Доглядчик!

– Ну, Акулину пошли, сама сходи.

– У Акулины своего дела по горло; а сама и сходила бы, да ходилки-то у меня уж не прежние. Да и что я на вас за работница выискалась! Ишь командир командует: сходи да сходи. Уеду отсюда, вот тебе крест, уеду! Выстрою в Быкове усадьбу, возьму детей, а ты живи один с милыми сестрицами, любуйся на них!

Отец вздыхал и смирялся. Давно уж, при каждой встрече, по каждому случаю эта сутолока идет, и не вспомнишь, когда она началась. Всякая неприятность, какая ни случится в доме, непременно на нем обрушивается!

«Это все ты! Это все ты!» – только и слов. А иногда и так еще скажет:

«Скоро ли ты, старый хрен, на тот свет отправишься!» Было время, когда он в ответ на эти окрики разражался грубой бранью и бунтовал, но наконец устал.

Старчество все глубже и глубже втягивало его в свои недра, а за старостью, сама собой, пришла беспомощность. И не одна беспомощность – это бы куда ни шло! – но и сознание полнейшей личной бесполезности. Он и сам как будто понимает, что бросаемые ему в лицо упреки вполне им заслужены, только форма их словно чересчур бессовестна. Действительно, он не только лишний, но и помеха в доме. Как ни сокращает он свои требования, как ни прячется от живых людей, все-таки он еще дышит и этим одним напоминает, что за ним нужен уход… Федота он, кажется, любил даже больше, нежели матушка.

Почему-то у него сложилось убеждение, что старый слуга косвенным образом ограждает его. Покуда Федот распоряжался барщиной, меньше встречалось поводов для шума и крика. Реже кричали: «Это все ты! все ты!» Реже напоминали, что ему давно очистить место пора, что с его стороны бессовестно праздно проводить время, бременить землю, тогда как все кругом работает, в котле кипит. Но вот и Федот умирает – все старики умерли – все! только один он, старый малиновецкий владыка, ждет смерти и дождаться не может.

Матушка хоть на короткое время старается позабыть о постигшей ее невзгоде. Она внимательно выслушивает вечерний доклад Архипа и старается ввести его в круг своих хозяйственных взглядов. Но Архип непривычен и робеет перед барыней. К несчастию, матушка окончательно утратила всякое чувство самообладания и не может сдерживать себя. Начавши с молчаливого выслушивания, она переходит в поучения, а из поучений в крик. Ошеломленный этим криком, Архип уже не просто робеет, но дрожит. Вследствие этого вопросы остаются неразрешенными, и новый староста уходит, оставленный на произвол судьбе.

– Ничего-то он не смыслит! – жалуется матушка Акулине.

– Очень уж вы, сударыня, кричите на него.

– Отчего же Федот с одного слова понимал?

– На то он и Федот был. Федот-то лучше вашего всю подноготную знал, а этот внове. С Федотом-то вы, небойсь, тихим манером разговаривали.

Матушка начинает припоминать. Действительно, никогда она Федоту худого слова не сказала, никогда на него не прикрикнула. С самого начала у них как-то скоро наладилось. Кто знает? – может быть, и из Архипа что-нибудь путное выйдет, если ладком к нему подступить? Матушка задумывается над этим вопросом и обещает себе завтра во что бы то

ни стало сдержать себя. Но является на другой день Архип, и принятое накануне решение сейчас же улетучивается. Он, по-вчерашнему, робок и ненаходчив, и по-вчерашнему же матушка, кроме бессодержательных криков, ничего не находит сказать ему в назиданье.

Охваченная одной и той же мыслью, матушка все дела запустила. Примется за счеты – ничего не понимает, задумает кому-нибудь из бурмистров приказ написать – ничего порядком сообразить не может. Придет в девичью – ко всему придирается, повару обед заказывать перестала: чем хочешь, тем и корми!

Даже денег путем счесть не может: то ли все целы, то ли разворовали.

Повсюду ей мерещатся неисправности, порухи, ущерб… Разумеется, все эти порухи и ущербы существуют только в ее воображении, потому что заведенные Федотом порядки у всех еще в памяти и дело покамест идет своим чередом. Но раз воображение взбудоражено, она уж не может справиться с ним.

«Хоть бы уж поскорее… один конец!» – частенько мелькает в ее голове.

И сны ей снятся такие, что не разберешь. То приснится, что Федот уж умер, то будто он пришел в девичью и говорит: «А ведь я, сударыня, встал!»

«Вот кабы…» – начинает она мечтать впросонках и ждет не дождется утра, когда должна явиться девушка-лекарка с докладом из Измалкова.

– Ну что? – выбегает она навстречу ей.

– Да все то же. Не долго, должно быть.

Матушка в волненье скрывается в свою комнату и начинает смотреть в окно. Слякоть по дороге невылазная, даже траву на красном дворе затопило, а дождик продолжает лить да лить. Она сердито схватывает колокольчик и звонит.

– Архипа!

Приходит Архип и заранее уже дрожит, предчувствуя барынин гнев.

– Сегодня не веяли?

– Как же в такую погоду веять!

– Ступай вон… ротозей!

Архип уходит, но через минуту, уже по собственному почину, возвращается.

– Вы бы меня, сударыня, уволили! – говорит он, стараясь придать своему голосу твердость.

– Это что за новости! Без году неделя палку в руки взял, а уж поговаривать начал! Захочу отпустить – и сама догадаюсь. Знать ничего не хочу! Хошь на ладонях у себя вывейте зерно, а чтоб было готово!

Архип уныло уходит; матушка опять звонит.

– Бегите к попу! скажите, чтоб завтра чуть свет молебен об вёдре отслужил, да и об Федоте кстати помолился бы. А Архипке-ротозею прикажите, чтоб всю барщину в церковь согнал.

Однако и молебен не поднял недужного с одра. Федот, видимо, приближался к роковой развязке, а дождь продолжал лить как из ведра.

Матушка самолично явилась в ригу и даже руками всплеснула, увидевши громадные вороха обмолоченного и невывеянного хлеба.

– А вы, голубчики, все молотите да молотите! – крикнула она на молотильщиков, и тут же, обратясь к Архипу, грубо распорядилась: – Покуда ненастье на дворе, пусть мужики на себя работают. Нечего баловать. А как только выйдет вёдреный день – всех людей поголовно на барщину гнать.

Наконец смерть утомилась ждать. Поздним вечером Афонька прискакал верхом и доложил, что Федот кончается. Несмотря на темень, матушка сейчас же отправилась в Измалково.

Федот умирал. В избе было душно и смрадно, целая толпа народа – не только домашние, но и соседи – скучилась у подножия печки, на которой лежал больной, и громко гуторила.

– Уйдите все! – крикнула матушка, – пусть остаются только Лукерья (Федотова жена)

да Афанасий.

С помощью Афанасия, она влезла на печь и села возле умирающего. Федот лежал с закрытыми глазами: грудь уже не вздымалась, так что трудно было разобрать, дышит ли он. Но старый слуга, даже окутанный облаком агонии, почуял приближение барыни и коснеющим языком пробормотал:

– Молотьба…

Это было последнее его слово. Федот перестал существовать. Матушка заплакала и наклонилась к нему…

– Распоряжение перед смертью сделал? – спросила она домашних, когда все было кончено.

– Все, матушка, сделал… И скотинку, и одёжу свою… двадцать рублей денег было… все разделил.

– Так и сделайте, как он приказал.

Через три дня Федота схоронили. Вся вотчина присутствовала на погребении, и не было человека, который помянул бы покойника лихом. Отец до земли поклонился праху верного слуги; матушка всю панихиду проплакала.

Прошло еще несколько дней; погода разгулялась, и молотьба пошла своим чередом. Вместе с погодой повеселел и Архип. Смерть Федота как будто развязала его, и он все свои помыслы устремил к тому, чтоб оправдать рекомендацию покойного.

Но со смертью Федота Малиновец уже опостылел матушке.

* * *

Заканчивая этим рассказом портретную галерею домочадцев, образы которых уцелели в моей памяти с наибольшею живостью, я считаю нелишним оговориться. Читателю может показаться странным, что я не упомянул здесь о няньках, которые обыкновенно занимают довольно значительное место в семейных воспоминаниях. На это отвечаю следующее: нянька, как профессиональное звание, почти не существовала в нашем доме. Матушка понимала, что обычай присвоивает этой должности известный почет, который ставит няньку в льготное положение. А так как общая система ее управления не допускала никаких льгот, то прислуга, которой поручались дети, менялась беспрестанно.

XXVI. Помещичья среда

Помещиков в нашем краю было много, но материальное их положение представлялось не особенно завидным. Кажется, наше семейство считалось самым зажиточным; богаче нас был только владелец села Отрады, о котором я однажды упоминал, но так как он в имении живал лишь наездом, то об нем в помещичьем кругу не было и речи[45]. Затем можно было указать на три-четыре средних состояния от пятисот до тысячи душ (в разных губерниях), а за ними следовала мелкота от полутораста душ и ниже, спускаясь до десятков и единиц.

Были местности, где в одном селе скучивалось до пяти-шести господских усадеб, и вследствие этого существовала бестолковейшая чересполосица. Но споры между совладельцами возникали редко. Во-первых, всякий отлично знал свой клочок, а во-вторых, опыт доказывал, что ссоры между такими близкими соседями невыгодны: порождают бесконечные дрязги и мешают общежитию. А так как последнее составляло единственный ресурс, который сколько-нибудь смягчал скуку, неразлучную с безвыездным житьем в захолустье, то благоразумное большинство предпочитало смотреть сквозь пальцы на

---

45 Я не говорю о немногих владельцах более или менее значительных оброчных имений, которые имели усадьбы в других губерниях, а в нашей стороне даже наездом не показывались. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

земельную неурядицу, лишь бы не ссориться. Поэтому и вопрос о размежевании чересполосных владений, несмотря на настояния начальства, оставался нетронутым: все знали, что как только приступлено будет к его практическому осуществлению – общей свалки не миновать.

Но иногда случалось, что в подобной плотно замкнувшейся помещичьей мурье появлялся кляузник или просто наглый человек, который затевал судьбища и при содействии сутяг-подьячих распространял кругом отраву. Под влиянием этой отравы мурья приходила в движение; всякий начинал отыскивать свое; возникали разбирательства и постепенно втягивали в себя всех соседей.

Спор о клочке в несколько десятков квадратных сажен переходил в личную ссору, а наконец и в открытую вражду. Вражда обострялась, делалась неумолимою. Бывали случаи, что соседи-односельцы, все поголовно, не только не посещали друг друга, но избегали встреч на улице и даже в церкви устраивали взаимные скандалы. Разумеется, одолевал тот, кто был посильнее и помогутнее; слабым же и захудалым и судиться было не на что. Последние поневоле смирялись и, кругом обездоленные, являлись просить пощады. Тогда в мурье вновь восстановлялась тишь да гладь да божья благодать.

Помещики, владевшие особняками, конечно, были избавлены от сутолоки, составляющей неизбежную принадлежность слишком близкого соседства, но зато они жили скучнее. В люди ездили редко, охотой занимались только осенью, а хозяйство представляло слишком слабый ресурс, чтобы наполнить жизнь.

Страстные хозяева встречались в виде исключения; большинство довольствовалось заведенными порядками, которые обеспечивали насущный кусок и давали достаточно досуга, чтобы иметь право называться барином или барыней. Не мешает заметить при этом, что помещики, которые хоть сколько-нибудь возвышались над материальным уровнем мелкоты, смотрели свысока на своих захудалых собратий и вообще чересчур легко заражались чванством.

Помещичьи усадьбы были крайне невзрачны. Задумавши строиться, ставили продолговатый сруб вроде казарм, разделяли его внутри перегородками на каморки, проконопачивали стены мхом, покрывали тесовой крышей и в этом неприхотливом помещении ютились, как могли. Под влиянием атмосферических изменений сруб рассыхался и темнел, крыша пропускала течь. В окна дуло; сырость проникала беспрепятственно всюду; полы ходили ходуном, потолки покрывались пятнами, и дом, за отсутствием ремонта, врастал в землю и ветшал. На зиму стены окутывали соломой, которую прикрепляли жердями; но это плохо защищало от холода, так что зимой приходилось топить и утром и на ночь. Само собой разумеется, что у помещиков побогаче дома строились обширнее и прочнее, но общий тип построек был одинаков.

Об удобствах жизни, а тем менее о живописной местности не было и речи.

Усадьба ставилась преимущественно в низинке, чтобы от ветра обиды не было.

С боков выстраивали хозяйственные службы, сзади разводили огород, спереди – крохотный палисадник. Ни парков, ни даже фруктовых садов, хоть бы в качестве доходной статьи, не существовало. Редко-редко где можно было встретить натуральную рощицу или обсаженный березками прудок. Сейчас за огородом и службами начинались господские поля, на которых с ранней весны до поздней осени безостановочно шла работа. Помещик имел полную возможность из окон дома наблюдать за процессом ее и радоваться или печалиться, смотря по тому, что ожидало впереди, урожай или бескормица. А это было в

жизни самое существенное и все прочие интересы отодвигало далеко на задний план.

Несмотря, однако ж, на недостаточные материальные средства, особенной нужды не чувствовалось. Разве уж самые мелкотравчатые не успевали сводить концы с концами и искали подспорья в том, что перекочевывали с детьми от одних соседей к другим, играя незавидную роль буфонов и приживальцев.

Причина такого сравнительного довольства заключалась отчасти в общей дешевизне жизни, но преимущественно в крайней неприхотливости требований.

Ограничивались исключительно своим, некупленным. Денежных издержек требовала только одежда, водка и в редких случаях бакалейные товары. В некоторых помещичьих семьях (даже не из самых бедных) и чай пили только по большим праздникам, а о виноградном вине совсем было не слышно[46]. Настойки, наливки, квас, мед – вот напитки, которые были в ходу, а домашние соленья и маринады фигурировали в качестве закусок. За столом подавали все свое, за исключением говядины, которая вследствие этого употреблялась редко. Домочадцы, не имея понятия о так называемых разносолах, удовлетворялись этим обиходом вполне, да и гости претензий не заявляли. Было бы жирно и всего вдоволь – вот мерило, которым руководилось тогдашнее помещичье гостеприимство.

Сто, двести рублей (ассигнациями) считались в то время большими деньгами. И вот когда они случайно скоплялись в руках, то для семьи устраивалось что-нибудь прочное. Покупали сукна, ситцев и проч., и с помощью домашних мастеров и мастериц члены семьи обшивались. Дома продолжали ходить в стареньком; новое берегли для гостей. Завидят, что гости едут – и бегут переодеваться, чтобы гости думали, что гостеприимные хозяева всегда так ходят. Зимой, когда продавался залипший хлеб и разный деревенский продукт, денег в обращении было больше, и их «транжирили»; летом дрожали над каждой копейкой, потому что в руках оставалась только слепая мелочь. «Лето – припасуха, зима – прибируха», – гласила пословица и вполне оправдывала свое содержание на практике. Поэтому зимы ждали с нетерпением, а летом уединялись и пристально следили из окон за процессом созидания предстоящего зимнего раздолья.

Во всяком случае, на судьбу редко роптали. Устраивались, насколько кто мог, и на лишние куски не зарились. Сальные свечи (тоже покупной товар) берегли как зеницу ока, и когда в доме не было гостей, то по зимам долго сумерничали и рано ложились спать. С наступлением вечера помещичья семья скучивалась в комнате потеплее; ставили на стол сальный огарок, присаживались поближе к свету, вели немудреные разговоры, рукодельничали, ужинали и расходились не поздно. Если в семье было много барышень, то веселая их беседа за полночь раздавалась по дому, но ведь разговаривать и без свечей можно.

Тем не менее, в какой мере это относительно безнуждное житие отражалось на крепостной спине – это вопрос особый, который я оставляю открытым.

Образовательный уровень помещичьей среды был еще менее высок, нежели материальный. Только один помещик мог похвалиться университетским образованием, да двое (мой отец и полковник Туслицын) получили довольно сносное домашнее воспитание и имели средние чины. Остальную массу составляли недоросли из дворян и отставные прапоры. В нашей местности исстари так повелось, что выйдет молодой человек из кадетского корпуса, прослужит годик-другой и приедет в деревню на хлеба к отцу с матерью. Там сошьет себе архалук, начнет по соседям ездить, девицу присмотрит, женится, а когда умрут старики, то и сам на хозяйство сядет. Нечего греха таить, не честолюбивый, смирный народ был, ни ввысь, ни вширь, ни по сторонам не заглядывался. Рылся около себя, как крот, причины причин не доискивался, ничем, что происходило за деревенской

---

[46] Виноградное вино всех наименований выделывалось в Кашине купцом Терликовым. Не знаю, насколько эта смесь была безвредна, но, во всяком случае, она стоила недорого. Впоследствии, кроме Терликовых, подделкою вин занялись Зызыкины (в Кашине же) и Соболевы (в Ярославле). Кажется, и по сю пору их вина в ходу. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

околицей, не интересовался, и ежели жилось тепло да сытно, то был доволен и собой, и своим жребием.

Печатное дело успехом не пользовалось. Из газет (их и всего-то на целую Россию было три) получались только «Московские ведомости», да и те не более как в трех или четырех домах. О книгах и речи не было, исключая академического календаря, который выписывался почти везде; сверх того, попадались песенники и другие дешевые произведения рыночной литературы, которые выменивали у разносчиков барышни. Они одни любили от скуки почитать. Журналов не получалось вовсе, но с 1834 года матушка начала выписывать «Библиотеку для чтения», и надо сказать правду, что от просьб прислать почитать книжку отбоя не было. Всего больше нравились: «Оленька, или Вся женская жизнь в нескольких часах» и «Висячий гость», принадлежавшие перу барона Брамбеуса. Последний сразу сделался популярным, и даже его не совсем опрятною «Литературною летописью» зачитывались до упоения. Сверх того, барышни были большие любительницы стихов, и не было дома (с барышнями), в котором не существовало бы объемистого рукописного сборника или альбома, наполнениях произведениями отечественной поэзии, начиная от оды «Бог» и кончая нелепым стихотворением: «На последнем я листочке». Гений Пушкина достиг в то время апогея своей зрелости, и слава его гремела по всей России. Проникла она и в наше захолустье и в особенности в среде барышень нашла себе восторженных поклонниц. Но не мешает прибавить, что слабейшие вещи, вроде «Талисмана», «Черной шали» и проч., нравились больше, нежели произведения зрелые. Из последних наибольшее впечатление производил «Евгений Онегин», по причине легкости стиха, но истинный смысл поэмы едва ли был кому доступен.

Лишенная прочной образовательной подготовки, почти непричастная умственному и литературному движению больших центров, помещичья среда погрязала в предрассудках и в полном неведении природы вещей. Даже к сельскому хозяйству, которое, казалось бы, должно было затрогивать существеннейшие ее интересы, она относилась совершенно рутинно, не выказывая ни малейших попыток в смысле улучшения системы или приемов.

Однажды заведенные порядки служили законом, а представление о бесконечной растяжимости мужицкого труда лежало в основании всех расчетов. Считалось выгодным распахивать как можно больше земли под хлеб, хотя, благодаря отсутствию удобрения, урожаи были скудные и давали не больше зерна на зерно. Все-таки это зерно составляло излишек, который можно было продать, а о том, какою ценою доставался тот излишек мужичьему хребту, и думать надобности не было.

К этой общей системе, в качестве подспорья, прибавлялись молебны о ниспослании вёдра или дождя; но так как пути провидения для смертных закрыты, то самые жаркие мольбы не всегда помогали. Сельскохозяйственной литературы в то время почти не существовало, а ежели в «Библиотеке для чтения» и появлялись ежемесячно компиляции Шелихова, то они составлялись поверхностно, по руководству Тэера, совершенно непригодному для нашего захолустья. Под их наитием выискалось две-три личности – из молодых да ранние, которые пробовали делать опыты, но из них ничего путного не вышло.

Причина неудач, конечно, прежде всего заключалась в круглом невежестве экспериментаторов, но отчасти и в отсутствии терпения и устойчивости, составляющем характеристическую черту полуобразованности. Представлялось, что результат должен прийти сейчас же немедленно; а так как он не приходил по желанию, то неудача сопровождалась потоком ничего не стоящих ругательств, и охота к производству опытов столь же легко пропадала, как и приходила.

Нечто подобное повторилось впоследствии, при освобождении крестьян, когда чуть не поголовно все помещики возомнили себя сельскими хозяевами и, растративши попусту выкупные ссуды, кончили тем, что стремительно бежали из насиженных отцами гнезд. Как стоит это дело в настоящее время – сказать не могу, но уже из того одного, что землевладение, даже крупное, не сосредоточивается более в одном сословии, а испестрилось всевозможными сторонними примесями, – достаточно ясно, что старинный поместный

элемент оказался не столько сильным и приготовленным, чтоб удержать за собой главенство даже в таком существенном для него вопросе, как аграрный.

Вопросы внешней политики были совсем неизвестны. Только в немногих домах, где получались «Московские ведомости», выступали на арену, при гостях, кое-какие скудные новости, вроде того, что такая-то принцесса родила сына или дочь, а такой-то принц, будучи на охоте, упал с лошади и повредил себе ногу. Но так как новости были запоздалые, то обыкновенно при этом прибавляли: «Теперь уж, поди, нога зажила!» – и переходили к другому, столь же запоздалому известию. Несколько дольше останавливались на кровавой путанице, происходившей в то время в Испании между карлистами и христиносами, но, не зная начал ее, тщетно усиливались разгадать ее смысл.

Францию считали очагом безнравственности и были убеждены, что французы питаются лягушками. Англичан называли купцами и чудаками и рассказывали анекдоты, как некоторый англичанин бился об заклад, что будет целый год питаться одним сахаром, и т. д. К немцам относились снисходительнее, прибавляя, однако, в виде поправки: «Что русскому здорово, то немцу смерть». Этими краткими россказнями и характеристиками исчерпывался весь внешний политический горизонт.

О России говорили, что это государство пространное и могущественное, но идея об отечестве, как о чем-то кровном, живущем одною жизнью и дышащем одним дыханием с каждым из сынов своих, едва ли была достаточно ясна.

Скорее всего смешивали любовь к отечеству с выполнением распоряжений правительства и даже просто начальства. Никаких «критик» в этом последнем смысле не допускалось, даже на лихоимство не смотрели, как на зло, а видели в нем глухой факт, которым надлежало умеючи пользоваться. Все споры и недоразумения разрешались при посредстве этого фактора, так что если б его не существовало, то еще бог знает, не пришлось ли бы пожалеть об нем. Затем относительно всего остального, не выходящего за пределы приказаний и предписаний, царствовало полное равнодушие. Бытовая сторона жизни, с ее обрядами, преданиями и разлитою во всех ее подробностях поэзией, не только не интересовала, но представлялась низменною, «неблагородною». Старались истреблять признаки этой жизни даже среди крепостной массы, потому что считали их вредными, подрывающими систему безмолвного повиновения, которая одна признавалась пригодною в интересах помещичьего авторитета. В барщинских имениях праздник ничем не отличался от будней, а у «образцовых» помещиков песни настойчиво изгонялись из среды дворовых. Случались, конечно, исключения, но они уже составляли любительское дело, вроде домашних оркестров, певчих и т. п.

Я знаю, мне могут сказать, что бывали исторические моменты, когда идея отечества вспыхивала очень ярко и, проникая в самые глубокие захолустья, заставляла биться сердца. Я отнюдь и не думаю отрицать этого. Как бы ни были мало развиты люди, все же они не деревянные, и общее бедствие способно пробудить в них такие струны, которые при обычном течении дел совсем перестают звучать. Я еще застал людей, у которых в живой памяти были события 1812 года и которые рассказами своими глубоко волновали мое молодое чувство. То была година великого испытания, и только усилие всего русского народа могло принести и принесло спасение. Но не о таких торжественных моментах я здесь говорю, а именно о тех буднях, когда для усиленного чувства нет повода. По моему мнению, и в торжественные годины, и в будни идея отечества одинаково должна быть присуща сынам его, ибо только при ясном ее сознании человек приобретает право назвать себя гражданином.

Двенадцатый год – это народная эпопея, память о которой перейдет в века и не умрет, покуда будет жить русский народ. Но я был личным свидетелем другого исторического момента (войны 1853 – 1856 г.), близко напоминавшего собой двенадцатый год, и могу сказать утвердительно, что в сорокалетний промежуток времени патриотическое чувство, за недостатком питания и жизненной разработки, в значительной мере потускнело. У всех в памяти кремневые ружья с выкрашенными деревянными чурками вместо кремней, картонные подошвы в ратнических сапогах, гнилое сукно, из которого строилась

ратническая одежда, гнилые ратнические полушубки и проч. Наконец памятен процесс заместительства ополченских офицеров, а по заключении мира торговля ратническими квитанциями. Мне возразят, конечно, что все эти постыдные дела были совершены отдельными личностями, и ни помещичья среда (которая, впрочем, была главною распорядительницей в устройстве ополчения), ни народ не причастны им. Охотно допускаю, что во всем этом настроении преимущественными виновниками являются отдельные личности, но ведь масса присутствовала при этих деяниях – и не ахнула. Смех раздавался, смех! – и никому не приходило в голову, что смеются мертвецы…

Во всяком случае, при таком смутном представлении об отечестве не могло быть и речи об общественном деле.

К похвале помещиков того времени я должен сказать, что, несмотря на невысокий образовательный уровень, они заботливо относились к воспитанию детей, – преимущественно, впрочем, сыновей, – и делали все, что было в силах, чтобы дать им порядочное образование. Даже самые бедные все усилия напрягали, чтобы достичь благоприятного результата в этом смысле. Недоедали куска, в лишнем платье домочадцам отказывали, хлопотали, кланялись, обивали у сильных мира пороги… Разумеется, все взоры были обращены на казенные заведения и на казенный кошель, и потому кадетские корпуса все еще продолжали стоять на первом плане (туда легче было на казенный счет поступить); но как только мало-мальски позволяли средства, так уже мечтался университет, предшествуемый гимназическим курсом. И надо сказать правду: молодежь, пришедшая на смену старым недорослям и прапорам, оказалась несколько иною. К сожалению, помещичьи дочери играли в этих воспитательных заботах крайне второстепенную роль, так что даже и вопроса о сколько-нибудь сносном женском образовании не возникало. Женских гимназий не существовало, а институтов было мало, и доступ в них сопрягался с немаловажными затруднениями. Но главное все-таки, повторяю, самой потребности в женском образовании не чувствовалось.

Что касается до нравственного смысла помещичьей среды нашей местности в описываемое время, то отношения ее к этому вопросу ближе всего можно назвать страдательными. Атмосфера крепостного права, тяготевшая над нею, была настолько въедчива, что отдельные индивидуумы утопали в ней, утрачивая личные признаки, на основании которых можно было бы произнести над ними правильный суд. Рамки были для всех одинаково обязательные, а в этих общих рамках обязательно же вырисовывались контуры личностей, почти ничем не отличавшихся одна от другой. Разумеется, можно было бы указать на подробности, но они зависели от случайно сложившейся обстановки и притом носили родственные черты, на основании которых можно было легко добраться до общего источника. Впрочем, из всей настоящей хроники довольно явственно выступает неприглядная сторона нравственного состояния тогдашнего культурного общества, и потому я не имею надобности возвращаться к этому предмету. Прибавлю одно: крайне возмутительным фактом являлась гаремная жизнь и вообще неопрятные взгляды на взаимные отношения полов. Язва эта была достаточно-таки распространена и нередко служила поводом для трагических развязок.

Остается сказать несколько слов о религиозном настроении. В этом отношении я могу свидетельствовать, что соседи наши были вообще набожны; если же изредка и случалось слышать праздное слово, то оно вырывалось без намерения, именно только ради красного словца, и всех таких празднословов без церемонии называли пустомелями. Сверх того, довольно часто встречались личности, которые, очевидно, не понимали истинного смысла самых простых молитв; но и это следует отнести не к недостатку религиозности, а к умственной неразвитости и низкому образовательному уровню.

* * *

Переходя от общей характеристики помещичьей среды, которая была свидетельницей

моего детства, к портретной галерее отдельных личностей, уцелевших в моей памяти, я считаю нелишним прибавить, что все сказанное выше написано мною вполне искренно, без всякой предвзятой мысли во что бы то ни стало унизить или подорвать. На склоне лет охота к преувеличениям пропадает и является непреодолимое желание высказать правду, одну только правду. Решившись восстановить картину прошлого, еще столь недалекого, но уже с каждым днем более и более утопающего в пучине забвения, я взялся за перо не с тем, чтобы полемизировать, а с тем, чтобы свидетельствовать истину. Да и нет никакой цели подрывать то, что уже само, в силу общего исторического закона, подорвано.

Бытописателей изображаемого мною времени являлось в нашей литературе довольно много; но я могу утверждать смело, что воспоминания их приводят к тем же выводам, как и мои. Быть может, окраска иная, но факты и существо их одни и те же, а фактов ведь ничем не закрасишь.

Покойный Аксаков своею «Семейной хроникой» несомненно обогатил русскую литературу драгоценным вкладом. Но, несмотря на слегка идиллический оттенок, который разлит в этом произведении, только близорукие могут увидеть в нем апологию прошлого. Одного Куролесова вполне достаточно, чтобы снять пелену с самых предубежденных глаз. Но поскоблите немного и самого старика Багрова, и вы убедитесь, что это совсем не такой самостоятельный человек, каким он кажется с первого взгляда. Напротив, на всех его намерениях и поступках лежит покров фаталистической зависимости, и весь он с головы до пяток не более, как игралище, беспрекословно подчиняющееся указаниям крепостных порядков.

Во всяком случае, я позволю себе думать, что в ряду прочих материалов, которыми воспользуются будущие историки русской общественности, моя хроника не окажется лишнею.

XXVII. Предводитель Струнников

Наш уезд не пользовался хорошей репутацией в губернии и на сословных выборах играл очень незавидную роль. Не было примера, чтоб из среды наших помещиков избирались губернские предводители дворянства, да и на должность уездного предводителя охотников отыскивалось мало. Равнодушие к общественному делу было всеобщее; на выборы ездили очень немногие, потому что это требовало расходов, а у наших помещиков лишних денег не было.

Поэтому действующими лицами на сословных торжествах являлись преимущественно представители так называемых «складных душ» (их обыкновенно возил предводитель за свой счет) да помещики, которые сами намеревались баллотироваться на должностные места.

Благодаря этим условиям, Федор Васильич Струнников много трехлетий сряду был избираем в уездные предводители, не зная конкурентов. Каждые три года он ездил в веселой компании в губернский город, наблюдая, чтоб было налицо требуемое законом число голосов (кажется, не меньше семи; в противном случае уезд объявлялся несамостоятельным и присоединялся к соседнему уезду), и члены компании, поделив между собою должностные места, возвращались домой княжить и володеть. Это до такой степени вошло в обычай, что никому и на ум не приходило, что мог существовать иной предводитель, кроме Струнникова, иной судья, кроме Глазатова, и иной исправник, кроме Метальникова.

Струнников воспитывался в одном из высших учебных заведений, но отличался таким замечательным тупоумием и такою непреоборимою леностью, что начальство не раз порывалось возвратить его родителям. Тем не менее он был уже на старшем курсе, когда умер его отец (мать умерла раньше). Не долго думая, молодой человек оставил заведение, не кончив курса, поступил юнкером в квартировавший в нашем городе драгунский полк, дослужился до корнетского чина и вышел в отставку. А двадцати двух лет он женился на одной из помещиц нашего уезда и вслед за тем был выбран в предводители.

Он имел изрядное состояние, но собственные его имения находились в других губерниях, а у нас он пользовался цензом жены. В ее усадьбе он и жил на краю большого села, в котором скучилось несколько мелкопоместных семей.

Двухэтажный его дом, выстроенный на пригорке, господствовал над селом и держал в решпекте живущих в нем. Дом был обширный, но построенный на старинный лад и обезображенный множеством пристроек, которые совсем были не нужны, потому что владелец жил в нем сам-друг с женой и детей не имел.

Между прочим, в доме существовала большая зала в два света, которою Струнников очень гордился. По зимам он задавал в ней пиры, на которых гремел домашний оркестр и пели доморощенные певчие. Но ни парка, ни даже порядочного сада при усадьбе, как водится, не было.

Жил он нараспашку, не по состоянию. Имел отличных поваров, выписывал из Москвы настоящее виноградное вино и всякую бакалею, держал открытый стол для господ дворян, а псовая охота его даже составляла гордость целой губернии, хотя собачий лай и визг, немолчно раздававшиеся на псарном дворе, положительно отравляли существование соседей. Словом сказать, даже в то льготное время он сумел так устроиться, что, не выезжая из захолустья, не только проживал свой собственный доход, но и не выходил из долгов, делать которые был великий искусник.

В то время от предводителя ничего иного и не требовалось. Уже гораздо позднее пошли в ход всякие «принципии», а тогда спрашивалось только исправное и достаточно вместительное чрево. Ежели при хорошем желудке были налицо соответствующие материальные средства и известная доза тароватости, то на такого предводителя все смотрели с упованием. Помещики говорили: «У нас только и попить, и поесть что у предводителя», – и без всякой совести злоупотребляли гостеприимством своего излюбленного человека, который проматывал сотни душ и вылезал из кожи, чтоб заслужить от господ дворян похвалу.

Внешним видом Струнников похвалиться не мог. Рост ниже среднего, ноги короткие, живот обширный, натощак отвислый, а по принятии пищи выдающийся вперед и тугой, как барабан. Жиру и сбоку, и спереди, и сзади – без конца.

Голова маленькая, круглая, без малейших неровностей, словно на токарном станке выточенная, что в особенности ярко выступало вследствие того, что он стриг волосы под гребенку. «Зеркало души» (лицо) – вылитый мопс. Выражение лица изменчивое: натощак – огрызающееся, по принятии пищи – ласковое. С первого взгляда на него можно сказать: вот человек, который от рождения осужден на беспрерывную еду! И он, действительно, ел часто и много, и когда наедался, то все существо его наполнялось тихим мурлыканьем. Тогда проси у него, чего хочешь, – ни в чем отказа не будет.

Насколько он был неблагообразен, настолько же пригожа была его жена.

Это была в полном смысле слова писаная русская красавица: высокая, стройная, полногрудая, с прекрасным овалом лица, большими серыми глазами навыкате и густой темно-русой косой. Она тоже любила покушать, и эта общая черта сближала их настолько, что, несмотря на фатальную наружность мужа, супруги жили довольно согласно. Некогда было любоваться друг другом; днем – перед глазами тарелки, наступит ночь – темно, не видать. Одно только яблоко раздора существовало – это бесплодие Александры Гавриловны, на которое Федор Васильич горько жаловался.

– Что ж ты не рожаешь! – то и дело укорял он жену, – срам сказать, сколько лет вместе живем, а хоть бы дочку ты принесла!

На что она совершенно резонно возражала:

– И хорошо делаю, что не рожаю. Дочка-то, пожалуй, вышла бы в тебя – кто бы ее тогда, мопса такого, замуж взял!

– Ну-ну, ешь-ка, ешь! Мопс да мопс, заладила одно! Нынче мопсы-то в моде, втридорога за них дают!.. А котлетка-то, кажется, пригорела… Эй! кто там! позвать сюда Сысойку-повара!

Этим инцидент и заканчивался.

Глупым, в грубом значении этого слова, Струнникова назвать было нельзя, но и умен он был лишь настолько, чтобы, как говорится, сальных свечей не есть и стеклом не утираться. Вообще обладал тем ординарным смыслом, который не удивляет громкими делами, но совершенно достаточен для обеспечения личной безопасности. Не чувствуя ни малейшей потребности устремляться в неизведанные сферы и даже не имея понятия о подобных сферах, он легко избегал ошибок, свойственных выспренним умам, и всегда имел под руками готовый афоризм, под сению которого и укрывался, в полной уверенности, что никто его там не найдет. Он мог даже вести разговор в обществе – разумеется, не трудный, – но говорил столь своеобразно, так сказать, очертя голову, что многие его изречений вместить не могли.

– Есть когда мне разговоры обдумывать! – оправдывался он перед теми, которые оскорблялись неожиданными оборотами его речей, – у меня дела по горло, а тут еще разговоры обдумывать изволь! Сказал, что нужно – и будет!

Несмотря на несомненное простодушие, он, как я уже упомянул, был великий дока заключать займы, и остряки-помещики не без основания говаривали о нем: «Вот бы кого министром финансов назначить!» Прежде всего к нему располагало его безграничное гостеприимство: совестно было отказать человеку, у которого во всякое время попить и поесть можно. Но, кроме того, так как он ни о чем другом серьезно не думал, то, вследствие долговременной практики, в нем образовалась своего рода прозорливость на этот счет.

Верхним чутьем угадывал он заимодавца и опытной рукой накидывал на него петлю. На одних действовал посулом значительных процентов, на других – ласкою и мелкими одолжениями. Или назовется окрестить новорожденного, или на свадьбе, в качестве посаженого отца, фигурирует. Приедет в мундире, в белых перчатках – картина! – как тут отказать! Неудач не бывало, всем окрестным помещикам он был должен, даже таким, которые сами были по уши в долгах. Но не брезговал и богатенькими мужичками, и ежели где крупной суммы не дадут, то удовольствуется и малой, а остальное в другом месте выпросит.

Заслышит, что у какого-нибудь мужика-крепыша кубышка завелась, заедет и начнет петлю закидывать.

– Ехал мимо, – скажет, – думаю, дай заеду на кума посмотреть. Здорово, куманек! Чайку-то дашь, что ли?

– Помилуйте, сударь! чего другого… Эй, вы! поворачивайтесь проворнее!

– Что, как дела?

– Дела как сажа бела! Похвалить нельзя.

– Ну, это ты врешь, кум. Кубышка-то в подполье непочатая лежит.

– Какая у нас, сударь, кубышка!

– Известно, какие кубышки бывают. Ну что, как крестный сынок? дочка посаженая как?

– Всё слава богу.

– Слава богу – лучше всего. Я, брат, простыня человек, старых приятелей не забываю. Вот ты так спесив стал; и не заглянешь, даром что кум!

– Помилуйте! смею ли я!

– Чего «смею ли»! Всякого, кто ни придет – всех милости просим! а для благоприятеля и подавно кусок найдется!

Выпьет чашку, выпьет другую, а потом шуточкой да смешком и поведет настоящую речь:

– Ну, так как же, друг, нам с кубышкой твоей быть! Так без пользы у тебя деньги лежат, а я бы тебе хороший процент дал.

При этом вступлении кум начинает беспокойно шевелить лопатками.

– Право! мне, брат, немного и нужно. Рубликов двести – триста на недельку перехватить.

– Что вы, сударь! где же мне эко место денег взять!

– А много, так три полсотни дай. Я тебе их через неделю возвращу, да беленькую за благодарность прибавлю… пользуйся!

– Что вы! беленькую! словно уж много!

– Нет, я таков. Всякое дело по справедливости люблю делать. Ты меня одолжишь, а я тебя за это благодарить буду.

И будет сидеть и шутить до тех пор, пока кум хоть две полсотни не выложит на стол.

Словом сказать, уж на что была туга на деньги матушка, но и она не могла устоять против льстивых речей Струнникова, и хоть изредка, но ссужала-таки его небольшими суммами. Разумеется, всякий раз после подобной выдачи следовало раскаяние и клятвы никогда вперед не попадать впросак; но это не помогало делу, и то, что уж однажды попадало в карман добрейшего Федора Васильича, исчезало там, как в бездонной пропасти.

Зато Струнников не получал жалованья и вел себя «благородно», то есть взяток не брал; зато он кормил и поил весь уезд.

Надобно, впрочем, отдать справедливость Струнникову; обращение его с крестьянами и дворовыми было очень миролюбивое. Все выработанные крепостной легальностью ограничения, дававшие подневольному люду возможность вздохнуть, соблюдались им безусловно. Мужики жили исправно и через меру барщиной не отягощались; дворовые смотрели весело, несмотря на то, что в доме царствовала вечная сутолока по случаю беспрерывно сменявших друг друга гостей. Одно в нем было скверно: ни одного лакея не звал по имени, но для каждого имел свой свист. С утра начинали раздаваться по дому разнообразнейшие свисты, то короткие, то протяжные, то тихие, то резкие, то напоминавшие какой-нибудь песенный мотив. И беда «хаму», который опрометью не прибегал на присвоенный ему свист: Федор Васильич все готов был простить, кроме этого преступления.

Но этим, так сказать, домашним мягкосердечием и исчерпывались добродетели Струнникова. Как предводитель, обязанный наблюдать за своими собратиями, он просто никуда не годился. И это было совершенно понятно, потому что кругом жили всё заимодавцы, на действия которых поневоле приходилось смотреть сквозь пальцы.

Впрочем, для того чтобы еще яснее обрисовать личность нашего предводителя, я считаю нелишним описать его будничный день.

* * *

Летнее утро; девятый час в начале. Федор Васильич в синем шелковом халате появляется из общей спальни и через целую анфиладу комнат проходит в кабинет. Лицо у него покрыто маслянистым глянцем; Глаза влажны, слипаются; в углах губ запеклась слюна. Он останавливается по дороге перед каждым зеркалом и припоминает, что вчера с вечера у него чесался нос.

– Так и есть! – ворчит он, – вскочил-таки прыщ… анафема!

Из уст его вылетает короткий свист, на который опрометью вбегает камердинер Прокофий.

– Умываться готово! – докладывает он.

– Без тебя знаю. Погода какова?

– С утра дождичек шел небольшой, а теперь повеселело.

– Повеселело, так тем лучше. Сено сушить будем. Староста пришел?

– В лакейской дожидается.

– Умываться! живо!

В одну минуту Струнников уж умыт. Раздается новый свист, другого фасона, на который вбегает буфетчик Тимофей и докладывает, что в столовой накрыт чай.

– Без тебя знаю. Скажи старосте, чтоб дожидался. Как отопью чай, позову.

В столовой, на круглом столе, кипит самовар; на подносе лежит целая груда домашнего печенья; сбоку стоит нарезанный ломтями холодный ростбиф.

Александра Гавриловна разливает чай.

Она в утреннем белом капоте и в кружевной головной накидке, придерживающей косу. Лицо у нее чистое, свежее, точно вымытое росой и только что обсохшее под лучами утреннего солнца; сквозь тонкий батист капота отчетливо обрисовываются контуры наливных плечей и груди. Но Федор Васильич не засматривается на нее и кратко произносит:

– Сахару больше клади.

– Пей-ка, пей, нечего учить!

Струнников выпивает вместительную чашку чая с густыми сливками и съедает, одну за другой, несколько булок. Утоливши первый голод, он протягивает жене чашку за новым чаем и взглядывает на нее.

– Всем бы ты хороша, – начинает он шутки шутить, – и лицом взяла, и плечи у тебя… только вот детей не родишь!

– Слышала. Надоел. Еще бабушка надвое сказала, кто виноват, что у меня детей нет.

– Уж не я ли? Да в здешней во всей округе ни одной деревни нет, в которой бы у меня детей не было. Это хоть у кого хочешь спроси.

– Говорят тебе: надоел. Молчи, коли другого разговора нет.

– У меня-то нет разговора! Да я о чем угодно, что угодно… сейчас!

Федор Васильич пьет другую чашку и каждый глоток заедает куском ростбифа, который жадно разрывает зубами. Александра Гавриловна тоже кушает аппетитно.

– Вот мы утром чай пьем, – начинает он «разговор», – а немцы, те кофей пьют. И Петербург от них заразился, тоже кофей пьет.

Александра Гавриловна молчит.

– Что ж ты молчишь? Сама же другого разговора просила, а теперь молчишь! Я говорю: мы по утрам чай пьем, а немцы кофей. Чай-то, сказывают, в ихней стороне в аптеках продается, все равно как у нас шалфей. А все оттого, что мы не даем…

– Чего не даем?

– Чаю… Какая ты бестолковая! К нам чай прямо из Китая идет, а, кроме нас, китайцы никому не дают. Такой уж уговор: вы нам чай давайте, а мы вам ситцы, да миткали, да сукна… да всё гнилые!

– Ишь врет! Свисти-ка да зови старосту. Только понапрасну человека задерживаешь.

– Не велик барин – подождет!

– Да ведь для тебя же…

– Знаю, что для меня. А то для кого же? Ну-ну, не хорохорься! сейчас позову.

Раздается свист.

– Зови старосту! что он там торчит!

Входит староста Терентий, здоровый и коренастый мужик с смышленою физиономией. Он знает барина как свои пять пальцев, умеет угадывать малейшие его думы и взял себе за правило никогда не прекословить. Смотрит не робко.

– Как дела?

– Дела середние, Федор Васильич; похвалить нельзя. Дожди почесть каждый день льют. Две недели с сеном хороводимся – совсем потемнело.

– Ничего, съедят.

– Съесть – отчего не съесть; даже в охотку съедят.

– А коли съедят, стало быть, и разговаривать не об чем. Нам не продавать.

– Зачем продавать! у нас своей скотины довольно.

– А ты говоришь: потемнело! Коли съедят, так чего ж тут! Не люблю я, когда пустяки говорят. В полях каково?

– Слава богу. Рожь налила, подсыхать скоро начнет. И овес выкидывается.

– Ладно. У меня чтобы всего, и ржи и овса – всего чтобы сам-сём было. Как хочешь, так и распоряжайся, я знать ничего не хочу.

– Чтой-то, Федор Васильич, овса-то будто уж и многонько. По здешнему месту и слыхом о таких урожаях не слыхивали.

– Ну не сам-сём, так сам-пят. С богом; ступай!

– Счастливо!

Староста удаляется. Во время хозяйственного совещания Александра Гавриловна тоже снялась с места и удалилась восвояси. Раздается короткий свист.

– Одеваться готово! – провозглашает Прокофий.

– И без тебя знаю. Пошли на конный двор сказать, чтоб ждали меня. Буду сегодня выводку смотреть. А оттуда на псарный двор пройду. Иван Фомич здесь?

– В кабинете дожидается.

Иван Фомич Синегубов – письмоводитель Струнникова. Это старый подьячий, которого даже в то лихоимное время нашли неудобным держать на коронной службе. Но Федор Васильич именно за это и возлюбил его.

– Уж коли тебя из уездного суда за кляузы выгнали, значит, ты дока! – сказал он. – Переходи на службу ко мне, в убытке не будешь.

Синегубов последовал приглашению, но, по временам, роптал, что предводитель жалованья ему не платит, а ежели и отдаст разом порядочный куш, то сейчас же его взаймы выпросит. Таким образом долг рос и, вопреки здравому смыслу, запутывал не должника, а невольного кредитора.

Неоднократно Иван Фомич сбирался бежать от своего патрона, но всякий раз его удерживала мысль, что в таком случае долг, доросший до значительной цифры, пожалуй, пропадет безвозвратно. Напротив, Струнников, воздерживаясь от уплат, разом достигал двух целей: и от лишних денежных трат освобождался, и «доку» на привязи держал.

Федор Васильич приходит в кабинет и начинает без церемонии одеваться перед письмоводителем.

– Много делов? – спрашивает он.

– Бумажка от губернатора пришла. Мудреная. Спрашивает, какой у нас дух в уезде.

– Какой такой дух?

– Я и сам, признаться… Мыслей, что ли, каких ищут.

– А я почем знаю! Не жареное – не пахнет. Мыслей! Отроду не бывало, и вдруг вздумалось!

– По поводу, говорит, недавних событий… француз, стало быть… Да вот извольте сами прочесть.

– Эк их! Француз бунтует, а у нас – дух! Не стану я читать; пиши прямо: никакого у нас духу нет.

– Слушаю-с.

– А теперь с богом. У меня своего дела по горло. На конный иду, да и на псарню давно не заглядывал. Скажите на милость… «дух» нашли!

Но Синегубов переминается с ноги на ногу и не спешит уйти.

– Должку бы мне, Федор Васильич… хоть часточку! – произносит он нерешительно.

– На что тебе?

– Помилуйте! как же на что! своих денег прошу, не чужих!

– Я тебя спрашиваю, на что тебе деньги понадобились, а ты чепуху городишь. Русским языком тебе говорят; зачем тебе деньги?

– Все-таки… как же возможно!

– Один ты, как перст, ни жены, ни детей нет; квартира готовая, стол готовый; одет,

обут… Жаден ты – вот что!

– Федор Васильич!

– На табак ежели, так я давно тебе говорю: перестань проклятым зельем нос набивать. А если и нужно на табак, так вот тебе, двугривенный – и будет. Это уж я от себя, вроде как подарок… Нюхай!

Струнников отпирает бюро, достает из кошелька двугривенный и подает его письмоводителю.

– С богом. А на бумагу так и отвечай: никакого, мол, духу у нас в уезде нет и не бывало. Живем тихо, французу не подражаем… А насчет долга не опасайся: деньги твои у меня словно в ломбарте лежат. Ступай.

Покончивши с письмоводителем, Федор Васильич отправляется на конный двор, но, пришедши туда, взглядывает на часы… Скоро одиннадцать, а ровно в полдень его ждет завтрак.

– Сегодня я недолго у вас буду: дела задержали, – объявляет он, – выведите «Модницу»!

«Модница» – молодая кобылка, на которую Струнников возлагает большие надежды. Конюха знают это и зараньше ее настегали, чтоб она взвивалась на дыбы и «шалила» перед барином.

– Зачем на дыбы становиться даете? – командует барин, видимо, однако, довольный, что любимица его «шалит». – Отпустите поводья, пусть смирно идет… вот так! Арапник дайте!

Старший конюх становится посредине площадки с длинной кордой в руках; рядом с ним помещается барин с арапником. «Модницу» заставляют делать круги всевозможными аллюрами: и тихим шагом, и рысью, и в галоп, и во весь карьер. Струнников весело попугивает кобылу, и сердце в нем начинает играть.

– Ишь селезенкой хлопает… да, из этой кобылы будет прок! – восклицает он, натешившись минут двадцать.

– Какого еще коня нужно! – раздаются кругом льстивые голоса.

– Вывести «Илью Муромца»!

Выводят статного жеребца, который считается главным производителем небольшого струнниковского завода. Почуяв кобылу, он тоже взвивается на дыбы и громко ржет.

– Ишь гогочет, подлец! знает, чем пахнет! – восторгается барин и ни с того, ни с сего, вспомнивши недавний доклад Синегубова, прибавляет: – А тут еще духов каких-то разыскивают! вот это так дух!

«Илью Муромца» тоже заставляют всякие аллюры выделывать; но Струнников уже не с прежним вниманием следит за его работой. Он то и дело вынимает из кармана часы и наконец убеждается, что стрелка уже переходит за половину двенадцатого.

– Будет; устал. Скажите на псарной, что зайду позавтракавши, а если дела задержат, так завтра в это же время. А ты у меня, Артемий, смотри! пуще глаза «Модницу» береги! Ежели что случится – ты в ответе!

– Чему случиться… оборони бог!

– То-то. С богом; ведите жеребца назад.

Струнников, не торопясь, возвращается домой и для возбуждения аппетита заглядывает в встречающиеся по пути хозяйственные постройки. Зайдет на погреб – там девчонки под навесом сидят, горшки со сметаной между коленами держат, чухонское масло мутовками бьют.

– Это вы чухонское масло для стола бьете? – молвит он, – бейте! Повару много масла нужно.

Или в мучной лабаз завернет; там ключник муку пекарю отпускает.

– Муку, что ли, для стола выдаешь? – выдавай. Только смотри: выдавай весом и записывай, что отпустил. А то ведь я вас знаю!

– Мы, кажется, Федор Васильич…

– Ладно. Знаю я, что я Федор Васильич, а не Сидор Карпыч…

Стрелка показывает без пяти минут двенадцать; Струнников начинает спешить. Он почти бегом бежит домой и как раз поспевает в ту минуту, когда на столе уж дымится полное блюдо горячих телячьих котлет.

– Корнеич не приходил? – спрашивает он, усаживаясь в кресле за стол, против Александры Гавриловны, и завешивая грудь салфеткой.

– Не приходил-с.

– Через час послать за ним. Сказать, что к спеху.

Федор Васильич съедает котлету за котлетой. Он рвет мясо зубами, и когда жует, то смотрит вдаль, словно о чем-то думает. От наслаждения лицо его принимает почти страдальческое выражение. Съевши три котлеты и запивши их квасом (вина он совсем никакого не пьет), он в недоумении смотрит на жареного цыпленка, как будто не может дать себе отчета, сыт он или не сыт. Наконец решает вопрос в отрицательном смысле, захватывает добычу вилкой и тащит на тарелку.

Покончивши с цыпленком, приступает к суфле из грецких орехов и столь же исправно действует ложкой, как действовал вилкой и ножом. Наконец наелся и утомился, словно пять верст пробежал. По комнате раздается тяжкий и продолжительный вздох.

– О, господи Иисусе Христе! – стонет Струнников, закрывая глаза, и тут же за столом впадает в забытье.

Во сне он видит целую эпопею. Снится ему тот самый бычок, котлеты из которого он только что ел. Бычок родился ровно шесть недель тому назад от коровы Красавки и, подобно родительнице своей, имел пеструю одежду. С первых же шагов своего вступления в свет он обнаружил недюжинные телячьи способности, обещая со временем сделаться умным и степенным быком, надежным руководителем вверенного ему стада. Но еще в то время, когда он был в утробе матери, в сердце Струнникова созрел уже умысел, решивший его участь совсем по-иному. Решено было дать теленку солидное домашнее воспитание, то есть отпаивать. Сначала поили его молоком матери, потом стали поить от двух коров. Федор Васильич ежедневно заходил на скотный двор и радовался, видя, как он постепенно глупеет. Глупел-глупел, наконец лег и стал приходить в дремотное состояние. Это был признак, что домашнее воспитание кончилось и что отныне предстояло лишь пользоваться плодами его. Одним утром Струнников пришел в хлев, в котором неподвижно был распростерт обреченный бычок, приказал поднять его, собственными руками прощупал тушу и сделал ребром ладони промер частей, приговаривая; «задняя нога, другая нога, котлеты, грудина, печенка» и т. д. А в заключение пришел в такое восхищение, что поцеловал теленка в слюнявую морду, так сказать, «простился» с ним.

– Будет! завтра же колоть! а то, оборони бог, еще подохнет! – слетел с его языка жестокий приговор.

Теленок вышел на славу. Четвертый уж день подают его, в разнообразнейших видах, за стол, а все ему конца не видать. Покуда есть еще в охотку, но ведь и здесь, как и во всех человеческих желаниях и стремлениях, предел положен. То-то вот горе, что жена детей не рожает, а кажется, если б у него, подобно Иакову, двенадцать сынов было, он всех бы телятиной накормил, да еще осталось бы! А кроме того, как на грех, с наступлением рабочей страды и гости перемежились. Неминучее дело, придется с соседями делиться. Корнеичу уж снесли переднюю ногу, – не послать ли другую Псу Васильичу? Да, ему, именно ему, больше некому. Пускай старый пес жрет!

«А печенку сами съедим! – мелькает в его голове, – велю я ее в сливочном масле зажарить, да за завтраком и подать. Жирная должна быть печенка… аграмадная!»

Многие печенку в сметане жарят, но он этой манеры не придерживается.

Сметана все-таки сметана, как ее ни прожаривай. А ежели она чуточку сыра, так хоть совсем не ешь. Печенка да в сливочном масле – вот это так именно царская еда! Жевать не нужно; стоит языком присосаться – она и проскочила!

Струнников делает губами движение, словно присасывается. Он сладко вздыхает и хочет повернуться на бок, чтобы ловчее уснуть, но в эту минуту в передней происходит движение, которое пробуждает его.

– Степан Корнеич пришел, – докладывает Прокофий.

– Пришел? а? кто посылал? – спрашивает барин, с трудом приходя в себя.

– Сами изволили посылать.

– Без тебя знаю. Зови.

Степан Корнеич Пеструшкин – мелкопоместный дворянин, владеющий в одном селе с предводителем пятнадцатью душами крестьян. Это пьяненький и совсем согнутый старик, плешивый, с красным, обросшим окладистой бородой лицом, над которым господствует сизый, громадных размеров нос. Дома он почти не живет; с утра бродит по соседям; в одном месте пообедает, в другом поужинает, а к ночи, ежели ноги таскают, возвращается домой. В особенности часто бывает он у Струнникова, при котором состоит в качестве домашнего шута. Хозяйством у него заправляет старуха жена да пожилая дочь, у которой один глаз вытек. Четверо сыновей находятся в разброде и не только не помогают родителям, но очень редко шлют известия о себе. Бедность, как говорится, непокрытая, так что даже Струнникову никогда не приходило на мысль занять у Корнеича денег.

– А! Корнеич! как поживаешь? каково прижимаешь? – шутливо приветствует старика Федор Васильич, – зачем пожаловал?

– Присылали, значит!

– Кто присылал? сроду не присылал! Эй! водки, да вчерашней телятины на закуску нарежьте. Садись, гость будешь. Как дела?

– Дела как следует. Вот теперь лето, запасаемся всякого нета, а зимой будем жить богато, со двора покато.

– Ври больше. У самого сусеки от зерна ломятся, а он аллилуйю поет! А я, брат, распорядился: приказал старосте, чтоб было у меня всего сам-сём – и шабаш!

– Что вам беспокоиться, благодетель! Ежели бы вы и сам-деся заказали, так и то как раз в самую пору было бы! Что захотите, то и будет.

– А что ты думаешь! и то дурак, что не заказал. Ну, да еще успеется. Как Прасковья Ивановна? У Аринушки новый глаз не вырос ли вместо старого?

– Всё-то вы, сударь, шутите!

– Нисколько не шучу, Намеднись в городе судья мне рассказывал: проявился в Париже фокусник, который новые глаза делает. Не понравились, например, тебе твои глаза, сейчас к нему: пожалуйста, мусье, севуплей! Живым манером он тебе старые глаза выковыряет, а новые вставит!

– И видят?

– За сто верст видят. Хочешь голубые, хочешь черные – какие вздумаешь. Ну, да тебе в Париж пешком далеко ходить; сказывай, где был, побывал!

– Ах, благодетель! бедняк, что муха: где забор, там и двор, где щель, там и постель. Брожу, покуда ноги носят; у Затрапезных побывал.

– Эк тебя нелегкая за семь верст киселя есть носила!

– И то сказать… Анна Павловна с тем и встретила, – без тебя, говорит, как без рук, и плюнуть не на что! Людям, говорит, дыхнуть некогда, а он по гостям шляется! А мне, признаться, одолжиться хотелось. Думал, не даст ли богатая барыня хоть четвертачок на бедность. Куда тебе! рассердилась, ногами затопала! – Сиди, говорит, один, коли пришел! – заниматься с тобой некому. А четвертаков про тебя у меня не припасено.

– Обедать-то дала ли?

– Покормили. Супцу третьеводнишнего дала да полоточка солененького с душком… Поел, отдохнул часок, другой, да и побрел в обратную.

– Ишь ведь! по горло в деньгах зарылась, а четвертака пожалела! Да разве тебе очень нужно?

– Уж так нужно, так нужно…

– Делать нечего, придется, видно, для милого дружка раскошеливаться. Приходи на днях – дам.

– По-намеднишнему, небось, сделаете! Мне бы теперь…

– Теперь – не могу: за деньгами ходить далеко. А разве я намеднись обещал? Ну, позабыл, братец, извини! Зато разом полтинничек дам. Я, брат, не Анна Павловна, я… Да ты что ж на водку-то смотришь – пей!

Корнеич выпивает одну рюмку, потом другую; хочет третью налить, но Струнников останавливает его.

– Будет. Сразу ошалеть, видно, хочешь! пьет рюмку за рюмкой, словно нутро у него просмоленное!

Пеструшкин выпил и начинает есть. Он голоден и сразу уничтожает всю принесенную телятину; но все-таки видно, что еще не сыт.

– Тебе икры не хочется ли?

– Кабы…

– Ладно. Приходи через неделю – дам. А теперь выпей еще рюмку и давай «комедии» разыгрывать.

«Комедии» – любимое развлечение Струнникова, ради которого, собственно говоря, он и прикармливает Корнеича. Собеседники удаляются в кабинет; Федор Васильич усаживается в покойное кресло; Корнеич становится против него в позитуру. Обязанность его заключается в том, чтоб отвечать на вопросы, предлагаемые гостеприимным хозяином. Собеседования эти повторяются изо дня в день в одних и тех же формах, с одним и тем же содержанием, но незаметно, чтобы частое их повторение прискучило участникам.

– Сказывай, каков ты есь человек? – вопрошает Струнников.

– Человек божий, обшит кожей, покрыт рогожей. Издали ни то, ни се, а что ближе, то гаже.

– Правду сказал. Отчего у тебя такой нос, что смотреть тошно?

– Мой нос для двух рос, – одному достался. А равным образом и от пьянства.

– И это правда. Зачем ты бороду отрастил?

– Борода глазам замена: кто бы плюнул в глаза – плюнет в бороду.

– Хорошо. Сказал ты, что человек есь; а кроме того еще что?

– Кроме сего, государя моего пошехонский дворянин. Имею в селе Словущенском пятнадцать душ крестьян, из коих две находятся в бегах, а прочие в поте лица снискивают для господина своего скудное пропитание.

– Что такое есть русский дворянин?

– Дворянин есть имя общее, знаменитое. Дворянином называется всякий потомственный слуга Престол-Отечества, начиная с Федора Васильевича Струнникова и кончая Степаном Корнеевым Пеструшкиным и Марьей Маревной Золотухиной.

– Какая главная привилегия дворянина?

– Главная и единственная: не бей меня в рыло. Затем прочие подразумеваются сами собой.

– Что скажешь об обязанностях дворянина?

– Дворянин должен подавать пример прочим. Он обязан быть почтителен к старшим, вежлив с равными и снисходителен к низшим. Отсутствие гордости, забвение обид и великодушие к врагам составляют лучшее украшение, которым гордится русский дворянин.

Следует еще несколько вопросов и ответов непечатного свойства, и собеседники переходят уже к настоящим «комедиям». Корнеич представляет разнообразные эпизоды из

житейской практики соседних помещиков. Как Анна Павловна Затрепезная повару обед заказывает; как Пес (Петр) Васильич крестьянские огороды по ночам грабит; как овсецовская барыня мужа по щекам бьет и т. д. Все это Корнеич проделывает так живо и образно, что Струнников захлебывается от наслаждения.

Наконец репертуар истощился. Федор Васильич начинает потирать живот и посматривает на часы. Половина второго, а обедать подают в три.

– Хоть бы ты новенькое что-нибудь придумал, а то все одно да одно, – обращается он к Корнеичу, – еще полтора часа до обеда остается – пропадешь со скуки. Пляши.

– Рад бы, да не могу, благодетель: ноги не служат. Было время, плясывал я. Плясал, плясал, да и доплясался.

– Чего «доплясался»! все-то ты, старый пес, клянчишь! какого еще тебе рожна нужно!

– Оно конечно… Чужую беду руками разведу… Да ведь и другая пословица на этот предмет есть: беда не дуда; станешь дуть – слезы идуть. Вот оно, сударь, что!

– А ты привыкай! Дуй себе да дуй! На меня смотри: слыхал разве когда-нибудь, чтоб я на беду пожаловался? А у меня одних делов столько, что в сутки не переделаешь. Вот это так беда!

– Какая это беда! плюнуть да растереть…

– Попробуй! Давеча губернатор с бумагой взошел; спрашивает, какой у нас в уезде дух? А я почем знаю!

– Тсс…

– Ему-то с полагоря: бросил камень в воду, а я его вытаскивай оттоле! Чу! никак кто-то приехал?

Струнников прислушивается и ждет. Через минуту в передней слышится движение.

– Федул Ермолаев приехал! – докладывает лакей.

Струнникова слегка передергивает. Федул Ермолаев – капитальный экономический мужичок, которому Федор Васильич должен изрядный куш.

Наверное, он денег просить приехал; будет разговаривать, надоедать. Кабы заранее предвидеть его визит, можно было бы к соседям уйти или дома не сказаться. Но теперь уж поздно; хочешь не хочешь, а приходится принимать гостя… нелегкая его принесла!

– Дожидайся! так я и отдал! – свирепо ворчит он сквозь зубы. – Зови!

Входит высокий и статный мужик в синем суконном армяке, подпоясанном краевым кушаком. Это, в полном смысле слова, русский молодец, с веселыми глазами, румяным лицом, обрамленным русыми волосами и шелковистой бородой.

От него так и пышет здоровьем и бодростью.

– Федул Ермолаич! сколько лет, сколько зим! Садись, брат, гость будешь! – приветствует его Струнников. – Эй, кто там! водки и закуски!

– Не извольте беспокоиться – не стану, – отказывается гость, присаживаясь, – на минуточку я… дела в вашей стороне нашлись…

– Не успел взойти, а уж «на минуточку»! Куда путь-дорогу держишь?

– Раидина Надежда Савельевна звала. Пустошоночка у нее залишняя оказалась, продать охотится. А мы от добрых делов не прочь.

– Когда же ты от добрых делов отказываешься! скоро все пустоша по округе скупишь; столько земли наберешь, что всех помещиков перещеголяешь.

– Где нам! Оно точно, что валошами[47] по малости торгуем, так скотинку в пустошах нагуливаем. Ну, а около скотины и хлебопашеством тоже по малости занимаемся.

– Сказывай: «по малости»! Куры денег не клюют, а он смиренником прикидывается!

– Зачем прикидываться! Мы свое дело в открытую ведем; слава богу, довольны, не жалуемся. А я вот о чем вас хотел, Федор Васильич, просить: не пожалуете ли мне сколько-нибудь должку?

---

[47] «ВЮлошами» называются в нашей местности волы. Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

– А я разве тебе должен? – шутит Струнников.

– Да тысячек с семь побольше будет.

– А я думал, только три. И когда вы, черт вас знает, накапливаете!

– Помилуйте! я и записочки ваши захватил. Половинку бы мне… С Раидиной рассчитался бы.

– Половинку! чудак, братец, ты! зачем же третьего дня не приезжал? Я бы тебе в ту пору хоть все с удовольствием отдал!

– Как же это, сударь, так?

– Да так вот; третьего дня были деньги, а теперь их нет… ау!

– Сколько уж времени, Федор Васильич, прошло!

– И больше пройдет – ничего не поделаешь. Приходи, когда деньги будут, – слова не скажу, отдам. Даже сам взаймы дам, коли попросишь. Я брат, простыня человек; есть у меня деньги – бери; нет – не взыщи. И закона такого нет, чтобы деньги отдавать, когда их нет. Это хоть у кого хочешь спроси. Корнеич! ты законы знаешь – есть такой закон, чтобы деньги платить, когда их нет?

– Не слыхал. Много есть законов, а о таком не слыхал.

– Вот видишь! уж если Корнеич не слыхал – значит, и разговаривать нечего!

Ермолаев слегка мнется, как будто у него в голове сложилась какая-то комбинация, и наконец произносит:

– Вот что, сударь, я вам предложить хочу. Пустошоночка у вас есть, «Голубиное Гнездо» называется. Вам она не к рукам, а я бы в ней пользу нашел.

– Как тебе пользы не найти. Ты и самого меня заглотаешь – пользу найдешь.

– На что же-с! В ней, в пустошоночке-то, и всего десятин семьдесят вряд ли найдется, так я бы на круг по двадцати рубликов заплатил. Часточку долга и скостили бы, а остальное я бы подождал.

– Нельзя.

– Отчего же-с? Цена, кажется, настоящая.

– Хоть разнастоящая, да нельзя.

– Помилуйте! что же такое?

– А то и «такое», что земля не моя, а женина, а она на этот счет строга. Кабы моя земля была, я слова бы не сказал; вот у меня в Чухломе болота тысяча десятин – бери! Даже если б и женину землю можно было полегоньку, без купчей, продать – и тут бы я слова не сказал…

– Уговорить Александру Гавриловну можно.

– Попробуй!

Наступает минута молчания. Ермолаев испускает тяжкий и продолжительный вздох.

– А я было понадеялся, – произносит он, – и к Раидиным надвое выехал; думал: ежели не сладится дело с вами – поеду, а сладится, так и ехать без нужды не для чего.

– Стало быть, ехать нужно.

– И то, видно, ехать. Как же, сударь, должок?

– Пристал! Русским языком говорят: когда будут деньги – всё до копейки отдам!

Федул Ермолаич снова вздыхает, но наконец решается сняться с места.

– Нечего, видно, с вами делать, Федор Васильич, – говорит он, – а я, было, думал… Простите, что побеспокоил напрасно.

Он уж совсем собрался уходить, как Струнникову внезапно приходит в голову счастливая мысль.

– Стой! – восклицает он, – лесу на сруб купить хочешь?

– Не занимаемся мы лесами-то. По здешнему месту девать их некуда. Выгоды мало.

– А ты займись. Я бы тебе Красный-Рог на сруб продал; в нем сто десятин будет. Лес-то какой! сосняк! Любое дерево на мельничный вал продавай.

– Ничего лесок. Не занимаемся мы – вот только что. Да опять и лес не ваш, а Александры Гавриловны.

– Ничего; на сруб она согласится. Она, брат, насчет лесов глупа. Намеднись еще

говорила: «Только дороги эти леса портят, вырубить бы их».

– Это точно, что в лесу дороги…

– Ну, вот; скажу ей, что нашелся простофиля, который согласился вырубить Красный-Рог, да еще деньги за это дает, она даже рада будет. Только я, друг, этот лес дешево не продам!

– А как по-вашему?

– Да по сту рублей за десятину – вот как!

Сказавши это, Струнников широко раскрывает глаза, словно и сам своим ушам не верит, какая такая цифра слетела у него с языка. Ермолаев, в свою очередь, вскочил и начинает креститься.

– За всю-то угоду, значит, десять тысяч? – вопрошает он в изумлении, – прощенья просим! извините, что обеспокоил вас.

– Чего? Куда бежишь? Ты послушай! Я тебе что говорю! Я говорю: десять тысяч, а ежели это тебе дорого кажется, так я и на семь согласен.

– И семь тысяч – много денег.

– Заладила сорока Якова: много денег! Вспомни, лес-то какой! деревья одно к одному, словно солдаты стоят! Сколько же по-твоему!

– По-моему, тысячки бы три с половиной.

Торг возобновился. Наконец устанавливается цифра в пять тысяч ассигнационных рублей, на которую обе стороны согласны.

– Только вот что? Уговор пуще денег. Продаю я тебе сто десятин, а жене скажем, что всего семьдесят пять. Это чтобы ей в нос бросилось!

– Как же так? чай, условие писать будем?

– И условие так напишем: семьдесят пять десятин, или более или менее… Корнеич? так можно?

– И завсегда так условия пишут.

– Видишь, и Корнеич говорит, что можно. Я, брат, человек справедливый: коли делать дела, так чтоб было по чести. А второе – вот что. Продаю я тебе лес за пять тысяч, а жене скажем, что за четыре. Три тысячи ты долгу скостишь, тысячу жене отдашь, а тысячу – мне. До зарезу мне деньги нужны.

– А я было думал – все пять тысяч из долгу вычесть.

– Шутишь. Я, брат, и сам с усам. Какая же мне выгода задаром лес отдавать, коли я и так могу денег тебе не платить?

Ермолаев с минуту колеблется, но наконец решается.

– Что с вами делать! Только для вас… – произносит он с усилием. – Долгу-то много еще останется: с лишком четыре тысячи.

– Я их тебе на том свете калеными орехами отдам. К Раидиным поедешь?

– Как же-с; пустошоночка-то все-таки нужна.

– Ну, счастливо. Дорого не давай – ей деньги нужны. Прощай! Да и ты, Корнеич, домой ступай. У меня для тебя обеда не припасено, а вот когда я с него деньги получу – синенькую тебе подарю. Ермолаич! уж и ты расшибись! выброси ему синенькую на бедность.

Ермолаев вынимает из-за пазухи бумажник и выдает просимую сумму. Корнеич уходит домой, обрадованный и ободренный. Грубо выпроводил его от себя Струнников, но он не обижается: знает, что сам виноват. Прежде он часто у патрона своего обедывал, но однажды случился с ним грех: не удержался, в салфетку высморкался. Разумеется, патрон рассвирепел.

– Коли ты, свинтус, в салфетки сморкаться выдумал, так ступай из-за стола вон! – крикнул он на него, – и не смей на глаза мне показываться!

И с тех пор, как только наступает обеденный час, так Струнников беспощадно гонит Корнеича домой.

Обедать приходится сам-друг; но на этот раз Федор Васильич даже доволен, что нет посторонних; надо об «деле» с женой переговорить.

Начинается сцена обольщения. К удовольствию Струнникова, Александра Гавриловна даже не задумывается.

– Где же это… Красный-Рог? – спрашивает она совершенно равнодушно.

– А там… не доходя, прошедши, – шутит он в ответ.

– Много ли же Ермолаев дает?

– Четыре тысячи. Три тысячи долга похерить, а тысячу – тебе… чистоганом.

– Стало быть, за тысячу рублей?

– Говорят: за четыре. Долг-то ведь тоже когда-нибудь платить придется.

– Все равно, денег только тысяча рублей будет.

Струнников начинает беспокоиться. С Александрой Гавриловной это бывает: завернет совсем неожиданно в сторону, и не вытащишь ее оттуда.

Поэтому он не доказывает, что долг те же деньги, а пытается как-нибудь замять встретившееся препятствие, чтоб жена забыла об нем.

– Ну да, – говорит он, – все тысячу рублей разом и получишь. Накупишь в Москве токов[48] и будешь здесь зимой на балах щеголять.

– Уж конечно, ни копейки тебе не отдам.

– Мне на что, у меня своих денег девать некуда.

Препятствие устранилось. Мысли Александры Гавриловны разбрелись в разных направлениях.

– Однако дурак он! – произносит она, аппетитно свертывая тоненький ломтик ветчины.

– Кто дурак?

– Да Ермолаев твой. Все его умным человеком прославили, а по-моему он просто дурак. Дает тысячу рублей за лес, а кому он нужен?

– И на старуху бывает поруха. Вот про меня говорят, что я простыня, а я, между прочим, умного-то человека в лучшем виде обвел. Так как же, Сашенька, – по рукам?

– Мне что ж! только ежели условие будешь писать, так чтоб он как можно скорее лес срубил.

– Это уж само собой.

Супруги выходят из-за стола довольные друг другом. Александра Гавриловна мечтает, что, получивши деньги, она на пятьсот рублей закажет у Сихлерши два платья. В одном появится 31 декабря у себя на балу, когда соседи съедутся к ним Новый год встречать, в другом – в субботу на масленице, когда у них назначается folle journee[49]. Первое будет светло-лиловое, атласное, второе – из синего гроденапля. Платья будут стоить не больше пятисот рублей, а на остальные пятьсот она брильянтиков купит. Надо же парюры освежить. Кстати: взглянуть, каковы-то у нее цветы?

Она вынимает из шифоньерки несколько коробок с искусственными цветами и рассматривает, можно ли будет употребить их в дело. Оказывается, что цветы еще совсем свежи, точно сейчас из магазина вышли. Она считает себя экономною, и находка очень ее радует. Она подходит к зеркалу и заранее отыскивает место для цветов. Вот этот букет она приколет к корсажу; вот эту гирлянду – по юбке пустит. Хорошо, что она сохранила цветы, а то, пожалуй, на два платья пятисот рублей и не хватило бы. Решено. Осенью она едет в Москву и все устроит. А Федору Васильичу ни копейки не даст. Будет. Пускай, откуда хочет, оттуда и достает – ей что за дело!

Струнников, с своей стороны, тоже доволен. Но он не мечтает, во-первых, потому, что отяжелел после обеда и едва может добрести до кабинета, и, во-вторых, потому, что мечтания вообще не входят в его жизненный обиход, и он предпочитает проживать деньги, как придется, без заранее обдуманного намерения. Придя в кабинет, он снимает платье,

---

[48] ток – головной убор. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

[49] Веселый вечер

надевает халат и бросается на диван.

Через минуту громкий храп возвещает, что излюбленный человек в полной мере воспользовался послеобеденным отдыхом.

В шесть часов он проснулся, и из кабинета раздается протяжный свист.

Вбегает буфетчик, неся на подносе графин с холодным квасом. Федор Васильич выпивает сряду три стакана, отфыркивается и отдувается. До чаю еще остается целый час.

– Каково на дворе?

– Солнышко. Тепло-с.

– У вас всегда тепло. Шкура толста, не проймешь. Никто не приежал?

– Никого не было-с.

– Ах, пес их возьми! Именно, как псы, по конурам попрятались. Ступай. Сегодня я одеваться не стану; и так похожу. Хоть бы чай поскорее!

Струнников начинает расхаживать взад и вперед по анфиладе комнат. Он заложил руки назад; халат распахнулся и раскрыл нижнее белье. Ходит он и ни о чем не думает. Пропоет «Спаси, господи, люди твоя», потом «Слава отцу», потом вспомнит, как протодьякон в Успенском соборе, в Москве, многолетие возглашает, оттопырит губы и старается подражать. По временам заглянет в зеркало, увидит: вылитый мопс! Проходя по зале, посмотрит на часы и обругает стрелку.

– Ишь ведь, бредет не бредет! как стояла на четверть седьмом, так и теперь четверть седьмого показывает. А та бестия, часовая, и совсем не двигается.

Но вот уже близко. Раздается свист.

– Неужто никто не приезжал?

– Никак нет-с.

– Да вы, вороны, не просмотрели ли? Позвать Синегубова.

– Они, Федор Васильич, лыка не вяжут-с.

– Пьян? – ну, черт с ним!.. О-о-ох!

Бьет семь. Приходится пить чай сам-друг.

Самовар подан. На столе целая груда чищеной клубники, печенье, масло, сливки и окорок ветчины. Струнников съедает глубокую тарелку ягод со сливками и выпивает две больших чашки чая, заедая каждый глоток ветчиной с маслом.

– А я уж распорядилась с деньгами, – сообщает Александра Гавриловна.

– Ну, и слава богу.

– Осенью в Москву поеду и закажу у мадам Сихлер два платья. Это будет рублей пятьсот стоить, а на остальные брильянтиков куплю.

– Отлично.

– Только если этих денег недостанет, так ты уж доплати.

– Непременно… после дождичка в четверг. Вот коли родишь мне сына, тогда и еще тысячу рублей дам.

– Опять ты за свои глупости принялся!

– Ей-богу, дам. А дочь родишь – беленькую дам. Такой уж уговор. Так ты, говоришь, в Москву поедешь?

– Разумеется. Не дома же платья шить.

– Ладно; и я с тобой поеду… О-о-ох! чтой-то мне словно душно!

– Еще бы! хоть бы ты на воздух вышел.

– Это куда?

– В сад что ли. Походил бы.

– Что я там позабыл!

Чай выпит; делать решительно нечего.

– Эй, кто там? староста не приходил?

– Никак нет-с.

– Хороводится там… Саша! давай в дураки играть!

– Давай.

Начинается игра. Струнников играет равнодушно; Александра Гавриловна, напротив, кипятится и на каждом шагу уличает мужа в плутнях.

– Это что за мода такая! начал уж разом с шести карт ходить!

– Ну-ну, не важность. Вот ты мне тройку подвалила – разве такие тройки бывают! Десятка с девяткой – ах ты, сделай милость! Отставь назад.

Но именно потому, что Александра Гавриловна горячится, она проигрывает чаще, нежели муж. Оставшись несколько раз сряду дурой, она с сердцем бросает карты и уходит из комнаты, говоря:

– Вот уж правду пословица говорит: дурак спит, а счастье у него в головах стоит. Не хочу играть.

– И не надо; для тебя же ведь я… О-о-ох, что-то мне нынче с утра душно!

«Динь-динь-динь!» – раздается вдруг колокольчик. Струнников стремительно вскакивает и прислушивается.

– Девятый час. Кого это нелегкая в такую пору принесла! – ворчит он.

– Становой приехал, – докладывает лакей, – одеваться изволите?

– И так хорош. Зови.

Должность станового тогда была еще внове; но уж с самого начала никто на этот новый институт упований не возлагал. Такое уж было неуповательное время, что как, бывало, ни переименовывают – все проку нет. Были дворянские заседатели – их куроцапами звали; вместо них становых приставов завели – тоже куроцапами зовут. Ничего не поделаешь.

Входит становой, пожилой человек, довольно жалкого вида. На нем вицмундир, который он, по-видимому, надел, въезжая в околицу села. Ведет он себя перед предводителем смиренно, даже робко.

– А, господин становой! тебя только недоставало! Сейчас будем ужинать, – куда бог несет?

– Господин исправник на завтра в город вызывают.

– Зачем?

– И сам, признаться, не знаю. Не объясняют.

– А коли вызывает да не объясняет зачем – значит, пиши пропало. Это уж верно.

– За что бы, кажется…

– За пакостные дела – больше не за что. За хорошие дела не вызовут, потому незачем. Вот, например, я: сижу смирно, свое дело делаю – зачем меня вызывать! Курица мне в суп понадобилась, молока горшок, яйца – я за все деньги плачу. Об чем со мной разговаривать! чего на меня смотреть! Лицо у меня чистое, без отметин – ничего на нем не прочтешь. А у тебя на лице узоры написаны.

– Чтой-то уж, Федор Васильич!

– Нечего «чтой-то»! Я, брат, насквозь вижу. У меня, что ли, ночевать будешь?

– Никак невозможно-с. В Кувшинниково еще заехать нужно. Пал слух, будто мертвое тело там открылось. А завтра, чуть свет, в город поспевать.

– Вот хоть бы мертвое тело. Кому горе, а тебе радость. Умер человек; поди, плачут по нем, а ты веселишься. Приедешь, всех кур по дворам перешаришь, в лоск деревню-то разоришь… за что, про что!

– Помилуйте, неужто же я злодей!

– И не злодей, а привычка у тебя пакостная; не можешь видеть, где плохо лежит. Ну, да будет. Жаль, брат, мне тебя, а попадешь ты под суд – верное слово говорю. Эй, кто там! накрывайте живее на стол!

Покуда накрывают ужинать, разговор продолжается в том же тоне и духе.

Бессвязный, бестолковый, грубо-назойливый.

Ужин представляет собой подобие обеда, начиная с супа и кончая пирожным. Федор Васильич беспрестанно потчует гостя, но так потчует, что у того колом в горле кусок становится.

– Ешь, брат! – говорит он, – у меня свое, не краденое! Я не то, что другие-прочие: я за

все чистыми денежками плачу. Коли своих кур не случится – покупаю; коли яиц нет – покупаю! Меня, брат, в город не вызовут.

Или:

– Пей водку. Сам я не пью, а для пьяниц – держу. И за водку деньги плачу. Ты от откупщика даром ее получаешь, а я покупаю. Дворянин я – оттого и веду себя благородно. А если бы я приказной строкой был, может быть, и я водку бы жрал да по кабакам бы христарадничал.

Словом сказать, насилу несчастный земский чин конца дождался. Но и на прощанье Струнников не удержался и пустил ему вдогонку:

– Провожать я тебя не выйду – это уж, брат, ау! А ежели со службы тебя выгонят – синенькую на бедность пожертвую. Прощай.

Пора спать. Федор Васильич с трудом вылезает из кресла и, пошатываясь, направляется в общую спальню.

– Староста дожидается, – напоминает лакей.

– Некогда. Скажи, чтоб завтра пришел.

Я мог бы привести еще несколько примерных дней – приезд гостей, званые обеды, балы и т. д., – но полагаю, что изложенного выше вполне достаточно, чтобы обрисовать моего героя. Соседи езжали к Струнниковым часто и охотно, особенно по зимам, так как усадьба их, можно сказать, представляла собой въезжий дом, в котором всякий ел, пил и жил сколько угодно. Ездили и в одиночку, но больше сговаривались компанией, потому что хозяин на народе просить деньги взаймы совестился. Наезды эти производили в доме невообразимую суматоху; но последняя уже сделалась как бы потребностью праздной жизни, так что не она действовала угнетающим образом на нервы, а порядок и тишина.

Сам Федор Васильич очень редко езжал к соседям, да, признаться сказать, никто особенно и не жаждал его посещений. Во-первых, прием такого избалованного идола требовал издержек, которые не всякому были по карману, а во-вторых, приедет он, да, пожалуй, еще нагрубит. А не нагрубит, так денег выпросит – а это уж упаси бог!

* * *

Шли годы, Струнников из трехлетия в трехлетие переходил в звании предводителя, словно оно приросло к нему. Явился было однажды конкурент, в лице обруселого француза Галопена, владельца – тоже по жене – довольно большого оброчного имения, который вознамерился «освежить» наш край, возложив на себя бремя его представительства. Но успеха «поджарый француз» не имел, а только денег понапрасну целую уйму извел. Приехал он в уездный город (устроенной усадьбы у него в имении не было) месяца за два до выборов, нанял просторный дом, убрал его коврами и объявил открытый стол для господ дворян. И съели и выпили у него за это время с три пропасти, но когда наступил срок выборов, то в губернский город отправились всё те же выборные элементы, как и всегда, и поднесли Федору Васильичу на блюде белые шары. Это до того умилило Струнникова, что он прослезился и всех заслюнявил, целуясь. А Галопен так с пустом и уехал восвояси.

В 1848 году показалось, однако, чуть заметное движение, которое возвестило Струнникову, что и для излюбленных людей проходит пора беспечального жития. В губернию приехал новый губернатор и погрозил оттоле.

Помещику Григорию Александровичу Перхунову, о котором дошло до сведения, что он «шумаркает», велено было внушить, чтобы сидел смирно. А в заключение предводитель получил бумагу с надписью: «весьма секретно», в которой уже настойчиво требовались сведения о духе, господствующем в уезде, и впервые упоминалась кличка «социалист».

– Скажи ты мне, что за специялисты такие проявились? – тоскливо допытывался Федор Васильич у Синегубова.

– Не знаю-с. Стало быть, «специями» занимаются, – ответил Иван Фомич.

Однако, спустя короткое время, пронесся разъяснительный слух, что в Петербурге

накрыли тайное общество злонамеренных молодых людей, которые в карты не играют, по трактирам не ходят, шпицбалов не посещают, а только книжки читают и промежду себя разговаривают. Струнников серьезно обеспокоился и самолично полетел к Перхунову, который, как об этом упомянуто выше, уже был однажды заподозрен в вольнодумстве.

– Брось ты это, сделай милость! – приступил он к вольнодумцу.

– Что такое «это»?

– Книжки брось!

– У меня и книжек в заводе нет. Купить – не на что; выпросить – не у кого.

– Ну, разговаривать брось.

– Неужто и разговаривать нельзя?

– Стало быть, нельзя. Вот я тебя до сих пор умным человеком считал, а выходит, что ни капельки в тебе ума нет. Говорят, нельзя – ну, и нельзя.

Однако кутерьма кой-как улеглась, когда сделалось известным, что хотя опасность грозила немалая, но начальственная бдительность задушила гидру в самом зародыше. Струнников уже снова впал было в забытье, как вдруг зашумел турка, а вслед за тем открылась англо-французская кампания. Прогремел Синоп; за ним Альма, Севастополь…

Рекрутские наборы следовали один за другим; раздался призыв к ополчению; предводители получали бумаги о необходимости поднятия народного духа вообще и дворянского в особенности; помещики оживились, откупщики жертвовали винные порции…

Каждому уезду предстояло выставить почти целую армию, одетую, обутую, снабженную продовольствием.

Я не говорю, чтобы Струнников воспользовался чем-нибудь от всех этих снабжений, но на глазах у него происходило самое наглое воровство, в котором принимал деятельное участие и Синегубов, а он между тем считался главным распорядителем дела. Воры действовали так нагло, что чуть не в глаза называли его колпаком (в нынешнее время сказали бы, что он стоит не на высоте своего призвания). Ему, впрочем, и самому нередко казалось, что кругом происходит что-то неладное.

– Неразбериха пошла! в отставку подавать пора! – твердил он, уныло поникая головой.

Но, разумеется, в отставку не подал, да и помещики наши не допустили бы его до этого, хотя Галопен, по случаю ополчения, опять посетил наш край, предлагая свои услуги.

Но всё на свете кончается; наступил конец и тревожному времени. В 1856 году Федор Васильич съездил в Москву. Там уже носились слухи о предстоящих реформах, но он, конечно, не поверил им. Целый год после этого просидел он спокойно в Словущенском, упитывая свое тело, прикармливая соседей и строго наблюдая, чтоб никто «об этом» даже заикнуться не смел. Как вдруг пришло достоверное известие, что «оно» уже решено и подписано.

Первый сообщил ему эту весть вольнодумец Перхунов.

– Слышали? – произнес он шепотом, чуть не на цыпочках входя в кабинет.

– Чего слышать! всех глупостей не переслушаешь! – отрезал Струнников совершенно уверенно.

– Волю дают!

– А ты знаешь ли, что я тебя за эти слова к исправнику отправлю, да напишу, чтобы он хорошенько тебя поучил! – пригрозил Федор Васильич, не теряя самообладания.

– Мне что ж… отправляй, пожалуй! Я собственными глазами, два часа тому назад, в «Ведомостях» читал.

– И это соврал. Не мог ты читать, потому что этого нет. А чего нет, так и в «Ведомостях» того не может быть.

– Да говорят же тебе…

– Нет этого… и быть не может – вот тебе и сказ. Я тебя умным человеком считал, а теперь вижу, что ни капельки в тебе ума нет. Не может этого быть, потому ненатурально.

– Напечатано, тебе говорят.

– И напечатано, а я не верю. Коли напечатано, так всему и верить? Всегда были рабы и

всегда будут. Это щелкоперы французы выдумали: перметтё-бонжур да коман ву порте ву[50] – им это позволительно. Бегают, куцые, да лягушатину жрут. А у нас государство основательное, настоящее. У нас, брат, за такие слова и в кутузке посидеть недолго.

Но не прошло и четверти часа, как прикатил Петр Васильич Кутяпин. И он вошел на цыпочках, словно остерегался, чтобы даже шаги его не были услышаны, кому ведать о сем не надлежит.

– Волю… волю дали! – начал он, притаив дыхание.

– Да что вы, взбеленились, что ли? – прикрикнул Струнников, наступая на Кутяпина, так, что тот попятился.

– В газетах… помилуйте!

За Кутяпиным с села прибежали: Корнеич, два брата Бескормицыны, Анна Ивановна Зацепова. Эти не читали в газетах, но тоже слышали.

– Что ж это такое, Федор Васильевич, с нами будет? – приставала госпожа Зацепова.

– Что будет, то и будет – только и всего! Отстаньте, без вас тошно.

Струнников продолжал стоять на своем, но вестникам гибели все-таки удалось настолько его разбудить, что он взволновался.

– Эй, кто там! водки и закусить. Гоните верхового к старику Бурмакину!

Сказать, что Федор Васильич, мол, кланяется и просит газету почитать.

Увы! «оно» было действительно напечатано. Хотя, по-видимому, дело касалось только западных губерний, а все-таки… Однако Струнников и тут не убедился.

– Ну что ж, так и есть! на мое и вышло! – торжествовал он, – там поляки; они бунтовщики, им так и нужно. А мы сидим смирно, властям повинуемся – нас обижать не за что.

– Ладно; надейся! – поддразнивал Перхунов, – ты же все твердил: молчи да не рассуждай! – вот и домолчались.

– А по-моему, за то, что мы болтали да вкривь и вкось рассуждали, – за это нас бог и наказывает!

– За то ли, за другое ли, а теперь дожидайся от губернатора бумаги. Уж не об том будут спрашивать, зачем ты вольный дух распускаешь, а об том, отчего у тебя в уезде его нет. Да из предводителей-то тебя за это – по шапке!

И действительно, не прошло и недели, как Федор Васильич получил официальное приглашение пожаловать в губернию. Вспомнились ему в ту пору его же вещие слова, которыми он некогда напутствовал станового пристава: за хорошими делами вызывать не будут.

Когда он приехал в губернский город, все предводители были уже налицо.

Губернатор (из военных) принял их сдержанно, но учтиво; изложил непременные намерения правительства и изъявил надежду и даже уверенность, что господа предводители поспешат пойти навстречу этим намерениям. Случай для этого представлялся отличный: через месяц должно состояться губернское собрание, на котором и предоставлено будет господам дворянам высказать одушевляющие их чувства.

– А теперь, господа, возвратитесь в свои уезды, – сказал губернатор в заключение, – и подготовьте ваших достойных собратий. Прощайте, господа! Бог да благословит ваши

[50] Позвольте, здравствуйте, как вы поживаете

начинания!

– Вы бы, вашество, заступились за нас! – молвил Струнников среди общего молчания.

– Чего-с?

– Попросили бы, вашество, за нас!

– Ах, Федор Васильич, Федор Васильич! – сообразил наконец губернатор, – я сам дворянин, сам помещик – неужто же я не понимаю? Н-н-н-о!

Он поднял указательный палец, развел руками и удалился. Совещание кончилось.

В половине декабря состоялось губернское собрание, которое на этот раз было особенно людно. Даже наш уезд, на что был ленив, и тот почти поголовно поднялся, не исключая и матушки, которая, несмотря на слабеющие силы, отправилась в губернский город, чтобы хоть с хор послушать, как будут «судить» дворян. Она все еще надеялась, что господа дворяне очнутся, что начальство прозреет и что «злодейство» пройдет мимо.

Последовал церемониал открытия собрания. Очередные дела, а в том числе и баллотировку, обработали живо. Через трое суток наступил судный день. Все съехавшиеся были к полудню налицо в зале собрания, так что яблоку было упасть негде. Гул от множества голосов волнами ходил по обширной зале, тот смутный гул, в котором ни одного членораздельного звука различить нельзя.

Из буфета доносились соблазнительные звуки приготовляемой закуски. Наконец из общей толпы выделился почтенный старичок, губернский предводитель, и мерными шагами начал всходить на возвышение, к губернскому столу. В зале мгновенно воцарилась мертвая тишина.

– Господа! я имею предложить на ваше обсуждение очень важное сообщение, – начал губернский предводитель взволнованным голосом, – прикажете прочитать?

– Читайте! читайте!

Предводитель медленно, с расстановкой, прочитал бумагу, в которой присутствующие приглашались к принесению очень важной жертвы и высказывалась надежда, что они и на этот раз, как всегда, явят похвальный пример единодушия и содействия.

– Господа! без прений! – провозгласил председатель собрания, – пусть каждый поступит, как ему бог на сердце положит!

И прослезился.

– Без прений! без прений! – загудело собрание. Предводитель прочитал другую бумагу – то был проект адреса. В нем говорилось о прекрасной заре будущего и о могущественной длани, указывающей на эту зарю. Первую приветствовали с восторгом, перед второю – преклонялись и благоговели. И вдруг кто-то в дальнем углу зала пропел:

Заря утрення взошла,
Собой радость принесла…

– Кто там поет! стыдно-с! – рассердился старичок предводитель и продолжал: – Господа! кому угодно? Милости просим к столу! подписывать!

Все как один снялись с места и устремились вперед, перебегая друг у друга дорогу. Вокруг стола образовалась давка. В каких-нибудь полчаса вопрос был решен. На хорах не ждали такой быстрой развязки, и с некоторыми дамами сделалось дурно.

– Ай да голубчики! в одночасье продали! – раздался с хор чей-то голос.

Но излюбленные люди не обращали внимания ни на что. Они торопливо подписывались и скрывались в буфет, где через несколько минут уже гудела целая толпа и стоял дым коромыслом.

– А какую мне икру зернистую сегодня из Москвы привезли! – хвастался содержатель буфета, – балык! сёмга! словом сказать, отдай все, да и мало!

Действительно, икра оказалась такая, что хоть какое угодно горе за ней забыть было можно. Струнников один целый фунт съел.

Зала опустела. Только немногие старички бродили по опустелому пространству и

уныло между собой переговаривались.

– Бежали? – укоризненно говорил один, указывая на буфет, – то-то вот и есть! Водка да закуска – только на это нас и хватает!

– Похоже на то!

– Позвольте! – убеждал другой, – если уж без того нельзя… ну, положим! Пристроили крестьян – надо же и господ пристроить! Неужто ж мы так останемся? Рабам – права, и нам – права!

– Это уж опосля!

– То-то вот «опосля»! Опосля да опосля – смотришь, и так измором изноет!

– Нет, вы мне вот что скажите! – ораторствовал третий. – Слышал я, что вознаграждение дадут… положим! Дадут мне теперича целый ворох бумажек – недолго их напечатать! Что я с ними делать стану? Сесть на них да сидеть, что ли?

– В ломбард положите…

– А ломбард что с ними будет делать?

– Ну, ломбард найдет место.

– Ведь нам теперича в усадьбы свои носа показать нельзя, – беспокоился четвертый, – ну, как я туда явлюсь? ни пан, ни хлоп, ни в городе Иван, ни в селе Селифан. Покуда вверху трут да мнут, а нас «вольные»-то люди в лоск положат! Еще когда-то дело сделается, а они сразу ведь ошалеют!

– Ну, в случае чего и станового позвать можно!

– Дожидайтесь! приедет он к вам! да он их же науськивать будет – вот увидите…

И так далее.

Вечером того же дня в зале собрания состоялся бал. Со всех концов губернии съехались дамы и девицы, так что образовался очаровательный цветник. Съехались и офицеры расквартированной в губернии кавалерийской дивизии; стало быть, и в кавалерах недостатка не было. Туалеты были прелестные, совсем свежие, так что и в столице нестыдно в таких щегольнуть.

Попечительные маменьки рассчитывали на сбыт дочерей, а потому последняя копейка ставилась ребром. На хорах играл бальный оркестр одного из полков; в зале было шумно, весело, точно утром ничего не произошло.

Разумеется, и Струнниковы присутствовали на бале. Александра Гавриловна, все еще замечательно красивая, затмевала всех и заставляла биться сердца.

Но Федор Васильич, по обыкновению, не воздержался от нахальных привычек. Не будучи пьян, он прислонился к одной из колонн и громогласно твердил:

– Рубашку сняли! шкуру содрали!

Ну, раз сказал, другой сказал – можно бы и остепениться, а он куда тебе! заладил одно, да и кричит во всеуслышание, не переставаючи: – Содрали!

На его несчастие, тут же поблизости стоял «имеющий уши да слышит» (должность такая в старину была); стоял, стоял, да и привязался.

– Вы это об ком изволите говорить? – полюбопытствовал он.

Струнников вытаращил глаза, но не струсил. Побежал к губернскому предводителю и пожаловался. Губернский предводитель побежал к губернатору.

– Помилуйте, вашество! – роптал излюбленный человек всей губернии, – мы жертвуем достоянием… на призыв стремимся… Наконец это наша зала, наш бал…

– Успокойтесь! я все устрою! Федор Васильич! прошу вас! тут вкралось какое-нибудь недоразумение!

– Какое недоразумение! Я об заимодавце об одном говорил, что он шкуру с меня содрал, а «он» скандалы мне делает! – солгал Струнников.

Губернатор поманил пальцем «имеющего уши да слышит» и пошептался с ним. Затем последний с минуту как бы колебался и вдруг исчез без остатка.

– Так-то, брат, лучше, вперед умнее будешь! – процедил ему вдогонку Струнников.

Справедливость требует сказать, что Федор Васильич восторжествовал и в высшей

инстанции. Неизвестно, не записали ли его за эту проделку в книгу живота, но, во всяком случае, через неделю «имеющий уши да слышит» был переведен в другую губернию, а к нам прислали другого такого же.

Однако мрачные предчувствия помещиков не сбылись. И крестьяне и дворовые точно сговорились вести себя благородно. Возвратившись домой, матушка даже удивилась, что «девки» еще усерднее стараются услуживать ей.

Разумеется, она нашла этому явлению вполне основательное, по ее мнению, толкование.

– Остались у меня всё старые да хворые, – говорила она, – хоть сейчас им волю объяви – куда они пойдут! Повиснут у меня на шее – пои да корми их!

Тем не менее нельзя было отрицать, что черная кошка уже пробежала. Как ни притихли рабы, а все-таки возникали отдельные случаи, которые убеждали, что тишина эта выжидательная. Помещики приподнимали завесу будущего и, стараясь оградить себя от предстоящих столкновений, охотно прибегали к покровительству закона, разрешавшего ссылать строптивых в Сибирь. Но этому скоро был положен предел. Закона не отменили, а распорядились административно, чтобы каждый подобный случай сопровождался предварительным исследованием.

Летом 1858 года произошли по уездам выборы в крестьянский комитет.

Струнникова выбрали единогласно, а вторым членом, в качестве «занозы», послали Перхунова. Федор Васильич, надо отдать ему справедливость, настоятельно отпрашивался.

– Увольте, господа, – взывал он, – устал, мочи моей нет! Шутка сказать, осьмое трехлетие в предводителях служу! Не гожусь я для нынешних кляузных дел. Все жил благородно и вдруг теперь кляузничать начну!

– Просим! просим! – раздался в ответ общий голос, – у кого же нам и заступы искать, как не у вас! А ежели трудно вам будет, так Григорий Александрыч пособит.

– Рад стараться! – отозвался Перхунов, которому улыбалась перспектива всегда готового стола у патрона.

Кончилось, разумеется, тем, что Струнников прослезился. С летами он приобрел слезный дар и частенько-таки поплакивал. Иногда просто присядет к окошку и в одиночку всплакнет, иногда позовет камердинера Прокофья и поведет с ним разговор:

– Рад, Прокатка?

– Чему, сударь, радоваться!

– По глазам вижу, что рад. Дашь ты стречка от меня!

– Неужто, сударь, вы так обо мне полагаете? Кажется, я…

И так далее.

Поговорив немного, Федор Васильич отошлет Прокофья и всплакнет:

– Добрый он! добрые-то и все так… А вот Петрушка… этот как раз… Что тогда делать? Сбежит Петрушка, сбежит ключница Степанида, сбежит повар… Кто будет кушанье готовить? полы мыть, самовар подавать? Повар-то сбежит, да и поваренка сманит…

Посидит, потужит – и опять всплакнет.

Струнников еще не стар – ему сорок лет с небольшим, но он преждевременно обрюзг и отяжелел. От чрезмерной ли еды это с ним сталось, или от того, что реформа пристигла, – сказать трудно, но во всяком случае он не только наружно, но и внутренно изменился. Никогда в жизни он ничем не тревожился и вдруг почувствовал, что все его существо переполнилось тревогой. Всего больше его мучило то, что долги стало труднее делать.

Соседи говорят: такое ли теперь время, чтобы деньги в долги распускать!

Богатеи из крестьян тоже развязнее сделались. Отказывают без разговоров, точно и не понимают, что ему до зарезу деньги нужны. А некоторые, которым он должен был по простым запискам, даже потребовали, чтобы расписки были заменены настоящими документами. Намеднись сунулся он к Ермолаичу, а тот ему:

– Нет, Федор Васильич, вы и без того мне десять тысяч серебрецом должны. Будет.

Так и не дал. Насилу даже встал, такой-сякой, как он к нему в избу вошел. Забыл,

подлая душа, что когда ополчение устраивалось, он ему поставку портянок предоставил…

Благо еще, что ко взысканию не подают, а только документы из года в год переписывают. Но что ежели вдруг взбеленятся да потребуют: плати! А по нынешним временам только этого и жди. Никто и не вспомнит, что ежели он и занимал деньги, так за это двери его дома были для званого и незваного настежь открыты. И сам он жил, и другим давал жить… Все позабудется: и пиры, и банкеты, и оркестр, и певчие; одно не позабудется – жестокое слово:

«Плати!»

Чем жить? – этот вопрос становился ребром. И без этого он кругом обрезал себя: псарный двор уничтожил, оркестр и певчих распустил, – не жить же ему как какой-нибудь Корнеич живет! И никто ему не поставит в заслугу, что он, например, на масленице, ради экономии, folle journee у себя отменил; никто не скажет: вот как Федор Васильич нынче себя благоразумно ведет – надо ему за это вздохнуть дать! Нет, прямо так-таки в суд и полезут. Хорошо, что еще судья свой брат-дворянин, не сразу в обиду даст, а что ежели и его шарахнут? Ах, жестокие нынче времена, не милостивые!

Чем жить? В Чухломе что было залишнего – все продано; в Арзамасе деревнюшка была – тоже продали. И продавать больше нечего. Александра Гавриловна, правда, еще крепится, не позволяет пустоша продавать, да какая же корысть в этих пустошах! Рыжик да белоус на них растут – только слава, что земля! Да и она крепится единственно потому, что не знает действительного положения вещей. Ведь она почти по всем обязательствам поручительницей подписалась – будьте покойны, потянут и ее! И его чухломские мужики, и ее словущенская усадьба – всё в одну прорву пойдет.

Вот теперь крестьян освобождать вздумали – может быть, деньги за них выдадут… Да и тут опять: выдадут из казны деньги, а их тут же по рукам расхватают. И теперь уж, поди, сторожат.

Да, всплакнешь, ой-ой-ой, как всплакнешь, коли голова с утра до ночи только такими мыслями и полна!

Между тем дело освобождения уж началось. С изнурительною медленностью тянулось межеумочное положение вещей, испытуя терпение заинтересованных сторон. Шли пререкания; ходили по рукам анекдоты; от дела не бегали и дела не делали. Вся несостоятельность русского культурного общества того времени выступила с поразительною яркостью. Несмотря на то, что вопрос поставлен был бесповоротно и угрожал в корне изменить весь строй русской жизни, все продолжали жить спустя рукава, за исключением немногих; но и эти немногие сосредоточили свои заботы лишь на том, что под шумок переселяли крестьян на неудобные земли и тем уготовали себе в будущем репрессалии. Хорошо еще, что программу для собеседований заранее сверху прислали, а то, кажется, в губерниях пошел бы такой разброд, что и не выбраться оттуда.

Наконец, однако, наступил вожделенный день 19-го февраля 1861 года.

«Осени себя крестным знамением, русский народ!» – раздалось в церквах, и вслед за этими словами по всей России пронесся вздох облегчения.

Приехали на места мировые посредники, дети отцов своих, и привезли с собой старые пререкания, на новый лад выстроенные. Открылись судбища, на которых ежедневно возникали совсем неожиданные подробности. В особенности помещиков волновал вопрос о дворовых людях, к которому, в течение предшествовавших трех лет, никто не приготовился. Сроки службы, установленные «Положением», оказались обязательными только на бумаге, а на деле заинтересованные стороны толковали их каждая по-своему. Бывали случаи, когда посредники разом увольняли в каком-нибудь помещичьем доме всех дворовых, так что дом внезапно превращался в пустыню. Но всего больше возмущало то, что посредники говорили «хамам» вы и во время разбирательств сажали их рядом с бывшими господами.

Струнников притих. Отсидев положенный срок в губернском комитете, он воротился в Словущенское, но жизнь его уже потекла по-иному. Предчувствия не обманули его: Прокофий остался, но главного повара посредник отсудил раньше обязательного срока за то,

что Федор Васильич погорячился и дал ему одну плюху (а повар на судбище солгал и показал три плюхи).

– Это за плюху! – негодовал Струнников, – да если бы и все три, что же такое!

Он, впрочем, и на судбище не явился, так что приговор состоялся заочный. Вообще он сразу стал с посредником в контры и, по обыкновению, во всеуслышание городил об нем всякую чепуху. А тот, в отместку, повара у него отнял, а у Митрофана Столбнякова не отнял, хотя последний наверное дал три плюхи, а не одну. Не мешает, однако ж, прибавить, что Струнников отчасти был даже рад этой невзгоде, потому что она освобождала его от обязанности делать приемы, которые были ему уже не под силу. Приходилось ограничиться поваренком, который умел готовить одни битки.

– Надо об этом подумать, – говаривал он по временам жене, – битки да битки – разве это еда! Да и Арсюшка, того гляди, стречка даст.

– Ничего! Мне сестра пишет, что у нее в Москве кухарка на примете есть – отличнейшая!

– Кухарка-то? – не верю! Скажите на милость! жил-жил, поваров да кондитеров держал – и вдруг кухарка! Не согласен.

– А не согласен, так ешь Арсюшкины битки.

Скучно становилось, тоскливо. Помещики, написавши уставные грамоты, покидали родные гнезда и устремлялись на поиски за чем-то неведомым. Только мелкота крепко засела, потому что идти было некуда, да Струнников не уезжал, потому что он нес службу, да и кредиторы следили за ним. На новое трехлетие его опять выбрали всеми шарами, но на следующее выбрали уже не его, а Митрофана Столбнякова. Наступившая судебная реформа начала оказывать свое действие.

Вслед за окружным судом губерния покрылась целою сетью мировых учреждений. Хотя неудача на выборах не особенно взволновала Федора Васильича, но, сопоставляя ее с прочими обстоятельствами, он почувствовал, что она предвещает ему скорый и немилостивый конец.

Кредиторы зашевелились. Только немногие согласились переписать заемные обязательства, а главная масса прямо подала ко взысканию. На первых порах дел в новых судах было немного, и на Струнникове почти на первом им пришлось выказать быстроту и правильность своих решений. Лично он в суд не явился, а дал доверенность Синегубову, словно и сам не сомневался, что окончательно пропал. Дела ускоренным аллюром решались одно за другим в пользу истцов, и судебный пристав то и дело ездил в Словущенское с исполнительными листами, назначая сроки для описи, оценки и т. д.

Не снимая халата, Федор Васильич бродил с утра до вечера по опустелым комнатам и весь мир обвинял в неблагодарности. В особенности негодовал он на Ермолаева, который с неутомимым бессердечием его преследовал, и обещал себе, при первой же встрече, избить ему морду до крови («права-то у нас еще не отняли!» утешал он себя); но Ермолаев этого не желал и от встреч уклонялся.

– Смотрите, какие моды пошли! – громко роптал Струнников на свою оброшенность, – пили-ели, и вдруг все бросили! Хоть бы те одна собака забежала! Хоть бы одна христианская душа нашлась, чтоб сказать: вот вам, Федор Васильич! ввиду прослуженных вами девяти трехлетий и временных затруднений, которые вы испытываете, – извольте получить заимообразно куш!

Нет-таки, никто! Получают себе выкупные ссуды, и никому в голову не придет предложить! Помилуйте! разве я не отдам! Разве у меня нет имений! Стоит только на выкуп подать – вот я и с капиталом! Бери, сколько хочешь; и долг и проценты – всё получай!

На выкуп он, однако ж, не шел: боялся, что выкупную ссуду подстерегут.

Долгов-то, пожалуй, не покроют, а его последнего куска лишат, да еще несостоятельным объявят… Но и тут фортель нашелся. Ждали-ждали кредиторы, да и потребовали принудительного выкупа. Получивши это известие, он совсем растерялся. Бездна разоренья, темная и зияющая, разверзлась перед ним во всем ужасе нищеты. Он

сидел, уставившись вдаль неподвижными глазами, и шептал бессвязные слова.

Но если велик был переполох, застигнувший Федора Васильича, то изумление Александры Гавриловны было просто-напросто беспредельно.

Разумеется, ей было известно, что муж по уши запутался в долгах, но она и в подозрении не имела, что и ей придется отвечать за эти долги. Последовал ряд бурных домашних сцен, но справедливость требует сказать, что в этом испытании жена оказалась неизмеримо выше мужа. Она не только сумела овладеть собой, но и решилась всецело разделить общую участь. В доме настала мертвая тишина, и, пока Федор Васильич роптал и малодушествовал, Александра Гавриловна деятельно приготовлялась. Ждать было нечего. Покуда производились описи да оценки, Струнниковы припрятали кой-какие ценности, без шума переправили их в Москву, а вслед за тем и сами туда же уехали.

Проводов, разумеется, не было; хорошо, что хоть кредиторы не задержали.

Только Ермолаев (тогда уж первой гильдии купец), притаившись в одном из флигелей господской усадьбы, вдогонку крикнул:

– Ни ложки, ни плошки не оставили! Полон дом серебра был, самовар серебряный был, сколько брильянтов, окромя всего прочего, – все припрятали! Плакали наши денежки! дай бог двадцать копеек за рубль получить!

Словом сказать, супруги ободрились. Как будто давивший их столько лет кошмар внезапно рассеялся, и перед глазами их открылся совсем новый просвет.

– Вот ты мне говорил иногда, что я на браслеты да на фермуары деньги мотаю – ан и пригодились! – весело припоминала дорогой Александра Гавриловна: – в чем бы мы теперь уехали, кабы их не было?

– Умница ты у меня! умница! – отзывался Федор Васильич, любовно целуя ручки жены и прижимаясь головой к ее плечу.

Но угрозы еще не кончились. Нашлись бессердечные кредиторы, которые заговорили об утайке вещей и возбудили вопрос о злостном банкротстве.

Как вдруг разнесся слух, что Струнниковы исчезли из Москвы.

* * *

Года через четыре после струнниковского погрома мне случилось прожить несколько дней в Швейцарии на берегу Женевского озера. По временам мы целой компанией делали экскурсии по окрестностям и однажды посетили небольшой городок Эвиан, стоящий на французском берегу. Войдя в сад гостиницы, мы, по обыкновению, были встречены целой толпой гарсонов, и беспредельно было мое удивление, когда всмотревшись пристально в гарсона, шедшего впереди всех, я узнал в нем… Струнникова.

Да, это был он. По-прежнему он смотрел мопсом, но мопсом веселым, деятельным и бодрым. Не только он не постарел, но даже словно лет десять у него с плеч скинули. Брюшко выдавалось вперед и было натянуто как барабан: значит, он был сыт; глаза смотрели расторопно; круглая, остриженная под гребенку голова, как и в прежние годы, казалась только что вышедшею с токарного станка. С удивительной ловкостью играл он салфеткой, перебрасывая ее с руки на руку; черный, с чужого плеча и потертый по швам фрак, с нумером в петлице, вместо ордена, как нельзя больше шел ему к лицу.

Я, впрочем, не поверил бы глазам своим, если бы он сам не убедил меня, что с моей стороны нет ошибки, – воскликнув на чистейшем русском диалекте:

– Узнали, небось! да, он самый и есть!

– Батюшка! Федор Васильич! неужто вы?! – воскликнул я в свою очередь.

– Он самый. Господа! милости просим кушать ко мне! вот мое отделение – там, – пригласил он нас, указывая на довольно отдаленный угол сада.

Разумеется, мы последовали за ним.

– Да расскажите же… – начал было я, но он не дал мне продолжать и заспешил.

– Некогда, некогда – после! Теперь я вам, господа, menu raisonne[51] составлю. Вам какой обед? в средних ценах?

– Да, средний.

– Можно. Potage Julienne…[52] идет?

– Федор Васильич! Жюльен да жюльен… Кабы вы нас рассольничком побаловали, да с цыпленочком!

– Мало чего нет! Что было, то прошло! – молвил он и поник головой.

Очевидно, воспоминания роями хлынули и пронеслись перед его глазами. – Здесь суп только для проформы подают. На второе что? Хотите piece de resistance[53], или с рыбы начать?

– Лучше с рыбы, не так обременительно.

– Ну, sole au gratin[54]. «Соль» свежая, сегодня только из Парижа привезли. А на жаркое – canard de Dijon[55] или пуле?..

– Утку! утку!

– На пирожное – разумеется, мороженое. Вино какое будете пить? Понтё-Канё… рекомендую! ну, а теперь спешу!

– Да постойте! Александра Гавриловна… здесь?

– Со мной; в кастеляншах здесь служит, – ответил он уж на ходу.

Живо мы пообедали. Он служил расторопно и, несмотря на тучность и немолодые лета, как муха летал из сада в ресторан и обратно, ничего не уронив. Когда подали кофе, мы усадили его с собой и, разумеется, приступили с расспросами.

– Все обошлось как по-писаному, – поведал он нам. – Прослышал я, что судить меня хотят, думаю: нет, брат, это уж дудки! Этак и в Сибирь угодить не трудно! – и задумал план кампании. Продали мы серебро да Сашины брильянтики, выправили заграничный паспорт – и удрали. Денег в руках собралось около двадцати тысяч франков. Разумеется, первым делом в Париж. Остановились в Grand-Hotel'e – куда обедать идти? Дней пять за табльдот ходили: сервируют чисто, порядок образцовый, столовая богатая, не хуже, чем во дворце; но еда неважная. Встанем из-за стола впроголодь, купим у ротиссёра пуле и съедим на ночь. «Нет, говорю, Александра Гавриловна, ежели ты хочешь настоящую парижскую еду узнать, так надо по ресторанам походить». Взяли Бедекера, увидели, где звездочка поставлена – туда и идем. И у Бребана, и Фуа, и у Маньи, и в Maison d'Or – везде побывали. Надо чести французам приписать – хорошо кормят. Только ходили мы таким манером по ресторанам да по театрам месяца три – смотрим, а у нас уж денег на донышке осталось. Стали мы себя сокращать, из Гранд-отеля к «Мадлене» в chambres meuble-es[56] перебрались; вместо Cafe Anglais начали к Дюрану ходить: тоже недурной ресторан, и тем выгоден, что там за пять

---

51 Продуманное меню

52 Суп Жюльен

53 Большой кусок мяса

54 Камбала в сухарях

55 Дижонская утка

56 Меблированные комнаты

франков можно целый обед получить. Ходим каждый день, платим исправно; я, с своей стороны, стараюсь внимание хозяина на себя обратить. Подойду после обеда и начну рассказывать, какие у нас в России кушанья готовят. Вижу, что человек с толком, даже ботвинью понял: можно бы, говорит, вместо осетрины тюрбо в дело употребить, только вот квасу никаким манером добыть нельзя. Пожуировали таким родом еще с месяц – видим, совсем мат. Тогда я решился. Собрался утром пораньше, когда еще публики мало, и, не говоря худого слова, прямо к Дюрану. Так и так, говорю, не можете ли вы меня в ресторан гарсоном определить? Он, знаете, глаза на меня выпучил, думал, что я с ума спятил. Как, говорит, un boyard russe![57] Да, говорю, был boyard russ, да весь вышел. Рассказал я тут, как нас начальство обидело, как я в Словущенском открытый стол держал, поил-кормил и как меня за это отблагодарили. А теперь, говорю, пропадать приходится. И если бы не Дюран – истинно бы пропал! Выслушал он меня, видит, что я дело смыслю, толк из меня будет, – и принял участие. «У себя, – говорит, – я вам ничего предоставить не могу, а есть у меня родственник, который в Ницце ресторан содержит, так я с ним спишусь». И точно, дня через четыре получается из Ниццы резолюция: ехать мне туда в качестве гарсона, а жене – кастеляншей. «Бог да благословит вас на новую жизнь! – сказал мне мой благодетель, – неопытны вы, да с вашими способностями скоро привыкнете!» С тех пор я и скитаюсь. Зимой – на Ривьеру, летом – в Германию, либо сюда, на озеро. Целой артелью с места на место переезжаем.

– Ах, Федор Васильич! точно волшебную сказку вы нам рассказали!

– И то сказка. Да ничего, привыкли. Поначалу, действительно, совестно было… Ну, да ведь не в нигилисты же, в самом деле, идти!

– Это уж упаси бог! А помните, как вы, бывало, посвистывали?

– Было время, и все посвистывали. А теперь сам держу ухо востро, не послышится ли где: pst! pst!

– Но что же вам за охота в такую трущобу, как Эвиан, забираться?

– Недурно и тут. Русских везде много, а с тех пор, как узнали, что бывший предводитель в гарсонах здесь служит, так нарочно смотреть ездить начали. Даже англичане любопытствуют.

– Положение у вас хорошее?

– Положение среднее. Жалованье маленькое, за битую посуду больше заплатишь. Пурбуарами живем. Дай бог здоровья, русские господа не забывают.

Только раз одна русская дама, в Эмсе, повадилась ко мне в отделение утром кофе пить, а тринкгельду[58] два пфеннига дает. Я было ей назад: возьмите, мол, на бедность себе! – так хозяину, шельма, нажаловалась. Чуть было меня не выгнали.

– А насчет еды как?

– И насчет еды… Разумеется, остатками питаемся. Вот вы давеча крылышко утки оставили, другой – ножку пуле на тарелке сдаст; это уж мое.

Посхлынет публика – я сяду в уголку и поем.

– Не беспокоят вас кредиторы?

– Первое время тревожили. Пытал я бегать от них, да уж губернатору написал. Я, говорю, все, что у меня осталось, – все кредиторам предоставил, теперь трудом себе хлеб добываю, неужто ж и это отнимать! Стало быть, усовестил; теперь затихло…

– Вот и прекрасно… Батюшка! да ведь у вас ордена были! – вдруг вспомнилось мне.

– Как же!.. Как же! Станислава вторыя, Анны…

– Надеваете вы их когда-нибудь?

– Надеваю… Вот на будущей неделе хозяин гулять отпустит, поедем с женой на ту

---

[57] Русский барин

[58] На чай

сторону, я и надену. Только обидно, что на шее здесь ордена носить не в обычае: в петличку… ленточки одни!

Словом сказать, мы целый час провели и не заметили, как время прошло.

К сожалению, раздалось призывное: pst! – и Струнников стремительно вскочил и исчез. Мы, с своей стороны, покинули Эвиан и, переезжая на пароходе, рассуждали о том, как приятно встретить на чужбине соотечественника и какие быстрые успехи делает Россия, наглядно доказывая, что в качестве «гарсонов» сыны ее в грязь лицом не ударят.

Но Александра Гавриловна не показывалась к нам. Струнников объявил, что она дичится русских «господ»: совестно.

* * *

Прошло и еще несколько лет. Выдержавши курс вод в Эмсе, я приехал в Баден-Баден. И вдруг, однажды утром, прогуливаясь по Лихтенталевой аллее, очутился лицом к лицу… с Александрой Гавриловной!

Она еще была очень свежа; лицо ее по-прежнему было красиво, только волосы совсем поседели. В руках она держала большую корзину и, завидев меня, повернула было в сторону, но я не выдержал и остановил ее.

– Как вы устроились? – спросил я после коротких взаимных приветствий.

– Устроилась, слава богу. Вот здесь у князя М. М. в экономках служу. – Она указала на великолепную виллу, в глубине сада, обнесенного каменным забором. – По крайней мере место постоянное. Переезжать не надо.

– И Федор Васильич с вами?

– Ах, нет… да откуда же, впрочем, вам знать? – он прошлой весной скончался. Год тому назад мы здесь в Hotel d'Angleterre служили, а с осени он заболел. Так на зиму в Ниццу и не попали. Кой-как месяца с четыре здесь пробились, а в марте я его в Гейдельберг, в тамошнюю клинику, свезла. Там он и помер.

– Ну, а вы как? в Россию возвратиться не рассчитываете?

– Что я там забыла… срам один! Здесь-то я хоть и в экономках служу, никому до меня дела нет, а там… Нет, видно, пословица правду говорит: кто старое помянет, тому глаз вон!

XXVIII. Образцовый хозяин

Июль в начале. Солнце еще чуть-чуть начинает показываться одним краешком; скучившиеся на восточной окраине горизонта янтарные облака так и рдеют. За ночь выпала обильная роса и улила траву; весь луг кажется усеянным огненными искрами; на дворе свежо, почти холодно; ядреный утренний воздух напоен запахом увлаженных листьев березы, зацветающей липы и скошенного сена.

Часы показывают три, но Арсений Потапыч Пустотелов уже на ногах. С деревни до слуха его доносятся звуки отбиваемых кос и он спешит в поле.

Наскоро сполоснувши лицо водой, он одевается в белую пару из домотканого полотна, выпивает большую рюмку зверобойной настойки, заедает ломтем черного хлеба, другой такой же ломоть, густо посоленный, кладет в сетчатую сумку, подпоясывается ремнем, за который затыкает нагайку, и выходит в гостиную. Там двери уже отперты настежь, и на балконе сидит жена Пустотелова, Филанида Протасьевна, в одной рубашке, с накинутым на плечи старым драдедамовым платком и в стоптанных башмаках на босу ногу. Перед балконом столпилось господское стадо, – с лишком сто штук, – и барыня наблюдает за доением коров. Этим делом, кроме двух скотниц, занято около десяти крестьянских баб, и с балкона то и дело слышится окрик:

– Чище! чище выдаивайте! чтой-то Голубка словно скучна нынче? а?

– Ничего Голубка… – доносится голос скотницы снизу.

– То-то ничего! у тебя всегда ничего! Коли что случится, ты в ответе.

Арсений Потапыч заглядывает на балкон и здоровается с женой.

– Что, как Новокупленка? – интересуется он.

– Привыкает понемногу. Сегодня уж пол-ендовы молока надоила.

– Ну, и слава богу. Прощай, душа моя, я в деревню спешу, а ты, как отдоят коров, ляг в постельку, понежься.

Пустотеловы – небогатые помещики. У мужа в наших местах восемьдесят душ крестьян, которых он без отдыха томит на барщине; у жены – где-то далеко запропастилась деревушка душ около двадцати, которые обложены сильным оброком и нищенствуют. Жить потихоньку было бы можно, но бог наградил их семьею в двенадцать человек детей, из которых только двое мальчиков, а остальные – девочки. Почти все дети погодки; мальчиков успели сбыть в Аракчеевский кадетский корпус, но девочки остались на руках, и из них две настолько уже выровнялись, что хоть сейчас замуж выдавай. А так как и мать и отец еще не стары, то и от дальнейшего приращения семьи не застрахованы. Поэтому оба бьются как рыбы об лед; сами смотрят за всем хозяйством, никому ни малейшей хозяйственной подробности не доверяют. Зато хозяйство у них идет не в пример исправнее, чем у соседей, и они по всей округе слывут образцовыми хозяевами.

Усадьба Пустотеловых, Последовка, находится в самом, как говорится, медвежьем углу нашего захолустья. Просторный дом постепенно распространялся пристройками и потому представляет собой неуклюжую груду срубов. Ни рощи, ни сада при усадьбе нет; ничего, кроме миниатюрного круга, посыпанного песком и обсаженного старыми липами, да обширного огорода, в котором разводится всякий овощ, необходимый для зимнего запаса. По бокам господского дома – множество хозяйственных построек, по большей части исправных, свидетельствующих, что помещик живет запасливый.

Саженях в ста от усадьбы, как на ладони, виднеется деревнюшка, а за нею тянутся поля, расположенные по далеко раскинувшейся и совершенно ровной плоскости. На самом краю плоскости виднеется небольшой лес, который Арсений Потапыч бережет, как зеницу ока. Земли у него довольно; поэтому он постепенно увеличивает запашку и теперь довел ее до шестидесяти десятин в каждом поле. При восьмидесяти душах он, конечно, не мог бы сладить с такой запашкой, но, по счастью, верстах в пяти находится большое и малоземельное экономическое село. Раза четыре в лето сзывает он помочи – преимущественно жней – варит брагу, печет пироги и при содействии трехсот – четырехсот баб успевает в три-четыре праздничных дня сделать столько работы, сколько одна барщина и в две недели не могла бы сработать. Благодаря этому жнитво у него всегда кончается вовремя и зерно не утекает.

Несмотря на суровые материальные условия, семья Пустотеловых пользуется сравнительным довольством, а зимой живет даже весело, не хуже других. Но на все лишнее, покупное, в доме наложен строжайший карантин.

Чай, сахар и пшеничную муку держат только на случай приезда гостей; варенье и другое лакомство заготовляются на меду из собственных ульев, с солью обходятся осторожно; даже свечи ухитрились лить дома, тонкие, оплывающие, а покупные подают только при гостях. Благодаря этим систематическим лишениям и урезкам удается настолько свести концы с концами, чтобы скромненько обшить и обуть семью и заплатить жалованье дешевенькой гувернантке.

Покуда Арсений Потапыч дошел до деревни, последняя уж опустела. Бабы, которым

еще нечего делать на барской работе, погнали в стадо коров; мужики – ушли поголовно на барщину. Почти у самой околицы около сорока косцов (Пустотелову на этот счет удача: мужички тяглятся исправно, голова на голову) обкашивают довольно большой луг, считающийся лучшим в целом имении. Значительная часть его скошена еще вчера, остальную предстоит докосить сегодня. Луг еще влажен, и работа идет споро; косы быстро, в такт, мелькают в воздухе, издавая резкий свист. Трава нынче выросла хорошая; густые и плотные валы ложатся один возле другого, радуя сердце образцового хозяина. Он подходит то к одному, то к другому валу, перевернет палкой и посмотрит, чисто ли скошено, нет ли махров. Ничего; кажется, все исправно.

– Чище косите! чище! чтобы не было ни махров, ни огрехов! всякий огрех – на спине! – кричит он вслед косцам.

Затем он укладывает копнушку скошенной травы; постилает сверху обрывок старой клеенки и садится, закуривая коротенькую трубочку. Курит он самый простой табак, какие-то корешки, не раз закаивался и эту роскошь бросить, но привычка взяла свое, да притом же трубка и пользу приносит, не дает ему задремать. Попыхивает он из трубочки, а глазами далеко впереди видит. Вон Митрошка словно бы заминаться стал, а Лукашка так и вовсе попусту косой машет. Вскакивает Арсений Потапыч и бежит.

Как у образцового хозяина, у него все приведено в систему. За первую вину – пять ударов нагайкой, – за вторую – десять, за третью – пятнадцать, а за четвертую – не прогневайся, счета не полагается-Раздается крик, и через минуту все приходит в порядок.

Выкурил Арсений Потапыч трубку, выкурил другую и начинает клевать носом. Задремлет чуточку, и сейчас же вздрогнет и протрет глаза. Он мало спал ночью, и в глазах у него мутится; чтобы развлечь себя, он вынимает из сумки кусок хлеба и ест, потом опять закуривает трубку и опять ест.

Тоскливо, а уйти раньше восьми часов нельзя: самое благоприятное время для косьбы упустишь. Беспрестанно справляется он с старинной серебряной луковицей, но убеждается, что до урочного времени еще куда далеко. Солнышко хоть и согрело уж воздух, но ползет вверх с удивительной медленностью. От времени до времени он отлучается в соседнее поле посмотреть, как наливается рожь, но сейчас же возвращается назад и опять начинает ходить взад и вперед по рядам валов, поглядывая в то же время вперед. Ему кажется, что косцы начинают приставать, что косы двигаются вяло, и валы укладываются не с прежней быстротой.

– Пошевеливайся, ребята! пошевеливайся, пока трава не обсохла! – то и дело покрикивает он.

Наконец урочное время настало. Барин провозглашает: шабаш! – и барщине дается час для завтрака и отдыха.

Время, назначенное для отдыха, Арсений Потапыч проводит дома. Он завтракает, обедает и кончает день одновременно с мужиками, потому что иначе нарушился бы правильный надзор. Дома все уже готово. Посредине ничем не покрытого стола, на деревянном круге, лежит громадная ватрушка из ржаной муки, изрезанная на куски. Это завтрак семьи, а глава семейства довольствуется большой кружкой снятого молока, которое служит ему и вместо завтрака, и вместо чая, так как он, вставши утром, выпил только рюмку водки и поел черного хлеба. Но ему не сидится на месте; наскоро позавтракавши, он беспрестанно вынимает из кармана луковицу и ровно в девять часов снова появляется на лугу.

Косцы уж взмахивают косами, и так как луг совсем обсох, то прибежали с деревни и бабы и разворачивают скошенные накануне валы. Солнце так и поливает сверху зноем, и в то же время с севера подувает ветерок; вообще сушка предвидится отличная. Работа идет в глубоком безмолвии, потому что Арсений Потапыч празднословия не терпит. Он не сторонник веселой работы; любит, чтоб дело шло ходко и бойко, а для этого не нужно разговоров, а требуется, напротив, чтоб все внимание рабочей силы обращено было на одну точку. Он проходит, посвистывая, между рядами баб, которые в одних рубашках, прилипших

к потному телу, высоко вскидывает граблями. Он не торопит их, потому что, покуда они дойдут от начала луга до конца, нужно, чтоб верхний слой первых валов сколько-нибудь прожарился. Только тогда работа пойдет безостановочно и не даст бабам понапрасну засиживаться.

Побродивши по лугу с полчаса, он чувствует, что зной начинает давить его. Видит он, что и косцы позамялись, чересчур часто косы оттачивают, но понимает, что сухую траву и коса неспоро берет: станут торопиться, – пожалуй, и покос перепортят. Поэтому он не кричит: «Пошевеливайся!» а только напоминает: «Чище, ребята! чище косите!» и подходит к рядам косцов, чтобы лично удостовериться в чистоте работы.

Ничего, все идет как следует. Нагайка хоть кого выучит исправности.

Изнемогая от жара, весь в поту, возвращается он к давешней копнушке и закуривает трубку. Мысль, что перед его глазами работают люди, которые тоже изнемогают от жары, не приходит ему в голову. Может быть, в былое время, когда он только что на хозяйство сел, она временами и мелькала, но теперь он уж привык. И они, думается ему, привыкли; не у него, так у себя в такой же зной и таким же манером работали бы. Всего лучше об этом не думать, потому что без чего нельзя, так нельзя.

Если б была другая работа, вроде пахоты, например, он, конечно, в такой жар на сенокос людей не послал бы, но в начале июля, кроме косьбы, и в поле выходить незачем.

– Чище, ребята, чище косите! – машинально покрикивает он, чтоб подкрадывающаяся дремота не застигла его предательски врасплох.

А солнышко между тем дошло до зенита и стоит, словно деревянное, не опускается.

Арсений Потапыч надвигает плотнее белый картуз на голову и сгибается, подставляя спину действию солнечных лучей. Ему кажется, что в этом положении лицо и грудь менее страдают от зноя. Он складывает руки между колен и задумывается. К далекому прошлому мысль его уже не обращается; оно исчезло из памяти, словно его и не было. Да и в самом деле, что там такое было? какая-то глупость – вот все, что можно ответить. Но в настоящем что-то есть. По крайней мере, он может определительно сказать, что и вчера он колотился, и сегодня колотится, и завтра будет колотиться. За это его и называют образцовым хозяином. Теперь идет сенокос, потом бабы рожь жать начнут, потом паровое поле под озимь двоить будут, потом сев, яровое жать, снопы возить; молотить. А рядом с этим в доме идет варенье, соленье, настаиваются водки, наливки. Везде – он, везде – его хозяйский глаз нужен.

Проходят в его воображении перспективы трудовых дней. Нового ничего не представляется; но так как он однажды вошел в колею и другой не знает, то и повторений достаточно, чтоб занять его мысль. В течение двух-трех месяцев надо все до последнего огурца к зиме припасти. Он проверяет в уме количество домашней птицы, предназначенной на убой, и высчитывает, какой может произойти до осени в птичьем стаде урон. Потом мысль его переносится на скотный двор и определяет количество молочных скопов, сколько для домашнего обихода потребуется, сколько на продажу останется. И вот наконец наступают и заморозки: надо птицу подкармливать. Всякая крошка у него на счету: все остатки от трапезы господ и дворовых, все бережно собирается в кучу и вместе с сывороткой и лишним творогом превращается в птичий корм.

Зима все съест, да, кроме домашнего запаса, и денег немало потребует. Надо жене и дочерям хоть по одному новенькому платью сшить, а двум невестам, пожалуй, и по два. Надо хоть два фунта чаю да две головы сахару купить, водки, вина недорогого, свечей. Он высчитывает предполагаемый урожай, старается заранее угадать цены, определяет доход и расход и наконец сводит концы с концами. Много труда ему предстоит, но зато зимой он отдохнет. Дом его наполнится веселым шумом, и он, как и в прежние годы, на практике докажет соседям, что и от восьмидесяти душ, при громадной семье, можно и себе и другим удовольствие доставить.

– Шабаш! – кричит он, выходя из задумчивости и убеждаясь, что часовая стрелка показывает уж час пополудни.

Косы и грабли мгновенно опускаются, и он спешит домой, где, наскоро пообедавши, ложится отдыхать, наказывая разбудить себя невступно в три часа.

Покуда он отдыхает, и на лугу царит глубокий сон. Надобно сказать, что в имении Пустотелова заведен такой порядок, что крестьянам разрешается топить печи только по воскресеньям. Распоряжение это сделано под предлогом устранения пожарных случаев, но, в сущности, для того, чтоб ни одной минуты барской работы, даже для приготовления пищи, не пропадало, так как и мужики и бабы всю неделю ежедневно, за исключением праздников, ходят на барщину.

Поэтому крестьяне горячей пищей пользуются только по праздникам, а в будни довольствуются исключительно тюрей из черного хлеба, размоченного в воде.

Вообще заведенные Арсением Потапычем порядки крайне суровы. Он всецело овладел рабом в свою пользу и дает ему управляться у себя лишь урывками. По праздникам (а в будни только по ночам) мужики и бабы вольны управляться у себя, а затем, пока тягловые рабочие томятся на барщине, мальчики и девочки работают дома легкую работу: сушат сено, вяжут снопы и проч. Почти нет той минуты в сутках, чтобы в последовских полях не кипела работа; три часа в день в течение дня и немногим более в течение ночи – вот все, что остается крестьянину для отдыха. Но, сверх того, Пустотелов и прихотлив. Он требует, чтобы мужичок выходил на барщину в чистой рубашке, чтоб дома у него было все как следует, и хлеба доставало до нового, чтоб и рабочий скот, и инструмент были исправные, чтоб он, по крайней мере, через каждые две недели посещал храм божий (приход за четыре версты) и смотрел бы весело. Он желает, чтоб про него говорили, что он не только образцовый хозяин, но и попечительный распорядитель.

В три часа Арсений Потапыч опять на своем посту. Рабочие и на этот раз упредили его, так что ему остается только признать, что заведенная им дисциплина принесла надлежащий плод. Он ходит взад и вперед по разбросанному сену и удостоверяется, что оно уже достаточно провяло и завтра, пожалуй, можно будет приступить к уборке. Подходит к косцам, с удовольствием видит, что к концу вечера и луг будет совсем выкошен.

– Старайся, братцы, старайся! – поощряет он мужичков, – ежели раньше выкосите – домой отпущу!

Жар помаленьку спадает; косцы, в виду барского посула, удваивают усилия, а около шести часов и бабы начинают сгребать сено в копнушки. Еще немного, и весь луг усеется с одной стороны валами, с другой небольшими копнами. Пустотелов уселся на старом месте и на этот раз позволяет себе настоящим образом вздремнуть; но около семи часов его будит голос:

– Готово, Арсений Потапыч!

Луг выкошен окончательно; сено тоже сгребено в копны; сердце образцового хозяина радуется.

– Спасибо, молодцы! – произносит он благосклонно, – теперь можете свою работу работать!

– Уж и трава нынче уродилась – из годов вон! – хвалят мужички.

– Да, хороша трава; дал бы только бог высушить да убрать без помехи.

Он обращает глаза к западу и внимательно смотрит, как садится солнышко. Словно бы на самом краешке горизонта тучка показывается… или это только так кажется.

– Смотри, ребята, как бы солнышко в тучку не село! – беспокоится он.

– Помилуйте, Арсений Потапыч! как есть чисто садится! Самый завтра настоящий день для сушки будет!

– Ну, спасибо! расходись по домам!

По уходе крестьян образцовый хозяин с четверть часа ходит по лугу и удостоверяется, все ли исправно. Встречаются по местам небольшие махры, но вообще луг скошен отлично. Наконец он, вяло опираясь на палку, направляется домой, проходя мимо деревни. Но она уже опустела; крестьяне отужинали и исчезли на свой сенокос.

– Бог труды любит, – говорит он и, чувствуя, как всем его телом овладела истома, прибавляет: – Однако как меня сегодня разломало!

– Что сегодня больно рано? неужто уж пошабашили? – встречает его Филанида Протасьевна.

– Кончили. Устал до смерти. Хорошо бы теперь чайку горяченького испить.

– Что ж, можно самовар поставить велеть…

– Нет, что уж! не велики бЮра, некогда с чаями возиться. Дай рюмку водки – вот и будет с меня!

Пустотелов выходит на балкон, садится в кресло и отдыхает. День склоняется к концу, в воздухе чувствуется роса, солнце дошло до самой окраины горизонта и, к великому удовольствию Арсения Потапыча, садится совсем чисто. Вот уж и стадо гонят домой; его застилает громадное облако пыли, из которого доносится блеянье овец и мычанье коров. Бык, в качестве должностного лица, идет сзади. Образцовый хозяин зорко всматривается вдаль, и ему кажется, что бык словно прихрамывает.

– Филанидушка! – зовет он жену, – смотри никак бык-то храмлет!

– Ничего не храмлет – так тебе показалось… бык как бык! – успокаивает мужа Филанида Протасьевна, тоже всматриваясь вдаль.

– Эй, смотри, не храмлет ли?

На этом быке лежат все упования Пустотеловых. Они купили его, лет шесть тому назад, в «Отраде» (богатое имение, о котором я упоминал выше) еще теленком, и с тех пор, как он поступил на действительную службу, стадо заметно начало улучшаться.

Через четверть часа стадо уж перед балконом. К счастью, Арсений Потапыч ошибся; бык не только не хромает, но сердито роет копытами землю и, опустивши голову, играет рогами. Как есть красавец!

Повторяется тот же процесс доения коров, что и утром, с тою лишь разницею, что при нем присутствует сам хозяин. Филанида Протасьевна тщательно записывает удой и приказывает налить несколько больших кружек парного молока на ужин.

Ужинают на воздухе, под липами, потому что в комнатах уже стемнело. На столе стоят кружки с молоком и куски оставшейся от обеда солонины. Филанида Протасьевна отдает мужу отчет за свой хозяйственный день.

– Я сегодня земляники фунтов пять наварила, да бутыль наливки налила. Грибы показались, завтра пирог закажу. Клубника в саду поспевает, с утра собирать будем. Столько дела, столько дела разом собралось, что не знаешь, куда и поспевать.

– Ты бы деток клубничкой-то полакомила.

– И лесной земляники поедят – таковские! Плохо клубника-то родилась, сначала вареньем запастись надо. Зима долга, вы же вареньица запросите.

– Умница ты у меня.

– А что я тебе хотела сказать! Хоть бы пять фунтиков сахарного вареньица сварить – не ровен час, хорошие гости приедут.

– Сахар-то, матушка, нынче кусается; и с медком хороши.

Ужин кончается быстро, в несколько минут. Барышни, одна за другой, подходят к родителям проститься.

– Хорошо учились? – спрашивает отец гувернантку, Авдотью Петровну Веселицкую, которая присутствует при прощанье и машинально твердит «Embrassez la main! embrassez la main!»[59]

---

59 Поцелуйте руку

– Ничего… недурно.

– Кроме Варвары Арсеньевны, – жалуется Филанида Протасьевна. – Совсем по-французски учиться бросила. Сегодня, за леность, Авдотья Петровна ее целый час в углу продержала.

– Нехорошо, Варя, лениться. Учитесь, дети, учитесь! Не бог знает, какие достатки у отца с матерью! Не ровен час – понадобится.

Дети расходятся, а супруги остаются еще некоторое время под липами.

Арсений Потапыч покуривает трубочку и загадывает. Кажется, нынешнее лето урожай обещает. Сенокос начался благополучно; рожь налилась, подсыхать начинает; яровое тоже отлично всклочилось. Коли хлеба много уродится, с ценами можно будет и обождать. Сначала только часть запаса продать, а потом, как цены повеселеют, и остальное.

– Помнишь, Филанидушка, – говорит он, – те две десятины, которые весной, в прошлом году, вычистили да навозцу чуть-чуть на них побросали – еще ты говорила, что ничего из этой затеи не выйдет… Такой ли на них нынче лен выскочил! Щетка щеткой!

– Ну, и слава богу, что ошиблась. И с маслом будем, и с пряжей. В полях-то как?

– И в полях хорошо. Рожь уж обозначилась: сам-сём, сам-восем ожидать можно. Только бы бог благополучно свершить помог.

– А помнишь… три года назад?

– Да, тоже надеялись…

Арсений Потапыч даже вздрагивает при этом напоминании. И три года тому назад, в это самое время, все шло весело, как вдруг, в самый разгар надежд, откуда ни возьмись, град, и весь хлеб в одночасье в грязь превратил.

Уцелело только дальнее поле, мало удобренное, на котором едва на семена собрали. Как только их бог в ту пору спас – он и не понимает. Всю зиму он тогда колотился; скот чуть не переморил, держа на одной соломе, а для собственного продовольствия призанял у соседей ржи да и заперся в усадьбе.

Ни сам никуда не ездил, ни у себя никого не принимал, а дочки в затрапезе проходили.

Ах, жизнь, жизнь! все равно как платье. Все цело да цело, и вдруг где-нибудь лопнет. Хорошо еще, ежели лопнет по шву – зачинить легко; а ежели по целому месту – пиши пропало! Как ни чини, ни заштопывай, а оно все дальше да дальше врозь ползет. И заплатки порядочной поставить нельзя: нитка не держит. Господи, да неужто уж бог так немилостив, во второй раз такое же испытанье пошлет! Он ли не старается! он ли не выбивается из сил!

Но нет, унывать не следует. Покуда еще все идет благополучно; отчего же и впредь так же не идти. Незачем зараньше пугать себя да всякие напасти придумывать – грех.

Арсений Потапыч начинает рассчитывать, как оно выйдет, если надежды на хороший исход лета оправдаются. Сколько чего он продаст, сколько чего купить придется, не предстоит ли чего экстренного. Вон в скотной избе один угол совсем набок накренился – придется венца три новых подрубить. Своих плотников у него в деревне нет, надо со стороны нанимать. И на конюшне не все исправно: старый коренник припадать начал. Свои подростки хоть и есть, да молоды и не съезжены – не миновать лишнюю лошадь прикупить. И в доме покрышка на мебели в гостиной совсем обилась… Ах, много прорех собралось, и не сообразишь сразу, сколько! Рассчитывает, рассчитывает Арсений Потапыч, даже на пальцах машинально выкладки делает, но в заключение успевает-таки свести концы с концами. Прекрасно. Успеет он этот год уравновесить приход с расходом… если лето сойдет с рук благополучно… но и только. А потом наступит и еще год, и опять придется задумываться, опять рассчитывать…

– Ах, жизнь, жизнь! – произносит он вслух, вставая. – Поздно уж, Филанидушка, спать пора!

Супруги крестят друг друга и отправляются на покой в общую спальню.

Так проходит, день за днем, лето… ежели все обстоит благополучно. К концу страды образцовый хозяин худеет и устает, словно он самолично и пахал, и сеял, и жал, и косил. Но иногда случается и не совсем благополучно. Недели две сряду, например, идет в природе

невообразимая путаница. Польют дожди, ни к чему рук приложить нельзя, так что барщина сама собой упраздняется. Мужики отдыхают и управляются около домов; Арсений Потапыч тоже отдыхает, но при этом глубоко страдает. С досады он берет в руку лукошко и отправляется в лес по грибы. Все так хоть что-нибудь да достанет на зиму.

Но зато, как только выпадет первый вёдреный день, работа закипает не на шутку. Разворачиваются почерневшие валы и копны; просушиваются намокшие снопы ржи. Ни пощады, ни льготы – никому. Ежели и двойную работу мужик сработал, все-таки покуда не зашло солнышко, барин с поля не спустит. Одну работу кончил – марш на другую! На то он и образцовый хозяин, чтоб про него говорили:

– Уж на что, кажется, незадашное лето нынче было, а он, смотрите, как убрался!

* * *

Слава богу, лето кончилось благополучно; все хорошо уродилось и исправно убрано. Подходит конец сентября; уж две недели как началась молотьба, и пробные умолоты оказались превосходными. Воздух посвежел; раздаются удары цепов, слышится запах гари, несущийся из риги. Бабы уж выколотили льняное семя и намяли льну. Семя начнут постепенно возить на ближайшую маслобойню: и масла и избоины – всего будет вдоволь. Избоиной хорошо коров с новотелу покармливать; но и дворовые охотно ее едят; даже барышни любят изредка полакомиться ею, макая в свежее льняное масло. А лен-стланец раздадут на пряжу – будет чем занять в зимние вечера и сенных девушек, и ткачих. А покуда все дворовые заняты в огороде; роют последний картофель, срезывают капусту. По вечерам из застольной доносятся звуки сечек, ударяемых о корыта; это рубят капусту; верхние листы отделяют для людских серых щей; плотные кочни откладывают на белые щи для господ; кочерыжки приносят в дом, и барышни охотно их кушают. Словом сказать, тяжелая работа свалена, наступило почти что веселье.

Сердце Пустотелова радостно бьется в груди: теперь уж никакой неожиданности опасаться нельзя. Он зорко следит за молотьбой, но дни становятся все короче и короче, так что приходится присутствовать на гумне не больше семи-восьми часов в сутки. И чем дальше, тем будет легче. Пора и отдохнуть.

– Кажется, заслужил? – шутит образцовый хозяин, обращаясь к жене.

– Заслужил, мой голубчик! Посмотри на себя: весь ты за лето извелся.

– А коли заслужил, можно меня и лишней рюмочкой водки побаловать.

Но для Филаниды Протасьевны пора отдыха еще не наступила. Она больше, чем летом, захлопоталась, потому что теперь-то, пожалуй, настоящая «припасуха» и пошла в развал. Бегает она, как молоденькая, из дома в застольную, из застольной в погреб. Везде посмотрит, везде спросит; боится, чтобы даже крошка малая зря не пропала.

– Намеднись квас сливали – куда ты гущу из-под кваса девал? – спрашивает она повара.

– Птице, сударыня, снес.

– Тебе велено птичнице с рук на руки отдавать. Кому ты отдал?

– Простите, сударыня, сам птице в корыто вылил.

– Врешь, негодяй, слопал!

– Помилуйте… зачем же мне?

– По глазам вижу, что слопал! Вот скажу ужо Арсению Потапычу, как ты барское добро бережешь, – разделается он с тобой!

Побранившись с поваром, побежит на скотную, велит отворить дверь чулана, где хранится мякина и пелёва, вороха которых ежедневно приносятся с гумна.

– Словно бы сегодня пелёвы меньше, чем вчера?

– Помилуйте, сударыня, куда ж ей деваться?

– Куда деваться! известно, в деревню к роденьке в подолах носите… Вот ужо разделается с вами Арсений Потапыч!

Со скотного двора в застольную.

– Долго ли вы, команда беспорточная, с капустой возиться будете? – покрикивает она на сенных девушек, – за пряжу приниматься давно пора, а они – на-тко! – ушли в застольную да песни распевают!

– И без песен тошнехонько! – огрызается старая Агафья, которая некогда выпестовала Арсения Потапыча, а теперь состоит в доме ключницей.

– Ты что, старая карга, грубишь! вот ужо разделается с тобой Арсений Потапыч!

И т. д.

С наступлением октября начинаются первые серьезные морозы. Земля закоченела, трава по утрам покрывается инеем, вода в канавках затягивается тонким слоем льда; грязь на дорогах до того сковало, что езда в телегах и экипажах сделалась невозможною. Но зато черностоп образовался отличный: гуляй мужичок да погуливай. Кабы на промерзлую землю да снежку бог послал – лучше бы не надо.

В усадьбе и около нее с каждым днем становится тише; домашняя припасуха уже кончилась, только молотьба еще в полном ходу и будет продолжаться до самых святок. В доме зимние рамы вставили, печки топить начали; после обеда, часов до шести, сумерничают, а потом и свечи зажигают; сенные девушки уж больше недели как уселись за пряжу и работают до петухов, а утром, чуть свет забрезжит, и опять на ногах. Наконец в половине октября выпадает первый снег – прямо на мерзлую землю.

– Задашный нынче год вышел! – радуется Арсений Потапыч, – и лето свершить удалось хорошо, и на озими надеяться можно, не подопреют.

– Погоди еще хвалиться; пожалуй, еще оттепели пойдут.

– Нет, оттепелей не будет; это уж я замечал. Коли осень студеная стоит, да снег раньше ноября выпал – стало быть, и санный путь установится сразу.

Днем Арсений Потапыч ведет обычную деятельную жизнь. С раннего утра надевает полушубок и большие, смазанные ворванью сапоги и отправляется в ригу. Отдыха теперь полагается всего каких-нибудь полчаса для обеда; поэтому за шумом и стуком цепов не видишь, как и время летит. Но длинные вечера наводят на Пустотелова тоску. К несчастию, он в последнее время попивать начал. Стоит у него в зале, в шкафчике, графинчик с настойкой; вот он походит-походит, да нет-нет и подкрадется к шкафчику. И до тех пор подкрадывается, пока до дна графинчика не очистит.

– Не будет ли? – от времени до времени остерегает его Филанида Протасьевна.

– Небось, пьяницей не сделаюсь. Водка полезна для меня; зверобой мокроту гонит.

– А по-моему, выпил рюмку, выпил другую, и довольно. Привыкнешь, так после трудно отвыкать будет.

– Так ты бы не целый графин наливала; выпил бы я в препорцию, сколько, по-твоему, следует, и шабаш.

– И то буду полграфина ставить.

– Скучно ведь, матушка! дорог настоящих нет, цены неизвестны… рассчитываешь, рассчитываешь – инда тоска возьмет.

– Возьми терпенье, займись чем-нибудь. Не тоскую же я; у меня всегда дело найдется.

И действительно, у Филаниды Протасьевны дело, точно бесконечная нитка, тянется. Покончивши с домашними заготовками, она принимается за обшивание домочадцев. Всем нужно белье подновить, а дочерям на первое время, хоть ситцевые платья для всякого дня сшить. Вынула она из сундука несколько новин полотна, вспомнила, что от прошлого года целый кусок ситца остался, выпросила у соседей выкроечек и теперь сидит в зале, кроит и

режет вместе с двумя швеями-мастерицами. Старшеньким, конечно, и получше платьица понадобятся, да за бездорожицей в город ехать еще нельзя, а сверх того, и денег пока нет.

Будут деньги, будут. В конце октября санный путь уж установился, и Арсений Потапыч то и дело посматривает на дорогу, ведущую к городу. Наконец приезжают один за другим прасолы, но цены пока дают невеселые. За четверть ржи двенадцать рублей, за четверть овса – восемь рублей ассигнациями. На первый раз, впрочем, образцовый хозяин решается продешевить, лишь бы дыры заткнуть. Продал четвертей по пятидесяти ржи и овса, да маслица, да яиц – вот он и с деньгами.

Супруги едут в город и делают первые закупки. Муж берет на себя, что нужно для приема гостей; жена занимается исключительно нарядами. Объезжают городских знакомых, в особенности полковых, и всем напоминают о наступлении зимы. Арсений Потапыч – справляется о ценах у настоящих торговцев и убеждается, что хоть он и продешевил на первой продаже, но немного. Наконец вороха всякой всячины укладываются в возок, и супруги, веселые и довольные, возвращаются восвояси. Слава богу! теперь хоть кого не стыдно принять.

И в самом деле, ноябрь еще в половине, барышням едва успели новенькие платьица пошить, как уж по дороге к Последовке начинают позвякивать колокольчики. Сначала приезжают полковые из эскадрона, расположенного по деревням, да ближайшие соседи. В доме становится шумно; единственный лакей, Асон, с ног сбился, несмотря на то, что в помощь ему дали двух мальчиков. С утра идет хлебосольство: чаи, завтраки, обеды. Только не взыщите, а запасов, слава богу, про всех хватит. Вечером дешевенькая гувернантка на фортепьянах играет, а барышни и кавалеры танцуют. В большинстве случаев гости остаются ночевать; мужчины располагаются спать в зале и в гостиной вповалку на разостланных по полу перинах; женский пол разводят по комнатам барышень, на антресолях. Иные дня по два и по три гостят, с прислугой и лошадьми, но хозяевам это не только не в тягость, а даже удовольствие доставляет; ведь и они, в свою очередь, у соседей по два и по три дня веселиться будут.

Приезды не мешают, однако ж, Арсению Потапычу следить за молотьбой.

Все знают, что он образцовый хозяин, и понимают, что кому другому, а ему нельзя не присмотреть за работами; но сверх того, наступили самые короткие дни, работа идет не больше пяти-шести часов в сутки, и Пустотелов к обеду уж совсем свободен. Иногда, впрочем, он и совсем освобождает себя от надзора; придет в ригу на какой-нибудь час, скажет мужичкам:

– Смотри у меня, ребята! чтоб все до последнего зерна было цело! – и уйдет домой, уверенный, что умолот будет весь налицо.

Но всё это только цветочки. Приближается 13-е декабря, день ангела Арсения Потапыча. К этому дню приготовляются очень деятельно, так как исстари заведено, что у Пустотеловых к именинам хозяина съезжается целая масса гостей. Филанида Протасьевна наскоро объезжает соседей и всем напоминает о предстоящем празднестве. Арсений Потапыч тем временем продает еще партию хлеба и едет в город для новых закупок.

13-го декабря, сейчас после обедни, в доме именинника происходит сущее светопреставление. Гости наезжают одни за другими; женской и мужской прислуги набирается столько, что большую часть ее отсылают в застольную; экипажи и лошади тоже, за недостатком места, размещаются в деревне по крестьянским дворам.

Я не буду, впрочем, описывать здесь подробности праздника.

Хлебосольство в то время справлялось везде одинаково и потому составит предмет особой главы, в которой я намерен изобразить общее пошехонское раздолье.

Зима живо проходит в беспрерывных приемах и выездах, но в особенности весело проводятся святки и масленица.

Дня за три до святок обмолачиваются последние снопы овса; стук цепов на барской риге смолкает, и Арсений Потапыч на целых три месяца может считать себя вольным казаком. Он пополнел, загар с его лица исчез, даже заботливое выражение пропало. Ни

одного съезда у соседей не обходится без Пустотеловых; везде они дорогие гости, несмотря на то, что приезжают целой гурьбой. Но, кроме соседей, ездят и в город, где господа офицеры устроили клуб и дают в нем от времени до времени танцевальные вечера, для которых барышни-невесты приберегают свои лучшие платьица.

Пустотеловым и насчет дочерей везет. Благодаря ласковости и гостеприимству, они успевают пристроить в течение зимы двух старших барышень. Одну за полкового лекаря помолвили, другую – за уездного стряпчего Стрельбищева. Оба люди бедные, но нужда научит деньгу добывать.

Зато они богатого приданого не требуют. Сшила невестам Филанида Протасьевна по два лишних платьица, белья прибавила да серебреца по полдюжине столовых и чайных ложек купили – вот и все. У других и с богатым приданым бог дочкам судьбы не посылает, а Пустотеловы всего-навсе две зимы своих невест вывозили, и уж успели их с рук сбыть. Двух сбыли, а потом постепенно и остальных сбудут. А все оттого, что Арсений Потапыч умеет вовремя последнюю копейку ребром поставить, а Филанида Протасьевна приласкать и принять мастерица.

Одна беда: чем больше идет зима вглубь, тем меньше становится запас продуктов, назначенных на продажу. К концу мясоеда Пустотеловы продали остатки хлеба, отложив только то, что потребуется на семена и на собственное продовольствие, и засели на масленицу дома. Даже на folle journee к Струнниковым не поехали, под предлогом, что барышни пожелали провести последние дни перед постом с женихами. Но год все-таки оправдал ожидания образцового хозяина; он не только свел концы с концами, но успел отложить небольшую сумму и для предстоящих свадебных торжеств.

Наконец наступает и чистый понедельник. И Арсений Потапыч, и вся семья говеют на первой неделе, из опасения, чтобы бездорожье не воспрепятствовало исполнить христианский долг позднее. Пост соблюдается строго; за стол подаются исключительно грибы, картофель, капуста, редька и вообще самое неприхотливое кушанье; только два раза, в благовещенье да в вербное воскресенье, господа позволяют себе рыбой побаловаться, но и этим лакомством Пустотелов зараньше запастись успел. Еще осенью, с наступлением первых заморозков, выпросил у соседа Гуслицына позволенье в его озере рыбки половить, а у другого соседа неводом раздобылся. И так как он был на все руки мастер, то ловля вышла обильная. И щук, и окуней, и язей насолили и заморозили пудов двадцать; всю масленицу и сами ели, и в застольную отпускали, а остатки будут постом доедать.

Святая неделя проходит тихо. Наступило полное бездорожье, так что в светлое воскресенье семья вынуждена выехать из дома засветло и только с помощью всей барщины успевает попасть в приходскую церковь к заутрене. А с бездорожьем и гости притихли; соседи заперлись по домам и отдыхают; даже женихи приехали из города, рискуя на каждом шагу окунуться в зажоре.

На красную горку Пустотеловы справляют разом обе свадьбы. Но ни приемов, ни выездов по этому случаю не делается, во-первых, потому что рабочая пора недалеко, а во-вторых, и главным образом, потому, что денег мало.

Утром, сейчас после обедни, происходит венчальный обряд, затем у родителей подается ранний обед, и вслед за ним новобрачные уезжают в город, – к себе.

Две дочери с плеч долой; остается еще восемь.

Но ни Арсению Потапычу, ни Филаниде Протасьевне скучать по дочерям некогда. Слава богу, родительский долг выполнили, пристроили – чего ж больше!

А сверх того, и страда началась, в яровое поле уже выехали с боронами мужички. Как образцовый хозяин, Пустотелов еще с осени вспахал поле, и теперь приходится только боронить. Вскоре после Николина дня поле засеют овсом и опять вспашут и заборонят.

Словом сказать, постепенно подкрадывается лето, а вместе с ним и бесконечный ряд дней, в течение которых Арсению Потапычу, по примеру прошлого года, придется разрешать мучительную загадку, свершит он или не свершит, сведет ли концы с концами или не сведет.

– Вот, Филанидушка, и опять лето-припасуха настало! – говорит он жене, стараясь сообщить своему голосу бодрость.

Но в действительности тревога уже заползла в его сердце и не покинет его вплоть до осени.

* * *

Крестьянская реформа застала Пустотелова, как и большинство помещиков нашего захолустья, врасплох. Несмотря на кровавые изобличения кампании 1853 – 1855 гг., которая представляла собой лишь великий пролог к великой драме освобождения, – ничто не предупредило тупо-самодовольный люд, никогда не умевший постигнуть внутренний смысл развертывающихся перед его глазами событий. Корни жизни слишком глубоко погрязли в тине крепостной уголовщины, чтобы можно было сразу переместить их на новую почву. Тина эта питала прошлое, обеспечивала настоящее и будущее – как отказаться от того, что исстари служило регулятором всех поступков, составляло основу всего существования? как, вместо довольства и обеспечения, представить себе такой порядок, который должен в самом корне подсечь прочно сложившийся обиход, погубить все надежды? Естественно, что при такой беззаветной вере в непогрешимость старых устоев, даже очевидность должна была представляться чем-то вроде призрака, на который стоило только дунуть, чтобы он мгновенно рассеялся.

Пуще всего пугало будущее детей. Положим, старики виноваты: не все они олицетворяли собой тип благопопечительных патриархов – в этом уж почти единодушно стали сознаваться, – но за что же дети будут страдать? А на них между тем и обрушатся всею тяжестью последствия новоявленных и ничем не вызванных фантазий. Старики-то уж отжили век, попользовались; им, пожалуй, и на погост пора, но дети… Разве они причастны прошлому? Несомненно, что когда придет их очередь сесть на хозяйство, они человечнее отнесутся к крепостной практике. С их появлением исчезнет крепостная уголовщина, отношения приобретут характер правомерности, выражение: «вы наши отцы, мы ваши дети» сделается правдою. Чего еще нужно? Вот и теперь: сел на хозяйство молодой Бурмакин, – у него и в заводе нагайки нет. Лаской да добрым словом довольствуется – и все идет как следует. И везде постепенно разведутся Бурмакины, потому что время к тому идет. Нехорошо драться, нехорошо мужиков и баб на барской работе без отдыха изнурять, да ведь Бурмакин и не делает этого; стало быть, можно и при крепостном праве по-хорошему обойтись.

Но, кроме того, ежели верить в новоявленные фантазии, то придется веру в Святое писание оставить. А в Писании именно сказано: рабы! господам повинуйтесь! И у Авраама, и у прочих патриархов были рабы, а они сумели же угодить богу. Неужто, в самом деле, ради пустой похвальбы дозволительно и веру нарушить, и заветы отцов на поруганье отдать? Для чего? для того, чтоб стремглав кинуться в зияющую пучину, в которой все темно, все неизвестно?

Нет, нет! не может этого статься! Решимости недостанет, чтоб без всякого повода бросить в народную массу такой злой и безумный переполох!

Так думало в то время большинство, а Арсений Потапыч шел, пожалуй, дальше других. Он был человек неглупый и между соседями слыл даже умницей.

Но в подобных решительных случаях на умников находит затмение легче, чем на

самых простодушных людей. Постоянная уверенность в собственных поступках и намерениях воспитывает упорство, с которым трудно справиться. Поэтому Пустотелов не только не изменил своего образа действий в виду возрастающих слухов, но просто-напросто называл последние ахинеей. Гоголем расхаживал он по полям и помахивал нагайкой, ни на йоту не отступая от исконного урочного положения: за первую вину – пять ударов, за вторую – десять и т. д.

А молва продолжала расти. В сентябре 1856 года некоторые соседи, ездившие на коронацию, возвратились в деревню и привезли новость, что вся Москва только и говорит, что о предстоящей реформе.

– Всех бы я вас за языки перевешал, да и московских тявкуш кстати! – без церемонии откликался на это известие Арсений Потапыч. – Тяф да тяф, только и знают, что лают дворняжки! Надо, чтоб все с ума сошли, чтоб этому статься! А покуда до этого еще не дошло.

– Чудак ты, братец! точь-в-точь Струнников! тому, что ни говори, он все свое долбит! – убеждает его Григорий Александрич Перхунов.

– Струнникова хоть и называют глупым, а, по-моему, он всех вас умнее.

– Рассуди, однако. Кабы ничего не готовилось, разве позволило бы начальство вслух об таких вещах говорить? Вспомни-ка. Ведь в прежнее время за такие речи ссылали туда, где Макар телят не гонял, а нынче всякий пащенок рот разевает: волю нужно дать, волю! А начальство сидит да по головке гладит!

– Белиберда пошла – от того! Вожжи распустили, бомбошкой заманивают… Всегда так на первых порах бывало.

– И я знаю, что белиберда, да к белиберде-то к этой готовиться надобно. Упадет она как снег на голову; очнуться придется, туда-сюда – ан поздно!

– Отстань!.. сказал, что никогда этому не бывать, – и не будет! Не к чему готовиться.

Одним словом, ничто не могло его сломить. Даже Филанида Протасьевна, всегда безусловно верившая в правоту мужа, – и та поколебалась. Но разуверять его не пробовала, потому что боялась, что это только поведет к охлаждению дружеских отношений, исстари связывавших супругов.

В то время старики Пустотеловы жили одни. Дочерей всех до одной повыдали замуж, а сыновья с отличием вышли из корпуса, потом кончили курс в академии генерального штаба и уж занимали хорошие штабные места.

– Жить бы теперь да радоваться, – тосковала Филанида Протасьевна, – так нет же! послал под конец бог напасть!

И написала сыновьям, чтоб хорошенько обо всем разузнали и осторожно уведомили отца.

Действительно, оба сына, один за другим, сообщили отцу, что дело освобождения принимает все более и более серьезный оборот и что ходящие в обществе слухи об этом предмете имеют вполне реальное основание. Получивши первое письмо, Арсений Потапыч задумался и дня два сряду находился в величайшем волнении, но, в заключение, бросил письмо в печку и ответил сыну, чтоб он никогда не смел ему о пустяках писать.

Наконец в газетах появился известный рескрипт генерал-губернатору Западного края. Полковник Гуслицын прислал Пустотелову номер «Московских ведомостей», в котором был напечатан рескрипт, так что, по-настоящему, не оставалось и места для каких бы то ни было сомнений.

– Вот видишь! – осмелилась заметить мужу по этому поводу Филанида

Протасьевна.

– Что вижу! глупость вижу! – огрызнулся он точь-в-точь как Струнников, – известно, полячишки! Бунтуют – вот им за это и…

Рескрипт, можно сказать, даже подстрекнул его. Уверившись, что слух о предстоящей воле уже начинает проникать в народ, он призвал станового пристава и обругал его за слабое смотрение, потом съездил в город и назвал исправника колпаком и таким женским именем,

что тот с минуту колебался, не обидеться ли ему.

– Вот я сам за дело возьмусь, за всех за вас наблюдать начну! – пригрозил он, – и первого же «тявкушу», какого встречу – мой ли он, чужой ли, – сейчас на конюшню драть. Скажите на милость, во все горло чепуху по всему уезду городят, а они, хранители-то наши, сидят спустя рукава да посвистывают!

И действительно, он начал наблюдать и прислушиваться. В Последовке страх покамест еще не исчез, и крестьяне безмолвствовали, но на стороне уж крупненько поговаривали. И вот он однажды заманил одного «тявкушу» и выпорол. Конечно, это сошло ему с рук благополучно, – сосед, владелец «тявкуши», даже поблагодарил, – но все уж начали потихоньку над ним посмеиваться.

– Посмотри на себя, на что ты похож стал! – упрекал его Перхунов, – точно баба! только бабы нынче этому не верят, а ты все умен да умен был, и вдруг колесом ходить начал! Струнников – и тот над тобой смеется!

Наконец он надумал решительную меру. Призвал приходского батюшку и предложил ему в первый же праздник сказать в церкви проповедь на тему, что никогда этого не будет. Но батюшка был из небойких, отроду проповедей не сочинял, а потому и на этот раз затруднился. Тогда он предложил собственные услуги. И действительно, не теряя лишней минуты, засел за дело, а часа через два проповедь уж была готова. В ней он изложил, что и у Авраама были рабы, и у Исаака, и у Иакова, а у Иова было рабов даже больше, нежели овец.

Одним словом, доказал все так ясно, что малому ребенку не понять нельзя.

В первое же воскресенье церковь была битком набита народом. Съехались послушать не только прихожане-помещики, но и дальние. И вот, в урочное время, перед концом обедни, батюшка подошел к поставленному на амвоне аналою и мягким голосом провозгласил:

– Господа, мужички! прошу подойти ближе! подходите ближе!

Толпа заколыхалась. Мужички слушали со вниманием и, по-видимому, поняли; но – увы! – поняли как раз наоборот ожиданиям Арсения Потапыча.

Вслед за тем Струнников съездил в губернский город на общее совещание предводителей и возвратился оттуда. Дальнейшие сомнения сделались уж невозможными…

Пустотеловы заперлись в Последовке и сами никуда не ездили, и к себе не принимали. В скором времени Арсений Потапыч и хозяйство запустил; пошел слух, что он серьезно стал попивать.

– Вот он, образцовый-то хозяин! – говорили об нем соседи, – и все мы образцовые были, покуда свои мужички задаром работали, а вот, поди-ка, теперь похозяйничай!

В 1865 году мне пришлось побывать в нашем захолустье. В один из небольших церковных праздников отправился я к обедне в тот самый приход, к которому принадлежали и Пустотеловы. Церковь была совершенно пуста; кроме церковного причта да старосты, я заметил только двух богомольцев, стоявших на небольшом возвышении, обтянутом потемневшим и продырявленным красным сукном. То были старики Пустотеловы.

После обедни я подошел к ним и удивился перемене, которая произошла в Арсении Потапыче в каких-нибудь два-три года. Правая нога почти совсем отнялась, так что Филанида Протасьевна вынуждена была беспрестанно поддерживать его за локоть; язык заплетался, глаза смотрели мутно, слух притупился. Несмотря на то, что день только что начался, от него уж слышался запах водки.

– Арсений Потапыч! Филанида Протасьевна! наконец-то случай нас свел! – приветствовал я знакомых.

Филанида Протасьевна, увидевшись со мной, молча указала на мужа и заплакала, но он, по-видимому, не узнал меня. Неподвижно уставив вперед мутные глаза, он, казалось, вглядывался в какой-то призрак, который ежеминутно угнетал его мысль.

– Арсюша! старый знакомый с тобой говорит! – крикнула ему в ухо жена.

Он медленно повернул голову в мою сторону и чуть слышно, коснеющим языком, пролепетал:

– У-ми-рать…

XXIX. Валентин Бурмакин

Валентин Осипыч Бурмакин был единственный представитель университетского образования, которым обладало наше захолустье.

Еще когда он посещал университет, умерла у него старуха бабушка, оставив любимцу внуку в наших местах небольшое, но устроенное имение, душ около двухсот. Там он, окончивши курс, и приютился, отказавшись в пользу сестер от своей части в имении отца и матери. Приехавши, сделал соседям визиты, заявляя, что ни в казне, ни по выборам служить не намерен, соперником ни для кого не явится, а будет жить в своем Веригине вольным казаком.

Соседи ему не понравились, и он не понравился соседям. Думали: вот явится жених, будет по зимам у соседей на вечеринках танцы танцевать, барышням комплименты говорить, а вместо того приехал молодой человек молчаливый, неловкий и даже застенчивый. Как есть рохля. Поначалу его, однако ж, заманивали, посылали приглашения; но он ездил в гости редко, отказываясь под разными предлогами, так что скоро сделалось ясно, что зимнее пошехонское раздолье напрасно будет на него рассчитывать.

Заперся он в Веригине, книжек навез, сидит да почитывает. Даже в хозяйство не взошел. Призвал старосту Власа, который еще при бабушке верой и правдой служил, и повел с ним такого рода разговор:

– Слушай, Влас! Ведь ты честный человек? да?

Староста изумился при этом вопросе и во все глаза смотрел на молодого барина.

– Я тебя не подозреваю, а только спрашиваю: ведь ты честный человек? да? – приставал Бурмакин.

– С чего бы, кажется… – пробормотал Влас.

– Вот и прекрасно. И ты честный человек, и я честный человек, и все мы здесь честные люди! Я и тебе, и всем… доверяю!

Валентин Осипыч протянул руку, конечно, для пожатия, но староста кинулся со всех ног и поцеловал ее.

– Ах, что ты! я совсем не для того… Пожалуйста, ты эти глупости оставь!

Очень возможно, что разговор этот был несколько прикрашен кем-нибудь из остряков соседей, но в применении к Бурмакину он представлялся настолько вероподобным, что обошел всю округу и составил предмет общего увеселения.

К счастью, бабушкин выбор был хорош, и староста, действительно, оказался честным человеком. Так что при молодом барине хозяйство шло тем же порядком, как и при старухе бабушке. Доходов получалось с имения немного, но для одинокого человека, который особенных требований не предъявлял, вполне достаточно. Валентин Осипыч нашел даже возможным отделять частичку из этих доходов, чтобы зимой погостить месяц или два в Москве и отдохнуть от назойливой сутолоки родного захолустья.

Это была чистая, высоконравственная, почти непорочная личность.

Бурмакин принадлежал к числу тех беззаветных идеалистов, благодаря которым во тьме сороковых годов просиял луч света и заставил волноваться отзывчивые сердца. Впервые после многих лет забитости почувствовалось, что доброе и человеческое не до конца изгибло, что человеческий образ, даже искаженный, не перестает быть человеческим образом. Разумеется, возникшее в этом смысле движение сосредоточивалось исключительно в литературе да в стенах университета; разумеется, оно высказывалось случайно, урывками,

но эта случайность пробивалась наружу в таком всеоружии страстности и убежденности, что неизбежно оставляла по себе горячий след. Светоч горел одиноко, но настолько ярко, что впоследствии, когда дальнейшее горение было признано неудобным, потребовались уже некоторые усилия, чтоб потушить его.

Бурмакин был ученик Грановского и страстный почитатель Белинского. Не будучи «учеными», в буквальном смысле этого слова, эти люди будили общественное чувство и в высшей мере обладали даром жечь глаголом сердца. А для того времени это было всего нужнее. На призыв их проповеди откликнулась безвестная масса современной молодежи и, в свою очередь, сеяла горячее слово добра, человечности, любви. Сеяла на свой риск, не останавливаясь ни перед подозрительностью, которая встречала проповеднический подвиг, ни перед мыслью о пучине безвестности, в которой этому подвигу предстояло утонуть.

Валентин еще в университете примкнул к этому кружку страстных и убежденных людей и искренно привязался к нему. Он много читал, изредка даже пробовал писать, но, надо сказать правду, выдающимися талантами не обладал.

Это был отличный второстепенный деятель и преданнейший друг. Так понимали его и члены кружка, глубоко ценившие его честные убеждения.

Но как ни безупречна была, в нравственном смысле, убежденная восторженность людей кружка, она в то же время страдала существенным недостатком. У нее не было реальной почвы. Истина, добро, красота – вот идеалы, к которым тяготели лучшие люди того времени, но, к сожалению, осуществления их они искали не в жизни, а исключительно в области искусства, одного беспримесного искусства.

Это было, впрочем, понятно. Жизнь того времени представляла собой запертую храмину, ключ от которой был отдан в бесконтрольное заведывание табели о рангах, и последняя настолько ревниво оберегала ее от сторонних вторжений, что самое понятие о «реальном» как бы исчезло из общественного сознания. Музыка, литература, театр стояли на первом плане и служили предметом пламенных и бескорыстных состязаний. Всем памятны споры о Мочалове, Каратыгине, Щепкине и т. д., каждый жест которых порождал целую массу страстных комментариев. Даже в балете усматривали глашатая добра, истины и красоты. Имена Санковской и Герино раздавались во всех кофейнях, на всех дружеских беседах. Это были не просто танцовщик и танцовщица, а пластические разъяснители «нового слова», заставлявшие по произволению радоваться или скорбеть.

Оторванность от реальной почвы производила печальное двоегласие и в существовании отдельных индивидуумов. Крепостное право было ненавистно, но таких героев, которые отказались бы от пользования им, не отыскивалось.

Однажды установившаяся степень довольства и перспектива обеспеченного досуга были слишком привлекательны, чтобы ввиду их даже избранник решился взять посох в руки и идти в поте лица снискивать хлеб свой. Таким образом, жизнь сама собой раскалывалась на две половины: одна была отдана Ормузду, другая – Ариману.

Но, кроме двоегласия в личном существовании, представлялась еще другая опасность, которую приводило за собой отсутствие реальных интересов…

Опасность эту представляло вторжение некоторых противоречивых примесей, которые угрожали возможностью измен в будущем.

Одною из заветных формул того времени была «святая простота». В ней заключалось нечто непререкаемое, и при упоминовении об ней оставалось только преклоняться. Но употребляли ее неразборчиво и нередко смешивали с пошлостью и невежеством. Это уж было заблуждение, которое грозило последствиями очень сомнительного свойства. Крестьянство задыхалось под игом рабства, но зато оно было sancta simplicitas[60]; чиновничество погрязало в лихоимстве, но и это было своего рода sancta simplicitas; невежество, мрак, жестокость, произвол господствовали всюду, но и они представляли собой

60 Святая простота

одну из форм sancta simplicitas. Среди этих разнообразных проявлений простоты дышать было тяжело, но поводов для привлечения к ответственности не существовало.

Затем, рядом с легендой о святой простоте, выработалась еще другая, гласившая, что существующее уже по тому одному разумно, что оно существует.

Формула эта свидетельствовала, что самая глубокая восторженность не может настолько удовлетвориться исключительно своим собственным содержанием, чтобы не чувствовать потребности в прикосновении к действительности, и в то же время она служила как бы объяснением, почему люди, внутренно чуждающиеся известного жизненного строя, могут, не протестуя, жить в нем. Разумеется, это было возможно только при целой системе таких оправданий и примирений, откуда было недалеко и до совершенной путаницы понятий. И будущее доказало, что измена очень ловко воспользовалась этими оправданиями.

Тем не менее, как ни оторван был от жизни идеализм сороковых годов, но лично своим адептам он доставлял поистине сладкие минуты. Мысли горели, сердца учащенно бились, все существо до краев переполнялось блаженством.

Спасибо и за это. Бывают сермяжные эпохи, когда душа жаждет, чтобы хоть шепотом кто-нибудь произнес: sursum corda![61] – и не дождется…

* * *

Итак, Бурмакин поселился в родном гнезде и нимало не роптал на одиночество. Он читал, переписывался с друзьями и терпеливо выжидал тех двух-трех месяцев, в которые положил себе переезжать на житье в Москву.

Как ни ревниво, однако ж, ограждал он свое уединение, но совсем уберечься от общения с соседями уже по тому одному не мог, что поблизости жили его отец и мать, которых он обязан был посещать.

Старики Бурмакины жили радушно, и гости ездили к ним часто. У них были две дочери, обе на выданье; надо же было барышням развлеченье доставить.

Правда, что между помещиками женихов не оказывалось, кроме закоренелых холостяков, погрязших в гаремной жизни, но в уездном городе и по деревням расквартирован был кавалерийский полк, а между офицерами и женихов присмотреть не в редкость бывало. Стало быть, без приемов обойтись никак нельзя.

Поэтому в доме стариков было всегда людно. Приезжая туда, Бурмакин находил толпу гостей, преимущественно офицеров, юнкеров и барышень, которыми наш уезд всегда изобиловал. Валентин был сдержан, но учтив; к себе не приглашал, но не мог уклониться от знакомств, потому что родные почти насильственно ему их навязывали.

– Он у нас бука, – говорили они, – а вы соберитесь компанией, да и растормошите его!

В числе наиболее частых посетительниц стариковского дома была помещица Калерия Степановна Чепракова с четырьмя дочерьми. Она была вдова и притом бедная (всего пятьдесят душ, да и те разоренные), так что положение ее, при большом семействе, состоявшем из одних дочерей, было очень незавидное.

Усадьба ее была расположена на высоком берегу реки Вопли, но дом был до того ветх, что ежеминутно грозил развалиться. Соседи называли его старым аббатством и удивлялись, как она не боится в нем жить. Полы ходуном ходили; из окон и из щелей стен дуло; зимой никакими способами ухититься было нельзя. Ремонтировать дом было не на что, да, пожалуй, и незачем; надо новый дом строить, а у вдовы не только денег, а и лесу своего нет.

Однако ж вдова не унывала. Дочери у нее были погодки и все очень красивые, в особенности младшая, которой только что минуло семнадцать лет.

Все офицеры, и молодые и старые, поголовно влюблялись в них, а майор Клобутицын даже основал дивизионную штаб-квартиру в селе, где жили Чепраковы. Там, притаившись в

---

61 ГорЕ имеем сердце!

отведенной ему крестьянской избе, он, в обществе избранных субалтерн-офицеров, засматривался на чепраковских барышень, покуда они резвились, купаясь в Вопле, и нельзя поручиться, чтоб барышни, в свою очередь, не знали, что за ними следят любопытные глаза.

По поводу этих наблюдений носились слухи, что вдова не очень разборчива на средства, лишь бы «рассовать» дочерей, но соседи относились к этому снисходительно, понимая, что с такой обузой справиться нелегко.

– Извольте-ка, – говорили они, – от пятидесяти душ экую охапку детей содержать! Накормить, напоить, одеть, обуть да и в люди вывезти! Поневоле станешь в реке живые картины представлять!

Неизвестно, досыта ли кормила вдова дочерей, но все четыре были настолько в теле, что ничто не указывало на недостаток питания; неизвестно, в каких платьях они ходили дома, но в люди показывались одетыми не хуже других. Вдова была изобретательна; перешивала, перекраивала, выворачивала – и всегда у ней выходило хоть куда. Одно горе – от приемов она должна была совсем отказаться: и средств нет, и дом никуда не годится. Впрочем, господа офицеры изредка все-таки заглядывали к Чепраковым и проводили время не скучно. Только вместо чаю пили молоко; вместо пшеничных булок ели черный хлеб с маслом.

Положение Калерии Степановны было тем более неприятно, что у нее существовало сытое и привольное прошлое. Сама она принадлежала к семье Курильцевых, исстари славившейся широким гостеприимством, а муж ее до самой смерти был таким же бессменным исправником, каким впоследствии сделался Метальников. Весело им жилось, привольно; Чепраков добывал денег много и тратил без расчета. Муж пил, жена рядилась и принимала гостей. Казалось, и конца раздолью не будет. Дом уж и в то время обращался в руины, так что неминучее дело было затевать новый, а Чепраков все откладывал да откладывал – с тем и на тот свет отправился, оставивши вдову с четырьмя дочерьми. Умер он внезапно, ударом, запутавши дела до того, что и похоронить было не на что. День днем очищался, а об запасной копейке и в помыслах не держали. Еще накануне дом довольством кипел, а наутро – хоть шаром покати.

Это случилось лет десять тому назад. Полились вдовьи слезы. Не скоро поняла Калерия Степановна свое положение; к хозяйству она не привыкла, жила на всем готовом – натурально, что при первом же испытании совсем растерялась. Хорошо еще, что дети были невелики, больших расходов не требовали, а то просто хоть с сумой побираться иди. Однако пришлось понять, что прежнее приволье кануло бесповоротно в пучине прошлого и что впереди ждет совсем новая жизнь. И надо отдать вдове справедливость: хоть и не сразу, но она поняла.

Пришлось обращаться за помощью к соседям. Больше других выказали вдове участие старики Бурмакины, которые однажды, под видом гощения, выпросили у нее младшую дочь Людмилу, да так и оставили ее у себя воспитывать вместе с своими дочерьми. Дочери между тем росли и из хорошеньких девочек сделались красавицами-невестами. В особенности, как я уж сказал, красива была Людмила, которую весь полк называл не иначе, как Милочкой. Надо было думать об женихах, и тут началась для вдовы целая жизнь тревожных испытаний.

Взоры ее естественно устремились на квартирующий полк, но военная молодежь охотно засматривалась на красавиц, а сватовства не затевала. Даже старые холостяки из штаб-офицеров – и те только шевелили усами, когда Калерия Степановна, играя маслеными глазами, – она и сама еще могла нравиться, – заводила разговоры о скуке одиночества и о том, как она счастлива, что у нее четыре дочери и всё ангелы.

– Посмотрю я на вас, Семен Семеныч, – обольщала она майора Клобутицына, – всё-то вы одни да одни! Хоть бы к нам почаще заходили, а то живете через улицу, в кои-то веки заглянете.

– Я, сударыня, готов-с.

– А готовы, так за чем же дело стало! У меня дочки… песенок для вас попоют, на фортопьянах поиграют… Заходите-ка вечерком, мы вас расшевелим!

Действительно, на следующий же день после этого разговора майор прифрантился, надушился и явился около семи часов вечера в аббатство. Дело шло уже к осени, сумерки спустились рано; в большой зале аббатства было сыро и темно. Не встретивши в передней прислуги, майор, покашливая и громко сморкаясь, ходил взад и вперед по зале, в ожидании хозяек. В голове у него бродила своекорыстная мысль: хорошо бы вот этакую девицу, как Марья Андреевна (старшая дочь), да не жениться бы, а так… чтобы чай разливала.

Минут с десять он таким образом промечтал, пока наконец его заслышали.

– А! Семен Семеныч! к нам, в гостиную! – крикнула в дверях Калерия Степановна, – у нас уютнее!

Подали две сальных свечи, а затем, играя и резвясь, прибежали и все четыре дочери. Майор щелкал шпорами и играл зрачками.

– Чем вас потчевать? – захлопотала вдова. – Мужчины, я знаю, любят чай с ромом пить, а у нас, извините, не то что рому, и чаю в заводе нет. Не хотите ли молочка?

– Помилуйте! зачем же-с?

Вдова начала горько жаловаться на судьбу. Все у них при покойном муже было: и чай, и ром, и вино, и закуски… А лошади какие были, особливо тройка одна! Эту тройку покойный муж целых два года подбирал и наконец в именины подарил ей… Она сама, бывало, и правит ею. Соберутся соседи, заложат тележку, сядет человека четыре кавалеров, кто прямо, кто сбоку, и поедут кататься. Шибко-шибко, кавалеры, бывало, трусят, кричат: «Тише, Калерия Степановна, тише!» – а она нарочно все шибче да шибче…

– Хорошо тогда жилось, весело. Всего, всего вдоволь было, только птичьего молока недоставало. Чай пили, кто как хотел: и с ромом, и с лимоном, и со сливками. Только, бывало, наливаешь да спрашиваешь: вы с чем? вы с чем? с лимоном? с ромом? И вдруг, точно сорвалось… Даже попотчевать дорогого гостя нечем!

Вдова поникла головой и исподлобья взглядывала на майора, не выкажет ли он сочувствия к ней.

– Не позволите ли мне, сударыня, фунт чаю?.. – наконец, вымолвил он, – да кстати уж и рому бутылку велю захватить.

– Ах, что вы! как же это так! А впрочем, разве для вас! по крайней мере, вы пунш себе сделаете, как дома. А нам не нужно: мы от чаю совсем отвыкли!

– Ничего-с. Бог даст, и опять привыкнете.

Эти слова были добрым предзнаменованием, тем более, что, произнося их, Клобутицын так жадно взглянул на Марью Андреевну, что у той по всему телу краска разлилась. Он вышел на минуту, чтоб распорядиться.

– Смотри же, Маша, не упускай! – шепнула Калерия Степановна дочери.

Заварили майорский чай, и, несмотря на отвычку, все с удовольствием приняли участие в чаепитии. Майор пил пунш за пуншем, так что Калерии Степановне сделалось даже жалко. Ведь он ни чаю, ни рому назад не возьмет – им бы осталось, – и вдруг, пожалуй, всю бутылку за раз выпьет! Хоть бы на гогель-могель оставил! А Клобутицын продолжал пить и в то же время все больше и больше в упор смотрел на Машу и про себя рассуждал:

«Хорошо бы этакую штучку… да не для женитьбы, а так… Она бы чай разливала, а я бы вот таким же образом пунш пил…»

Разумеется, царицей импровизированного вечера явилась Марья Андреевна.

Она пропела: «Прощаюсь, ангел мой, с тобою», и с таким чувством произнесла «заря меня не нарумянит, роса меня не напоит», что майора слеза прошибла.

Затем она же сыграла на старых-старых фортопьянах, которые дребезжали как гусли, варьяции на тему: «Ты не поверишь», и майор опять прослезился. Он так жадно смотрел на девушку, что Калерия Степановна уж подумывала, не оставить ли их одних; но взглянула на Клобутицына и убедилась, что он совсем пьян.

– Прощайте-с! – вдруг молвил он в самый разгар матримониальных мечтаний Калерии Степановны.

И с этими словами, едва держась на ногах, вышел из гостиной.

Майор зачастил. Каждый раз, приходя в аббатство, он приносил бутылку рома, а чаю через каждые две недели фунт. Такое уж он, по-видимому, придумал «положение». Вдова радовалась, что дело идет на лад, и все дальше углублялась в матримониальные мечты.

– Скучно вам, Семен Семеныч, одним? Сознайтесь… скучно? – приставала она.

– Скучновато-с.

– Вы бы женились! Мало ли у нас невест – целый цветник!

Майор загадочно улыбался, но молчал.

– Право! вы бы службой занимались, а молодая жена хозяйничала бы! Неужто вам денщик и чай наливает?

– Денщик-с.

– Вот видите! А тогда сидели бы вечером таким же манером, как теперь, жена бы чай разливала, а вы бы пунш пили.

– Хорошо бы-с.

– За чем же дело стало?

– Хорошо бы… да не так, а этак-с…

Вдова вскидывала на майора удивленные глаза и не понимала. Но вскоре всё объяснилось. Клобутицын стал делать такие прозрачные намеки, которые даже сомнений не допускали…

Надежды на майорское сватовство рухнули. Но вдова не унималась и деятельно предпринимала один матримониальный поход за другим. Она появлялась всюду, где можно было встретить военных людей; и сама заговаривала с ними, и дочерей заставляла быть любезными: словом сказать, из последнего билась, чтобы товар лицом показать. Но ей положительно не везло. Самые невинные корнеты – и те как-то загадочно косили глазами на красавиц-невест, словно говорили: хорошо-то бы хорошо, да не так, а вот этак. Аббатство одинаково пугало и старых и молодых.

Появление молодого Бурмакина как раз совпало с тем временем, когда Калерия Степановна начинала терять всякую надежду. Увидев Валентина Осипыча, она встрепенулась. Тайный голос шепнул ей: «Вот он… жених!» – и она с такою уверенностью усвоила себе эту мысль, что оставалось только решить, на которой из четырех дочерей остановится выбор молодого человека.

Младшая дочь, Людмила, была красивее всех. Она не обладала ни дебелостью, ни крутыми бедрами, которыми отличались сестры; напротив того, была даже несколько худощава, но в меру, насколько приличествует красоте, которая обещает надолго сохраниться в будущем. Высокая, стройная, с едва намеченною, девственною грудью, она напоминала Венеру, выходящую из морской волны. Прелестное личико имело слегка избалованное выражение и было увенчано густой золотистой косой, которая падала ниже пояса. Вся ее фигура дышала женственностью, и это было тем привлекательнее, что она с необыкновенной простотой носила свою красоту. Она не шла навстречу восторгам, а предоставляла любоваться собой и чуть заметно улыбалась, когда на нее заглядывались, как будто ее даже удивляло, что в глазах молодых людей загорались искры, когда они, во время танцев, прикасались к ее талии.

Но насколько пленительна была Милочкина внешность, настолько же она была сама необразованна и неразвита, настолько же во всем ее существе была разлита глубокая бессознательность. Разговора у нее не было, но она так красиво молчала, что, кажется, век бы подле нее, тоже молча, просидел, и было бы не скучно.

– Что вы, Людмила Андреевна, молчите? скажите что-нибудь! – приставали к ней кавалеры, – ну, например, я вас лю…

– Ах, нет, оставьте!.. мне лень, – отвечала она, закрывая глаза, точно собиралась уснуть, – какие вы говорите пустяки!

И кавалеры оставляли ее в покое и даже находили, что молчание составляет одну из ее привилегий. Еще бог знает, что она скажет, если заговорит, а тут сиди и любуйся ею – вот и все!

Даже когда офицеры называли ее в глаза «Милочкой», она и тогда не обижалась, а только пожималась, словно ее пощекотали.

– Людмила Андреевна! Милочка… ведь вы Милочка?

Молчание.

– Милочка! мы все в вас влюблены!

– Вот нашли!

Встретившись с Людмилой в доме своих стариков, Бурмакин сразу был поражен ее красотой. Красота была для него святыней, а «женственное» – святыней сугубой. От внимания его, конечно, не ускользнула крайняя неразвитость девушки, но это была «святая простота» и тоже принадлежала к числу идеалов, составлявших культ молодого человека. Одно не нравилось: господа военные как-то уж чересчур бесцеремонно льнули к красавице, и она, по-видимому, была не в состоянии дать им отпор. Но ведь и это «святая простота», перед которою преклоняться следует, принимая всецело, как она есть, и не анализируя. Придет время – сердце ее само собой забьет тревогу, и она вдруг прозреет и в «небесах увидит бога», но покуда ее час не пробил, пускай это сердце остается в покое, пускай эта красота довлеет сама себе.

Старики Бурмакины хвалили Милочку. Они отзывались об ней, как о девушке тихой, уживчивой, которая несколько лет сряду была почти членом их семьи, и никогда никакой неприятности они от нее не видали. Правда, что она как будто простовата, – ну, да это пройдет. Выйдет замуж за хорошего человека и разом очнется.

Говоря таким образом, они любовно посматривали на сына, словно угадывали зарождающееся в нем чувство и были не прочь поощрить его.

Калерия Степановна, в свою очередь, почуявши в Бурмакине жениха, старалась вывести Милочку из оцепенения.

– Ты что же, рохля, зеваешь! – говорила она ей, – во сне, матушка, мужа не добудешь!

– Я, маменька, кажется, ничего…

– То-то, что ничего! Ничего-то ничем и кончается. А ты умей человеку отличие показать. Прочим ничего, а ему – чего! Умная-то девица ежели и лишненькое основательному человеку позволит, так и то не беда; а она сидит, как царевна, да пожимается!

Вообще сближение между молодыми людьми произошло не скоро. Несмотря на материнские наставления, Милочка туго пробуждалась из состояния вялости, которое присуще было ее природе. Бурмакин тоже был застенчив и лишь изредка перебрасывался с красавицей двумя-тремя незначащими словами…

Но вот наконец его день наступил. Однажды, зная, что Милочка гостит у родных, он приехал к ним и, вопреки обыкновению, не застал в доме никого посторонних. Был темный октябрьский вечер; комната едва освещалась экономно расставленными сальными огарками; старики отдыхали; даже сестры точно сговорились и оставили Людмилу Андреевну одну. Она сидела в гостиной в обычной ленивой позе, и не то дремала, не то о чем-то думала.

– Об чем задумались? – спросил он, садясь возле нее.

– Так… ни об чем…

– Нет, я желал бы знать, что в вас происходит, когда вы, задумавшись, сидите одни.

– Чему же во мне происходить?..

Она сделала движение, чтобы полнее закутаться, в старый драдедамовый платок, натянутый на ее плечи, и прижалась к спинке дивана.

– Вас ничто никогда не волновало? ничто не радовало, не огорчало? – продолжал допытываться он.

– Чему радоваться… вот мамаша часто бранит, – ну, разумеется…

– За что же она вас бранит?

– За все… за то, что я мало говорю, занять никого не умею…

– Ну так что ж за беда!

– Нехорошо это. Она об нас заботится, а я сама себе добра не желаю.

Бурмакин умилился.

– Милочка! – он, как и все в доме, называл ее уменьшительным именем, – вы святая!

Она вскинула на него удивленные глаза.

– Да, вы святая! – повторил он восторженно, – вы сами не сознаёте, сколько в вас женственного, непорочного! вы святая!

– Ах, что вы! разве такие святые бывают! Святые-то круглый год постятся, а я и в великий пост скоромное ем.

Несмотря на явное простодушие, ответ этот еще более умилил Бурмакина.

– Вы олицетворение женственности, чистоты и красоты! – твердил он, – вы та святая простота, перед которой в благоговении преклоняются лучшие умы!

– И мамаша тоже говорит, что я проста.

– Ах, нет, я не в том смысле! я говорю, что в вас нет этой вычурности, деланности, лжи, которые так поражают в других девушках. Вы сама правда, сама непорочность… сама простота!

Он взял ее за руку, которую она без ужимок отдала ему.

– Скажите! – продолжал он, – вы никогда не думали о человеке, который отдал бы вам свою жизнь, который лелеял бы, холил вас, как святыню?

– Ах, что вы!

– Скажите, в состоянии ли вы были бы полюбить такого человека? раскрыли ли бы перед ним свою душу? сердце?

Она молчала; но в лице ее мелькнуло что-то похожее на застенчивое пробуждение.

– Скажите! – настаивал он, – если б этот человек был я; если б я поклялся отдать вам всего себя; если б я ради вас был готов погубить свою жизнь, свою душу…

Он крепко сжимал ее руку, силясь разгадать, какое действие произвело на нее его страстное излияние.

– А вы будете часто со мной в гости ездить? будете меня в платьица наряжать?

Она выговорила эти слова так уверенно, словно только одни они и назрели в глубинах ее «святой простоты».

Даже Бурмакина удивила форма, в которую вылились эти вопросы. Если б она спросила его, будет ли он ее «баловать», – о! он наверное ответил бы: баловать! ласкать! любить! и, может быть, даже бросился бы перед ней на колени. Но «ездить в гости», «наряжать»! Что-то уж чересчур обнаженное слышалось в этих словах.

Он встал и в волнении начал ходить взад и вперед по комнате. Увы! дуновение жизни, очевидно, еще не коснулось этого загадочного существа, и весь вопрос заключался в том, способно ли сердце ее хоть когда-нибудь раскрыться навстречу этому дуновению. Целый рой противоречивых мыслей толпился в его голове, но толпился в таком беспорядке, что ни на одной из них он не мог остановиться. Разумеется, победу все-таки одержало-то решение, которое уже заранее само собой созрело в его душе и наметило своего рода обязательную перспективу, обещавшую успокоение взволнованному чувству.

– Людмила Андреевна! – сказал он, торжественно протягивая ей руку, – я предлагаю вам свою руку, возьмите ее! Это рука честного человека, который бодро поведет вас по пути жизни в те высокие сферы, в которых безраздельно царят истина, добро и красота. Будемте муж и жена перед богом и людьми!

– Мамаша…

– Ах, нет, не упоминайте об мамаше! Пускай настоящая минута останется светла и без примеси. Я уважаю вашу мамашу, она достойная женщина! но пускай мы одним себе, одним внезапно раскрываемым сердцам нашим будем обязаны своим грядущим счастием! Ведь вы мне дадите это счастие? дадите?

Она томно улыбнулась в ответ и потянула его за руку к себе. И вслед за тем, как бы охваченная наплывом чувства, она сама потянулась к нему и поцеловала его.

– Вот вам! – произнесла она, закрасневшись.

Когда старики Бурмакины проснулись, сын их уже был женихом. Дали знать Калерии

Степановне, и вечер прошел оживленно в кругу «своих». Валентин Осипович вышел из обычной застенчивости и охотно дозволял шутить над собой, хотя от некоторых шуток его изрядно коробило. И так как приближались филипповки, то решено было играть свадьбу в рожественский мясоед.

Бурмакин был на верху блаженства. Он потребовал, чтоб невеста его не уезжала в аббатство, и каждый день виделся с нею. Оба уединялись где-нибудь в уголку; он без умолку говорил, стараясь ввести ее в круг своих идеалов; она прислонялась головой к его плечу и томно прислушивалась к его говору.

– Истина, добро, красота – вот триада, которая может до краев переполнить существование человека и обладая которой он имеет полное основание считать себя обеспеченным от всевозможных жизненных невзгод. Служение этим идеалам дает ему убежище, в котором он укроется от лицемерия, злобы и безобразия, царствующих окрест. Для того и даются избранным натурам идеалы, чтоб иго жизни не прикасалось к ним. Что такое жизнь, лишенная идеалов? Это совокупность развращающих мелочей, и только. Струнниковы, Пустотеловы, Перхуновы – вот люди, которых может удовлетворять такая жизнь и которые с наслаждением погрязают в тине ее… Нет, мы не так будем жить. Мы пойдем навстречу сочувствующим людям и в обмене мыслей, в общем служении идеалам будем искать удовлетворения высоким инстинктам, которые заставляют биться честные сердца… Милочка! ведь ты пойдешь за мною? пойдешь?

– Я поеду всюду, куда ты поедешь…

– Ах, нет, не то! я хотел спросить: понимаешь ты меня? понимаешь?

– Голубчик! ведь я еще глупенькая… приласкай меня!

– Нет, ты не глупенькая, ты святая! Ты истина, ты добро, ты красота, и все это облеченное в покров простоты! О святая! То, что таится во мне только в форме брожения, ты воплотила в жизнь, возвела в перл создания!

Он брал ее руки и страстно их целовал.

– Скучно тебе со мной? – спрашивал он ее, – скучно?

– Нет, а так…

– Ну вот, после свадьбы поедем в Москву, я тебя познакомлю с моими друзьями. Повеселим тебя. Я ведь понимаю, что тебе нужны радости… Серьезное придет в свое время, а покуда ты молода, пускай твоя жизнь течет радостно и светло.

Покуда они разговаривали, между стариками завязался вопрос о приданом.

Калерия Степановна находилась в большом затруднении. У Милочки даже белья сносного не было, да и подвенечное платье сшить было не на что. А платье нужно шелковое, дорогое – самое простое приличие этого требует. Она не раз намекала Валентину Осиповичу, что бывают случаи, когда женихи и т. д., но жених никаких намеков решительно не понимал. Наконец старики Бурмакины взяли на себя объясниться с ним.

– Ведь невесте-то подвенечное платье сшить нужно, – сказала ему мать.

– А разве то, которое на ней, не хорошо? – спросил он удивленно.

– Ничего, платье как платье. Но подвенечное платье особенное. Да и вообще мало ли что нужно. И белье, и еще три-четыре платьица, да и тебе не мешает о собственной обстановке подумать. Все жил холостой, а теперь семьей обзаводишься. Так и рассчитывать надо…

– Что же нужно? – скажите!

– Перво-наперво, для невесты приданое нужно; хоть простенькое, а все-таки… А потом и у себя в доме надо кой-что освежить… для молодой жены гнездышко устроить. Деньги-то есть ли у тебя?

– Есть рублей триста, которые на поездку в Москву отложил.

– Триста мало, хоть по старому счету это целая тысяча. Даже на поездку в Москву мало, потому что до сих пор ты ездил один, а теперь поедешь сам-друг. А кроме того, предстоят и свадебные расходы. Нужно, по крайней мере, тысячи две.

– Где же их взять?

– Для такого случая рассчитывать на себя не приходится: можно или перехватить где-нибудь, или что-нибудь продать. Занимать, впрочем, не советую; не трудно и запутаться. Продай лучше пустошоночку, хоть Филипцево, например; тысячи полторы тебе с удовольствием Ермолаев даст. Вот ты и при деньгах.

Так и сделали. Из полученных за пустошь денег Валентин Осипович отложил несколько сотен на поездку в Москву, а остальные вручил Калерии Степановне, которая с этой минуты водворилась в Веригине, как дома. Обивали мебель, развешивали гардины, чистили старинное бабушкино серебро, прикупали посуду и в то же время готовили для невесты скромное приданое.

Это было первое серьезное столкновение молодого Бурмакина с действительностью. Он охотно, впрочем, примирился с ним, радуясь, что все устраивается помимо него, и не загадывая, что будущее готовит ему целый ряд подобных же столкновений.

– Какой ты, однако ж, добрый! – сказала ему однажды Милочка, – прямо так и отдал деньги мамаше в руки!

– Как же иначе можно было поступить?

– Ты мог бы свою маменьку попросить заняться. Наверное, мамаша и для сестер из этих же денег туалеты подновит.

– Милочка! какие подозрения… фуй! Бедная моя! надобно как можно скорее вырвать тебя из этой порочной среды… Воздуху надо! воздуху! Милочка! никогда так не говори! прошу тебя… никогда!

– Ах, боже, да ведь это я так…

– Довольно об этом. Грязи и мрака и без того чересчур достаточно. Ты должна оставаться чистою, непорочною, святою, как тот идеал, который светит мне среди тьмы.

По обыкновению, Бурмакин забыл об исходной точке и ударился в сторону.

При таких условиях Милочка могла говорить что угодно, оставаясь неприкосновенною в своей невменяемости. Все ей заранее прощалось ради «святой простоты», которой она была олицетворением, и ежели порою молодому человеку приводилось испытывать некоторую неловкость, выслушивая ее наивные признания, то неловкость эта почти моментально утопала в превыспренностях, которыми полна была его душа.

В начале рожественского мясоеда сыграли свадьбу. Валентин заявлял желание, чтобы посаженым отцом у него был староста Влас, а посаженой матерью ключница Ненила; но тут уж и старики Бурмакины взбунтовались, а Милочка даже расплакалась.

– Они – честные люди! – восклицал он, – и в ту минуту, когда я вступаю на новый жизненный путь, благословение честных людей для меня дороже, нежели генеральское!

Насилу его уломали, доказав, что когда родные отец и мать налицо, то в посаженых и необходимости нет. Но он все-таки настоял, чтобы свадьба была сыграна утром и совсем просто и чтоб к венчальному торжеству были приглашены только самые необходимые свидетели.

– Так, как мещанишек каких-нибудь, и обвели кругом налоя, – горько жаловалась впоследствии Калерия Степановна, – и зачем только подвенечное платье шили! Даже полюбоваться собой при свечах бедной девочке не дали!

Молодые заперлись в Веригине и целую неделю безвыездно выжили там. То была неделя восторгов и святых упоений, перед которыми умолкла даже говорливая экспансивность Валентина Осиповича…

По истечении недели Бурмакины исчезли в Москву.

Москва была полна шума и гвалта, свидетельствовавших, что зимний сезон в полном разгаре. Милочку, которая никогда не выезжала из родного захолустья, сутолока московских улиц сразу ошеломила. Притом же Бурмакин, как человек небогатый и нетребовательный, остановился у Сухаревой, в номерах, где тоже было шумно и вдобавок тесно и неопрятно. Тотчас же по приезде у Милочки разболелась голова. Конечно, и она не была избалована, живя в аббатстве, но там все-таки был простор, тишина и воздуху много. А тут – шум, теснота, вонь и какая-то загадочная слякоть, от которой тошнило.

Сквозь запыленные и захватанные стекла окон с трудом можно было разобрать, что делается на площади, да, впрочем, и интересного эта площадь представляла мало. С утра до вечера гудел на ней базар, стояли ряды возов, около которых сновали мужики и мещане.

– Я думала, что у тебя квартира в Москве, – брезгливо молвила Милочка, оглядывая номер, в котором ей предстояло прожить около месяца.

Бурмакин точно от сна очнулся. В самом деле, это было что-то чудовищное. Такая красота, такая святыня и в такой ужасной обстановке! Это чудовищно, это почти преступление!

– Действительно, тесновато, – всхлопотался он, – но я к этим номерам привык, да и хозяин здешний хороший, справедливый человек. Хочешь, я соседний номер велю отворить, тогда у нас будут две комнаты, вместо одной.

– Помилуй, здесь жить нельзя! грязь… вонь, ах, зачем ты меня в Москву вез! Теперь у нас дома так весело… у соседей сбираются, в городе танцевальные вечера устраивают…

Увы! он даже об обеде для Милочки не подумал. Но так как, приезжая в Москву один, он обыкновенно обедал в «Британии», то и жену повез туда же.

Извозчики по дороге попадались жалкие, о каких теперь и понятия не имеют.

Шершавая крестьянская лошаденка, порванная сбруя и лубочные сани без полости – вот и все. Милочка наотрез отказалась ехать.

– Помилуй, тут вдвоем усесться нельзя; я на первом же ухабе вылечу вон, – чуть не плача, говорила она.

Пришлось бежать на «биржу», нанимать лихача.

В «Британии» дым стоял коромыслом. Толпа студентов, бывших и настоящих, пила, ела и в то же время громко разговаривала. Шла речь об искусстве, о попытке Мочалова сыграть роль короля Лира, о последней статье Белинского, о предстоящем диспуте Грановского и т. д. Большинство присутствующих было знакомо Бурмакину и встретило его с распростертыми объятиями. С некоторыми он познакомил и жену; двое-трое даже подсели к их столу. Бурмакин был счастлив; атмосфера студенчества обступила его со всех сторон, разговоры затронули самые живые струны его существа. Он весь отдался во власть переполнившему его чувству, беспрестанно вскакивал с места, подбегал к другим столам, вмешивался в разговоры и вообще вел себя так, как будто совсем забыл о жене.

Милочка бледнела и кусала себе губы, едва отвечая на вопросы, которые любезно предлагали ей новые знакомцы.

Наконец обед кончился; Милочка заторопилась.

– Ну, брат, убил бобра! – молвил Бурмакину шепотом Быстрицын, закоренелый студент-медик, который уж шесть лет посещал университет, словно намереваясь окаменеть в звании студента.

– Помилуй! святая!

– Задаст тебе копоти эта святая! Нет, друг любезный! в нашем звании обзаводиться женой, да еще красавицей – не приличествует!

Милочка вышла из трактира недовольная, измученная. Она не шла, а бежала по улице.

– Неужели мы всякий день в этот кабак ходить будем? – спросила она гадливо.

– Разве тебе не понравилось?

– Чему же тут нравиться! шум, вонь, грязь… голова заболела.

– Ну вот, приедем домой, там отдохнем.

– Это куда же «домой» – опять в номера? из одной вони в другую?

– Милочка! друг мой! имей терпенье! Мне обещали завтра же нас в центре города устроить. Номера чистые, и насчет обеда можно будет с хозяйкой условиться, ежели ты не хочешь ходить в «Британию».

Это была первая размолвка, но она длилась целый день. Воротившись к Сухаревой, Милочка весь вечер проплакала и осыпала мужа укорами. Очевидно, душевные ее силы начали понемногу раскрываться, только совсем не в ту сторону, где ждал ее Бурмакин. Он ходил взад и вперед по комнате, ероша волосы и не зная, что предпринять.

– Ну, прости! – говорил он, становясь на колени перед «святыней», – я глупец, ничего не понимающий в делах жизни! Постараюсь встряхнуться, вот увидишь!

На другой день около обеда Валентин Осипович перевез жену в другие номера. Новые номера находились в центре города, на Тверской, и были достаточно чисты; зато за две крохотных комнатки приходилось платить втрое дороже, чем у Сухаревой. Обед, по условию с хозяйкой, был готов.

Милочка несколько успокоилась. Покуда лакей и горничная разбирались с вещами, она согласилась прогуляться с мужем по Тверской. На дворе было уже темно; улица тускло освещалась масляными фонарями; в окнах немногих магазинов и полпивных уныло мерцал свет зажженных ламп. Но вечернее уличное движение было в полном разгаре, и Людмила Андреевна беспрестанно вскрикивала, боясь, что на нее налетят сани. Зашли в кондитерскую, выпили по чашке шоколада, но молча, словно обоих приводила в смущение непривычная обстановка.

Прошло несколько дней, унылых, однообразных. Бурмакин сводил жену в театр. Давали «Гамлета». Милочку прежде всего удивило, что муж ведет ее не в ложу, а куда-то в места за креслами. Затем, Мочалов ей не понравился, и знаменитое «башмаков еще не износила», приведшее ее мужа в трепет (он даже толкнул ее локтем, когда трагик произносил эти слова), пропало совсем даром.

– Ну, что? ты поражена? – допрашивал он ее, возвращаясь домой.

– Да… ничего… – ответила она вяло.

– «Ничего»! – разве можно так говорить! Это чудно, дивно, божественно! Никогда Мочалов не был так в ударе, как сегодня! Иногда он бывает неровен, но нынче… От первого до последнего слова все было в нем божественно! К сожалению, он, кажется, запивать начал.

– Ну, видишь ли… пьяница, а ты хвалишь!

– Я не пьяницу хвалю, а художника. Милочка! друг мой! что с тобой?

– Мне… скучно…

– Ну, погоди. Вот через три дня «Скупого» дают: Щепкина тебе покажу.

– Тоже… пьяница?

Бурмакин смирился. Он молча довел жену домой и, сказав ей, что хочет пройтись, оставил одну.

Целых два часа бродил он по умолкнувшим улицам, стараясь дать себе отчет в происшедшем. В голове его все перепуталось: и Милочка, и Мочалов, и «пьяница», и «башмаков еще не износила». Трудно было разобраться в этой путанице, хотя он чувствовал, что началось нечто такое, что угрожало сразу нарушить его душевное равновесие.

Ему сделалось жутко. Что-то неясное, но в высшей степени жестокое промелькнуло в его голове и острою болью отозвалось в сердце. Тем не менее, по мере того как ходьба утомляла его, путаница, царившая в голове, улеглась, и он немного успокоился.

– Какой я, однако ж, глупец! – сказал он себе, – женился и не подумал, что она еще ребенок, что ей нужны радости… Подавая ей руку, я обещал, что эта рука поведет ее по пути жизни, и, как честный человек, должен сдержать свое слово. Я должен исполнить не то, что нужно для меня, уже надломленного жизнью человека, а то, чего жаждет ее чистая, непорочная душа. И я обязан выполнить эту задачу, хотя бы мне пришлось ради этого отказаться от самых дорогих привязанностей, от всего, на что доныне я смотрел, как на святыню сердца! Милочка – вот моя святыня! она, одна она! И зачем только я в Москву ехать затеял! Вот уж именно некстати блажная мысль в голову забрела!

Хотя последнее восклицание вырвалось случайно, но оно заключало в себе горькую правду. Москва сразу раскрыла то, что, вероятно, еще долгое время таилось бы под спудом. Покуда Милочка жила в Веригине, ничто необычное не возбуждало ее. Обоим было там тепло и уютно; по целым часам ходили они обнявшись из комнаты в комнату, смотрели друг другу в глаза и насмотреться не могли. И вдруг – Москва, вонючие номера, «Британия», Мочалов, – это и более крепкую натуру ошеломить могло! Ему-то хорошо; он здесь в родной атмосфере, а каково ей, одинокой, затерянной среди чужих людей, лишенной занятия,

которое могло бы наполнить ее досуг!..

Да, это была с его стороны грубая ошибка, и он глубоко негодовал на себя, что не предвидел ее последствий… Но в то же время в голове его назойливо складывалась мысль: общая жизнь началась так недавно, а раздельная черта уж обозначилась!

Когда он воротился в номера, Милочка уже спала. Он потихоньку разделся и, чтоб не тревожить жену, улегся на диван.

Прошло еще несколько дней. Свозил Бурмакин жену еще раз в театр, но на вопрос, понравился ли ей Щепкин в «Скупом», встретил прежний ответ:

– Да… ничего…

Не раз предлагал он познакомить ее с семейными домами, в которых он был радушно принят, но Милочке всегда было некогда. Вставши поздно утром, она бродила по комнате, не то думая о чем-то, не то просто «так». А он в это время объезжал знакомых, вспоминал студенческие годы и незаметно проводил время в разговорах. Обедали они вместе, хотя его так и порывало в «Британию». Наступал вечер, становилось тоскливо. Первые дни он разговаривал охотно, потом уже принуждал себя разговаривать и наконец стал в тупик. Слов не нашлось. Однажды вечером он исчез и воротился домой уже далеко за полночь.

– Милочка! что мне сделать, чтобы развеселить тебя? – приставал он к ней.

– Мне скучно… домой хочется, – отвечала она уныло.

Наконец одним утром к ним приехала Лариса Максимовна Каздоева, жена одного из самых старых друзей Бурмакина, и так убедительно просила Милочку посетить их вечером, что пришлось согласиться. На вечере было людно и оживленно. Собралось довольно много молодых людей, которые сгруппировались около Милочки и употребляли все усилия, чтоб расшевелить ее. И мужчины, и дамы – все находили, что она красавица, и открыто выражали ей свое восхищение. По-видимому, это поклонение ее красоте со стороны совсем новых лиц польстило ей, так что к концу вечера она и сама оживилась.

– Ну что, весело тебе было? – спрашивал, возвращаясь домой, Бурмакин.

– Так… ничего, – ответила она, впадая в обычную вялость, но сейчас же спохватилась и продолжала. – Да, весело… ничего! Только я хочу тебя об одном попросить, да не знаю…

– Не просить, а приказывать ты должна! – воскликнул он восторженно, – говори! повелевай!

– Вот видишь… у всех дам сегодня туалеты были… ах, впрочем, нет! я такая еще глупенькая…

– Милочка! ради бога! я горю нетерпением…

– Хорошо, только ты не рассердись. У всех нынче плечи на платьях гладкие, а мне наша уездная портниха с эполетцами сделала…

– Нового платьица захотелось? Что ж ты давно не сказала мне? Завтра же поедем к Сихлерше и по последней картинке закажем!

Платье заказали, но чересчур роскошное. Знакомые у Бурмакина были простые, и вечера у них тоже простые. Понадобилось другое платье, простенькое. Бурмакин и тут не рассчитал. За другим платьем понадобилось третье, потому что нельзя же все в одном и том же платье ездить…

Выезды участились. Вечеринки следовали одна за другой. Но они уж не имели того праздничного характера, который носил первый вечер, проведенный у Каздоевых. Восхищение красотой Милочки улеглось, а споры о всевозможных отвлеченностях снова вошли в свои права. Милочка прислушивалась к ним, даже принуждала себя понять, но безуспешно. Одиночество и скука начали мало-помалу овладевать ею.

С своей стороны, Бурмакин с ужасом заметил, что взятые им на прожиток в Москве деньги исчезали с изумительной быстротой. А так как по заранее начертанному плану предстояло прожить в Москве еще недели три, то надобно было серьезно подумать о том, как выйти из затруднения.

Очевидно, что Милочка запасалась туалетом не ради Москвы, которую невзлюбила, а ради родного захолустья, в котором она надеялась щегольнуть перед кавалерами, более ей

родственными по душе. В расчете добыть денег, Бурмакин задумал статью; «О прекрасном в искусстве и в жизни», но едва успел написать: «Ежели прекрасное само собой, и так сказать, обязательно входит в область искусства, то к жизни оно прививается лишь постепенно, по мере распространения искусства, и производит в ней полный переворот», – как догадался, что когда-то еще статья будет написана, когда-то напечатается, а деньги нужны сейчас, сию минуту… Кое-как, однако ж, с помощью друзей, дело сладилось, и Бурмакин, ни слова не говоря жене, раздобылся небольшою суммою, которая, по расчетам его, была достаточна на удовлетворение самых необходимых издержек.

Но тут опять случилась неожиданность: Милочка до такой степени затосковала, что отказалась от вечеров, а за несколько дней до масленицы окончательно стала сбираться в деревню.

– Ты доставил себе удовольствие, – говорила она, – насмотрелся на своих приятелей, наговорился с ними, – надо же и мне что-нибудь… Позволь хоть последние-то дни перед постом повеселиться!

– А здесь!! – удивленно воскликнул Бурмакин.

– А здесь уж ты, коли хочешь, веселись.

Приходилось покориться.

Когда молодые воротились в Веригино, захолустье гудело раздольем. От соседей переезжали к соседям, пили, ели, плясали до поздних петухов, спали вповалку и т. д. Кроме того, в уездном городе господа офицеры устраивали на масленице большой танцевальный вечер, на который был приглашен решительно весь уезд, да предстоял folle journee у предводителя Струнникова.

Во всех этих веселостях Бурмакины приняли деятельное участие. Милочка совсем оживилась и очень умно распоряжалась своими туалетами. Платья, сшитые перед свадьбой, надевала в дома попроще, а московские туалеты приберегала для важных оказий. То первое платье, которое было сшито у Сихлер и для московских знакомых оказалось слишком роскошным, она надела на folle journee к Струнниковым и решительно всех затмила. Даже Александра Гавриловна заметила:

– Вот как Валентин Осипович вас балует. Сейчас видно, что туалет ваш у Сихлер сделан.

Вообще она резвилась, танцевала, любезничала с кавалерами и говорила такие же точно слова, как и другие. И даже от времени до времени, в самый разгар танцев, подбегала к мужу, целовала его и опять убегала.

– Смотрите, как Милочка вдруг развернулась! – удивлялись кругом, – откуда что берется!

Наконец и последний день масленицы канул в вечность.

– Весело тебе было? – спросил Бурмакин, когда утром в чистый понедельник они очутились одни в Веригине.

– Ах, как весело! – ответила она, ласкаясь к мужу, – спасибо! я ведь тебе всем этим обязана! Теперь я буду целую неделю отдыхать и поститься, а со второй недели и опять можно будет… Я некоторых офицеров к нам пригласила… ведь ты позволишь?!

– Помилуй! как тебе угодно!

* * *

Прошел месяц, другой, и скромного веригинского дома нельзя было узнать. Веригино отстояло от города всего в двенадцати верстах, и это было очень удобно. Утро господа офицеры отдавали службе, производили проездки, выездки, маршировали пеший по-конному; к обеду они были уже свободны и могли разъезжать по гостям. Каждый день человек пять-шесть, а иногда и больше, наезжало в Веригино, пило, ело и веселилось у Бурмакиных. С своей стороны, и вдова Чепракова распорядилась очень удобно. Она не водворялась совсем у дочери, а разделила семью на две партии. В воскресенье приезжали две сестры, а в следующее она привозила третью, а первых двух увозила на неделю в аббатство. Устраивались танцы, и так как дам не всегда доставало, то, в случае недостатка, мужчина шел за даму, и это производило путаницу и общее веселье.

Бурмакин затворился в кабинете. Он видел жену только до обеда, да и то урывками, потому что по комнатам беспрестанно мелькали сестрицы, неодетые, нечесаные, немытые, да и сама Милочка редко вставала с постели раньше полудня, вознаграждая себя за вчерашнюю суматоху. К обеду он, конечно, выходил в столовую, прислушивался к общему разговору и даже пытался принять в нем участие, но из этих попыток как-то ничего не выходило. Не было ни одной общей точки соприкосновения между ним и гостями; говорили они всё об чем-то таком, что было для него совершенной загадкой. Никогда он не жил в этом мире, никогда подобных разговоров не говаривал. Быть может, с его стороны это было непростительное самомнение, но во всяком случае он не в силах был побороть свою изолированность и чувствовал себя совсем лишним.

Иногда, в самый разгар веселья, прибегала к нему в кабинет жена и звала к гостям.

– Повеселись с нами! – убеждала она, – что ты все один да один! Это наконец и невежливо: дома гости, а хозяин спрятался, никому слова приветливого не скажет.

Она брала его за руку и насильно увлекала в залу. Его ставили в пару и заставляли протанцевать кадриль. Но исполнивши прихоть жены, он незаметно скрывался к себе и уже не выходил вплоть до самой ночи.

– Ах, как было весело! – слышалось ему поздно, когда он уже засыпал в постели.

Это означало, что гости разъехались или разбрелись по комнатам и жена пришла в общую спальню.

Новые порядки волновали его. Офицеры не отходили от Милочки и не скрывали наглого вожделения, которое искрилось в их глазах. Не то чтобы он ревновал жену, но бесцеремонность, которой он был свидетелем, возмущала его, опротивела, надоела. В особенности надоели ему три пана: Туровский, Бандуровский и Мазуровский. Они ездили в Веригино чуть не каждый день и, за неимением в городе конфект, потчевали Милочку финиками, изюмом и пастилою.

Однажды, выйдя случайно из кабинета, он застал следующую сцену: в гостиной Милочка, держа с одной стороны за руку пана Туровского, с другой – пана Бандуровского, отплясывала перед трюмо пятую фигуру кадрили. Сзади пан Мазуровский откалывал уморительные коленца, а сестрицы, приютившись в уголку, без умолку хохотали.

– Ах, как весело! – вскрикнула Милочка, увидев его.

Он запальчиво хлопнул дверью в ответ и исчез.

Да, она развилась. Все данные ей природой способности раскрылись вполне, и ничего другого ждать было нечего. Но как быстро все объяснилось! как жестока судьба, которая разом сняла покровы с его дорогих заблуждений, не давши ему даже возможности вдоволь налюбоваться ими! Ему и укрыться некуда. Везде, в самом отдаленном уголку дома, его настигнет нахальный смех панов Туровского, Бандуровского и Мазуровского.

Он вспомнил, что еще в Москве задумал статью «О прекрасном в искусстве и в жизни», и сел за работу. Первую половину тезиса, гласившую, что прекрасное присуще искусству, как обязательный элемент, он, с помощью амплификации, объяснил довольно легко, хотя

развитие мысли заняло не больше одной страницы. Но вторая половина, касавшаяся влияния прекрасного на жизнь, не давалась, как клад. Как ни поворачивал Бурмакин свою задачу, выходил только голый тезис – и ничего больше. Даже амплификации не приходили на ум.

– Но ведь это само по себе ясно! это и доказательств не требует! – волновался Валентин Осипович.

А тайный голос в это время нашептывал:

– Положим, что ясно; но какая же это будет «статья»… в несколько печатных строк! Разве такую статью где-нибудь напечатают!

Промелькнули в его воображении образы Мочалова, Щепкина, Санковской; но все, что он мог сказать об них, уже давно было сказано другими.

Так и вынужден он был окончательно бросить свое предприятие.

Тем не менее домашняя неурядица была настолько невыносима, что Валентин Осипович, чтоб не быть ее свидетелем, на целые дни исчезал к родным. Старики Бурмакины тоже догадались, что в доме сына происходят нелады, и даже воздерживались отпускать в Веригино своих дочерей. Но, не одобряя поведения Милочки, они в то же время не оправдывали и Валентина.

– Так по-людски не живут, – говорил старик отец, – она еще ребенок, образования не получила, никакого разговора, кроме самого обыкновенного, не понимает, а ты к ней с высокими мыслями пристаешь, молишься на нее. Оттого и глядите вы в разные стороны. Только уж что-то рано у вас нелады начались; не надо было ей позволять гостей принимать.

– Помилуйте! я не брался играть роль тюремщика у своей жены! – возражал молодой Бурмакин.

– Не роль тюремщика, а надо было с ней тем языком говорить, который она понимает. И в Москву не следовало ездить. Только избаловал бабенку да израсходовался. Сосчитай, сколько ты денег на свадьбу да на поездку истратил, а теперь приемы эти пошли. Этак и разориться недолго.

Но все эти советы и предостережения были так бессодержательны, а главное, настолько запоздали, что никакого практического вывода из них не вытекало.

И между соседями разошлись слухи о несогласиях в молодой семье Бурмакиных. Но тут уже положительно во всем обвиняли Валентина, а к жене его относились более нежели снисходительно.

– Бабочка молодая, – говорили кругом, – а муж какой-то шалый да ротозей. Смотрит по верхам, а что под носом делается, не видит. Чем бы первое время после свадьбы посидеть дома да в кругу близких повеселить молодую жену, а он в Москву ее повез, со студентами стал сводить. Городят студенты промеж себя чепуху, а она сидит, глазами хлопает. Домой воротился, и дома опять чепуху понес. «Святая» да «чистая» – только и слов, а ей на эти слова плюнуть да растереть. Ну, натурально, молодка взбеленилась.

С наступлением лета Бурмакин несколько отдохнул. Полк ушел далеко, в лагери; в Веригине стало тихо. Бурмакин вновь пытался сблизиться с женой; но так как попытки эти носили тот же выспренний характер, как и прежде, то Милочка их не поняла. Притом же на ней уже легло клеймо, которое неизбежно налагает продолжительное обращение в чересчур веселом обществе.

Почувствовавши себя одинокою, она снова сделалась вялою, тоскливо бродила целыми днями по комнатам и на ласки мужа отвечала точно спросонья. То душевное оживление, которое раскрылось в кругу родственных по духу людей, вдруг снова закрылось.

Между тем и по хозяйству дела шли плохо. Чтобы разделаться с долгами, пришлось продать и другую пустошь. А так как имение было небольшое, то пустошь эта была последняя, и затем оставалась только земля, замежеванная в одной окружной меже, и рвать ее на клочки, для продажи частями, представлялось неудобным. Староста Влас выражал опасение, что с продажей пустошей, пожалуй, и корма для скота не хватит. Но Валентин, вместо того чтобы общими силами рассудить, как помочь горю, по обыкновению, взвился на дыбы и заговорил совсем о другом.

– Влас! ты честный человек! – апострофировал он его, – ты понимаешь меня! ты понимаешь, как я глубоко-глубоко несчастлив!

– Это точно; и все мы видим, что вам не пофартило…

– Ну вот. А ты говоришь, что корму для скота не хватит!.. Разве я могу об этом думать! Ах, голова у меня… Каждый день, голубчик! каждый день одно и то же с утра до вечера…

– Да, это точно что…

Влас уходил, оставляя барина в добычу тоскливому одиночеству.

Однако ж и то относительное спокойствие, которым пользовался Бурмакин в течение лета, постепенно приближалось к концу. Наступил сентябрь, и полк снова расположился на зимних квартирах. Первыми прилетели в Веригино паны Туровский, Бандуровский и Мазуровский, затем и сестрицы Чепраковы: гвалт возобновился в той же силе, как и до лагерей. Валентин совсем потерял голову.

– Я уеду в Москву, – высказался он однажды отцу.

Старик задумался.

– Соскучишься, голубчик! – сказал он, покачивая головой.

– Помилуйте! о какой скуке может быть речь! Я каждый день только того и жду, что с ума сойду!

– Ну, положим, уедешь ты; а вдруг и она вслед за тобой в Москву приедет!

– Она! никогда!

– А может и вот еще что случиться: ты уедешь, а вместо тебя теща в Веригине поселится. Ведь она в один год все размотает.

– И пускай. Неужели вы думаете, что это меня заботит!

– Все-таки! Надобно и тебе чем-нибудь в Москве жить.

– Обо мне беспокоиться нечего. Меня друзья как-нибудь пристроят. Ежели я к литературной работе не способен, то уроки давать могу.

– Коли так, то пожалуй… Чем мучиться, лучше и взаправду уйти. Только я советую дать мне доверенность на управление имением: я все-таки хоть сколько-нибудь Калерию Степановну уйму.

Некоторое время Бурмакин, однако ж, откладывал решение, а соседи между тем уже громко говорили, что Милочка вошла в интимную связь с паном Мазуровским и что последний даже хвалится этим. Старик Бурмакин не выдержал и приехал в Веригино.

– Уезжай! – сказал он сыну.

– Что так приспело?

– Уезжай. Нехорошо.

Валентин понял. Ему вдруг сделалось гнусно жить в этом доме. Наскоро съездил он в город, написал доверенность отцу и начал исподволь собираться.

Затем он воспользовался первым днем, когда жена уехала в город на танцевальный вечер, и исчез из Веригина.

Милочка возвратилась из города уже к утру следующего дня и узнала об отъезде мужа только проснувшись. В первую минуту эта весть заставила ее задуматься, но Калерия Степановна тотчас же подоспела с утешениями.

– Помилуй! – сказала она, – да нам без него еще лучше будет! Нашла об ком жалеть… об дураке!

К обеду приехали паны Туровский, Бандуровский и Мазуровский, и Милочка окончательно повеселела.

* * *

Что сталось впоследствии с Бурмакиным, я достоверно сказать не могу.

Ходили слухи, что московские друзья помогли ему определиться учителем в одну из самых дальних губернских гимназий, но куда именно – неизвестно.

Конечно, отец Бурмакин имел положительные сведения о местопребывании сына, но на

все вопросы об этом он неизменно отвечал:

– В Москве еще… никак устроиться не может.

Милочка несдобровала. Под руководством мамаши она завела такое веселье в Веригине, что и вмешательство старика Бурмакина не помогло. Сумма долгов, постепенно возрастая, дошла наконец до того, что потребовалось продать Веригино. Разумеется, Валентин Осипыч изъявил полное согласие, чтобы осуществить продажу.

Покуда шла эта неурядица, Калерия Степановна как-то изловчилась перестроить старое аббатство. Туда и переселилась Милочка по продаже Веригина, так как муж решительно отказался принять ее к себе. Вместе с нею перенесли в аббатство свои штаб-квартиры и паны Туровский, Бандуровский и Мазуровский.

А невдолге после этого старики Бурмакины умерли, предварительно выдавши дочерей замуж. И таким образом фамилия Бурмакиных совсем исчезла из нашего уезда.

XXX. Словущенские дамы и проч.

Я разумею здесь помещиц-вдов, занимавшихся хозяйством самостоятельно.

Их было в Словущенском две: Степанида Михайловна Слепушкина и Марья МарИвна Золотухина, и обе жили через дорогу, друг против друга.

Слепушкина была одна из самых бедных дворянок нашего захолустья. За ней числилось всего пятнадцать ревизских душ, всё дворовые, и не больше ста десятин земли. Жила она в маленьком домике, комнат в шесть, довольно ветхом; перед домом был разбит крошечный палисадник, сзади разведен довольно большой огород, по бокам стояли службы, тоже ветхие, в которых помещалось большинство дворовых.

Несмотря на недостатки, она, однако ж, не запиралась от гостей, так что, от времени до времени, к ней наезжали соседи. Угощенье подавалось такое же, как и у всех, свое, некупленное; только ночлега в своем тесном помещении она предложить не могла. Но так как в Словущенском существовало около десяти дворянских гнезд, и в том числе усадьба самого предводителя, то запоздавшие гости обыкновенно размещались на ночь у соседних помещиков, да кстати и следующий день проводили у них же.

Степанида Михайловна рано осиротела. Осьмнадцати лет она уже сделалась вполне самостоятельной хозяйкой и принялась за дело с таким уменьем, что все соседи дивились ей. При стариках (оба, и отец и мать, были пьяненькие) хозяйство пришло в упадок, так что надо было совсем новые порядки завести.

С величайшим рвением погрузилась она в массу хозяйственных подробностей, и они полюбились ей. С утра до вечера, в летнюю пору, расхаживала она по своим владениям, расспрашивала, советовалась, а порой и сама совет давала.

Дворовые полюбили ее. Хоть положение их было нелегкое, но барышня обращалась с ними так просто и ласково, была такая веселая и бодрая, что, глядя на нее, и подневольным людям становилось веселее. И барышня, и дворовое жили вместе, в одной усадебной ограде, общею жизнью. Даже в пище Степанида Михайловна старалась не отличаться от дворовых. Словом сказать, ее называли не иначе, как веселою барышней, и в будущем, когда ее посетил тяжелый недуг, это общение сослужило ей великую службу.

За тем да за сем (как она выражалась) веселая барышня совсем позабыла выйти замуж и, только достигши тридцати лет, догадалась влюбиться в канцелярского чиновника уездного суда Слепушкина, который был моложе ее лет на шесть и умер чахоткой, года полтора спустя после свадьбы, оставив жену беременною. Мужа она страстно любила и все время, покуда его точил жестокий недуг, самоотверженно за ним ухаживала.

Это был кроткий молодой человек, бледный, худой, почти ребенок. Покорно переносил он иго болезненного существования и покорно же угас на руках жены, на которую смотрел не столько глазами мужа, сколько глазами облагодетельствованного человека. Считая себя как бы виновником предстоящего ей одиночества, он грустно вперял в нее свои взоры, словно просил прощения, что встреча с ним не дала ей никаких радостей, а только внесла

бесплодную тревогу в ее существование.

Через несколько недель после того, как она осталась вдовой, у нее родилась дочь Клавденька, на которую она перенесла свою страстную любовь к мужу. Но больное сердце не забывало, и появление на свет дочери не умиротворило, а только еще глубже растравило свежую рану. Степанида Михайловна долгое время тосковала и наконец стала искать забвения…

Забвение это она обрела в вине, и из года в год недуг ее принимал все большие и большие размеры. Пила она не постоянно, а запоем. Каждые два месяца дней на десять она впадала в настоящее бешенство, и в течение этого времени дом ее наполнялся чисто адским гвалтом. Утративши всякое сознание, она бегала по комнатам, выкрикивала бессмысленные слова, хохотала, плакала, ничего не ела, не спала напролет ночей. Даже зимой, несмотря на двойные рамы, крики ее слышались на улице и пугали прохожих. Но что всего хуже, под этот безумный гвалт росла ее дочь.

Клавденьке шел уж осьмнадцатый год. Вышла она вся в отца, такая же бледная, худенькая, деликатная. Училась, конечно, поверхностно, ходя ежедневно к соседям, у которых была гувернантка, за что, впрочем, мать ежегодно вносила известное вознаграждение домашними припасами. Поначалу пьяные припадки матери, пугали ее, но чем более приближалась она к сознательному возрасту, тем больше испуг уступал место глубокому состраданию. Она, в свою очередь, была страстно привязана к матери, и сердце ее наполнялось беспредельным жалением, как только показывались первые признаки приближающегося припадка.

Начиналось обыкновенно с того, что все существо Степаниды Михайловны проникалось тревогой. Она пряталась от дочери, избегала света, беспрестанно ощипывала и обдергивала на себе платье и дико озиралась, словно чего-то ища. Наконец запиралась в спальне, откуда вслед за тем начинало раздаваться бессвязное бормотанье. Дочь молча плакала, но не пыталась стучаться в дверь, зная, что в подобные минуты самое сердечное и мягкое вмешательство может только раздражить. Дней через пять, когда пароксизм доходил до высшей точки и наступало настоящее бешенство, Степанида Михайловна с шумом отворяла дверь своей спальни и прибегала к дочери.

– Клавдюшка! подлячка у тебя мать? говори! подлячка? – раздавался во всех углах дома ее резкий крик.

Этот страшный вопрос повторялся в течение дня беспрерывно. По-видимому, несчастная даже в самые тяжелые минуты не забывала о дочери, и мысль, что единственно и страстно любимое детище обязывается жить с срамной и пьяной матерью, удвоивала ее страдания. В трезвые промежутки она не раз настаивала, чтобы дочь, на время запоя, уходила к соседям, но последняя не соглашалась.

– Нет, маменька, мне дома лучше, – отвечала она и в бесконечной деликатности даже не объясняла причин своего отказа, опасаясь, чтобы объяснение не придало преувеличенного значения ее жертве.

Когда кончался запой, Степанида Михайловна приказывала истопить баню и парилась. Дня два после этого она бродила по комнатам, тоскуя и не приступая ни к какому делу. Осунувшееся лицо выражало глубокое утомление, руки и ноги дрожали, глаза без мысли смотрели вдаль. Вино сразу делалось ей противным, аппетит и сон чересчур медленно вступали в свои права.

Мало-помалу, однако ж, все приходило в порядок. Она принималась за хозяйство, но это была уж не та бодрая, советливая и веселая барышня, какою ее знали лет двадцать тому назад. Так что ежели дело не совсем приходило в упадок, то именно благодаря тому, что сами дворовые поддерживали установившиеся порядки.

– Марья Маревна! – от времени до времени перекликалась через дорогу с Золотухиной, своею соседкой, Слепушкина, – зашла бы ты ко мне.

Золотухина приходила, и между соседками завязывалась беседа.

– Хоть бы ты к себе Клавдюшку-то уводила, покуда я колоброжу, – сетовала Степанида

Михайловна.

– И то сколько раз пыталась, да никак уломать не могу. «Мое, говорит, место при матери».

– Срамная я…

– Чего уж хуже! Воли над собой взять не можешь… Не вели вина давать – вот и вся недолга!

– А лучше будет, ежели я в кабак дебоширствовать убегу?

– Чтой-то уж и в кабак… спаси бог!

– Было уже со мной это – неужто не помнишь? Строго-настрого запретила я в ту пору, чтоб и не пахло в доме вином. Только пришло мое время, я кричу, вина! – а мне не дают. Так я из окна ночью выпрыгнула, убежала к Троице, да целый день там в одной рубашке и чуделесила, покуда меня не связали да домой не привезли. Нет, видно, мне с тем и умереть. Того гляди, сбегу опять ночью да где-нибудь либо в реке утоплюсь, либо в канаве закоченею.

– Ах, грех какой!

– Ничего не поделаешь. Я, впрочем, не об себе, а об дочке хотела с тобой поговорить. Не нравится мне она.

– Чему ж в ней не нравиться – девица как девица. Смотрите! родная дочка уже разондравилась!

– Не об том я. Не нравится мне, что она все одна да одна, живет с срамной матерью да хиреет. Посмотри, на что она похожа стала! Бледная, худая да хилая, все на грудь жалуется. Боюсь я, что у ней та же болезнь, что у покойного отца. У бога милостей много. Мужа отнял, меня разума лишил – пожалуй, и дочку к себе возьмет. Живи, скажет, подлая, одна в кромешном аду!

– Ишь ведь ты какая! и в бога-то верить перестала!

– Верила я…

Слепушкина не доканчивала и задумывалась.

– Ничего, всё обойдется благополучно, – утешала ее Марья Маревна. – Никакой болезни у Клавденьки нет – что пустяки говорить! Вот через год мой Мишанка из-за границы воротится, в побывку к матери приедет. Увидит Клавденьку, понравятся друг дружке – вот и жених с невестой готовы!

– Ах, кабы…

Соседки расходились, и в сердце пьяницы поселялась робкая надежда. Давно, признаться, она уж начала мечтать о Михаиле Золотухине – вот бы настоящий для Клавденьки муж! – да посмотрит, посмотрит на дочку, вспомнит о покойном муже, да и задумается. Что, ежели в самом деле отец свой страшный недуг дочери передал? что, если она умрет? Куда она тогда с своей пьяной головой денется? неужто хоть одну минуту такое несчастье переживет?!

К сожалению, пьяная мать оказалась права. Несомненно, что Клавденька у всех на глазах сгорала. Еще когда ей было не больше четырнадцати лет, показались подозрительные припадки кашля, которые с каждым годом усиливались. Наследственность брала свое, и так как помощи ниоткуда ждать было нельзя, то девушка неминуемо должна была погибнуть.

По-видимому, она и сама это подозревала. От нее не умели скрыть, каким недугом умер ее отец, и она знала, что это недуг наследственный. Тем не менее жажда жизни горела так сильно, что она даже в самые тяжелые минуты не переставала верить и надеяться.

Ноги начинали подкашиваться, багровые пятна на щеках рдели, голова тяжелела и покрывалась потом, а ей казалось, что навстречу идет чудо, которое вот-вот снимет с нее чары колдовства.

Наконец и двигаться стало невмочь. Ее усадили в кресло, неподалеку от окна, из которого был виден палисадник и сквозь чащу акаций мелькала избушка Золотухиной, обложили подушками и для послуг приставили ее любимую горничную.

– Ты бывала когда-нибудь больна, Паша? – спрашивала она свою собеседницу.

– Сколько раз, барышня!

– Нет, вот так, как я?

– Во сто раз хуже… какая ваша болезнь!

– От этой болезни, говорят, спасенья нет. Чахотка. Покойный папенька в чахотке умер. Вон какие у меня на щеках красные пятна выступили!

– Что вы, Христос с вами! так неможется вам… Простудились, должно быть. И пятен на щеках нет! – просто румянчик! Красавица вы у нас!

В постепенном увядании прошло целое лето. С наступлением зимы пришлось закупориться; и палисадник, и улицу занесло снегом так, что и глазам не на что было порадоваться. Отсутствие света, духота комнат давили сильнее и сильнее. Настали изнурительные бессонные ночи, и так как молодое существование еще не успело запастись внутренним содержанием, то ни о чем другом не думалось, кроме представления о зияющей бездне, которая с каждым днем выступала яснее и яснее, ежеминутно готовая поглотить ее. Ужели судьба так жестока! – беспрестанно жаловалось тоскующее сердце, – ужели она не приготовила ей никаких радостей, одну только смерть?..

– Тяжело, Паша, умирать? – спрашивала она.

– Не знаю, не умирала, – отделывалась Паша шуткой, – да что вы, барышня, все про смерть да про смерть! Вот ужо весна придет, встанем мы с вами, пойдем в лес по ягоды… Еще так отдохнем, что лучше прежнего заживем!

Но положение поистине делалось страшным, когда у матери начинался пьяный запой. Дом наполнялся бессмысленным гвалтом, проникавшим во все углы; обезумевшая мать врывалась в комнату больной дочери и бросала в упор один и тот же страшный вопрос:

– Подлячка у тебя мать? говори! подлячка?

Пробовали запирать Степаниду Михайловну в спальне, но больная всякий раз приказывала отворить дверь.

– Пускай походит! ей легче, когда она на свободе, – говорила она, – а я уж привыкла.

Наступило тепло. В воображении больной рисовалось родное село, поле, луга, солнце, простор. Она все чаще и чаще заговаривала о том, как ей будет хорошо, если даже недуг не сразу оставит ее, а позволит хоть вынести в кресле в палисадник, чтобы свежим воздухом подышать.

Призвали наконец и доктора, который своим появлением только напугал больную. Это был один из тех неумелых и неразвитых захолустных врачей, которые из всех затруднений выходили с честью при помощи формулы: в известных случаях наша наука бессильна. Эту формулу высказал он и теперь: высказал самоуверенно, безапелляционно и, приняв из рук Степаниды Михайловны (на этот раз трезвой) красную ассигнацию, уехал обратно в город.

Оставалось умереть. Все с часу на час ждали роковой минуты, только сама больная продолжала мечтать. Поле, цветы, солнце… и много-много воздуха! Точно живительная влага из полной чаши, льется ей воздух в грудь, и она чувствует, как под его действием стихают боли, организм крепнет. Она делает над собой усилие, встает с своего одра, отворяет двери и бежит, бежит…

Вот она встала и озирается. Еще рано, но окна уж побелели, и весеннее солнце не замедлит позолотить их. Рядом с ее креслом сидит Паша и дремлет; несколько поодаль догорает сальный огарок, и желтое пламя чуть-чуть выделяется из утренних сумерек. Ей становится страшно; она протягивает руку, чтобы разбудить Пашу, хочет крикнуть – и в изнеможении падает…

Смерть застигла ее как раз во время запоя матери. Собрались соседи и с помощью дворовых устроили похороны. На этот раз Степаниде Михайловне приставили прислугу и не выпускали ее из спальни, так что неизвестно, поняла ли она что-нибудь, когда мимо ее окон проносили на погост гроб, заключавший в себе останки страстно любимой дочери.

Когда запой кончился, старуха, по обыкновению, вымылась в бане, потом зашла к дочери и, увидев ее опустелую комнату, поняла.

– Ну, теперь и мне готовиться надо, – произнесла она чуть слышно и на целые сутки заперлась в спальне. Никто не видел ее слез, не слышал ее жалоб; многие думали, что она

опять запила.

Но, по-видимому, у нее уже задолго до того, ввиду возрастающего недуга дочери, созрела заветная мысль, и теперь она торопилась осуществить ее.

Дня через два она уехала в город и всем дворовым дала отпускные. Потом совершила на их имя дарственную запись, которою отдавала дворовым, еще при жизни, усадьбу и землю в полную собственность, а с них взяла частное обязательство, что до смерти ее они останутся на прежнем положении.

Сделавши эти распоряжения, она спокойно стала ждать роковой минуты. Запой не замедлил. Несчастная кричала и бурлила больше обыкновенного, и хотя дворовые даже строже, чем прежде, наблюдали за нею, но на этот раз она сумела обмануть их бдительность.

В одну из ночей, в самый пароксизм запоя, страшный, удручающий гвалт, наполнявший дом, вдруг сменился гробовою тишиной. Внезапно наступившее молчание пробудило дремавшую около ее постели прислугу; но было уже поздно: «веселая барышня» в луже крови лежала с перерезанным горлом.

Ввиду всем известного болезненного состояния, ее похоронили не как самоубийцу, а по христианскому обряду. Все село собралось на погребение, а в том числе и соседи. Говорили преимущественно о «странном» распоряжении, которое сделала покойная относительно своего имения.

– Нашего полку прибыло! вот и еще дворяне проявились у нас на селе! – поздравляли друг друга соседи.

* * *

Марья Маревна Золотухина была еще беднее Слепушкиной. Имение ее заключалось всего из четырех ревизских душ (дворовых), при сорока десятинах земли, да еще предводитель Струнников подарил ей кучеренка Прошку, но документа на него не дал, так что Золотухина находилась в постоянном недоумении – чей Прошка, ее или струнниковский.

– Стану я в город ездить да купчие совершать! – отзывался Струнников на ее настояния закрепить за ней Прошку, – живет он у тебя – и будет.

Усадьбу ее, даже по наружному виду, нельзя было назвать господской; это была просторная изба, разделенная на две половины, из которых в одной, «черной», помещалась стряпущая и дворовые, а в другой, «чистой», состоявшей из двух комнат, жила она с детьми.

Когда-то изба была покрыта тесом, но от времени тес сопрел, и новую крышу сделали уж соломенную, так что и с этой стороны жилье перестало отличаться от обыкновенной крестьянской избы. Даже палисадника не существовало; только сбоку был разведен небольшой огород, в котором росли лишь самые необходимые в хозяйстве овощи. При такой бедности и в то дешевое время существовать было трудно.

Происходила Золотухина из духовного звания. Отец ее, Марий (попросту МарИй) Семеныч Скорбященский, до конца жизни был настоятелем словущенской церкви и слыл опытным и гостеприимным хозяином. Марья Маревна никогда не могла назваться красивою, но полюбилась Гервасию Ильичу Золотухину, захудалому дворянину, род которого издавна поселился в Словущенском. Она была уже немолода, когда выходила замуж, а Золотухин лет на двадцать был старше ее и кроме того попивал. Долгое время девица Скорбященская не решалась отдать ему руку и сердце.

– Колотить ты меня, пожалуй, под пьяную руку будешь? – говорила она своему обожателю.

– Ах, голубка! да ты мне тогда…

– То-то! ты у меня это помни! я и сама одной рукой трехпудовую гирю поднять могу! так тебя кулачищем окрещу, что света не взвидишь!

Сделавшись дворянкою, Марья Маревна прежде всего занялась перевоспитанием старого мужа. Держала его дома, не давала вина, а когда ему удавалось урваться на свободу и он возвращался домой пьяный, то в наказание связывала ему руки, а иногда и просто-

напросто била. Перевоспитание действительно удалось; Гервасий Ильич совсем перестал пить, но в то же время заскучал и начал хиреть. Человек он был смирный, как лист дрожал перед женой, и потому в избушке, за редкими исключениями, господствовала полная тишина. И хозяйством и домоводством полновластно распоряжалась жена, а муж по целым дням уныло бродил по единственной свободной горнице, бормоча бессвязные слова и завидливо прислушиваясь, не доносится ли с слепушкинской усадьбы гвалта, свидетельствующего о начале запоя. По временам он выбегал в сени, приотворял дверь в стряпущую и, просунув плешивую голову, шепотом обращался к стряпухе:

– Ты бы, Ненилушка, хоть полстаканчика водки у ведьмы на кушанье выпросила!

Но на его горе всегда в таких случаях словно из-под земли вырастала Марья Маревна и в один миг водворяла его на чистую половину.

– Вот тебе «ведьма»! вот тебе за «ведьму»! – кричала она, выталкивая его могучими руками в шею и в спину, так что он ежеминутно рисковал растянуться на полу и, пожалуй, расшибиться.

Результат этой системы перевоспитания не заставил себя долго ждать. Не прошло и трех лет совместной жизни супругов, как Гервасий Ильич умер, оставив на руках жены двух мальчиков-близнецов. Снесла Марья Маревна мужа на погост и, как говорится, обеими руками перекрестилась.

– Ну, теперь я, по крайности, хоть детьми займусь! – сказала она себе и действительно всю страстность горячего материнского сердца отдала этим детям.

По странному капризу, она дала при рождении детям почти однозвучные имена. Первого, увидевшего свет, назвала Михаилом, второго – Мисаилом. А в уменьшительном кликала их: МишЮнка и МисЮнка. Старалась любить обоих сыновей одинаково, но, помимо ее воли, безотчетный материнский инстинкт все-таки более влек ее к Мишанке, нежели к Мисанке.

Несмотря на то, что смерть мужа в значительной мере развязала ей руки, вдова очень скоро убедилась, что при той бедности, на которую она осуждена, ей ни под каким видом несдобровать. Будущее детей наполняло ее сердце бесконечной тревогой. Покуда они были малы, жизнь еще представлялась возможною, но ведь какие-нибудь пять-шесть лет пролетят так быстро, что и не заметишь. Подойдет «наука», и вот тогда-то начнется настоящее неисходное вдовье горе. Происходя из духовного звания, она хоть и смутно, но понимала, что мальчикам без «науки» не прожить. У нее было четыре брата, из которых двое уж кончили курс в семинарии, а двое еще учились; было две сестры замужем за священниками (одна даже в губернском городе), которые тоже считали себя причастными науке. Сам отец Марей хоть и позабыл многое, а все-таки в свое время кончил в семинарии курс, а иногда и теперь рисковал просклонять: mensa, mensae и т. д. Да и она была грамотная, и по части церковной и даже гражданской печати могла хоть кого угодно за пояс заткнуть.

Да, нужна наука, нужна; и время, когда азбука всевластно опутает существование невинных детей, подкрадется невидимо, яко тать в нощи.

И действительно, оно наступило, когда мальчикам минуло шесть лет. Можно было бы, конечно, и повременить, но Марья Маревна была нетерпелива и, не откладывая дела в долгий ящик, сама начала учить детей грамоте. Марья Маревна учила толково, но тут между детьми сказалась значительная разница. Тогда как Мишанка быстро переходил от азбуки к складам, от складов к изречениям и с каким-то упоением выкрикивал самые неудобопроизносимые сочетания букв, Мисанка то и дело тормозил успешный ход учебы своей тупостью. Некоторых букв он совсем не понимал, так что приходилось подниматься на хитрость, чтобы заставить его усвоить их.

В особенности его смущали буквы Э, Ѳ, и Ѵ.

– Какой ты, однако, глупый! – сердилась мать, – ну, помнишь песню! Эко сердце, эко сердце, эко бедное мое? Эко! чувствуешь: Э…ко? ну вот оно самое и есть!

Или:

– Федора Васильича, предводителя, знаешь? Федор… Фё-фё-фё… фё-фё-фё… вот эта

самая фита и есть!

Или:

– А ижицу сам запомни. Вот она: стоит растопырей, словно вилы, которыми сено на стог подают!

Разумеется, в конце концов Мисанка усвоил-таки «науку», только с фитой долго не мог справиться и называл ее не иначе как Федором Васильичем, и наоборот. Однажды он даже немало огорчил мать, увидев через окно проезжавшего по улице Струнникова и закричав во все горло:

– Мамка! Фита едет! Фита!

Марья Маревна не на шутку перепугалась и, чтобы окончательно запечатлеть образ фиты в уме Мисанки, тут же высекла его.

В предвидении предстоящей детской учебы, Золотухина зараньше устраивала себе связи в помещичьей среде. Дома ей решительно не у чего было хозяйствовать, а с смертью мужа и жить на одном месте, пожалуй, не представлялось надобности. Поэтому она почти постоянно разъезжала в рогожной кибитчонке, запряженной парой рабочих лошадок, по помещичьим усадьбам и у некоторых соседей, в семействах которых жили гувернантки или окончившие курс семинаристы, заживалась подолгу. Приедет и ребятишек с собой привезет; сама около хозяйки дома пристроится, разговорами занимает, семейные жалобы выслушивает, домашние несогласия умиротворяет, по хозяйству полезные советы подает. Попросят ее на скотный двор сходить присмотреть – она сходит; попросят в амбаре зерно перемерить – перемерит.

– Заждались мы тебя! – говорят хозяева, приветствуя ее приезд, – слова молвить без тебя не с кем, даже хозяйство через пень колоду пошло!

А мальчики между тем, усевшись в классной комнате вместе с хозяйскими подростками, на практике познают, что ежели корни учения горьки, зато плоды его сладки.

Ездила она таким образом да ездила – и добилась своего. Хотя ученье, по причине частых кочеваний, вышло несколько разношерстное, а все-таки года через два-три и Мишанка и Мисанка умели и по-французски и по-немецки несколько ходячих фраз без ошибки сказать, да и из прочих наук начатки усвоили. Им еще только по десятому году пошло, а хоть сейчас вези в Москву да в гимназию отдавай.

Конечно, этот результат достался не легкой ценой, но уж и то было счастье, что среди постоянных скитаний она удержалась на известной черте и не перешла в буффонство. Это доказывало присутствие в ней такта, очень редкого в бедной мелкопоместной среде, всецело, ради сладкого куска, отдающей себя на потеху более зажиточной собратии. Она была толковита, совИтлива, осторожна. Не всякое слово, какое на язык попадалось, выкладывала, вестей из дома в дом не переносила и вообще старалась держать себя не как приживалка, а как гостья, на равной ноге с хозяевами. Много ей в этом случае помогал Мишанка, ласковый и экспансивный мальчик, всех приводивший в восторг. Его не только нигде не считали лишним, но нередко даже упрашивали мать оставить его погостить на продолжительное время. Но Марья Маревна пуще всего боялась, чтобы из сына не выработался заурядный приживалец, а сверх того, у нее уж созрел насчет обоих детей особенный план, так что она ни на какие упрашивания не сдавалась.

– Нет, что уж! – обыкновенно отговаривалась она, – и надоест он вам, да и не след детям от матери отвыкать.

И возвращалась на короткое время домой или переезжала, по очереди, к другим соседям.

Повторяю: во всяком случае, Золотухина сумела огородить себя от тех надругательств, которые так часто испытывает бедный люд в невежественном и грубом захолустном кругу. Только однажды предводитель Струнников позволил себе сыграть над ней пошлую шутку, и вот в каких обстоятельствах.

4-го июля, в день именин Струнникова, в предводительском доме давали обед. Народа собралось не меньше пятидесяти человек, а в том числе и Золотухина. По окончании обеда начали разносить десерт, и между прочим шпанские вишни, которые в эту пору года только что появились. Набралось небольшое блюдо, ягод около полутораста, так что гости брали по одной и по две ягоды, только чтоб отведать. Но Марья Маревна не сообразила этого и, когда дошла до нее очередь, взяла с блюда целую горсть, да и за другою полезла. Разумеется, Струнников не выдержал.

– Я знаю, Марья Маревна, что ты не для себя берешь, а деток побаловать хочешь, – сказал он – так я после обеда велю полную коробьюшечку ягод набрать, да и отправлю к тебе домой. А те, что взяла, ты опять на блюдо положи.

Марья Маревна сконфузилась, но, как женщина справедливая, поняла, что сделала ошибку, и беспрекословно положила обратно на блюдо свою добычу. Возвратившись домой, она прежде всего поинтересовалась узнать, прислал ли Струнников обещанную коробьюшку, и, получив утвердительный ответ, приказала подать ее. Увы! коробьюшка была действительно полна вишнями… но мокрыми, побелевшими, из-под прошлогодней наливки!

Конечно, Золотухина и на этот раз вынуждена была промолчать, но она кровно обиделась, не столько, впрочем, за себя, сколько за детей. И к чести ее следует сказать, что с тех пор нога ее не бывала в предводительском доме.

Наконец Марья Маревна сделала решительный шаг. Мальчикам приближалось уж одиннадцать лет, и все, что захолустье могло ей дать в смысле обучения, было уже исчерпано. Приходилось серьезно думать о продолжении воспитания, и, натурально, взоры ее прежде всего обратились к Москве. Неизвестно, сама ли она догадалась, или надоумил ее отец, только в одно прекрасное утро, одевши близнецов в новенькие курточки, она забрала их с собой и ранним утром отправилась в Отраду.

– Вы смотрите, чаще у княгинюшки ручки целуйте! – твердила она детям дорогой.

Владелец Отрады, князь Андрей Владимирыч Кузьмин-Перекуров, по зимам обыкновенно жил в своем доме в Москве, а летом приезжал в Отраду вместе с женой, бывшей французской актрисой, Селиной Архиповной Бульмиш. Жили они роскошно, детей не имели, принимали в имении московских друзей, но с соседями по захолустью не знались. Князь был одним из тех расслабленных и чванных представителей старинных родов, которые, по-видимому, отстаивают корпоративную связь, но, в сущности, пресмыкаются и ползают, исключительно посвящая свою жизнь поддерживанию дворских и высокобюрократических отношений. Он прошел всю школу благовоспитанных и богатых идиотов. Родился в Париже, воспитывался в Оксфорде, прослужил некоторое время в качестве attache при посольстве в Берлине, но далее по службе не пошел и наконец поселился в Москве, где корчил из себя англомана и писал сочинение под названием: «Река времетечения», в котором каждый вечер, ложась спать, прибавлял по одной строчке. И наружность он имел нелепую: ходил прямо, не сгибая ног и выпятив грудь, и чванно нес на длинной шее несоразмерно большую голову с лошадиного типа лицом, расцвеченным желто-красными подпалинами, как у гнедого мерина. Ни в какие распоряжения по имению он не входил, ничего в хозяйстве не

смыслил и предоставил управляющему и бурмистру устраиваться, как хотят, наблюдая только, чтобы малейшее желание Селины Архиповны было выполняемо точно и безотговорочно.

Золотухиной, которая вообще в своих предприятиях была удачлива посчастливилось и на этот раз. Когда она явилась в Отраду, супруги были одни и скучали. Впрочем, князь, услышав, что приехала «в гости» какая-то вдова Золотухина, да притом еще Марья Маревна, хотел было ощетиниться, но, по счастью, Селина Архиповна была в добром расположении духа и приказала просить приезжую.

Марья Маревна вошла в роскошную княжескую гостиную, шурша новым ситцевым платьем и держа за руки обоих детей. Мишанка, завидев Селину Архиповну, тотчас же подбежал к ней и поцеловал ручку; но Мисанка, красный как рак, уцепился за юбку материнского платья и с вызывающею закоснелостью оглядывал незнакомую обстановку.

– Иди, душенька, иди! – поощряла его мать, – поцелуй у княгинюшки ручку.

– Не пойду! – упорствовал Мисанка, зарывая лицо в складки платья.

– Не беспокойте его! – вступилась за Мисанку Селина Архиповна, – он у вас дикарь, не привык. Вот познакомимся покороче, он и сам увидит, что во мне ничего страшного нет. Но какой у вас этот прелестный мальчик! – прибавила она, любуясь Мишанкой, – просто загляденье! как его зовут?

– Михаилом, ваше сиятельство!

– Прелестное имя. Michel! Вы меня будете любить?!

– Я и теперь вас люблю, ваше сиятельство!

– Ну, вот видите. И вы меня любите, и я вас люблю. Вы добрый мальчик, ласковый. Я уверена, что мы подружимся.

Словом сказать, Мишанка сразу заполонил сердце добродушной француженки, тогда как Мисанка своею неблаговоспитанностью в такой же мере оттолкнул ее от себя.

Марья Маревна объяснила свой приезд настойчивостью детей. Они так много наслышались об Отраде и ее чудесах, что непременно требовали, чтобы мать показала им, как живут вельможи. Объяснение это видимо польстило Селине Архиповне, которая вызвалась сама показать приезжим и сад, и парк, и оранжереи.

– Надеюсь, что перед этим вы с нами позавтракаете, – любезно прибавила она.

– А я между тем распоряжусь, чтоб ваш экипаж отложили, – с своей стороны отозвался князь, – ведь вы издалека?

– Верст двадцать пять, ваше сиятельство, будет. Да какой у меня экипаж! Кибитчонка рогожная – только и всего. Я ее на селе у мужичка покинула.

Селина Архиповна удивилась: дворянка – и в рогожной кибитке ездит! Но удивление ее возросло еще более, когда Золотухина прибавила:

– Горевая я, ваше сиятельство, дворянка! и всего-то имения у меня четыре души да сорок десятин земли – тут и в пир и в мир!

– Ах, боже! четыре души… est-ce possible![62] Но как же вы живете?

– Таковская уж и жизнь, ваше сиятельство. Не живем, а колотимся. Детей вот жалко.

Селина Архиповна совсем растерялась. Недоумело переглядывалась она с мужем, и наконец из груди ее вырвался вопль:

– Но что же смотрит правительство? Ах, как мне жаль вас! Andre! ведь правительство обязано поддерживать дворянское сословие? ведь дворяне – это опора? Ты, конечно, напишешь об этом в своем сочинении… n'est-ce pas?[63] Ах, как мне жалко, как жалко вас!

За завтраком Марья Маревна рассказала все подробности своей скитальческой жизни, и чем больше развертывалась перед глазами радушных хозяев повесть ее неприглядного

---

62 неужели это возможно!

63 не правда ли?

существования, тем больше загоралось в сердцах их участие к бедной страдалице-матери.

Одним словом, день кончился полным триумфом для Золотухиной. Селена Архиповна сама показала гостям чудеса Отрады и не только накормила их обедом, но и оставила ночевать. Но, что всего важнее, в этот же день была решена участь Мишанки и самой Марьи Маревны. Первого князь взялся определить на свой счет в московский дворянский институт; второй Селина Архиповна предложила место экономки в московском княжеском доме.

– Таким образом воспитание вашего сына будет обеспечено, – сказала она, – а в то же время и вы будете неразлучны с вашим сокровищем.

Об Мисанке в этих переговорах ни словом не было упомянуто: очевидно, мальчик-дикарь не понравился. С своей стороны, и Марья Маревна не настаивала на дальнейших милостях.

Само собой разумеется, впрочем, она не забыла и о другом сыне; но оказалось, что у нее внезапно сложилась в уме комбинация, с помощью которой можно было и Мисанку легко пристроить. Одна из сестер Золотухиной, как я уже упомянул выше, была выдана замуж в губернский город за приходского священника, и Марье Маревне пришло на мысль совершенно основательное предположение, что добрые родные, как люди зажиточные и притом бездетные, охотно согласятся взять к себе в дом племянника и поместить его в губернскую гимназию приходящим учеником, и, как в скором времени оказалось, надежда не обманула ее.

Таким образом, оба мальчика были пристроены, и Марья Маревна свободно вздохнула. В конце августа она собралась из Словущенского; чистую половину в избе заколотила и надзор за хозяйством и дворовыми поручила старику отцу.

Целых семь лет, покуда длился учебный искус детей, она только изредка летом навещала родное гнездо из Отрады, куда, в качестве экономки, приезжала вместе «господами» из Москвы. Жилось ей, по-видимому, недурно; «господа» дорожили ею, жалованье она получала хорошее, так что явилась возможность копить. С своей стороны, и старик отец продавал остававшиеся за прокормлением дворовых сельские продукты и тоже копил.

Через семь лет Мишанка кончил университетский курс первым кандидатом и был послан на казенный счет за границу. Очевидно, в недальнем будущем его ожидала профессура. Мисанка, конечно, отстал, однако ж и он успел-таки, почти одновременно, кончить курс в гимназии, но в университет не дерзнул, а поступил на службу в губернское правление.

Расставшись с Мишанкой и послав Мисанке заочно благословение, Золотухина оставила княжеский дом и вновь появилась в Словущенском. Но уже не ездила кормиться по соседям, а солидно прожила лет шесть своим домком и при своем капитале. Умирая, она была утешена, что оба сына ее пристроены.

Мишанка имел кафедру в Московском университете, а Мисанка, в чине губернского секретаря, пользовался благоволением начальства и репутацией примерного столоначальника.

На погребение ее приехали оба сына. Поделивши между собою наличный капитал (около пяти тысяч рублей), они решили отпустить дворовых на волю, безвозмездно предоставив им усадьбу со всей землей.

После Слепушкиной это был второй пример помещичьего великодушия в нашем захолустье.

* * *

Описанные в настоящей и трех предыдущих главах личности наиболее прочно удержались в моей памяти. Но было и еще несколько соседей, о которых я считаю нелишним вкратце упомянуть, ради полноты общей картины.

Прежде всего укажу на Перхунова и Метальникова, из которых первый, выражаясь

нынешним языком, представлял собой либеральный элемент, а второй – элемент консервативный.

Собственно говоря, кличек этих в то время не существовало, потому что ни о какой сословной или партийной розни и в помине не было. Время было глухое и темное. Правительство называли «начальством», а представление о внутренней политике исчерпывалось выражениями: «ежовые рукавицы» и «канцелярская тайна». Последняя покрывала все своим непроницаемым пологом и лишь изредка нарушалась откровениями «Московских ведомостей» о целодневном звоне с Ивановской и иных колоколен, да зрелищем торговой казни, производимой публично через палача, на городской площади. Однако ж и тогда по местам прорывались усобицы, которые имели не столь низменный характер, как обыкновенные захолустные пререкания, и доказывали, что, несмотря на суровую регламентацию, из-под спуда общего знаменателя все-таки порой выделялись какие-то тенденциозные пустяки, которые сообщали взаимным отношениям обывателей некоторую партийную окраску. Григорий Александрыч Перхунов жил в старинной родовой усадьбе неподалеку от Словущенского. Это был уже пожилой и закоренелый холостяк, имевший довольно хорошее состояние, что давало ему возможность считать себя независимым. От природы он был наделен одним из тех непоседливых темпераментов, которые заставляют человека тормошиться даже без особенно побудительных поводов. Канцелярская тайна, царствовавшая окрест, подстрекала его любопытство и заставляла доискиваться смысла ежовых рукавиц, а эти искания сообщали его личности некоторые своеобразные черты, которые до известной степени выделяли его из общей массы собратий-помещиков.

В кругу «своих» он слыл вольнодумцем и остряком («бритва – язычок», говорили про него), хотя в действительности лишь в самой слабой степени оправдывал эту репутацию.

Вольнодумство его ограничивалось довольно низменным и неопрятным кощунством да назойливым критиканством, для которого он находил легкую пищу в малограмотности и мелких беззакониях и плутнях местной администрации.

Дом его служил центром, из которого выходили разнообразнейшие россказни о действиях приказной братии, начиная с судьи и исправника и кончая подьячими низшего разряда. К сожалению, он не отступал от анекдотов собственного изобретения, что в значительной мере подрывало веру в состоятельность его критик и сообщало им характер (как тогда выражались) шумарканья и фордыбаченья. Но, во всяком случае, за пределы захолустной мурьи он не выходил, во-первых, потому, что у него не было достаточной подготовки для оценки явлений высшего порядка, а во-вторых, и потому, что круг этих последних был так прочно замкнут, что не только в захолустья, но и повыше ничего оттуда не проникало. Тем не менее, несмотря на безобидность его критических упражнений, начальство смотрело на него косо и держало на счету беспокойных людей. Нередко ему даже делали, через предводителя, реприманды и указывали перстом в ту сторону, куда Макар телят не гонял.

После таких указаний он временно притихал, но потом опять принимался за прежнее и, к общему удивлению, прожил свой век благополучно…

Что касается до остроумия, то в этом отношении Перхунов вполне удовлетворял неприхотливым представлениям, сложившимся в затхлой мурье, в которой он жил. Он коверкал имена и фамилии, изобретал клички и был неистощим на проказы, от которых, несмотря на их незатейливость, иногда приходилось жутко. Прозовет Калерию Степановну Чепракову – Кавалерией Степановной, Тараса Прохорыча Метальникова – Тарантасом Прохорычем – и всем любо. Или судью Глазатова наградит кличкою «девицы вольного поведения» – и еще того всем любее. А если ночью в гостях кому-нибудь из «простеньких» подложит под подушку кусочек вонючего сыра или посыплет простыню солью, то и конца края общему веселью нет. Рассказывают друг другу о случившемся, шепчутся, хохочут…

За всем тем репутация вольнодумца и остряка сослужила Перхунову существенную службу. Благодаря ей, когда наступила крестьянская реформа, он, в качестве «занозы», был

избран от нашего уезда в губернский крестьянский комитет, а оттуда пробрался даже в редакционные комиссии.

Тарас Прохорыч Метальников представлял совершенную противоположность Перхунову. Насколько последний был недостоверен и проказлив, настолько же первый отличался достоверностью и серьезностью не только помыслов, но и телодвижений. Все в его миросозерцании было ясно, внушительно и бесспорно; все доказывало, что он зараньше наметил себе колею, которая, так сказать, сама собой оберегала его от уклонений вправо и влево. В верноподданнической задумчивости он шел по жизненному пути, инстинктивно угадывая, где следует остановиться, чтобы упереться лбом в стену. И там, где Перхунов тормошился и восклицал: «На что похоже!» – он учительно и вполне убежденно утверждал:

«С нас будет и этого!»

Разумеется, начальство репримандов ему не делало, но благосклонно предоставляло совершать жизненный путь наряду с другими, в сладком сознании, что, если он никого не тронет, то и его никто не тронет (таков был тогдашний идеал мирного жития, которому большинство, отчасти добровольно, отчасти страха ради иудейска, подчинялось). Что касается до собратий-помещиков, то в их среде Метальников слыл мужем совета, и везде, где он ни появлялся, его принимали с радушием и почетом. Это общее уважение наглядным образом выразилось в том, что Тарас Прохорыч несколько трехлетий подряд был избираем исправником с таким единодушием, что о конкурентах и речи быть не могло.

Перхунов и Метальников постоянно враждовали друг с другом и редко встречались. Но зато когда встречались, то начиналась бесконечная потеха.

Задирой являлся, конечно, Перхунов, а Метальников только щетинился, но оба были так «уморительны», что встречи эти надолго оставляли по себе веселый след, сообщавший живость и разнообразие неприхотливым собеседованиям, оглашавшим стены помещичьих гнезд в длинные зимние вечера.

Затем могу указать еще на братьев Урванцовых, ближайших наших соседей, которые остались у меня в памяти, потому что во всех отношениях представляли очень курьезную аномалию.

Отец их, Захар Капитоныч Урванцов, один из беднейших помещиков нашего края, принадлежал, подобно Перхунову, к числу «проказников», которыми, за отсутствием умственных и общественных интересов, так таровата была тогдашняя беспросветная жизнь. Но проказливость его была уже до того назойлива и цинична, что даже наше захолустье не признало его своим.

Одиноко прозябал он в своей берлоге, не принимая никакого участия в общем помещичьем раздолье и растрачивая свою озорливость среди безответных дворовых, не щадя даже кровной семьи.

Двоих близнецов-сыновей, которых оставила ему жена (она умерла родами), он назвал Захарами, а когда они пришли в возраст, то определил их юнкерами в один и тот же полк. Мало того: умирая, оставил завещание, которым поделил между сыновьями имение (оно было, по несчастью, благоприобретенное) самым возмутительным образом. Господский дом разделил надвое с таким расчетом, что одному брату достались так называемые парадные комнаты, а другому – жилые, двадцать три крестьянских двора распределил через двор: один двор одному брату, другой – рядом с первым – другому и т. д. И что всего обиднее, о двадцать третьем дворе ничего не упомянул.

Результат этих проказ сказался, прежде всего, в бесконечной ненависти, которую дети питали к отцу, а по смерти его, опутанные устроенною им кутерьмою, перенесли друг на друга. Оба назывались Захарами Захарычами; оба одновременно вышли в отставку в одном и том же поручичьем чине и носили один и тот же мундир; оба не могли определить границ своих владений, и перед обоими, в виде неразрешимой и соблазнительной загадки, стоял вопрос о двадцать третьем дворе.

К довершению всего, как это часто бывает между близнецами, братья до такой степени были схожи наружностью, что не только соседи, но и домочадцы не могли отличить их друг

от друга. Да и в духовном смысле, в большинстве случаев, оба жили и действовали под влиянием одних и тех же наитий.

Положение было безвыходное, почти трагическое, и служило предметом бесконечных россказней, в которых играла главную роль мучительная семейная свара, в смешливый час устроенная беспутным стариком.

Я помню, что и в нашем доме рассказывались по этому поводу совершенно невероятные анекдоты, особенно в первое время после смерти старика, когда путаница только что еще разгоралась.

– Намеднись такая ли перестрелка в Вялицыне (так называлась усадьба Урванцовых) была – как только до убийства не дошло! – сообщал кто-нибудь из приезжих гостей. – Вышли оба брата в березовую рощу грибков посбирать. Один с одного конца взялся, другой – с другого. Идут задумавшись навстречу и не замечают друг друга. Как вдруг столкнулись. Смотрят друг дружке в глаза – он ли, не он ли? – никто не хочет первый дорогу дать. Ну, и пошло тут у них, и пошло…

– Нет, вы подумайте, каково положение крестьян! – перебивал другой гость, – намеднись один брат взял да всех мужиков у другого перепорол, а те, дурачье, думают, что их свой барин сечет…

– Вот так маскарад!

Или:

– Встанут с утра, да только о том и думают, какую бы родному брату пакость устроить. Услышит один Захар, что брат с вечера по хозяйству распоряжение сделал, – пойдет и отменит. А в это же время другой Захар под другого брата такую же штуку подводит. До того дошло, что теперь мужики, как завидят, что по дороге идет Захар Захарыч – свой ли, не свой ли – во все лопатки прочь бегут!

Или, наконец:

– В завещании-то старый пакостник так детей поделил: такой-то крестьянский двор – сыну моему Захару Урванцову первому, а такой-то сыну моему Захару Урванцову второму. Вот судья, приехавши их делить, и говорит:

«Уж вы, господа, как-нибудь уладьтесь! вы, Захар Захарыч, будьте первый Урванцов, а вы, Захар Захарыч, – Урванцов второй». И что ж, не успел судья отвернуться, ан и сам не знает, которого Захар Захарыча он назвал первым, которого вторым. Наконец догадался: взял да бумажки с номерами тому и другому на грудь пришпилил. Только таким манером и успел раздел совершить.

И так далее.

Очевидно, что при таких чудовищных условиях совместное существование было немыслимо. Поэтому Урванцовы не долго выдержали. Прожив в наших местах не больше двух лет, они одновременно и неизвестно куда исчезли, оставив и отческий дом и деревнюшку на волю случайности.

В заключение, скажу несколько слов еще о Петре Антоныче Грибкове, которого все единогласно называли Псом Антонычем.

Лично я его никогда не видал, но то немногое, что привелось мне в детстве слышать о нем, было поистине ужасающее. Это был в полном смысле слова изверг, превосходивший в этом отношении даже тетеньку Анфису Порфирьевну. В особенности возмутительны были подробности гаремной жизни, которую он вел. Вследствие этого из соседей не только никто не водил с ним знакомства, но даже говорить о нем избегали: как будто боялись, что одно упоминовение его имени произведет смуту между домочадцами. Несколько раз его судили, неоднократно устраивали опеку и выселяли из имения с воспрещением въезда, но, благодаря послаблениям опекунов и отдаленному родству с предводителем Струнниковым он преспокойно продолжал жить в своем Олонкине и бесчинствовать. Но наконец его постигла казнь, еще более жестокая, нежели та, жертвою которой сделалась Анфиса Порфирьевна. Ночью человек тридцать крестьян (почти вся вотчина) оцепили господский дом, ворвались в спальню и, повесив барина за ноги, зажгли дом со всех сторон. К утру олонкинская усадьба

представляла уже груду развалин. Только немногие из гаремных узниц успели спастись и впоследствии явились по делу доказчицами.

Я помню, однажды семейный обед наш прошел совершенно молчаливо. Отец был бледен, у матушки по временам вздрагивали губы… Очевидно, свершилось нечто такое, что надлежало сохранить от нас в тайне. Но ничто не могло укрыться от любознательности брата Степана, который и на этот раз так изловчился, что к вечеру нам, детям, были уже известны все подробности олонкинской катастрофы.

О прочих соседях умалчиваю, хотя их была целая масса. В памяти моей осталось о них так мало определенного, что обременять внимание читателей воспоминаниями об этой безличной толпе было бы совершенно излишне.

XXXI. Заключение

Из элементов, с которыми читатель познакомился в течение настоящей хроники, к началу зимы образовывалось так называемое пошехонское раздолье.

Я не стану описывать его здесь во всех подробностях, во-первых, из опасения повторений и, во-вторых, потому, что порядочно-таки утомился и желаю как можно скорее прийти к вожделенному концу. Во всяком случае, предупреждаю читателя, что настоящая глава будет иметь почти исключительно перечневой характер.

Мы, дети, еще с конца сентября начинали загадывать об ожидающих зимою увеселениях. На первом плане в этих ожиданиях, конечно, стояла перспектива свободы от ученья, а затем шумные встречи с сверстниками, вкусная еда, беготня, пляска и та общая праздничная суета, которая так соблазнительно действует на детское воображение.

В особенности волновался предстоящими веселыми перспективами брат Степан, который, несмотря на осеннее безвременье, без шапки, в одной куртке, убегал из дома по направлению к погребам и кладовым и тщательно следил за процессом припасания, как главным признаком предстоящего раздолья.

– Капусту рубленую впрок набивают! – возвещал он нам, – в маленькие кадушки – для господ, в чаны – для людей.

Или:

– Вчера из Васютина целую бычью тушу привезли, а сегодня ее на части для солонины разрубают! Пожирнее – нам, а жилы да кости – людям. Сама мать на погребе в кацавейке заседает.

И наконец:

– Ну, братцы, кажется, наше дело скоро совсем выгорит! Сам сейчас слышал, как мать приказание насчет птицы отдавала, которую на племя оставить, которую бить. А уж если птицу велят бить, значит конец и делу венец. На все лето полотков хватит – с голоду не помрем.

Иногда с покрова выпадал снег и начинались серьезные морозы. И хотя в большинстве случаев эти признаки зимы оказывались непрочными, но при наступлении их сердца наши били усиленную тревогу.

Мы с любопытством следили из окон, как на пруде, под надзором ключницы, дворовые женщины заманивали в воде и замораживали ощипанную птицу, и заранее предвкушали то удовольствие, которое она доставит нам в вареном и жареном виде в праздничные дни.

– Гусь-то! гусь-то! – по временам восклицал в азарте Степан, – вот так гусь! Ах, хорош старик!

Санный путь чаще всего устанавливался около 15-го ноября, а вместе с ним открывался и сезон увеселений. Накануне введеньева дня наш околоток почти поголовно (очень часто больше пятидесяти человек) был в сборе у всенощной в церкви села Лыкова, где назавтра предстоял престольный праздник и церковным старостой состоял владелец села, полковник суворовских времен, Фома Алексеич Гуслицын. Натурально, дом последнего служил убежищем для съехавшейся массы соседей, большинство которых оставалось гостить здесь

на два и на три дня.

На этом первом сезонном празднике я остановлюсь несколько подробнее, так как он служил, так сказать, прототипом всех остальных.

* * *

Раннее утро, не больше семи часов. Окна еще не начали белеть, а свечей не дают; только нагоревшая светильня лампадки, с вечера затепленной в углу перед образом, разливает в жарко натопленной детской меркнущий свет. Две девушки, ночующие в детской, потихоньку поднимаются с войлоков, разостланных на полу, всемерно стараясь, чтобы неосторожным движением не разбудить детей. Через пять минут они накидывают на себя затрапезные платья и уходят вниз доканчивать туалет.

Но дети уже не спят. Ожидание предстоящего выезда спозаранку волнует их, хотя выезд назначен после раннего обеда, часов около трех, и до обеда предстоит еще провести несколько скучных часов за книжкой в классе. Но им уже кажется, что на конюшне запрягают лошадей, чудится звон бубенчиков и даже голос кучера Алемпия.

По уходе девушек, они в восторге вскакивают с кроватей и начинают кружиться по комнате, раздувая рубашонками. Топот, пенье песен, крики «ура» наполняют детскую.

– Чу! колокольчик звякнул! – сообщает Гриша, внимательно прислушиваясь.

– Запрягают – это верно! – подтверждает Степан, – еще намеднись я слышал, как мать Алемпию приказывала: «В пятницу, говорит, вечером у престольного праздника в Лыкове будем, а по дороге к Боровковым обедать заедем».

– Едем! едем!

Но восторги наши непродолжительны. Через четверть часа уже раздаются в коридоре шаги, заслышав которые мы проворно прячемся под одеяла. Входит матушкина наперсница Ариша и объявляет:

– Маменька велели сказать, что сейчас с розгой придут.

Разумеется, это только угроза, но она уничтожает всякий повод для дальнейших самообольщений. Как и в прошлые годы, нас засадят с утра за книжку и вплоть до обеда заставят томиться.

Утро проходит тоскливо. К счастью, Марья Андреевна на этот раз снисходительна и беспрестанно выходит из классной посмотреть, как бы, укладывая, не смяли ее «матерчатого» платья, которое у нее всего одно и бережется для выездов. Мы отвечаем уроки машинально, заглядывая в окно и прислушиваясь к шуму, который производят сборы.

Нетерпение наше растет с каждой минутой, так как все обещает, что поездка предстоит благоприятная. Отец еще за чаем объявил, что на дворе всего три градуса холода, а так как санный путь только что стал, то лошади, наверное, побегут бойко и незаметно доставят нас в Лыково. Ни одного ухаба, дорога как пол, в тихом воздухе гулко раздается звон колокольчиков и громыханье бубенчиков… Для таких несчастных узников, какими были мы, поездка в подобных условиях сама по себе представляла целую перспективу наслаждений. Ах, кабы поскорее! Поскорее бы вырваться из этого постылого Малиновца!

Наконец бьет час, подают обедать. Все едят наскоро, точно боятся опоздать; только отец, словно нарочно, медлит. Всегда он так. Тут, того гляди, к третьему звону ко всенощной не попадем, а он в каждый кусок вилкой тыкает, каждый глоток разговорцем пересыпает.

– А после обеда одеваться да умываться начнет! – ворчит сквозь зубы брат Степан.

И действительно, к трем часам вся семья, укутанная по-дорожному, уже в сборе в лакейской, а из отцовской спальни все еще доносятся звуки приводимого в движение рукомойника.

– Скоро ли? – в нетерпении кричит матушка.

Но вот укутали и отца. На дворе уж спустились сумерки, но у нас и люди и лошади привычные, и впотьмах дорогу сыщут. Свежий, крепительный воздух с непривычки волнует нам кровь. Но ощущенье это скоро уляжется, потому что через минуту нас затискают в

крытый возок и так, в закупоренном виде, и доставят по назначению.

– Как бы ветер не разыгрался! – выражает опасение матушка.

– Не знаю, как сказать, – отвечает Алемпий, – крутит по дороге, да и сверху мжица мжит. Не впервой; бог милостив!

– Еще бы! целый час папенька около рукомойника валандался! тут хоть какая угодно погода испортится! – негодует брат Степан.

– Цыц… постреленок!

До Лыкова считают не больше двенадцати верст; но так как лошадей берегут, то этот небольшой переезд берет не менее двух часов. Тем не менее мы приезжаем на место по крайней мере за час до всенощной и останавливаемся в избе у мужичка, где происходит процесс переодевания. К Гуслицыным мы поедем уже по окончании службы и останемся там гостить два дня.

Гуслицыны, бездетные старик и старуха, принадлежат к числу зажиточнейших помещиков нашего околотка. И Фома Алексеич, и жена его Александра Ивановна очень усердные прихожане, и потому церковь залита огнями по-праздничному. Почти все гости уж налицо: Пустотеловы, Боровковы, Корочкины, Чепраковы, майор Клобутицын и с ним человека четыре офицеров.

Господа стоят впереди, одеты по-праздничному; глубина церкви кишит простонародьем. Служба происходит парадная, в так называемой «настоящей» церкви (у праздника), которая, по случаю зимы, через неделю закроется вплоть до пасхи.

По окончании всенощной все подходят к хозяевам с поздравлениями, а дети по очереди целуют у старой полковницы ручку. Старушка очень приветлива, всякому найдет доброе слово сказать, всякого спросит: «Хорошо ли, душенька, учишься? слушаешься ли папеньку с маменькой?» – и, получив утвердительный ответ, потреплет по щеке и перекрестит.

В просторном доме Гуслицыных уже все готово к приему дорогих гостей.

Стены (по-старинному нештукатуренные) и полы тщательно вымыты; в комнатах слегка накурено ладаном; по углам, перед образами теплятся лампадки. В большом зале накрыт ужин, а для желающих подается и чай. Но конец вечера проходит тихо, почти в безмолвии. Во-первых, гости с дороги устали, а во-вторых, так уж исстари заведено, что большие праздники встречают в благоговейном умилении, избегая разговоров. В десять часов все расходятся на покой, причем только самым почетным гостям отводятся особые комнаты, прочих укладывают, как попало, по диванам и вповалку на полу.

На другой день с утра начинается сущее столпотворение. Приезжая прислуга перебегает с рукомойниками из комнаты в комнату, разыскивая господ. Изо всех углов слышатся возгласы:

– Параша! скоро ли умываться?

– Феша! где же мой корсет?

– Маланья, опять мочалку забыла?

А в зале, где разместили на ночь подростков, они повскакали с разостланных на полу пуховиков и в одних рубашках, с криком и хохотом, перебегают из конца в конец по неровной поверхности, образуемой подушками и перинами, на каждом шагу спотыкаясь и падая. При этом происходит словесная перестрелка, настолько нецеломудренная, что девушки, стоящие у рукомойников, беспрестанно покрикивают:

– Ишь ведь что говорят… бесстыдники!

Кстати скажу здесь: вообще в мое время дети были очень невоздержны на язык, и лексикон срамных слов самого последнего разбора был достаточно между ними распространен. К счастию, брань слетала с языка скорее машинально, понаслышке, вроде хвастовства, нежели сознательно, так что действительное значение ее оставалось загадкой. По крайней мере, мне помнится, что когда я, будучи десяти лет, поступил в московский дворянский институт, где всякое срамное слово уже произносилось с надлежащим смаком, то ровно ничего не понимал, хотя самые слова мне были давно известны.

По приезде от обедни начинается беспрерывная еда, так как в этом, собственно говоря,

и состояло наше захолустное раздолье. За чаем следует закуска, которая не снимается со стола вплоть до обеда; после обеда особо подают десерт, затем паужин и т. д. до самой ночи. В особенности барыни, как усядутся в гостиной кругом стола с закуской, так и не оторвутся от него. Изредка еда перемежается тем, что кто-нибудь из барышень или из офицеров сядет за старые клавикорды и споет романс. Любимыми романсами в то время были: «Прощаюсь, ангел мой, с тобою», «Не шей ты мне, матушка», «Что затуманилась, зоренька ясная» «Талисман», «Черная шаль» и т. д. Я, впрочем, не помню, чтобы встречались хорошие голоса, но хуже всего было то, что и певцы и певицы пели до крайности вычурно; глотали и коверкали слова, картавили, закатывали глаза и вообще старались дать понять, что, в случае чего, недостатка по части страстности опасаться нет основания. Заслышавши пение, маменьки выползают из гостиной в зал и устраивают уже настоящую выставку талантов, а солидные мужчины, неохотники до дивертисментов, забираются в биллиардную, где тоже ставится закуска и водка. У всякой барышни есть какой-нибудь танец, в котором она специально отличается. Верочка Чепракова танцует «По улице мостовой»; одной ручкой подбоченится, другую поднимет вверх и скруглит; затем поплывет по зале и пошевеливает плечиками, подманивая прапорщика Синеусова, который изо всех сил стучит сапогами, стараясь изобразить лихого русского парня. Феничка Боровкова отлично пляшет по-цыгански. Откинет головку назад, разбежится из одного конца залы в другой, потом обратно, потом начнет кружиться, а за ней то же самое повторяет прапорщик Завулонов, и никак не может Феничку изловить… Разумеется, покуда дочки показывают товар лицом, маменьки хлопают в ладоши и по очереди поздравляют друг друга.

Таким образом, утро проходит довольно однообразно. Гости, очевидно, еще не вошли в праздничную колею. Барышни, показавши таланты, начинают попарно ходить взад и вперед по анфиладе комнат, перешептываясь с офицерами; маменьки, похвастaвшись дочерьми, снова присаживаются поближе к закуске; даже между детьми оживления не видать. Хотя старая полковница уже несколько раз предлагала им побегать и поиграть, но они не успели еще возобновить между собой знакомства, прерванного продолжительным уединением, в котором их держала все лето сельскохозяйственная страда. Чинно и смирно бродят они следом за барышнями и рассказывают друг другу небылицы в лицах.

Ваня Боровков сообщает, что ихний кучер Пармён недавно на всем скаку зайца кнутом пополам перерезал; Сашенька Пустотелова – что у них корова Белогрудка целых три года пропадала, и вдруг прошлым летом пошли в лес, а она забралась в самую чащу и уж с тремя телятами ходит.

– Так без быка и отелилась? – удивляется Соничка Корочкина.

– Нет, после узнали, что бык к ней в гости ходил. Заметили, что он часто из стада пропадает, и начали следить…

– Нет, это что! – прерывает Петя Корочкин, – вот у нас кучер так молодец! Прошлого года зимой попал со всей тройкой и с санями в прорубь, видит – беда неминучая, взял да и разогнал подо льдом лошадей… И вдруг выскочил из другой проруби!

Наконец брат Степан рассказывает, что в малиновецком саду такая лягушка завелась, что как только прыгнет, так из нее червонец вылетит.

– И много ты таких червонцев набрал? – завидуют ему.

– То-то, братцы, что штука эта не простая. Пытался я хоть одну монетку подтибрить, да только что наклонюсь, ан она в моих глазах и растает!

Вообще хвастовство, как и сквернословие, в большом ходу между детьми.

По-видимому, они наследовали это качество от отцов и значительно приумножили это наследие позаимствованиями, сделанными у челядинцев.

Нас, детей Затрапезных, сверстники недолюбливают. Быстрое обогащение матушки вызвало зависть в соседях. Старшие, конечно, остерегаются высказывать это чувство, но дети не чинятся. Они пристают к нам с самыми ехидными вопросами, сюжетом для которых служит скопидомство матушки и та приниженная роль, которую играет в доме отец. В особенности неприятна в этом отношении Сашенька Пустотелова, шустрая девочка, которую

все боятся за ее злой язык.

– Правда ли, что у вас недавно бунт был из-за того, что ваша мамаша велела больную корову зарезать и людям в застольную отдать? – пристает она к нам.

Или:

– Правда ли, что папенька ваш из старых писем сургучные печати вырезывает, а на внутренней стороне конвертов письма старшим детям пишет?

Нередко приставанья эти длятся целое утро. Поэтому понятно, что первое время мы ходим несколько сконфуженные и ждем не дождемся обеда, после которого обыкновенно затеваются игры и заставляют наших сверстников и сверстниц позабыть о Малиновце и его порядках.

Обед подается по-праздничному, в три часа, при свечах, и длится, по крайней мере, полтора часа. Целая масса лакеев, своих и чужих, служит за столом. Готовят три повара, из которых один отличается по части старинных русских кушаньев, а двое обучались в Москве у Яра и выписываются в деревню зимою на несколько недель. Сверх того, для пирожных имеется особенный кондитер, который учился у Педотти и умеет делать конфекты. Вообще в кулинарном отношении Гуслицыны не уступают даже Струнниковым.

Разнообразная и вкусная еда на первых порах оттесняет на задний план всякие другие интересы. Среди общего молчания слышно, как гости жуют и дуют. Только с половины обеда постепенно разыгрывается обычная беседа, темой для которой служат выяснившиеся результаты летнего урожая.

Оказывается, что лето прошло благополучно, и потому все лица сияют удовольствием, и собеседники не прочь даже прихвастнуть.

– И урожай хорош, и заготовки вышли удачные, только вот грибов не родилось: придет великий пост, во щи покинуть нечего! И заметьте, уж третий год без грибов сидим, а рыжика так и в помине давным-давно нет, – что бы за причина такая?

– А та и причина, что настоящих грибных дождей не бывало! – разрешает какая-нибудь опытная хозяйка.

– Нет, кажется, и дождей не мало прошлым летом было, – возражает другая опытная хозяйка, – а так, должно быть, не к году…

– Были дожди, да не грибные, – настаивает первая, – иной раз целое лето льют дожди, а грибами и не пахнет. А отчего? – оттого, что дожди не те! И вдруг под самый конец грянет грибной дождик – и пойдет, и пойдет! И рыжики, и грузди, и белые грибы… обору нет!

– Дивны дела твоя, господи! вся премудростию сотворил еси! – отзывается голос с мужского конца стола. Наконец подают нетерпеливо ожидаемое детьми пирожное. Оно двух сортов. Сначала разносят фигурные венчики, сделанные из нарезанного миндаля; потом – желе малинового цвета с прилепленною во внутренней пустоте восковою свечой. Эффект, производимый этим своеобразным освещением, всех приводит в восторг.

– Ишь ведь до чего дошли! – любуется Надежда Игнатьевна Корочкина, – не только для вкуса, да и для глаз чтобы приятно было! Скоро ладиколоном вспрыскивать будут, чтоб и пахло хорошо!

– Эту новинку наш Сидорка-кондитер из Москвы принес, – сообщает хозяйка, – нынче, говорит, у главнокомандующего всегда за парадными обедами такое желе подают.

– Это еще что! каклеты в папильотках выдумали! – прибавляет полковник, – возьмут, в бумагу каклетку завернут, да вместе с соусом и жарят. Мне, признаться, Сенька-повар вызывался сделать, да я только рукой махнул. Думаю: что уж на старости лет новые моды заводить! А впрочем, коли угодно, завтра велю изготовить.

– Вели, сударь, вели! пускай дорогие гости попробуют! – решает старушка полковница.

Но вот гости с шумом отодвигают стулья и направляются в гостиную, где уже готов десерт: моченые яблоки, финики, изюм, смоква, разнообразное варенье и проч. Но солидные гости и сами хозяева не прикасаются к сластям и скрываются на антресоли, чтобы отдохнуть часика два вдали от шума. Внизу, в парадных комнатах остаются только молодые люди, гувернантки и дети.

Начинается детская кутерьма.

Детские игры того времени были очень неразнообразны и притом совершенно чужды мысли о соединении забавного с полезным. Я помню только следующие: в лошадки, фанты, жмурки и «сижу-посижу».

Первая была самая любимая, потому что в ней принимали участие исключительно дети, что совершенно устраняло какие-либо стеснения.

Подбирались тройки, причем коренных лошадей и кучеров изображали мальчики, а пристяжных – девочки. Коренники ржали и «шалили», не сразу трогались с места, переменяли аллюры, бежали и вскачь, и рысью, и иноходью; пристяжные отвечали тоненькими голосами ржанью коренников и скакали, завиваясь в кольцо; кучера махали веревочными кнутами. Поднимался невообразимый гвалт.

Тройки вскачь неслись по коридорам и комнатам; шагом взбирались по лестницам, изображавшим собой горы и наконец, наскакавшись и набегавшись, останавливались на кормежку, причем «лошадей» расставляли по углам, а кучера отправлялись за «овсом» и, раздобывшись сластями, оделяли ими лошадей.

В фантах принимали участие и взрослые. Обыкновенно в углу залы садилась одна из гувернанток и выкликала: «Ворона летит! воробей летит!» – и вдруг, совсем неожиданно «Анна Ивановна летит!» Ежели слово «летит» было употреблено в применении к действительно летающему предмету, то играющие должны были поднимать руку; если же оно было употреблено неподлежательно, то руку поднимать не следовало. Преступавшие это правило платили «фант», заключавшийся в пении какого-нибудь романса, в чтении стихов, а иногда и в том, чтоб по очереди перецеловать всех играющих.

В жмурках и в «сижу-посижу» одному из играющих по жребию завязывали платком глаза. В первой игре участвующие бегали по комнате, а играющий с завязанными глазами должен был «ловить» и угадать, кого он поймал. Во второй участвующие рассаживались по стульям, а играющий с завязанными глазами садился по очереди ко всем на колени и должен был угадать, у кого он сидит. Эту последнюю игру особенно любили барышни-невесты (а иногда и молодые замужние женщины), которые подолгу засиживались на коленях у кавалеров. При этом нередко кто-нибудь из детей цинично восклицал:

– Что, словно налим о плотину, трешься! небось отлично знаешь, у кого на коленках сидишь!

К семи часам, когда молодежь успела уже набегаться и наиграться, сходят с антресолей солидные гости. Появляются лакеи с подносами, установленными чашками с чаем; за ними другие разносят целые груды разнообразного печенья; десерт в гостиной освежается. Словом сказать, полагается начало новой еде, которая уж и не прекращается до глубокой ночи.

После чаю хозяйка предлагает молодежи протанцевать; за старые клавикорды усаживают одну из гувернанток, и пары танцующих с шумом расстанавливаются вдоль и поперек большой залы.

Из мелких танцев в то время известен был только вальс, который танцевался чинно под музыку на мотив: «Ach, mein lieber Augustin».

Фундаментальными танцами считались: французская кадриль и мазурка, которые существуют и поныне. Кроме того, танцевали «экоссез» и «русскую кадриль» (последнюю я, впрочем, только по имени помню), ныне совсем оставленные. В мазурке принимали участие и солидные гости, а в особенности отличался Григорий Александрыч Перхунов. Он облекался для этого в польский костюм, лихо стучал по полу каблуками и по окончании фигуры становился на колени, подавая руку своей даме, которая кружилась около него, выделывая па. Дама, с своей стороны, бросала ему платок, который он ловил на лету и, быстро вставши с колен, делал новый круг по зале, размахивая левой рукой, в которой держал свой трофей.

– Ни дать ни взять, поляк! – восклицали присутствующие.

– Браво! браво, пан Перхуновский! – в восторге гудела вся зала, хлопая в ладоши и переделывая на польский манер фамилию расходившегося барина.

Около полуночи веселье прекращалось, и день заключался ужином.

Следующий день был повторением предыдущего, но проводился несколько проще. Во-первых, было не так людно, потому что часть гостей уж разъехалась, а во-вторых, и оставшиеся гости чувствовали утомление после вчерашней ночной кутерьмы. Зато еда как будто ожесточалась еще более.

Вечером танцы хотя и возобновлялись, но ненадолго, и к десяти часам гости уже расходились на ночлег, предварительно попрощавшись с гостеприимными хозяевами, так как завтра утром часам к девяти предполагалось выехать из Лыкова, а старики в это время очень часто еще нежились в постели.

По дороге в Малиновец мы обыкновенно заезжали к Боровковым, у которых проводили целые сутки, от Боровковых к Корочкиным и т. д., так что домой возвращались нередко через неделю. Затем, отдохнувши несколько дней, объезжали другую сторону околотка, гостили у Пустотеловых и забирались в Словущенское, где, начиная с предводителя Струнникова, не пропускали никого и из мелкопоместных.

Везде пили и ели, но всего искреннее веселились в Словущенском, где, за исключением Струнниковых, помещики были победнее, и с ними меньше чинились. У Слепушкиных, например, хотя и не танцевали, по причине тесноты помещения, но зато изо всех усадеб собирали сенных девушек, которые пели подблюдные песни (мне, помнится, это развлечение нравилось даже более, нежели танцы). На ночь все размещались по разным усадьбам и таким образом несколько дней сряду переходили из дома в дом.

Собирались раза два-три в зиму и в Малиновце, и я должен сказать правду, что в этих случаях матушка изменяла своим экономическим соображениям и устраивала праздники на славу. Да и нельзя было иначе. Дом был громадный, помещения для всех вдоволь, запасов – тоже. Притом же сами всюду ездили и веселились – стыдно было бы и соседям не отплатить тем же.

Дней за пять до рождества раздолье на время прекращалось, и помещики разъезжались по своим усадьбам, чтоб встретить праздник в тишине, среди семейств.

– En classe! en classe! – провозглашали гувернантки, к великому горю детей, которым даже опомниться после длинного ряда праздников не давали.

За несколько дней до праздника весь малиновецкий дом приходил в волнение. Мыли полы, обметали стены, чистили медные приборы, на дверях и окнах, переменяли шторы и проч. Потоки грязи лились по комнатам и коридорам; целые вороха паутины и жирных оскребков выносились на девичье крыльцо. В воздухе носился запах прокислых помоев. Словом сказать, вся нечистота, какая таилась под спудом в течение девяти месяцев (с последнего Светлого праздника, когда происходила такая же чистка), выступала наружу.

В кулинарном отношении приготовления были не так сложны. Откармливался на скотном дворе боров на буженину и ветчину, да для отца ездили в город за свежей говядиной. Только и всего.

Ни елки, ни праздничных подарков, ничего такого, что предназначалось бы специально для детей, не полагалось. Дети в нашем семействе были не в авантаже.

К сочельнику все было готово, и этот день проводили уже в абсолютном бездействии и тишине. Даже сенные девушки были освобождены от урочных работ и праздно толпились в девичьей и сосредоточенно вздыхали, словно ожидая, что с минуты на минуту отдернется завеса, скрывающая какую-то великую тайну. Никто, не исключая и детей, до звезды не ел: обедать подавали не ранее пятого часа, но отец обыкновенно и к обеду не выходил, а ограничивался двумя чашками чая, которые выпивал после всенощной на сон грядущий. Обед был строго постный и преимущественно состоял из сладких блюд. Вместо супа подавали «взварец» из сушеных груш, чернослива и изюма; затем следовали пудинги, облитые морсом, и наконец овсяный кисель с медовой сытою.

Около семи часов служили в доме всенощную. Образная, соседние комнаты и коридоры наполнялись молящимися. Не только дворовые были налицо, но приходили и почетнейшие крестьяне из села. Всенощную служили чинно с миропомазанием, а за нею

следовал длинный молебен с водосвятием и чтением трех-четырех акафистов. Служба кончалась поздно, не раньше половины десятого, после чего наскоро пили чай и спешили в постели.

Рождественское утро начиналось спозаранку. В шесть часов, еще далеко до свету, весь дом был в движении; всем хотелось поскорее «отмолиться», чтобы разговеться. Обедня начиналась ровно в семь часов и служилась наскоро, потому что священнику, независимо от поздравления помещиков, предстояло обойти до обеда «со святом» все село. Церковь, разумеется, была до тесноты наполнена молящимися.

По приезде от обедни дети целовали у родителей ручки, а иногда произносили поздравительные стихи. К чаю в этот день вся семья собиралась вместе, не исключая даже тетенек-сестриц. Старались провести время без ссор и избегали всяких поводов к столкновению. Матушка ласково заговаривала с золовками; последние умильно на нее посматривали. Отец, очень редко обращавший внимание на детей, на этот раз изменял своему обычаю и шутил с нами. Но в то же время было заметно, что все спешили отпить чай поскорее, чтобы как-нибудь ненароком не проронить слова, которое праздничную идиллию как бы волшебством обратило бы в обыкновенную будничную свару. Праздновали рождество три дня; в течение этого времени дворня разделялась на три смены, из которых каждой предоставлялось гулять на селе по одному дню. Но мы, дети, надо сказать правду, проводили эти дни очень невесело. Без дела слонялись по парадным комнатам, ведя между собой бессвязные и вялые разговоры, опасаясь замарать или разорвать хорошее платье, которое ради праздника надевали на нас, и избегая слишком шумных игр, чтобы не нарушать праздничное настроение. Все в доме смотрело сонно, начиная с матушки, которая, не принимая никаких докладов, не знала, куда деваться от скуки, и раз по пяти на дню ложилась отдыхать, и кончая сенными девушками, которые, сидя праздно в девичьей, с утра до вечера дремали. Таков был общий тон, с которым обязательно и мы должны были согласовать свое поведение.

Новый год весь уезд встречал у предводителя Струнникова, который давал по этому случаю бал. Вереница экипажей съезжалась 31-го декабря со всех сторон в Словущенское, причем помещики покрупнее останавливались в предводительском доме, а бедные – на селе у мелкопоместных знакомых.

Впрочем, о предводительском бале я уже говорил в своем месте и более распространяться об этом предмете не считаю нужным.

В продолжение всего рожественского мясоеда без перемежки шли съезды и гощения, иногда многолюдные и парадные, но большею частью запросто, в кругу близких знакомых. В числе этих собраний в особенности выдавался бал, который давал в городе расквартированный в нашем уезде полк. Этот бал и новогодний предводительский считались кульминантными точками захолустного раздолья.

Словом сказать, целых три месяца сряду захолустье ело, пило и гудело, как пчелы в улье. В это же время и молодые люди сходились между собой.

Происходили предварительные ухаживанья, затевались свадьбы, которые отчасти игрались в рожественский мясоед, отчасти отлагались на красную горку.

Масленицу проводили дома. Все были настолько возбуждены, что казалось рискованным перейти прямо к безмолвию и сосредоточенности великого поста.

Поэтому масленицей пользовались, как удобным переходным временем, чтобы отдохнуть от трехмесячной сутолоки и изгнанием мяса из кулинарного обихода подготовить желудок к принятию грибной пищи.

Блины, блины и блины! Блины гречневые, пшеничные (красные), блины с яйцами, с снетками, с луком…

На первой неделе великого поста отец говел вместе с тетеньками-сестрицами. В чистый понедельник до усадьбы доносился звон маленького церковного колокола, призывавший к часам и возвещавший конец пошехонскому раздолью…

P. S. От автора. Здесь кончается первая часть записок Никанора Затрапезного, обнимающая его детство. Появится ли продолжение хроники – обещать не могу, но ежели и появится, то, конечно, в менее обширных размерах, всего скорее в форме отрывков. Я чувствую, что уже последние главы написаны слабо и небрежно, но прошу читателей отнестись к этому снисходительно. Масса образов и фактов, которую пришлось вызвать, подействовала настолько подавляющим образом, что явилось невольное утомление. Поэтому я и кончил, быть может, раньше, нежели предполагал, но, во всяком случае, с полным и непритворным удовольствием пишу здесь:

Конец